

Милован ДЖИЛАС

ЛИЦО ТОТАЛИТАРИЗМА

# ЛИЦО Милован ДЖИЛАС ТОТАЛИТАРИЗМА



НОВОСТИ

**ЛИЦО** Милован ДЖИЛАС

**ТОТАЛИТАРИЗМА**

**Новости**

Москва, 1992

**ББК 15.5  
Д40**

**ISBN—5—7020—0371—3**

© Милован Джилас, автор, 1992

© П. А. Щетинин, Е. А. Полак, О. А. Кириллова, перевод, 1992

© Э. К. Реоли, художник, 1992

## Милован Джилас

Родился 12 июня 1911 года в селе Подбишче возле города Колашина в Черногории. В Белградском университете изучал юриспруденцию и литературу. В 1932 году вступил в Компартию Югославии, в том же году был арестован и пробыл в заключении до 1935 года. В 1937 году, во время внутривластных тренировок, примкнул к группе Тито, который реорганизовал КПЮ. С 1937 года М. Джилас — член ЦК КПЮ, с 1940 года — член Исполкома ЦК КПЮ.

В 1941 году, после занятия Югославии войсками нацистской Германии и фашистской Италии, руководство КПЮ посылает М. Джиласа вместе с М. Пьяде для подготовки восстания. В конце 1943 года М. Джилас входит в президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии — АВНОЮ.

В 1945 году, после окончания второй мировой войны, АВНОЮ было переименовано во Временную народную скупщину, куда вошел М. Джилас, получив одновременно пост министра по делам Черногории. В 1948 году М. Джилас — секретарь Исполнительного бюро ЦК СКЮ. В начале 1953 года М. Джилас становится одним из четырех вице-президентов Югославии, в конце 1953 года — председателем Союзной народной скупщины.

Конфликт с партией и правительством возник у М. Джиласа после того как он резко выступил против превращения компартии в правящий класс страны и морального ее разложения. Свои мысли он вначале высказал в серии статей, опубликованных в газете «Борба» в октябре 1953-го — январе 1954 года. В статьях он упрекал режим в переходе на сталинские методы управления, стоял за создание второй социалистической партии, высказывался против вмешательства партии в работу органов правосудия (эти органы, по мнению М. Джиласа, «...должны стать



органами государства и закона, то есть народа, а не политических интересов и мнений в рядах партии... До каких пор мы будем пользоваться идеологическими, а не законными аргументами? До каких пор приговоры будут выноситься на основании диалектического и исторического материализма, а не закона?»\*. 17 января 1954 года III внеочередной пленум ЦК СКЮ (КПЮ переименована в Союз коммунистов Югославии — СКЮ на VI съезде партии в ноябре 1952 г.) принял решение о смещении М. Джиласа со всех партийных и правительственных постов на основании того, что его «антимарксистские, антиленинские ревизионистские устремления... были фактически направлены на ликвидацию СКЮ»\*\*. Черногория лишила М. Джиласа депутатского мандата, в марте 1954 года он был исключен из партии. 24 января 1955 года М. Джилас был приговорен условно к 18 месяцам заключения за «клеветнические заявления, в которых он изображал положение в Югославии в злонамеренно искаженном виде». 29 октября 1956 года М. Джилас открыто одобрил венгерское восстание, критиковал режим Тито и коммунизм, как таковой. За это осужден на 3 года тюрьмы. В этот период ему удается передать своему издателю рукопись книги «Новый класс», после опубликования которой (октябрь 1957 г.) его судят повторно и приговаривают к 7 годам. В январе 1961 года он досрочно освобожден, однако через 3 месяца снова взят под стражу в связи с опубликованием книги «Беседы со Сталиным» (обвинен в «разглашении государственных тайн»). В тюрьме М. Джилас пишет серию рассказов («Прокаженный» и др.), книгу о Петре II Негоше, владыке (светском и духовном правителе) Черногорском, выдающемся представителе сербской литературы, переводит с английского «Потерянный рай» Д. Мильтона. М. Джилас написал также автобиографическое произведение «Страна без права».

В декабре 1966 года М. Джиласа освобождают из-под стражи (он отбывал заключение в известной еще с австро-венгерских времен тюрьме города Сремска Митровица), но не восстанавливают в гражданских правах: в стране он не имеет права публично выступать, его произведения не печатают, не возвращают боевых наград и т. д. Через некоторое время власти разрешают ему выезд за границу, где

---

\* «Борба», 31.12.1953 г.

\*\* БСЭ, 2-е изд. М., 1957. Т. 49. С. 334.

М. Джилас выступает с лекциями, дает интервью телевидению. В 1969 году выходит его книга «Несовершенное общество», которая, как и другие его произведения, запрещена в Югославии. В апреле 1970 года М. Джилас готовил новую поездку за границу с серией докладов, однако у него был отобран паспорт, по мнению осведомленных кругов, не без давления советского правительства, опасавшегося выступлений М. Джиласа именно в месяце, на который приходилось столетие со дня рождения Ленина.

С 1970 по 1986 год он был лишен права выезда за границу. Имя М. Джиласа известно среди демократически настроенных советских граждан.

Не со всеми выводами автора предлагаемой вниманию читателя книги можно согласиться, однако поражает смелость и прозорливость политика, более 30 лет назад предсказавшего события, происходящие сейчас в странах бывшего социалистического содружества.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ**

*Намерение советского издательства опубликовать в одной книге два моих политических исследования — «Новый класс» и «Несовершенное общество» вкупе с воспоминаниями «Беседы со Сталиным» — считаю разумным и полезным по многим причинам.*

*Во-первых, это мои наиболее значительные и в международном плане самые известные произведения из сферы политики. И хотя отдельному непосвященному читателю комбинация политики с мемуаристикой может показаться неестественной, все же в данном случае связь вполне прямая. Политические произведения объединяет единство содержания, а воспоминания о встречах со Сталиным играют роль уместной и, возьму на себя смелость сказать, достоверной к ним иллюстрации, почерпнутой из конкретной политической практики.*

*Кроме того, читатель получает более менее целостное представление о моем, да и не только моем, критическом отношении к Сталину и сталинскому тоталитаризму, пустившему корни в коммунистическом движении. Прежде всего имею в виду Югославию.*

*Считал бы со своей стороны претенциозным оценивать действенность этой критики. Неоспоримо, однако, что критицизм, присущий коммунистам прежде всего коммунистических стран, включая и мой собственный, на протяжении трех десятилетий играл если не важнейшую, то наверняка близкую к таковой роль благодаря главным образом своей аутентичности, объективности, несклонности к злопыхательству. Не хочу этим сказать, что сегодня, когда миновало столько лет, в моих критических работах не сыщется*

немало такого, что можно было бы выразить с литературной стороны привлекательнее и точнее. Прошу, однако, читателя не забывать, что записки, которые у него сейчас в руках, это индивидуальный взгляд с позиций большей частью политико-критических, что это лишь единичный вклад в описание и осмысление данной социальной реальности. Вся реальность настолько многогранна, что ее можно объять целиком, только рассмотрев с разных точек зрения под разным углом.

Для меня, югославского литератора, черногорца из Сербии, публикация в Москве этих произведений (настанет, надеюсь, черед и других моих книг) — событие особое, его не переоценить.

Южных славян, а тем паче сербов, с русскими и русской культурой связывает исконное, преимущественно языковое и психологическое родство: но ведь язык, психика — это и есть та многогранность — творческая, неисчерпаемая, непостижимая, благодаря которой, главным образом, открывается глубинная суть народа, его истинное лицо. У русских и сербов как раз столько родственных и отличительных черт, сколько необходимо, чтобы при родстве не слиться, а при разности не стать чуждыми друг другу.

Временами силы государственной политики охлаждали отношения, натягивали до состояния обрыва связи великой России с маленькой Сербией, Югославией в целом. Но никогда, даже в периоды наибольших опасностей и злонамеренности, силы государственной политики не были в состоянии полностью заморозить эти отношения, разорвать связи; вопреки всем натискам идеологии и политики, вопреки положению и интересам государства в народных глубинах и творческих умах нерушимым и независимым осталось то, что связывает русских с югославами, с сербами в частности. Наиболее разрушительной и трагической по последствиям была бесчестная сталинская атака на Югославию. Народы Югославии попали тогда в ситуацию, в которой защита своей партии, такой же тоталитарной, сделалась равнозначной защите государственной независимости и национальной самобытности. Казалось, ни общечеловеческим ценностям, ни родству народов не одолеть тотальную ненависть, вспыхнувшую в час рокового испытания. Но не зря у нас говорят, что любой силе — свой срок. Выжило, все превозмогло и победило

*непреходящее, вечное. Поэтому прошу читателя не удивляться и не возмущаться, если он встретится в книге с высказыванием по нынешним меркам слишком резким, позицией, чрезмерно крутой: таково было время с его жесткой полемикой, таков, что поделаешь, «черногорский» темперамент самого автора.*

*А сам я уже с гимназических лет, прошедших в провинциальной черногорской глуши, всей душой впитывал и насыщал свои устремления богатствами русской литературы. Завораживали не только глубины ее пророческой прелести. Я находил в ней сгустки чувств и чаяний моего собственного народа, отзвуки его бытия. И это был не только мой хлеб духовный: русская литература, а вслед за тем мученический пафос русской революции вживлены в созревание, в процесс выбора пути двух-трех поколений. Совсем как некогда с моими предками, искавшими и находившими у русских царей, русской церкви помощь и защиту в схватках с империями и мировым клерикализмом.*

*И если настоящие записки внесут хоть малую лепту в разъяснение нашей — русской и югославской — истории, отягощенной идеологическими схемами и конфликтами, это будет наградой мне, доказательством того, что трудился я и рисковал не напрасно. А окажи к тому же они пусть минимальное содействие даже самому малому числу советских читателей в осознании ограниченности идеологии и губительности тоталитаризма, который она, идеология, вдохновляла и подпирала, — я испытал бы радость, приобретя на склоне лет столь важный стимул хотя бы только пером, но всё-таки участвовать в поисках выхода из общих для нас проблем и недоразумений. Одновременно это помогло бы сблизить наши народы, лучше понять, как страдали они, чем жертвовали, какие подвиги совершили.*

11.09.1990 г.

**МИЛОВАН ДЖИЛАС**

1.

---

**Беседы  
со Сталиным**

---



**Д**ля человеческой памяти естественно очищать себя от излишнего; в ней сохраняется лишь наиболее важное для последующих взаимоотношений. Но в этом и ее недостаток — память всегда пристрастна, она непременно изменяет ушедшую в прошлое реальность соответственно нынешним надобностям и надеждам на будущее.

Зная об этом, я старался в предлагаемой книге изложить факты как можно более точно. И если, несмотря на все, она не свободна от моих сегодняшних взглядов, то это следствие не моей злой воли или пристрастности борца, а скорее всего — упомянутого свойства самой памяти и попыток осветить прошлые встречи и события с учетом сегодняшнего опыта.

Почти все, о чем идет здесь речь, опытному читателю уже известно из опубликованной мемуарной и иной литературы. Но поскольку событие становится более рельефным и понятным, если оно описано со многими подробностями и рассмотрено с различных точек зрения, я подумал, что не будет излишним, если и я что-то расскажу. Я считал, что люди и человеческие отношения важнее сухих фактов, и этому уделил наибольшее внимание. А то, что в книге есть места, которые можно было бы назвать литературными отступлениями, следует отнести не столько к моему способу выражения мыслей, сколько к желанию сделать предмет более интересным, более ясным и осязаемым.

Когда я работал над своей автобиографией, то в 1955



или 1956 году мне пришла мысль собрать свои встречи со Сталиным в особую книжку, которую можно было бы напечатать заранее и отдельно. Но вскоре я попал в тюрьму, где было несподручно заниматься такого рода литературой, поскольку она хотя и относилась к прошлому, но неминуемо должна была затрагивать и нынешние политические отношения.

Только выйдя из тюрьмы, в январе 1961 года, я вернулся к своему прежнему замыслу. Естественно, что на этот раз из-за переменившихся условий и эволюции моих собственных взглядов я должен был подойти к этой теме несколько иначе. Больше внимания я обратил теперь на психологическую, человеческую сторону дела. И еще: несмотря на то что мы во многом далеко отошли от Сталина, о нем продолжают писать настолько разноречивые вещи, его существо еще настолько живо, что и я счел необходимым на основании собственного опыта и знаний добавить заключение по поводу этой поистине загадочной личности.

Но больше всего меня побуждает внутренняя необходимость не оставлять недосказанным ничего, что могло бы принести пользу пишущим историю, а в особенности борцам за более свободную жизнь человека.

Во всяком случае, и я и читатель должны быть удовлетворены, если правда осталась неискаженной, хотя и облеченной в мои чувства и мысли. Надо примириться с тем, что правда о людях и человеческих отношениях, как полна бы она ни была, всегда останется правдой конкретных людей, людей своего времени.

*Белград, ноябрь 1961 года.*

## УВЛЕЧЕНИЕ

### 1

Первой иностранной военной миссией при Верховном штабе Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии была британская — она приземлилась в мае 1943 года. Советская военная миссия прибыла десять месяцев спустя, в феврале 1944 года.

Вскоре после прибытия советской военной миссии бы-

ло решено направить и в Москву югославскую военную миссию, тем более что такая миссия при соответствующем британском командовании уже существовала. Верховному штабу, вернее, членам Центрального комитета Коммунистической партии Югославии, которые тогда работали в штабе, очень хотелось послать миссию в Москву. Думаю, что Тито в устной форме высказал это начальнику советской миссии генералу Корнееву, но несомненно, что этот вопрос был разрешен телеграммой советского правительства.

Посылка миссии в Москву имела для югославов разностороннее значение, а сама миссия — иной характер и во многом другие задачи, чем миссия при британском командовании.

Как известно, партизанское и повстанческое движение в Югославии против оккупантов и их местных помощников организовала Коммунистическая партия Югославии. Разрешая свои национальные проблемы в жесточайшей вооруженной борьбе, она продолжала считать себя членом мирового коммунистического движения, неотделимым от Советского Союза — «родины социализма».

Непосредственному руководству партии — Политбюро удавалось на протяжении всей войны поддерживать радиосвязь с Москвой. Формально это была связь с Коммунистическим Интернационалом — Коминтерном, но фактически и с советским правительством.

Специфические условия борьбы и существования революционного движения уже неоднократно вызывали недоумения с Москвой.

Как наиболее значительные упомяну следующие.

Москва никак не могла до конца понять югославскую революционную действительность, а именно что в Югославии одновременно с борьбой против оккупантов происходит и внутренняя революция. В основе этого непонимания лежало опасение советского правительства, как бы западные союзники, в первую очередь Великобритания, не высказали недовольства, что СССР через свои коммунистические филиалы извлекает выгоду из бедствий военного времени в оккупированных странах, расширяя революцию и свое влияние. Борьба югославских коммунистов, как это часто бывает с новыми явлениями, разорвала рамки установившихся взглядов и непреложных интересов советского правительства и государства.

Москва не поняла и особого характера борьбы в Юго-

славии. Хотя борьбой югославов были воодушевлены не только солдаты, сражавшиеся за сохранение русской национальной самобытности от германского нацистского нашествия, но и официальные советские круги, все же эти последние недооценивали ее, так как сравнивали со своим партизанским движением и его методами ведения борьбы. Партизаны в Советском Союзе были вспомогательной, второстепенной силой Красной Армии и не стали регулярной армией. Исходя из собственного опыта, советская верхушка не могла понять, что югославские партизаны могут превратиться в регулярную армию и государственную власть, а тем самым обрести собственный характер и интересы, отличающиеся от советских, — начать самостоятельное существование.

В связи с этим весьма значительным, а может быть, и решающим, был для меня такой случай.

Во время так называемого Четвертого наступления, в марте 1943 года, дошло до переговоров между Верховным штабом и местным немецким командованием. Поводом для переговоров был обмен пленными, а суть сводилась к тому, что немцы должны признать за партизанами права воюющей стороны, что прекратило бы взаимные убийства раненых и пленных. Кроме того, Верховный штаб, главные силы революционных войск и тысячи раненых находились тогда в смертельной опасности, и нам была крайне необходима любая передышка. Обо всем этом надо было сообщить Москве. Но мы понимали — Тито потому, что знал Москву, а мы с Ранковичем более подсознательно, — что ей не следует говорить всей правды. Было сообщено только, что мы ведем с немцами переговоры об обмене пленными.

Но в Москве даже не попытались войти в наше положение, тут же в нас усомнившись, и — несмотря на уже пролитые нами потоки крови — ответили нам очень резко. Я помню, как на мельнице возле реки Рамы, незадолго до нашего прорыва через Неретву в феврале 1943 года, реагировал на все это Тито:

«Мы обязаны заботиться в первую очередь о своей армии и своем народе».

Это было в первый раз, когда кто-то из членов Центрального комитета открыто высказал несогласие с Москвой. Тогда впервые и меня осенила мысль, независимо от слов Тито, хотя и не без связи с ними, что не может быть речи о полном согласии с Москвой, если мы хотим вы-

жить в смертельной схватке враждующих миров. Больше Москве мы об этом ничего не сообщали, а я под вымышленной фамилией еще с двумя товарищами отправился на переговоры с немецким командованием.

29 ноября 1943 года в Яйце на второй сессии Антифашистского веча были вынесены решения, фактически означавшие узаконение нового социалистического и государственного порядка в Югославии. Одновременно был сформирован Национальный комитет как временное правительство Югославии. Во время подготовки этого решения Центральный комитет коммунистической партии на своем заседании постановил, что Москве ни о чем сообщать не следует, пока все не будет закончено. Из предыдущего опыта с Москвой и из направления ее пропаганды мы знали, что она не будет в состоянии понять этого. И действительно, реакция Москвы на решения в Яйце была до такой степени отрицательной, что радиостанция «Свободная Югославия», обслуживавшая из Советского Союза повстанческое движение в Югославии, часть этих решений даже не передала в эфир. Советское правительство, следовательно, не поняло самого важного шага югославской революции — шага, который превращал революцию в новый строй и выводил ее на международную арену. Только после того как стало очевидным, что Запад на решения в Яйце реагирует сочувственно, Москва изменила свою позицию и примирилась с действительностью.

Но несмотря на горечь этого опыта, все значение которого югославские коммунисты смогли до конца понять только после разрыва с Москвой в 1948 году, несмотря на различные формы существования, мы считали себя не только идейно связанными с Москвой, но и ее самыми верными последователями. Хотя действительность, революционная и иная, все последовательнее и непримиримее отделяла югославских коммунистов от Москвы, именно в своих революционных успехах они видели подтверждение связи с Москвой и с идеологическими схемами, ею предписанными. Москва была для них не только политическим и духовным центром, но и осуществлением поистине абстрактного идеала — «бесклассового общества», чего-то, что не только делало легкими и приемлемыми их жертвы и страдания, но и оправдывало в их глазах собственное существование.

Это была партия не только идеологически сплоченная, как советская, но и верная советскому руководству, что

было одним из ее главных созидательных элементов и активности. Сталин представлялся не только неоспоримым и гениальным вождем, но и воплощением самой идеи и мечты о новом обществе. Это обожествление личности Сталина и безусловное принятие всего, происходившего в Советском Союзе, приобретало иррациональные формы и масштабы. Любое действие советского правительства — скажем, нападение на Финляндию, все отрицательное в Советском Союзе, например, судебные расправы и чистки — получало оправдание, еще более странным являлось то, что коммунистам удавалось убеждать самих себя в целесообразности и справедливости всех этих мероприятий или, что еще проще, вытеснять из своего сознания и забывать неприятные факты.

Между нами, коммунистами, были и люди с развитым эстетическим вкусом, с глубоким знанием литературы и философии, но, несмотря на это, мы все же были воодушевлены не только взглядами Сталина, но и «совершенством» формы их изложения. Я и сам в дискуссиях часто указывал на кристальность стиля, на несокрушимость логики и гармонию изложения сталинских мыслей как выражение глубочайшей мудрости, хотя для меня и тогда не составило бы большого труда определить, — если бы дело касалось другого автора, — что на самом деле это бесцветная ограниченность и неуместная смесь вульгарной журналистики с Библией. Иногда это принимало комические формы: всерьез считали, что война окончится в 1942 году, потому что так сказал Сталин. Когда же этого не произошло, пророчество было забыто, причем прорицатель ничего не потерял от своего сверхчеловеческого могущества. С югославскими коммунистами происходило то же, что происходило за всю долгую человеческую историю с теми, кто свою судьбу и судьбу мира подчинял одной-единственной идее. Сами того не замечая, они создавали в своем воображении Советский Союз и Сталина такими, какими они были необходимы для их борьбы и ее оправдания.

Югославская военная миссия направлялась, следовательно, в Москву с идеальными представлениями о советской власти и Советском Союзе, с одной стороны, и с собственными насущными нуждами — с другой. Внешне она не отличалась от миссии, направленной к британцам, но по своему составу и взглядам одновременно представляла и неофициальную связь с политическим руковод-

ством своих единомышленников. Проще: миссия должна была иметь одновременно и военный, и партийный характер.

## 2

Поэтому, совсем не случайно, Тито, кроме генерала Велимира Терзича, назначил в миссию и меня как крупного партийного работника — уже в течение нескольких лет я входил в высшее партийное руководство. И другие члены миссии были отобраны таким же способом — партийные или военные руководители, а среди них и один специалист по финансам. В миссию входил и атомный физик Павле Савич — фактически для того, чтобы продолжать в Москве свою научную работу. Все мы, конечно, были в форме — у меня был чин генерала. Думаю, что выбор пал на меня еще по той причине, что я хорошо знал русский язык — я выучил его в тюрьме, — и потому, что я никогда раньше не ездил в Советский Союз и не был отягощен ни фракционным, ни уклонистским прошлым. Другие члены миссии тоже никогда не бывали в Советском Союзе, и русского языка никто из них хорошо не знал.

Было начало марта 1944 года.

Несколько дней ушло на созыв членов миссии и на их подготовку. Наше обмундирование было старым и не единообразным, и, поскольку не было подходящего сукна в достаточном количестве, новые мундиры нам переделали из трофейных итальянских. Надо было еще выправить документы для проезда через британские и американские зоны. На скорую руку их отпечатали — это были первые паспорта нового югославского государства с личной подписью Тито.

Почти само собой возникло предложение привезти Сталину подарки. Но какие и откуда? В непосредственных окрестностях — Верховный штаб находился тогда в Дрваре — села были почти все сожжены и ограблены, местечки опустошены. Но решение нашлось: отвезти Сталину одну из винтовок, сделанных на партизанской фабрике в Ужице в 1941 году, — винтовку отыскивали с превеликим трудом. А из сел начали поступать подарки — торбы, вышитые рушники, народная одежда и обувь. Мы отобрали лучшее (к лучшему относились опанки\* из сыромятной кожи), все

---

\* Кожаные лапти. (Прим. пер.)

было сиротским и убогим. Но именно потому, что вещи были такими — выражением народной простосердечности, — мы решили, что их надо взять с собой.

У миссии было задание стремиться получить всестороннюю советскую помощь для Народно-освободительной армии Югославии. Одновременно Тито поручил нам, через советское правительство или по другим каналам, добиваться помощи УНРРА для освобожденных территорий Югославии. От советского правительства надо было запросить заем в двести тысяч долларов на расходы наших миссий на Западе. Тито подчеркнул и обязал нас заявить, что эту сумму, как и расходы на помощь медикаментами и оружием, мы возвратим после освобождения страны.

Миссия должна была отвезти с собою архив Верховного штаба и Центрального комитета Коммунистической партии.

И, что самое важное, надо было прозондировать возможности признания Национального комитета как временного законного правительства и повлиять в этом направлении через Москву на западных союзников.

Связь с Верховным штабом миссия должна была поддерживать через советскую миссию в Югославии. Можно было использовать и старую связь через Коминтерн.

Но кроме этих заданий в связи с миссией Тито при прощании поручил мне разведать у Димитрова или Сталина, если мне удастся к нему попасть, нет ли каких-либо упреков в адрес нашей партии.

Это распоряжение Тито было чисто формальным подчеркиванием дисциплинированности по отношению к Москве. Он сам, конечно, был глубоко уверен, что Коммунистическая партия Югославии, и только она одна, блестяще выдержала испытания. Был разговор и о югославской политической эмиграции. Тито считал, что не следует впутываться во взаимные обвинения, в особенности же если это связано с советскими партийными органами и руководителями. Одновременно Тито подчеркнул, что следует опасаться секретарш, так как они бывают разные, что я воспринял не только как заботу об уже традиционной партизанской морали, но и как предупреждение всего, что могло бы угрожать авторитету и особенностям югославской партии и югославского коммуниста.

Все мое существо трепетало в радостном предчувствии скорой, очень скорой встречи с Советским Союзом, пер-

вой такой страной в истории человечества. Моя вера была тверже гранита, это была неомраченная вера мечтателей, борцов и мучеников — во имя нее и я томился и подвергался истязаниям в темницах, ненавидел и проливал человеческую кровь, не жалея крови собственных братьев.

Но была и печаль — я оставлял своих товарищей в разгаре боев, а свою землю в смертельной схватке, полем битвы и пожарищем.

Я попрощался с советской военной миссией сердечнее, чем обычно после встреч с ее представителями, обнял друзей, тоже опечаленных, и направился к полемому аэродрому возле Босанского Петровца. Здесь мы провели весь день, осматривали аэродром, разговаривая с обслуживающим его персоналом, имевшим уже вид и навыки спецслужбы, и с крестьянами, освоившимися с новой властью, поверившими в неизбежность ее победы.

Здесь в последнее время по ночам регулярно приземлялись британские самолеты, но не часто — самое большее один-два в ночь, забирали раненых и редких пассажиров, доставляли грузы, чаще всего санитарные. Один из самолетов выгрузил недавно джип — подарок британского командования Тито. Месяц тому назад, в полдень, самолетом на лыжной установке на этот аэродром спустилась советская военная миссия; это был — принимая во внимание рельеф местности и другие условия — подвиг, но одновременно и необычный парад из-за большого количества британских истребителей, сопровождавших самолет миссии.

Спуск и взлет своего самолета я тоже воспринял как подвиг — чтобы спуститься в узкую, неровную долину или вылететь из нее, самолет должен был проходить непосредственно над острыми гребнями скал.

Но какой печальной, потонувшей во мраке была моя земля! Горы, бледные от снега и изрытые черными ущельями, долины, погруженные во тьму без капли света до самого моря и дальше. Внизу война, ужасная, самая ужасная из всех, даже для этой земли, привыкшей к походам, к дыханию битв и восстаний. Народ схватился с завоевателем, а еще более жестоко режутся между собой родные братья. Когда же загорятся огни по селам и местечкам моей земли? Перейдет ли она от ненависти и смерти к радости и покою?

Сначала мы остановились в Бари в Италии, где была крупная база югославских партизан — больницы, продо-



вольственные и вещевые склады. Оттуда мы летели в Тунис — окольным путем из-за немецких баз на Крите и в Греции, задержались ненадолго на Мальте как гости британского коменданта и снизились на привал возле Тобрука, когда дымный пожар из рыжей каменной пустыни облизывал все небо.

На другой день мы прибыли в Каир. Британцы нас поместили незаметно в отеле и предоставили в наше распоряжение автомобиль. Лавочки и прислуга, видя пятиконечные звезды, принимали нас за русских. Но приятно было слышать — после того как мы поспешно объясняли, что мы югославы, или произносили имя Тито, — что они знают о нашей борьбе. В одной лавке нас встретили ругательствами на нашем родном языке, которые продавщица, ничего не подозревая, выучила от эмигрантов-офицеров. Была там и группа этих офицеров, которые высказались за Тито, охваченные желанием бороться и тоской по своей измученной стране.

Узнав, что в Каире начальник УНРРА Леман, я попросил советского посла отвезти меня к нему — изложить наши пожелания. Американец принял нас сразу, но холодно, сказал, что наши требования рассмотрят на предстоящем совещании УНРРА и что УНРРА в принципе сотрудничает только с легальными правительствами.

Как бы для того, чтобы мои примитивные и вызубренные понятия о западном капитализме — этом непримиримом враге любого прогресса и всех слабых и угнетенных — подтвердились уже при первой встрече с его представителями, господин Леман принял нас лежа. У него была в гипсе нога, и его страдания от боли и от жары я принял за недовольство нашим посещением. Вдобавок ко всему его переводчик на русский язык, похожий на волосатого громила, был для меня прообразом бандита из ковбойских фильмов.

В действительности же мне нечего было жаловаться на посещение Лемана — я был выслушан и мне пообещали, что наш вопрос рассмотрят.

Три дня в Каире мы, конечно, использовали для осмотра исторических достопримечательностей, а также посетили первого руководителя британской миссии в Югославии майора Дикина — он пригласил нас на обед в узком кругу.

Из Каира мы прилетели на британскую базу Хаббания возле Дамаска. Представители британского командования

не захотели везти нас в Дамаск, сказав, что там не совсем безопасно. Это мы восприняли как сокрытие колониалистского террора, который, очевидно, проводится там не менее жестоко, чем немецкая оккупация в нашей стране.

Британцы нас пригласили на спортивные состязания своих солдат. Мы получили места рядом с комендантом. Перетянутые поясами, застегнутые до горла, мы были смешны самим себе, а навверное, и вежливым, державшим себя совсем непринужденно англичанам.

К нам приставили майора, веселого добродушного дядьку, который все извинялся, что плохо говорит по-русски. Он забыл даже то, что выучил во время интервенции в Архангельске. Он был в восторге от русских — их делегации тоже остановились в Хаббании. Но восторгался не их социальной системой, а простотой и решительностью, с которой они осушали — «За Сталина, за Черчилля!» — громадные стаканы водки или виски.

Майор спокойно, но не без гордости рассказывал о борьбе против местных повстанцев, подстрекаемых немецкими агентами, — ангары были действительно изрешечены пулями.

Закосневшие в своем доктринерстве, мы считали, что невозможно, а главное, неразумно жертвовать собою «за империализм» — так мы называли борьбу Запада. Но внутренне мы восхищались геройством и стойкостью британцев: малочисленные, без надежды на помощь, они боролись и победили в отдаленных и знойных азиатских пустынях. Если я и не сумел тогда сделать более глубоких выводов, то все же это повлияло на мою позднейшую веру в то, что нет одного-единственного идеала и что на земле много — бесконечное множество — ценностных систем.

Мы относились к британцам с недоверием и чуждались их, но особенно мы опасались и примитивно представляли себе их разведывательную службу — «Интеллидженс сервис». Это была смесь начетнических упрощений, влияния сенсационной литературы и растерянности новичков в большом мире.

Конечно, мы так не опасались бы, не будь с нами этих мешков с архивом Верховного штаба. А в них были и телеграммы, которыми мы обменивались с Коминтерном. Подозрительным казалось и то, что британские военные власти смотрели на эти мешки так, как будто там были сапоги или консервы. Я их, конечно, всю дорогу держал возле себя, а чтобы не оставаться одному на ночь, в моей

комнате спал Марко «Пипер», член партии с довоенных времен, черногорец, человек простой, преданный и храбрый.

И вот однажды ночью в Хаббании кто-то тихо отворил дверь моей комнаты. Я почувствовал это, хотя дверь не скрипнула, увидел фигуру туземца, освещенную луной, и, запутавшись в пологе от комаров, крикнул, выхватив из-под подушки пистолет. Марко вскочил — он ложился одетым, — но незнакомец как сквозь землю провалился.

Туземец, наверное, заблудился или хотел что-нибудь украсть. Но мы, конечно, увидели в этом руку британского шпионажа и усилили свою и без того неусыпную бдительность. Мы были счастливы, что британцы на следующий день предоставили нам самолет в Тегеран.

Тегеран, там, где мы ехали по нему — от советской комендатуры до советского посольства, — был уже частью Советского Союза. Советские офицеры приняли нас с искренней сердечностью, в которой чувствовалось и традиционное русское гостеприимство, и солидарность борцов за общие идеалы в разных частях света. В советском посольстве нам показали круглый стол, за которым шла Тегеранская конференция, и комнатку на первом этаже, где останавливался Рузвельт, — там сейчас никто не жил и все сохранялось, как было при нем.

Наконец советский самолет понес нас к Советскому Союзу — воплощению нашей мечты, нашей надежде. И чем глубже мы тонули в его серовато-зеленых просторах, тем сильнее охватывало меня новое, до той поры лишь смутно угадывавшееся чувство, — что я возвращаюсь на древнюю, незнакомую свою родину.

Мне всегда были чужды любые панславянские чувства. В тогдашних московских панславянских идеях я видел только возможность мобилизовать против германского нашествия консервативные силы. Но это ощущение было чем-то другим, более глубоким, и не вмещалось в рамки моей принадлежности к коммунизму. Я смутно припоминал, что уже три столетия югославские мечтатели и борцы, государственные мужи и властители — чаще всего владыки измученной Черногории — совершали паломничества в Россию, надеясь найти там понимание и спасение. Не шли ли и я их путем? И не это ли родина наших предков, выброшенных неизвестной силой на балканский сквозняк? Россия никогда не понимала южных славян и их стремлений — потому что она была царской и помещичьей, думал

я. Но я твердо верил, что все социальные и иные причины этих и вообще всех конфликтов Москвы с другими народами наконец устранены. Я воспринимал это тогда как осуществление общечеловеческого братства и как свое воссоединение с праисторической славянской семьей.

Но ведь это не только родина моих прадедов, а и борцов, гибнущих за подлинное всеобщее братство и бесповоротное господство человека над вещами.

Я сливался с разливами Волги и с бескрайними серыми равнинами как с собственным прабытием — какими-то мне до той поры самому неизвестными тайниками души. Мне приходила мысль поцеловать русскую советскую землю, как только я ступлю на нее, что я непременно и сделал бы, если бы это не выглядело религиозно или еще хуже — театрально.

В Баку нас встретил комендант — молчаливый великан-генерал, огрубевший от казарм, войны и службы, — олицетворение великой страны в беспощадной борьбе против опустошительного нашествия. Грубовато-сердечный, он все удивлялся нашей почти стыдливой сдержанности:

«Что за народ — не пьют, не едят! А мы, русские, хорошо едим, еще лучше пьем, а лучше всего деремся!»

Москва была темной, сумрачной и удивила нас множеством низких зданий.

Но какое это имело значение? Что могло сравниться с устроенной нам встречей — почестями по рангу и сердечностью, намеренно сдержанной в связи с коммунистическим характером нашей борьбы? Что могло сравниться с гигантской войной, которую мы считали последним великим искушением человечества, которая была нашей жизнью, нашей судьбой? Не бледно ли и незначительно все остальное в сравнении с реальностью, ставшей, наконец, здесь, в советской стране, нашей и общечеловеческой, — превратившейся из страшного сна в спокойную и радостную явь?

### 3

Нас поместили в Центральном Доме Красной Армии — ЦДКА, где останавливались советские офицеры. Питание и все остальные условия были прекрасными. Нам дали в пользование автомашину с шофером Пановым, челове-

ком средних лет, с самостоятельным мышлением, хотя и не без чудачеств. Через офицера связи, капитана Козовского, молодого и красивого парня, гордого своим казачьим происхождением — тем паче, что казаки в этой войне «смыли» свое контрреволюционное прошлое, — мы могли в любое время получить места в театре, кино и где угодно.

Но более серьезного контакта с советскими руководителями завязать нам никак не удавалось, хотя я сразу просил приема у В. М. Молотова, в то время наркома иностранных дел, а по возможности и у И. В. Сталина, председателя правительства и Верховного Главнокомандующего вооруженными силами. Тщетны были и мои попытки сообщить о наших пожеланиях и нуждах обходными путями.

Меньше всего могло мне помочь югославское посольство, формально все еще королевское, несмотря на то что посол Симич и немногочисленные служащие прикнули к маршалу Тито. Хотя им и оказывали внешние знаки уважения, но они были еще беспомощнее нас.

Через югославскую партийную эмиграцию тоже ничего нельзя было сделать. Она очень поредела в результате чисток; самой выдающейся личностью был там Велько Влахович. Мы были одного возраста, оба черногорцы и оба участники революционного студенческого движения против диктатуры короля Александра. Он был инвалидом испанской гражданской войны, а я прибыл с войны еще более страшной. Он обладал высокими моральными качествами, широким образованием, был умен, но слишком дисциплинирован и не мыслил самостоятельно. Руководил он радиостанцией «Свободная Югославия», и сотрудничество с ним было очень полезным. Но связи его не поднимались выше Георгия Димитрова, который — поскольку Коминтерн был распущен — руководил вместе с Мануильским отделом советского Центрального комитета по связям с иностранными коммунистическими партиями.

Нас хорошо кормили, любезно принимали, но в вопросах, требующих обсуждения и решения, мы не могли сдвинуться с мертвой точки. Хочу еще подчеркнуть — во всем остальном к нам относились необычайно любезно и предупредительно. Но только после того как меня и генерала Терзича через месяц после нашего приезда приняли Сталин и Молотов и об этом было сообщено в печати, — перед нами как по мановению волшебной палочки откры-

лись все двери громоздкой советской администрации и высших кругов советского общества.

Всеславянский комитет, созданный во время войны, первым начал устраивать для нас банкеты и приемы. Но любому, а не только коммунисту бросилась бы в глаза его искусственность и незначительность. Он был вывеской и служил лишь пропаганде, но даже в этом качестве его роль была ограниченной. Цели его тоже не были вполне ясны: в комитет входили главным образом коммунисты из славянских стран — эмигранты в Москве; идеи всеславянской солидарности были им совершенно чужды. Все без слов понимали, что должны оживить нечто давно отошедшее в прошлое и хотя бы парализовать антисоветские панславянские течения, если уж не удастся сгруппировать славян вокруг России как коммунистической страны.

Руководили комитетом мелкие люди. Председатель генерал Гундоров был преждевременно состарившимся, узким во взглядах человеком, с ним невозможно было серьезно говорить даже по вопросам показной славянской солидарности. Секретарь комитета Мочалов обладал большим авторитетом, так как был близок к органам госбезопасности, — при склонности к бахвальству ему это плохо удавалось скрывать. И Гундоров, и Мочалов были офицерами Красной Армии, обнаружившими свою непригодность на фронте, — у обоих чувствовалась скрытая подавленность людей, пониженных в должности и назначенных на чуждую им работу. Только секретарь Назарова, щербатая и чересчур любезная, проявляла что-то напоминавшее любовь к славянам и сочувствие к их страданиям, несмотря на то, что и ее деятельность — как выяснилось уже потом в Югославии — направлялась органами советской разведки.

Во Всеславянском комитете много ели, больше пили, а больше всего — говорили. Длинные и пустые застольные речи были по содержанию примерно такими же, как в царские времена, а по форме, конечно, менее красивыми. По правде сказать, меня уже тогда удивляло отсутствие каких бы то ни было свежих всеславянских идей. Соответствующим было и здание комитета — подражание барокко или чему-то в этом роде посреди современного города.

Комитет был детищем временной, мелкой и небескорыстной политики.

Чтобы читатель меня правильно понял, добавлю: хотя

многое мне было ясно уже тогда, я нисколько не удивлялся или ужасался. То, что комитет был послушным орудием советского правительства для влияния на отсталые слои славян вне Советского Союза, что его работники были связаны с тайными и открытыми представителями власти, — все это меня вовсе не смущало. Меня удивляла лишь его слабость и несерьезность, а в особенности то, что он не смог открыть мне путь к советскому правительству и помочь удовлетворению югославских нужд. Потому что я, как каждый коммунист, хорошо усвоил мысль, что не может быть противоречий между Советским Союзом и любым другим народом, — не говоря уже о такой революционной и марксистской партии, как югославская. И хотя я считал Всеславянский комитет устаревшим и неподходящим орудием для достижения коммунистических целей, я принимал и его, главным образом потому, что на этом настаивало советское руководство. Что же касается его связей с органами госбезопасности, то ведь и сам я по традиции видел в них чуть ли не божественных стражей революции — «меч в руках партии».

Следует пояснить и характер моего стремления быть принятым в советских верхах. Хотя я и спешил, но не проявлял назойливости и был далек от мысли упрекать в чем-либо советскую власть. Я привык видеть в ней руководящую силу коммунизма как целого — нечто высшее, чем даже руководство моей партии и моей революции. От Тито и других я уже слышал, что долгое ожидание — для иностранных коммунистов, конечно, — что-то вроде стиля Москвы. Смущало и приводило меня в нетерпение только непонимание неотложности дел именно моей, югославской, революции.

Потому что, хотя никто, даже сами югославские коммунисты не произносили этого слова, — давно было ясно для всех, что у нас происходит именно революция. На Западе об этом повсюду уже писали. В Москве же как раз это никак не хотели замечать — даже те, в чьи, так сказать, прямые обязанности это входило. Все упрямо говорили только лишь о борьбе против немецких захватчиков, еще упрямей подчеркивали исключительно патриотический характер этой борьбы и назойливо твердили о ведущей роли Советского Союза. Я был далек от мысли оспаривать решающую роль советской компартии в мировом коммунистическом движении или роль Красной Армии в войне против Гитлера. Но и на моей земле и в ее условиях — на

глазах у всех — югославские коммунисты вели войну независимо от временных успехов или неудач Красной Армии, причем войну, одновременно изменявшую политическую и социальную структуру страны. Югославская революция как вовне, так и в самой стране перегнала внешнеполитические потребности советского правительства и его умение приспособляться — так я объяснял себе препятствия и недоразумения, с которыми столкнулся.

Наиболее странным казалось что те, кто не мог этого не понимать, покорно молчали и делали вид, что не понимают. Я еще не усвоил, что в Москве не следует спешить высказываться — в особенности определять политические установки, — пока не скажет свое слово Сталин или хотя бы Молотов. Это было законом даже для таких высокопоставленных лиц, как бывшие секретари Коминтерна — Мануильский и Димитров.

Тито, Кардель и другие коммунисты, бывшие в Москве, рассказывали, что Мануильский к югославам особо расположен. Во время чисток 1936—1937 годов, когда пострадала почти вся югославская эмиграция, это могло для него обернуться во зло, но сейчас, когда югославы выступили против нацистов, его симпатии можно было расшифровать как дальновидность. Во всяком случае, в его восхищении борьбой югославы чувствовалась известная доля личной гордости, хотя он не был знаком ни с кем из новых югославских руководителей, кроме, может быть, Тито, да и с тем поверхностно.

Встретились мы с ним как-то вечером. На встрече присутствовал и Г. Ф. Александров, бывший тогда известным советским философом и — что еще важнее — заведующим Управлением агитации и пропаганды при Центральном комитете ВКП(б).

Александров не произвел на меня никакого определенного впечатления — неопределенность, почти безликость и была главной, отличительной его чертой. Он был невысок, коренаст, лыс, а его бледность и полнота показывали, что он не выходит из рабочего кабинета. Кроме общих замечаний и любезных улыбок — ни слова о характере и перспективах восстания югославских коммунистов, хотя я как бы невзначай указывал именно на эти проблемы. Центральный комитет, очевидно, еще не определил своей точки зрения, и советская пропаганда продолжала говорить о борьбе против оккупантов, обходя молчанием внутренние югославские и международные отношения.



Мануильский тоже не занял определенной позиции. Но он проявил живой, возбужденный интерес. Я уже знал про его ораторский талант — о нем можно было судить по его статьям, он проявлялся в образности и законченности его речи. Это был маленький и уже ссутулившийся человек, смуглый, с подстриженными усами. Голос у него был шепелявый, почти нежный и, как ни странно, совсем не энергичный. Таким он был во всем — предупредительный, вежливый до слащавости и с заметным налетом светскости.

Говоря о развитии восстания в Югославии, я сказал, что в ней по-новому формируется власть, по существу, такая же, как советская. В особенности я подчеркивал новую революционную роль крестьянства: восстание в Югославии для меня почти сводилось к слиянию крестьянского бунта с коммунистическим авангардом. И хотя Мануильский и Александров против этого не возражали, но одобрения они тоже ничем не выказали.

Я считал нормальным, что Сталин во всем играет главную роль, но все же ожидал от Мануильского большей самостоятельности во взглядах и инициативы в действиях. На меня произвела впечатление его живость, тронуло восхищение борьбой в Югославии, но встреча с ним мне показала, что Мануильский не принимает участия в определении политики Москвы — в том числе и по отношению к Югославии.

О Сталине он говорил, пытаясь облечь непомерное восхваление в «научные» и «марксистские» формулировки. Это звучало примерно так:

«Знаете, просто непостижимо, что одна личность могла сыграть такую решающую роль в судьбоносные моменты войны. И что в одной личности соединилось столько талантов — государственного деятеля, мыслителя и воина!»

Мои мысли о роли Мануильского впоследствии полностью оправдались. Его назначили министром иностранных дел Украины — по рождению он был украинский еврей, — что означало окончательное удаление ото всех подлинно политических дел. Впрочем, и как секретарь Коминтерна он был послушным орудием Сталина, так как его прошлое не было вполне большевистским — он был в группе так называемых «межрайонцев», во главе которой стоял Троцкий. Группа присоединилась к большевикам перед самой революцией 1917 года.

Я видел Мануильского в 1949 году в Объединенных

Нациях — он выступал там от имени Украины против «империалистов» и «фашистской клики Тито». От его красноречия осталась развязность, а от пронизательной мысли — фразы. Это был уже потерянный слабый старичок — вскоре он скатился со ступенек советской иерархической лестницы и след его затерялся.

С Димитровым этого не произошло.

Я встречался с ним тогда трижды — два раза в советской правительственной больнице, а в третий — на его подмосковной даче.

Каждый раз он производил впечатление больного человека. Дыхание его было астматическим, кожа местами нездорово красная, местами бледная, местами — возле ушей — сухая, как при лишае. Волосы были до такой степени редкими, что сквозь них просвечивал увядший желтый череп.

Но мысль его была живой и свежей, что совсем не вязалось с медленными и усталыми движениями. Этот слишком рано состарившийся, физически почти сломленный человек все еще излучал мощную умственную энергию и жар. Об этом свидетельствовали и черты его лица, в особенности напряженный взгляд выпуклых синеватых глаз и резко выдающиеся нос и подбородок. Хотя он и не высказывал всего, что думал, но говорил открыто и твердо. Он, конечно, понимал суть событий в Югославии, хотя тоже считал, что преждевременно говорить о подлинном коммунистическом характере происходящего, принимая во внимание отношения СССР и Запада. Я также думал, что в пропаганде надо прежде всего говорить о борьбе против оккупантов и нельзя подчеркивать ее коммунистическую суть. Но я хотел добиться, чтобы советские верхи, да и сам Димитров, поняли, что бессмысленно — по крайней мере в Югославии — настаивать на коалициях между коммунистическими и буржуазными партиями, поскольку и во время войны, и во время гражданской войны оказалось, что коммунистическая партия — единственная реальная политическая сила в стране. Практическим следствием такой точки зрения было бы непризнание югославского королевского правительства в эмиграции — и вообще монархии.

На первой встрече я рассказал Димитрову о событиях и положении дел в Югославии.

Он не ожидал, чистосердечно признался Димитров, что югославская партия окажется самой боевой и операти-

вной и возлагал больше надежд на французскую партию. Он вспомнил, как Тито, уезжая в конце 1937 года из Москвы, давал обещание, что югославские коммунисты смоют пятно, оставленное разными фракционерами, и докажут, что они достойны своего имени. Он, Димитров, посветовал Тито не зарекаться, а действовать умно и решительно. Он рассказывал:

— Знаете, когда возник вопрос, кого назначить секретарем югославской партии, возникли разногласия, но я был за Вальтера\* — он рабочий и казался мне твердым и серьезным. Мне приятно, что я не ошибся.

Димитров, как бы извиняясь, упомянул, что советское правительство не смогло в самое тяжелое время помочь югославским партизанам. Он заинтересовал этим делом лично Сталина. Это была правда — советские летчики уже в 1941—1942 годах тщетно пытались пробиться к югославским партизанским базам, а некоторые югославские эмигранты, которых они перебросили, замерзли.

Димитров вспомнил и наши переговоры с немцами по поводу обмена ранеными:

— Мы тогда за вас испугались, но, к счастью, все хорошо закончилось.

Я промолчал и не сказал бы ничего больше того, что сказал он, если бы он даже настаивал на подробностях. Но опасности, что он скажет или спросит что-нибудь неподходящее, не было — в политике быстро забывается все, что хорошо кончается.

Димитров, впрочем, ни на чем не настаивал — Коминтерн был на самом деле распущен, и работа Димитрова сводилась к сбору информации о коммунистических партиях и подаче, в случае надобности, советов советскому правительству и партии.

Он рассказал мне, как впервые возникла идея о роспуске Коминтерна: это было во время присоединения Балтийских стран к Советскому Союзу. Уже тогда стало ясно, что главной силой, распространяющей коммунизм, является Советский Союз, и поэтому весь потенциал следует сгруппировать непосредственно вокруг него. Но роспуск был отложен из-за международного положения, — чтобы не подумали, что это сделано под влиянием немцев, отношения с которыми складывались тогда неплохо.

---

\* Псевдоним Иосипа Броза в Коминтерне и вообще до момента, когда он принял псевдоним Тито.

Димитров обладал на редкость большим авторитетом у Сталина и — что, вероятно, менее важно — был непререкаемым вождем болгарского коммунистического движения.

Две последующие встречи с Димитровым это подтвердили. На первой я сообщил членам болгарского Центрального комитета о положении в Югославии, а на второй был разговор о возможностях болгарско-югославского сотрудничества и о борьбе в Болгарии.

На встрече с болгарским Центральным комитетом кроме Димитрова присутствовали Коларов, Червенков и другие.

С Червенковым я встретился уже во время моего первого посещения, хотя он в разговоре не участвовал и я принял его за личного секретаря Димитрова. Он и на второй встрече оставался в тени — молчаливым и сдержанным, хотя впоследствии произвел на меня совсем иное впечатление. От Влаховича и других я уже знал, что Червенков — муж сестры Димитрова, что во время чисток его должны были арестовать. В политической школе, где он преподавал, было уже сообщено о его «разоблачении», но ему удалось спрятаться у Димитрова. Димитров предпринял шаги в НКВД — и все обошлось.

Во время чисток особенно пострадали коммунисты-эмигранты, члены нелегальных партий, за которых некому было заступиться. Болгарским эмигрантам повезло: Димитров был секретарем Коминтерна, личность с авторитетом — он спас многих из них. За югославов заступиться было некому, а сами они копали один другому могилы, борясь за власть и состязаясь в изыскании доказательств преданности Сталину и ленинизму.

На Коларове, которому было за семьдесят, уже сказались следы старости, а еще больше — следы многолетней политической пассивности. Он выглядел как реликвия из времен тесняков\* и повстанческих дней болгарской партии. У него была большая, скорее турецкая, чем славянская голова, резкие черты лица, крупный нос, чувственные губы. Мысли его были направлены в прошлое и на второстепенные подробности, причем не лишены озлобления.

---

\* *Тесняки* — левое течение болгарской рабочей социал-демократической партии, из которого позднее развилась коммунистическая партия. В 1923 году болгарские коммунисты с оружием в руках сопротивлялись военной клике генерала Цанкова, которая совершила политический переворот и убила крестьянско-го вождя Александра Стамболийского.

В своем изложении я не мог ограничиться одним лишь анализом, а рисовал также страшную картину пожарищ и резни: из десяти тысяч довоенных членов партии хорошо если оставались в живых две тысячи, а потери бойцов и местного населения я тогда оценил в миллион двести тысяч. После моего рассказа Коларов счел удобным задать один-единственный вопрос:

— А как, по вашему мнению, язык, на котором говорят в Македонии, более похож на болгарский или на сербский?

У руководства югославской компартии уже были серьезные трения с Центральным комитетом в Болгарии, который считал, что поскольку Болгария оккупировала Македонию, то тем самым под его руководство переходит и организация тамошней югославской коммунистической партии. Спор в конце концов прекратил Коминтерн, одобрив югославскую точку зрения, — но уже после нападения Германии на СССР. Однако трения вокруг Македонии и по вопросам восстания продолжались и все усиливались по мере приближения неизбежного поражения Германии, а вместе с ней и Болгарии. Влахович в Москве тоже замечал, что болгарские коммунисты претендуют на югославскую Македонию. Правда, Димитров здесь несколько отличался от других: на первом плане у него был вопрос болгарско-югославского сближения. Но я думаю, что и он не считал македонцев особой национальностью, хотя его мать была македонка и в его отношениях к македонцам ощущалась сентиментальность.

Может быть, в моих словах было слишком много горечи, когда я ответил Коларову:

— Я не знаю, ближе ли македонский язык к болгарскому или к сербскому, но македонцы — не болгары, а Македония — не болгарская.

Димитрову это было неприятно, — он покраснел, махнул рукой:

— Все это не важно! — и перешел к другому вопросу.

Я забыл, кто присутствовал при третьей встрече с Димитровым, но Червенков, по всей вероятности, на ней был. Встреча состоялась накануне моего возвращения в Югославию в начале июня 1944 года. На ней говорили о сотрудничестве югославско-болгарских коммунистов. Но полезного разговора на эту тему почти и быть не могло — у болгар тогда практически не было партизанских отрядов.

Я настаивал на необходимости создать в Болгарии партизанские отряды, начать вооруженные действия, называл иллюзиями ожидание переворота в болгарской царской армии. Я исходил из югославского опыта: из старой королевской армии в партизаны пошли лишь отдельные офицеры, и коммунистическая партия должна была создавать армию, начиная с небольших отрядов и преодолевая серьезные препятствия. Было очевидно, что и Димитров разделяет упомянутые иллюзии, хотя и он считал, что следовало бы активнее приступить к формированию партизанских отрядов.

Но было видно, что он знал что-то, чего не знал я. Когда я указал, что даже в Югославии, где оккупация разрушила старый государственный аппарат, потребовалось много времени, чтобы добить его остатки, он заметил:

— Через три-четыре месяца в Болгарии и так будет переворот — Красная Армия вскоре выйдет к ее границам!

Хотя Болгария не была в состоянии войны с Советским Союзом, я понимал, что Димитров ориентировался на Красную Армию как на решающий фактор. Он, правда, не сказал определенно, что Красная Армия войдет в Болгарию, но было очевидно, что он тогда уже это знал и дал мне это понять.

При таких взглядах и расчетах Димитрова мой упор на партизанские действия потерял практически значение и смысл. Разговор свелся к обмену мнениями и к братским приветствиям Тито и югославским борцам.

Следует отметить отношение Димитрова к Сталину. Он тоже говорил о нем с уважением и восхищением, но без явной лести и низкопоклонства. Он относился к Сталину как дисциплинированный революционер, повинующийся вождю, но думающий самостоятельно. Особенно подчеркивал он роль Сталина во время войны.

Он рассказывал:

— Когда немцы были под Москвой, настала общая неуверенность и разброд. Часть центральных партийных и правительственных учреждений, а также дипкорпус перебрались в Куйбышев. Но Сталин остался в Москве. Я был у него тогда в Кремле, а из Кремля выносили архивы. Я предложил Сталину, чтобы Коминтерн выпустил обращение к немецким солдатам. Он согласился, хотя и считал, что пользы от этого не будет. Вскоре мне пришлось уехать из Москвы. Сталин же остался и решил ее оборонять. В

эти трагические дни он в годовщину Октябрьской революции принимал парад на Красной площади: дивизии мимо него уходили на фронт. Трудно выразить то огромное моральное воздействие на советских людей, когда они узнали, что Сталин в Москве, и услышали из нее его слова, — это возвратило веру, вселило уверенность в самих себя и стоило больше хорошей армии.

Во время этой встречи я познакомился с супругой Димитрова. Она была судетской немкой — об этом не было принято говорить из-за всеобщей ненависти к немцам, которой средний русский стихийно поддавался и воспринимал легче, чем антифашистскую пропаганду.

Дача Димитрова была обставлена роскошно и со вкусом. В ней было все — кроме радости. Единственный сын Димитрова умер — портрет бледного мальчика висел в кабинете отца. Как борец Димитров мог еще переносить поражения и радоваться победам, но как человек это уже был старик, которого покидали силы и который уже не мог вырваться из окружающей его атмосферы молчаливого сочувствия.

#### 4

Еще за несколько месяцев до нашего приезда Москва сообщила, что в Советском Союзе сформирована югославская бригада. Незадолго до этого были созданы польские, а затем чехословацкие части. Мы в Югославии никак не могли сообразить, откуда в Советском Союзе столько югославов, если и оказавшиеся там немногочисленные политические эмигранты пропали во время чисток.

Сейчас, в Москве, мне все стало понятно: главная масса югославской бригады состояла из военнослужащих полка, посланного на советский фронт хорватским квислингом Павеличем в знак солидарности с немцами. Но у армии Павелича и там не было удачи — полк был разбит и взят в плен под Сталинградом. После обычной чистки он был превращен во главе с его командиром Месичем в югославскую антифашистскую бригаду. С разных концов набрали немного югославских политических эмигрантов и направили в полк на политические должности, а советские офицеры — военные специалисты и из госбезопасности — взяли в свои руки обучение и проверку его личного состава.

Советские представители сначала хотели ввести в бригаде те же знаки различия, что и в королевской югославской армии, но, натолкнувшись на сопротивление Влаховича, согласились ввести знаки Народно-освободительной армии. Договориться об этих знаках в телеграммах было трудно. Влахович все же сделал что мог — знаки были смесью фантазии и компромисса. По нашему настоянию был разрешен наконец и этот вопрос.

Других существенных проблем в бригаде не было, если не считать нашего недовольства тем, что в ней остался старый командир. Но русские его защищали, говоря, что он раскаялся и положительно воздействует на людей. У меня создалось впечатление, что Месич был глубоко деморализован и что он, как и многие другие, сменил вехи, чтобы избежать лагеря военнопленных. Своим положением он и сам не был доволен, так как всем было ясно, что его значение в бригаде было ничтожным, чисто формальным.

Бригада стояла вблизи Коломны в лесу. Размещена она была в землянках и проходила обучение, не обращая внимание на жестокую русскую зиму.

Вначале меня удивила суровая дисциплина, царившая в бригаде, — было противоречие между целями, которым должна была служить эта часть, и способом, которым убеждали личный состав поверить в эти цели. У нас в партизанских частях царили товарищество и солидарность, а строгие наказания применялись лишь в случаях грабежа и дисциплинарных проступков. Здесь же все базировалось на слепом подчинении, которому могли бы позавидовать пруссаки Фридриха II. Ни намек на сознательную дисциплину, которой мы научились в Югославии и которой учили других. Но и тут мы ничего не могли изменить — ни в отношении непомерно строгих советских инструкторов, ни в отношении бойцов, которые вчера еще сражались на стороне немцев. Мы произвели смотр, произнесли речи, кое-как обсудили проблемы и оставили все без изменения. Состоялся и неизбежный пир с офицерами — они быстро перепились, поднимая здравицы за Тито и Сталина и лобызаясь во имя славянского братства.

Между прочим, одной из побочных наших задач была разработка первых орденов новой Югославии. Нам и здесь пошли навстречу, а что ордена — особенно «В память 1941 года» — получились плохими, то виной этому не столько советская фабрика, сколько наша скромность и бедность рисунков, привезенных из Югославии.



Надзором за подразделениями из иностранцев ведал генерал НКВД Жуков. Стройный и бледный блондин, еще молодой и очень находчивый, не без юмора и тонкого цинизма — свойств, нередких среди работников секретных служб. Про югославскую бригаду он сказал мне:

— Она совсем неплоха, если учесть материал, которым мы располагали.

И это было правдой. Бригада позже, в боях против немцев в Югославии, не оказалась на высоте, хотя и понесла громадные потери, — не столько из-за боевых качеств личного состава, сколько из-за уродливости ее организации и отсутствия опыта взаимодействия с армией, отличающейся от советской, и еще потому, что война велась здесь иначе, чем на Восточном фронте.

Генерал Жуков тоже устроил в нашу честь прием. Военный атташе Мексики в разговоре со мной предложил помощь, но ни он, ни я, к сожалению, не могли сообразить, как доставить эту помощь борцам в Югославии.

Перед отъездом из Москвы я был на обеде у генерала Жукова. Он занимал с женой двухкомнатную квартиру. Она была удобно, но скромно обставлена, хотя по московским условиям, да еще в военное время, казалась почти роскошной. Жуков был отличным служакой и на основе опыта больше верил в силу, чем в идеи как средство осуществления коммунизма. Наши отношения приобрели оттенок какой-то интимности и в то же время сдержанности, так как ничто не могло устранить различий в наших привычках и точках зрения, — политическая дружба ценна, только если каждый остается самим собой.

На прощание Жуков подарил мне офицерский автомат — скромный, но соответствующий обстоятельствам подарок.

Была у меня тогда и встреча совсем иного характера — с органами советской разведки. Через капитана Козовского со мной в ЦДКА познакомился скромно одетый человек, который не скрывал, что говорит от имени органов госбезопасности. Мы условились встретиться на следующий день, с применением такого количества конспиративных уловок, что я — именно потому, что много лет сам был подпольщиком, — увидел в этом излишние и шаблонные осложнения. В ближнем переулке меня ждал автомобиль, затем, после петляния по городу, мы перешли в другой, покинули его на одной из улиц огромного города и пешком вышли на следующую, где нам из окна

громадного дома сбросили ключ, которым мы открыли большую роскошную квартиру на третьем этаже.

Хозяйка квартиры — если это была хозяйка — была одной из тех северных блондинок с прозрачными глазами, которых полнота делает только более красивыми и мощными. Но ее бодрая красота, по крайней мере при встрече со мной, не играла никакой специальной роли. Оказалось, что она рангом выше, чем приведший меня, — она спрашивала, а он записывал. Их больше интересовало, кто у нас в руководящих органах коммунистической партии и что это за люди, чем сведения о других югославских партиях. У меня было неприятное ощущение полицейского допроса, но я знал, что, как коммунист, обязан дать требуемые сведения. Если бы меня вызвал кто-нибудь из членов Центрального Комитета ВКП(б), я не стал бы сомневаться. Но зачем данные о коммунистической партии и руководящих коммунистах этим людям, если их обязанность — борьба с врагами Советского Союза и возможными провокаторами в коммунистических партиях? Я все же отвечал на вопросы, избегая любых точных и, во всяком случае, отрицательных оценок, особенно же всего, что касалось внутрипартийных трений. Делал я это из моральных соображений, не желая говорить о своих товарищах что бы то ни было без их ведома, из внутреннего протеста вводить в свой интимный мир и посвящать во внутренние дела моей партии тех, кто не имел на это права. Мое неприятное ощущение передавалось, конечно, и хозяевам — рабочая часть встречи продолжалась не более полутора часов и затем перешла в менее напряженную товарищескую беседу за чаем с печеньем.

Зато с советскими общественными деятелями я встречался чаще и ближе.

В то время в СССР контакты с иностранцами из союзных государств не были так строго ограничены.

Потому что была война, и мы — представители единственной партии и единственного народа, поднявших восстание против Гитлера, — возбуждали любопытство многих людей. К нам приходили писатели в поисках новых идей, киноработники в поисках интересных сюжетов, журналисты за материалами для статей и информацией, молодые люди и девушки с просьбой помочь им попасть в Югославию в качестве добровольцев.

«Правда», наиболее значительная газета, хотела получить от меня статью о борьбе в Югославии, «Новое время» — о Тито.

И в первом и во втором случае во время редактирования этих статей я встретился с трудностями.

«Правда» вычеркнула главным образом все, имевшее отношение к характеру борьбы и ее политическим последствиям. Подгонка статей под партийную линию практиковалась и в нашей партии. Но это делалось только при резких отклонениях и в случае деликатных вопросов. «Правда» же выбросила все, что касалось сути нашей борьбы — новой власти и социальных перемен. Она шла даже так далеко, что изменяла мой стиль, выбрасывая каждый необычный образ, сокращая фразы, изменяя обороты. Статья стала серой и бестемпераментной. После спора с одним из сотрудников я согласился и разрешил уродовать статью — не имело смысла портить из-за этого отношений и лучше было опубликовать хоть это, чем вообще ничего.

С «Новым временем» пришлось сражаться еще упорнее. Там несколько меньше оскостили мой стиль и темперамент, но смягчили или вычеркнули почти все места, где говорилось об особом и исключительном значении личности Тито. На первой встрече с одним из сотрудников «Нового времени» я согласился с изменением каких-то несущественных мелочей. Но только на второй — когда я понял, что в СССР нельзя хвалить никого, кроме Сталина, и когда сотрудник так открыто и сказал: «Это неудобно из-за товарища Сталина, так у нас принято!» — я согласился и на остальные поправки, кстати, еще и потому, что в статье была сохранена ее суть и колорит.

Для меня и для других югославских коммунистов ведущая роль Сталина была неоспоримой. Но мне все-таки было непонятно, почему нельзя возвеличивать и других коммунистических вождей — в данном случае Тито, — если они с коммунистической точки зрения этого заслуживают.

Следует добавить, что сам Тито статьей был очень польщен и что в советской печати, насколько мне известно, никогда еще не была опубликована столь высокая оценка какого бы то ни было другого деятеля — во время его жизни.

Это объясняется тем, что советская общественность — естественно, партийная, так как другая себя активно, открыто не проявляла, — была увлечена борьбой югославов. Но также и тем, что ход войны изменил атмосферу советского общества.

Глядя в прошлое, я мог бы сказать: тогда стихийно распространилось убеждение, что после войны, во время которой советские люди еще раз доказали верность родине и основным идеям революции, не будет надобности в политических ограничениях, а также идеологических и иных монополиях группки вождей, и уж во всяком случае — одного вождя. На глазах советских людей менялся мир. Было очевидно, что СССР не будет больше единственной социалистической страной и что появляются новые революционные вожди и трибуны.

Такая атмосфера и такие настроения не только не мешали в то время советскому руководству, а, наоборот, облегчали ему ведение войны. Было много причин, по которым и оно само поддерживало подобные иллюзии. А кроме того, Тито, вернее, борьба югославов изменяла отношения на Балканах и в Средней Европе, нисколько не угрожая позициям Советского Союза, а, наоборот, укрепляя их, и не было причин не популяризировать и не поддерживать эту борьбу.

Но было одно еще более важное обстоятельство. Хотя советская власть, вернее, советские коммунисты и были в союзе с западными демократиями, они ощущали себя в этой борьбе одиночками — только они одни сражались за свое существование и за сохранение своего образа жизни. А так как второго фронта не было — вернее, не было крупных сражений на этом фронте в моменты, решающие судьбы русского народа, — одиночим ощущал себя и простой человек, рядовой боец. Югославское восстание снимало это чувство одиночества и у руководства, и у народа.

Я — и как коммунист, и как югослав — был тронут любовью и уважением, которые встречал повсюду, в особенности в Красной Армии. Со спокойной совестью написал я в книге для посетителей на выставке трофейного немецкого оружия: «Горжусь тем, что здесь нет оружия из Югославии!» — потому что там было оружие из всей Европы.

Нам предложили посетить Второй Украинский фронт, которым командовал маршал И. С. Конев.

Наш самолет спустился возле Умани, городка на Украине, — среди опустошений и ран, оставленных войной и бесконечной человеческой ненавистью.

Местный совет устроил нам ужин и встречу с общественными работниками города. Ужин не мог быть веселым в запущенном, полуразрушенном здании, а уманский священник и секретарь партии не умели скрыть взаимной неприязни, несмотря на присутствие иностранцев и на то, что оба они — каждый по-своему — боролись против немцев.

Я уже знал от советских партийных работников, что русский патриарх, как только вспыхнула война, начал, не спрашивая разрешения правительства, рассылать гектографированные послания против немецких захватчиков и что послания эти находили отклик; охватывая не только подчиненное ему священство, а гораздо более широкие круги. Эти воззвания были привлекательными и по форме — среди однообразия советской пропаганды от них веяло свежестью древнего и религиозного патриотизма. Советская власть быстро приспособилась и начала опираться на церковь, хотя и продолжала считать ее пережитком прошлого. Во время невзгод войны религиозность ожила и начала распространяться, а начальник военной миссии в Югославии, генерал Корнеев, рассказывал, как многим — причем весьма ответственным — товарищам в часы смертельной угрозы со стороны немцев приходило в голову обратиться к православию как к более долгодействующему идеологическому стимулятору.

— Мы бы с помощью православия спасали Россию, если бы это было необходимо! — объяснял он.

Сегодня это звучит невероятно, но только лишь для тех, кто не представляет себе всей тяжести ударов, обрушившихся тогда на русский народ, для тех, кто не понимает, что каждое человеческое общество воспринимает и развивает именно те идеи, которые в данный момент наилучшим образом его сохраняют и улучшают условия для его существования. Генерал Корнеев хотя и был пьяницей, но был не глуп и глубоко привержен советской системе и коммунизму. Мне, выросшему в революционном движении, которое боролось за существование именно при помощи чистоты своих идей, гипотезы генерала Корнеева казались смешными. И тем не менее я нисколь-

ко не удивился, когда уманский священник поднял тост за Сталина как «собирателя русских земель», — настолько усилился русский патриотизм, если не сказать национализм. Сталин инстинктивно понял, что ни его социальная система, ни власть не удержатся под ударами немецких армий, если не обратиться к исконным стремлениям и самобытности русского народа.

Уманский секретарь обкома едва скрывал досаду, глядя, как владыка умело и как бы вскользь подчеркивал роль Церкви. А больше всего секретаря раздражало пассивное настроение жителей — партизанский отряд, которым он командовал во время оккупации, был настолько малочислен, что не мог справиться даже с украинской пронемецкой полицией.

И действительно, скрыть пассивное отношение украинцев к войне и советским победам было невозможно. Население оставляло впечатление угрюмой скрытности, а на нас не обращало никакого внимания. И хотя офицеры — единственные люди, с которыми у нас был контакт, — молчали или говорили о настроениях украинцев в преувеличенно оптимистических тонах, русский шофер крыл их матом за то, что они плохо воевали, а русские теперь вот должны их освобождать.

На следующий день мы двинулись сквозь украинскую весеннюю грязь — по победоносному следу Красной Армии. Разбитая, искалеченная немецкая техника, которую мы часто встречали, дополняла картину умения и мощи Красной Армии, но больше всего восхищала нас выносливость и скромность русского солдата, способного днями, неделями, по пояс в грязи, без хлеба и сна выдерживать ураган огня и стали и отчаянные атаки немцев.

Если отбросить односторонние догматические и романтические увлечения, то я бы и сегодня, как и тогда, высоко оценил качество Красной Армии, и в особенности ее русского ядра.

Хотя советский командный состав, а еще в большей степени солдаты и младшие командиры воспитаны политически односторонне, однако во всех других отношениях у них развивается инициатива, широта культуры и взглядов. Дисциплина — строгая и безоговорочная, но не бессмысленная — подчинена главным целям и задачам. У советских офицеров не только хорошее специальное образование, одновременно они — наиболее талантливая, наиболее смелая часть советской интеллигенции. Хотя им

сравнительно хорошо платят, они не замыкаются в закрытую касту; от них не требуют чрезмерного знания марксистской доктрины, они прежде всего должны быть храбрыми и не удаляться от поля боя — командный пункт командира корпуса возле Ясс был всего в трех километрах от немецких передовых линий. Хотя Сталин и провел большие чистки, в особенности среди высшего командного состава, это имело меньше последствий, чем предполагают, так как он одновременно без колебаний возвышал молодых и талантливых людей, — каждый офицер, который был ему верен, знал, что его амбиции будут поняты. Быстрота и решительность, с которой Сталин во время войны производил перемены в высшем командном составе, подтверждают, что он был находчив и предоставлял возможности наиболее талантливым. Он действовал одновременно по двум направлениям: вводил в армии абсолютное подчинение правительству, партии и лично себе и ничего не жалел для усиления ее боеспособности, улучшения уровня жизни ее состава, а также быстро повышал в чинах наиболее способных.

Впервые в Красной Армии я услышал от командующего одной из армий — тогда для меня странную, но смелую мысль:

«Когда коммунизм победит во всем мире, — сказал он, — войны станут предельно жестокими».

По марксистской теории, которую советские командиры знали не хуже меня, война есть только результат классово-борьбы, а поскольку коммунизм должен уничтожить классы, исчезла бы и потребность человечества воевать. Но мой генерал, как и многие русские воины, как и сам я, в жестоких битвах, сквозь ужасы войны ощутили и какие-то более отдаленные истины: борьба между людьми стала бы предельно жестокой именно после того, как все человечество подчинилось бы одной общественной системе. Потому что систему невозможно сохранить в ее чистом виде и различные ее секты начали бы беспощадно уничтожать человеческий род — для того, чтобы его «осчастливить». Эта мысль у советских офицеров, воспитанных на марксизме, была оттеснена на задний план. Но я ее не забыл, да, впрочем, и тогда не посчитал случайной. Пусть они четко не осознавали, что в том обществе, которое они защищают, тоже существуют глубокие антагонистические расхождения. Но у них, несомненно, возникала неясная мысль, что человек, хотя он и не может существо-

вать вне определенного общества и определенных идей, живет еще и по каким-то другим, не менее значительным и незабываемым законам.

Мы привыкли уже ко многому в Советском Союзе. Но нас — детей партии и революции, путем аскетического соблюдения чистоты риз обретших веру в себя и доверие народа, — все же поразила попойка, устроенная в нашу честь в штабе маршала Конева в одном бессарабском селе перед нашим отъездом с фронта.

Девушки — слишком красивые и слишком разряженные для официанток — подавали громадные количества изысканных яств: икру, балыки, семгу, форель, свежие огурцы и соленые молодые помидоры, вареные окорока, холодных заливных поросят, горячие пирожки и пикантные сыры, затем борщи, горячие котлеты и, наконец, торты в пядь толщиной и подносы с южными фруктами, от которых гнулись столы.

У советских офицеров чувствовалась скрытая радость предвкушения пира, и они явились на него с намерением объесться и перепиться. Но югославы шли туда как на великое искушение — им надо было пить, хотя это не совпадало с их «коммунистической моралью», с традициями их армии и партии. Но держались они превосходно, в особенности если учесть их непривычку к алкоголю, — страшное напряжение воли и сознания помогло им пережить множество здравиц «до дна» и до конца удержаться на ногах.

Я, как всегда, пил мало и осторожно, ссылаясь на головные боли, которыми тогда действительно страдал. Генерал Терзич выглядел трагически — он пил против воли, не зная, что возразить русскому собрату, когда тот поднимал тост за Сталина, — в особенности если он только что выпил до дна за Тито.

Еще более трагически выглядел сопровождающий нас полковник из советского Генштаба, на которого, как на «тыловую крысу», ополчились маршал и его генералы, используя при этом свои высокие чины. Маршал Конев не обращал внимания на то, что полковник был болезненным: он и попал-то на работу в Генштаб, после того как был изранен на фронте. Маршал просто приказал:

— Полковник, выпейте сто грамм за успех Второго Украинского фронта!

Наступило молчание. Все повернулись к полковнику, а я хотел, было, за него заступиться. Но он стал по стойке



смирно и выпил — вскоре на его высоком и бледном лбу выступили горошинки пота.

Но пили не все — не пили те, кто нес ответственность за связь с фронтом. Не пили штабы на фронте, кроме как в минуты несомненного затишья. Рассказывали, что Жданов во время финской кампании из-за страшных холодов предложил Сталину выдавать по сто граммов водки в день на солдата, — с тех пор этот обычай остался в Красной Армии. Перед наступлением выдавали двойную порцию.

«Бойцы ощущают себя более беззаботными!» — разъясняли нам.

Не пил и сам маршал Конев — он страдал болезнью печени, и врачи ему запретили, а никого старшего чином, кто мог бы приказать ему пить, не было.

Лет пятидесяти от роду, блондин, высокого роста, с очень энергичным костистым лицом, он хотя и поощрял кутеж, придерживаясь официальной «философии», что «людям надо время от времени дать возможность повеселиться», но сам был выше ее, уверенный в себе и в своих фронтовых частях.

Писатель Полевой, сопровождавший нас на фронт как корреспондент «Правды» и слишком уж часто и тенденциозно восхищавшийся геройством и преимуществами своей страны, рассказывал нам о случаях, свидетельствующих о сверхчеловеческом самообладании и храбрости Конева. Когда наблюдательный пункт, на котором он как раз в этот момент находился, был накрыт огнем немецких минометов, он, делая вид, что наблюдает в бинокль, на самом деле искоса посматривал, как держатся его офицеры. Каждый из них знал, что тут же будет разжалован, если обнаружит малейшее колебание, а указать самому Коневу на опасность, грозящую его жизни, никто не решался. Так это и продолжалось — люди падали мертвые и раненые, но он покинул позицию только после того, как наблюдение и все остальное было закончено. В другой раз осколок попал ему в ногу — с него сняли сапог, перевязали ногу, но он остался на позиции.

Конев был одним из новых, сталинских, военных командиров. Однако его карьера не была ни столь стремительной, ни столь бурной, как у Рокоссовского. Вступил Конев в Красную Армию сразу после революции молодым рабочим и постепенно повышался по службе, одновременно проходя военные школы. Но и он ковал свою карьеру в боях, что было типичным для советской

армии под руководством Сталина во второй мировой войне.

Неразговорчивый, Конев мне в нескольких словах рассказал про операцию под Корсунь-Шевченковским, которая только что закончилась и которую в Советском Союзе сравнивали со Сталинградской битвой. Не без ликования он рисовал картину окончательной немецкой катастрофы: почти восемьдесят тысяч отказавшихся сдаться немцев были сбиты на небольшом пространстве, затем танки смяли все их тяжелое вооружение и пулеметные гнезда, после чего их добила казачья конница.

— Мы дали казакам рубить сколько душе угодно — они рубили даже руки тем, кто подымал их, чтобы сдаться! — рассказывал с улыбкой маршал.

Должен сознаться, что и я в тот момент радовался такой судьбе немцев, — нацизм и моей стране во имя высшей расы навязал войну, лишённую всех традиционных признаков гуманности. Но при этом я ощущал и другое — ужас, что все происходит именно так, что иначе быть не может.

Сидя по правую сторону от этой выдающейся личности, я воспользовался случаем, чтобы выяснить некоторые из особенно интересовавших меня вопросов.

Во-первых, почему были смещены со своих командных постов Ворошилов, Буденный и другие крупные военачальники, с которыми Советский Союз вошел в войну?

Конев отвечал:

— Ворошилов — человек непомерной храбрости, но методы современной войны он не сумел освоить. Его заслуги громадны, — но войну надо выиграть. Красная Армия в гражданскую войну, из которой вышел и Ворошилов, практически не имела против себя авиации и танков, а в нынешней войне именно они играют решающую роль. Буденный никогда много не знал и ничему не учился — он оказался совершенно непригодным и допустил громадные ошибки. Шапошников был и остался специалистом — штабным офицером.

— А Сталин? — спросил я.

Осторожно, чтобы не показать, что вопрос его удивил, Конев, немного подумав, ответил:

— Сталин талантлив всесторонне — он блестяще разобрался в войне как в целом, и это обеспечивает ему успешное руководство.

Он не сказал ничего больше и ничего такого, что напо-

минало бы стандартное возвеличивание Сталина. О сталинском руководстве в чисто военных операциях он умолчал. Конев — старый коммунист, глубоко преданный правительству и партии, но, я бы сказал, упорный в своих взглядах на вопросы военные.

Конев нам вручил и подарки: для Тито свой личный бинокль, а нам пистолеты — свой я хранил, пока его не конфисковали во время моего ареста в 1956 году.

На фронте было множество примеров личного героизма и непреодолимой стойкости и инициативы солдатских масс. Измученная лишениями, Россия была вся крайним напряжением и волей к конечной победе. В те дни Москва и мы вместе с нею по-детски радовались «салютам» — фейерверкам, приветствовавшим победы, за которыми стояли пожар и смерть, надежды и жесточение. Это была и для югославских борцов радость среди горя, постигшего их землю. Как будто в Советском Союзе ничего и не было, кроме этого гигантского, самозабвенного напряжения безбрежной страны и многомиллионного народа. Я только это и видел, необъективно ставя знак равенства между патриотизмом русского народа и советской системой, потому что и я о ней мечтал, за нее боролся.

## 6

Было около пяти часов пополудни — я только что закончил доклад во Всеславянском комитете и начал отвечать на вопросы, — когда мне шепнули, что надо немедленно кончать, что есть важное и неотложное дело. Этому моему докладу придавали особое значение не только мы, югославские работники, но и советские — избранной публике меня представил помощник Молотова С. А. Лозовский. Проблема Югославии явно становилась все более неотложной и для союзников.

Я извинился — или кто-то извинился за меня — и с недосказанными мыслями меня вместе с генералом Терзичем вывели на улицу и усадили в чужой и довольно потрепанный автомобиль. Машина двинулась — и только тогда незнакомый полковник госбезопасности сообщил нам, что мы будем приняты Иосифом Виссарионовичем Сталиным. В то время наша миссия была перемещена на дачу в Серебряный Бор в предместье Москвы, и я, вспом-

нив о подарках для Сталина, с беспокойством подумал, что мы запоздаем, если поедем за ними так далеко. Но непогрешимая госбезопасность позаботилась и об этом — подарки лежали в машине возле полковника. Все, следовательно, было в порядке, даже наши формы: дней десять как мы уже облачились в новые, сшитые в советских мастерских. Надо было только не волноваться, слушать полковника и задавать как можно меньше вопросов.

Ко второму я уже привык. Но своего возбуждения я не мог перебороть — оно возникло из непостижимых глубин моего бытия, и я сам осознавал свою бледность и радостное, почти паническое беспокойство.

Но что могло быть более возвышенным и волнующим для коммуниста, прибывшего с войны, из революции?

Быть принятым у Сталина — это было наивысшим признанием героизма и страданий партизанских бойцов и нашего народа. Для тех, кто побывал в тюрьмах, участвовал в военной резне и пережил жестокие душевные перемены и борьбу против внутренних и внешних противников коммунизма, Сталин был чем-то большим, чем вождь в борьбе. Он был воплощением идеи, был претворен в коммунистических головах в чистую идею, а тем самым в нечто непогрешимое. Сталин был нынешней победной борьбой и грядущим братством человечества. Я знал, что только благодаря случайности именно я — первый югославский коммунист, которого он принимает. Но я ощущал гордость и радость, что об этой встрече смогу рассказать своим товарищам, а кое-что сообщить и югославским борцам.

Вмиг исчезло все отрицательное в СССР, а все недоразумения между нами и советскими руководителями потеряли значение и вес, как будто их не бывало. Все отталкивающее исчезало перед потрясающими размерами и красотой того, что во мне происходило. Что значила моя личная судьба в сравнении с масштабами борьбы и наши недоразумения в сравнении с грядущим осуществлением идеи?

Читатель должен знать, что я тогда верил, что троцкисты, бухаринцы и другие партийные оппозиционеры были действительно шпионами и вредителями и что этим самым были оправданы и жестокие меры по отношению к ним — так же, как и к другим так называемым классовым врагам. Если я и замечал, что те, кто был в СССР во время чисток середины тридцатых годов, что-то недоговаривали,

то я считал, что это относится к незначительным моментам или к перегибам — к надрезам по здоровому телу, чтобы без остатка удалить гниль, как это сформулировал Димитров в разговоре с Тито, который нам это пересказал. Поэтому я на жестокости, творимые Сталиным, смотрел именно так, как их изображала его пропаганда, — как на неизбежные революционные меры, от чего его личность и его историческое значение только выигрывали. Я и сегодня не могу точно определить, что бы я делал, если бы знал правду о процессах и чистках. С уверенностью могу сказать, что я пережил бы серьезный кризис совести, но не исключено, что и дальше оставался бы коммунистом — с верой в коммунизм, более совершенный, чем тот, который реально существует. Потому что для коммунизма как идеи важнее не средства, а цель, ради которой все совершается. Кроме того, коммунизм был самой разумной, самой захватывающей идеологией для меня и для тех людей в моей охваченной усобицами и отчаянием стране, которые хотели забыть столетия рабства и отсталости и перегнуть саму реальность.

Я еще не успел внутренне подготовиться, как автомобиль был уже у кремлевских ворот. Здесь нас встретил другой офицер, и машина двинулась по холодным площадям, на которых не было ничего живого, кроме тоненьких нераспустившихся деревьев. Офицер обратил наше внимание на Царь-пушку и Царь-колокол, абсурдные символы России, которые никогда не стреляли и не звонили. Слева осталась монументальная колокольня Ивана Великого, затем ряд старинных пушек, и вскоре мы очутились перед входом в невысокое продолговатое здание, какие строили в середине девятнадцатого века для канцелярий или больниц. Здесь нас тоже ожидал офицер и повел внутрь. Внизу, у лестницы, мы сняли шинели, причесались перед зеркалом и были введены в лифт, который на первом этаже нас выбросил в длинный коридор, устланный красным ковром.

На каждом повороте нас звонким стуком каблуков приветствовал офицер — все были молодые, красивые и неподвижно застывшие, в голубых фуражках внутренней охраны. И тут и в дальнейшем поражала чистота, настолько совершенная, что казалось невероятным, что здесь живут и работают люди, — на тканях не было видно ни волоска, на медных ручках — ни пятнышка.

Наконец нас ввели в небольшую канцелярию, где уже

ждал генерал Жуков. Низкий, полный, рыхлый пожилой служащий предложил нам сесть, а сам медленно поднялся из-за стола и ушел в соседнее помещение.

Все произошло неожиданно быстро: служащий скоро вернулся и сообщил, что можно войти. Я думал, что надо будет пройти еще по крайней мере три кабинета, пока увижу Сталина, но, открыв дверь и переступив порог, я сразу его увидел — он выходил из небольшой соседней комнаты, сквозь открытые двери которой виднелся громадный глобус. Молотов тоже был здесь — плотный и белотелый, в прекрасном темно-синем европейском костюме, он стоял возле длинного стола для заседаний.

Сталин нас встретил посреди помещения — я подошел первым и представился. То же самое сделал и Терзич, произнеся весь свой титул и щелкнув каблуками, на что наш хозяин — это было почти смешно — ответил: Сталин.

Мы пожали руку также Молотову и сели — справа от Сталина, который сел во главе стола, был Молотов, а слева я, Терзич и генерал Жуков.

Это было небольшое продолговатое помещение без роскоши и украшений. Над небольшим письменным столом висела фотография Ленина, а на стене, над столом для заседаний, — небольшие изображения Суворова и Кутузова в одинаковых резных рамках, очень похожие на провинциальные раскрашенные фотографии.

Самым простым был хозяин. Он был одет в маршальскую форму и мягкие сапоги, без орденов, кроме Золотой Звезды Героя Социалистического Труда на левой стороне груди. В его поведении не было ничего искусственного, никакой позы. Это был не величественный Сталин с фотографий или из документальных фильмов — с замедленной продуманной походкой и жестами. Он ни на минуту не оставался спокойным — занимался трубкой с белой точкой английской фирмы Данхилл, очерчивал синим карандашом основное слово темы разговора и потом его постепенно перечеркивал косыми линиями, когда дискуссия об этом приближалась к концу, поворачивал туда-сюда голову, вертелся на месте.

И еще одно меня удивило: он был малого роста, тело его было некрасивым: туловище короткое и узкое, а руки и ноги слишком длинные — левая рука и плечо как бы слегка ограничены в движениях. У него был порядочный животик, а волосы редкие, хотя совсем лысым он не был даже на темени. Лицо у него было белым с румяными

скулами — я узнал потом, что цвет этот характерен для тех, кто подолгу сидит в кабинетах, в советских верхах его называют «кремлевским». Зубы у него были черные и неправильные, загнутые внутрь. Даже усы не были густыми и представительными. Все же голова его не была отталкивающей: что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское — быстрые желтые глаза, смесь строгости и плутоватости.

Поразил меня и его выговор: чувствовалось, что он не русский. Но его русский словарь был богат, а речь, в которую он вставлял русские пословицы и изречения, живописна и пластична. Позже я убедился, что Сталин хорошо знал русскую литературу — но только ее. Вне русских рамок он был хорошо знаком лишь с политической историей.

Одно для меня не было неожиданным: Сталин обладал чувством юмора — юмора грубого, самоуверенного, но не без изощренности и глубины. Он реагировал быстро, резко, без колебаний и, по-видимому, не был сторонником долгих разъяснений, хотя собеседника он выслушивал. Характерно было его отношение к Молотову — очевидно, Сталин считал его своим ближайшим сотрудником. Как я убедился позже, Молотов был единственным из членов Политбюро, к которому Сталин обращался на «ты»; это много значит, если принять во внимание, что русские часто обращаются на «вы» даже к довольно близким людям.

Разговор начался с того, что Сталин поинтересовался нашими впечатлениями о Советском Союзе. Я сказал:

— Мы воодушевлены!

На что он заметил:

— А мы не воодушевлены, хотя делаем все, чтобы в России стало лучше.

Мне врезалось в память, что Сталин сказал именно Россия, а не Советский Союз. Это означало, что он не только инспирирует русский патриотизм, но и увлекается им, себя с ним идентифицирует.

Однако времени размышлять об этом не было, потому что Сталин сразу перешел к отношениям с королевским югославским правительством в эмиграции, спросив Молотова:

— А не сумели бы мы как-нибудь надуть англичан, чтобы они признали Тито — единственного, кто фактически борется против немцев?

Молотов усмехнулся — в усмешке была ирония и самодовольство:

— Нет, это невозможно, они полностью разбираются в отношениях, создавшихся в Югославии.

Меня привел в восторг этот непосредственный обнаженный подход, которого я не встречал в советских учреждениях, и тем более в советской пропаганде. Я почувствовал себя на своем месте, больше того — рядом с человеком, который относится к реальности так же, как и я, не маскируя ее. Не нужно, конечно, пояснять, что Сталин был таким только среди своих людей, то есть среди преданных ему и поддерживающих его линию коммунистов.

И хотя Сталин не обещал, что признает Национальный комитет как временное югославское правительство, было видно, насколько он заинтересован в его усилении. Направление дискуссии и точка зрения Сталина были настолько ясны, что я даже не поставил этого вопроса непосредственно. Было очевидно, что советское правительство признало бы комитет немедленно, если бы пришло к убеждению, что для этого наступил подходящий момент, и если бы развитие событий не шло иным путем — путем нахождения временного компромисса между Британией и СССР, вернее между Национальным комитетом и югославским королевским правительством.

Так этот вопрос и остался неопределенным — надо было ждать и искать решений.

Но зато вполне определенно Сталин разрешил вопрос оказания помощи югославским борцам.

Когда я упомянул заем в двести тысяч долларов, он сказал, что это мелочь и что это мало поможет, но что эту сумму нам сразу вручат. А на мое замечание, что мы вернем заем и заплатим за поставку вооружения и другого материала после освобождения, он искренне рассердился:

— Вы меня оскорбляете, вы будете проливать кровь, а я — брать деньги за оружие! Я не торговец, мы не торговцы, вы боретесь за то же дело, что и мы, и мы обязаны поделиться с вами тем, что у нас есть.

Но как помочь?

Было решено запросить у западных союзников согласие на создание воздушной советской базы в Италии, откуда бы направлялась помощь югославским партизанам.



— Попробуем, — сказал Сталин, — увидим, каковы позиции западных союзников и до какой степени они готовы помогать Тито.

Следует добавить, что эта база — из десяти транспортных самолетов, если я правильно помню, — вскоре была и создана.

— Но самолетами много не поможешь, — продолжал рассуждать Сталин. — Армию невозможно снабжать с самолетов, а вы уже армия. Суда для этого нужны. А судов у нас нет — наш черноморский флот уничтожен.

Вмешался генерал Жуков:

— У нас есть суда на Дальнем Востоке, мы бы могли их перебросить в наши порты на Черном море и нагрузить оружием и всем необходимым.

Сталин его прервал грубо и категорически — из сдержанного и почти шутливого Сталина проглянул другой:

— Что вам пришло в голову? Вы что, на земле? Ведь на Дальнем Востоке идет война — кто-нибудь да найдется, чтобы не пропустить или утопить суда. Ерунда! Суда надо купить. Но у кого? Сейчас судов не хватает. Турция? У Турции судов немного, да нам она и не продаст. Египет? Да, у Египта можно купить. Египет продаст — он все продает, продаст и суда.

Да, это был настоящий, не терпящий прекословия Сталин. Но к беспрекословности я привык уже в собственной партии, да и сам был к ней склонен, когда дело шло об окончательном определении позиции или вынесении решения.

Генерал Жуков быстро и молча записывал распоряжения Сталина.

Но до покупки и снабжения югославам при помощи советских судов не дошло. Главная причина этого в развитии операций на Восточном фронте — Красная Армия вскоре вышла к югославским границам и была в состоянии помогать югославам сухим путем. Я считаю, что Сталин в тот момент действительно хотел нам помочь.

К этому свелась суть разговора.

Одновременно Сталин интересовался моим мнением об отдельных югославских политиках. Он спросил меня, что я думаю о Милане Гавриловиче, лидере сербских земледельцев и первом югославском после в Москве. Я сказал: лукавый человек.

Сталин прокомментировал как бы про себя:

— Да, есть политики, считающие, что хитрость в поли-

тике — самое главное. А на меня Гаврилович не произвел впечатления глупого человека.

Я добавил:

— Он политик с узкими взглядами, хотя нельзя сказать, что он глуп.

Сталин спросил, на ком женился югославский король Петр II. Когда я сказал, что на греческой принцессе, он шутя заметил:

— А что, Вячеслав Михайлович, если бы я или ты женился на какой-нибудь иностранной принцессе, может, из этого вышла бы какая-нибудь польза?

Засмеялся и Молотов, но сдержанно и беззвучно.

Под конец я передал Сталину подарки — все они сейчас здесь казались особенно примитивными и бедными. Но он ничем не выразил пренебрежения. Увидав опанки, он сказал:

— Лапти! — Взяв винтовку, открыл и закрыл затвор, взвесил ее в руке и прокомментировал:

— Наша легче.

Встреча продолжалась около часа.

Уже смеркалось, когда мы уезжали из Кремля; офицер, который нас сопровождал, очевидно, заразился нашим восторгом — он смотрел на нас с радостью и в каждой мелочи старался пойти нам навстречу.

Северное сияние в это время года достигает Москвы, и все было фиолетовым, трепещущим, мир казался нереальным, более красивым, чем тот, в котором мы жили до сих пор.

Примерно так было и в моей душе.

## 7

Но у меня тогда была еще одна, более значительная и интересная встреча со Сталиным.

Я запомнил, когда это было: в ночь накануне высадки союзников в Нормандии.

И на этот раз никто меня ни о чем не предупреждал. Просто мне сообщили, что надо явиться в Кремль, около девяти часов вечера усадили в автомобиль и отвезли туда. Даже никто из миссии не знал, куда я еду.

Доставили меня в здание, где нас принимал Сталин, но в другие помещения. Там Молотов собирался к отъезду — надевал легкое пальто и шляпу и сказал, что мы едем на ужин к Сталину.

Молотов — человек не очень разговорчивый. И если со Сталиным, когда он был в хорошем настроении и находился в обществе единомышленников, контакт был легким и непосредственным, Молотов оставался непроницаемым даже в частных разговорах. Все же в машине он спросил, каким языком я владею, кроме русского, — я ответил, что французским. Разговор пошел о силе и организованности Коммунистической партии Югославии. Я подчеркнул, что югославская партия вошла в войну, будучи на нелегальном положении, относительно малочисленная — около десяти тысяч человек, — но отлично организованная.

— Как и большевистская партия в первую мировую войну, — прибавил я.

— Ошибаетесь, — возразил Молотов, — наша партия была в начале первой мировой войны очень слабой, организационно не связанной, разрозненной, малочисленной. Я помню, — продолжал он, — как я приехал в начале войны нелегально из Петрограда в Москву по партийным делам: мне негде было переночевать, пришлось рисковать и ночевать у сестры Ленина!

Молотов назвал и имя этой сестры, если не ошибаюсь, ее звали Мария Ильинична.

Автомобиль шел со сравнительно большой скоростью — около восьмидесяти километров в час, — без задержек. Очевидно, регулировщики узнавали его по какому-то признаку и пропускали вне очереди. Выехав из Москвы, мы двинулись по асфальтированному шоссе. Позже я узнал, что оно называется «правительственным» шоссе, по которому еще долго после войны — а может быть, и сегодня? — разрешено было ездить только правительственным автомобилям. Вскоре мы подъехали к заставе. Офицер, сидевший возле шофера, повернул какую-то табличку за ветровым стеклом, и охрана пропустила нас безо всяких формальностей. Правое стекло было опущено, Молотов заметил, что мне мешает сквозняк, и начал поднимать стекло — только тогда я заметил, что оно очень толстое, и сообразил, что мы едем в бронированном автомобиле. Думаю, что это был «паккард», потому что точно такую машину Тито получил в 1945 году от советского правительства.

Дней за десять до этого ужина немцы сбросили воздушный десант на Верховный штаб в Дрваре. Тито и военные миссии должны были отступить в горы. Югослав-

ское руководство совершало долгие и трудные марши, на которые терялось драгоценное время, необходимое для политической и иной деятельности. В острой форме встала и проблема питания. Советская военная миссия подробно оповещала обо всем Москву, а наша миссия в Москве находилась в постоянном контакте с соответствующими советскими офицерами, чтобы помочь им советом в организации поддержки югославским бойцам и Верховному штабу. Советские самолеты даже летали туда по ночам и сбрасывали боеприпасы и продовольствие, правда, без особого успеха, так как грузы были рассеяны по большому лесному массиву, который вскоре пришлось оставить.

Молотов по дороге интересовался моим мнением о положении, создавшемся в связи с этим. Его интерес был живым, но без возбуждения — больше для получения точной картины.

Так мы проехали около сорока километров, свернули влево на боковую дорогу и вскоре оказались в молодом ельнике. Снова шлагбаум, затем через короткое время — ворота. Мы были перед небольшой дачей, тоже в густом ельнике.

Как только мы из прихожей вошли в небольшой холл, появился Сталин — на этот раз в ботинках, в своем простом, застегнутом доверху френче, известном по довоенным картинам. В нем он казался еще меньше ростом и еще более простым, совсем домашним. Он ввел нас в свой небольшой и, как ни странно, почти пустой кабинет — без книг, без картин, с голыми деревянными стенами. Мы сели возле небольшого письменного стола, и он сразу начал спрашивать о событиях вокруг югославского Верховного штаба.

По тому, как он этим интересовался, само собою обнаруживалось и различие между Сталиным и Молотовым.

У Молотова нельзя было проследить ни за мыслью, ни за процессом ее зарождения. Характер его оставался также всегда замкнутым и неопределенным. Сталин же обладал живым и почти беспокойным темпераментом. Он спрашивал — себя и других и полемизировал — сам с собою и с остальными. Не хочу сказать, что Молотов не проявлял темперамента или что Сталин не умел сдерживаться и притворяться, — позже я и того и другого видел и в этих ролях. Просто Молотов был всегда без оттенков, всегда одинаков, вне зависимости от того, о чем или о ком

шла речь, в то время как Сталин был совсем другим в своей коммунистической среде. Черчилль охарактеризовал Молотова как совершенного современного робота. Это верно. Но это только внешняя и только одна из его особенностей. Сталин был холоден и расчетлив не меньше Молотова. Однако у Сталина была страстная натура со множеством лиц, причем каждое из них было настолько убедительно, что казалось, что он никогда не притворяется, а всегда искренне переживает каждую из своих ролей. Именно поэтому он обладал большей проницательностью и большими возможностями, чем Молотов. Создавалось впечатление, что Молотов на все — в том числе на коммунизм и его конечные цели — смотрит, как на величины относительные, как на что-то, чему он подчиняется не столько по собственному хотению, сколько в силу неизбежности. Для него как будто не существовало постоянных величин. Преходящей, несовершенной реальности, ежедневно навязывающей нечто новое, он отдавал себя и всю свою жизнь. И для Сталина все было преходящим. Но это была его философская точка зрения. Потому что за преходящим и в нем самом — за данной реальностью и в ней самой — скрываются некие абсолютные великие идеалы, его идеалы, к которым он может приблизиться, конечно, исправляя и сменяя при этом саму реальность и находящиеся в ней живых людей.

Глядя в прошлое, мне кажется, что Молотов со своим релятивизмом и способностью к мелкой ежедневной практике и Сталин со своим фанатическим догматизмом, более широкими горизонтами и инстинктивным ощущением будущих, завтрашних возможностей идеально дополняли друг друга. Больше того, Молотов, хотя и мало что способный сделать без руководства Сталина, был последнему во многом необходим. Оба не стеснялись в выборе средств, но мне кажется, что Сталин их все-таки более внимательно обдумывал и сообразовывал с обстоятельствами. Для Молотова же выбор средств был заранее безразличен и неважен. Я думаю, что он не только подстрекал Сталина на многое, но и поддерживал его, устранял его сомнения. И хотя главная роль в претворении отсталой России в современную промышленную имперскую силу принадлежит Сталину — благодаря его многогранности и пробивной силе, — было бы ошибочно недооценивать роль Молотова, в особенности как практика.

Молотов и физически был как бы предназначен для

такой роли: основательный, размеренный, собранный и выносливый. Он пил больше Сталина, но его тосты были короче и нацелены на непосредственный политический эффект. Его личная жизнь была незаметной, и, когда я через год познакомился с его женой, скромной и изящной, у меня создалось впечатление, что на ее месте могла быть и любая другая, способная выполнять определенные, необходимые ему функции.

Разговор у Сталина начался с его возбужденных вопросов о дальнейшей судьбе Верховного штаба и подразделений вокруг него.

— Они перемрут с голоду! — волновался он.

Но я доказывал ему, что этого не может произойти.

— Как не может? — продолжал он. — Сколько раз бывало, что борцов уничтожал голод! Голод — это страшный противник любой армии.

Я объяснил ему:

— Местность там такая, что всегда можно найти какую-нибудь еду. Мы бывали и в гораздо более тяжелых положениях, и нас не сломил голод.

Мне удалось его убедить и успокоить.

Затем он снова заговорил о возможности оказания нам помощи. Советский фронт был слишком далеко, и истребители не могли еще сопровождать транспортные самолеты. В какой-то момент Сталин вспыхнул и начал ругать летчиков:

— Они трусы — боятся летать днем! Трусы, ей-богу, трусы!

Но Молотов, хорошо разбиравшийся во всей проблеме, начал защищать летчиков:

— Нет, они не трусы, отнюдь нет. Но у истребителей меньший радиус действия, и транспортные самолеты были бы сбиты, прежде чем достигли цели. И полезный груз их незначителен — они должны забирать много горючего для обратного полета. Именно поэтому они могут летать только ночью и только с небольшим грузом.

Я поддержал Молотова, так как знал, что советские летчики добровольно предлагали летать и днем, то есть без защиты истребителей, только чтобы помочь югославским товарищам по борьбе.

Но я полностью согласился со Сталиным, который считал, что Тито, при нынешнем развившемся и сложном положении, должен иметь более постоянное местопребывание и избавиться от необходимости быть все время

начеку. Сталин, конечно, думал при этом и о советской миссии, по настоянию которой Тито только что согласился эвакуироваться в Италию, а оттуда на югославский остров Вис, где он оставался до прорыва Красной Армии в Югославию. Сталин, правда, ничего не сказал об этой эвакуации, но мысль о ней уже формировалась в его голове.

Союзники уже согласились на создание советской воздушной базы на итальянской территории для помощи югославским борцам, и Сталин подчеркнул необходимость ускоренной переброски транспортных самолетов и приведения в готовность самой базы.

Мой оптимизм по поводу исхода этого немецкого наступления на Тито явно привел Сталина в хорошее настроение, и он перешел к нашим отношениям с союзниками, в первую очередь с Великобританией, что и было — как мне уже тогда показалось — главной целью этой встречи со мной.

Сущность его мыслей состояла, с одной стороны, в том, что не надо «пугать» англичан, — под этим он подразумевал, что следует избегать всего, вызывающего у них тревогу в связи с тем, что в Югославии революция и к власти придут коммунисты.

— Зачем вам красные пятиконечные звезды на шапках? Не форма важна, а результаты, а вы — красные звезды! Ей-богу, звезды не нужны! — сердился Сталин.

Но он не скрывал, что его раздражение невелико, — это был только упрек.

Я ему разъяснил:

— Красные звезды снять невозможно, они стали уже традицией и приобрели в глазах наших бойцов определенный смысл.

Он остался при своем мнении, но не настаивал и снова перешел к взаимоотношениям с западными союзниками:

— А вы, может быть, думаете, что мы, если мы союзники англичан, забыли, кто они и кто Черчилль? У них нет большей радости, чем нагадить своим союзникам, — в первой мировой войне они постоянно подводили и русских, и французов. А Черчилль? Черчилль, он такой, что, если не побережешься, он у тебя копейку из кармана утянет. Да, копейку из кармана! Ей-богу, копейку из кармана! А Рузвельт? Рузвельт не такой — он засовывает руку только за кусками покрупнее. А Черчилль? Черчилль — и за копейкой.

Он несколько раз повторил, что нам следует опасаться «Интеллидженс сервис» и коварства — особенно английского — в отношении жизни Тито:

— Ведь они убили генерала Сикорского, — а Тито бы и тем более. Что для них пожертвовать двумя-тремя людьми для Тито — они своих не жалеют! А про Сикорского — это не я говорю, это мне Бенеш рассказывал: посадили Сикорского в самолет и прекрасно свалили — ни доказательств, ни свидетелей.

Сталин несколько раз повторил эти предостережения, а я по возвращении передал их Тито. Они, очевидно, сыграли известную роль в подготовке его конспиративного ночного полета с острова Вис на советскую оккупационную территорию в Румынии 21 сентября 1944 года.

Затем Сталин перешел к нашим взаимоотношениям с югославским королевским правительством. Новым королевским представителем был доктор Иван Шубашич, который обещал урегулировать взаимоотношения с Тито и признать Народно-освободительную армию главной силой в борьбе против оккупантов. Сталин настаивал:

— Не отказывайтесь от переговоров с Шубашичем, ни в коем случае не отказывайтесь. Не атакуйте его сразу — надо посмотреть, чего он хочет. Поговорите с ним. Вы не можете получить признания сразу — надо найти к этому переход. С Шубашичем надо говорить, может, с ним можно как-то сговориться.

Он настаивал не категорически, но упорно. Я передал все Тито и членам Центрального комитета, и, надо полагать, это сыграло роль в известном соглашении Тито — Шубашич.

Затем Сталин пригласил нас к ужину, но в холле мы задержались перед картой мира, на которой Советский Союз был обозначен красным цветом и потому выделялся и казался больше, чем обычно. Сталин провел рукой по Советскому Союзу и воскликнул, продолжая свои высказывания по поводу британцев и американцев:

— Никогда они не смирятся с тем, чтобы такое пространство было красным — никогда, никогда!

На этой карте я обратил внимание на район Сталинграда, обведенный с запада синим карандашом, — очевидно, это сделал Сталин до или во время битвы за Сталинград. Он заметил мой взгляд, и мне показалось, что ему это приятно, хотя он никак не обнаружил своих чувств.



Не помню, по какому поводу я заметил:

— Без индустриализации Советский Союз не смог бы удержаться и вести такую войну.

Сталин прибавил:

— Вот из-за этого мы и поссорились с Троцким и Бухариным.

Это было единственный раз — здесь, перед картой, — что я когда-либо слышал от него об этих его противниках: «Поссорились!».

В столовой нас уже ожидали стоя два или три человека из советских верхов, но из Политбюро не было никого, кроме Молотова. Я забыл их имена — да они и так всю ночь молчали и держались замкнуто.

В своих воспоминаниях Черчилль образно описывает импровизированный ужин в Кремле у Сталина. Но у Сталина постоянно так ужинали.

В просторной, без украшений, но отделанной со вкусом столовой на передней половине длинного стола были расставлены разнообразные блюда в подогретых и покрытых крышками тяжелых серебряных мисках, а также напитки, тарелки и другая посуда. Каждый обслуживал себя сам и садился куда хотел вокруг свободной половины стола. Сталин никогда не сидел во главе, но всегда садился на один и тот же стул: первый слева от главы стола.

Выбор еды и напитков был огромным — преобладали мясные блюда и разные сорта водки. Но все остальное было простым, без претензии. Никто из прислуги не появлялся, если Сталин не звонил, а понадобилось это только один раз, когда я захотел пива. Войти в столовую мог только дежурный офицер. Каждый ел что хотел и сколько хотел, предлагали и понуждали только пить — просто так и под здравицы.

Такой ужин обычно длился по шести и более часов — от десяти вечера до четырех-пяти утра. Ели и пили не спеша, под непринужденный разговор, который от шуток и анекдотов переходил на самые серьезные политические и даже философские темы.

На этих ужинах в неофициальной обстановке приобретала свой подлинный облик значительная часть советской политики, они же были и наиболее частым и самым подходящим видом развлечения и единственной роскошью в однообразной и угрюмой жизни Сталина.

Сотрудники Сталина тоже привыкли к такому образу жизни и работы, проводя ночи на ужинах у Сталина или у

кого-нибудь из других руководителей. В своих кабинетах они до обеда не появлялись, зато обыкновенно оставались в них до поздней ночи. Это усложняло и затрудняло работу высшей администрации, но она приспособилась. Приспособился и дипломатический корпус, поскольку он имел контакт с кем-нибудь из членов Политбюро.

Не было никакой установленной очередности присутствия членов Политбюро или других высокопоставленных руководителей на этих ужинах. Обычно присутствовали те, кто имел какое-то отношение к делам гостя или к текущим вопросам. Но круг приглашаемых был, очевидно, узок, и бывать на этих ужинах считалось особой честью. Один лишь Молотов бывал на них всегда — я думаю, потому, что он был не только наркомом (а затем министром) иностранных дел, но фактически заместителем Сталина.

На этих ужинах советские руководители были наиболее близки между собой, наиболее интимны. Каждый рассказывал о новостях своего сектора, о сегодняшних встречах, о своих планах на будущее. Богатая трапеза и большое, хотя не чрезмерное количество алкоголя оживляли дух, углубляли атмосферу сердечности и непринужденности. Неопытный посетитель не заметил бы почти никакой разницы между Сталиным и остальными. Но она была: к его мнению внимательно прислушивались, никто с ним не спорил слишком упрямо — все несколько походило на патриархальную семью с жестким хозяином, выходок которого челядь всегда побаивалась.

Сталин поглощал количество еды, огромное даже для более крупного человека. Чаще всего это были мясные блюда — здесь чувствовалось его горское происхождение. Он любил и различные специальные блюда, которыми изобилует эта страна с разным климатом и цивилизациями, но я не заметил, чтобы какое-то определенное блюдо ему особенно нравилось. Пил он скорее умеренно, чаще всего смешивая в небольших бокалах красное вино и водку. Ни разу я не заметил на нем признаков опьянения, чего не мог бы сказать про Молотова, а в особенности про Берию, который был почти пьяницей. Регулярно объедавшиеся на таких ужинах советские вожди, днем ели мало и нерегулярно, а многие из них один день в неделю для «разгрузки» проводили на фруктах и соках.

На этих ужинах перекраивалась судьба громадной русской земли, освобожденных стран, а во многом и всего человечества. На них, конечно, никто не выступал в под-

держку крупных творческих произведений «инженеров человеческих душ», зато, надо полагать, многие из этих произведений были там навеки похоронены.

Одного я там ни разу не слышал — разговоров о внутрипартийной оппозиции и о расправах с нею. Это, очевидно, входило главным образом в компетенцию лично Сталина и секретной полиции. А поскольку советские вожди были тоже только людьми, — про совесть они часто забывали, тем более охотно, что воспоминание о ней могло быть опасным для их собственной участи.

Я упомянул только то, что мне показалось значительным при этих свободных и незаметных переходах с темы на тему на этой встрече.

Напоминая о прежних связях южных славян с Россией, я сказал:

— Русские цари не понимали стремлений южных славян, для них важно было империалистическое наступление, а для нас — освобождение.

Сталин интересовался Югославией иначе, чем остальные советские руководители. Он не расспрашивал про жертвы и разрушения, а про то, какие создались там внутренние отношения и каковы реальные силы повстанческого движения. Но и эти сведения он добывал, не ставя вопросы, а в ходе собеседования.

В какой-то момент он заинтересовался Албанией:

— Что там происходит на самом деле? Что это за народ?

Я объяснил:

— В Албании происходит более или менее то же самое, что в Югославии. Албанцы — наиболее древние жители Балкан, старше славян.

— А откуда у них славянские названия населенных пунктов? — спросил Сталин. — Может быть, у них все-таки есть какие-то связи со славянами?

Я разъяснил и это:

— Славяне раньше населяли долины — оттуда славянские названия поселений, албанцы их во времена турок оттеснили.

Сталин лукаво подмигнул:

— А я надеялся, что албанцы хоть немного славяне.

Рассказывая о способах ведения борьбы и жестокости войны в Югославии, я пояснил, что мы не берем немцев в плен, потому что и они каждого нашего убивают. Сталин перебил с улыбкой:

— А наш один конвоировал большую группу немцев и по дороге перебил их всех, кроме одного. Спрашивают его, когда он пришел к месту назначения: «А где остальные?» «Выполняю, — говорит, — распоряжение Верховного Главнокомандующего: перебить всех до одного — вот я вам и привел одного».

В разговоре он заметил о немцах:

— Они странный народ — как овцы. Я помню в детстве: куда баран, туда за ним и остальные. Помню, когда я был до революции в Германии: группа немецких социал-демократов опоздала на съезд, так как должны были ожидать проверки билетов или чего-то в этом роде. Разве русские так бы поступили? Кто-то хорошо сказал: в Германии совершить революцию невозможно, так как пришлось бы мять траву на газонах.

Он спрашивал меня, как называются по-сербски отдельные предметы. Естественно, обнаружилось большое сходство между русским и сербским языками.

— Ей-богу, — воскликнул Сталин, — что тут еще говорить: один народ!

Рассказывали и анекдоты, и Сталину особенно понравился один, который рассказал я. Разговаривают турок и черногорец в один из редких моментов перемирия. Турок интересуется, почему черногорцы все время затевают войны. «Для грабежа, — говорит черногорец. — Мы — люди бедные, вот и смотрим, нельзя ли где пограбить. А вы ради чего воюете?» «Ради чести и славы», — отвечает турок. На это черногорец: «Ну да, каждый воюет ради того, чего у него нет».

Сталин с хохотом прокомментировал:

— Ей-богу, глубокая мысль: каждый воюет ради того, чего у него нет!

Смеялся и Молотов, но опять скупно и беззвучно — действительно, у него не было способности ни создавать, ни воспринимать юмор.

Сталин расспрашивал, с кем из руководителей я встречался в Москве. Когда я упомянул Димитрова и Мануильского, он заметил:

— Димитров намного умнее Мануильского, намного умнее.

В связи с этим он вспомнил о роспуске Коминтерна:

— Они, западные, настолько подлы, что нам ничего об этом даже не намекнули. А мы вот упрямые: если бы они нам что-нибудь сказали, мы бы его до сих пор не распу-

стили! Положение с Коминтерном становилось все более ненормальным. Мы с Вячеславом Михайловичем тут голову ломаем, а Коминтерн проталкивает свое — и все больше недоразумений. С Димитровым работать легко, а с другими труднее. Но что самое важное: само существование всеобщего коммунистического форума, когда коммунистические партии должны найти национальный язык и бороться в условиях своей страны, — ненормальность, нечто неестественное.

Во время ужина пришли две телеграммы — Сталин дал мне прочесть и ту и другую.

В одной было содержание разговора Шубашича в государственном департаменте. Шубашич стоял на такой точке зрения: мы, югославы, не можем идти ни против Советского Союза, ни проводить антирусскую политику, потому что у нас очень сильные славянские и прорусские традиции. Сталин на это заметил:

— Это он, Шубашич, пугает американцев! Но почему он их пугает? Да, пугает их! Но почему, почему?

Затем он прибавил, очевидно, заметив удивление на моем лице:

— Они крадут у нас телеграммы, но и мы у них.

Вторая телеграмма была от Черчилля. Он сообщал, что завтра начнется высадка во Франции. Сталин начал издеваться над телеграммой:

— Да, будет высадка, если не будет тумана. Всегда до сих пор находилось что-то, что им мешало, — сомневаюсь, что и завтра что-нибудь будет. Они ведь могут натолкнуться на немцев! Что, если они натолкнутся на немцев? Высадки, может, и не будет, а как до сих пор — обещания.

Молотов, как всегда заикаясь, начал доказывать:

— Нет, на этот раз будет на самом деле.

У меня не создалось впечатления, что Сталин серьезно сомневается в высадке союзников, а что ему хотелось ее высмеять — в особенности высмеять причины предыдущих откладываний высадки.

Суммируя сегодня впечатления того вечера, мне кажется, что я мог бы сделать следующие выводы: Сталин сознательно запугивал югославских руководителей, чтобы ослабить их контакты с Западом, одновременно стараясь подчинить своим интересам их политику, превратить ее в придаток своей западной политики, в особенности в отношениях с Великобританией.

Основываясь на своих идеях и практике и на собствен-

ном историческом опыте, он считал надежным только то, что зажато в его кулаке; каждого же, находящегося вне его полицейского контроля, он считал своим потенциальным противником. Течение войны вырвало югославскую революцию из-под его контроля, а власть, которая из нее рождалась, слишком хорошо осознала свои собственные возможности, и он не мог ей прямо приказывать. Он это знал и просто делал что мог, используя антикапиталистические предрассудки югославских руководителей, пытаясь привязать этих руководителей себе и подчинить их политику своей.

Мир, в котором жили советские вожди, — а это был и мой мир, — постепенно начинал представлять передо мною в новом виде: ужасная, не прекращающаяся борьба на всех направлениях. Все обнажалось и концентрировалось на сведении счетов, которые отличались друг от друга лишь по внешнему виду и где в живых оставался только более сильный и ловкий. И меня, исполненного восхищения к советским вождям, охватывало теперь головокружительное изумление при виде воли и бдительности, не покидавших их ни на мгновение.

Это был мир, где не было иного выбора, кроме победы или смерти.

Таков был Сталин — творец новой социальной системы.

Прощаясь со Сталиным, я спросил еще раз: нет ли у него замечаний по поводу работы югославской партии. Он ответил:

— Нет. Вы ведь сами лучше знаете, что надо делать.

Я и это, после прибытия на остров Вис, передал Тито и другим из Центрального комитета. А свою московскую поездку резюмировал так: Коминтерна на самом деле больше нет, и мы, югославские коммунисты, должны действовать по своему усмотрению — в первую очередь нам следует опираться на собственные силы.

Сталин перед нашим отъездом передал для Тито саблю — подарок Верховного Совета. К этому прекрасному и высокому дару я, возвращаясь через Каир, прибавил и свой скромный подарок: шахматы из слоновой кости.

Мне не кажется, что в этом была символика. Но сегодня я думаю, что во мне и тогда, приглушенный, существовал и другой мир, отличный от сталинского.

Из ельника, окружавшего сталинскую дачу, поднимаются дымка и заря. Сталин и Молотов жмут мне руку у выхода, утомленные еще одной бессонной ночью. Авто-

мобиль уносит меня в утро и в Москву, еще не проснувшуюся, умытую июньской росой. Ко мне возвращается ощущение, охватившее меня, когда я ступил на русскую землю: мир все же не столь велик, если смотреть на него из этой страны. А может быть, и не неприступен — со Сталиным, с идеями, которые должны наконец открыть человеку истину об обществе и о нем самом.

Это была красивая мечта — среди войны. Мне тогда не приходило в голову подумать, что из этого было более реальным, да и сегодня я не мог бы сказать, что оказалось более обманчивым.

Люди живут и мечтой, и реальностью.

## СОМНЕНИЯ

### 1

Мне, наверное, не пришлось бы ехать во второй раз в Москву и снова встречаться со Сталиным, если бы я не стал жертвой своей прямолинейности.

Дело в том, что после прорыва Красной Армии в Югославию и освобождения Белграда осенью 1944 года произошло столько серьезных — одиночных и групповых — выпадов красноармейцев против югославских граждан и военнослужащих, что это для новой власти и Коммунистической партии Югославии переросло в политическую проблему.

Югославские коммунисты представляли себе Красную Армию идеальной, а в собственных рядах немилосердно расправлялись даже с самыми мелкими грабителями и насильниками. Естественно, что они были поражены происходившим больше, чем рядовые граждане, которые по опыту предков ожидают грабежа и насилий от любой армии. Однако эта проблема существовала и усложнялась тем, что противники коммунистов использовали выходы красноармейцев для борьбы против неукрепившейся еще власти и против коммунизма вообще. И еще тем, что высшие штабы Красной Армии были глухи к жалобам и протестам, и создавалось впечатление, что они намеренно смотрят сквозь пальцы на насилия и насильников.

Как только Тито вернулся из Румынии в Белград, — одновременно он побывал в Москве и впервые встречался со Сталиным, — надо было решить и этот вопрос.

На совещании у Тито, где кроме Карделя и Ранковича присутствовал и я, решили переговорить с начальником советской миссии, генералом Корнеевым. А чтобы Корнеев воспринял все это как можно серьезнее, договорились, что встречаться с ним будет не один Тито, а мы троим и еще два выдающихся югославских командующих — генералы Пеко Дапчевич и Коча Попович.

Тито изложил Корнееву проблему в весьма смягченной и вежливой форме, и поэтому нас очень удивил его грубый и оскорбительный отказ. Мы советского генерала пригласили как товарища и коммуниста, а он выкрикивал:

— От имени советского правительства я протестую против подобной клеветы на Красную Армию, которая...

Напрасны были все наши попытки его убедить — перед нами внезапно оказался разъяренный представитель великой силы и армии, которая «освобождает».

Во время разговора я сказал:

— Трудность состоит еще в том, что наши противники используют это против нас, сравнивая выпады красноармейцев с поведением английских офицеров, которые таких выпадов не совершают.

Особенно грубо и не желая ничего понимать, Корнеев реагировал именно на эту фразу:

— Самым решительным образом протестую против оскорблений, наносимых Красной Армии путем сравнения ее с армиями капиталистических стран!

Югославские власти только через некоторое время собрали данные о беззакониях красноармейцев: согласно заявлениям граждан, произошел 121 случай изнасилования, из которых 111 — изнасилование с последующим убийством, и 1204 случая ограбления с нанесением повреждений — цифры не такие уж малые, если принять во внимание, что Красная Армия вошла только в северо-восточную часть Югославии. Эти цифры показывают, что югославское руководство обязано было реагировать на эти инциденты как на политическую проблему, тем более серьезную, что она сделалась также предметом внутрипартийной борьбы. Коммунисты эту проблему ощутили и как моральную: неужели это и есть та идеальная Красная Армия, которую мы ждали с таким нетерпением?

Встреча с Корнеевым окончилась безрезультатно, хотя и было отмечено, что после нее советские штабы начали строже реагировать на самоволие своих бойцов. А мне товарищи тут же, сразу после ухода Корнеева, одни в



более мягкой, а другие в более резкой форме высказали свое неудовольствие, что я произнес эту самую фразу. Мне, право, и в голову не приходило сравнивать советскую армию с британской — у Британии в Белграде была только миссия. Я просто исходил из очевидных фактов, констатировал их и реагировал на политическую проблему, которую усложняло еще и непонимание и упрямство генерала Корнеева. Тем более я был далек от мысли оскорблять Красную Армию, которую в то время любил не меньше, чем генерал Корнеев. Конечно, я не мог — в особенности на занимаемом мною посту — оставаться спокойным к насилию над женщинами, которое я всегда считал одним из самых гнусных преступлений, к оскорблению наших бойцов и к грабежу нашего имущества.

Эти мои слова, наряду еще кое с чем, стали причиной первых трений между югославским и советским руководством. И хотя для обид были и более веские причины, советские руководители и представители чаще всего упоминали именно мои слова. Мимходом скажу, что, несомненно, по этой же причине советское правительство ни меня, ни некоторых других руководящих членов югославского Центрального комитета не наградило орденом Суворова. По тем же причинам оно обошло и генерала Пеку Дапчевича, так что я и Ранкович, чтобы загладить такое пренебрежение, предложили Тито наградить Дапчевича званием Народного героя. Мои слова, несомненно, были одной из причин того, что советские агенты в Югославии принялись в начале 1945 года распространять слухи, что я «троцкист». Потом они сами прекратили это — как из-за бессмысленности обвинения, так и в связи с улучшением отношений между СССР и Югославией.

А я вскоре после этого заявления оказался почти в изоляции — но не только потому, что самые близкие товарищи меня особенно осуждали, хотя осуждения, конечно, были и резкие, и не потому, что советские верхи обостряли и раздували инцидент, а в одинаковой мере из-за моих собственных внутренних переживаний.

Дело в том, что я тогда переживал внутренний конфликт, который не может не пережить каждый коммунист, честно и бескорыстно принимающий коммунистические идеи, — он рано или поздно убедится в расхождении этих идей с практикой партийных верхов. В моем случае это произошло не столько из-за расхождения между идеалистическими представлениями о Красной Армии и поведе-

нием ее представителей. Я и сам понимал, что в Красной Армии, несмотря на то, что она — армия «бесклассового» общества, «все еще» не может быть полного порядка, что в ней еще должны быть «пережитки прошлого». Внутренние противоречия во мне породило равнодушное, если не сказать одобрительное отношение советского руководства и советских штабов к насилиям, в особенности нежелание их признать — не говоря уже об их возмущении, когда мы на это указывали. Намерения наши были искренними — мы хотели сохранить авторитет Красной Армии и Советского Союза, который пропаганда Коммунистической партии Югославии создавала в течение многих лет. А на что натолкнулись эти наши добрые намерения? На грубость и отпор, типичные для отношений великой державы с малой, сильного со слабым.

Все это усиливалось и углублялось попытками советских представителей использовать мои, по сути, добронамеренные слова как основание для вызывающей позиции по отношению к югославскому руководству.

Что это, почему советские представители не смогли нас понять? Почему мои слова так преувеличены и искажены? Почему их в таком искаженном виде советские представители используют в своих политических целях, утверждая, что югославские руководители не благодарны Красной Армии, которая в решительный момент сыграла главную роль в освобождении столицы Югославии и помогла югославским руководителям закрепиться в ней?

Но на это не было — и на такой базе не могло быть ответа.

Меня, как и многих других, смущали и иные поступки советских представителей. Так, советское командование объявило, что для помощи Белграду оно дарит большое количество пшеницы. Выяснилось, однако, что на самом деле эта пшеница находилась на складах на югославской территории и что немцы реквизируют ее у югославских крестьян. Советское командование просто считало ее своей военной добычей, как и многое другое. Советская разведка занималась массовой вербовкой русских белоэмигрантов, а также и югославов — даже в самом аппарате Центрального комитета. Против кого, зачем? В секторе агитации и пропаганды, которым я управлял, тоже остро ощущались трения с советскими представителями. Советская печать систематически изображала в неверном свете и недооценивала борьбу югославских коммунистов, в то

время как советские представители сперва осторожно, а затем все более откровенно требовали подчинения югославской пропаганды советским нуждам, подгонки ее по советским колодкам. Попойки же советских представителей, приобретавшие характер настоящих вакханалий, в которые они пытались вовлечь и югославские верхи, в моих глазах и в глазах многих других только подтверждали правильность наблюдений о расхождении между советскими идеями и делами — их этики на словах и аморальности на деле.

Первый контакт между двумя революциями и двумя властями — хотя они и стояли на схожих социальных и идейных основах — не мог не пройти без трений. Но поскольку это происходило в исключительной и замкнутой идеологии, трения не могли вначале проявиться иначе, как в облике моральной дилеммы и сожаления по поводу того, что правоверный центр не понимает добрых намерений малой партии и бедной страны.

А поскольку люди реагируют не только одним сознанием, я вдруг «открыл» неразрывную связь человека с природой — начал ходить на охоту, как в ранней молодости, и вдруг заметил, что красота существует не только в партии и революции.

Но огорчения только начинались.

## 2

Зимой 1944/45 года в Москву направилась расширенная правительственная делегация, в которой кроме Андрия Хебранга, кооптированного члена ЦК и министра индустрии, Арсы Йовановича, начальника Верховного штаба, была и моя тогдашняя супруга Митра, — она мне, кроме политических заявлений советских руководителей, могла сообщить и их личные высказывания, к которым я был особенно чувствителен.

Делегацию в целом и отдельных ее членов беспрерывно упрекали за положение в Югославии и за позиции отдельных югославских руководителей. Советские представители обыкновенно исходили из точных фактов, а затем их раздували и обобщали. Хуже всего было то, что руководитель делегации Хебранг теснейшим образом связался с советскими представителями, передавал им доклады в письменном виде и переносил на членов делега-

ции советские упреки. Причиной такого поведения Хебранга, судя по всему, было его недовольство смещением с должности секретаря Коммунистической партии Хорватии, а еще в большей степени — малодушное поведение в свое время в тюрьме, о чем стало известно позже и что он, вероятно, пытался таким путем замаскировать.

Передача информации советской партии сама по себе тогда не считалась каким-то смертным грехом, потому что никто из югославов не противопоставлял свой Центральный комитет советскому. Более того, от советского Центрального комитета не скрывали данных о положении в югославской партии. Но в случае Хебранга это приобрело тогда уже характер подкопа под югославский Центральный комитет. Так никогда и не узнали, что именно он сообщал. Но его позиция и сообщения отдельных членов делегации позволяли сделать уже тогда безошибочное заключение, что Хебранг писал в советский Центральный комитет, чтобы натравить его на югославский Центральный комитет и добиться, чтобы в последнем были произведены нужные Хебрангу изменения.

Конечно, все это было облечено в принципиальность и основано на более или менее очевидных упущениях и слабостях югославов. Самое же главное было в следующем: Хебранг считал, что Югославия не должна создавать промышленности и хозяйственных планов отдельно от СССР, в то время как Центральный комитет полагал, что необходимо тесно сотрудничать с СССР, но сохранять свою независимость.

Окончательный моральный удар этой делегации нанес, несомненно, Сталин. Он пригласил всю делегацию в Кремль и устроил ей обычный пир и представление, какое можно встретить только в шекспировских драмах.

Он критиковал югославскую армию и метод управления ею. Но непосредственно атаковал только меня. И как! Он с возбуждением говорил о страданиях Красной Армии и ужасах, которые ей пришлось пережить, пройдя с боями тысячи километров по опустошенной земле. Он лил слезы, восклицая:

«И эту армию оскорбил не кто иной, как Джилас! Джилас, от которого я этого меньше всего ожидал! Которого я так тепло принял! Армию, которая не жалела для вас своей крови! Знает ли Джилас, писатель, что такое человеческие страдания и человеческое сердце? Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров

сквозь кровь, и огонь, и смерть, если тот пошлит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк?»

Он каждую минуту провозглашал тосты, льстил одним, шутил с другими, подтрунивал над третьими, целовался с моей женой, потому что она сербка, и опять лил слезы над лишениями Красной Армии и над неблагодарностью югославов.

Он мало или вовсе ничего не говорил о партиях, о коммунизме, о марксизме, но очень много о славянах, о народах, о связях русских с южными славянами и снова — о героизме, страданиях и самопожертвовании Красной Армии.

Слушая обо всем этом, я был прямо потрясен и оглушен.

Но сегодня мне кажется, что Сталин взял на прицел меня не из-за моего «выпада», а в намерении каким-то образом перетянуть меня на свою сторону. На эту мысль его могло навести только мое искреннее восхищение Советским Союзом и его личностью.

Сразу после возвращения в Югославию я написал о встрече со Сталиным статью, которая ему очень понравилась, — советский представитель посоветовал мне только в дальнейших публикациях этой статьи опустить фразу о слишком длинных ногах Сталина и больше подчеркнуть близость между Сталиным и Молотовым. Но в то же время Сталин, который быстро распознавал людей и отличался особым умением использовать человеческие слабости, должен был понять, что он не сможет склонить меня на свою сторону ни перспективой политического возвышения, поскольку я был к этому равнодушен, ни идеологической обработкой, поскольку к советской партии я относился не лучше, чем к югославской. Воздействовать на меня он мог только эмоционально, используя мою искренность и мои увлечения. Этим путем он и шел.

Но моя чувствительность и моя искренность были одновременно и моей сильной стороной — они легко превращались в свою противоположность, когда я встречался с неискренностью и несправедливостью. Поэтому Сталин никогда и не пытался привлечь меня на свою сторону непосредственно, а я, убеждаясь на практике в советской несправедливости и стремлении к гегемонии, освобождался от своей сентиментальности и становился более твердым и решительным.

Сегодня действительно трудно установить, где в этом сталинском представлении была игра, а где искреннее огор-

чение. Мне лично кажется, что у Сталина и невозможно было отделить одно от другого — у него даже само притворство было настолько спонтанным, что казалось, будто он убежден в искренности и правдивости своих слов. Он очень легко приспособлялся к каждому повороту дискуссии, к каждой новой теме и даже к каждому новому человеку.

Итак, делегация возвратилась совсем оглушенной и подавленной.

А моя изоляция после слез Сталина и моей «неблагодарности» по отношению к Красной Армии еще больше усилилась. Но, становясь все более одиноким, я не поддавался апатии и все чаще брался за перо и книгу, находя в самом себе разрешение трудностей, в которых оказался.

### 3

Но жизнь делала свое — отношения между Югославией и Советским Союзом не могли застыть там, где их зафиксировали военные миссии и армии. Связи развивались, отношения становились многогранными, все больше приобретая определенный межгосударственный облик.

В апреле в Советский Союз должна была отправиться делегация для подписания договора о взаимопомощи. Делегацию возглавлял Тито, а сопровождал его министр иностранных дел Шубашич. В делегации были два министра экономики — Б. Андреев и Н. Петрович. В нее включили и меня — вероятно, желая путем непосредственного контакта ликвидировать спор вокруг «оскорбления» Красной Армии. Тито меня просто включил в делегацию, а поскольку с советской стороны не последовало никаких комментариев, в советский самолет сел и я.

Было начало апреля, самолет из-за непогоды все время бросало. Тито и большинству делегатов и сопровождающих — включая даже летчиков — было дурно. И мне тоже было нехорошо — но по-иному.

С момента, когда я узнал о предстоящей поездке, и до самой встречи со Сталиным у меня было неприятное ощущение: я был вроде кающегося, хотя им и не был, да и внутренне мне было не в чем каяться. Вокруг меня в Белграде все упорнее создавалась атмосфера, как вокруг человека, который глубоко погряз — «влип» — и которому ничего не остается, как искупить свою вину, надеясь лишь на великодушие Сталина.

Самолет приближался к Москве, а во мне росло ощущение уже знакомого одиночества. В первый раз я видел, как легко отворачиваются от меня товарищи, соратники, потому что близостью со мной они могли повредить своему положению в партии, попасть под подозрение, что и они «уклонились». Даже в самолете я не мог избавиться от этого. Отношения между мной и Андреевым, с которым меня сблизил участие в борьбе и страдания в тюрьме, где ярче, чем где бы то ни было, проявляются характеры и устанавливается контакт между людьми, были всегда шутивными и открытыми. А сейчас? Он как будто жалел меня, не имея возможности помочь, а я не решался к нему подойти, чтобы не унизиться, а еще больше — чтобы не поставить его в неудобное положение, не создать впечатления, что он со мной солидаризируется. Петровича я хорошо знал со времен моей нелегкой работы и жизни подпольщика — наша близость была главным образом интеллектуальной. Но и с ним я не осмелился начать одну из обычных и бесконечных наших дискуссий о сербской политической истории. Тито же про мое дело не упоминал, как будто его и не было, не высказывал своего мнения, не проявлял ко мне никаких определенных чувств. Но я ощущал, что он, по-своему — по политическим причинам — на моей стороне, уже самым тем, что взял меня с собою и что молчит.

Впервые я переживал конфликт между своей нормальной человеческой совестью — естественным человеческим стремлением к добру и истине — и средой, в которой жил, к которой принадлежал, в которой проявлял свою активность, конфликт с движением, заключенным в тиски абстрактных целей и прикованным к реальным возможностям. Но в моем сознании это проявлялось иначе: как противоречие между желанием улучшить мир и движением, к которому я принадлежу, и непониманием тех, от кого зависят решения.

Опасения росли с каждой минутой, с каждым метром, приближавшим меня к Москве.

Подо мною бежала земля, пустая и безлюдная, черная после только что стаявшего снега, изрытая потоками, а во многих местах и бомбами. И небо было облачное, сумрачное, непроницаемое. Не было ни неба, ни земли — я двигался по нереальному миру, он мне, может быть, снился, но я ощущал его более реально, чем все, до тех пор пережитое. Я летел, качаясь между небом и землей, — между своей

совестью и делами, между стремлениями и возможностями. В моей памяти осталась только эта нереальная и мучительная качка. Не было прежних славянских увлечений, почти не было революционных увлечений, как во время первой встречи с русской, советской землей и ее вождем.

А тут еще страдания Тито. Измученный, зеленый, он с предельным напряжением воли произнес приветственную речь и совершил церемонии.

Молотов, возглавлявший прием, холодно пожал мне руку, даже не улыбнувшись, чтобы показать, что мы знакомы. Было неприятно и то, что Тито отвезли на специальную дачу, а нас, остальных, в гостиницу «Метрополь». Соблазн и искушения все усиливались.

Они даже приобрели формы целевой акции.

На следующий день или через день в моей комнате зазвонил телефон. Послышался обольстительный женский голос:

— Здесь Катя.

— Какая Катя? — спрашиваю.

— Ну, Катя, как будто вы меня не помните? Я хотела бы с вами встретиться, я обязательно должна с вами встретиться!

Напряженно думаю: «Катя... Катя... нет, я не знаком ни с одной» — и сразу подозрение — советская разведка устраивает мне ловушку, чтобы потом шантажировать: в Коммунистической партии Югославии строго следят за личной моралью. Для меня не было ни новым, ни странным, что «социалистическая» Москва, как и любой миллионный город, кишит незарегистрированными проститутками. Но я прекрасно знал, что с иностранцами высокого ранга, о которых здесь заботятся и которых охраняют лучше, чем где-либо в мире, они могут связаться только по желанию разведки. Я делаю, что сделал бы и без этого, — говорю спокойно и коротко:

— Оставьте меня в покое! — и опускаю трубку.

Я думал, что этот незамысловатый и грязный прием применили только ко мне. Но поскольку я занимал руководящее положение в партии, я счел своей обязанностью проверить, не было ли чего подобного с Петровичем и Андреевым. Хотелось мне и пожаловаться им, как людям. Да, им также звонила, но не Катя, а Наташа или Вава! Я им все разъяснил и почти приказал не входить ни с кем в контакт.

А у самого смешанные чувства — облегчение, что



прицел взят не только на меня, и одновременно усиление тревоги: почему, зачем все это?

Мне даже в голову не приходило спросить у доктора Шубашича, не пытались ли подойти и к нему. Он не коммунист, и мне неудобно раскрывать перед ним в неприглядном виде Советский Союз и его методы — тем более что они направлены против коммунистов. Но в то же время я был убежден, что Шубашичу никакая Катя не звонила.

Я еще не был способен сделать вывод, что именно коммунисты и есть цель и средство, при помощи которого должна быть обеспечена советская гегемония в странах Восточной Европы. Но я уже подозревал это, ужасаясь таким методам и восставая против превращения моей личности в орудие.

Тогда я еще был способен верить, что могу одновременно быть и коммунистом и свободным человеком.

## 4

Вокруг договора о союзе между Югославией и СССР ничего значительного не произошло — договор был шаблонным, и моя роль сводилась к проверке перевода.

Подписание происходило в Кремле, 11 апреля 1945 года вечером, в очень узком официальном кругу. Из общестственности — если это выражение допустимо для тамошней обстановки — были только советские кинооператоры.

Живописный эпизод произошел, когда Сталин с бокалом в руке обратился к официанту, предложив ему чокнуть. Официант стал конфузиться, но Сталин спросил:

— Ты что, не хочешь выпить за советско-югославскую дружбу? — и тот послушно взял бокал и выпил до дна.

Во всей сцене чувствовалась демагогия и еще больше — гротеск. Но все блаженно заулыбались, как бы видя в этом доказательство того, что Сталин не гнушается простого народа, что он близок к нему.

Здесь я снова встретился со Сталиным. На его лице не было предупредительности, хотя не было и молотовской ледяной неподвижности и фальшивой любезности. Сталин не сказал мне ни одного слова. Спор о поведении красноармейцев, очевидно, не был ни забыт, ни прощен — я продолжал гореть в огне искупления.

Сталин вел себя так и на ужине в более узком кругу, в Кремле.

После ужина мы смотрели фильмы. Сталин сказал, что ему надоела стрельба, — показывали не военный, а колхозный фильм с плоским юмором. Во время фильма Сталин делал замечания, реагировал на ход действия примерно так, как это делают необразованные люди, принимающие художественную реальность за подлинную. Вторым фильмом был довоенный, на военную тему: «Если завтра война...» В этом фильме война ведется с применением ядовитых газов, а в тылу агрессоров-немцев вспыхивают восстания пролетариата. После окончания фильма Сталин спокойно заметил:

— Разница с тем, как это было на самом деле, небольшая: не было только ядовитых газов и не восстал немецкий пролетариат.

Все устали от здравиц, от еды, от фильмов. Сталин снова молча пожал мне руку, но я чувствовал себя уже спокойнее и беззаботней, хотя и не знал почему. Может быть, из-за сносной атмосферы? Или потому, что во мне созрели какие-то решения и я успокоился? Вероятно, и потому и поэтому. Во всяком случае — жить можно и без сталинской любви.

Но через день или два, на торжественном обеде в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца, Сталин оттаял — он вообще оживал и приходил в хорошее настроение, когда ел и пил.

По тогдашнему советскому церемониалу Тито досталось место слева от Сталина и справа от Калинина, тогдашнего Председателя Президиума Верховного Совета. Мне — слева от Калинина. Молотов и Шубашич сидели напротив Сталина и Тито, а все остальные югославские и советские деятели — вокруг.

Атмосфера была неестественной и сдержанной: присутствующие, кроме доктора Шубашича, были коммунистами, а обращались друг к другу во время тостов — «господин» и точно придерживались международного протокола, как будто это встреча представителей различных систем и идеологий.

После официальных речей и протокола мы обычно общались как друзья, то есть как близкие люди, принадлежащие одному движению с одинаковыми целями. Это противоречие между формализмом и действительностью было резко ощутимо — отношения между советскими и

югославскими коммунистами еще не испортились, их еще не подорвало советское стремление к гегемонии и борьба за престиж в коммунистическом мире. Но жизнь не подчиняется желаниям и схемам и навязывает формы, которые никто не может предугадать.

Советский Союз и западные союзники переживали как раз медовый военный месяц своих взаимоотношений, и советское правительство хотело таким путем избежать упреков, что к Югославии оно относится не как к независимому государству, потому что это коммунистическая страна. Позже, когда оно укрепилось в Восточной Европе, советское правительство стремилось устранить протокольные и другие формальности как «буржуазные» и «националистические» предрассудки.

Сталин нарушил официальную атмосферу — он один мог это сделать, не рискуя подвергнуться критике за «ошибку». Он просто встал, поднял бокал и, обратившись к Тито, назвал его «товарищ», добавив, что не хочет называть его «господином». Это снова всех сблизило и оживило атмосферу. Радостно заулыбался и доктор Шубашич, хотя трудно было поверить, что он делал это искренне, впрочем, притворство не было несвойственно этому политику без идей и каких бы то ни было устойчивых принципов. Сталин начал шутить — острить и поддевать через стол, весело ворчать. Оживление не прекращалось.

Старик Калинин, который был почти слеп, с трудом находил бокал, посуду, хлеб, и я ему все время старательно помогал. Тито за день или за два до этого был у него на официальном приеме и сказал мне, что старик еще не совсем беспомощен. Но по подробностям, на которые обратил внимание Тито, и по замечаниям Калинина на банкете можно было скорее заключить обратное.

Сталин, конечно, знал о дряхлости Калинина и неуклюже подшутил над ним, когда тот заинтересовался югославскими сигаретами Тито.

— Не бери — это капиталистические сигареты! — сказал Сталин, — и Калинин в смятении выронил сигарету из дрожащих пальцев.

Сталин засмеялся, став похожим на фавна. Через несколько минут все тот же Сталин поднял тост в честь «нашего президента» Калинина, но это были пустые громкие слова в адрес человека, уже ничего, кроме чисто символической фигуры, собою не представляющего.

Здесь, в более широком официальном окружении, обожествление Сталина ощущалось сильнее и непосредственнее.

Сегодня я мог бы сказать: обожествление, или, как теперь говорится, «культ личности» Сталина, создавал не только он сам, а в такой же, если не в большей степени — сталинское окружение и бюрократия, которым такой вождь был необходим.

Отношения, конечно, изменялись: превращенный в божество, Сталин со временем стал настолько силен, что перестал обращать внимание на изменения в нуждах и потребностях тех, кто его возвеличил.

Маленький неуклюжий человечек шествовал по золотым и малахитовым царским палатам, перед ним открывался путь, его провожали горящие восторженные взгляды, слух придворных напрягался, чтобы запомнить каждое его слово. А он, уверенный в самом себе и в своем деле, как будто не обращал на все это внимания. Его страна лежала в развалинах, голодная, изможденная. А его армии и отягченные жиром и орденами, опьяненные водкой и победой маршалы уже затоптали половину Европы. Он был уверен, что в следующем раунде они затопчут и вторую половину. Сталин знал, что он — одна из наиболее деспотических личностей человеческой истории. Но его это нимало не беспокоило: он был уверен, что вершит суд истории. Ничто не отягощало его совесть, несмотря на миллионы уничтоженных от его имени и по его распоряжению, несмотря на тысячи ближайших сотрудников, которых он истребил как предателей, когда они усомнились в том, что он ведет страну и народ к благосостоянию, равенству и свободе. Борьба была опасной, долгой и все более коварной, по мере того как противники становились малочисленнее и слабее. Но он победил, а практика — единственный критерий истины! И что такое совесть? Существует ли она вообще? Для нее нет места в его философии и практике. И человек, между прочим, результат производительных сил.

Поэты им вдохновляются, оркестры гремят кантатами о нем, философы и институты пишут тома о произнесенных им фразах, а казнимые мученики умирают, выкрикивая его имя. Сейчас он победитель самой большой войны в истории и его абсолютная власть над шестой частью земного шара неудержимо ширится дальше. Поэтому он верит, что в его обществе нет противоречий и что оно во всем превосходит любое другое общество.

И он шутит со своими придворными — «товарищами». Он шутит не только из царского великодушия. Царственность лишь в том, как он это делает: он никогда не шутит над самим собой. Он шутит потому, что ему нравится спускаться с олимпийских высот — показать, что он живой человек среди людей, время от времени напомнить, что личность без коллектива — ничто.

И я увлечен Сталиным и его шутками. Но краешек мозга и мое моральное существо трезвы и взволнованны: я замечаю и уродливое и не могу примириться с тем, как Сталин шутит — и как он сознательно не хочет сказать мне человеческого, товарищеского слова.

## 5

И все же я был приятно удивлен, когда на интимный ужин на даче Сталина пригласили и меня. Доктор Шубашич, разумеется, об этом даже не подозревал — из югославов там были только мы, югославские министры-коммунисты, а с советской стороны ближайшие сотрудники Сталина: Маленков, Булганин, генерал Антонов, Берия и, конечно, Молотов.

Как обычно, около десяти часов вечера мы собрались за столом у Сталина — я приехал вместе с Тито. Во главе стола сел Берия, справа Маленков, затем я и Молотов, потом Андреев и Петрович, а слева Сталин, Тито, Булганин и генерал Антонов, начальник Генерального штаба.

Берия был тоже небольшого роста — в Политбюро у Сталина, наверное, и не было людей выше его. Берия тоже был полный, зеленовато-бледный, с мягкими влажными ладонями. Когда я увидел его четырехугольные губы и жабий взгляд сквозь пенсне, меня как током ударило — настолько он был похож на Вуйковича, одного из начальников белградской королевской полиции, особым пристрастием которого было мучить коммунистов. Только усилием воли я отогнал от себя неприятное сравнение, напрашивавшееся так назойливо еще потому, что сходство было не только внешнее, а и в выражении — смесь самоуверенности, насмешливости, чиновничьего раболепия и осторожности. Берия был грузин, как и Сталин, но это нельзя было заключить по его внешности — грузины обычно костистые и брюнеты. Он и тут был неопределенным — его можно было принять за славянина или литовца, а скорее всего за какую-то смесь.

Маленков был еще более низкорослым и полным, но типичным русским с монгольской примесью — немного рыхлый брюнет с выдающимися скулами. Он казался замкнутым, внимательным человеком без ярко выраженного характера. Под слоями и буграми жира как будто двигался еще один человек, живой и находчивый, с умными и внимательными черными глазами. В течение долгого времени было известно, что он неофициальный заместитель Сталина по партийным делам. Почти все, связанное с организацией партии, возвышением и снятием партработников, находилось в его руках. Он изобрел «номенклатурные списки» кадров — подробные биографии и автобиографии всех членов и кандидатов многомиллионной партии, которые хранились и систематически обрабатывались в Москве. Я использовал встречу, чтобы попросить у него произведение Сталина «Об оппозиции», которое было изъято из открытого употребления из-за содержащихся в нем многочисленных цитат Троцкого, Бухарина и других. На следующий день я получил подержанный экземпляр — он и сейчас в моей библиотеке.

Булганин был в генеральской форме. Крупный, красивый и типично русский, со старинной бородкой и весьма сдержанный в выражениях. Генерал Антонов был еще молод — красивый и стройный брюнет, в разговор он вмешивался, только когда дело его касалось.

Очувтившись лицом к лицу со Сталиным, я вдруг почувствовал уверенность в себе, хотя он ко мне и здесь долго не обращался.

Только когда атмосфера оживилась благодаря напиткам, тостам и шуткам, Сталин посчитал, что наступило время покончить распрю со мной. Он сделал это полушутливым образом: налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную Армию. Не сразу поняв его намерение, я хотел выпить за его здоровье.

— Нет, нет, — настаивал он, усмехаясь и испытующе глядя на меня, — именно за Красную Армию! Что, не хотите выпить за Красную Армию?

Разумеется, я выпил, хотя у Сталина я избегал пить что-либо, кроме пива, потому что я не люблю алкоголь и потому что пьянство не вязалось с моими взглядами, хотя я никогда не был и проповедником трезвости.

Затем Сталин спросил — что там было с Красной Армией? Я ему объяснил, что вовсе не хотел оскорблять Красную Армию, а хотел указать на ошибки некоторых ее

служащих и на политические затруднения, которые нам это создавало.

Сталин перебил:

— Да. Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошлит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию. Тут был интересный случай. Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашелся рыцарь-инженер, который начал ее защищать. Майор за пистолет: «Эх ты, тыловая крыса!» — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я им заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного Главнокомандующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Воина надо понимать. И Красная Армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев — а она их бьет хорошо, — все остальное второстепенно.

Немного позже, после возвращения из Москвы, я с ужасом узнал и о гораздо большей степени «понимания» им грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии, советские солдаты, в особенности танкисты, давили и без разбора убивали немецких беженцев — женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях. Он ответил: «Мы читаем нашим бойцам слишком много лекций — пусть и они проявляют инициативу!»

Сталин спросил меня:

— А генерал Корнеев, начальник нашей миссии, что он за человек?

Я не хотел говорить о Корнееве и о его миссии что-либо дурное, хотя сказать можно было многое. Сталин продолжал:

— Он, бедняга, не глуп, но он пьяница, неизлечимый пьяница!

После этого Сталин начал шутить по поводу того, что я пил пиво, которое я, кстати, тоже не люблю:

— А Джилас пьет пиво, как немец, как немец — он немец, ей-богу, немец.

Мне эта шутка пришлась не очень по вкусу: в то время немцы — даже и то небольшое количество коммунистов-эмигрантов на нашей стороне — котировались в Москве ниже всех прочих, но я принял ее не сердясь и без внутреннего возмущения.

Этим, как казалось, спор вокруг Красной Армии был исчерпан. Отношение Сталина ко мне стало сердечным, как прежде.

Так это продолжалось до конфликта между югославским и советским ЦК в 1948 году, когда Молотов и Сталин в своих письмах снова использовали и извратили этот самый спор и «оскорбления», которые я нанес Красной Армии.

Сталин намеренно — одновременно и шутливо и зло — поддразнивал Тито: плохо отзывался о югославской и хорошо о болгарской армии. Недавно, прошедшей зимой, югославские части, пополненные свежемобилизованными новобранцами, впервые участвовали в серьезных регулярных боевых операциях и терпели неудачи. Сталин, очевидно, имевший обо всем точные сведения, язвил:

— Болгарская армия лучше югославской. У болгар были недостатки и враги в армии. Но они расстреляли десяток-другой — и сейчас все в порядке. Болгарская армия очень хороша — обученная, дисциплинированная. А ваша, югославская, — все еще партизаны, неспособные к серьезным фронтовым сражениям. Один немецкий полк зимой разогнал вашу дивизию! Полк — дивизию!

Немного погодя Сталин предложил тост за югославскую армию, не забыв при этом прибавить:

— Но за такую, которая будет хорошо драться и на равнине!

Тито воздерживался от реакций на замечания Сталина. Когда Сталин отпускал какую-нибудь остроту по нашему адресу, Тито со сдержанной улыбкой молча поглядывал на меня, а я его взгляд встречал с солидарностью и симпатией. Но когда Сталин сказал, что болгарская армия лучше югославской, Тито не выдержал и воскликнул, что югославская армия быстро устранил свои недостатки.

В отношениях между Сталиным и Тито было что-то особое, недосказанное — как будто между ними существовали какие-то взаимные обиды, но ни один ни другой по каким-то своим причинам их не высказывал. Сталин следил



за тем, чтобы никак не обидеть лично Тито, но одновременно мимоходом придирался к положению в Югославии. Тито же относился к Сталину с уважением, как к старшему, но чувствовалось, что он дает отпор, в особенности сталинским упрекам по поводу положения в Югославии.

В какой-то момент Тито сказал, что в социализме существуют новые явления и что социализм проявляет себя сейчас по-иному, чем прежде, на что Сталин заявил:

— Сегодня социализм возможен и при английской монархии. Революция нужна теперь не повсюду. Тут недавно у меня была делегация британских лейбористов и мы говорили как раз об этом. Да, есть много нового. Да, даже и при английском короле возможен социализм.

Как известно, Сталин никогда открыто не становился на такую точку зрения. Британские лейбористы вскоре после этого получили большинство на выборах и национализировали свыше 20% промышленности. Но все-таки Сталин никогда не признал эти меры социалистическими и не назвал лейбористов социалистами. Я думаю, что он не сделал этого главным образом из-за несогласия и столкновений с лейбористским правительством во внешней политике.

Во время разговора об этом я сказал, что в Югославии, в сущности, советская власть — все ключевые позиции в руках коммунистической партии и никакой серьезной оппозиционной партии нет. Но Сталин с этим не согласился:

— Нет, у вас не советская власть — у вас нечто среднее между Францией де Голля и Советским Союзом.

Тито добавил, что в Югославии происходит нечто новое. Но дискуссия осталась неоконченной.

Я внутренне не согласился с точкой зрения Сталина и думаю, что мое мнение не отличалось от мнения Тито.

Сталин изложил свою точку зрения и на существенную особенность идущей войны.

— В этой войне не так, как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может.

Он без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики:

— Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет! — повторял он, резко рассекая воздух указательным пальцем.

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в

течение следующих пятидесяти лет. Но Сталин придерживался другого мнения:

— Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией — лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины — никто пальцем не шевельнет.

В какой-то момент он встал, подтянул брюки, как бы готовясь к борьбе или кулачному бою, и почти в упоении воскликнул:

— Война скоро кончится, через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем — снова!

Что-то жуткое было в его словах: ужасная война еще шла. Но импонировала его уверенность в выборе направления, по которому надо идти, сознание неизбежного будущего, которое предстоит миру, где он живет, и движению, которое он возглавляет.

Все остальное, что он сказал в тот вечер, едва ли стоило запоминать — много ели, еще больше пили и поднимали бесчисленные и бессмысленные тосты.

Молотов рассказал, как Сталин подшутил над Черчиллем: Сталин поднял тост за разведчиков и службу разведки, намекая на неуспех Черчилля в Галлиполи в первую мировую войну, причиной которого была недостаточная осведомленность британцев. Но он не без удовольствия упомянул и тонкое остроумие Черчилля. В Москве, под бокал хорошего вина, Черчилль сказал, что заслуживает высший советский орден и величайшую благодарность Красной Армии, потому что в свое время интервенцией в Архангельске он научил ее хорошо драться. Вообще можно было заметить, что Черчилль, хотя они его и не любили, произвел на советских вождей весьма сильное впечатление — дальновидный и опасный «буржуазный государственный деятель».

Возвращаясь на свою дачу, Тито, тоже не переносивший большого количества алкоголя, заметил в автомобиле:

— Не знаю, что за черт с этими русскими, что они так пьют — прямо какое-то разложение!

Я, конечно, с ним согласился, в который раз напрасно пытаюсь уяснить себе, почему верхи советского общества так отчаянно и систематически пьют.

На обратном пути в город с дачи, в которой жил Тито, я подытожил опыт этой ночи, во время которой ничего особенного не произошло: спорных вопросов нет, но отдаление между нами как бы увеличилось — все спорные вопросы разрешены по политическим причинам, как неизбежные в отношениях между независимыми государствами.

Один вечер мы провели и у Димитрова. Чтобы как-то его заполнить, он пригласил двух или трех советских актеров, которые выступали с короткими отрывками.

Естественно, шел разговор о будущем объединении Болгарии и Югославии, но короткий и в очень общих чертах. Тито и Димитров обменивались воспоминаниями из времен Коминтерна. Вообще это была скорее дружеская, чем политическая встреча.

Димитров был в то время еще и одинок, потому что вся болгарская эмиграция давно уже отправилась в Болгарию — следом за Красной Армией.

В Димитрове ощущались усталость и безволие. Причины этого, во всяком случае часть из них, нам были известны, но вслух об этом никто не говорил. Хотя Болгария была освобождена, Сталин не разрешал Димитрову туда возвращаться, утверждая, что время для этого еще не наступило, — западные правительства его возвращение восприняли бы как открытый курс на введение в Болгарии коммунизма. Как будто этот курс и без того не был очевиден! Об этом зашел разговор на ужине у Сталина. Неопределенно подмигнув, Сталин сказал:

— Для Димитрова в Болгарии еще не пришло время, ему и здесь хорошо.

И хотя этого ничем нельзя было доказать, уже тогда возникли подозрения: Сталин будет препятствовать возвращению туда Димитрова пока сам не наведет порядка в Болгарии.

Наши сомнения еще не превратились в уверенность, что Советский Союз стремится к гегемонии, хотя мы это и ощущали. Мы поневоле соглашались с мнимыми опасениями Сталина, как бы Димитров не повернул Болгарию слишком быстро влево.

Но и этого было достаточно — для начала.

Это вызывало ряд вопросов: Сталин, конечно, гений, но и Димитров не простака — откуда Сталину лучше Димитрова знать, что следует делать в Болгарии? Разве задержание Димитрова в Москве против его воли не подрывает его авторитета среди болгарских коммунистов в болгар-

ском народе? И вообще, к чему эта сложная игра вокруг его возвращения, о которой русские никому, даже самому Димитрову ничего не говорят?

В политике больше, чем где-либо, все начинается с морального отталкивания и сомнений в добрых намерениях.

## 6

Мы возвращались через Киев и по взаимному желанию нашего и советского правительства остановились на три дня, чтобы нанести визит украинскому правительству.

Секретарем украинской партии большевиков и председателем правительства был Никита Хрущев, а его наркомом иностранных дел Мануильский. Они нас встретили, и с ними мы провели все три дня.

Тогда, в 1945 году, еще шла война и можно было выражать кое-какие желания — Хрущев и Мануильский запрашивали: не могла бы Украина установить дипломатические связи с «народными демократиями»?

Но из этого ничего не вышло — Сталин вскоре и сам натолкнулся в «народных демократиях» на сопротивление, так что ему даже в голову не могло прийти укреплять самостоятельность УССР. А краснобай, живой старичок Мануильский — министр без министерства — еще два-три года пустословил в Объединенных Нациях, чтобы потом внезапно исчезнуть.

Совсем иной была судьба Хрущева. Но о ней в тот момент никто не мог даже догадываться.

Он уже тогда — с 1938 года — был в высшем политическом руководстве, хотя считалось, что он не так близок к Сталину, как Молотов или Маленков или даже Каганович. В советских верхах он считался очень ловким практиком, с большим талантом в экономических и организационных делах, но как оратор или автор был совершенно неизвестен. На руководящие посты Украины он выдвинулся после чисток середины тридцатых годов, но какое он в них принимал участие, мне совершенно неизвестно — впрочем, тогда меня это и не интересовало. Зато хорошо известно, как в сталинской России вообще выдвигались: нужна была решительность и изворотливость в кровавых «антикулацких» и «антипартийных» кампаниях. В особенности на Украине, где к упомянутым «смертным грехам» добавлялся еще и «национализм».

Карьера Хрущева, хотя он выдвинулся еще сравнительно молодым, не была необычной для советских условий: как работник он проходил школы, политические и иные, и поднимался по партийным ступенькам с помощью преданности, ловкости и ума. Он, как большинство руководства, был из нового, послереволюционного, сталинского поколения партийных и советских работников. Война застала его на наивысшем посту Украины. Но, когда Красная Армия вынуждена была с Украины отступить, он получил в ней высокую, но не самую высокую политическую должность — он все еще носил форму генерал-лейтенанта, вернувшись после отступления немцев на место хозяина партии и правительства в Киеве.

Мы слышали, что по рождению он был не украинцем, а русским. Но об этом молчали, избегал говорить на эту тему и он сам, так как было неудобно, что на Украине даже председатель правительства не украинец! Было действительно странно для нас, коммунистов, способных оправдать и объяснить все, что могло бы испортить идеальную картину, изображающую нас самих, что среди украинцев, нации, размерами превышающей французскую и кое в чем более культурной, чем русская, не нашлось личности на место председателя правительства.

И от нас нельзя было скрыть, что украинцы часто покидали Красную Армию, как только немцы занимали их родные места, — после того как немцев выбили, в Красную Армию было мобилизовано два с половиной миллиона украинцев. Против украинских националистов все еще велись небольшие операции — одной из их жертв пал талантливый русский генерал Ватутин\*, — и нас не могло удовлетворить объяснение, что все это только последствия живучего украинского национализма. Напрашивался вопрос: а откуда этот национализм, если нации в СССР действительно равноправны?

Смущало и удивляло явное русифицирование общественной жизни: в театре говорили по-русски, некоторые газеты выходили на русском языке.

Но мы были далеки от мысли обвинять в этом или в чем-либо другом предупредительного хозяина Н. С. Хрущева, который, как хороший коммунист, мог лишь выполнять распоряжения своей партии, ленинского ЦК и вождя и учителя И. В. Сталина.

---

\* 29 февраля 1945 г. (Великая Отечественная война. Краткий очерк. М., 1970. С. 273. — *Прим. ред.*)

Все советские руководители отличались практичностью, а в своем коммунистическом окружении часто и непосредственностью — Н. С. Хрущев и в том и в другом среди них выделялся.

И тогда, ни сегодня — после того как я внимательно прочел его выступления — у меня не создалось впечатления, что его знания выходят за пределы русской классической литературы, а его теоретические познания превышают уровень средних партийных школ. Но кроме этих поверхностных, набранных на различных курсах знаний, гораздо важнее те, которые он приобрел как самоучка, неустанной работой над собой и еще больше на опыте живой и разносторонней практики. Количество и характер этих знаний определить было невозможно, потому что поражало как его знание некоторых малоизвестных подробностей, так и незнание элементарных истин. Его память превосходна, а способ выражения живой и образный.

От других советских вождей он отличался необузданной говорливостью, и, хотя он, как и все остальные, охотно употреблял народные пословицы и изречения — тогда был принят такой стиль для доказательства связи с народом, — у него это звучало не так фальшиво из-за простого и естественного поведения и речи.

Хрущев обладал чувством юмора. Но в отличие от Сталина, юмор которого был главным образом интеллектуальным и потому неуклюжим и циничным, юмор Хрущева был типично народным и потому зачастую вульгарным, но живым и неисчерпаемым. Когда он оказался на вершине власти и на него смотрел весь мир, видно было, что он следит за своим поведением и выражениями, но в основе своей он не изменился, и в новом хозяине советского государства нетрудно было узнать человека из народных низов. Следует добавить, что он меньше, чем любой из коммунистических самоучек и недоучек, страдает комплексом неполноценности. Он меньше, чем кто-либо из них, ощущает потребность прикрыть внешним блеском и общими местами свое невежество и недостатки. Банальности, которые он в таком количестве излагает, указывают или на подлинное невежество, или на вызубренные марксистские схемы, но излагает он их непосредственно и убежденно. Его язык и способ выражения доступен более широкому кругу слушателей, чем тот, к которому обращался Сталин, хотя Сталин обращался к той же самой, партийной публике.

В неновой и вовсе неотутюженной генеральской форме, он был единственным из советских руководителей, кто входил в мелочи, в ежедневную работу рядовых коммунистов и граждан. Конечно, он это делал не для того, чтобы поколебать основы, а, наоборот, чтобы их укрепить — чтобы усовершенствовать существующее положение. Но он узнавал и исправлял, в то время как другие отдавали распоряжения из кабинетов, в которых принимали и отчеты.

Никто из советских руководителей не ездил в колхозы, а если случайно ездил, так только ради пирушек и парада. Хрущев же ездил с нами в колхоз и, твердо веря в правильность колхозной системы, чокался с колхозниками громадными стаканами водки. Но одновременно он осмотрел парники, заглянул в свинарник и начал обсуждать практические вопросы. По дороге назад в Киев он все время возвращался к неоконченной дискуссии в колхозе и открыто говорил о недостатках.

Необыкновенные практические его способности в больших масштабах мы ощутили на заседании хозяйственных ведомств украинского правительства — его комиссары, в отличие от югославских министров, отлично разбирались в проблемах и, что еще важнее, реальнее оценивали возможности.

Небольшого роста, толстый, откормленный, но живой и подвижный, он был как бы вырублен из одного куска. Он почти заглатывал большие количества еды — как будто берег свою искусственную стальную челюсть. Но в то время как Сталину и его окружению было присуще скорее гурманство, если не прямой культ еды, то Хрущеву, как мне показалось, почти безразлично, что он ест, и что самое важное для него, как для каждого переутомленного работой человека, — просто хорошо наесться. Конечно, если у него такая возможность есть. И его стол был богатым — государственным, но безличным. Хрущев не гурман, хотя ест не меньше, а пьет даже больше Сталина.

Он чрезвычайно жизнелюбив и, как все практики, обладает большой способностью приспособливаться. Я думаю, что он не стал бы очень церемониться в выборе средств, если бы это было ему практически выгодно. Но, как все демагоги из народа, которые часто и сами начинают верить в то, что говорят, он с легкостью отрекся бы от невыгодных методов и был бы готов объяснить это моральными причинами и самыми высокими идеалами. Он любит

пословицу: во время драки дубину не выбирают. Эта поговорка оправдывает для него дубину и тогда, когда драки нет.

Все, что я здесь изложил, несколько не отвечает тому, что надо было бы сказать о Хрущеве сегодня. Но я передал свои прежние впечатления и только мимоходом — нынешние размышления.

Тогда я не заметил у Хрущева никакого возмущения Сталиным или Молотовым. О Сталине он говорил с почтением и подчеркивал свою близость с ним. Он рассказал, как Сталин, накануне немецкого нападения, сказал ему из Москвы по телефону, что надо быть осторожнее, так как есть данные, что немцы могут завтра — 22 июня — начать операции. Сообщаю это просто как факт, а не для того, чтобы опровергать слова Хрущева о том, что в неожиданности немецкого нападения виновен Сталин. Эта неожиданность — следствие ошибочных политических оценок Сталина.

Все же в Киеве ощущалась свежесть — благодаря невоздержанности и практичности Хрущева, восторженности Мануильского, красоте самого города, который бесконечными горизонтами и возвышенностями над громадной мутной рекой напоминал Белград.

Но если Хрущев производил впечатление твердости, самоуверенности и реализма, а Киев — продуманной и культивированной красоты, то Украина осталась в памяти как безличие, усталость и безнадежность.

Чем глубже я проникал в советскую действительность, тем больше умножались мои сомнения. Примирить эту действительность с моей — человеческой — совестью становилось делом все более безнадежным.

## РАЗОЧАРОВАНИЕ

### 1

В третий раз я встретился со Сталиным в начале 1948 года. Эта встреча была самой значительной, потому что состоялась накануне конфликта между советским и югославским руководством.

Перед встречей произошли важные события и перемены в югославско-советских отношениях.

Отношения между Советским Союзом и Западом уже



начали приобретать характер холодной войны и контуры двух блоков.

Ключевыми событиями здесь, по-моему, были советский отказ от плана Маршалла, гражданская война в Греции и создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий — Коминформа.

Югославия и Советский Союз были единственными восточноевропейскими странами, высказавшимися решительно против плана Маршалла, — первая главным образом из-за революционного догматизма, а вторая из страха, что американская экономическая помощь потрясет империю, только что освоенную при помощи военной силы.

Я, как югославский делегат на съезде Коммунистической партии Франции в Страсбурге, оказался в Париже как раз во время совещания Молотова с представителями западных держав по поводу плана Маршалла. Молотов меня принял в советском посольстве, и мы достигли согласия в вопросе бойкота плана Маршалла и критики французской партии с ее так называемой «национальной линией». Молотова особенно интересовали мои впечатления о съезде. О журнале «Новая демократия», который под редакцией Дюкло должен был выразить единство взглядов коммунистических партий, Молотов сказал:

— Это не то, что было нужно, и не то, что нужно сейчас.

В отношении же плана Маршалла Молотов колебался и считал, что, может быть, следовало согласиться на созыв совещания, в котором приняли бы участие и восточные страны, — но только с пропагандистскими целями, чтобы использовать трибуну, а затем в подходящий момент покинуть совещание. Я не был воодушевлен таким вариантом, хотя если бы русские настаивали, то согласился бы и с ним, — такова была точка зрения правительства моей страны. Но Молотов получил указание от Политбюро из Москвы не соглашаться даже на созыв совещания.

Сразу после моего возвращения в Белград в Москве должно было происходить совещание восточноевропейских стран для выработки точки зрения по отношению к плану Маршалла. Меня назначили представлять Югославию. Подлинной целью этого совещания должен был быть коллективный нажим на Чехословакию, чье правительство было не против участия в плане Маршалла. Советский самолет уже ждал на белградском аэродроме, но из Москвы пришла телеграмма, что потребность в совеща-

нии отпадает, — правительство Чехословакии отказалось от своей первоначальной точки зрения.

И Коминформ был создан по той же причине: чтобы согласовать точки зрения, отличающиеся от советских. Идея о необходимости создания какого-то органа, который обеспечил бы координацию и обмен мнениями между коммунистическими партиями, обсуждалась уже летом 1946 года — на эту тему говорили Сталин, Тито и Димитров. Но ее осуществление откладывалось по различным причинам — главным образом из-за того, что от советских вождей зависело определение удобного для этого момента. Он наступил осенью 1947 года — несомненно, в связи с советским отказом от плана Маршалла и укреплением ведущей роли Советского Союза в Восточной Европе.

На учредительном совещании в западной Польше, на бывшей немецкой территории, решительно настаивали на создании Коминформа только две делегации — югославская и советская. Гомулка был против, осторожно, но недвусмысленно говоря о «польском пути в социализм».

Здесь в качестве курьеза стоит упомянуть, что это Сталин придумал газете Коминформа название «За прочный мир, за народную демократию», считая, что западная пропаганда вынуждена будет повторять эти лозунги каждый раз, когда будет что-то цитировать из журнала. Но надежды Сталина не сбылись: название было громоздким, откровенно пропагандистским, и на Западе, как назло, чаще всего писали просто «орган Коминформа». Сталин также окончательно определил местопребывание Коминформа. Делегаты решили, было, что Коминформ будет в Праге. Представитель Чехословакии Сланский вечером умчался на автомобиле в Прагу, чтобы проконсультироваться об этом с Готвальдом. Но ночью Жданов и Маленков говорили со Сталиным — без прямого провода с Москвой невозможно было обойтись даже в этой заброшенной и далекой гостинице. И хотя Готвальд неохотно согласился на Прагу, Сталин распорядился, чтобы Коминформ был в Белграде.

Двойной процесс развивался и в глубине югославско-советских отношений: на вид полное политическое, а тем более идеологическое единодушие, а на самом деле — различные оценки и действия.

Когда расширенная делегация высшего югославского руководства — Тито, Ранкович, Кидрич, Нешкович — была

летом 1946 года в Москве, отношения между обоими руководствами приобрели более чем сердечный вид. Сталин обнимал Тито, предсказывал ему будущую роль в европейском масштабе, относясь с явным пренебрежением к болгарам и Димитрову. Но вскоре после этого начались споры и разногласия вокруг смешанных обществ.

Скрытые трения продолжались непрерывно. Незримые для некоммунистического мира, они скрыто вспыхивали в партийных верхах — в связи с вербовкой в советскую разведку, которая с особой наглостью велась в государственном и партийном аппарате, а также в идейной области, главным образом из-за советского пренебрежения к югославской революции. Советские представители в Югославии с демонстративным недоумением реагировали на выдвижение Тито наряду со Сталиным, а особенно болезненно относились к самостоятельным югославским связям с восточноевропейскими странами и к росту там ее авторитета.

Трения вскоре перешли и на экономические отношения, в особенности когда югославам стало очевидно, что они при осуществлении пятилетнего плана не могут рассчитывать на советскую помощь сверх обычных торговых отношений. Ощувив сопротивление, Сталин заговорил о том, что смешанные общества непригодны для дружеских и союзных стран, и обещал всяческую помощь. Но одновременно его торговые представители использовали экономические выгоды, возникающие в результате обострения югославско-западных отношений и югославских иллюзий, что СССР — государство неэгоистичное и не стремящееся к гегемонии.

Югославия наряду с Албанией была единственной восточноевропейской страной, освободившейся от фашистского нашествия и одновременно совершившей внутреннюю революцию без решающей помощи Красной Армии. Социальная перестройка пошла в ней дальше, чем где бы то ни было, и в то же время она находилась в самом выдающемся пункте формирующегося советского восточного блока. В Греции шла гражданская война. Югославию обвинили, что она инспирирует ее и поддерживает материально, и ее отношения с Западом, в особенности с США, были натянуты до предела.

Сегодня, глядя в прошлое, мне кажется, что советское правительство не только с удовлетворением наблюдало за обострением этих отношений, но даже предпринимало

шаги для их ухудшения, следя, конечно, чтобы все это не вышло за рамки его собственных интересов и возможностей. Молотов в Париже чуть не обнял Карделя, узнав, что над Югославией сбиты два американских самолета, — но одновременно внушал ему, что третий сбивать не следует. Советское правительство не поддерживало непосредственно восстание в Греции, оставляя Югославию почти в одиночестве на скамье подсудимых ООН, но и не предпринимало никаких решительных действий, чтобы добиться примирения, до тех пор, пока это не стало выгодно Сталину.

Так и решение поместить Коминформ в Белграде было только на первый взгляд признанием югославской революции. За ним стоял тайный советский замысел: югославское руководство должно забыться в революционном самодовольстве и подчиниться мнимой международной коммунистической солидарности — на самом деле признать гегемонию советского государства и выполнять ненасытные требования советской политической и иной бюрократии.

Пора уже поговорить и об отношении Сталина к революциям, а следовательно, и к революции югославской.

В связи с тем, что Москва — часто в самые решительные моменты — отказывалась от поддержки китайской, испанской, а во многом и югославской революции, не без основания преобладало мнение, что Сталин был вообще против революций. Между тем это не совсем верно. Он был против революции лишь в той мере, в какой она выходила за пределы интересов советского государства. Он инстинктивно ощущал, что создание революционных центров вне Москвы может поставить под угрозу ее монопольное положение в мировом коммунизме, что и произошло на самом деле. Поэтому он революции поддерживал только до определенного момента, до тех пор, пока он их мог контролировать, всегда готовый бросить их на произвол судьбы, если они ускользали из его рук. Я считаю, что в политике советского правительства и сегодня в этом отношении не произошло заметных перемен.

Подчинив себе весь актив своей страны, Сталин не мог действовать по-иному и вне ее границ. Сравнив понятия прогресса и свободы с интересами одной политической партии в своей стране, он и в других странах мог вести себя только как повелитель. Он низвел себя до своего дела. Он сам стал рабом деспотизма и бюрократии,

узости и серости — всего того, что навязал своей стране.

Потому что верно сказано: невозможно отнять чужую свободу, не потеряв при этом собственную.

## 2

Причиной моей поездки в Москву были разногласия в политике Югославии и СССР по отношению к Албании.

В конце декабря 1947 года из Москвы пришла телеграмма, в которой Сталин требовал, чтобы приехал я или кто-нибудь другой из югославского Центрального комитета для согласования политики наших правительств по отношению к Албании.

Разногласия проявлялись по-разному, а ярче всего вспыхнули после самоубийства Спиру Наку, члена албанского Центрального комитета.

Связь Югославии с Албанией развивалась во всех областях. Югославия посылала в Албанию все большее количество специалистов по разным отраслям. Она поставляла Албании продукты питания, хотя нуждалась сама. Началось создание смешанных обществ. Оба правительства в принципе стояли на точке зрения, что Албания должна объединиться с Югославией, что разрешило бы и вопрос албанского национального меньшинства в Югославии.

Условия, на которых югославское правительство оказывало поддержку албанскому, были гораздо более выгодными и справедливыми, чем, например, те, на которых советское предоставляло поддержку югославскому. Но, по-видимому, дело было не в справедливости, а в самой сути этих отношений — часть албанского руководства была тайно настроена против них.

Спиру Наку, небольшого роста, физически слабый, чрезвычайно чувствительный и утонченно интеллигентный, руководил в то время хозяйственными делами албанского правительства и первым открыто взбунтовался против Югославии, требуя самостоятельного развития Албании. Его точка зрения была резко отрицательно встречена не только в Югославии, но и в албанском Центральном комитете. Особенно решительно восстал против него Кочи Дзодзе, албанский министр внутренних дел, впоследствии расстрелянный по обвинению в симпатиях к Югославии. Рабочий с юга Албании, старый революционер, Дзод-

зе считался самым непоколебимым партийцем, несмотря на то что генеральным секретарем партии и председателем правительства был Энвер Ходжа — человек, несомненно, более образованный и гораздо более ловкий. Ходжа тоже присоединился к критике Наку, хотя его собственная точка зрения так и осталась невыясненной. Оказавшись в одиночестве, обвиненный в шовинизме и, вероятно, накануне исключения из партии, несчастный Наку застрелился, не подозревая, что с его смерти начнется обострение югославно-албанских отношений.

Происшествие, конечно, было скрыто от общественности — позже, после открытого конфликта с Югославией в 1948 году, Энвер Ходжа вознес Наку на пьедестал национального героя. Но на руководство обеих стран происшествие произвело тяжелое впечатление, и его не могли сгладить фразы из обширного арсенала коммунистических шаблонов — что Наку был малодушен, что он был мещанином, и тому подобное.

Советское правительство было прекрасно осведомлено как о подлинных причинах смерти Наку, так и о взаимоотношениях Югославии с Албанией. Размеры советской миссии в Тиране все увеличивались. И вообще, отношения между советским, албанским и югославским правительствами были таковы, что два последних не особенно скрывали свои дела от первого, хотя надо сказать, что югославское правительство не советовалось с советским о деталях своей политики.

Советские представители все чаще высказывали недовольство по поводу отдельных югославских мер в Албании. Замечено было также все большее сближение группы вокруг Энвера Ходжи с советской миссией. То и дело выплывали на поверхность упреки того или иного советского представителя: почему югославы организуют с албанцами смешанные общества, если сами не хотят создавать их с СССР? Почему они посылают инструкторов в албанскую армию, когда в их собственной — советские? Каким образом югославы могут быть специалистами по развитию Албании, если им самим нужны специалисты со стороны? Как это вдруг Югославия, сама бедная и отсталая, берется помогать развитию Албании?

На фоне этих разногласий между советским и югославским правительствами все заметней становилась тенденция Москвы занять место Югославии в Албании. Югославам это казалось крайне несправедливым, поскольку

объединяться с Албанией предстояло не Советскому Союзу, и к тому же он не был ее непосредственным соседом. Одновременно все больше бросался в глаза поворот албанских верхов к Советскому Союзу, и это все яснее выражалось и в их пропаганде.

За предложение советского правительства устранить разногласия вокруг Албании в Белграде ухватились обеими руками, хотя и по сей день неясно, почему Сталин выразил желание, чтобы в Москву прибыл именно я.

Думаю, что он сделал это по двум причинам.

Я, несомненно, произвел на него впечатление порывистого и открытого человека — думаю, что таким меня считали и югославские коммунисты. В этом качестве я подходил для открытой дискуссии по сложному и весьма щекотливому вопросу.

Но я считаю также, что Сталин хотел склонить меня на свою сторону, чтобы расколоть и подчинить себе югославский Центральный комитет. На его стороне были Хебранг и Жуйович. Но Хебранг был уже исключен из Центрального комитета и находился под тайным следствием в связи с неясным поведением в королевской полиции. Жуйович был выдающейся личностью, но, хотя он и был членом Центрального комитета, он не принадлежал к узкому кругу, создававшемуся вокруг Тито во время борьбы за единство партии и в самой революции. Сталин уже во время пребывания Тито в Москве в 1946 году — когда тот сказал, что я страдаю головными болями, — пригласил меня отдыхать к себе в Крым. Но я не поехал, главным образом из-за того, что приглашение не было повторено через посольство и я принял его за любезность, произнесенную мимоходом.

Так я отправился в Москву — если правильно помню, 8 января 1948 года или, во всяком случае, где-то в это время, — с двойственным чувством. Я был польщен, что Сталин пригласил именно меня, но в глубине души молча подозревал, что это сделано не случайно и не с вполне честными намерениями по отношению к Тито и югославскому Центральному комитету.

Никаких особых распоряжений и инструкций в Белграде я не получал. Поскольку я был в верховном руководстве и была определена уже точка зрения, что советские представители должны были бы воздерживаться от бестактных высказываний по поводу выработанного курса на объединение Югославии и Албании или от проведения

какой бы то ни было особой линии, никаких инструкций мне и не требовалось.

Благоприятный случай использовали представители югославской армии, отправив вместе со мной делегацию, которая должна была сформулировать свои пожелания в области вооружения и возрождения военной промышленности. В эту делегацию вошли тогдашний начальник генштаба Коча Попович и ведающий югославской военной промышленностью Мийалко Тодорович. Светозар Вукманович-Темпо, в то время начальник политуправления армии, тоже ехал с нами, чтобы ознакомиться с опытом Красной Армии в этой области.

Мы направились в Москву поездом, в хорошем настроении и с большими надеждами. Но одновременно — с уже сформировавшейся точкой зрения, что Югославия свои вопросы должна решать по-своему и, главным образом, собственными силами.

### 3

Эта точка зрения была высказана даже раньше, чем следовало, — на ужине в югославском посольстве в Бухаресте, на котором присутствовали Анна Паукер, министр иностранных дел Румынии, и несколько крупных политиков Румынии.

Все югославы — кроме посла Голубовича, который позже эмигрировал как сторонник Москвы, — более или менее открыто подчеркивали, что Советский Союз не может быть абсолютным образцом в «строительстве социализма», потому что обстоятельства изменились и в разных странах Восточной Европы разные условия и взаимоотношения. Я заметил, что Анна Паукер, внимательно слушая, молчит или нехотя соглашается кое с чем, стараясь избежать разговора на эту деликатную тему. Один из румын, думаю, что это был Боднарош, спорил с нашей точкой зрения, а другой — имя его я, к сожалению, забыл — добродушно с нами соглашался. Подобные разговоры я считал излишними, так как был уверен, что все наши высказывания будут переданы русским, а они неспособны будут воспринять их иначе как «антисоветские» — синоним всех мировых зол. Но вместе с тем я не мог отказаться от своих взглядов. Поэтому я старался смягчить высказывания, подчеркивая заслуги СССР и принципиальное



значение советского опыта. Навряд ли это принесло пользу, так как и я подчеркивал, что свой путь следует прокладывать в соответствии со знанием конкретных условий. Впрочем, неприятность устранить было невозможно: я уже знал, что советские верхи не склонны к нюансам и компромиссам, в особенности в собственных — коммунистических — рядах.

Поводов для критики у нас повсюду было достаточно, хотя в Румынии мы были проездом.

Первым поводом было отношение Советского Союза к Румынии и другим восточноевропейским странам: эти страны все еще находились под прямой оккупацией, а их богатства выкачивались всевозможными способами, чаще всего через смешанные общества, в которые русские почти ничего не вложили, кроме немецкого капитала, который они просто объявили своей военной добычей. Торговля с этими странами происходила не как повсюду в мире, а на основании специальных договоров, по которым советское правительство покупало по более низким, а продавало по более высоким ценам, чем на мировом рынке. Одна лишь Югославия составляла исключение из этого правила. Мы все это знали. А картина нищеты и сознание беспомощности и послушности румынских властей только усиливали наше негодование.

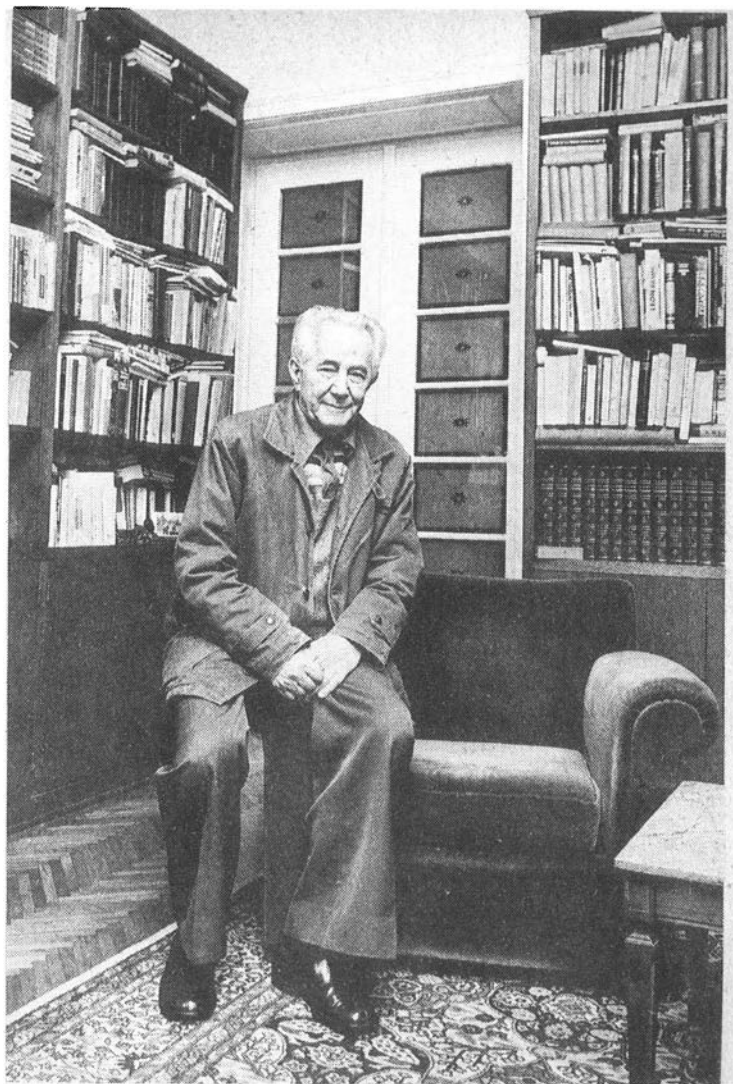
Больше всего нас оскорбляла надменность советских представителей. Я помню, как нас ужаснули презрительные слова советского коменданта в Яссах:

— Ах эти грязные румынские Яссы! И эти румынские мамалыжники!

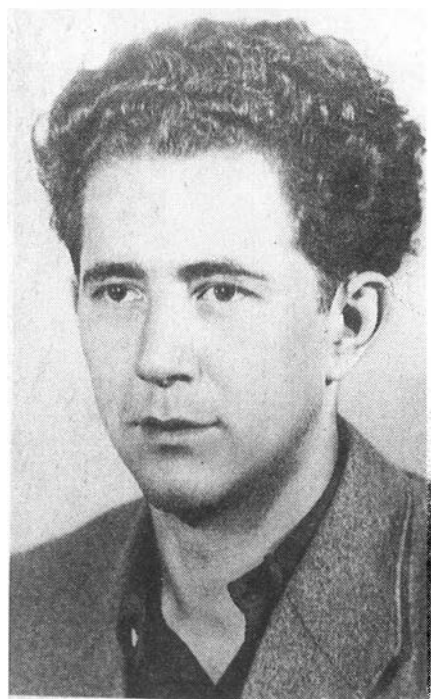
И он повторил крылатые слова Эренбурга и Вышинского, направленные против взяточничества и воровства в Румынии:

— Это не народ, это профессия!

Яссы, особенно в ту мягкую зиму, были действительно грязной, запущенной балканской провинцией, красоту которой — холмы, сады, дома, расположенные террасами, — мог заметить только привычный глаз. Но мы-то знали, что советские провинциальные города выглядят не лучше, а даже хуже. Больше всего же нас раздражала эта самоуверенность «высшей расы» и великодержавная спесь. Предупредительное, полное уважения отношение к нам не только еще сильнее подчеркивало унижение румын, но и усиливало нашу гордость своей независимостью, заставляло рассуждать еще свободней.



М. Джилас в своем рабочем кабинете. 1985 год



Митра, первая жена  
М. Джиласа в студенче-  
ские годы. 1932 год

Дом в селе Подбишче, в  
котором родился  
М. Джилас

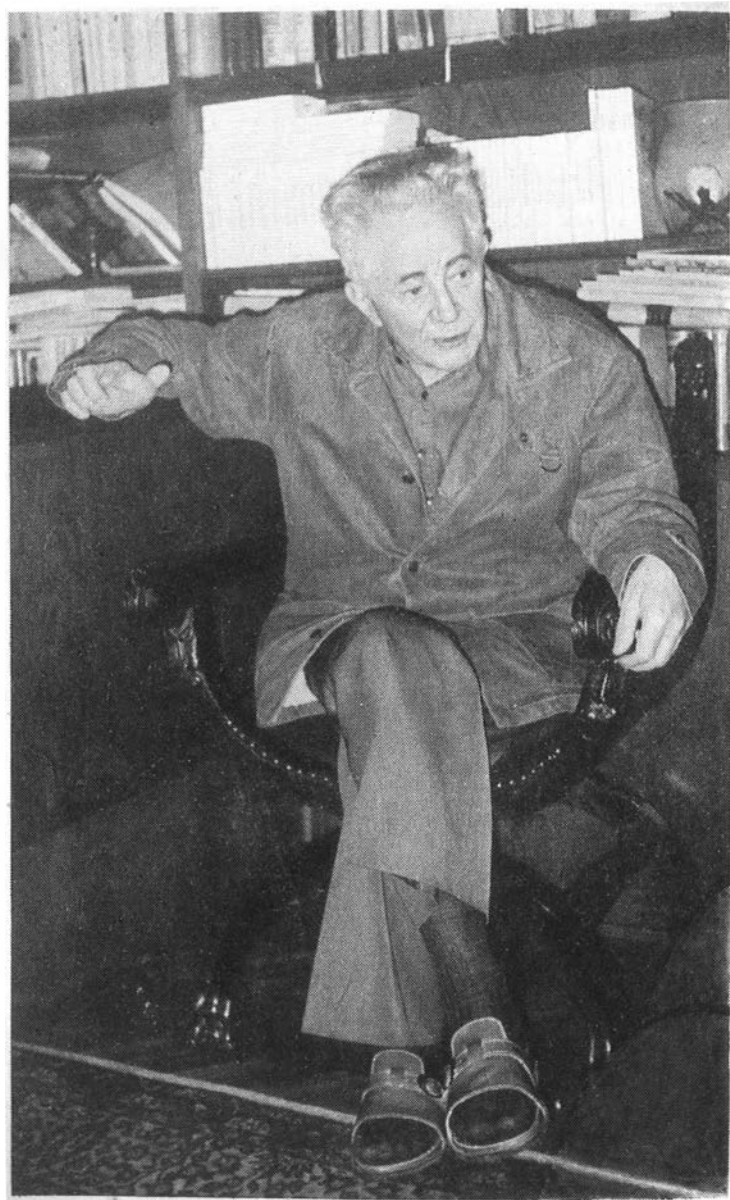
М. Джилас, студент Бел-  
градского университета.  
1930 год

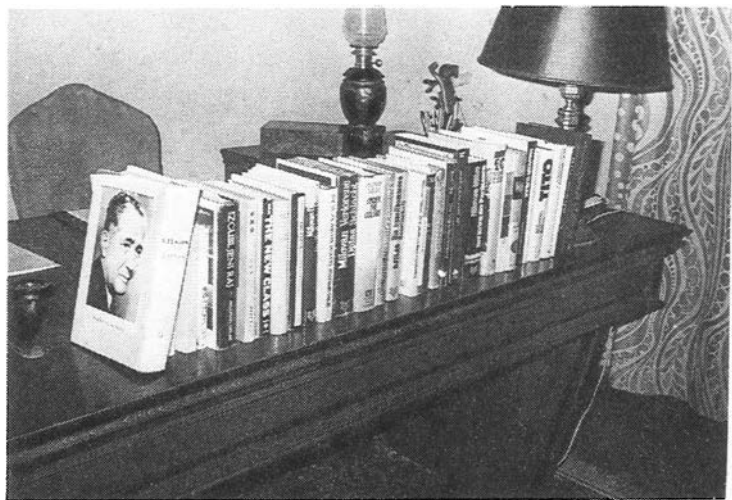


Подписание Договора о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. Подписывает И. Броз Тито. Слева направо: М. Джилас, Б. Ф. Подцероб, И. Шубашич, И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. Т. Базаров (рядом с Тито). 25 мая 1946 года

М. Джилас за рабочим столом



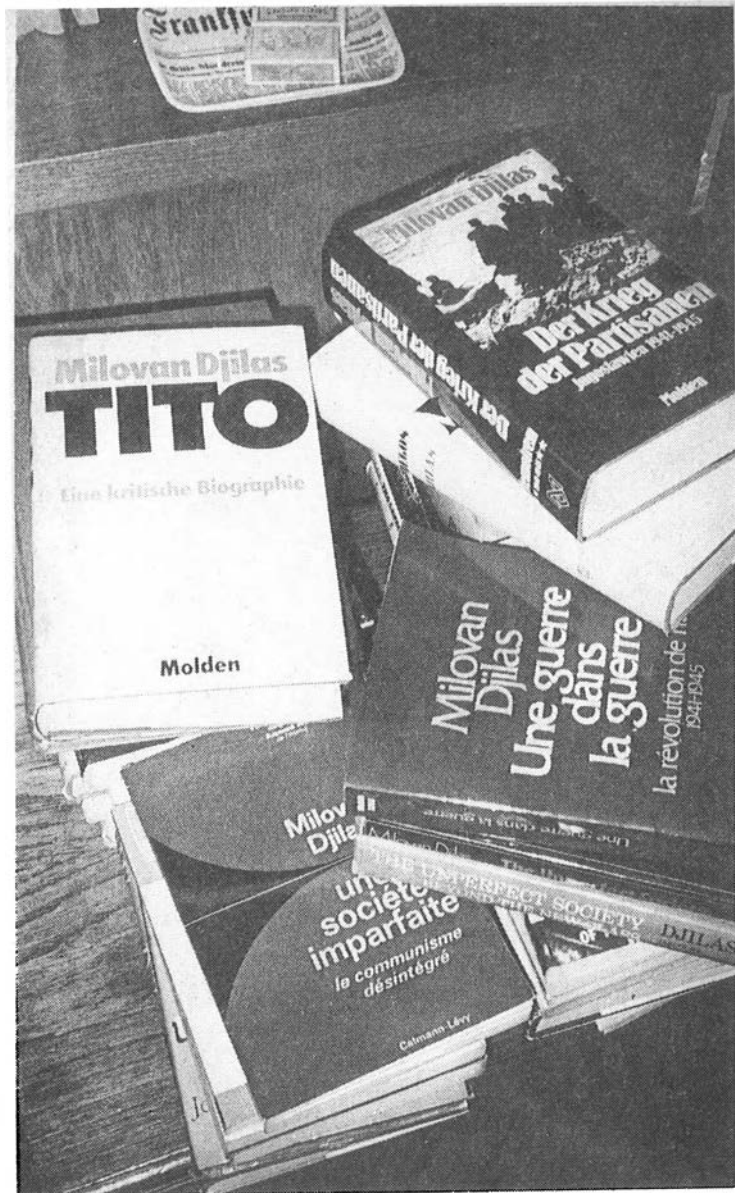




Книги М. Джиласа, изданные за границей



М. Джилас с супругой Стефанией и писателем Василием Калезичем



Milovan Djilas

# TITO

Eine kritische Biographie

Molden

Milovan Djilas  
Der Krieg  
der Partisanen  
Jugoslawien 1941-1945  
Molden

Milovan  
Djilas  
Une guerre  
dans  
la guerre

la révolution de la  
1941-1945

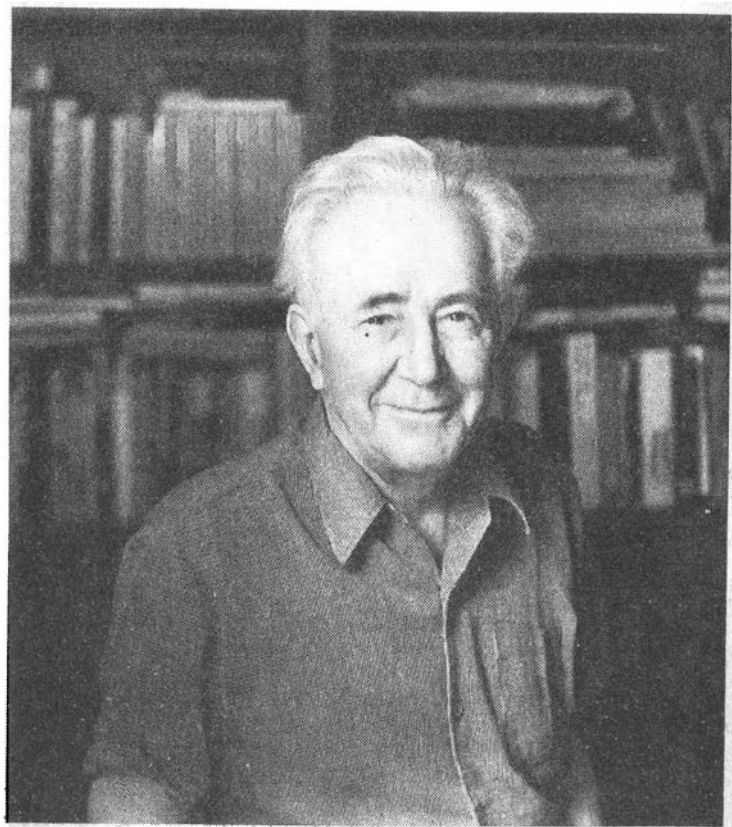
Milovan  
Djilas

une  
société  
imparfaite  
le communisme  
désintégré

Calmann Lévy

THE IMPERFECT SOCIETY  
OF  
DJILAS





Мы уже принимали как должное, что такие отношения и взгляды «возможны и при социализме», потому что «такие уж русские» — отсталые, в течение долгого времени изолированные от остального мира, с уже угасшими революционными традициями.

Несколько часов мы проскучали в Яссах, пока не прибыл советский поезд с правительственным вагоном для нас, сопровождаемым, конечно, неизбежным капитаном Козовским, специалистом по югославским делам в советских органах госбезопасности. Но он теперь был менее непосредственным и не таким веселым — конечно, не только потому, что перед ним были министры и генералы. Какая-то неощутимая, необъяснимо холодная официальность появилась в отношениях между нами и советскими «товарищами».

Мы не скупилась на саркастические замечания в адрес вагона, в котором мы ехали и который того заслуживал, несмотря на комфорт, прекрасное питание и услужливость персонала. Нас сместили громадные медные ручки, старинная перегруженность украшениями и клозет, настолько высокий, что свисали ноги. Так ли и надо ли вообще подчеркивать величие державы и государственную мощь? Но парадоксальнее всего было то, что в этом вагоне, помпезном, как в царское время, проводник в своем купе держал в клетке кур. Плохо оплачиваемый и бедно одетый, он плакался:

— Что хотите, товарищи, рабочий человек должен изворачиваться как может — семья большая, жить трудно.

Хоть и югославские железные дороги не могли похвалиться точностью, здесь никто не волновался из-за многочасового опоздания. «Доедем», — спокойно отвечал кто-нибудь из служащих.

Россия как бы подтверждала неизменность своей человеческой и национальной души — всем своим существом она сопротивлялась суеде индустриализации и всесилию администрации.

Украина и Россия, заваленные снегом до крыш, все еще представляли собой картину военного опустошения и ужаса — сгоревшие станции, бараки, женщины в платках и валенках, расчищающие пути, кипятик и кусок черного хлеба.

Только Киев и на этот раз оставил впечатление скромной красоты и чистоты, культуры и любви к моде и вкусу — среди нищеты и пустоты. И хотя ночь закрыла вид на

Днепр и равнины, сливающиеся с небом, Киев все-таки напоминал Белград — Белград будущего, миллионный, отстроенный с любовью и последовательностью. Но в Киеве мы оставались недолго — до поезда в Москву. Никто из украинских руководителей нас не встретил. Вскоре мы двинулись в ночь, белую от снега и черную от печали, — только один наш вагон был освещен, полон удобства и изобилия среди безбрежия разрушений и нищеты.

#### 4

Прошло, вероятно, всего несколько часов после нашего прибытия в Москву. Мы были погружены в сердечную беседу с югославским послом Владимиром Поповичем, когда на его столе зазвонил телефон: из советского министерства иностранных дел запрашивали, устал ли я, так как Сталин хотел бы меня видеть сразу, в этот же вечер. Такая спешка была необычной для Москвы, где иностранные коммунисты дожидались всегда так долго, что среди них ходила поговорка: в Москву приехать легко, но трудно уехать. Если бы я даже и устал, то, разумеется, все равно принял бы приглашение Сталина обеими руками — все члены делегации с восторгом, но не без зависти на меня смотрели, а Коча Попович и Тодорович внушали мне, чтобы я не забыл, с какой целью они сюда прибыли, хотя я свое путешествие с ними использовал для того, чтобы детально ознакомиться с их пожеланиями.

Но я радовался предстоящей встрече со Сталиным, одновременно трезво раздумывая о причинах такой спешки. Это двойственное чувство не покидало меня в течение всей ночи, проведенной с ним и другими советскими руководителями.

Как обычно, меня отвезли около девяти часов вечера в Кремль. Там были Сталин, Молотов и Жданов, я знал, что обязанностью последнего в Политбюро было поддерживать связи с иностранными компартиями.

После обычных приветствий Сталин сразу перешел к делу:

— А у вас там в Албании стреляются члены Центрального комитета! Это нехорошо, очень нехорошо!

Я начал разъяснять: Наку Спиру противился связи Албании и Югославии, он самоизолировался в собственном

Центральном комитете. Но я еще не окончил, а Сталин неожиданно для меня сказал:

— У нас в Албании нет никаких особых интересов. Мы согласны на то, чтобы Югославия проглотила Албанию! — При этом он сложил вместе пальцы правой руки и поднес их ко рту, как бы глотая.

Меня удивил, почти ошеломил сталинский способ выражения и его жест, но не знаю, отразилось ли это на моем лице, потому что я попытался превратить все в шутку и воспринял как обычный сталинский грубоватый и красочный способ высказывания мыслей. Я снова начал объяснять: мы хотим не проглатывать, а объединяться!

Но тут вмешался Молотов:

— Так это и значит проглотить!

А Сталин — опять с этим своим жестом:

— Да, да, проглотить. Но мы с этим согласны: вам надо проглотить Албанию — чем скорее, тем лучше.

Вся атмосфера, несмотря на такой метод выражения, была сердечной и более чем дружеской. Даже и Молотов фразу о проглатывании произнес почти с шутливой любезностью, для него не такой уж частой.

К сближению и объединению с Албанией я подходил с искренними и, естественно, революционными побуждениями. Я, как и многие другие, считал, что объединение при действительно добровольном согласии албанского руководства принесло бы не только непосредственные выгоды и Югославии, и Албании, но одновременно покончило бы с традиционной нетерпимостью и конфликтами между сербами и албанцами. И — что, по моему мнению, было особенно важно — это дало бы возможность присоединить значительное и компактное албанское меньшинство к Албании как отдельной республике в югославско-албанской федерации. Любое другое решение проблемы албанского национального меньшинства в Югославии казалось мне нереальным, так как просто передача Албании югославских территорий, населенных албанцами, вызвала бы непреодолимое сопротивление и в самой югославской коммунистической партии.

Я ни тогда, ни сегодня не мог оспаривать естественное право албанцев на объединение, тем более что требовал такого же права и для югославов — в данный момент, например, от Италии. К Албании и албанцам я относился, кроме того, с особой симпатией, которая могла только укрепить идейность моих побуждений: албанцы, в особен-

ности северные, по характеру и образу жизни сродни черногорцам, из которых я происхожу, а их жизнеспособность и воля к сохранению своей самобытности таковы, что подобных им мало в истории человечества.

Мне, конечно, и в голову не приходило отказаться от точки зрения руководства моей страны и согласиться со Сталиным, но слова Сталина немедленно вызвали у меня две мысли: первую о том, что с югославской политикой в Албании что-то не в порядке, а вторую — что Советский Союз объединился с балтийскими странами, именно проглатывая их, — замечание Молотова прямо говорило об этом.

Обе мысли слились в одно тягостное ощущение.

Может быть, в югославской политике по отношению к Албании и есть что-то неясное и непоследовательное, подумал я, но она далека от «проглатывания». У меня мелькнула мысль, что эта политика не отвечает стремлениям албанских коммунистов, которые я, как коммунист, приравнивал к воле албанского народа. Почему застрелился Наку — ведь он был гораздо больше коммунистом и марксистом, чем «мещанином» и «националистом»? А что, если албанцы — как и мы, югославы, в отношениях с Советским Союзом — хотят иметь свое собственное государство? Если объединение осуществлять против воли народа, используя изоляцию и бедность Албании, не поведет ли это к непоправимым конфликтам и трудностям? Характерные и древние как этническое целое, албанцы как нация молоды — отсюда непреодолимое и неизжитое национальное сознание. Не воспримут ли они объединение как потерю независимости, как отказ от самобытности?

Что касается второй мысли — о том, что СССР проглотил балтийские страны, — то я связывал ее с первой, повторяя и доказывая себе: мы, югославы, на объединение с Албанией не пойдем, не смеем пойти таким путем. А что какая-либо империалистическая сила, вроде Германии, подавит Албанию и использует ее как базу против Югославии — такой опасности не существует.

Но Сталин возвратил меня к реальности:

— А что Ходжа, что он за человек, по вашему мнению?

Я избегал прямого и ясного ответа, но Сталин выразил именно то мнение, которое создалось о Ходже в югославских верхах:

— Он мещанин, склонный к национализму? Да, и мы так думаем. Кажется, там самый твердый человек Дзодзе?

Я подтвердил его наводящие вопросы.

Сталин окончил разговор об Албании, который не продолжался и десяти минут:

— Между нами нет расхождений. Вот вы лично и составьте Тито от имени советского правительства телеграмму об этом и пришлите мне ее завтра.

Боясь, что не понял, я переспросил, а он повторил, что я должен составить телеграмму югославскому правительству от имени советского правительства.

Сначала я воспринял это как знак особого ко мне доверия и как высшую степень одобрения югославской политики по отношению к Албании. Но, составляя эту телеграмму на следующий день, я подумал, что она может быть когда-то использована против правительства моей страны и сформулировал ее осторожно и очень коротко — примерно так:

«Вчера в Москву прибыл Джилас, и на встрече, состоявшейся в тот же день, обнаружилось полное единодушие между советским правительством и Югославией по вопросу Албании».

Эта телеграмма югославскому правительству никогда отправлена не была, но и не была использована против него в последовавших конфликтах между Москвой и Белградом.

Остальная часть разговора тоже продолжалась недолго и вращалась вокруг несущественных вопросов — размещения Коминформа в Белграде, его печатного органа, здоровья Тито и тому подобного.

Выбрав удобный момент, я поставил вопрос об оборудовании для югославской армии и военной промышленности. Я указал, что мы часто наталкиваемся на трудности в делах с советскими представителями, что они отказывают нам то в одном, то в другом, отговариваясь «военной тайной». Сталин встал, воскликнул:

— У нас нет от вас военных тайн. Вы дружественная социалистическая страна — у нас от вас нет военных тайн.

Затем он подошел к рабочему столу, вызвал по телефону Булганина и коротко приказал ему:

— Здесь югославы, югославская делегация, их надо немедленно выслушать.

Весь разговор в Кремле продолжался около получаса, потом мы отправились ужинать на сталинскую дачу.

Мы сели в автомобиль Сталина, как мне показалось, тот же самый, в котором мы с Молотовым ехали в 1945

году. Жданов сел сзади, справа от меня, а перед нами на запасных сиденьях — Сталин и Молотов. Во время поездки Сталин на перегородке перед собой зажег лампочку, под которой висели карманные часы, — было около двадцати двух часов, и я прямо перед собой увидел его уже ссутулившуюся спину и костлявый затылок с морщинистой кожей над твердым маршалским воротником. Я подумал: вот это один из самых могущественных людей нашего времени, здесь и его сотрудники — какая бы это была сенсационная катастрофа, если бы сейчас между нами взорвалась бомба и разнесла бы нас в куски! Но это была мгновенная нехорошая мысль, и настолько неожиданная для меня самого, что я пришел от нее в ужас и в Сталине с печальной симпатией увидел дедушку, который в течение всей своей жизни, и сейчас вот тоже, заботился об успехе и счастье всего коммунистического рода.

Ожидая приезда остальных, Сталин, Жданов и я остановились возле карты мира в холле. Я снова засмотрелся на Сталинград, очерченный синим карандашом, — Сталин снова это заметил, и от меня опять не ускользнуло, что это ему приятно. Жданов тоже уловил этот обмен взглядами, включился в него и заметил:

— Начало Сталинградского сражения.

Но Сталин ничего не сказал.

Насколько я помню, Сталин начал отыскивать на карте Кёнигсберг, потому что его следовало переименовать в Калининград, — и мы натолкнулись на места вокруг Ленинграда, которые еще с екатерининских времен назывались по-немецки. Сталину это не понравилось, и он сказал кратко Жданову:

— Переименовать! — глупо, что эти места до сих пор носят немецкие названия!

Жданов вынул записную книжечку и карандашиком записал сталинское распоряжение.

После этого мы с Молотовым прошли в уборную, находившуюся в подвале дачи, — там было несколько уборных и писсуаров. Молотов начал уже на ходу расстегивать брюки, комментируя:

«Это мы называем разгрузкой перед нагрузкой!»

А я, хотя мне подолгу пришлось бывать в тюрьмах, где человек вынужден забывать стыд, застеснялся Молотова как пожилого человека, зашел в уборную и закрыл за собой дверь.

Затем мы вошли в столовую, где уже собрались Сталин, Маленков, Берия, Жданов и Вознесенский.

Двое последних — новые лица в моих воспоминаниях.

## 5

Жданов был небольшого роста, с каштановыми подстриженными усами, с высоким лбом, острым носом и болезненно красноватым лицом. Он был образованным человеком и в Политбюро считался крупным интеллектуалом. Несмотря на его общеизвестную узость и начетничество, я сказал бы, что его знания были достаточно обширны. Но несмотря на то что он понемногу разбирался во всем, даже в музыке, я не думаю, чтобы он обладал обширными знаниями в одной определенной области, — это был типичный интеллектуал, который накапливал сведения из разных областей посредством марксистской литературы. Он был вдобавок интеллигентом-циником, что еще более отталкивало, так как за подобной интеллигентностью неизбежно скрывался сатрап, «великодушный» к людям духа и литературы. Это было время «постановлений» советского ЦК по вопросам литературы и других видов искусства, то есть жестоких атак на ту минимальную свободу выбора темы и формы, которая еще сохранилась или выскользнула во время войны из-под бюрократического партийного контроля. Жданов в этот вечер, помню, рассказал в виде нового анекдота, как в Ленинграде уразумели его критику в адрес Зощенко: у писателя просто отняли продуктовые карточки и вернули их только после великодушного вмешательства Москвы.

Вознесенский, председатель Госплана СССР, которому едва перевалило за сорок, был типичным русским, блондином с широкими скулами, довольно высоким лбом и вьющимися волосами. Он оставлял впечатление аккуратного, культурного и прежде всего замкнутого человека, который мало говорил, но все время радостно внутренне улыбался. Я уже читал его книгу о советской экономике во время войны, и у меня осталось впечатление об авторе как о добросовестном и думающем человеке, — позже эту книгу в СССР раскритиковали, а Вознесенский был ликвидирован по причинам, которые до сих пор остались неизвестными.



Я довольно хорошо знал старшего брата Вознесенского, профессора университета, как раз в это время назначенного министром просвещения РСФСР.

Со старшим Вознесенским у меня были очень интересные дискуссии во время Всеславянского съезда в Белграде зимой 1946 года. Мы с ним сошлись на том, что официально признанная теория «социалистического реализма» является узкой и односторонней. Еще более единодушно мы считали, что в социализме, вернее коммунизме, после создания новых социалистических стран замечаются новые явления и что в капитализме есть перемены, еще теоретически не изученные. Вероятно, и его красивая умная голова пала в безумных чистках.

Ужин начался с того, что кто-то, думаю, что сам Сталин, предложил, чтобы каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил бы столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся. Я, к счастью, посмотрел на термометр в отеле и прибавил несколько градусов, зная, что ночью температура падает, так что ошибся всего на один градус. Берия, помню, ошибся на три и добавил, что это он нарочно, чтобы получить побольше водки.

Подобное начало ужина породило во мне еретическую мысль: ведь эти люди, вот так замкнутые в своем узком кругу, могли бы придумать и еще более бессмысленные поводы, чтобы пить водку, — длину столовой в шагах или число пядей в столе. А кто знает, может быть, они и этим занимаются! От определения количества водки по градусам холода вдруг пахнуло на меня изоляцией, пустотой и бессмысленностью жизни, которой живет советская верхушка, собравшаяся вокруг своего престарелого вождя и играющая одну из решающих ролей в судьбе человеческого рода. Вспомнил я и то, что русский царь Петр Великий устраивал со своими помощниками похожие пирушки, на которых ели и пили до потери сознания и решали судьбу России и русского народа.

Ощущение опустошенности такой жизни не исчезало, а постоянно ко мне во время ужина возвращалось, несмотря на то что я гнал его от себя. Его особенно усугубляла старость Сталина с явными признаками сенильности. И никакие уважение и любовь, которые я все еще упрямо пестовал в себе к его личности, не могли вытеснить из моего сознания этого ощущения.

В его физическом упадке было что-то трагическое и уродливое.

Но трагическое не было на виду — трагическими были мои мысли о неизбежности распада даже такой великой личности. Зато уродливое проявлялось ежеминутно.

Сталин и раньше любил хорошо поесть, но теперь он проявлял такую прожорливость, словно боялся, что ему не достанется любимое блюдо. Пил же он сейчас, наоборот, меньше и осторожнее, как бы взвешивая каждую каплю, — чтобы не повредила.

Еще более заметным было изменение его мысли. Он охотно вспоминал свою молодость — ссылку в Сибири, детство на Кавказе, новое же каждый раз сравнивал с чем-нибудь из прошедшего:

— Да, помню, то же самое было...

Непостижимо, насколько он изменился за два-три года. Когда я видел его в последний раз, в 1945 году, он был еще подвижным, с живыми и свежими мыслями, с острым юмором. Но тогда была война, и ей, очевидно, Сталин отдал последнее напряжение сил, достиг своих последних пределов. Сейчас он смеялся над бессмысленными и плоскими шутками, а политический смысл рассказанного мною анекдота, в котором он перехитрил Черчилля и Рузвельта, не только до него не дошел, но мне показалось, что он по-старчески обиделся, — на лицах присутствующих я увидел неловкость и озадаченность.

В одном лишь он был прежним Сталиным: резкий, острый, подозрительный при любом несогласии с ним. Он прерывал даже Молотова, и между ними чувствовалась напряженность. Все ему поддакивали, избегая излагать свое мнение прежде, чем он выскажет свое, спешили с ним согласиться.

Как обычно, разговор перескакивал с темы на тему, так я его и буду извлекать из памяти.

Сталин заговорил и об атомной бомбе:

— Это сильная вещь, силь-ная!

На его лице было выражение восхищения, ясно было, что он не успокоится до тех пор, пока и сам не добудет эту «сильную вещь». Но он ничего не сказал, есть ли она уже у СССР, идет ли над нею работа.

Между тем когда Кардель и я месяц спустя встретились в Москве с Димитровым, он нам как бы по секрету рассказал, что у русских уже есть атомная бомба, причем лучше американской, то есть той, что была сброшена на

Хиросиму. Думаю, что это не соответствовало действительности и что русские только создавали атомную бомбу. Но разговор был, и я его привожу.

В эту ночь и потом на встрече с болгарской делегацией Сталин говорил, что Германия останется разделенной:

— Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Германии свое государство!

Эта его мысль была новой, однако понятной — она исходила из всего курса советской политики по отношению к Восточной Европе и по отношению к Западу. Непонятным для меня было заявление Сталина и советских руководителей в присутствии болгар и югославов летом 1946 года, что вся Германия должна быть нашей, то есть советской, коммунистической. Один из присутствующих, когда я его спросил: «А как русские думают это осуществить?» — ответил мне: «Вот этого и я не знаю!»

Я думаю, что не знали и те, кто произносил это заявление, и что они еще были опьянены военными победами и надеждой на экономический и иной распад Западной Европы.

Сталин меня внезапно в конце ужина спросил, почему в югославской партии мало евреев и почему они не играют в ней никакой роли? Я попытался объяснить:

— Евреев в Югославии вообще немного, и в большинстве они принадлежали к среднему слою. — Я добавил: — Единственный выдающийся коммунист-еврей это Пьяде, но и он больше чувствует себя сербом, чем евреем.

Сталин начал вспоминать:

— Пьяде, небольшой, в очках? Да, помню, он был у меня. А каковы его функции?

— Член Центрального комитета, старый коммунист, переводчик «Капитала», — объяснил я.

— А у нас в Центральном комитете евреев нет! — прервал меня он и начал вызывающе смеяться:

— Вы антисемиты! И вы, Джилас, и вы антисемит!

Этот смех и его слова я понял, как и следовало, в обратном смысле — как выражение его антисемитизма и вызов, чтобы я высказал свое мнение о евреях, в особенности о евреях в коммунистическом движении. Я молчал и посмеивался — это мне было нетрудно, поскольку я антисемитом никогда не был, а коммунистов разделял только на хороших и плохих. Но Сталин вскоре и сам оставил эту скользкую тему, удовлетворившись циничным вызовом.

Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа многословный Жданов. Последний рассказывал о своих контактах с финнами и с уважением говорил об их аккуратности при поставке репараций:

— Все точно вовремя, в прекрасной упаковке и отличного качества.

Он закончил:

— Мы сделали ошибку, что их не оккупировали, — теперь бы все было уже кончено, если бы мы это сделали.

Сталин:

— Да, это была ошибка, — мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили.

Молотов:

— Ах, Финляндия — это орешек!

Жданов как раз в это время организовывал встречи с композиторами и готовил постановление о музыке. Он любил оперы и между прочим спросил меня:

— А у вас в Югославии есть оперные театры?

Удивленный его вопросом, я ответил:

— В Югославии оперы идут в девяти театрах! — и одновременно подумал: как мало они знают о Югославии. Видно, что они ею интересуются только как географической областью.

Жданов, единственный из всех, пил апельсиновый сок. Объяснил, что из-за болезни сердца. Я его спросил:

— А какие последствия могут быть от этой болезни?

Сдержанно улыбувшись, он ответил с обычной иронией:

— Могу умереть в любой момент, а могу прожить очень долго.

Действительно, было заметно, что он чрезмерно возбуждается, что у него нервная, повышенная реакция.

Новый план был только что принят, и Сталин, не обращая ни к кому определенно, подчеркнул, что надо бы повысить заработную плату преподавательскому составу. Затем он сказал мне:

— Наши преподаватели очень хороши, а зарплата у них низкая, надо что-то предпринимать.

Все согласились с ним, а я не без горечи вспомнил про низкое жалование и плохие условия жизни югославских работников просвещения и про свое бессилие им помочь.

Вознесенский все время молчал — он держался как младший среди старших. Сталин обратился к нему непосредственно только один раз:

— Можно ли вне плана выделить средства для постройки канала Волга—Дон? Дело очень важное! Мы должны изыскать средства! Страшно важное дело и с военной точки зрения: в случае войны нас могли бы вытеснить с Черного моря — наш флот слаб и еще долго будет слабым. А что бы мы в таком случае делали с судами? Подумайте, как пригодился бы нам черноморский флот, если бы мы его во время Сталинградского сражения имели на Волге! Этот канал имеет первостепенную — первостепенную важность.

Вознесенский согласился, что средства необходимо изыскать, вынул записную книжечку и записал.

Меня уже давно занимали два вопроса — почти частные, и я хотел узнать мнение Сталина.

Один был из области теории: ни в марксистской литературе, ни в другой я не нашел объяснения разницы между словами «народ» и «нация», а поскольку Сталин давно считался среди коммунистов знатоком национального вопроса, я спросил его мнение, добавив, что об этом он не говорил в своей статье о национальном вопросе. Она была опубликована еще до первой мировой войны, и с тех пор считалось, что в ней выражена подлинная большевистская точка зрения\*.

В мой вопрос сначала вмешался Молотов:

— Это одно и то же — народ и нация.

Но Сталин не согласился:

— Нет, вздор! Это разные вещи! — и начал разъяснять: — Нация — это уже известно что: продукт капитализма с определенными характеристиками, а народ — это трудящиеся определенной нации, то есть трудящиеся с одинаковым языком, культурой, обычаями.

А насчет своей книги «Марксизм и национальный вопрос» он заметил:

— Это точка зрения Ильича, Ильич книгу и редактировал.

Второй вопрос относился к Достоевскому. Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты.

Сталин на это ответил просто:

---

\* Статья И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» была опубликована в журнале «Просвещение» в 1913 году. — *Прим. ред.*

— Великий писатель — и великий реакционер. Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий!

Мы перешли к Горькому. Я сказал, что считаю самым значительным его произведением — как по методу, так и по глубине изображения русской революции — «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился, обойдя тему о методе:

— Нет, лучшие его вещи те, которые он написал раньше: «Городок Окуров», рассказы и «Фома Гордеев». Что же касается изображения русской революции в «Климе Самгине», так там очень мало революции и всего один большевик — как бишь его звали: Лютиков, Лютов?!

Я поправил:

— Кутузов, Лютов совсем другое лицо.

Сталин продолжал:

— Да, Кутузов! Революция там показана односторонне и недостаточно, а с литературной точки зрения его ранние произведения лучше.

Мне было ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга и что мы не сошлись бы во вкусах, хотя я и раньше слышал мнения крупных писателей, которые, как и он, считали названные им произведения Горького наилучшими.

Говоря о современной советской литературе, я — как более или менее все иностранцы — указал на Шолохова. Сталин сказал:

— Сейчас есть и лучшие, — и назвал две неизвестных мне фамилии, одну из них женскую.

Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которую тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства — схематизм, отсутствие глубины, банальность. То же самое я думал и об «Истории философии» Александрова.

Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра: один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

Вечер не мог обойтись без пошлости, — конечно, со стороны Берия. Меня заставили выпить стопку перцовки. Берия, скаля зубы, объяснил, как эта водка плохо воздействует на половые железы, употребляя при этом самые грубые выражения. Пока Берия говорил, Сталин внима-

тельно смотрел на меня, готовый расхохотаться. Заметив мою кислую реакцию, он остался серьезным.

Но и без этого я никак не мог отогнать от себя мысль о поразительном сходстве между Берией и королевским белградским полицейским Вуйковичем — оно усилилось до такой степени, что я просто физически ощущал, будто нахожусь в мясистых и влажных лапах Вуйковича-Берии.

Но выразительнее всего была атмосфера, царившая независимо от произнесенных слов и даже вопреки им во время всего этого шестичасового ужина. За всем, что говорилось, постоянно ощущалось что-то более важное — нечто, что надо было высказать, но что начать высказывать никто не умел или не смел. Натянутость беседы и выбора тем способствовала тому, что это нечто ощущалось как реальность, почти доступная слуху. Внутренне я даже безошибочно знал его содержание: критика Тито и югославского Центрального комитета — в данном положении равносильная вербовке меня на сторону советского правительства. Особенную активность проявлял Жданов, не чем-то конкретным, ощутимым, а внесением какой-то особой сердечности, интимности в отношения и в разговор со мной. Берия смерил меня своими полузакрытыми зеленоватыми жабыми глазами, а выражение самодовольной иронии не сходило с его четырехугольных мягких губ. Над всем и над всеми был Сталин — внимательный, весьма размеренный и холодный.

Безмолвные паузы между двумя темами были все более длительными, напряжение во мне и вокруг меня все росло. Я быстро выработал тактику обороны — она, очевидно, уже до этого сама подготавливалась во мне подсознательно, — я просто скажу, что не вижу расхождения между югославским и советским руководством, что цели их совпадают и тому подобное. Глухо, упрямо росло во мне сопротивление, хотя я и прежде не ощущал в себе никаких колебаний. Зная себя, я понимал, что из обороны мог легко перейти в наступление, если бы Сталин и остальные поставили меня перед моральной дилеммой — выбрать между ними и моей совестью, в данном случае между их и моей партией, между Югославией и СССР. Чтобы заранее подготовить свои позиции, я, как бы невзначай, несколько раз упомянул Тито и свой Центральный комитет, — но так, чтобы мои собеседники не могли начать свой разговор.

Напрасна была также попытка Сталина внести личные,

интимные элементы. Он спросил меня, вспомнив свое приглашение в 1946 году, переданное через Тито:

— А почему вы не приехали в Крым? Почему вы отказались от моего приглашения?

Я ждал этого вопроса, но все же был несколько неприятно удивлен, что Сталин про это не забыл. Я объяснил:

— Ждал приглашения через советское посольство, мне было неудобно навязываться самому, надоедать.

— Нет, чепуха, при чем тут надоедать. Вы просто не хотели приехать! — испытывал меня Сталин.

Но я замкнулся в себя — в холодную сдержанность и молчание.

Так ничего и не произошло. Сталин и его группа холодных, расчетливых заговорщиков — а я их ощущал именно такими — несомненно учуяли мое сопротивление. А я как раз этого и хотел. Я избежал разговора, а они не решились спровоцировать меня на сопротивление. Они, конечно, считали, что не сделали преждевременного и поэтому ошибочного шага. Но и я распознал эту подлую игру и ощутил в себе какую-то внутреннюю, незнакомую мне до тех пор силу, способность отказаться даже от того, чем я до тех пор жил.

Ужин закончил Сталин, подняв тост в память Ленина:

— Выпьем за память Владимира Ильича, нашего вождя, учителя — наше все!

Мы все встали и выпили в немой сосредоточенности — о ней мы, подвыпившие, быстро забыли, в то время как у Сталина все еще было растроганное, торжественное, но одновременно сумрачное выражение лица.

Мы отошли от стола, но перед тем, как разойтись, Сталин запустил громадный автоматический проигрыватель. Он пытался и танцевать, как на своей родине, — видно было, что он не лишен чувства ритма, но вскоре он остановился, сказав удрученно:

— Стареем, и я уже старик!

Но его помощники — чтобы не сказать бояре — начали его убеждать:

— Ах, нет, что вы! Вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держитесь, ей-богу, для ваших лет...

Затем Сталин поставил пластинку, на которой — колоратурные трели певицы сопровождал собачий вой и лай. Он смеялся над этим с преувеличенным, неумеренным наслаждением, а заметив на моем лице изумление и недовольствие, стал объяснять, чуть ли не извиняясь:



— Нет, это все-таки хорошо придумано, чертовски хорошо придумано.

После моего ухода все еще остались, но уже готовые к отъезду — действительно, что можно было еще говорить после столь продолжительной пирушки, на которой было высказано все, кроме того, ради чего она собиралась.

## 6

Не прошло и двух дней, как нас вызвали в Генштаб, чтобы мы изложили наши пожелания.

Еще в поезде я обратил внимание Кочи Поповича и Мийалка Тодоровича на то, что их желания кажутся мне преувеличенными и нереальными. Особенно у меня не укладывалось в голове, что русские могут согласиться на возрождение югославской военной индустрии, если они не пожелали серьезно помочь нам даже в возрождении индустрии гражданской. Еще менее вероятным мне казалось, что они дадут нам военный флот, которого у них самих нет. Аргумент, что безразлично, чей флот в Адриатическом море, СССР или Югославии, если и та и другая страна — части единого коммунистического мира, показался мне малоубедительным, потому что как раз в этом единстве ощущались трещины, не говоря уже о советской недоверчивости ко всему, что не находится непосредственно в их руках, и об их откровенном стремлении соблюдать в первую очередь интересы своего государства. Но эти пожелания были уточнены и одобрены в Белграде, и мне ничего не оставалось, как поддерживать их.

На встрече председательствовал Булганин, окруженный высшими военными специалистами, среди которых был и начальник Генштаба маршал Василевский.

Сначала я в общих чертах изложил наши нужды, предоставив Тодоровичу и Поповичу разъяснять детали.

Советские представители не высказывали своего мнения, но внимательно входили в суть дела и все записывали.

Здание Генштаба, дешевку и манерность которого тщетно пытались замаскировать роскошью интерьера, кричащими шторами и позолотой, мы покинули удовлетворенные, в уверенности, что проблемы сразу сдвинулись с мертвой точки и что скоро начнется подлинная, конкретная работа.

Так оно и получилось — Тодоровича и Поповича вскоре начали вызывать на какие-то совещания. Но вскоре все застопорилось и советские представители намекнули нам, что «произошли осложнения» и что надо ждать.

Нам было ясно, что между Москвой и Белградом что-то происходит, и хотя мы точно не знали, в чем дело, нельзя сказать, что это нас удивило. Во всяком случае затягивание переговоров могло только усугубить наше критическое отношение к советской действительности и к позиции Москвы по отношению к Белграду. Тем более что мы оказались без работы и вынуждены были убивать время на вечеринках и в старомодных — но, как таковых, непревзойденных — московских театрах.

Никто из советских граждан не смел нас посещать, потому что мы, хотя и прибыли из коммунистической страны, подпадали под категорию иностранцев, с которыми граждане СССР не смели общаться. Все наши контакты сводились к служебным каналам — в министерстве иностранных дел и в Центральном комитете. Это нас раздражало и оскорбляло, тем более что в Югославии таких ограничений не было, а уж тем более не было их для представителей и граждан СССР. Это тоже заставляло нас делать критические выводы.

Наша критика еще не была обобщающей, но изобиловала примерами из конкретной жизни. Вукманович-Темпо находил в домах армии недостатки и открыто о них говорил. Коча Попович и я, чтобы не было так скучно, переехали из отдельных апартаментов в гостинице «Москва», но нас переселили в общие номера только после того, как их привел в порядок «электрик», — мы поняли, что он устанавливал аппаратуру для подслушивания. Несмотря на то что «Москва» была новой и самой большой гостиницей, в ней ничто не функционировало как следует — было холодно, краны текли, а ванны, привезенные из Восточной Германии, нельзя было использовать, потому что вода из стока попадала прямо на пол. В ванной не было ключей, что послужило Коче Поповичу пищей для его остроумия: по его утверждению, архитектор понимал, что ключ может потеряться, и поместил раковину вблизи дверей, чтобы их можно было придерживать ногами. Я часто с сожалением вспоминал свое пребывание в гостинице «Метрополь» в 1944 году — там все было старым, но исправным и добротным, а пожилые служащие говорили по-английски и по-французски и вели себя любезно и сдержанно.

Как-то в ванной послышались стоны. Я застал там двух работников — один поправлял проводку на потолке, а другой держал его на плечах.

— В чем дело, товарищи, — спросил я, — почему вы не принесете какую-нибудь лестницу?

Рабочие жаловались:

— Сколько раз мы требовали лестницу от управления, но все зря — вот так все время и мучаемся.

Гуляя вокруг, мы увидели, что «красавица-Москва» — большей частью захолустная деревня, загроможденная и неотстроенная. Шофер Панов, которому я из Югославии послал в подарок часы и с которым я установил сердечные отношения, никак не мог поверить, что в Нью-Йорке и Париже больше автомашин, чем в Москве, хотя не скрывал своего недовольства качеством новых советских автомобилей.

В Кремле, где мы осматривали гробницы царей, девушка-гид с национальным пафосом говорила о «наших царях». Превосходство русских выставлялось и приобретало уродливо-комический облик.

И так повсюду — на каждом шагу открывались нам не известные до тех пор стороны советской действительности: отсталость, примитивность, шовинизм, великодержавие, конечно, наряду с героическими, сверхчеловеческими попытками все это преодолеть и подчинить нормальному течению жизни.

Зная, что в жестких черепах советского руководства и политических органов малейшее критическое замечание немедленно превращается в антисоветскую позицию, мы, не сговариваясь, замкнулись от русских в свой круг. А поскольку мы прибыли с политической миссией, мы начали указывать друг другу на «неловкое» поведение или неосторожные слова. Изоляция начала приобретать и организованный характер. Я помню, что мы, помня об аппаратуре для подслушивания, начали контролировать свои слова в гостинице, в кабинетах, разговаривать при включенных радиоаппаратах.

Советским представителям это должно было броситься в глаза. Напряжение и недоверие постепенно нарастали.

В это время уже был привезен саркофаг Ленина — во время войны он был спрятан где-то в провинции. Мы его как-то утром тоже посетили. Само посещение не ознаменовалось бы ничем особенным, если бы не вызвало во мне и у других новый и до тех пор незнакомый протест.

Медленно спускаясь в Мавзолей, я заметил, как простые в платках женщины крестятся, как будто подходят к раке святого. Впрочем, и меня охватило мистическое ощущение, забытое со времен ранней молодости. Больше того, все было так и устроено, чтоб создать в человеке именно такое ощущение, — гранитные блоки, застывшая стража, невидимый источник света над Лениным и сам его труп, ссохшийся и белый, как известковый, с редкими волосинками, как будто их кто-то сажал. Несмотря на все свое уважение к ленинскому гению, мне казались неестественными и, главное, антиматериалистическими и антиленинскими эти мистические сборы возле ленинских останков.

Даже если бы мы были заняты, мы захотели бы увидеть Ленинград — город революции и красоты. Я с этой целью посетил Жданова, и он любезно согласился с поездкой. Но я заметил в нем и сдержанность. Встреча продолжалась не дольше десяти минут. Однако он не забыл спросить, что я думаю о заявлении Димитрова в «Правде» (21 января 1948 г.) в связи с его поездкой в Бухарест, во время которой он высказался за координацию промышленного планирования и создание таможенной унии между Болгарией и Румынией. Я сказал, что заявление мне не нравится: оно определяет болгаро-румынские отношения изолированно и преждевременно. Жданов тоже не был доволен этим заявлением, хотя не назвал причины, — она вскоре обнаружилась, и я еще о ней скажу более подробно.

Примерно в это время в Москву прибыл представитель югославской внешней торговли Богдан Црнобрња, и, поскольку ему не удавалось разрешить главные вопросы с советскими учреждениями, он насел на меня, чтобы я с ним посетил Микояна, министра внешней торговли.

Микоян принял нас холодно, не скрывая нетерпения. Среди прочего мы хотели, чтобы русские отдали нам обещанные прежде железнодорожные вагоны из своих оккупационных зон — многие из них были забраны из Югославии, а русские их все равно не могли использовать из-за более широкой колеи.

— А как это вы себе представляете — на каких условиях мы должны их отдать, по какой цене? — спросил Микоян.

Я ответил:

— Просто подарите их нам!

Он коротко ответил:

— Я занимаюсь не подарками, а торговлей.

Напрасно мы с Црнобрней настаивали на перемене договора о продаже советских фильмов, неравноправного и невыгодного для Югославии. Под предлогом, что другие восточноевропейские страны могли бы посчитать это прецедентом, Микоян отказался даже рассмаривать этот вопрос.

Но он сразу заговорил по-иному, когда разговор пошел о югославской меди, — тут он предложил нам оплату в любой валюте или товаром, причем вперед за любое количество.

Так мы ничего от него не добились — только продлили бесплодные и бесконечные разговоры. Было ясно: колеса советской машины заторможены в югославском направлении.

Поездка в Ленинград внесла облегчение и свежесть.

До посещения Ленинграда я не верил, что что-либо может превзойти по жертве и героизму повстанческие области и партизан Югославии. Но Ленинград превосходил югославскую революционную действительность — может быть, не столько геройством, сколько коллективной жертвенностью. В миллионном городе, отрезанном от тыла, без топлива и питания, под непрерывными налетами тяжелой артиллерии и авиации умерло в зиму 1941/42 года от холода и голода около 300 000 душ, люди доходили до людоедства, но мысль о сдаче даже не появлялась. Но это общая картина.

Только когда мы столкнулись с реальностью — с конкретными случаями жертвенности и героизма и живыми людьми, которые их совершали или были их свидетелями, мы ощутили всю грандиозность ленинградской эпопеи и увидели, на что способны человеческие существа — русский народ, когда под ударом находятся основы их духовного, государственного и иного существования.

Встреча с руководящими работниками Ленинграда донесла к нашему восхищению человеческую теплоту. Это были в большинстве своем простые, образованные и трудовые люди, которые пронесли на своих плечах и еще несли в своих сердцах трагическое величие города. Но они жили монотонной жизнью и обрадовались встрече с людьми из других краев и другой культуры. Мы легко и быстро нашли с ними общий язык — как люди со схожей судьбой. И хотя мы и не думали в их присутствии упрекать советское руководство, все же мы смогли заметить, что

эти люди подходят к жизни своего города и граждан более непосредственно и по-человечески, чем Москва.

Мне казалось, что с ними я быстро нашел бы общий политический язык — потому, что нашел человеческий.

Право, я не удивился, когда через два года узнал, что эти люди не избежали тоталитарных жерновов — уже потому, что посмели быть людьми.

Но в этой светлой и печальной ленинградской поездке было и неприятное пятно — наш сопровождающий Лесаков. И в то время в Советском Союзе можно было встретить работников, вышедших из рабочих и народных низов. И по Лесакову — по его недостаточной грамотности и простоте — было видно, что он вчерашний рабочий. Но эти недостатки не были бы изъяном, если бы он не пытался их прятать и не предъявлял бы весьма назойливо претензий, превышающих его возможности. На самом-то деле он пробился наверх не собственными силами и умением, его вытащили на поверхность и ввели в аппарат Центрального комитета, где он занимался югославскими делами. Он был смесью разведчика и партийного работника и, появляясь в партийной роли, неуклюже собирал информацию о югославской партии и ее руководителях.

Небольшой, с шишковатым лицом и желтыми мелкими зубами, с галстуком, свисшим набок, и рубахой, выпроставшейся из брюк, вечно боящийся показаться некультурным, Лесаков был бы даже симпатичен, если бы был скромным трудящимся человеком, не занимал такой крупной должности и не вызывал нас — главным образом именно меня — на неприятные дискуссии. Он хвастал, что «товарищ Жданов вычистил всех евреев из аппарата Центрального комитета!», — и одновременно расхваливал венгерское Политбюро, которое в то время состояло почти исключительно из евреев-эмигрантов. Я подумал, что с точки зрения советского руководства, несмотря на его скрытый антисемитизм, для Венгрии хороши были именно евреи, причем потерявшие венгерские корни — и поэтому полностью зависящие от его воли.

Я уже слышал и сам заметил, что в Советском Союзе, когда кого-нибудь ликвидируют, не имея для этого убедительных причин, то обыкновенно через секретных сотрудников распространяют о нем какую-нибудь гнусность. Так и Лесаков мне «по секрету» рассказал, что маршал Жуков отодвинут на задний план за грабеж драгоценностей в Берлине. «Знаете, товарищ Сталин не терпит аморально-

сти!» А начальник Генштаба генерал Антонов, «подумайте, обнаружено, что он по происхождению еврей!»

Было видно, что Лесаков, несмотря на узость ума, хорошо осведомлен об отношениях в югославском Центральном комитете и о методах его работы. «Ни в одной партии в Восточной Европе, — сказал он, — нет наверху такой сработавшейся четверки, как у вас».

Он не назвал имен этой четверки, но я и без него знал, что это Тито, Кардель, Ранкович и я. И я подумал полувопросительно, полуутвердительно: вероятно, эта четверка для советских руководителей — тоже один из «орешков»?

## 7

Видя, что день за днем проходит впустую, Коча Попович решил ехать домой, оставив в Москве Тодоровича — ждать развязки, вернее, ждать, пока советские верхи смилятся и возобновят переговоры. Я бы тоже уехал с Поповичем, если бы из Белграда не пришло сообщение, что в Москву прибывают Кардель и Бакарич и что я должен был вместе с ними говорить с советским правительством по поводу «создавшихся затруднений».

Кардель и Бакарич приехали в воскресенье 8 февраля 1948 года. Советское правительство пригласило не их, а Тито, но в Белграде сослались на то, что он себя плохо чувствует — уже по одному этому было видно взаимное недоверие, — и вместо него приехал Кардель. Одновременно была приглашена и делегация болгарского правительства и Центрального комитета, о чем нам сообщил неизбежный Лесаков, намеренно подчеркнув, что из Болгарии-де прибыли «главные».

Незадолго до этого, 28 января 1948 года, московская «Правда» дезавуировала Димитрова и отмежевалась от его «сомнительных и надуманных федераций и конфедераций» и таможенных союзов. Это было предупреждением, предвестием предстоящих мер и более твердого курса советского правительства.

Карделя и Бакарича поместили на даче под Москвой, и я тоже переселился туда. В ту же ночь — жена Карделя уже спала, а сам Кардель тоже был в постели — я сел возле него и тихо, как только возможно, сообщил ему мои впечатления о пребывании в Москве и о контактах с советскими верхами. Впечатления сводились к тому, что мы ни

на какую серьезную помощь рассчитывать не можем, а должны опираться лишь на свои силы, так как советское правительство определенно проводит политику подчинения, стремясь свести Югославию до уровня оккупированных восточноевропейских стран.

Кардель мне тогда — или сразу же по прибытии — сообщил, что непосредственной причиной спора с Москвой был договор между югославским и албанским правительством о введении в Албанию двух югославских дивизий. Дивизии еще комплектовались, а полк югославской авиации уже находился в Албании, когда Москва решительно воспротивилась этому, не принимая разъяснений, что югославские дивизии должны оборонять Албанию в случае нападения греческих «монархо-фашистов». В своей телеграмме Белграду Молотов угрожал открытым конфликтом.

Намерение ввести дивизии мне совсем не понравилось, об этом я услышал впервые и спросил Карделя, зачем это вообще было нужно. Он отмежевался, сказав, что не участвовал в этом деле...

Я не мог бы подтвердить оглашенную версию, что югославские дивизии направлялись в Албанию только по требованию Энвера Ходжи, которого сделать это подговорила Москва, — чтобы иметь возможность обвинять югославское правительство в империалистических и захватнических замыслах. Этим я, конечно, не хочу смягчить ни вероломства, ни жестокости Ходжи, проявленные им впоследствии в самом отвратительном виде по отношению к своим товарищам и собственному народу. Дело тут в фактах, а не в их толковании — факты должны остаться такими, какими были.

Албанское правительство было согласно на ввод югославских дивизий, и, хотя я считаю, что согласие не было искренним, досконально разбирая этот случай, надо было бы принять во внимание уже расстроженные югославско-советские отношения и в первую очередь проанализировать тогдашние отношения между Белградом и Тираной.

На следующий день по приезде Карделя, гуляя в парке под взглядами советских агентов, которые не могли нас подслушать — их лица выражали явную досаду, — мы в присутствии Бакарича еще более подробно и с более последовательным анализом продолжали разговор с Карделем.

Несмотря на незначительные расхождения в выводах,



мы достигли полного единодушия, — я, как обычно, был за более резкие и бесповоротные решения.

Советская сторона никак себя не проявляла до вечера следующего дня, десятого января, когда нас около девяти часов вечера посадили в автомобиль и отвезли в Кремль, в рабочие помещения Сталина. Там мы минут пятнадцать ожидали болгар — Димитрова, Коларова и Костова. Как только они прибыли, нас всех сразу ввели к Сталину.

Мы сели так, что справа от Сталина, который сел во главе стола, находились советские представители — Молотов, Жданов, Маленков, Суслов, Зорин, слева болгарские — Коларов, Димитров, Костов, а справа югославские — Кардель, я, Бакарич.

Об этой встрече я в свое время представил письменный отчет югославскому Центральному комитету. Но сегодня у меня нет возможности его просмотреть, и я полагаюсь на свою память и на опубликованные об этой встрече материалы.

Первым получил слово Молотов, который коротко, как обычно, сообщил, что возникли серьезные расхождения между советским правительством, с одной стороны, и югославским и болгарским правительством, с другой стороны, что недопустимо ни с партийной, ни с государственной точки зрения.

Примером этих расхождений он назвал подписание союзного договора между Югославией и Болгарией, хотя советское правительство придерживается точки зрения, что Болгария не должна заключать никаких договоров до того, пока с ней не будет подписан мир.

Молотов хотел подробнее коснуться заявления Димитрова в Бухаресте о создании восточноевропейских федераций, в котором Димитров упомянул и Грецию, и таможенного союза и согласования промышленных планов между Румынией и Болгарией. Но Сталин его прервал:

— Товарищ Димитров слишком увлекается на пресс-конференциях — не следит за тем, что говорит. А все, что он говорит, что говорит Тито, за границей воспринимают, как будто это сказано с нашего ведома. Вот, например, у нас тут были поляки. Я их спрашиваю: что вы думаете о заявлении Димитрова? Они говорят: разумное дело. А я им говорю: нет, это неразумное дело. Тогда они говорят, что и они думают, что это неразумное дело, — если таково мнение советского правительства. Потому что они думали, что Димитров сделал заявление с ведома и согласия

советского правительства, и поэтому и они его одобряли. Димитров потом пытался исправить это заявление через Болгарское телеграфное агентство, но ничего не исправил. Больше того, он привел пример, как Австро-Венгрия в свое время препятствовала таможенному союзу между Болгарией и Сербией, из чего само собой напрашивается вывод: раньше мешали немцы, а теперь — русские. Вот в чем дело!

Молотов продолжил, говоря, что болгарское правительство идет на федерацию с Румынией, даже не посоветовавшись об этом с советским правительством.

Димитров, пытаясь смягчить, подчеркнул, что он говорил о федерации не конкретно.

— Нет, вы договорились о таможенном союзе, о согласовании промышленных планов, — прервал его Сталин.

Молотов дополнил Сталина:

— А что такое таможенный союз и согласование экономики, как не создание одного государства?

В этот момент сама собою, никем не сформулированная, обнажилась вся сущность встречи: между «народными демократиями» не может развиваться никаких отношений, если они не соответствуют интересам советского правительства и им не одобрены. Стало ясно, что для великодержавно мыслящих советских вождей, рассматривающих Советский Союз «ведущей силой социализма» и все время помнящих, что Красная Армия освободила Румынию и Болгарию, заявления Димитрова и недисциплинированность и самоволие Югославии не только ересь, но и покушение на их «священные» права.

Димитров пытался объяснять, оправдываться. Но Сталин его все время перебивал, не давая закончить.

Это был сейчас подлинный Сталин — его остроумие перешло в язвительную грубость, а его нетерпимость в непримиримость. Все же он сдерживался, чтобы не прийти в ярость. Поскольку же он ни на мгновение не терял ощущения реальности, он ругал и горько упрекал болгар, зная, что они ему и так покорятся, но целился на самом-то деле в югославов, по народной пословице: дочь бранит, чтобы сноху облаять.

Поддержанный Карделем, Димитров сказал, что Югославия и Болгария на озере Блед опубликовали не договор, а только сообщение, что достигнуто соглашение о договоре.

— Да, но вы не посоветовались с нами! — воскликнул Сталин. — Мы о ваших отношениях узнаем из газет! Болтаете, как бабы на перекрестке, что вам взбредет в голову, а журналисты подхватывают!

Димитров, одновременно оправдывая свою точку зрения на таможенный союз с Румынией, продолжал:

— Болгария испытывает такие экономические затруднения, что без более тесного сотрудничества с другими странами не может развиваться. Что касается моего заявления на пресс-конференции, это верно, я увлекся.

Сталин его прервал:

— Вы хотели блеснуть новыми фразами! Это насквозь ошибочно, подобная федерация немыслима. Какие существуют исторические связи между Болгарией и Румынией? Никаких! Уже не говоря о Болгарии и, скажем, Венгрии или Польше.

Димитров оправдывается:

— В сущности, между внешней политикой Болгарии и Советского Союза разницы нет.

Сталин упрямо и жестоко:

— Есть большая разница! К чему это скрывать? Ленинская практика состояла в том, что ошибки надо сознать и как можно скорей их устранять.

Димитров, примирительно и почти послушно:

— Верно, мы ошиблись. Но мы учимся и на этих ошибках во внешней политике.

Сталин, резко и насмешливо:

— Учитесь! Занимаетесь политикой пятьдесят лет и — исправляете ошибки! Тут дело не в ошибках, а в позиции, отличающейся от нашей.

Я искоса посмотрел на Димитрова: уши его покраснели, а по лицу, в местах, как бы покрытых лишаями, пошли крупные красные пятна. Редкие волосы растрепались, и их пряди мертво висели на морщинистой шее. Мне его было жаль. Волк с Лейпцигского процесса, дававший отпор Герингу и фашизму в зените их силы, выглядел уныло и понуро.

Сталин продолжал:

— Таможенный союз, федерация между Румынией и Болгарией — это глупости! Другое дело — федерация между Югославией, Болгарией и Албанией. Тут существуют исторические и другие связи. Эту федерацию следует создавать чем скорее, тем лучше. Да, чем скорее, тем лучше — сразу, если возможно, завтра! Да, завтра, если возможно! Сразу и договоритесь об этом.

Кто-то — думаю, что Кардель, — заметил, что работа над созданием югославо-албанской федерации уже идет.

Но Сталин уточняет:

— Нет, сначала федерация между Болгарией и Югославией, а затем обеих с Албанией.

И потом добавляет:

— Мы думаем, что следует создать федерацию Румынии с Венгрией и Польши с Чехословакией.

Дискуссия на какое-то время успокаивается.

Сталин вопрос федерации больше не развивал, он только позже несколько раз повторил, что надо сразу создать федерацию между Югославией, Болгарией и Албанией. На основании изложенной выше точки зрения и неопределенных намеков советских дипломатов в то время можно было заключить, что советское руководство вынашивает мысль о перестройке Советского Союза, а именно — о его слиянии с «народными демократиями»: Украины с Венгрией и Румынией, а Белоруссии с Польшей и Чехословакией, в то время как Балканские страны объединились бы с Россией! Но сколь бы туманны и предположительны ни были эти планы, несомненно одно: Сталин искал для восточноевропейских стран такие решения и такие формы, которые бы укрепили и на долгое время обеспечили господство и гегемонию Москвы.

С вопросом о таможенном союзе и болгарско-румынском договоре было, казалось, уже покончено, как вдруг заговорил старик Коларов, вспомнивший что-то важное:

— Я не вижу, в чем тут ошибка товарища Димитрова, — ведь мы проект договора с Румынией предварительно посылали советскому правительству, и оно никак не возражало против таможенного союза, а только против определения понятия агрессора.

Сталин повернулся к Молотову:

— Присылали нам проект договора?

Молотов, несколько не смутившись, немного язвительно:

— Ну, да!

Сталин, разочарованно и зло:

— И мы делаем глупости.

Димитров уцепился за сказанное:

— Это и было причиной моего заявления — проект посылался в Москву, я не предполагал, что вы могли иметь что-либо против.

Но Сталин остался неумолимым:

— Ерунда! Вы зарвались, как комсомолец. Вы хотели удивить мир — как будто вы все еще секретарь Коминтерна. Вы и югославы ничего не сообщаете о своих делах, мы обо всем узнаем на улице — вы ставите нас перед свершившимися фактами!

Костову, который руководил тогда экономическими делами Болгарии, хотелось тоже что-то сказать:

— Трудно быть малым и слаборазвитым государством... Я хотел бы поднять кое-какие экономические вопросы.

Но Сталин его прервал, сказав, чтобы он обратился в соответствующие министерства, и подчеркнул, что на этой встрече рассматриваются внешне-политические расхождения трех правительств и партий.

Наконец слово получил Кардель. Он покраснел — это у него признак возбуждения, — втянул голову в плечи и делает паузы во фразах не там, где положено. Он подчеркнул, что договор между Югославией и Болгарией, подписанный на озере Блед, был заранее послан советскому правительству и что последнее не сделало никаких замечаний, кроме одного, касающегося продолжительности договора: вместо «на вечные времена» — «на 20 лет».

Сталин молча и с упреком смотрит на Молотова, тот склоняет голову и сжимает губы, фактически подтверждая слова Карделя.

— Кроме этого замечания, которое мы приняли, — констатирует Кардель, — никаких расхождений не было...

Но Сталин его прерывает, не менее зло, хотя и менее оскорбительно, чем Димитрова:

— Ерунда! расхождения есть, и глубокие! Что вы скажете насчет Албании? Вы нас вообще не проконсультировали о вводе войск в Албанию!

Кардель возразил, что на это существовало согласие албанского правительства.

Сталин кричит:

— Это могло бы привести к серьезным международным осложнениям — Албания независимая страна! Что вы думаете? Оправдывайтесь или не оправдывайтесь, факт остается фактом — вы не посоветовались с нами о посылке двух дивизий в Албанию.

Кардель объяснил, что все это еще не решено окончательно, и добавил, что он не помнит ни одного внешнеполитического вопроса, по которому югославское правительство не согласовывало бы свои действия с советским.

— Неправда! — восклицает Сталин. — Вы вообще не советуетесь. Это у вас не ошибка, а принцип — да, принцип!

Прерванный Кардель умолк, так и не изложив своей точки зрения.

Молотов взял бумагу и прочел место из югославо-болгарского договора, где говорится, что Болгария и Югославия будут «...сотрудничать в духе Объединенных Наций и поддерживать всякую инициативу, направленную на поддержание мира и против всех очагов агрессии».

— Что это означает? — спрашивает Молотов.

Димитров разъясняет, что смысл этих слов — привязать борьбу против очагов агрессии к Объединенным Нациям.

Сталин вмешивается:

— Нет, это превентивная война — самый обыкновенный комсомольский выпад! Крикливая фраза, которая только дает материал противнику.

Молотов снова возвращается к болгаро-румынскому таможенному союзу, утверждая, что это начало слияния двух государств.

Сталин вмешивается, говоря, что таможенные союзы вообще нереальны. После того как дискуссия снова несколько успокаивается, Кардель замечает, что некоторые таможенные союзы на практике оказываются неплохими.

— Например? — спрашивает Сталин.

— Ну, например, Бенилюкс, — говорит осторожно Кардель, — в нем объединились Бельгия, Голландия и Люксембург.

Сталин:

— Нет, Голландии там нет, это только Бельгия и Люксембург, — это чепуха, не имеющая значения.

Кардель:

— Нет, туда входит и Голландия.

Сталин упрямо:

— Нет, Голландия не входит.

Сталин смотрит на Молотова, на Зорина, на остальных — я ощущаю желание объяснить ему, что слог «ни» в названии Бенилюкс происходит от «Нидерланд» — полного наименования Голландии. Но поскольку все молчат, молчу и я — и Бенилюкс остается — без Голландии.

Сталин вернулся к согласованию экономических планов между Румынией и Болгарией.

— Это бессмыслица — вместо сотрудничества вскоре

начались бы ссоры. Другое дело — объединение Болгарии и Югославии: здесь существует сродство, давнишние стремления.

Кардель подчеркнул, что на озере Блед также решено постепенно действовать в направлении создания федерации между Болгарией и Югославией, но Сталин его прерывает, уточняя:

— Нет, не постепенно, а сразу, если возможно — уже завтра. Сначала должны объединиться Болгария и Югославия, а затем к ним присоединится Албания.

Сталин затем переходит к восстанию в Греции:

— Следует свернуть восстание в Греции, — он именно так и сказал: «свернуть». — Верите ли вы, — обратился он к Карделю, — в успех восстания в Греции?

Кардель отвечает:

— Если не усилится иностранная интервенция и если не будут допущены крупные политические и военные ошибки...

Но Сталин продолжает, не обращая внимания на слова Карделя:

— Если, если! Нет у них никаких шансов на успех. Что вы думаете, что Великобритания и Соединенные Штаты — Соединенные Штаты, самая мощная держава в мире, — допустят разрыв своих транспортных артерий в Средиземном море! Ерунда. А у нас флота нет. Восстание в Греции надо свернуть как можно скорее.

Кто-то заговорил о недавних успехах китайских коммунистов. Но Сталин настаивал на своем:

— Да, китайским товарищам удалось. Но в Греции совершенно иное положение. Греция лежит на жизненно важных коммуникационных путях западных государств. Там непосредственно вмешались Соединенные Штаты — самая мощная держава в мире. С Китаем — это другое дело, на Дальнем Востоке иное положение. Правда, и мы можем ошибаться! Вот когда закончилась война с Японией, мы предложили китайским товарищам найти модус вивенди с Чан Кайши. Они на словах согласились с нами, а когда приехали домой, сделали по-своему: собрали силы и ударили. Оказалось, что правы были они, а не мы. Но в Греции другое положение — надо, не колеблясь, свернуть греческое восстание.

Мне и сегодня не ясны все причины, по которым Сталин был против восстания в Греции. В его расчеты не могло входить создание на Балканах еще одного комму-

нистического государства — Греции, в то время как остальные не были обузданы и прибраны к рукам. Еще меньше могли входить в его расчеты международные осложнения, которые приобретали угрожающие формы и могли если не втянуть его в войну, то во всяком случае поставить под угрозу уже занятые территории.

Что же касается успокоения китайской революции, то и здесь, без сомнения, был оппортунизм во внешней политике, а возможно, что он в этой новой коммунистической мировой державе ощущал опасность для своего собственного дела и для своей империи — тем более что у него не было никаких надежд подчинить Китай изнутри. Во всяком случае он знал, что каждая революция — уже тем самым, что она новая, — превращается в самостоятельный эпицентр и создает свою собственную власть и государство. В случае с Китаем он опасался еще больше, потому что это было событие почти столь же значительное и огромное, как Октябрьская революция.

Дискуссия начала терять темп, и Димитров заговорил о развитии дальнейших экономических отношений с СССР, но Сталин его снова прервал:

— Об этом мы будем говорить с совместным болгарско-югославским правительством.

А Костову на его жалобы по поводу несправедливости договора о технической помощи Сталин сказал, чтобы он об этом подал «записочку» Молотову.

Кардель спросил, какую позицию следует занять в связи с требованием итальянского правительства о передаче под его опеку Сомали. Югославия не была склонна к поддержке этого требования, в то время как Сталин был противоположного мнения и спросил Молотова, направлен ли ответ в этом смысле. Свою позицию он мотивировал так:

— Когда-то цари, если они не могли договориться о добыче, отдавали спорную территорию наиболее слабому феодалу, чтобы потом, в удобный момент, ее у него отнять.

Сталин не забыл, где-то к концу встречи, Лениным и ленинизмом прикрыть свои требования и распоряжения. Он сказал:

— Мы, ученики Ленина, тоже часто расходились во мнениях с самим Лениным, даже ссорились по некоторым вопросам, но потом, все продискутировав, определяли точки зрения — и шли дальше.



Встреча длилась около двух часов.

Но на этот раз Сталин не пригласил нас на ужин в свой дом. Должен признаться, что я почувствовал из-за этого печаль и горечь, настолько во мне была еще сильна человеческая, сентиментальная привязанность к этому человеку.

Я ощущал грусть и какую-то холодную опустошенность. В автомобиле я пытался высказать Карделю свое огорчение встречей, но он, удрученный, подал мне знак, чтобы я молчал.

Это не значит, что мы с ним разошлись во мнениях, — мы просто по-разному реагировали.

Насколько велико было смятение Карделя, лучше всего видно из того, что на следующий день, когда его повезли в Кремль подписывать — без разъяснений и без церемоний — договор о консультации между СССР и Югославией, он поставил свою подпись не туда, куда следовало, и пришлось подписывать еще раз.

В тот же день — сговорившись об этом еще в прихожей Сталина — мы поехали на обед к Димитрову, чтобы говорить о федерации. Мы сделали это механически — сказались остатки дисциплины и авторитета советского правительства. Но разговор об этом был коротким и вялым — мы договорились, что свяжемся, как только возвратимся в Софию и Белград.

Из этого, конечно, ничего не вышло, так как месяц спустя Молотов и Сталин начали атаковать в письмах югославское руководство — при поддержке болгарского ЦК. Разговор о федерации с Болгарией оказался уловкой для того, чтобы нарушить единство югославских коммунистов, — петлей, в которую уже ни один идеалист не хотел совать голову.

Из этой встречи с болгарской делегацией я запомнил предусмотрительность, почти нежность Костова к нам. Это было тем более странно, что его югославское коммунистическое руководство считало противником Югославии и, следовательно, «советским» человеком. Между тем он был тоже за независимость Болгарии и потому негодовал на югославов, считая, что они — главные помощники Советского Союза, а может, и сами хотят подчинить себе Болгарию и ее коммунистическую партию. Костов был впоследствии расстрелян по ложному обвинению в сотрудничестве с Югославией. Югославская же печать атаковала его буквально до последнего дня — настолько силь-

но было недоверие и велики недоразумения под сенью Сталина.

На этой встрече Димитров и рассказал об атомной бомбе, а прощаясь перед дачей, как бы вскользь заметил:

— Дело тут не в критике моих заявлений, а в чем-то другом.

Димитров, конечно, знал то же, что и мы. Но у него не было сил, а может, он уже не обладал таким весом, как руководители Югославии.

Я не опасался, что с нами в Москве может что-нибудь случиться — мы были все-таки представителями независимой страны. Но несмотря на это, я часто видел мысленно боснийские леса, в чащах которых мы укрывались во время самых жестоких немецких наступлений и где, возле холодных и чистых родников, всегда находили отдых и утешение. Я даже сказал Карделю или кому-то другому:

— Только бы нам поскорей добраться до наших гор и лесов!

Меня упрекали, что я преувеличиваю.

Мы отбыли через три-четыре дня — на заре нас отвезли на Внуковский аэродром и безо всяких почестей пихнули в самолет. Во время полета я все сильнее ощущал детскую, но одновременно серьезную, строгую радость и все реже вспоминал рассказ Сталина о судьбе генерала Сикорского.

Я ли это меньше четырех лет тому назад стремился в Советский Союз — преданный и открытый всем своим существом?

Еще одна мечта погасла, соприкоснувшись с реальностью.

Не для того ли, чтобы могла возникнуть новая?

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие — и среди них, конечно, Троцкий — особо подчеркивают преступные, кровожадные инстинкты Сталина. Я не хочу этого ни отрицать, ни подтверждать, так как недостаточно знаком с фактами. Недавно в Москве объявлено, что он, по всей вероятности, убил ленинградского секретаря Кирова, чтобы создать повод для расправы с внутривластной оппозицией. Горький умер, вероятно, не без его содействия — слишком уж назойливо сталинская пропаганда изображала эту смерть как дело оппозиции. Троцкий подозревает его даже в убийстве Ленина, якобы чтобы избавить от мучений. Утверждают, что он убил свою жену или по меньшей мере довел ее своей грубостью до самоубийства. Потому что слишком уж наивна романтическая легенда, распространявшаяся агентами Сталина, которую я слышал, — что она отравилась, пробуя еду, приготовленную для своего достойного супруга.

Сталин мог совершить любое преступление, и не было ни одного, которого бы он не совершил. Каким мерилком его ни меряй, ему всегда — будем надеяться, что до конца времен, — будет принадлежать слава величайшего преступника в истории. Потому что в нем сочетается бессмысленная преступность Калигулы с утонченностью Борджиа и жестокостью Ивана Грозного.

Больше всего я задумывался и задумываюсь над вопросом, как такая мрачная, коварная и жестокая личность могла руководить одной из величайших и мощных держав — не год, не два, а тридцать лет! Именно это должны разъяснить сегодняшние критики-наследники Сталина. Пока они этого не сделают, именно это обстоятельство будет подтверждать, что во многом они продолжают его дело, питаются его соками, — используя те же идеи, формы и средства, что и он.

Верно, что Сталин воспользовался моментом, чтобы

подчинить себе обессиленное и впавшее в отчаяние русское послереволюционное общество. Но верно и то, что именно такой человек — решительный, бесцеремонный и весьма практичный в своем фанатизме — был необходим для определенных слоев этого общества, точнее: для находящейся у власти политико-партийной бюрократии. Правящая партия упрямо и послушно шла за ним. Он ее действительно вел от победы к победе до тех пор, пока, опьяненный властью, не начал грешить против самой партии. Сейчас она ему только это и ставит в вину, замалчивая гораздо более значительные и во всяком случае не менее жестокие его насилия по отношению к «классовому врагу» — крестьянству и интеллигенции, а также левым и правым течениям в партии и вне ее. И пока эта партия в своей теории, а особенно на практике, не покончит с тем, в чем была вся неповторимая сущность сталинизма, а именно — с идеологическим единством и так называемой монолитностью партии, это будет плохим, но верным признаком, что она не освободилась от призрака Сталина. Поэтому мне кажется слишком мелкой и преждевременной радость по поводу ликвидации так называемой антипартийной группы Молотова — несмотря на всю одиозность его личности и мракобесия его взглядов. Вопрос не в том, лучше ли та или иная группа, а в том, что вообще возможно их существование, — и отказались ли, хотя бы для начала, от идейной и политической монополии, а тем самым и от остальных монополий одной группировки в СССР. Тень Сталина все еще лежит, и надо опасаться, что довольно долго будет лежать на Советском Союзе, — если предполагать, что не будет войны. Несмотря на проклятия в его адрес, Сталин еще живет в социальных и духовных основах советского общества.

Возврат к Ленину на словах и в торжественных декларациях не может изменить сути — гораздо легче разоблачить какое-то преступление Сталина, чем умолчать, что этот человек одновременно «построил социализм», то есть заложил фундамент нынешнего советского общества и советской империи. Это говорит о том, что советское общество, несмотря на гигантские технические достижения, — а может быть, именно в связи с ними, — если и начало изменяться, то все еще находится в плену у собственных — сталинских, догматических норм.

Но несмотря на этот скептицизм, все-таки не кажутся необоснованными надежды, что в обозримом будущем

могут появиться новые мысли и явления, которые если не поколеблют хрущевскую «монолитность», то хотя бы раскроют ее сущность и противоречия. В данный момент для этого нет условий: находящиеся у власти еще настолько бедны, что ни догматизм, ни монопольное властвование не мешают им и не кажутся излишними, а советская экономика все еще в состоянии жить изолированно в своей империи, терпя убытки из-за отрыва от мирового рынка.

Многое, естественно, обретает масштабы и ценность в зависимости от того, откуда на него смотреть.

Так и Сталин.

Если смотреть с точки зрения человечности и свободы, история не знает деспота, столь жестокого и циничного, как Сталин. Он методичнее, шире и тотальнее как преступник, чем Гитлер. Он один из тех редких жутких догматиков, способных уничтожить девять десятых человеческого рода, чтобы «осчастливить» оставшуюся.

Но если проанализировать действительную роль Сталина в истории коммунизма, то там, рядом с Лениным, он до сих пор наиболее грандиозная фигура. Он не намного развил идеи коммунизма, но защитил их и воплотил в общество и государство. Он не создал идеального общества — это невозможно уже по самой человеческой природе, но он превратил отсталую Россию в промышленную державу и империю, которая все более упрямо и непримиримо претендует на мировое господство. С неизбежностью выяснится, что он реально создал наиболее несправедливое общество современности, если не вообще в истории — во всяком случае, оно в одинаковой мере несправедливо, неравноправно и несвободно.

Если смотреть с точки зрения успеха и политической находчивости, Сталина, вероятно, не превзошел ни один государственный муж его времени.

Я, разумеется, не считаю успех в политической борьбе абсолютной ценностью. В особенности я далек от мысли идентифицировать политику с аморальностью, хотя знаю, что политика — уже потому, что это борьба за существование определенных человеческих сообществ, — включает в себя и пренебрежение моральными нормами. Делаящий большую политику крупный государственный деятель для меня тот, кто умеет слить идеи с реальностью, кто умеет и может неотступно идти к своим целям, одновременно придерживаясь основных моральных ценностей.

В конечном счете Сталин — чудовище, которое при-

держивалось абстрактных, абсолютных и в основе своей утопических идей, — успех их на практике был равнозначен насилию, физическому и духовному истреблению.

Но не будем несправедливыми и к Сталину!

То, что он хотел осуществить, и то, что он осуществлял, никак и невозможно осуществить иным способом. Те, кто его возносил и кем он руководил, с их абсолютными идеалами, замкнутыми формами собственности и власти, на той ступени развития российских международных отношений и не могли выдвинуть иного вождя, не могли применять иных методов. Создатель замкнутой социальной системы, Сталин был одновременно ее орудием и, когда изменились обстоятельства, он — слишком поздно — стал ее жертвой. Непревзойденный в насилии и преступлении, Сталин непревзойден также и как вождь и организатор определенной социальной системы. Его «ошибки» виднее, чем у остальных, и поэтому Сталин — наиболее дешевая цена, которой вожди этой системы хотят выкупить и себя, и саму систему с ее гораздо более существенным и крупным злом.

И все же низвержение Сталина — как бы оппереточно и непоследовательно оно ни проводилось — подтверждает, что правда выходит на поверхность, пусть даже после смерти тех, кто за нее боролся, — совесть человеческую нельзя ни успокоить, ни уничтожить.

Но, к сожалению, и сегодня, после так называемой десталинизации, можно сказать то же, что и до нее: общество, созданное Сталиным, существует в полном объеме, и тот, кто хочет жить в мире, отличном от сталинского, должен бороться.

*Белград*

*Сентябрь-ноябрь 1961 года*

## О СТАЛИНЕ, ВЕРОЯТНО, В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

### 1

Я считал, что мои «Беседы со Сталиным» окончены. Но, как уже бывало не раз, я ошибся — так же, как ошибся в своих недавних надеждах, что после «Несовершенного общества» мне не придется больше заниматься «идеологическими вопросами».

Но Сталин — вампир, который все бродит и долго еще будет скитаться по миру. Все отреклось от его наследия, но многие еще черпают из него свои силы. Многие невольно подражают Сталину. Хрущев его порицал, но сам восхищался им. Нынешние советские вожди им не восхищаются, но греются в его лучах. И у Тито — через пятнадцать лет после разрыва — возродилось уважение к нему как к государственному деятелю. Да и я спрашиваю себя, может быть, и мои размышления о Сталине — признак того, что он все еще живет во мне?

Кто же Сталин — великий государственный муж, «демонический гений», жертва догмата или маньяк и уголовник, дорвавшийся до власти? Чем была для него марксистская идеология, как он использовал идеи? Что думал он о своем собственном деле, о себе самом и о своем месте в истории?

Это лишь несколько вопросов, возникающих в связи с его личностью. Ставлю их потому, что они касаются судьбы современного мира, в особенности коммунистического, и потому, что они имеют, я сказал бы, глубокое вневременное значение.

Из разговоров со Сталиным мне сегодня особенно четко вспоминаются два его утверждения. Первое — если я хорошо помню — он высказал в 1945 году, а второе — это я помню точно — в начале 1948 года.

Первое утверждение звучало примерно так: если наши идейные предпосылки правильны, то все остальное должно произойти само по себе. Второе утверждение касалось Маркса и Энгельса. В разговоре кто-то — думаю, что я сам, — подчеркнул, что мировоззрение Маркса и Энгельса живо и современно, на что Сталин — с видом человека, много об этом размышлявшего и пришедшего к бесспорным выводам, может быть, вопреки собственному желанию, — заметил:

«Да, они, без сомнения, основоположники. Но и у них есть недостатки. Не следует забывать, что на Маркса и Энгельса слишком сильно повлияла немецкая классическая философия — в особенности Кант и Гегель. В то время как Ленин от подобных влияний был свободен...»

Эти высказывания на первый взгляд не особенно оригинальны: широко известен коммунистический обычай делить взгляды и поступки на «правильные» и «неправильные» в зависимости от их догматической правоверности и осуществимости. Известно и маниакальное вознесение

Ленина в сан единственного защитника и продолжателя дела Маркса. Но в этих утверждениях Сталина есть несколько моментов, не только оригинальных, но и весьма важных для наших рассуждений.

Что означает, в сталинской интерпретации, утверждение, что идейные предпосылки — это основа и залог победы? Разве такая точка зрения не противоречит основному положению учения марксизма, согласно которому в основе всех идей лежит «экономическая структура общества»? Разве такой взгляд, пусть неосознанно, не приближается к философскому идеализму, который учит, что решающее и первичное — это разум и идеи? Ведь ясно, что в упомянутой фразе Сталин не подразумевал мысль Маркса, по которой «теория становится материальной силой, как только охватит массы», а говорил о теориях и идеях до того, как они «охватят массы». Как увязать это с мыслью о Сталине, которой Бухарин поделился с Каменевым еще в июле 1928 года: «Он готов в любой момент изменить свои теории только для того, чтобы от кого-то избавиться»\*, и откуда у Сталина запоздалое, не замечавшееся прежде, критическое отношение к Марксу и Энгельсу?

Однако несмотря на все эти вопросы, в приведенных мыслях Сталина нет существенной непоследовательности. Более того, и слова Бухарина о непринципиальности Сталина, — если даже забыть о том, что они сказаны с фракционистским упрямством, — мне кажется, не противоречат мысли Сталина о решающем значении идей.

Одна из наиболее существенных, если не самая существенная из причин, что противники Сталина в партии — Троцкий, Бухарин, Зиновьев и другие — проиграли в борьбе с ним, та, что он был более оригинальным, более творческим марксистом, чем любой из них. Разумеется, в его стиле нет фейерверков Троцкого, а в его анализах — острого ума Бухарина. Изложения Сталина — это рациональное видение социальной реальности, руководство для новых, победоносных сил. Извлеченная из данной реальности, из соответствующих условий и атмосферы, его мысль действительно кажется серой, плоской и беспомощной. Но это лишь ее внешний облик.

Сущность учения Маркса в неразрывности теории и практики:

---

\*Robert Conquest: «The great Terror», New York, Macmillan Co, 1968, p. 81.



«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключалось в том, чтобы изменить его»\*.

Коммунизм и коммунисты всегда и всюду побеждали — пока возможно было осуществление этого единства их учения с практикой. Сталину же непостижимую демоническую силу придало упорство и умение соединять марксистско-ленинское учение с властью, с государственной мощью. Потому что Сталин — не политический теоретик в полном смысле этого слова: он говорит и пишет только тогда, когда его к этому принуждает политическая борьба — в партии, в обществе, а чаще всего и тут и там одновременно. В этом слиянии мысли и реальности, в этом деловитом и неотвлеченном прагматизме и состоит сила и оригинальность взглядов Сталина...

Следует добавить: упуская или недооценивая это качество его взглядов или формально подходя к его текстам, и догматики на Востоке, и многие серьезные исследователи Сталина на Западе затрудняют себе сегодня разгадку его личности и условий, в которых он пришел к власти.

Необходимо еще раз повторить, что сталинский марксизм, сталинские взгляды никогда не проявляются — как будто их вовсе и не существует — отдельно от нужд послереволюционного советского общества и советского государства. Это марксизм партии, жизненная необходимость которой — превращаться во власть, в «ведущую», господствующую силу. Троцкий назвал Сталина самой выдающейся посредственностью в нашей партии. Бухарин насмеялся над ним, говоря, что он охвачен бесплодной страстью стать известным теоретиком. Но это все острословие, фракционистские нереальные высказывания. Сталин действительно не мыслил теоретически в полном смысле этого слова. Это не анализ и не ученые рассуждения. Однако для сочетания идеологии с потребностями партии, вернее, партийной бюрократии как новой высшей знати, — его мышление намного более ценно, чем мышление всех его противников. Партийная бюрократия стала на сторону Сталина не случайно — как не случайно тирады Гитлера, кажущиеся сегодня безумными, захватили и бросили в бой и на смерть миллионы «рассудительных» немцев. Сталин победил не потому, что он «искажал» марксизм, а как раз потому, что он его осуществлял... Троцкий

---

\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1955. Т. 3. С. 4.

без конца сыпал парадоксами и проектами мировой революции, Бухарин углублялся в догматические тонкости и возможности обуржуазивания колоний, в то время как Сталин в своих разъяснениях «очередных задач» существование и привилегии переродившейся и вновьявленной партийной бюрократии отождествлял с индустриализацией и усилением России.

При этом Сталин — как каждый прирожденный политик и ловкий администратор — присваивал чужие идеи, облекая их в реальные формы. Так, самый знаменитый сталинский шаг — «построение социализма в одной стране» (в СССР) — теоретически начат и развит Бухариным, причем в борьбе против Троцкого... В литературе это можно считать плагиатом или эпигонством, в политике же это — использование возможностей.

Впрочем, при жизни Сталина никто не отрицал, что он марксист. Ни один разумный человек этого не делает и сегодня. Несогласия были и есть только в оценке его качеств как теоретика и его последовательности как наследника Ленина.

## 2

Выше я сказал о качествах Сталина то, что мне кажется наиболее значительным.

Но любой спор о том, кто и в какой мере чей наследник, кажется мне поверхностным и несущественным. Последовательным, верным наследником может быть только тот, кто не обладает даром видения и творческой силой. Тут дело идет о политике, где мифы — неизбежное повседневное явление, а в данном конкретном случае — об опровержении догматического и демагогического, начетнического подхода к ленинскому наследству. Потому что цитатами можно доказать и что любой из возможных наследников был верен Ленину, и что ни один из них ему верен не был. Приблизить к истине нас может только сравнение стремлений Ленина с тем, что осуществил Сталин, и с тем, что предлагали противники последнего.

Мы не можем также избежать анализа так называемого завещания Ленина, поскольку оно играло и все еще играет важную роль не только в догматических, но и в иных, особенно антисоветских, дискуссиях.

«Завещание» Ленина — это на самом деле письмо,

которое он диктовал после удара, парализовавшего ночью 22 декабря 1922 года его правую руку и ногу. На следующий день, 23 декабря, врач разрешил ему диктовать по четыре минуты в день — он начал письмо, продолжил его 25-го и закончил 26 декабря.

Часть письма, в которой Ленин предлагает съезду увеличить число членов Центрального комитета до 50—100 человек и поддерживает Троцкого в вопросе Госплана, была в тот же день передана Сталину как генеральному секретарю партии. Сталина, судя по всему, охватили подозрения, что Ленин сближается с Троцким, и он по телефону осыпал ругательствами жену Ленина Н. К. Крупскую — под предлогом, что она, невзирая на советы врачей, допускает политические обсуждения и подвергает опасности жизнь товарища Ленина. Неизвестно, пожаловалась ли Крупская Ленину, но это вполне вероятно: уже в диктовке от 25 декабря говорится, что «тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть»\*, а через десять дней, 4 января 1922 года, прибавлена и следующая заметка:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом (думаю, что эта часть фразы должна была бы звучать: «ни в чем не отличается от Сталина, кроме одного перевеса». — *М. Дж.*), именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого это не мелочь или это такая мелочь, которая может получить решающее значение»\*\*.

Сразу бросается в глаза, что «завещание» не отличается ленинской остротой и точностью выражений: оно неопределенно и двусмысленно, в особенности в наиболее ответственных местах. Ленин явно знает о конфликте Ста-

\* Ленин В. И. Соч. Изд. 4-е. М., 1957. Т. 36. С. 544.

\*\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 545—546.

лина с Троцким и предугадывает его значение. Но в первой диктовке, от 23 декабря, он избегает говорить об этом открыто и в виде лекарства предлагает увеличить число членов ЦК на 50—100 (вместо тогдашних 27) человек «...для усиления авторитета ЦК и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата и для... всех судеб партии» (вероятно, надо было написать: для судьбы самой партии). — *М. Дж.*)

Просто непонятно, как человек, обладающий такой пронизательностью и таким политическим опытом, раскалывавший свою собственную партию до тех пор, пока она не приобрела облик, соответствующий его замыслу, оказавшись во главе величайшей революции и гигантского государства и испытав ядовитое опьянение «историей» и властью, как такой человек смог узреть в увеличении количества членов ЦК чуть ли не откровение и спасение «всех судеб партии»! Что случилось с Лениным? Разве его ум настолько ослабел, что он, всегда считавший, что главное — это принципы и сила, вдруг начал придавать значение цифрам? Разве он забыл о диалектике, о неизбежности наличия противоречия в каждом явлении? Где ленинское проникновение в сущность спора между Сталиным и Троцким? Ленин как будто впервые испугался угрозы разрушения партии, которой он придал формы и указал цель.

Непонятно также, почему Ленин только в следующей диктовке, 24 декабря, упомянул Сталина и Троцкого и их возможные расхождения. Как будто за ночь он передумал и отважился на большую откровенность.

«Наша партия, — диктовал он 24 декабря, — опирается на два класса и поэтому возможна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы между этими двумя классами не могло состояться соглашения»\*.

Выражаясь весьма нечетко, забывая о своей неизменной и освященной «диктатуре пролетариата», Ленин здесь, очевидно, опасается распада «союза» рабочих и крестьян. Но это явно не имеет никакой ни логической, ни фактической связи с текстом, который следует вскоре за этим:

«Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее время, и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.

---

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 544.

Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек (вчерашие чары чисел не покидают Ленина! — *М. Дж.*).

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС (Народный комиссариат путей сообщения. — *М. Дж.*), отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела»\*.

Ленину и в голову не приходит хотя бы для самого себя, в предсмертный час, разобраться в том, как это могло произойти, что при советской власти, которая «в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики»\*\*, один человек «сосредоточил в своих руках необъятную власть». Очевидно, он испугался не только за партию, но и за свою собственную власть, гораздо более необъятную, чем та, которой тогда обладал его генсек Сталин. И у Ленина обнаруживается хорошо известная «человеческая слабость», проявляющаяся тем заметнее, чем больше «историческая роль» данного человека — отождествление идеи с властью, а власти с собственной личностью.

Но это уводило бы нас в сторону от вопроса: кого из своих сотрудников Ленин считал наследником? Очевидно, это ни Сталин, ни Троцкий — первый слишком груб, а второй — зазнавшийся администратор. Никого из других выдающихся членов ЦК Ленин также не считает достойным быть его наследником.

«Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся слу-

---

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 345.

\*\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 257.

чайностью (дело идет об их выступлении против переворота, то есть Октябрьской революции. — *М. Дж.*), но что он также мало может быть ставим «им» в вину лично, как меньшевизм Троцкому\*. (Дело в том, что Троцкий до самого 1917 года был во фракции, противостоящей ленинским большевикам. — *М. Дж.*)

Обратите внимание на логику, а кстати, и на лояльность — по какой причине Ленин говорит об «октябрьском эпизоде Зиновьева и Каменева», подчеркивая, что он «не был случайным», хотя их за него и нельзя обвинять? Почему он подчеркивает «меньшевизм» Троцкого? Когда дело касается власти, то не вредно на всякий случай припомнить и уже «прощеные» «ошибки»...

Ленин упоминает и двух более молодых членов ЦК, но тоже — хваля их в первой половине фразы, чтобы укорить во второй:

«...Бухарин не только самый ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики).

...Затем Пятаков — человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе\*\*».

Ко всему этому следует прибавить, что следующий, XII съезд партии, состоявшийся в апреле 1923 года, увеличил число членов ЦК до 40, а на XIII съезде, в мае 1924 года, то есть после смерти Ленина, — до 53 членов. На XIII съезде было прочтено и «завещание» Ленина, но его единогласно решили не публиковать. Больше того, Троцкий вообще отрицал существование «завещания» — конечно, пока он был еще в партии, а Сталин не скрывал того, что было о нем сказано в «завещании», — естественно, до тех пор, пока не получил возможность подвергать цензуре и Ленина.

«Завещание» Ленина заслуживает особого, всестороннего анализа. Но уже из приведенных отрывков можно

---

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 545.

\*\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 545.

заклЮчить, что Ленин власти не передавал никому и что лишь у одного Сталина он не обнаружил политических недостатков, а только личные. Это соответствует и историческим фактам: только один Сталин и был всегда большевиком, ленинцем. У Сталина были причины хвалиться на пленуме ЦК 23 октября 1927 года: «Характерно, что ни одного, ни одного намека в «завещании» насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина»\*.

А как же обстоит дело с наследием Ленина на практике? Кто на самом деле продолжил его дело?

В своем исследовании «Жизнь Ленина» Луи Фишер пришел к выводу, что ссора между Троцким и Сталиным не приобрела бы столь мрачного оборота и что Советский Союз не погрузился бы в такое тотальное насилие, если Ленин прожил бы еще хоть десять лет. Эту точку зрения можно убедительно отстаивать, она имеет более широкое, теоретическое значение. Однако Ленин не прожил, и вопрос продолжения дела Ленина следует рассматривать на фоне реальностей — столкновения Сталина с Троцким, Сталина с оппозицией, сталинского террора, на фоне советской политической и социальной структуры в том облике, какой она приняла при Сталине.

Здесь, разумеется, неизбежны различные интерпретации уже по той причине, что сталинское прошлое Советского Союза и коммунистических движений во многом еще и сегодня — живая реальность, вокруг которой борются различные враждующие силы и идеи.

Но даже если отбросить точку зрения, согласно которой столь отсталую Россию и столь тотальную идеологию невозможно было привести в движение иначе как путем тотального административного насилия, мне кажется, что самый последовательный, самый естественный наследник Ленина — Сталин. Это заключение не противоречит даже предположению, что Сталин, возможно, ликвидировал бы и самого Ленина. К такому заключению приводит сущность учения Ленина: в отличие от тех, включая сюда и Маркса, кто проповедовал идеальное общество, Ленин

---

\* Сталин И. В. Троцкистская оппозиция прежде и теперь. Собр. соч. М., 1949. Т. 10. С. 177.

боролся за определенную тотальную власть, которая должна была построить это общество, — и добился ее. Подобно Марксу, Ленин называл эту власть диктатурой пролетариата. Но Маркс замышлял ее как контроль и напор рабочих масс, а у Ленина она осуществляется посредством «авангарда пролетариата» — партии. Гипотетическому идеальному обществу соответствует негипотетическая идеальная — то есть тотальная — власть.

Сталина можно обвинить во всем, кроме одного, — он не предал власти, созданной Лениным. Хрущев этого не понял — не мог и не посмел понять. Он сталинскую власть провозгласил «ошибкой» — отходом от Ленина и ленинизма. Этим он не создал себе популярности среди интеллигенции и в народе, но испортил отношения с партийной бюрократией, для которой ее история — это часть ее жизни, как для любого сообщества. Джордж Кеннан заметил: в Германии после 1945 года власть не отрицает нацистских злодеяний, хотя меры, предпринимаемые против нацистов, неадекватны их преступлениям. Там непрерывность власти прервана. В то же самое время в Советском Союзе ни один из вождей не отрицает, что он продолжает дело той же партии, творит ту же историю. Власть Ленина — при несколько измененных средствах — продолжала жить в Сталине. И не только власть. Но существенной была именно власть. Эта власть — в несколько измененном облике — продолжает существовать и сегодня.

### 3

Все внутрипартийные противники Сталина — одни в большей, другие в меньшей степени — действовали в нереальном мире. Троцкий был одержим идеей революции — ни больше ни меньше, как мировой. Бухарин — экономикой, естественно, как базой всего, что существует в мире. Они тосковали по минувшему «товариществу» и проектировали «идеальное» будущее. Сталин же, следуя за Лениным, постепенно понял, что, не изменив значения и роли партии, невозможно будет сохранить новый строй. Во время революции в сплыве партия — власть перевес был на стороне партии. Перемена состояла в том, что — в согласии с ленинским сведением государства к принуж-



дению, к органам насилия — теперь перевес получала власть: тайная полиция и ее подразделения.

Конечно, все это происходило постепенно, при видимости сохранения «ведущей роли партии», то есть идеологических и формальных предрассудков. Если при этом не упускать из виду, что власть, как таковая, несет с собою привилегии и «место в истории», то будет ясно, почему уже с первого дня прихода партии к власти в ней тоже возникло течение властодержцев: это не Сталин изобрел тоталитарную партийную бюрократию, это она нашла в нем своего вождя.

Именно потому, что он понял реальность данного момента и перспективы на будущее, Сталин мог захватывать врасплох и обыгрывать своих противников. Их привязанность к партии превратилась для них со временем в слабость, а для него — в главное средство: полное «разоружение перед партией» надо было подтверждать признанием в самых гнусных преступлениях — предательствах, саботаже, убийствах. Сегодня известно, что после войны советские инструкторы для процессов над Сланским в Чехословакии, над Райком в Венгрии, а вероятно, и для других поделились со своими младшими восточноевропейскими собратьями и этим «идеологическим опытом». Конечно, все это невозможно было осуществить без застенков и палачей, как и в средние века во время процессов над еретиками и ведьмами, — новы лишь мотивировки и средства.

Сталин партию не уничтожил, он ее преобразил, «очистил» и превратил в орудие реальных возможностей. Как Великий инквизитор в «Братьях Карамазовых», он понял, что должен убить Христа — партийное товарищество и общество равных, чтобы спасти институцию — советский строй и коммунистические организации. За ним послушно последовала не только политическая бюрократия, но и большинство коммунистов мира, так как обстоятельства принудили их связать свое существование с советским государством, отождествить себя с ним... Чем иначе можно объяснить, что такие тонкие умы, как Тольятти, или героические личности, как Димитров, «не замечали» сталинскую неуклюжую ложь и склонялись перед его чудовищным террором?

С «победами» не только возрастал авторитет Сталина, но и он сам им упивался: власть, идея и Сталин отождествлялись, превращались в одно целое... Как

будто абсолютный дух Гегеля, воплощаясь в мире, нашел наконец два облика самого себя — мистически-материалистический в Сталине и интуитивно-мистический в Гитлере.

#### 4

Сталин первым изложил теорию «ленинизма» в целом — через три месяца после смерти Ленина (в лекциях «Об основах ленинизма» в апреле 1924 года). Это была примитивизация, но и одновременное установление догмы — подобно тому, как «Анти-Дюринг» Энгельса по отношению к произведениям Маркса был догматической систематизацией. Сталин, конечно, сделал это не случайно и без опрометчивости. Сам он уже давно понял сущность ленинизма и превратил его в свое знамя. Его взгляды и действия брали верх и в Советском Союзе, и в коммунистических движениях. Множество успехов и побед — реальность, как ее видят политики, — было для него «подтверждением» решительного преимущества «наших», то есть его, идейных установок.

Думаю, что по этим же причинам учение Маркса теряло вес в его глазах, хотя он оставался верен его сути, то есть материализму как основе «научного» взгляда на мир и на построение идеального, коммунистического общества. Внезапные и жестокие припадки гнева не лишали его способности внимательно и осмысленно в продолжение месяцев или даже лет изучать определенный вопрос или противника. Так он подходил и к идеям: ущербность Маркса и Энгельса он ощутил, вероятно, уже тогда, когда формулировал «ленинизм», — сразу после смерти Ленина. Но переломным моментом, вероятно, оказалась война против нацистской Германии: Сталина должно было до основания потрясти нашествие нации, из которой произошли Маркс и Энгельс, на единственную в мире страну, где восторжествовали их идеи.

Деятельность мирового коммунизма он уже давно поставил в зависимость от советской партии. Война и ее исход как бы подтвердили, что коммунистическая власть способна удержаться только в сфере влияния советского государства. Он создал институт политической бюрократии и поощрял русский национализм не только для того, чтобы утвердить на них свою личную власть, — он видел,

что лишь в такой форме возможно сохранить русскую революцию и коммунизм. Вскоре после окончания войны он начал отрицать значение известного военного теоретика фон Клаузевица, несмотря на то, что его очень ценил сам Ленин. Сталин сделал это не потому, что был открыт какой-то лучший теоретик, а потому, что фон Клаузевиц был немцем — представителем нации, чьи войска разбила Советская Армия в войне, которая была, может быть, самой значительной в истории русского народа.

Свое отношение к Марксу и Энгельсу Сталин, разумеется, никогда открыто не высказывал. Это поставило бы под угрозу веру верных, а тем самым и его дело и власть. Он создавал, что победил прежде всего потому, что наиболее последовательно развивал формы, соединяющие догматы с действием, сознание с реальностью.

Сталину было безразлично, исказил ли он при этом ту или иную основу марксизма. Разве все великие марксисты, а в первую очередь Ленин, не подчеркивали, что марксизм есть «руководство для практики», а не собрание догм, и что практика — единственный критерий истины?

Однако проблема здесь и шире, и сложнее. Любой строй, а в первую очередь деспотический, стремится достичь состояния устойчивости. Учение Маркса — и без того догматическое — не могло не застыть до состояния догмы, как только оно сделалось официальной — государственной и общественной — идеологией. Потому что государство и правящий слой распались бы, если бы ежедневно меняли свои облачения, — не говоря уже об идеалах. Они должны жить — в борьбе и в труде приспособляться к изменчивой реальности, внешней и внутренней. Это вынуждает вождей «отходить» от идеалов, но так, чтобы сохранить, а по возможности и приумножить собственное величие в глазах своих приверженцев и народа. Законченность, то есть «научность» марксизма, герметическая замкнутость общества и тотальность власти толкали Сталина на непоколебимое истребление идеологических еретиков жесточайшими мерами, — а жизнь вынуждала его самого «предавать», то есть изменять, самые «святые» основы идеологии. Сталин бдительно охранял идеологию, но лишь как средство власти, усиления России и собственного престижа. Естественно поэтому, что бюрократы, считающие, что они и есть русский народ и Россия, по сегодняшний день крутят шарманку о том, что Сталин, несмотря на «ошибки», «много сделал для России». По-

нятно также, что во времена Сталина ложь и насилие должны были быть вознесены до уровня наивысших принципов... Кто знает, может, Сталин в своем пронизательном и немилосердном уме и считал, что ложь и насилие и есть то диалектическое отрицание, через которое Россия и человеческий род придут наконец к абсолютной истине и абсолютному счастью?

Сталин довел идею коммунизма до ее жизненных и идеологических крайностей, отчего она и «ее» общество начали деградировать. Не успел он сокрушить своих внутренних противников и заявить, что в Советском Союзе построен социализм, не успела закончиться война, как в советском обществе и в коммунистических движениях появились новые течения. Во всяком случае, когда Сталин говорил о решающем значении «идейных установок», он языком своего мира — своей идеологии и своего строя — говорил то же самое, что говорят и другие политические лидеры: если в наших идеях отражается направление движения общества, если мы способны воодушевить ими людей до такой степени, что они организуются соответствующим образом, то мы на правильном пути и должны победить.

Сталин обладал необычно чутким и настойчивым умом. Помню, что в его присутствии невозможно было сделать какого-либо замечания или намека без того, чтобы он тотчас этого не заметил. И если помнить, какое значение он придавал идеям, — хотя они были для него лишь средством, — то напрашивается вывод, что он видел и несовершенство созданного при нем строя. Этому сегодня есть немало подтверждений, в особенности в произведениях его дочери Светланы. Так, она пишет, как, узнав, что в Куйбышеве создана специальная школа для эвакуированных детей московских партаппаратчиков, он воскликнул:

«Ах вы!.. Ах вы, каста проклятая!»\*

То же самое, то есть что в Советском Союзе при Сталине образовалась бюрократическая каста, утверждал не кто иной, как самый лютей враг Сталина — Троцкий. Чудовищные чистки, миллионы расстрелянных и уморенных только усугубили несправедливость общества и требовали новых насилий, мучений и сведения счетов. Чист-

---

\* Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу (русское издание). Нью-Йорк. Харпер и Роу. 1967. С. 157.

ками и жестокосердием Сталин разрушил и свою собственную семью. Вокруг него, в конце концов, простирался лишь ужас и опустошение: перед смертью он клеивал стены своей комнаты фотографиями чужих детей из иллюстрированных журналов, а собственных внуков не желал видеть... Это могло бы быть важным уроком, в особенности для догматических умов «одного измерения», ставящих «историческую необходимость» выше человеческой жизни и человеческих стремлений. Потому что Сталин — один из самых крупных в истории победителей — на самом деле личность, потерпевшая одно из самых жестоких поражений. После него не осталось ни одной долговременной, неоспоримой ценности. Его победа преобразилась в поражение — и личности, и идеи.

Что же тогда Сталин? И почему все это так?

В Сталине можно обнаружить черты всех предшествовавших ему тиранов — от Нерона и Калигулы до Ивана Грозного, Робеспьера и Гитлера. Но, как и любой из них, Сталин — явление новое и самобытное. Он был наиболее законченный из всех, и его сопровождал наибольший успех. И, хотя его насилие самое тотальное и самое вероломное, мне кажется, что считать Сталина садистом или уголовником было бы не только упрощением, но и ошибкой. В биографии Сталина Троцкий сообщает, что Сталин наслаждался убийством животных, а Хрущев говорил, что Сталин «в последние годы» страдал манией преследования. Мне неизвестны факты, которые бы подтверждали или опровергали их утверждения. Судя по всему, Сталин наслаждался казнью своих противников. Мне врезалось в память выражение, вдруг появившееся на сталинском лице во время разговора болгарской и югославской делегации со Сталиным и его сотрудниками 10 февраля 1948 года в Кремле: это было холодное и мрачное наслаждение видом жертвы, чья судьба уже предрешена. Такое же выражение мне приходилось видеть и у других политиков в момент, когда они «ломали шпату» своих «заблудших» единомышленников и соратников. Но всего этого — если оно и соответствует действительности — недостаточно, чтобы объяснить феномен Сталина. В особенности тут не могут помочь ни сомнительные данные, опубликованные несколько лет назад в «Лайфе», что Сталин был агентом царской тайной полиции — охранки, ни утверждения одного американского

историка — не столь уж невероятные, — что Сталин выдавал царской полиции, не открывая ей при этом своего имени, меньшевиков и других небольшевистских деятелей, которых она арестовывала.

Явление Сталина весьма сложно и касается не только коммунистического движения и тогдашних внешних и внутренних возможностей Советского Союза. Тут поднимаются проблемы отношений идеи и человека, вождя и движения, роли насилия в обществе, значения мифов в жизни человека, условий сближения людей и народов. Сталин принадлежит прошлому, а споры по этим и схожим вопросам если и начались, то совсем недавно.

Добавлю еще, что Сталин был — насколько я заметил — живой, страстной, порывистой, но и высокоорганизованной и контролирующей себя личностью. Разве, в противном случае, он смог бы управлять таким громадным современным государством и руководить такими страшными и сложными военными действиями?

Поэтому мне кажется, что такие понятия, как преступник, маньяк и тому подобное, второстепенны и призрачны, когда идет спор вокруг политической личности. При этом следует опасаться ошибки: в реальной жизни нет и не может быть политики, свободной от так называемых низких страстей и побуждений. Уже тем самым, что она есть сумма человеческих устремлений, политика не может быть очищена ни от преступных, ни от маниакальных элементов. Потому трудно, если не невозможно, найти общеобязательную границу между преступлением и политическим насилием. С появлением каждого нового тирана мыслители вынуждены наново производить свои исследования, анализы и обобщения.

Но если мы все же примем, что эта граница находится между разумным и эмоциональным, между необходимым и субъективным, то и в таком случае Сталин — один из наиболее чудовищных насильников истории, даже в том случае, если в нем не обнаружат ничего преступного и маниакального. Потому что, если даже согласиться с тем, что, например, коллективизация при данных условиях была разумна и необходима, то очевидно, что ее можно было провести и без истребления миллионов «кулаков». И сегодня еще найдутся догматики, которые возразят против этого: Сталин был увлечен построением социалистического общества, его давило троцкистское обвинение в оппортунизме, стране угрожало фашистское нашествие, кото-

рое могло найти опору в «классовом враге». Но что возразят они по поводу вымышленных обвинений и кровавых чисток в рядах партийной «оппозиции», которая несколько не угрожала строю и идеологии. Наоборот, ее бессилие и растерянность происходили как раз от догматической преданности идеологии и строю.

Сталинский террор не ограничивается чистками, но они для него характерны. Все партийные оппозиционеры в той или иной мере одобряли преследование «кулаков» и других «классовых врагов». Все они добровольно совали свои шеи в ярмо идеологии — их идеальные цели были те же, что у Сталина. Обвиняя Сталина, что тот не занимается никакой определенной работой, Бухарин подводил базу под собственные иллюзии в отношении того, что сам-то он занимается наукой — экономикой и философией. Ни у одного из них нет нового, по существу, видения, новых идеалов. Сталинские чистки застали их всех, без исключения, врасплох. Чистками Сталин и выделяется среди них, становится тем, чем он стал, и закладывает основы своего дела.

Жестокими, разнузданными чистками тридцатых годов Сталин поставил знак равенства между идеей и собственной властью, между государством и собственной личностью. Ничего другого и не могло быть в мире, где царили неоспоримые истины и вера в совершенное бесклассовое общество. Сама цель освятила средство. Дело Сталина лишилось всех моральных, а следовательно, и долгосрочных основ жизни. В этом загадка его личности, здесь подлинная мера его дел.

## **ЛИЧНОСТЬ СТАЛИНА** **(дополнение к «Беседам со Сталиным»)**

Тщетно пытаюсь себе представить, какая еще, кроме Сталина, историческая личность при непосредственном знакомстве могла бы оказаться столь непохожей на сотворенный о ней миф. Уже после первых слов, произнесенных Сталиным, собеседник переставал видеть его в привычном ореоле героико-патетической сосредоточенности или гротескного добродушия, что являлось непреложной атрибутикой массовых фотографий, художественных портретов, да и большинства документальных кино-

лент. Вместо привычного «лика», выдуманного его собственной пропагандой, вам являлся буднично-деятельный Сталин — нервный, умный, сознающий свою значительность, но скромный в жизни человек... Первый раз Сталин принял меня во время войны, весной 1944 года, после того как облачил себя в маршальскую форму, с которой потом так и не расставался. Его совсем не по-военному живые, безо всякой чопорности манеры тотчас превращали этот милитаристский мундир в обычную, каждодневную одежду. Нечто подобное происходило и с проблемами, которые при нем обсуждались: сложнейшие вопросы Сталин сводил на уровень простых, обыденных...

При непосредственном контакте куда-то уходили и мысли о сталинской скрытности, коварстве, хотя сам он эти качества, обязательные, по его мнению, для настоящего политика, не особенно таил и даже красовался ими, доходя порой до явного гротеска. Так, под конец войны, рекомендуя югославским коммунистам достичь согласия с королем Петром II, Сталин добавил: «А потом, как сил накопите, — нож ему в спину!..» Видные коммунисты, в том числе представители зарубежных партий, знали эти сталинские «замашки», но скорее с восхищением одобряли, нежели осуждали его, поскольку речь шла об усилении советского государства как центра мирового движения...

Скрытность и коварство Сталина создавали видимость характера холодного, бесчувственного. На самом же деле он был человеком сильных взрывных эмоций, хотя и это, конечно, пребывало в подчинении у намеченной цели. Реагировал Сталин всем своим существом, но вряд ли, я думаю, смог бы «распалиться», когда этого не требовалось.

Он обладал выдающейся памятью: безошибочно ориентировался в характерах литературных персонажей и реальных лиц, начисто позабыв порой их имена, помнил массу обстоятельств, не ошибался, комментируя сильные и слабые стороны отдельных государств и государственных деятелей. Часто цеплялся за мелочи, которые позже почти всегда оказывались важными. В окружающем мире и в его, Сталина, сознании как бы не существовало ничего, что не могло бы стать важным... Зло, мне кажется, он помнил больше, чем добро, потому как, вероятно, внутренне чувствовал, что режим, им создаваемый, способен выжить исключительно в зоне враждебности...



По существу, это был самоучка, но не подобно любому одаренному человеку, а и в смысле реальных знаний. Сталин свободно ориентировался в вопросах истории, классической литературы и, конечно, в текущих событиях. Того, что он скрывает свою необразованность или стыдится ее, заметно не было. Если и случалось, что он не вполне разбирался в сути какого-нибудь разговора, то слушал настороженно, нетерпеливо ожидая, пока тема сменится.

Рассчитанной на внешний эффект иллюзией является несгибаемый, безликий догматизм Сталина. Идеология, то есть марксизм как закрытая и даже предписывающая система взглядов, была для него духовной основой тоталитарной власти, давшей этой власти священное право стать орудием бесклассового общества. Непокоримо и непримиримо придерживаясь буквы учения, Сталин не превратился в его раба: идеология была призвана служить государству и партбюрократии, а не эти последние — ему, Сталину. Сталин позволял себе публично развенчивать Клаузевица, которого Ленин считал высшим военным авторитетом, а в закрытом кругу (разумеется, лишь после победы над гитлеровской Германией) — даже Маркса и Энгельса уличать в излишней зависимости от идеалистической немецкой классической философии... Не признаваясь в них открыто, он был способен чувствовать многие свои промахи. Так, от него можно было услышать, что те и те, мол, «нас одурачили», во время торжеств по случаю Победы он упомянул даже ошибки, допущенные в войне, а в начале 1948 года обронил, что китайские коммунисты лучше него оценили собственные возможности.

При разговоре со Сталиным изначальное впечатление о нем как о мудрой и отважной личности не только не тускнело, но и, наоборот, углублялось. Эффект усиливала его вечная, пугающая настороженность. Клубок оцетинившихся нервов, он никому не прощал в беседе маломальски рискованного намека, даже смена выражения глаз любого из присутствующих не ускользала от его внимания.

Сейчас в серьезных научных кругах на Западе у Сталина обнаруживают признаки маниакальности и, более того, — криминальности. На основании наших с ним встреч подтвердить этого не берусь, допускаю лишь, что любой разрушитель либо творец новой империи несет внутри себя заряд как гипертрофированных восторгов, так и вои-

стину дьявольского отчаяния. Неистовый гнев или необузданное, доходящее до скоморошества веселье волнами накатывали на Сталина. Да и ненормально было бы, истребив несколько поколений соратников, не пощадив и собственную родню, оставаться нормальным — лишенным подозрительности, спокойным... Мне кажется, что корни сталинской «маниакальности» и «криминальности» следовало бы искать в самом существе идеи и режима: идея построения любого, а тем паче бесконфликтного общества является, строго говоря, далеким от рациональности мифотворчеством, а режим, покоящийся на беззаконии, преступен сам по себе.

Сталин был слишком мал ростом, с чересчур длинными руками и коротким туловищем, чтобы не терпеть внутренних мук по этому поводу. Лишь лицо его, покрестьянски простоватое, «народное», можно было назвать привлекательным, даже красивым. Чувствовалась живость ума, глаза с желтинкой лучисто поблескивали. Уничтожив миллионы, послав еще миллионы умирать со своим именем на устах, он первое и второе считал необходимостью; ни то ни другое на нем никак не отражалось, хотя Сталин и приучил себя люто ненавидеть первых и безмерно радеть о вторых... Партбюрократия, притесняемая и основательно повыбитая, все равно видела в нем вождя. Рядом с ним я ни на мгновение не ощутил, что ему знакомо чувство незамутненной человеческой радости, простого, свободного от эгоизма счастья: то были состояния вне границ его мира, он вполне обходился без них именно потому, что отождествлял себя с идеей и режимом...

Посчитав свои «Беседы со Сталиным» завершенными, я опять, как во многом уже не раз до этого, обманулся. Случилось то же, что и с недавними надеждами: впредь, по окончании «Несовершенного общества», не заниматься «вопросами идеологии».

Но Сталин — это призрак, который бродит и долго еще будет бродить по свету. От его наследия отреклись все, хотя немало осталось тех, кто черпает оттуда силы. Многие и помимо собственной воли подражают Сталину. Хрущев, порицая его, одновременно им восторгался. Сегодняшние советские вожди не восторгаются, но зато нежатся в лучах его солнца. И у Тито, спустя пятнадцать лет после разрыва со Сталиным, ожило уважительное отношение к его государственной мудрости. А сам я разве не мучаюсь,

пытаясь понять, что же это такое — мое «раздумье» о Сталине? Не вызвано ли и оно живучим его присутствием во мне?

Что такое Сталин? Великий государственный муж, «демонический гений», жертва догмы или маньяк и бандит, дорвавшийся до власти? Чем была для него марксистская идеология, в качестве чего использовал он идеи? Что думал он о деяниях своих, о себе, своем месте в истории?

Вот лишь некоторые вопросы, искать ответы на которые понуждает его личность. Обращаюсь к ним как к задевающим судьбы современного мира, особенно коммунистического, так и ввиду их, я бы сказал, расширенного, вневременного значения.

**2.**

---

**Новый класс**

---



## ПЕРЕД НАЧАЛОМ

**В**се это, конечно, можно было выразить по-иному. В виде повествования об одной из современных революций или изложения одной точки зрения, да и, наконец, как исповедь одного революционера.

Не стоит, следовательно, удивляться, что в настоящих записках нашлось место всему понемногу. Получились они пусть и непрочным синтезом упомянутых элементов — истории, личного мнения и мемуаров, что вполне совпадет с моими намерениями: в одной работе как можно полнее и одновременно как можно лаконичнее, используя различные подходы, обрисовать облик современного коммунизма. Исследовательская сторона при этом в чем-то потеряла, но зато картина предстала более целостной и доходчивой.

Кроме того, мои личные обстоятельства столь зыбки, а от меня зависимы лишь постольку, поскольку я им не покорился, что я вынужден поспешить с описанием своих наблюдений и обобщений, хотя понимаю, что более детальная проработка могла бы дополнить или, возможно, изменить некоторые выводы.

Понимая всю грандиозность столкновений в современном, мучительно меняющемся и воссоединяющемся мире, я далек от мысли ронять мудрые слова, а тем более выносить приговоры. Считаю, что сегодня такое не дано ни одному человеческому существу, ни одной стране. Да я и не претендую на знание мира вне того, коммунистического, в котором имел счастье или несчастье прожить. И

коль уж говорил о сферах, выходящих за границы своей, так единственно чтобы эту свою изобразить еще рельефнее, яснее.

От лежащей перед ним книги читателю не следует ожидать особых откровений. Все изложенное здесь сказано уже в ином каком-то месте иными словами. Данная же книга, возможно, освежит цвета, запахи, атмосферу, а к этому вдруг да и высветит отдельную оригинальную мысль. Уже что-то. Даже немало. А лично моя заслуга тут единственно вот в чем: находясь в особой ситуации, я по своему высказал то, что другие давно знают, чувствуют или, вполне возможно, тоже уже свойственным им способом высказали.

В этих записках читателю не следует искать некую социальную или другую философию, даже там, где нельзя было избежать обобщений. Моим намерением было с помощью обобщения создать портрет коммунистического мира, а не философствовать на его счет.

Наиболее адекватным и самым близким сердцу способом излагать мысли казалось мне размышление. И тем не менее свобода настоящих записок от загромождения цитатами, статистикой, событиями отнюдь не означает, что приведенные доводы не могут быть доказаны таким путем. Свои наблюдения мне хотелось изложить рассуждая, приходя к логическим заключениям. Этому способствовало желание упростить и сжать текст, что в конце концов соответствовало как моей собственной истории, так и привычному стилю работы мысли.

Я, интеллигент, полностью прошел путь, который может пройти коммунист в рядах своей партии. От низовых до высших ступенек ее иерархии, от местных и общенациональных до международных организаций, от создания истинной компартии, подготовки революции, участия в ней до строительства так называемого социалистического общества. Никто не вынуждал меня присоединяться к коммунизму или отходить от него. Я все решал сам, по своим убеждениям, свободно. Насколько, конечно, человек в чем-то подобном может быть свободен. Не отношусь к тем, кто разочаровался, хотя бывало и такое. Нет, я двигался поступательно и сознательно, слагая картину и приходя к выводам, изложенным в этой книге. Отдаляясь от реалий современного коммунизма, я все более приближался к идее демократического социализма. В книге неминуемо должно было отразиться и мое само-

развитие, хотя это, конечно, не являлось и не является ее целью.

Критику коммунизма как идеи я считал излишней. Существовая в разных формах так же долго, как и сами людские содружества, идеи равенства и братства, на словах поддерживаемые и современным коммунизмом, несут в себе вечную привлекательность для борцов за прогресс и свободу. Общечеловеческий магнетизм этих идеалов делает их критику не просто реакционной и непристойной, но также пустой и бессмысленной.

Не углублялся я и в детали критики коммунистических теорий, хотя считаю ее ныне делом нужным и полезным. Свое повествование я сосредоточил на обобщенном описании характера современного коммунизма, касаясь его теории только там, где этого невозможно было избежать.

Понятно, что в столь краткой работе трудно было изложить все наблюдения и все выводы. Но все же от намерения высказать главное я не отрекся. Уже поэтому не удалось избежать чрезмерного количества обобщений.

Итак, со своей стороны я высказал все необходимое перед началом разговора, возможно, несколько странного для людей из иного — некоммунистического — мира, но столь понятного живущим в мире коммунистическом. Ни его отображение, ни мысли по его поводу не являются лично моей заслугой либо особенностью. Все рождено самим этим миром, в котором я живу и который подвергаю критическому разбору. Что́ показать и как, я нашел в нем самом, не стесняясь признавать себя его продуктом, некогда одним из его создателей, а теперь — критиков.

Непоследовательность здесь чисто внешняя. Как прежде, так и теперь я борюсь за то, чтобы существующее менялось к лучшему. Пусть моя борьба не дала ожидаемых результатов: продолжая бороться, остаюсь верен самому себе.

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ

### 1

Корни коммунистической доктрины, какой мы ее знаем сегодня, уходят глубоко в прошлое, хотя свою «действительную жизнь» она начала с развитием в Западной Европе современной промышленности.



Фундаментальные основы ее теории — первичность материи и всеобщая изменчивость — заимствованы у мыслителей непосредственно предшествовавшего периода. Но чем продолжительнее коммунизм существует, чем делается сильнее, тем менее значимой оказывается при нем роль этих начал. Что и понятно: встав «у руля», он все активнее мерит остальной мир собственной меркой и все менее желает изменяться сам.

Диалектика, материализм, не зависящая от человеческой воли изменчивость мира — это краеугольные камни коммунизма, по Марксу, — старого, классического.

Коммунистические теоретики, включая Маркса и Энгельса, не открыли ни одного из базовых начал своего учения. Таковые взяты «со стороны» и увязаны в систему с намерением, пусть и вопреки собственной воле, заложить фундамент нового осмысления мира.

Тезис о первичности материи унаследован от французских материалистов XVIII века. Несколько иначе его формулировали и другие мыслители: Демокрит в Древней Греции, например. Положение о всеобщей изменчивости как результате борьбы противоположностей — диалектика — заимствовано у Гегеля. Но и это, в ином изложении, известно с древних времен, еще от Гераклита.

Не углубляясь в несомненное отличие марксистского материализма и марксистской диалектики от предшествовавших им аналогичных теорий, необходимо указать на то, что, выдвигая тезис о всеобщей изменчивости, Гегель оставлял неизменяемыми верховные законы, так называемую «абсолютную идею». Это был по-гегелевски высказанный общеизвестный тезис о неизменных и не зависящих от человеческой воли законах, которые в конечном счете управляют природой, обществом и человеком.

Хотя Маркс, а Энгельс особенно, всячески настаивали на тезисе о всеобщей изменчивости, одновременно он все же подчеркивал и то, что законы объективного, то есть материального мира — неизменны и в конечном счете независимы от человека. Маркс был уверен, что ему удалось открыть основные законы, касающиеся жизни и движения общества, подобно Дарвину, как об этом говорил Энгельс, открывшему законы жизни живых существ.

Маркс, вне всякого сомнения, выявил определенные общественные закономерности, а особенно формы их проявления в эпоху раннего промышленного капитализма.

Но факт этот, вне зависимости от того, насколько он непреложён, не оправдывает убежденность современных коммунистов, что Маркс открыл все общественные законы. В еще меньшей степени может быть оправдано их упорство в моделировании общества по этим законам примерно так же, как, опираясь на открытия Ламарка и Дарвина, выводятся улучшенные породы животных. Ибо человеческое общество, внутри которого непрестанно и осмысленно действуют создающие его отдельные люди и группы людей, — это не то же самое, что мир животных или неживой природы.

В претензиях современного коммунизма на пусть не абсолютную, но все же величайшую научность, основанную якобы на диалектике и материализме, кроется зародыш его деспотизма. В трудах Маркса, хотя сам он такого даже представить себе не мог, кроется основание для подобных претензий.

Разумеется, современный коммунизм тоже не отрицает объективного, то есть основанного на стабильных законах правопорядка. Но, получив власть, он на практике ведет себя по отношению к обществу и человеческой личности совсем иначе. Тут все зависит от меры, которую допускает ему его господство.

Будучи убеждены, о чем говорилось выше, что ими, и только ими, познаны законы жизни общества, коммунисты приходят к упрощенному и антинаучному выводу, что могут и имеют исключительное право вмешиваться в общественные процессы, управлять ими. Вот где первый порок их системы.

Гегель называл прусскую абсолютную монархию воплощением его «абсолютной идеи». Коммунисты поступают несколько по-иному. Неким подобием этой идеи они считают себя, то есть видят себя выразителями объективных устремлений общества. В этом различие не только между ними и Гегелем, но и между ними и абсолютной монархией, которая все же столь лестно о себе не думала. А посему и не была столь абсолютной.

## 2

Думается, что Гегель сам был поражен последствиями, вытекавшими из его открытий: ежели все меняется, то что остается от его собственных идей и общества, кото-

рое он был не прочь сохранить? Он не мог да и, как профессор на королевской службе, права не имел сделать из своей философии прямые выводы, касающиеся судеб общества.

Маркс был уже не тот случай. Молодым еще человеком он и наблюдал революцию 1848 года. Он и мог, и должен был пойти до конца в выводах, вытекающих из гегелевских идей в преломлении к нуждам общества. Неужели же не сотрясала наяву целую Европу кровавая борьба противоположностей, устремленная к чему-то новому, возвышенному? Прав, казалось, не только Гегель — такой, естественно, какого «поставил на ноги» Маркс, но и в самих философских построениях нет больше ни смысла, ни потребности, поскольку наука с невиданной скоростью открывала объективные, в том числе и общественные законы.

Методом научного исследования к тому времени был уже повсюду признан позитивизм Конта; в лучах славы купалась английская школа политэкономии (Смит, Рикардо и др.); естественные науки буквально «штамповали» эпохальные законы; неудержимо рвалась вперед усиленная технологическими рекомендациями ученых промышленность, а сквозь страдания и первые битвы пролетариата все отчетливее проступали «болячки» молодого капитализма. Царство науки, ее воцарение даже над обществом мнилось очень близким, оставалось убрать с дороги «последний» барьер на пути к счастью и свободе людей — капиталистическую форму собственности.

Все «созрело» для великого вывода. Чтобы сделать его, Маркс обладал и необходимым мужеством, и глубиной мысли. Да и социальные силы, на которые он мог бы опереться, стояли рядом.

Маркс был ученым и идеологом. Как ученому ему принадлежат многие важные открытия, особенно в социологии. Гораздо большего добился он как идеолог: Маркс идейно вооружил мощнейшие и наиболее значительные движения современности — сначала в Европе, а ныне и в Азии.

Именно Маркс-ученый, понимая тщетность такой затеи, был далек от побуждения создать некую всеохватную философскую и идеологическую систему. «C'est qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste» («Одно совершенно определено — то, что я не марксист». — *Прим.*

*пер.)* — это его собственные слова. Ярко выраженная научность Маркса была основным его преимуществом перед всеми «социалистическими» предшественниками — Оуэном, Фурье и др. Отсутствие же намерения увековечить свою философскую систему, приписав ей идеологическую универсальность, является еще большим преимуществом Маркса перед всеми его учениками, бывшими в лучшем случае идеологами и лишь с немалой натяжкой — учеными (Плеханов, Лабриола, Ленин, Каутский, Сталин и т. д.). Систематизация написанного Марксом, превращение марксизма в строгую конструкцию были подлинной их страстью: тем более горячей, чем меньше кто-то из них понимал философию или интересовался ею. Мало того. Со временем наследники Маркса учение его воспринимать и излагать стали исключительно как замкнутое и всесильное мировоззрение, а себя лично выставляли продолжателями дела Маркса, осуществившими уже в общих чертах на практике все его замыслы. Наука все больше уступала место пропаганде. Это давало пропаганде возможность все чаще рядиться в личину науки.

Дитя своего времени, Маркс отказался признавать философию, как таковую. Ближайший его друг Энгельс восклидал, что с развитием науки время философии кончилось. И это не было оригинальничанием. Так называемая научная философия, а особенно с распространением позитивизма Конта и материализма Фейербаха, сделалась общей модой.

Довольно легко, таким образом, понять, почему Маркс отрицательно относился к необходимости и даже самой возможности любой полезной философии. Но вот почему его последователи так старались свести тезисы Маркса в единую всеохватную систему, создать из них новую и, конечно же, единственно верную философию, понять уже несколько труднее. Отвергая всякую философию, они, на деле, «творили» собственную догму — «архинаучную» и «единственно научную», как водится. Представляя в период массового увлечения наукой, властно вторгавшейся в производство и повседневную жизнь, слои, уже в силу своего общественного положения не воспринимавшие никаких официальных концепций, они оставляли себе только одну возможность — быть материалистами, «единственными» представителями «единственно» научных взглядов и методов их воплощения.

Если Маркс «заряжался» прежде всего «научной атмосферой» времени — плюс личная увлеченность революционера-ученого, мечтавшего дать движению рабочих мало-мальски стройное теоретическое обоснование, — то его ученики, превращая взгляды Маркса в догмы, руководствовались иными обстоятельствами и иными целями.

Не выскажи политические нужды рабочего движения в Европе столь острой потребности в новой идеологической системе — особой закрытой философии, — теория, названная марксистской философией (диалектический материализм), забылась бы как нечто не слишком глубокое и не очень оригинальное. И это даже вопреки неоспоримому факту, что работы Маркса по экономике и обществоведению относятся к наиболее выдающимся научным и невероятно захватывающим литературным произведениям.

Не относительная научность, а прежде всего связь с конкретным широким движением и тем более опора на объективную достижимость общественных перемен составляли силу марксистской философии. Она объясняла и утверждала, что существующий мировой порядок будет изменен. Во-первых, потому, что так быть должно, что он сам рождает свою противоположность, своего могильщика. И, лишь во-вторых, потому, что эти перемены рабочий класс хочет и в состоянии осуществить. Влияние такой философии должно было расти; внутри и вовне рабочего движения рождалась иллюзия ее пусть бы и только «методологической», но всесильности. А вот там, где подходящих условий не было, хотя наличествовали и развитый рабочий класс, и рабочее движение (Великобритания, США), резонанс и влияние этой философии практически не ощущались.

Ограничившись в основном гегельянскими и материалистическими тезисами, марксистская философия как наука большого значения не приобрела. Эпохально ее значение в качестве идеологии новых, угнетенных классов, но особенно политических движений. Сначала в Европе она обозначила идеологию и политическое движение, а затем в России и Азии — политическое движение и общественную систему.

Маркс предполагал, что смена капиталистического общества произойдет в результате революционной дуэли двух классов, которые он выделял особо, — буржуазии и пролетариата. Такой исход представлялся ему тем более вероятным, что при капитализме его времени нищета и богатство в одинаковых пропорциях наращивались на крайних полюсах общества, потрясаемого каждый десяток лет циклическими кризисами экономики.

Учение Маркса в конечном итоге было продуктом промышленной революции, борьбы промышленного пролетариата. Не случайно сопутствовавшие буму в индустрии ужасающая нищета и скотское существование масс, которые с болью в душе наблюдал Маркс, столь пронзительно и обширно описываются в его важнейшем труде — «Капитале». Череда кризисов, характерная для капитализма XIX века, обнищание и резкий количественный рост населения приводили Маркса к обоснованному выводу, что единственный выход — революция. Но он все же не считал революцию неизбежностью для всех стран, а особенно для тех, где в обществе демократические институты приобрели уже статус традиции. Однажды он указал на такие страны — Голландию, Великобританию и США. И все же в целом о взглядах Маркса можно сказать, что их существенной особенностью было учение о неотвратимости революции. Он верил в революцию, звал к ней, он был революционером.

Революционные тезисы Маркса, условные и отнюдь не для всех обязательные, Ленин возвел в принципы — абсолютные и универсальные. В «Детской болезни «левизны» в коммунизме», своем, возможно, наименее догматичном труде, он «далее развил», другими словами, — изменил тезис Маркса даже в отношении вышеупомянутых стран. Утверждал, в частности, что сказанное Марксом к Великобритании больше не относится, так как она за время войны (первой мировой) стала милитаристской силой, а посему у британского рабочего класса помимо революции выбора нет. Ошибка Ленина состояла не только в том, даже менее всего в этом, что он не распознал в «британском милитаризме» явления преходящего, вызванного войной. Настоящая ошибка была в неверном предвидении дальнейшего развития и Великобритании, и других западных стран, пошедших, как известно, по пути демократии и

экономического прогресса. Не понял Ленин и природы английского рабочего движения — тред-юнионизма, переоценив, с одной стороны, значение собственных, то есть принадлежащих Марксу, «единственно научных» идей и, с другой стороны, не уделив достаточного внимания объективным возможностям рабочего класса развитых стран, его роли в обществе. Уже он, Ленин, не признаваясь в этом открыто, начал тем не менее провозглашать универсальными собственные теории и российский революционный опыт.

По Марксу выходит, а именно так он и считал, что прежде всего революция произойдет в развитых капиталистических странах. Результат революции — новое социалистическое общество, к которому после нее требовалось прийти, — он видел в достижении новой степени свободы, более высокой, чем при так называемом либеральном капитализме. Что вполне понятно: отрицая этот «сорт» капитализма, Маркс одновременно сам был продуктом той же либерально-капиталистической эпохи.

Находясь на идентичных с Марксом позициях в том, что капитализм должен быть заменен не только более высокой социально-экономической формой — социализмом, но и более высокой формой человеческой свободы, социал-демократы имели право считать себя его наследниками. Во всяком случае, прав на это у них было ничуть не меньше, нежели у коммунистов, которые также ссылались на Маркса, утверждая, что смена капитализма возможна исключительно революционным путем. На деле правота наследников Маркса, тех и других, социал-демократов и коммунистов, была при ссылках на него всегда лишь частичной. Марксом они прикрывали собственную практику, рожденную в иной, изменившейся уже действительности.

При ссылках там и там на идеи Маркса, с опорой на них, развитие социал-демократического и коммунистического движений тем не менее реально шло в различных направлениях. Там, где политический и экономический прогресс сковывался, другими словами, — там, где объективно роль рабочего класса в обществе была слаба, росла и потребность в систематизации и догматизации учения Маркса. Даже вот как: чем менее подготовленными к промышленному подъему оказывались где-то (в России, затем в Китае, например) экономические силы и общественные отношения, с тем большей решительностью и

окончательностью бралась там на вооружение и возводилась в догму революционная сторона учения Маркса. В рабочем движении зарождалось и крепло революционное крыло. Марксизм при этом играл основополагающую роль, становясь после победы революционной партии господствующей идеологией.

Там же, где политический и экономический прогресс устранял саму потребность в революции (в Германии, например), приоритет получала вторая, то есть демократическая, обращенная к реформам сторона учения Маркса. А с ней — антидогматические тенденции в идеологии и политике. Роль марксизма снижалась. В рабочем движении возникало и крепло реформистское крыло.

В первом случае связь с Марксом, хотя бы внешняя, становилась все неразрывнее, во втором — все быстрее шло отдаление от него.

Прежде всего общественное развитие, а лишь затем отношение к идеям привели европейское социалистическое движение к бескомпромиссному и непреодолимому расколу. Грубо говоря, перемены политико-экономических условий совпадают с переменами в умах социалистических теоретиков, с тем, насколько «релятивно», то есть неполно и односторонне, подошли они к восприятию и объяснению самой действительности.

Ленин в России, Бернштейн в Германии — вот две крайности, выразившие полную разницу реального развития как в сфере общественно-экономической, так и в том, что относится к рабочему движению.

От «первозданного» марксизма почти ничего не осталось: на Западе он либо забыт окончательно, либо близок к этому, на Востоке же с установлением господства коммунистов от его диалектики и материализма остались голая формалистика и догматика, призванные укреплять власть, оправдывать принуждение и насилие над человеческим сознанием. С нарастающей силой марксизм, фактически заброшенный и на Востоке, стал проявлять себя только в виде окостеневшей догмы. Для этой части мира он сделался не идеей лишь в том или ином ее выражении, а новой властью, новой экономикой, новой общественной системой.

Независимо от меры, в какой сам Маркс и его теория способствовали такому повороту событий, подобного он не задумывал, даже не предполагал. Как и всякого другого, история «обманула» этого великого толкователя законов.



Ведь как все шло после Маркса?

В совершивших промышленную революцию странах (Германия, Англия, США и т. д.) уже в 70-х годах прошлого столетия начался процесс формирования акционерных обществ и монополий, пик которого приходится на начало XX века. С научной точки зрения это было исследовано Гильфердингом, Гобсоном и другими, что, по существу, легло в основу политического анализа, проведенного Лениным в «Империализме, как высшей стадии капитализма» и оказавшегося по части прогнозов главным образом ошибочным.

Развитие как раз тех стран, чья действительность дала Марксу повод предполагать все большее абсолютное и относительное обнищание рабочего класса, этого не подтвердило. В общих чертах тезисы Маркса подтвердились в аграрной Восточной Европе, что констатирует также Хью Ситон-Уотсон. («От Ленина до Маленкова». Нью-Йорк. 1953)\* Если Западная Европа во все большей мере Маркса оценивала с точки зрения его исторической роли и научных заслуг, то на Востоке он стал пророком новой эры, а его учение — «опиумом», подобием новой религии.

«Когда Энгельс в 1842 году приехал в Манчестер, он обнаружил там 350 тысяч рабочих, кучами втиснутых во влажные и грязные дыры самодельных трущоб, вдыхающих воздух, более похожий на смесь воды с углем. В шахтах он видел полуголых женщин, которых использовали как самый бросовый тягловый скот. Тут же дети, не вылезавшие из мрачных рвов и занятые тем, что открывали и закрывали примитивные вентиляционные окошки. Делали они и более тяжелую работу. На кружевных фабриках эксплуатация доходила до того, что за мизерное вознаграждение здесь постоянно трудились даже малютки лет четырех от роду»\*.

Энгельс узнал и другую Великобританию, но еще страшнее и, что особенно важно, еще беспросветнее была нищета в России и на Балканах, не говоря уж об Азии, Африке.

Конкретные перемены на Западе, заложенные техническим подъемом производства, были беспрецедентны со всех точек зрения. Они привели к образованию монополий, разделили мир на сферы влияния этих монополий и

---

\* Андре Моро. История английской политики. Загреб. 1940. С. 557—558.

развитых государств, вызвали первую мировую войну и Октябрьскую революцию.

Промышленный бум, освоение новых колониальных рынков, источников сырья и рабочей силы существенно изменили положение рабочего класса. Революционные идеалы уступили место более жизненным, более действенным — прежде всего парламентским — методам борьбы за реформы и лучшие материальные условия. Революция становилась там бессмысленной, нереальной.

В совершенно непохожей ситуации оказались страны с отсталой промышленностью, прежде других — Россия. У них выбор был такой: либо совершить индустриализацию, либо сойти с исторической сцены в качестве активных действующих лиц и сделаться добычей развитых государств и монополий. Тогда в итоге — неминуемая деградация. Местный капитал, а также класс и партии, его представлявшие, были во всех отношениях слишком слабы для решения проблемы индустриализации. Революция здесь стала неизбежностью, жизненной потребностью нации. Осуществить же ее мог лишь иной класс — пролетариат, его революционная партия.

Участие в совершенствовании и расширении производства есть имманентный — если не единственный — закон для любого человеческого сообщества, любого индивида. Дабы не отстать, они конфликтуют с другими сообществами, переживают трения в собственной среде. Подъем и расширение производства непрестанно наталкиваются на преграды как естественного порядка, так и присущие данному конкретному периоду развития общества. Это формы собственности, политические, правовые, межгосударственные и другие отношения. Общество вынуждено заниматься устранением естественных преград. Точно так же оно, то есть те его силы, которые в данный момент представляют упомянутые тенденции подъема и расширения производства, должны устранять, видоизменять, разрушать рожденные внутри или занесенные из других сообществ преграды. Классы, партии, политические системы, политические идеи — все это выразители непрерывного движения и застоя.

Нет сообществ, нет наций, согласных на застой в развитии производства, угрожающий самому их существованию. Отставать — значит умирать. Народы никогда добровольно не умирают, во имя устранения препятствий, ме-

шающих производству, то есть их существованию, они способны на любые жертвы.

От обстоятельств, от материальных и духовных факторов зависит, как, какими силами и средствами будет осуществляться развитие и расширение производства, каковы социальные последствия этого процесса. Но то, что производство должно совершенствоваться и расширяться — под теми или иными знаменами, при участии тех или иных социальных сил, — столь же (мало) зависимо от людей, сколько зависимо от них само наличие сообществ и наций. Во имя самосохранения последние находят вождей, в данный момент максимально соответствующих цели, которой они обязаны, а значит, и смогут достичь. С идеями так же.

Революционный марксизм, возникший на развитом Западе во времена так называемого либерального капитализма, «переселился» в эпоху капитализма монополистического на слабо развитый Восток — в Россию, Китай и т. д. Принципиально это соответствует тогдашнему уровню развития Востока и Запада, состоянию, в котором пребывало социалистическое движение. Путь социалистического движения начался его сосредоточением и упорядочением (II Интернационал), а завершился расщеплением на социал-демократическое (реформистское) и коммунистическое (революционное) крыло, революцией в России, созданием III Интернационала.

В странах, где иные способы проведения индустриализации отсутствовали, коммунистическую революцию вызывали также специфические национальные причины. И без них революция невозможна. В полуфеодальной России революционное движение существовало уже свыше полувека до того, как в конце XIX столетия появились марксисты. Для революционного взрыва необходимы к тому же особые конкретные обстоятельства — международные, экономические, политические. Но повсюду, где революции произошли (Россия, Китай, Югославия), единым было их основное побудительное начало — насущная потребность в промышленных преобразованиях.

Исторической неизбежностью являлось то, что социальное движение в Европе после Маркса было не только материалистическим и марксистским, но и, исходя из таких основ, в значительной мере развило сознание своей идеологической исключительности. Ведь вражеский табор собрал все силы старого общества: духовенство и ученых, имущих и

власть предрержащих, а самое важное — мощный силовой аппарат, который европейские державы вследствие постоянных континентальных войн всегда готовили загодя.

Если кто-то не чужд намерения «перевернуть вверх дном» весь мир, то мир этот перво-наперво надо фундаментально — и «безошибочно» — объяснить. Любому новому движению должна быть присуща идеологическая исключительность, тем более если революция — единственный для него способ достичь победы. Ну а коли такое движение добывается успехов, тогда указанное обстоятельство может лишь укрепить его веру в себя и свои идеи. Подобно тому как «головокружительные» парламентские и забастовочные победы придавали сил реформистским течениям в немецкой и другой социал-демократии, рабочим России, которым не стоило даже мечтать об улучшении «хоть на копейку» своей участи без кровавых битв, жизнь могла дать только одну подсказку: беспощадные бои, и только они одни ведут к избавлению от отчаяния и голодной смерти.

Остальные страны Восточной Европы — Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария — под это правило не подпадают. Три первые во всяком случае. Они не прошли через революцию, коммунистическая система навязана им силой Советской Армии. Они не нуждались — тем более с применением коммунистической «методики» — в индустриальных преобразованиях, к тому же некоторые из них такие преобразования уже совершили. Революцию им насадили извне и сверху с помощью чужих штыков и силового аппарата, этими штыками поставленного. Коммунистическое движение там было чаще всего слабым, за исключением наиболее развитой Чехословакии, где вплоть до советской интервенции во время войны и февральского переворота 1948 года немногим отличалось от соцдвижений левого и парламентского образца. Внутренне слабый, коммунизм в этих странах и сутью, и обликом должен был соответствовать коммунизму в СССР. СССР навязывал им свою систему, а местные коммунисты с восторгом принимали ее. И чем слабосильнее был каждый из этих «локальных коммунизмов», тем скрупулезнее обязан он был подражать «старшему брату» — гегемонистскому русскому коммунизму.

Относительно же крупный вес коммунизма в таких странах, как Франция и Италия, прошедших через промышленную революцию, объясняется, кроме прочего,

трудной ситуацией, в которую они попали, стремясь не отстать от развитых государств и сталкиваясь при этом с социальными неурядицами. Но именно потому, что они прошли через демократизацию и индустриализацию и что коммунистическое движение в них значительно отличается от российского, югославского или китайского, у революции там не было и нет никаких реальных шансов на успех. И само руководство этих компартий, живя и борясь в условиях политической демократии, не было в состоянии избавиться от парламентских «иллюзий», а, размышляя о революции, стоило вопросу о ней возникнуть, всегда больше полагалось на международное движение и помощь СССР, нежели на собственные революционные силы. Избиратели же находили эти партии выразительницами своих чаяний, бед и обид, принимая их по наивности за поборниц еще более широкой и конкретной демократии.

Возникнув как идея при начале процесса становления передовой промышленности, современный коммунизм уходил со сцены либо постепенно угасал там, где процесс этот фактически завершался, а расцветал и в виде реальной практики усиливался там, где его только еще предстояло осуществить.

Упомянутая историческая роль коммунизма в неразвитых странах предопределяла также характер совершавшихся коммунистических революций.

## ХАРАКТЕР РЕВОЛЮЦИИ

### 1

Кто хоть немного знаком с историей стран, в которых произошли коммунистические революции, отметит наличие там целого ряда партий, которые также не устраивало существовавшее положение вещей. Наиболее показательна тут Россия, где партия, свершившая революцию, даже не была до той поры единственной революционной организацией.

Однако лишь коммунистические партии не просто по революционному относились к существующим порядкам, но и являлись непоколебимыми, последовательными носителями идеи индустриального переустройства. Практически это означало радикальное разрушение сложившихся

ся отношений собственности — преграды на пути к указанной цели. В неприятии сложившихся отношений собственности ни одна ни другая партия не шла столь далеко, ни одна не была до такой степени индустриальной, если можно так выразиться.

Между тем не столь ясно, почему эти партии по своей программе должны были быть социалистическими.

В условиях всесторонне отсталой царской России капиталистическая частная собственность не только оказалась неспособной провести быстрые индустриальные преобразования, но и стала им помехой. Ибо существовала она в стране с еще очень заметными остатками феодальных отношений и в мире, где монополии из развитых государств отнюдь не горели желанием легко выпустить из рук такой обширный сырьевой район и такой емкий рынок.

Сообразно своему историческому прошлому царская Россия должна была запоздать с промышленной революцией. Россия — единственная в Европе держава, не ведавшая Реформации и Возрождения, не имевшая средневековых европейских городов. И именно такая — отсталая, полукрепостная, с абсолютистской монархией и бюрократическим централизмом, с бурно растущим в нескольких центрах пролетариатом — она оказалась буквально брошенной в водоворот современного мирового капиталистического хозяйства, в сети финансовых интересов гигантских банковских центров.

Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» приводит данные о том, что три четверти достояния крупных российских банков контролировал иностранный капитал. Троцкий в «Истории русской революции» подчеркивает, что иностранцы держали в своих руках 40 процентов акций российской промышленности, причем по ведущим отраслям этот процент был еще большим. О Югославии доподлинно известно, что в важнейших отраслях ее хозяйства тоже доминировали иностранцы. Сами по себе данные примеры ничего бы не доказывали, если бы не факт, что иностранный капитал, сохраняя за этими странами исключительную роль источников сырья и дешевой рабочей силы, немалую мощь свою направлял на замедление их развития. Речь практически шла об узаконении их отсталости и даже национальном вырождении.

Таким образом, партия, взявшая на себя в этих странах

историческую миссию свершения революции, должна была следовать антикапитализму во внутреннем и антиимпериализму во внешнем аспекте своей политики.

Местный капитал был слишком слаб, являясь по большей части ставленником, приводным ремнем политики капитала внешнего. В промышленной революции был кровно заинтересован не капиталистический, а иной класс — пролетариат, появившийся в результате все большей пауперизации крестьянства. И если устранение варварской эксплуатации было вопросом жизни и смерти для людей, ставших уже пролетариями, то тем, кому еще только предстояло в таковых превратиться, выходом представлялась индустриализация. Чтобы выразить интересы первых и вторых одновременно, движению следовало иметь антикапиталистическую, то есть социалистическую по своим идеям, лозунгам и обещаниям направленность. Кроме того, революционная партия не могла всерьез помышлять о промышленной революции без концентрации в своих руках всех внутренних ресурсов, и прежде всего принадлежащих местным капиталистам, которых массы давно ненавидели за суровость эксплуатации, бесчеловечное обращение и собственное бесправие. Аналогичным должно было быть отношение революционной партии и к иностранному капиталу.

Другие партии не имели, да и не могли иметь подобной программы. Все они либо тяготели к прошлому, к сохранению сложившихся захваченных стагнацией отношений, либо, в лучшем случае, стремились к мирному и размеренному продвижению вперед. Партии антикапиталистического толка, эсеры в России например, звали к возвращению общества в идиллию примитивной деревенской жизни. И социалисты, такие, как российские меньшевики, в конечном итоге не шли дальше насильственного разрушения препятствий свободному развитию капитализма, считая, что только развитый капитализм даст возможность потом перейти к социализму. Но проблема-то стояла по-иному: и возвращение назад и свободное капиталистическое развитие были для этих стран одинаково невозможны, неосуществимы.

Шансами на успех обладала лишь партия, выступавшая за антикапиталистическую революцию и быструю индустриализацию. С очевидностью следует, что речь могла идти только о партии социалистической по своим принципам. Будучи при этом вынужденной действовать в задан-

ных, сложившихся уже условиях — как в широком смысле, так и по линии рабочего или социалистического движения, — идейно такая партия в любом случае должна была опереться на учение, с одной стороны, подчеркивавшее неотвратимость и прогрессивность индустриализации, а с другой — неминуемость революции. Такое учение существовало, его нужно было лишь модифицировать. Таким учением был марксизм, притом революционная его сторона. Опора на революционный марксизм, на европейское социалистическое движение была для этой партии настолько же естественна, насколько позднее — с ходом революции и структурными переменами в развитых странах — неизбежным станет ее разрыв со все очевиднее встававшим на реформистский путь европейским социализмом. Для революции и быстрой индустриализации нужны были величайшие жертвоприношения, сверхжестокое, за гранью всякого смысла, насилие, чем и диктовалась необходимость не просто обещать «царствие небесное на земле», но и добиваться, чтобы люди этому поверили. Двигаясь по общему правилу, по линии наименьшего сопротивления, отталкиваясь от принятых идейных марксистско-социалистических концепций, вершители революции и индустриализации в угоду практике про эти концепции забывали, подменяли их противоположными, но так и не смогли избавиться от них полностью.

Победа коммунистов (большевиков) в России, по существу, никак не связана с большей или меньшей степенью научности их взглядов. Если за научность принимается умение распознавать тенденции развития, направленного в сторону революции и индустриализации, тогда большевиков действительно следовало бы признать партией с исключительно научными взглядами. Но совершенно то же самое можно было бы сказать о любой другой партии, распознавшей тенденции развития.

Капитализм, капиталистические отношения являлись неизбежностью, такой же сообразной уровню достигнутой формой, как всякая иная, посредством которой находили выражение имманентные потребности общества, его стремление к расширению и совершенствованию производства. В России капитализм препятствовал действию этого закона, тогда как в Великобритании первой половины XIX века тот же капитализм был его основным гарантом. Так что, если в Британии промышленник во имя достижения более высокого уровня производства должен



был уничтожить крестьянина, то в России ему самому, промышленнику (т.е. «буржую»), была уготована участь жертвы промышленной революции. При неодинаковых действующих лицах и формах проявления закон сохранялся.

Социализм — в идеологии лозунг и обещание, вера и окрыленность, а в действительности — особая форма власти и собственности, призванная на данной ступени развития и в данных конкретных условиях облегчить и сделать возможной промышленную революцию, совершенствование и расширение производства, — был также неизбежен.

## 2

Все прежние революции были результатом того, что в обществе, где возобладали новые экономические и иные отношения, старая политическая система мешала продвижению вперед.

Ни одна из таких революций не претендовала ни на что, кроме разрушения старых политических структур и расчистки путей для новых общественных сил и отношений, вызревших в чреве старого общества. В случаях же, когда революционеры (как якобинцы с Робеспьером и Сен-Жюстом во Французской революции) покушались и на нечто иное — на то, чтобы насильственными методами строить общественно-экономические отношения, их действия были обречены на провал, а сами они — на быстрое устранение.

Во всех прежних революциях принуждение и насилие проявлялись в основном как следствие, как инструмент в руках новых, преобладающих уже общественно-экономических сил и отношений; если с размахом революционных событий они переходили такие границы, то все равно в конце концов вынуждены были свестись в рамки реальности и допустимости. Террор и деспотизм могли играть здесь роль пусть и неизбежного, но исключительно временного явления.

По вышеназванным, а также по особым «индивидуальным», специфическим причинам все революции, совершались ли они «снизу», то есть при участии масс, как во Франции, либо «сверху», то есть действиями правительства, как при Бисмарке в Германии, обязательно в итоге

имели политическую демократию. Понятно почему: «главная работа» этих революций и заключалась в том, чтобы разрушить старую деспотическую политическую систему, то есть обеспечить возможность создания политических отношений, адекватных созревшим экономическим и иным потребностям, свободному товарному производству.

Совсем по-другому обстоит дело с современными коммунистическими революциями.

Вызывались они отнюдь не тем, что переход к новым — назовем их социалистическими — экономическим отношениям уже созрел, а капитализм «перезрел», но, напротив, тем, что капитализм не был развит, не был готов к промышленному переустройству страны.

Во Франции задолго до революции капитализм доминировал в экономике, общественных отношениях и даже сознании большинства населения. О России, Китае или Югославии — в плане зрелости социализма — такого никак нельзя сказать.

Да и сами вожди революции это осознавали. Ленин в разгар революционных событий, 7 марта 1918 года, констатировал на экстренном VII съезде Российской компартии:

«... Одно из основных различий между буржуазной и социалистической революцией состоит в том, что для буржуазной революции, вырастающей из феодализма, в недрах старого строя постепенно создаются новые экономические организации, которые изменяют постепенно все стороны феодального общества... Выполняя эту задачу, всякая буржуазная революция выполняет все, что от нее требуется: она усиливает рост капитализма.

В совершенно ином положении революция социалистическая. Чем более отсталой является страна, которой пришлось, в силу зигзагов истории, начать социалистическую революцию, тем труднее для нее переход от старых капиталистических отношений к социалистическим...

Отличие социалистической революции от буржуазной состоит именно в том, что во втором случае есть готовые формы капиталистических отношений, а советская власть — пролетарская — этих готовых отношений не получает, если не брать самых развитых форм капитализма, которые, в сущности, охватили небольшие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули земледелие».

Я процитировал Ленина, а мог бы обратиться к любому из вождей коммунистических революций да и многочисленным еще писателям, подтверждавшим очевидное: «готовых отношений» для нового общества не существовало. Некто, в данном случае — «советская власть», должен был такие отношения только еще построить.

И вообще, к чему бы все эти бесконечные уговоры, разговоры и остальные усилия по поводу «строительства социализма», на которые пребывающие у власти коммунисты, где бы ни находились, тратят львиную долю своего времени и энергии, колы новые. — назовем их социалистическими — отношения действительно созрели в стране победившей коммунистической революции?

Рассуждая так, мы приходим к одному — позднее выяснится, лишь кажущемуся — противоречию: если не созрели еще условия для нового общества, то зачем тогда революция? Каким образом она в принципе стала возможной? Как смогла удержаться вопреки тому, что новые общественные отношения не были подготовлены внутри старых?

До той поры ни одна революция, ни одна партия не ставили перед собой такой задачи, как строительство общественных отношений, то есть нового общества. В коммунистических революциях именно это является их предпосылкой.

Коммунистические вожди, хотя в законах, управляющих общественным развитием, они разбираются не лучше других, обнаружили, что в стране, где их революция возможна, возможна и индустриализация, то есть изменение общества, постольку поскольку согласующееся с их идейными гипотезами. Практика — успех революции в «несозревших условиях» — дала тому, по их мнению, лишнее доказательство. «Социалистическое строительство» также. И если даже отбросить предположение, что их иллюзии относительно знания законов общественного развития могли разрастись, остается факт, что они были в состоянии, так сказать, спроектировать новое общество и начать его строительство, видоизменяя и опуская отдельные положения своих схем, но все же в целом придерживаясь их.

Индустриализация, неизбежная, законная потребность общества, соединилась в странах коммунистических революций со способом ее осуществления по-коммунистически.

Но ни первое ни второе, протекая одновременно и бок о бок, не могли реализоваться «уже завтра» — требовался длительный отрезок времени. После революции кто-то должен был взять на себя проведение индустриализации. На Западе это были в основном экономические силы, освобожденные от политических оков, — капитализм. Подобные силы в странах коммунистических революций отсутствовали, их миссия легла на плечи самих органов революции — новой власти, революционной партии.

В прежних революциях революционное принуждение и насилие сразу после слома старых порядков становились помехой экономике. При революциях коммунистических они являлись необходимым условием развития и даже прогресса революционного действия. Только как неизбежное зло и орудие в революции воспринималось революционерами прошлого принуждение и насилие. Коммунисты же их возвысили до уровня культа и конечной цели. В прошлом новое общество — классы и силы, его составляющие, — существовало уже и до начала революционных событий. Коммунистическим революциям впервые только еще предстояло создавать новое общество и его силы.

И так же, как там, на Западе, после всех «блужданий» и «отклонений» революции с неизбежностью должны были увенчаться демократией, здесь, на Востоке, они должны были закончиться деспотизмом. Для постреволюционного Запада методы террора и насилия, революционеры и революционные партии стали излишними, вызывающими сарказм и просто мешающими. Восток смотрел на это с чисто противоположных позиций.

Если на Западе сопутствующий революции деспотизм был явлением в любом случае преходящим, то на Востоке ему суждено было жить и жить. И не только из-за невозможности мгновенных промышленных преобразований, но и, как мы увидим в дальнейшем, еще очень долго после них.

### 3

Между коммунистическими и теми, прошлыми, революциями кроме указанного существует также ряд других весьма важных различий.

И прежние революции, хотя бы и созревшие в экономике и общественном сознании, не могли произойти без

определенного особого стечения обстоятельств. Наука уже главным образом открыла, какие общие условия требуются, чтобы революция вспыхнула и победила. Но необходимо подчеркнуть, что, наряду с общими, каждой революции присущи еще и индивидуальные черты, без учета и без подчинения себе которых она столь же невозможна.

Причем для революций прошлого, по крайней мере для крупнейших из них, в качестве побудительного условия не обязательно требовалась война, точнее слом нации, прежнего господствующего организма. Для коммунистических же революций это являлось коренным условием, гарантирующим победу. Данный вывод справедлив даже в случае Китая: революция там хоть и началась еще до японского нашествия, но растянулась на целое десятилетие, а размаха достигла и пришла в итоге к победе только под конец войны. Революция 1936 года в Испании, имевшая возможность стать исключением, и в чисто коммунистическую не успела перерасти, и победы конечной не добилась.

Причину, почему коммунистической революции была необходима война, предварительный распад государственной машины, надо также искать, как подчеркивалось выше, в ее общественно-экономической незрелости. Для того чтобы малочисленная, пусть и хорошо организованная и дисциплинированная группа могла взять в свои руки власть, необходим был редчайший по глубине развал всей прежней системы, а особенно госаппарата, наступающий в войне. Добавим — в войне, бывшими властными структурами и государственной системой проигранной.

Так, в период Октябрьской революции РСДРП располагала примерно 200 тысячами членов. Югославские коммунисты, когда начинали в 1941 году восстание, имели в своих рядах около 10 тысяч человек. Понятно, что для завоевания власти нужна также активная поддержка определенной части народа, но в любом случае партия, проводящая революцию и берущая власть, малочисленна, поскольку рассчитывать она тут в силах единственно на сверхблагоприятные обстоятельства.

Впрочем, такая партия до того, пока не обоснуется у власти, и не может быть многочисленной.

Целиком разрушить один общественный порядок и создать другой, новый, когда для этого не созрели еще ни экономика, ни сознание общества, есть задача столь грандиозная и выглядит она столь нереально, что привлечь на

свою сторону способна только очень немногих людей, да и то лишь тех, кто фанатично верит в возможность ее осуществления.

Особые обстоятельства и особая партия — коренные признаки коммунистических революций.

Любая революция, как и любая война, требует полной централизации сил. По словам Матьеца, Французская революция была первой, в которой «все ресурсы воюющего народа собраны в руках правительства: люди, продовольствие, вещи». То же, но в гораздо большей степени, должно сопутствовать коммунистической — «незрелой» — революции: в руки партии попадают не только материальные, но и духовные ценности, сама она тоже политически и организационно централизуется до крайних пределов. Единственно коммунистические партии — политически консолидированные, тесно сплоченные вокруг центра, свободные от идеологической разногласности — способны осуществить революцию.

Централизация всех сил и средств вкупе с достигнутым определенным уровнем политического единения революционных партий — предпосылка успеха каждой революции — при коммунистической тем более значима потому еще, что изначально исключает любую иную самостоятельную политическую группу или партию в качестве союзника компартии, одновременно требуя от самих коммунистов полного единомыслия как во взглядах на политическую тактику и стратегию, так и в философских и даже моральных воззрениях. Тот факт, что левые эсеры участвовали в Октябрьской, а отдельные люди и группы из других партий в китайской и югославской революциях, не только не опровергает, но и подтверждает вышесказанное: такие группы были лишь подручными коммунистов, причем до определенной стадии борьбы, после чего их ждал разгон, самороспуск, забвение. Стоило левым эсерам выступить самостоятельно, большевики тут же разогнали их, некоммунистические же группы в Югославии и Китае, поддержавшие революцию, де-факто сами заранее отказались от любой политической деятельности.

Между тем прежние революции не являлись «привилегией» какой-либо одной-единственной группировки. В пылу революционных событий отдельные группы вытесняли либо уничтожали друг друга, но в целом революция не была делом только одной из них и не могла завершиться установлением ее долговременного господства. Яко-

бинцы во Французской революции оказались способными лишь в течение краткого периода удерживать свою диктатуру. Диктатура Наполеона, вышедшая из революции, означала одновременно и ее закат — начало владычества крупной буржуазии. Если в прежних революциях одна партия играла преваляющую роль, то другие от своей самостоятельности не отрекались, а коль и бывали запрещаемы или разгоняемы, то длиться долго это не могло, так же как их никто не мог уничтожить. Такое стало возможным только в современных коммунистических революциях и после них. Даже Парижская коммуна, которую коммунисты считают предтечей своей революции и своего государства, была по сути революцией многопартийной.

Если какой-то из партий на том или ином этапе революции выпадала ведущая либо даже исключительная роль, ни одна из них тем не менее не была настолько идеологически и организационно централизована, как партия коммунистов. Ни от пуритан в Англии, ни от якобинцев во Франции не требовалось обязательное философское и идеологическое единомыслие, даже несмотря на то что первые принадлежали к религиозной секте. С организационной точки зрения якобинцы являлись федерацией клубов, а пуритане и того не имели. Только современные коммунистические революции сделали законом идеологическую и организационную монолитность партии.

Неоспоримо, во всяком случае, одно: при всех прежних революциях с завершением гражданской войны и внешней интервенции потребность в революционных методах и партиях отпадала, последние могли быть упразднены. После коммунистической революции коммунисты, напротив, продолжают прибегать к революционным методам и формам, а их партия только тогда и становится в наивысшей степени централизованной и идеологически исключительной.

Ленин в процессе революции настоятельно это подчеркивал (в «Тезисах ко II конгрессу Коммунистического Интернационала», в разделе «Условия приема в Коммунистический Интернационал»):

«В нынешнюю эпоху обостренной гражданской войны коммунистическая партия сможет выполнить свой долг лишь в том случае, если она будет организована наиболее централистским образом, если в ней будет господствовать железная дисциплина, граничащая с дисциплиной воен-

ной, и если ее партийный центр будет являться властным авторитетным органом с широкими полномочиями, пользующимся всеобщим доверием членов партии».

А Сталин к тому еще добавил:

«Так обстоит дело с дисциплиной в партии в условиях борьбы перед завоеванием диктатуры.

То же самое надо сказать о дисциплине в партии, но еще в большей степени после завоевания диктатуры»\*.

Атмосфера революционной бдительности, настоятельные требования идеологического единства, политическая и идейная исключительность, политический и иной централизм — все это с завоеванием власти не только не сходит с повестки дня, но, напротив, еще больше обостряется.

В прежних революциях время жестких методов, идейной исключительности и монополизма власти более-менее укладывалось в рамки самих революционных событий. Коммунистическая же революция — это как бы пролог деспотически-тоталитарного господства одной группы, господства, конца которому не видно.

Острые прежних революций, даже в период Террора во Франции, пусть и далеко не всегда справедливо и избирательно, но обращалось все же на устранение врагов истинных, а не тех, кто мог бы стать таковыми. Исключая средневековые религиозные войны, до истребления определенных социальных групп или гонений на них доходило лишь в самых крайних случаях. Коммунисты же, теоретически и практически усвоившие, что пребывают в конфликте со всеми иными классами и идеологиями, ведут себя строго соответственно: сражаются не только против старого, по-прежнему активного врага, но и против предполагаемого. В Прибалтийских государствах по спискам, где фиксировались прошлые идейно-политические симпатии, за считанные дни были репрессированы больше тысячи людей. Подобный характер носило также печально известное уничтожение нескольких тысяч польских офицеров в Катынском лесу. По прошествии многих послереволюционных лет коммунизм не чурается методов давящего террора, отлитых разве что в более рафинированные формы, но применяемых подчас даже шире, чем в самой революции (ликвидация «кулаков», например). После революции идейная исключительность и нетерпимость уси-

---

\* Сталин И. В. Собр. соч. Москва, 1954. Т. 6. С. 182.



ливаются. Усиление господствующей «предписанной» идеологии — марксизма-ленинизма — становится для правящей партии тенденцией даже в тех случаях, когда она вынуждена или вольна «ослабить гайки».

Стоило иссякнуть революционному террору, как внимание прежних революций, особенно так называемых буржуазных, в значительной степени переключалось на проблему утверждения индивидуальных свобод. Даже революционеры считали делом огромной значимости обеспечение гражданских правовых гарантий. Независимость суда также всегда относилась к итоговым завоеваниям этих революций. Коммунистический режим в СССР, как, впрочем, аналогичный режим в любой другой стране, и после сорока лет своего существования далек от чего-то подобного.

Если к конечным результатам прежних революций можно отнести и то, что они поднимали на более высокую ступень правовую защищенность и права граждан, то о коммунистической революции такого не скажешь.

Имеется, наконец, еще одно крупное различие между революциями прежними и современными коммунистическими.

Все прежние, особенно крупные революции, возникали в процессе борьбы трудовых слоев, но их завоевания доставались другому классу, под чьим духовным, а часто и организационным руководством они совершались. Плодами борьбы крестьян и санкюлотов во Франции воспользовалась главным образом буржуазия, интересы которой, собственно, и выражала революция. В коммунистической революции также участвуют народные массы. И в этом случае плоды революции достаются не им, а — бюрократии. Но бюрократия тут есть не что иное, как партия, революцию свершившая. В коммунистических революциях движения, их осуществляющие, не исчезают. И коммунистические революции «пожирают собственных детей», — но не всех.

Правда, стоит коммунистической революции закончиться, как неминуемо наступает этап жестокого, полного вероломства сведения счетов между течениями и фракциями, имеющими разные мнения о пути, которым следует двигаться дальше. Взаимные нападки всегда вертятся в круге догматического доказывания, кто «объективно» либо «субъективно» больший контрреволюционер и агент внутренних врагов или «мирового капитала». Вне зависи-

мости от того, каким путем разрешаются эти споры, победу в итоге всегда празднует течение, являющееся наиболее последовательным и решительным поборником индустриализации на коммунистических началах, то есть на основе тотального подчинения производства монополии партии, органов государства. Пожирая собственных детей, коммунистическая революция не трогает всех подряд, тем более ни в коем случае тех, кто важен, кто необходим для будущего — для индустриализации. Уничтожаются обычно революционеры, воспринявшие идеи и лозунги революции буквально, наивно верящие в возможность их осуществления. Побеждает течение, усматривающее перво-степенный смысл революции в укреплении власти — инструмента будущего индустриального переустройства, которое, ясное дело, должно вестись на определенной социально-политической — коммунистической — основе.

При коммунистической революции впервые часть ее участников, представители одного — правящего — течения, переживает и революцию, и бывших своих соратников. В прежних революциях именно эти течения неминуемо гибнут. Коммунистическая революция — первая, совершаемая «в пользу» революционеров, одной их части. Они и собирающаяся вокруг них бюрократия пожирают плоды революции. Что и дает повод им, как и широким слоям, в течение продолжительного времени сохранять иллюзию уникальности революции, сохранившей верность себе, воплощающей лозунги, начертанные на ее боевых стягах. Разве не те же самые личности или большая часть их, с теми же или немного переиначенными идеями и лозунгами по-прежнему стоят во главе партии, до революции выкованной, и во главе власти, в революции добытой?

#### 4

Иллюзии, которые коммунистическая революция создает по поводу своих истинных целей и возможностей, были бы не сильнее и не живучее рожденных прежними революциями, не открой она особого, нового способа разрешения отношений собственности, другими словами, — не стань ее итогом совершенно новая форма собственности. Все прежние революции также приводили к большим или меньшим сдвигам в отношениях собственности. Но там одна форма частной собственности вытес-

няла другую. Здесь совершенно по-иному: сдвиг радикален и фундаментален, частную собственность вытесняет нечто доселе невиданное — собственность коллективная.

Еще в самом процессе коммунистической революции уничтожается крупная помещичья и капиталистическая частная собственность, то есть та, где использовался наемный труд. Это сразу создает уверенность, что обещания революционеров о царстве равенства и справедливости не пустые слова. Партия, государственная власть под ее контролем одновременно предпринимают крупные шаги в сторону индустриализации, чем также укрепляют веру людей: час бедняцкого освобождения пробил. Что скрывать, деспотизм и насилие налицо. Но почему бы им не быть явлением временным, длящимся, пока сопротивляются экспроприированные хозяева и «разная контра», пока не закончено еще промышленное переустройство?

Между тем как раз в индустриализации происходят некоторые изменения. Индустриализация в отдельной отсталой стране, да еще без поддержки, а даже наоборот, — при сопротивлении из-за рубежа, требует концентрации всех материальных ресурсов. Национализация капиталистической и крупной помещичьей собственности есть первый этап концентрации имущества в руках новой власти.

Но этим дело не кончается. Да и не может кончиться.

Вновь образованная собственность, которую коммунисты называют обычно общественной, социалистической, а реже — государственной, приходит в неминуемое противоречие с другими формами собственности. При индустриализации, основной груз которой новая собственность должна выносить на себе, конфликт с другими формами собственности обостряется. Силовыми методами нововведение распространяется там, где наемный труд либо вообще не используется, либо не играет определяющей роли — захватывается собственность ремесленников, рабочих, мелких торговцев, крестьян. Безудержная экспроприация мелких хозяев, как правило, ничего общего не имеет с действительной экономической необходимостью, то есть возможностью изменением формы собственности достичь более эффективного производства.

Теперь, когда идет индустриализация, собственность отнимается у тех слоев, которые не были враждебны революции, даже помогали ей. Государство становится формальным владельцем еще и этой собственности, управляет и распоряжается ею. Частная собственность исчезла

или уменьшена до такой степени, что роль ее незначительна, полное же ее исчезновение есть для новых правителей лишь вопрос подходящего момента.

В сознании коммунистов и части масс это ассоциируется с полным уничтожением классов, реализацией идеи бесклассового общества. И правда, с завершением индустриализации и коллективизации старых, дореволюционных классов больше нет. В глазах самих коммунистов иллюзия воплощенной великой мечты об обещанном бесклассовом обществе становится полнейшей. И это наперекор очевидному, спонтанному и стихийному негодованию, которое, несмотря на «социализм», ложь и самообман коммунистических утверждений, что речь, мол, идет по-прежнему о «пережитках», о «происках классового врага», прорывается из глубин народа.

Иллюзии рождает каждая революция, каждая война даже. Но ведутся они во имя неосуществимых идеалов, мнящихся борцам в пылу битв столь реальными. Кончатся битвы, и с ними, как правило, испаряются иллюзии, бледнеют идеалы. В коммунистической революции не так. Иллюзии, ею рожденные, очень долго еще живут и в тех, кто за нее боролся, и в массах. Насилие, произвол, открытый грабеж, привилегированность правителей — даже все это не в силах освободить часть народа, не говоря уже о коммунистах, от слепой веры в революционные лозунги. Какой-никакой, «а все-таки социализм»; жестоко и неожиданно, но «все равно продвигаемся к бесклассовому обществу»... Вера и надежда человеческие долго еще живут и после завершения индустриализации.

Средоточие абсолютнейших и возвышеннейших идеалов, действие, прекрасное в своем героизме, воистину титаническое по напряжению, коммунистическая революция сеет и самые проникающие, самые стойкие иллюзии.

Через революцию так или иначе должны были пройти все нации. Не частые, революции тем не менее — неизбежность в жизни наций. Они приводят к деспотизму, но и выводят народы на дорогу, которой до той поры они еще не отваживались идти. Коммунистическая революция не осуществляет, не в состоянии осуществить ни один из идеалов, провозглашенных ею в борьбе. Но она вывела огромные области Европы и Азии на путь современной цивилизации. Этим созданы материальные предпосылки будущего более свободного общества. Если коммунистическая революция и привела к абсолютнейшему деспотиз-

му, то она же создала предпосылки для его устранения. Если XIX век дал современную промышленность Западу, XX век то же сделает с Востоком. Гигантская тень Ленина вот уже целое столетие покрывает огромные пространства Евразии. Так или иначе — с деспотизмом, как в Китае, или с демократией, как в Бирме и Индии, — все отсталые азиатские, и не только азиатские нации неотвратимо движутся к промышленной революции. Русская революция начала этот процесс, что и дает право говорить о ее непреходящем историческом значении.

## 5

Результатом всего сказанного может быть впечатлени-е, что коммунистическая революция всегда — величай-ший обман и историческая случайность. В известном смы-сле это верно: ни одной революции не требовалось столь-ко особых обстоятельств и ни одна не сулила так много, а выполнила так мало из обещанного.

Демагогия, уклончивость, непоследовательность ха-рактерны для коммунистических вождей, а тем более ког-да им приходится обещать сверхидеальное общество и «отмену всякой эксплуатации».

И все-таки нельзя сказать, что коммунисты просто обманули народ: что-то намеренно, сознательно «наобе-щали», а потом — не выполнили. Дело тут вот в чем: они не могли выполнить того, во что сами фанатично верили. Они, понятно, не признаются, нет у них сил в этом при-знаться даже тогда, когда вынуждены действовать практи-чески прямо противоположно обещанному в революции, притом обещанному принципиально. Признаться означа-ло бы, по их мнению, признать и саму революцию излиш-ней. А это, в свою очередь, стало бы признанием и их собственной ненужности. Что невозможно — даже для них, особенно для них.

Конечные результаты некоей общественной коллизии никогда не бывают и не могут быть такими, какими их наперед задумывают ее участники, ибо зависят они от труднопредсказуемого стечения бескрайнего количества обстоятельств, которые мысль человеческая и опыт пред-видеть и подчинить себе могут лишь частично. Это тем более относится к революциям, требующим сверхчелове-ческих усилий, вершащим в обществе крутые радикальные

перемены и с неизбежностью порождающим и обуславливающим абсолютную веру в то, что после победы придет наконец к людям долгожданное счастье, наступит свобода. Французская революция свершилась во имя разума, с верой в конечный приход свободы, равенства и братства. Русская революция совершена «во имя научного мировоззрения», ради создания бесклассового общества. Но ни та ни другая не смогли бы дойти до конца, не имея революционеры, а с ними и часть общества, твердой веры в свои идеальные цели.

Иллюзорная вера коммунистов в постреволюционные возможности была даже большей, чем у тех, кого они вели за собой. То, что индустриализация неминуема, коммунисты были способны узнать и знали, но о ее последствиях для общества, об общественных отношениях, которые из нее проистекут, — обо всем этом они могли только гадать.

Официальные коммунистические историки и в СССР, и в Югославии преподносят революцию исключительно как плод заранее продуманной вождями акции. Сознательным, продуманным был лишь курс на революцию и вооруженную борьбу, а формы рождались в непосредственном потоке событий, в конкретном действии, где и обтачивались. Примечательно, что Ленин, безусловно один из величайших революционеров в истории, не представлял, ни когда начнется, ни в каких формах будет протекать революция вплоть до момента, пока ему на это не указала прямая действительность и конкретика борьбы. В январе 1917 года, за месяц до Февральской революции и всего за десять месяцев до Октября, приведшего его к власти, он, выступая перед молодыми швейцарскими социалистами, сказал:

«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думаю, мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции»\*.

Стоит ли даже речь вести о том, что Ленин или кто-то иной был в состоянии предвидеть общественные последствия революции, предугадать, какие отношения сложатся в обществе во время и по окончании длительной, сложной борьбы?

---

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 328.

Между тем, хотя коммунистические цели сами по себе и оказались нереальными, коммунисты, в отличие от революционеров прошлого, продемонстрировали максимальный реализм при осуществлении того, на что у них хватило сил и к чему, в конце концов, сводилась их историческая роль. Они осуществили промышленную революцию, притом единственно возможным способом: установив свое абсолютное тоталитарное господство.

При коммунистической революции впервые в истории сами революционеры после своей победы не только не исчезают с политической сцены, но с предельной практичностью, хотя и не освободившись от революционных иллюзий, приступают к строительству общественных отношений, совершенно противоположных тем, в которые верили и которые обещали создать. По ходу своего дальнейшего — индустриального — продолжения и преобразования коммунистическая революция самих революционеров обращает в творцов и хозяев новой общественной ситуации.

На поверку неточными оказались конкретные предвидения Маркса, но в еще большей степени это относится к ленинским замыслам строительства свободного, бесклассового общества с помощью диктатуры. Между тем то, что сделало революцию неизбежной — промышленное переустройство на базе современной технологии, воплощено в жизнь.

В отличие от объективного закона, подтвердившего, как обычно, свою универсальность и, следовательно, если можно так выразиться, — свою непогрешимость, роли людей вновь предстали лишь частично и относительно надежными, а их предвидения — лишь частично и относительно точными.

## 6

Делая заключения не по тому, что демонстрирует действительность, а только по законам формальной логики, можно сказать: поскольку коммунистическая революция в особых условиях и с опорой на государственное принуждение совершила аналогичное проделанному индустриальной революцией, капитализмом, на Западе, то она и есть не что иное, как революция государственно-капиталистическая, а отношения, к которым приводит ее

победа, являются государственно-капиталистическими отношениями. Это выглядит тем более верным потому, что новая власть занимается регулированием всех политических, трудовых и иных отношений, а также, сие особенно важно, распределяет национальный доход, использует и распределяет формально превращенные в государственную собственность материальные ресурсы.

Тяжба вокруг того, являются ли отношения в СССР и других социалистических странах государственно-капиталистическими, социалистическими или, может быть, еще какими-то третьими, кажется подчас чистой догматикой. Она и на самом деле в немалой степени догматична.

Но это вопрос фундаментальной важности.

Даже если допустить справедливость ленинского утверждения, по которому государственный капитализм есть не что иное, как «преддверие социализма», то есть что это первая фаза социализма, все равно людям, живущим под коммунистической деспотией, легче не станет. Но если, хотя бы с приблизительной точностью, распознать, распутать хитросплетения характера собственности и общественных отношений, к которым в конечном итоге приходит коммунистическая революция, то перспективы освобождения людей от их оков становятся все же более реальными. Если люди не осознают природы общественных отношений, в которых существуют, не видят способа, которым могут эти отношения изменить, — борьба их безнадежна.

Итак, ежели встать на точку зрения, что коммунистическая революция, вопреки всем ее посулам и иллюзиям, по сути является государственно-капиталистической, доведшей до государственно-капиталистических отношений, то мы вскоре заметим, что наиболее реальным и справедливым было бы действие, направленное на совершенствование деятельности госадминистрации, на ослабление гнета и произвола с ее стороны. Коммунистические вожди так и поступают: беспрестанно ратуют за совершенствование административной работы и воюют «против бюрократизма», хотя в теории и не признают, что у них государственный капитализм.

Между тем как отношения тут не являются в действительности государственно-капиталистическими, так и выхода из них не отыскать, систему ощутимо не «улучшить» простым совершенствованием деятельности госадминистрации, превращением ее в более «справедливую администрацию».



Общественные отношения в коммунизме наиболее схожи с государственно-капиталистическими ввиду формальной и всеобъемлющей роли государства. Под этой маской, без которой коммунизм не может, на самом деле прячется и — вне всяких писанных законов, противостоя им, — узаконивается некая иная суть.

Для выяснения природы отношений, возникших еще при коммунистической революции и окончательно упроченных индустриализацией и коллективизацией, нужно внимательно присмотреться к роли и способам функционирования государства в коммунизме. Здесь пока будет достаточно подчеркнуть, что государственная машина в коммунизме не есть главный инструмент, формирующий отношения собственности и общественные отношения, она таковые лишь защищает. Правда, все вершится от имени государства и в согласии с его установлениями. Но над ними и за спиной любого государственного акта стоит коммунистическая партия. Причем даже не она в целом, а профессиональная партийная бюрократия. Это факты общеизвестные. Именно эта бюрократия пользуется, управляет и распоряжается в конечном итоге огосударствленным и обобществленным имуществом, как и всей жизнью общества. Бюрократию эту сама ее роль в обществе — монопольное управление и распоряжение национальным доходом и национальными богатствами — превращает в особый закрытый привилегированный слой. Общественные отношения с формальной стороны и извне выглядят похожими на государственный капитализм. Тем более что подходящим выглядит и их историческое происхождение — индустриализация не с помощью капитала, а методами государственного принуждения. На самом деле функцию свою вершит означенный привилегированный слой, использующий государственную машину как инструмент своей политики и как правовое ее прикрытие. Это также общеизвестные факты.

Если собственность не является — а она-таки не является — ничем, кроме права пользования и распоряжения, и если таковое право доступно лишь одному определенному слою, это означает, что в коммунистических государствах речь в конечном счете идет исключительно о возникновении некоей новой формы собственности, то есть нового правящего эксплуататорского класса.

Не на словах, а на деле коммунисты поступили точно так же, иначе поступить они не могли, как все правящие

классы и правители до них: веруя, что создают новое идеальное общество, они строили свое, такое, какое только и были в силах выстроить. Для него, кстати, общественные условия созрели, коль уж не суждено было им созреть для обещанного и освященного их революционной верой идеального общества. Таким образом, можно сделать вывод, касающийся, разумеется, определенных стран на определенном этапе развития, что ни их общество, ни их революция не возникают случайно или противоестественно. Вот почему это общество в течение известного периода времени — индустриализации — не только принуждалось, но и было в состоянии терпеть коммунистическое насилие, каких бы ужасающих масштабов и вопиюще бесчеловечных форм оно ни приобретало. После чего насилие не приходит больше с неизбежностью, а применяется исключительно для обеспечения грабительских привилегий нового класса. Коммунистическая революция, совершавшаяся во имя уничтожения классов, привела, не в пример прежним революциям, к свержению исключительно одного — нового класса.

Все остальное — сплошной мираж и иллюзии.

## НОВЫЙ КЛАСС

### 1

Уже подчеркивалось, что в Советском Союзе и других коммунистических странах все вышло не так, как предполагали вожди, притом наиболее авторитетные: Ленин, Сталин, а также Троцкий и Бухарин. По их представлениям, государственная машина в СССР должна была быстро ослабеть, а демократия окрепнуть. Случилось наоборот. В перспективе виделся быстрый подъем уровня жизни, но он вырос незначительно, а в покоренных восточноевропейских государствах даже упал: во всяком случае, рост жизненного уровня не соответствовал поступи индустриализации, последняя ушла в отрыв. Бытовала уверенность, что противоречия между городом и деревней, умственным и физическим трудом станут постепенно нивелироваться, — они лишь углубились. Та же картина вырисовывалась в других областях, включая прогнозы развития окружающего некоммунистического мира.

Но величайшей из иллюзий являлось то, что с индустриализацией и коллективизацией, то есть с уничтожением капиталистической собственности, Советский Союз превратится в бесклассовое общество. Когда в 1936 году Сталин, приурочив это к принятию новой советской Конституции, провозгласил, что в СССР нет больше эксплуататорских классов, на самом деле был завершён уже процесс не только уничтожения капиталистов и других классов прежней системы, но и сформирован класс, не виданный ещё до той поры в истории.

И совершенно ясно, что этот класс, подобно любому до него, сам воспринял установление собственного господства и другим представил как окончательное торжество всеобщего счастья и свободы. По сравнению с другими классами разница тут единственная: к оспариванию насаждаемых иллюзий и своего права на господство этот класс относился более нетерпимо. Чем и доказывал, что господство его полновеснее любого из известных истории, а пропорционально этому велики и его классовые иллюзии и предрассудки.

Этот новый класс, бюрократия, а точнее всего сказать — политическая бюрократия, не только несёт в себе все черты прежних классов из истории человеческого общества, но и выделяется определенной самобытностью, новизной. Уже само его появление, схожее, по сути, с рождением других классов, имеет свои особенности.

Другие классы в большинстве случаев также приобретали могущество и власть революционным путем, разрушая сложившиеся политические, общественные и другие отношения. Но все они, почти без исключений, добывались власти уже после того, как в старом обществе брали верх новые формы экономики. Иное дело — новый класс в коммунистических системах: к власти он приходит не за тем, чтобы завершить преобразования, а с намерением заложить фундамент новых экономических отношений и собственного господства над обществом.

В прежние эпохи приход к власти нового класса, части класса или некоей партии являлся итоговым актом формирования их самих и их сознания. В СССР произошло обратное: новый класс окончательно сформировался, уже будучи у власти. Да и развитие его сознания продвигалось — и должно было продвигаться — именно как результат того, что до тех пор он не успел прочно встроиться в жизнь нации, — с опережением ее экономических и физических

возможностей, причем самой нации и ее роль, и картина мира преподносились в отретушированном, идеализированном виде. Это не снижало его практических возможностей. Напротив. Наряду с иллюзиями, и вопреки им, новый класс выступал носителем объективных тенденций индустриализации. Отсюда его практичность. Вера в обещанный им идеальный мир цементировала его ряды, сеяла иллюзии в массах, но и звала и вдохновляла их на гигантские практические свершения.

В силу того что новый класс не вышел из недр реальных общественно-экономических процессов, его зачатки могли находиться только внутри организации особого рода, опирающейся на сверхдисциплинированность и непреложное идейно-философское единообразие в своих рядах. Свои объективно слабые позиции в экономической и других сферах жизни общества зачатки нового класса должны были на первых порах компенсировать субъективными факторами особого порядка, то есть единством сознания и железной дисциплиной.

Корни нового класса находятся в партии особого — большевистского — типа. Воистину прав был Ленин, считавший свою партию уникальной в истории человечества, хотя ему и в голову не приходило, что она — начало нового класса.

Вернее всего, зачатки нового класса не находятся в партии большевистского типа как целом, а только в слое профессиональных революционеров, составлявшем партийное ядро еще до завоевания власти. Не случайно Ленин после поражения революции 1905 года утверждал, что единственно профессиональные революционеры, то есть люди, для которых революционная деятельность есть занятие, исключаящее все прочие, в состоянии создать партию нового большевистского типа. Еще менее случайно то, что именно Сталин, будущий творец нового класса, ярчайше выражал собой тип такого — профессионального — революционера. Эта крайне узкая прослойка революционеров и разовьется постепенно в новый правящий класс. Революционеры эти долгое время будут составлять его ядро. Троцкий заметил, что в предреволюционных профессиональных революционерах кроется зародыш будущего сталинистского бюрократизма. Он не понял лишь, что речь на деле шла о зародыше нового правящего эксплуататорского класса.

Но это не означает, что новая партия идентична новому

классу. Партия — его ядро и основание. Практически очень трудно, невозможно даже определить границы нового класса и назвать всех, кто к нему принадлежит. Обобщая, к новому классу можно отнести тех, кто исключительно благодаря монополии на управление получает особые привилегии и материальные преимущества.

Вместе с тем поскольку управленчество есть вещь общественно необходимая, то случается, что в одной личности сочетаются полезные и паразитические функции. Очевидно, таким образом, что не каждый партиец вписывается в класс, как и буржуем не является любой ремесленник или член буржуазной партии.

В широком контурном плане можно сказать следующее: по мере укрепления нового класса, когда все отчетливее вырисовывается его физиономия, роль самой партии неуклонно убывает. Внутри нее и на ее вершине, как и в государственных политических органах, вызревает ядро и основа нового класса. Некогда инициативная, живая, компактная, партия с неизбежностью превращается для олигархов нового класса в аморфный привычный довесок, все сильнее втягивающий в свои ряды жаждущих пробиться наверх, слиться с новым классом и отторгающий тех, кто по-прежнему верит в идеалы.

Партия рождает класс. Затем класс растет уже и собственными силами, используя партию — свое основание. Класс усиливается, партия слабеет — такова неотвратимая судьба каждой правящей коммунистической партии.

Никакая партия, не будучи материально заинтересованной в производстве, то есть потенциально и реально не неся в себе ни самого нового класса, ни его собственности, не смогла бы заниматься такой идейной и моральной эквилибристикой, а тем более так долго оставаться у власти, как коммунистическая партия. По завершении первой пятилетки Сталин громогласно заявил, что, мол, не создай мы аппарат, мы бы провалились! А следовало сказать — «новый класс», и все было бы намного яснее.

То, что политическая партия может стать зародышем нового класса, выглядит не совсем стандартно. Обычно партии являются продуктом классов либо слоев, достигших духовного и экономического подъема. Но если разобратся в конкретике перипетий, с которыми столкнулась Россия, да и другие страны, где коммунизм победил главным образом внутринациональными силами, то выяснится, что именно партия такого типа и есть продукт

реальных обстоятельств и что она не предстает в них чем-то необычным или случайным. Хотя верно, что корни большевизма находятся глубоко в недрах русской истории, он тем не менее еще и производная особой внешне-политической ситуации, в которую российская национальная жизнь оказалась втянутой на рубеже XIX—XX веков. Современное развитие не оставляло России долее права на существование в виде абсолютной монархии, капитализм же там был слишком слаб, слишком зависим от интересов внешних сил, чтобы совершить промышленную революцию. На такое мог пойти только новый класс, но, разумеется, с иных — своих личных, собственнических позиций.

Этого класса еще не было.

Истории безразлично, кто поведет процесс, важно сделать необходимое. Так произошло и в России, и в других странах коммунистических революций. Революция создала силы: нужных ей предводителей, нужные организации и идеи. Новый класс произрастал из объективных условий — волей, мыслью и поступком его вождей.

## 2

Социально новый класс — пролетарского происхождения. Как из крестьянства вышла аристократия, а из среды средневековых торговцев, ремесленников и земледельцев — буржуазия, так главным образом из пролетариата появляется новый класс. В той или иной мере тут возможны расхождения, вызванные специфическими национальными условиями. Но «сырье», из которого произрастает, формируется новый класс, — это пролетариат слаборазвитой страны, и сам отсталый.

Между тем происхождение — не единственная, даже второстепенная причина того, почему новый класс всегда выступает от имени рабочего класса. На это его толкают и иные резоны. Во-первых, он, исповедующий антикапитализм, совершенно логично ищет поддержки в трудовых слоях, а во-вторых, — опирается на борьбу пролетариата и традиционную его веру в такое — социалистическое, коммунистическое — общество, где отсутствует brutальная эксплуатация. Кроме того, новый класс жизненно заинтересован в обеспечении нормального функционирования производства, что также одна из причин его стара-

ний не утратить связи с пролетариатом. Но самое важное заключено в том, что он не в состоянии проводить индустриализацию и крепить таким путем собственную мощь без рабочего класса, усматривающего, со своей стороны, в промышленном подъеме выход из нищеты и отчаяния, в которых погряз и он сам, и вся нация. Длительное время интересы, идеи, помыслы, надежды, вера нового класса и части рабочих и сельской бедноты совпадают, переплетаются. Прежде подобные слои обнаруживались и среди других классов. Не буржуазия ли, к примеру, представляла крестьян в их борьбе с феодалами?

Дорога нового класса к власти ведет, и должна вести, через участие в борьбе пролетариата, других обездоленных слоев — основной массовой опоры партии, читай: нового класса. Теснейшая взаимосвязь с его интересами сохраняется вплоть до момента, пока новый класс не установит в итоге своей власти, господства. После чего на пролетариат и бедноту обращают внимание лишь постольку, поскольку это диктуется нуждами производства и необходимостью удерживать в повиновении наиболее подвижные и мятежные слои общества.

Устанавливаемое новым классом от имени рабочего класса монопольное положение в обществе, представляющее собой в первую очередь монополию над самим рабочим классом — сначала духовную, в виде так называемого авангарда пролетариата, а затем и любую иную, — есть величайший обман, на который новому классу приходится идти. Но это же одновременно показывает, что источник могущества, как и сфера интересов нового класса, находится прежде всего в промышленности. Без нее он не в состоянии ни стабилизироваться, ни утвердить своего господства.

Бывшие сыны рабочего класса — это самый постоянный из элементов в составе нового класса. Отдавать господам наиболее прозорливых и талантливых своих представителей во все века было уделом рабов. В данном случае изнутри эксплуатируемого класса произрастает новый эксплуататорский и, по существу, собственнический класс.

### 3

При критическом анализе коммунистических систем обычно выделяют ключевую из присущих им черт — подчиненность народа особому сословию бюрократов. В широком смысле это верно. Но более детальный анализ

покажет, что лишь конкретная бюрократическая прослойка, те, кто не является в действительности административным чиновником, составляют сердцевину господствующей бюрократии или — по моей терминологии — нового класса. На практике речь идет о партийной, то есть о политической бюрократии. Остальные служащие — лишь аппарат, ею контролируемый, раздутый, возможно, и неповоротливый, но так или иначе необходимый любому сообществу. Границу между первыми и вторыми возможно провести социологически, но в жизни она едва различима. Не потому только, что вся коммунистическая система, естественно, бюрократична, что в ней легко находит укрытие и политическая, и административная бюрократия, но и потому, что члены партии выполняют также и различные полезные административные функции. Кроме того, прослойка политических бюрократов не может сосредоточить в своих руках абсолютно всех привилегий и не поделиться крохами с другими бюрократическими категориями.

Далее здесь важно обратить внимание на определенные существенные различия между упомянутой политической властью и бюрократией, возникающей в процессе концентрации современного производства (монополии, компании, госсобственность). Не секрет, что в капиталистических монополиях неудержимо растет число служащих. Характерно это и для национализированных отраслей западной промышленности. Р. Дабин подчеркивает, что государственные служащие, занятые хозяйственной деятельностью, выделяются в особый слой:

«Функционеры живут с ощущением неделимости общей судьбы всех, кто трудится рядом. Единые интересы сплачивают, а особенно когда соперничество между собой не слишком выражено, ибо продвижение по службе зависит от количества отработанных лет. Вероятность внутригрупповых конфликтов, таким образом, сведена к минимуму, что, как полагают, позитивно действует на бюрократию. Но *esprit de corps* (дух цеховой солидарности, коллегиальность. — *Прим. пер.*) и достаточно неконкретное по форме, что типично для данных условий, общественное устройство часто приводит персонал к тому, что собственные узаконенные интересы он защищает с большим рвением, нежели печется о клиентах или высших чиновниках, ставших таковыми с занятием выборных должностей».

\* Р. Дабин. Взаимоотношения людей в административной среде. Нью-Йорк. 1951. С. 165—166.



Хотя между ними много схожего, особенно тот самый *esprit de corps*, коммунистические бюрократы не тождественны упомянутому западным. Разница вот в чем: выделяясь спонтанно в особый слой, госслужащие и иные бюрократы в некомунистических странах не определяют тем не менее судьбу собственности, как таковой, тогда как бюрократы коммунистические именно этим и занимаются. Над теми бюрократами стоят политические правители, обычно выборные, или же непосредственно хозяева, в то время как над коммунистами, кроме них самих, ни правителей, ни хозяев нет. Там мы видим все же чиновников в современном государстве и современной капиталистической экономике, а здесь наблюдаем нечто иное, новое — новый класс.

Аналогично ситуации с любым собственническим классом, и в данном случае доказательством, что речь идет об особом классе, выступает собственность, а также особые взаимоотношения с другими классами. При этом и классовая принадлежность отдельного субъекта проверяется материальными и иными преимуществами, этой собственностью предоставляемыми.

Если понятие «собственность» рассматривать согласно формуле, воспринятой наукой еще из римского права, то есть как владение, пользование и распоряжение (*usus, fructus, abusus*) материальным продуктом, то упомянутая коммунистическая политическая бюрократия таким именно образом и поступает с национализированным имуществом. А если индивидуальную принадлежность к этой бюрократии, к новому собственническому классу, рассматривать как использование преимуществ, предоставляемых собственностью, в данном случае — национализированным материальным продуктом, то принадлежность партийной, политической бюрократии к новому классу выражается в материальном вознаграждении — большем, чем то, которым общество обязано было бы оплачивать определенные функции, равно как и в привилегированном общественном положении, которое само по себе приносит всевозможные преимущества. На деле собственность нового класса проявляется в виде исключительного права, монополии партийной, политической бюрократии на распределение национального дохода, регламентацию уровня зарплаток, выбор направлений хозяйственного развития, а также как распоряжение национализированным и другим имуществом, что в глазах обыч-

ного человека однозначно выглядит более удобной, обеспеченной и отнюдь не перегруженной трудом жизнью коммунистических функционеров.

Разрушая частную собственность в принципе, новый класс не мог базироваться на каком-нибудь вновь изобретенном ее подвиде. Частнособственнические отношения оказались не просто негодящими для реализации его господства, но и само их устранение являлось условием экономического преобразования нации. Свое могущество, привилегии, идеологию, привычки новый класс черпает из некоей особой, специальной формы собственности. Это — коллективная собственность, то есть та, которой он управляет и которую распределяет «от имени» нации, «от имени» общества.

Более любой иной формы собственности упомянутая коммунистическая тяготеет к исключительно определенным общественным отношениям. Имеются в виду отношения между монополизированным управлением, которое осуществляет узкий, во всех смыслах обособленный круг лиц, с одной стороны, и, с другой — бесправной массой производителей: крестьян, рабочих, интеллигентов. Хотя этим указанные отношения все же полностью не ограничиваются, поскольку коммунистическая бюрократия владеет еще и монополией на распоряжение материальным продуктом.

Отсюда следует, что любое ощутимое изменение подобных общественных отношений, то есть отношений между держателями монополии на управление и теми, кто трудится, неизбежно должно было отразиться также на отношениях собственности. И наоборот: ослабление либо устранение монополии на распоряжение материальным продуктом изменило бы и упомянутые общественные отношения, то есть ситуацию, при которой одним принадлежит исключительное право управлять, а другим — обязанность трудиться.

В коммунизме общественно-политические отношения и собственность (тоталитаризм власти и монополия на собственность) сопрягаются и дополняют друг друга куда эффективнее, чем при любой иной общественной системе.

Лишить коммунистов упомянутого права на собственность равнозначно упразднению их как класса. А добиться, чтобы они допустили и другие общественные силы к этой собственности, точнее — к решению ее судьбы (как

было с капиталистами, которых стачки и парламент заставили допустить рабочих к распределению прибыли, то есть опосредованно к самой собственности), значило бы лишить их монополии и на собственность, и на идеологию, и на власть. С чего и началась бы демократия и свобода в коммунизме. Поэтому до поры, когда подобное могло бы состояться, убеждать людей, не относящихся легкомысленно к социологии и считающих политику не только способом разрешения частных, сиюминутных затруднений, но и рычагом, содействующим дальнейшему поступательному движению общества, убеждать таких людей в достижимости серьезных, глубинных перемен в коммунизме — значит попусту тратить время. Глубинной переменной, таким образом, являлось бы устранение коммунистического монополизма и тоталитаризма. Пока, как говорится, этим и не пахнет.

Сама собственность нового класса, как и классовая принадлежность отдельных лиц, что уже было отмечено, реализуются через управленческие привилегии. Ими пронизана вся жизнь общества — от госадминистрации и хозяйственной сферы до спортивных и гуманитарных организаций. Политическое, партийное, так называемое «общее руководство» есть сердцевина системы, способа управлять в целом. Он-то и обеспечивает привилегии. А. Уралов\* пишет, что среднегодовой заработок советского рабочего составлял в 1935 году тысячу восемьсот рублей, тогда как секретарь райкома вкупе со всякими приплатами получал около 45 тысяч. С тех пор положение изменилось — и у рабочих, и у партфункционера. Но суть осталась прежней. Похожие данные приводит еще ряд авторов. А то, что отношения строятся таким именно образом, не могло укрыться и от глаз гостей, посетивших в течение последних лет СССР или одну из прочих коммунистических стран.

И в иных системах есть профессиональные политики. Об этой категории людей можно думать что угодно, хорошее и плохое, но их существование — необходимость. Общество не может обойтись без государства, без власти, а равно и без тех, кто за эту власть борется.

Но профессиональные политики в иных системах коренным образом отличаются от своих коммунистических собратьев. Первые в худшем случае используют власть,

---

\* Уралов А. Сталин у власти. Париж. 1951. С. 202, 215.

чтобы прибрать к рукам привилегии для себя и своих единомышленников или же блюсти в качестве основных экономические интересы определенных слоев общества. В коммунизме по-другому. Там само правление, сама власть равнозначны владению, пользованию и распоряжению почти всеми национальными ресурсами. Захвативший власть, считай, захватил и привилегии, а также — опосредованно — и собственность. Поэтому в коммунизме власть, политика как профессия, стала если уж не всеобщим идеалом (из-за реальной его недостижимости для большинства), то определенно важделением для тех, кто либо не в состоянии справиться с мечтой о жизни, построенной на паразитировании за чужой счет, либо чувствует, что есть у него шанс «вписаться» в сферу такой жизни.

Отсюда и то, что до революции членство в коммунистической партии означало материальное бедствование, а принадлежность к когорте профессиональных революционеров — высшую честь, теперь же, когда партия закрепила у власти, первое равносильно принадлежности к правящему классу, а второе — к его ядру, к всемогущим эксплуататорам и господам.

Коммунистическая революция и коммунистическая система долго утаивают свою природу. Так и процесс образования нового класса прикрывался не только социалистическим фразерством, но и, что важнее, новыми — коллективными — формами собственности. Процессу индустриализации была поначалу необходима новая, коллективная, так называемая общественная социалистическая собственность, в которой фактически запрятана собственность политической бюрократии. Классовая сущность этой собственности скрывалась за ширмой общенациональных интересов.

## 4

Маркс — Ленин — Сталин — Хрущев: меняются вожди, меняются способы подачи идей. И Маркс обладал незаурядной волей, но ему даже в голову не приходило ограничивать кого-то в изложении идей; Ленин сохранял еще терпимость к свободе дискуссий в своей партии и не считал делом партийных инстанций, тем более лидера партии, предписывать, что «идейно верно», а что «идей-

но ошибочно»; Сталин прекратил всякие внутривнутрипартийные дискуссии, а исключительное право на идеологию «передал» центральной инстанции, то есть себе лично. Соответствовали этому и формы, в которые выливалось движение: Международное товарищество рабочих Маркса (так называемый I Интернационал) идейно не было марксистским, являлось объединением различных групп, принимавшим лишь резолюции, на которые имелось более-менее общее согласие; ленинская партия была авангардной группировкой с внутренней революционной моралью, идейной монолитностью и основанным на этих принципах определенным уровнем демократизма; под сталинской пятой партия стала массой в идейном смысле инертных людей (коль уж идея «спускается сверху»), но зато единодушной и ревностной защитницей системы, которая обеспечивала ее несомненную привилегированность. Маркс, по сути дела, никогда никакой партии не создал; Ленин уничтожил все партии, даже социалистические — кроме собственной; Сталин и большевистскую партию отодвинул на второй план, превратив ее ядро в ядро нового класса, а партию целиком — в привилегированный обезличенный и обезличенный слой.

Маркс придал стройность теории о воздействии классов и классовой борьбы на развитие общества (хотя само по себе это не его открытие), а к людям, оценивая их, подходил преимущественно с точки зрения их классовой принадлежности. Но он тем не менее регулярно повторял стоицистскую заповедь из Теренция: *Nihil a me alienum puto* (точнее: *Nihil humani a me alienum puto* — Ничто человеческое мне не чуждо. — *Прим. пер.*); Ленин уже о людях судил, исходя главным образом из идейных, а не классовых соображений; Сталин род человеческий делил пополам: на верноподданных и врагов. Маркс скончался как неимущий эмигрант в Лондоне, но его высоко ценили и выдающиеся мыслители, и товарищи по движению; Ленин умер, будучи вождем одной из величайших революций, но и диктатором, вокруг которого начал уже виться культовый фимиам; Сталина превратили в божество.

Эти перемены в лицах — лишь отражение перемен в действительности и, понятно, — в самой духовной атмосфере движения.

Духовным и практическим основоположником нового

класса был, сам того не ведая, Ленин, создавший партию большевистского типа и теорию о ее особой роли при построении нового общества. Это, конечно, не единственная страница его гигантского многогранного наследия. Но это та страница, что проистекала из ленинских поступков помимо его воли и благодаря которой новый класс всегда считал и по сию пору считает его своим духовным родителем.

Действительным и непоколебимым созидателем нового класса был Сталин. Узкоплечий коротышка, с руками и ногами несуразно длинными, а туловищем коротким, «украшенным» выпуклым брюшком, с лицом крестьянина, достаточно красивым, на котором мягко, приглушенно светились желтоватые, лучистые, улыбочивые глаза, получавший удовольствие от демонстрации своей саркастичности и хитрости, с мгновенной реакцией, любитель грубого юмора, не слишком образованный и литературно одаренный, слабый оратор, но до гениальности способный организатор, неумолимый догматик и великий администратор, грузин, лучше кого бы то ни было понявший, к чему стремятся силы новых великороссов, — он творил новый класс сверхварварскими методами, не щадя себя самого. Понятно, что прежде класс вытолкнул его на поверхность, чтобы потом всецело поддаться необузданному и жестокому сталинскому естеству. Пока класс самосозидался, пока шагал по ступеням вверх к желанному могуществу, Сталин был впереди как достойный вождь.

Новый класс зародился в революционной буре, в недрах коммунистической партии, но таким, как есть, он становился уже при революции индустриальной: без нее и без индустрии его положение не обрело бы прочности, а сила — полноты. Осуществление общенациональной задачи — промышленного переустройства — означало одновременно и победу нового класса, как такового. Так два разных процесса, совпав по времени, волей неукротимого стечения обстоятельств тесно переплелись между собой.

В разгар индустриализации, настезь распахнув двери перед прикарманиванием разнообразнейших привилегий, Сталин начал вводить значительные и все более заметные различия в заработках. Он понял, что индустриализации не будет, если новый класс не заинтересовать в ней материально, если не дать ему по-настоящему дорваться до собственности. А без индустриализации и сам новый

класс вряд ли бы выжил: просто не нашел бы для этого ни исторического оправдания, ни материальных источников.

С тем же связано и расширение партийных рядов, партбюрократии в том числе. В 1927 году, накануне индустриализации, в советской коммунистической партии состояло 887 тысяч 233 человека, а в 1934, то есть после первой пятилетки, — уже 1 миллион 847 тысяч 488 человек. Явление новое, откровенно сопряженное с индустриализацией: шансы нового класса росли, росли и привилегии тех, кто к нему принадлежал. Более того, привилегии и сам класс разбухали интенсивнее, чем продвигалась индустриализация. Статистическими выкладками это подтвердить непросто, но такой вывод напрашивается сам по себе, он доступен даже поверхностному наблюдателю — тем более если помнить, что подъем производства несравнимо опережал улучшения в жизненном уровне народа. Львиная доля плодов прогресса экономики, достигнутого ценой лишений и огромного напряжения масс, со всей очевидностью «прилипла к рукам» нового класса.

И сам процесс становления нового класса не шел, да и не мог идти гладко. Сопrotивление при этом оказывали не только прежние классы и партии, но и революционеры, которым никак не удавалось примирить действительность с идеалами революционной поры. В СССР отпор революционеров наиболее заметным образом проявился в конфликте между Троцким и Сталиным. Столкновение Троцкого со Сталиным, оппозиционеров в партии со Сталиным, как и режима в целом с крестьянством, не случайно принимало все более острые формы по мере обострения обстоятельств, сопровождавших индустриализацию, а именно — укрепления могущества и господства нового класса.

Замечательный оратор, писатель утонченного стиля, разящий полемист, человек широкой культуры, умница, Троцкий был лишен единственного: чувства действительности. Ему хотелось быть революционером там, где жизнь звала к обыденности. Хотелось воскресить революционную партию, а та превращалась уже в нечто совершенно иное — в новый класс, индифферентный к высоким идеалам, но зато крайне небезразличный к повседневному жизненному комфорту. Он ждал действия от масс, изнуренных войной, голодом и кровью, да еще в момент, когда новый класс крепко держал уже в своих руках поводья. Успев пригубить меду из рога привилегий, класс теперь

всех остальных искушал картинками тепла и уюта — нормального существования, о котором столько мечталось. Фейерверки Троцкого озаряли дали небесные, но не могли запалить огня в домашнем очаге исстрадавшегося человека. Он явственно чувствовал наличие у новых явлений оборотной стороны, но в чем смысл — не понимал. К тому же он никогда не был большевиком, что в равной степени недостаток его и достоинство. «Небольшевистское прошлое» заставляло Троцкого жить и действовать с постоянным внутренним ощущением ущербности. Атакуя от имени революции бюрократию, он, сам того не ведая, напал на культ партии, то есть по существу, — на новый класс. Сталин же не заглядывал далеко ни в будущее, ни в прошлое. Он оседлал стихию новой нарождавшейся силы — нового класса, политбюрократии и бюрократизма, и стал ее вождем, ее организатором. Он не проповедовал, он — решал. И, естественно, тоже сулил светлое будущее, но такое, чтобы выглядело реальным для бюрократии, чтобы ежедневно и ежечасно ощущала она сталинскую заботу о ее жизненном благополучии и надежности позиций. Речи его нельзя было назвать пламенными, скорее — бесцветными, но для нового класса то был язык действительности, в высшей степени понятный и близкий. Троцкий мечтал увидеть Европу, объятую революцией, обещал последней весь мир. Сталин возражений не высказывал, но столь рискованное мероприятие не мешало ему прежде заботиться о матушке-России и тех, кого призвал он укреплять новую систему, мощь и славу государства Российского. Троцкий был человеком революции, ушедшей в прошлое, Сталин представлял день сегодняшний, а стало быть, — и завтрашний.

Победу Сталина Троцкий расценил как «термидор», реакцию, бюрократическое извращение советской власти и революционных завоеваний. Вот почему его так задела аморальность сталинских методов. И хотя Троцкий на самом деле первым приблизился к постижению внутренней сущности современного коммунизма (пусть неосознанно, в попытке спасти его), но необходимо и признать, что до конца раскрыть эту сущность он оказался не в состоянии. Решив, что перед ним единичный «всплеск» бюрократизма, приведший к попранию чистоты партийно-революционной линии, он и выход видел в смене руководства, в «дворцовом перевороте». Но, когда такой переворот действительно произошел (после смерти Сталина),



выяснилось, что сущность не меняется. Так что речь шла, и это ясно сегодня, о вещах гораздо более глубоких и кардинальных. Советский сталинский «термидор» был не только воцарением новой власти, более деспотичной, чем прежняя, но и нового класса. Продолжилась одна из сторон революции — насильственная; зарождение и укрепление нового класса стало неизбежностью.

На Ленина и революцию Сталин мог ссылаться с тем же, если не с большим, нежели Троцкий, правом — пусть дурно воспитанного, но вполне законнорожденного их чада.

История не знает другой личности, которая бы, как Ленин, так всесторонне и с таким упорством развивала одну из величайших во все времена революций. Но не знает она и личности, которая бы, подобно Сталину, проделала столь грандиозную неподъемную работу по утверждению господства и собственности некоего нового класса, вышедшего из недр одной из величайших революций и крупнейших стран. После Ленина, целиком объятая страстью и мыслью, на арене появляется «темная лошадка» — безлико-сероватая фигурка Иосифа Сталина — как символ тяжелой, неумолимой и бесцеремонной поступи нового класса к вершинам могущества.

После них обоих, после Сталина, пришло то, что должно было прийти со зрелостью нового класса — посредственность, то есть коллективное руководство и искренний с виду, добродушный, интеллектом нетронутый «человек из народа» — Никита Хрущев. Новый класс не испытывает прежней нужды ни в революционерах, ни в догматах. Его вполне удовлетворяют «несложные» личности типа Хрущева, Маленкова, Булганина, Шепилова, каждое слово которых — слово среднего представителя этого самого класса. Новый класс и сам умирался от догматических чисток и дрессуры, ему хочется покоя. Ощувив достаточную надежность своего положения, он теперь не прочь обезопаситься и от собственного предводителя. Потому что класс переменился, а Сталин остался тем же, каким был во времена слабости класса, когда жестоко карались как те из собственных рядов, кто проявлял колебания, так и те, кто был заподозрен в возможности оного. Становлению нового класса необходимой была и сама личность Сталина, и теория его — теория обострения «классовой борьбы» даже после «победы социализма». Сегодня все это излишне. Не отрекаясь ни от чего

созданного под сталинским руководством, новый класс не признает лишь его самоуправства в последние годы, и даже не этого, а методов, задевавших сам класс или, как формулирует Хрущев, — «хороших коммунистов».

Ленинскую эпоху революции сменила сталинская эпоха укрепления власти и собственности или же индустриализации, — во имя столь желанной, спокойной и сытой, жизни нового класса. Ленинский революционный коммунизм сменили на догматический коммунизм Сталина с тем, чтобы его, в свою очередь, заменить коллективным руководством, то есть управой, осуществляемой группой олигархов.

Таковы три фазы развития нового класса в СССР, развития русского коммунизма. Да в принципе, и любого другого тоже.

Судьбой коммунизма югославского было то, что три указанные характеристики, слившись с национальным и личным, сфокусировались в одной фигуре — в Тито. Великий революционер (но без оригинальных идей), узурпатор личной власти (но без сталинской болезненной подозрительности и догматизма), он, как Хрущев, являлся к тому же представителем «народа», то есть средних партийных слоев. Именно в этом человеке, который всегда последовательно (и даже наиболее последовательно, если сравнивать с кем-то еще) оберегал сущность коммунизма, но ввиду практических выгод (как только таковые вырисовывались) не отказывался ни от одной его формы, именно в нем как в зеркале отражен целый путь коммунизма по югославски: революция, копирование сталинизма и в итоге — отказ от него в поисках собственного облика.

Три фазы развития нового класса — Ленин, Сталин, «коллективное руководство» — не оторваны одна от другой ни в смысле содержания, ни идейно. По-своему, и Ленин был догматиком, а Сталин — революционером, так же как и «коллективное руководство» в случае нужды догму употребит наравне с революционными методами. Более того, коллективное руководство демонстрирует неприятие догматизма, только если дело касается его собственных выгод, интересов верхушки нового класса. С тем большей настойчивостью необходимо параллельно «перевоспитывать» народ, активно внушая ему догму, то есть марксизм-ленинизм. Ослабляя жесткость и меру исключительности догмы, новый класс, мощный экономически, обретает большую гибкость и восприимчивость к потребностям практики.

Окончилась героическая пора коммунизма.

Завершилась эпоха великих его вождей.

Грядет эпоха практиков. Новый класс — вот он. Он в апогее сил и богатства, но — без свежих идей. И нечего ему больше сказать миру. Осталось лишь разобраться в нем самом — новом классе.

## 5

Доказательству факта, что в современном коммунизме речь действительно идет не о скоропреходящей диктатуре и временном произволе бюрократии, а о новом собственническо-эксплуататорском классе, не стоило бы, возможно, и придавать особого значения, не толкуй коммунисты-антисталинисты, в том числе Троцкий и некоторые социал-демократы, о правящем коммунистическом слое как о явлении «попутном», чисто бюрократическом по сути, некоей болезни роста, которой, увы, обязано еще в пеленках переболеть новое, якобы идеальное и бесклассовое общество так же, как это было у общества буржуазного, «намучившегося» с деспотизмом Кромвеля и Наполеона.

Мы подчеркивали уже, что речь на самом деле идет о новом классе. А значит, — о явлении глубоком и устойчивом. И то, что перед нами особый — новый — класс, с особым видом собственности и власти, вовсе не означает, что классом он не является. Напротив.

Обратившись к любому научному определению класса, не исключая марксистской трактовки, которая класс выделяет по его особому положению в производстве, мы получим однозначный вывод: в СССР и других коммунистических странах возник новый класс, класс собственников и эксплуататоров. Не утверждаю этим, что данный класс тождествен своим собратьям-собственникам из прошлых времен. Подчеркиваю лишь, что и речи быть не может о кратковременном воцарении тех или иных самовольничающих бюрократических бонз, которые в революции по случайному стечению обстоятельств заарканили власть.

Отличительная черта нового класса — особая, коллективная собственность.

Коммунистические теоретики утверждают (иные даже верят в это), что коммунизм изобрел коллективную собственность.

Коллективная собственность в разных вариантах характерна и для всех предшествующих общественных формаций. Все деспотии Древнего Востока основывались на преобладании государственной, то есть монаршей собственности. В Древнем Египте пахотные земли переходят в частное владение только начиная с XV века до нашей эры, перед этим в частных руках находились лишь дома и усадьбы. Государственная земля сдавалась в аренду (в виде исключения могла быть передана в собственность), а государственные чиновники собирали с нее подати и осуществляли управление. Гидроканалы и всевозможные системы были, безусловно, в ведении государства. Государственная собственность преобладала там вплоть до потери независимости в I веке до нашей эры.

Забыв обо всех этих фактах, мы не сможем до конца понять причины обожествления египетских фараонов или монархов во всех деспотиях Древнего Востока, не поймем мы, откуда появлялась возможность проводить столь гигантские работы по строительству храмов, царских гробниц и дворцов, каналов, дорог, крепостей.

Древний Рим считал государственными вновь завоеванные земли и имел в собственности немало рабов. Коллективной собственностью располагала также средневековая церковь.

Правда, капитализм (такова его природа) был противником коллективной собственности. Но тоже только до появления акционерных обществ. Противостоять новым видам коллективной собственности он не смог, хотя так и остался к ним холоден.

То новое, что коммунисты привнесли в собственность, не есть ее коллективность, а есть всеохватность такой собственности. Собственность нового класса они сделали более всеохватной, нежели во все прежние эпохи, даже в Египте при фараонах.

И все.

Собственность нового класса, как и его характер, сформировалась не сразу, длительный процесс сопровождался непрерывными трансформациями. Вначале и сама нация, вернее часть ее, ощущала потребность (во имя промышленного переустройства) полностью отдать экономический потенциал в руки политической партии. Такую концентрацию, до конца возможную только с изменением отношений собственности, партия — «авангард пролетариата» и «наиболее сознательная сила социализма» —

всячески поощряла: Изменение действительно последовало, вылившись сначала в национализацию крупных, а затем и мелких предприятий. Устранение частной собственности было условием, предваряющим индустриализацию и возникновение нового класса. Но без особой для себя роли — управления обществом и распоряжения собственностью — коммунисты не смогли бы превратиться в новый класс и стабилизироваться в этом качестве. Постепенно материальные богатства становятся формально национальными, а в действительности — через право владения, пользования и распоряжения — собственностью отдельного слоя в партии и объединившейся вокруг него бюрократии.

Факт относительно медленного течения этого процесса рыхлил почву дальнейшему укоренению иллюзий, что в коммунизме речь идет о собственности не некоего нового класса, а общества, целиком нации.

Поняв, используя власть, что значит собственность для укрепления ее могущества и сколь много радостей она с собой приносит, партбюрократия уже не в силах остановиться и не «наложить лапу» на мелкотоварное производство. Более того, проявляя природную свою тоталитарность и склонность к монополизму, враждуя с любой формой собственности, которой он не управляет и не распоряжается, новый класс сознательно стремится либо уничтожить эти формы, либо завладеть ими.

Накануне коллективизации Сталин восклицал, что, мол, вопрос стоит «кто — кого», хотя разобщенное политически и экономически крестьянство для советской власти серьезной опасности не представляло. Но новый класс, пока рядом существовали и другие собственники, чувствовать себя уверенно никак не мог: а вдруг саботаж в сельскохозяйственном и сырьевом производстве! Это и было непосредственной причиной расправы с крестьянством. Но была и еще причина — классовая: при нестабильной ситуации крестьяне могли пошатнуть позиции нового класса. Новый класс был вынужден с помощью колхозов и МТС экономически и административно подчинить себе крестьянство. Того же требовал стихийный рост рядов нового класса в самой деревне, где бюрократы множились с невероятной скоростью.

Хотя отчуждение собственности от иных классов, особенно от мелких хозяев, часто вело к падению производства и хаосу в экономике, новый класс это мало забо-

тило. Как и каждому собственнику, о чем свидетельствует история, ему было важно захватить собственность и укрепить свои позиции. Пусть нация в проигрыше: новому классу его новая собственность давала выгоды. Коллективизация деревенских частных хозяйств, как известно, себя не оправдавшая, была необходима для утверждения нового класса в его могуществе и в его собственности.

Хотя достоверные данные об этом отсутствуют, но сказать, что урожайность полей в СССР, если сравнивать с царской Россией, увеличилась, нельзя. Во всяком случае, известно, что урожайность низкая, а югославские экономисты подсчитали (естественно, в период конфликта с СССР), что даже на плодородных землях Украины сбор зерна не превышает 10 центнеров с гектара. Количество голов крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы, по данным многих наблюдателей, в том числе и Уотсона, за период коллективизации снизилось более чем на 50 процентов и до сих пор не может достичь уровня отсталой царской России.

Но если эти потери можно подсчитать, то потери людские — те миллионы крестьян, брошенных в трудовые лагеря, — неисчислимы. Коллективизация прокатилась страшной истребительной войной, сошедшей бы за умопомешательство, не будь она столь выгодна новому классу, не обеспечь она этому классу господство.

Частную собственность уничтожали или же обращали в «коллективную» (в собственность нового класса) всеми мыслимыми способами: национализацией, принудительным кооперированьем, высокими налогами, неравноправностью на рынке. Неважно, использовал ли бывший хозяин наемную рабочую силу, не имеет значения, способствовало или нет отчуждение собственности решению экономических проблем, — новому классу все едино.

Появление нового класса и его собственности, естественно, не могло не отразиться на изменении психологии и образа жизни тех, кто к нему принадлежал, — в зависимости от положения на иерархической лестнице, конечно. Захвачено было все: дачи, лучшие квартиры, мебель и т. п. Высшая бюрократия, элита нового класса, жила в особых районах, отдыхала на особых закрытых курортах. Партийный секретарь и шеф тайной полиции сделались повсеместно не только высшей властью, но и людьми, которым принадлежали лучшие квартиры, машины и прочее. Вслед за ними по служебному ранжиру выстраивались осталь-

ные. Госбюджетные средства, «подарки», строительство и переоборудование якобы для нужд государства и целей представительства — все это вечные, неиссякаемые источники благ, предназначенных политбюрократии.

Лишь в случаях, когда новый класс был не в состоянии «обслуживать» присвоенную собственность или она становилась для него слишком дорогостоящей и политически опасной, делались уступки другим слоям, то есть другим формам собственности. В этом, например, был смысл отказа от коллективизации в Югославии: крестьянство сопротивлялось коллективизации, а постоянный спад производства представлял собой скрытую опасность для режима. Между тем новый класс никогда и нигде не заявлял о готовности отречься от этой собственности вообще и не воспользоваться ею при случае, то есть не провести-таки коллективизацию. Да и не может он отречься, не был бы он иначе тем, что есть, — тоталитарным и монополистическим по своей сущности.

Никакая бюрократия не смогла бы с такой неумолимостью преследовать свои цели. Только хозяева, которые при новых формах собственности прокладывают путь новым формам производства, в состоянии продемонстрировать такое упорство и такую последовательность.

Маркс предвидел, что для пролетариата после его победы опасность будут представлять свергнутые классы и собственная бюрократия. Когда коммунисты, особенно югославские, критикуют сталинское правление и бюрократизм, они обычно ссылаются на эту мысль Маркса. Между тем все сегодня происходящее в коммунизме имеет с Марксом, во всяком случае, с его предположением, о котором идет речь, очень мало общего. Маркс предвидел, что паразитическая бюрократия чрезмерно расплодится (именно это имеет место в современном коммунизме), но никак не мог предвидеть, что коммунистические властители, подобно нынешним, станут распоряжаться материальными богатствами даже не в интересах бюрократии как целого, а только в интересах своей узкой коммунистической касты. Так что Маркс в данном случае для коммунистов — лишь хорошая возможность покритиковать чрезмерные аппетиты отдельных слоев нового класса либо зарвавшуюся администрацию.

Дело, таким образом, не только в бюрократическом своеволии, извращениях и паразитизме, хотя коммунистические режимы полны этого, как никакие другие, а в при-

своении коммунистами исключительного права на управление общенациональной собственностью и ее распределение, в чем они конкретно проявляют себя ядром нового класса собственников и на чем базируется их тоталитаризм.

Современный коммунизм — это не только партия определенного типа или возникающий из монополистической собственности и чрезмерного государственного вмешательства в экономику бюрократизм. Современный коммунизм — это прежде всего носитель нового класса собственников и эксплуататоров.

## 6

Ни один класс не возник в результате сознательного действия, хотя подъем каждого из них сопровождался организованной и сознательной борьбой. То же касается нового класса. Но есть в данном вопросе некоторые особенности.

В силу шаткости своих экономических и общественных позиций, а также особенности возникновения из недр одной партии он вынужден был прибегнуть к максимально возможной организованности, к тому, чтобы выступать всегда предельно осмысленно и сознательно. Новый класс, таким образом, сознательнее и организованнее всех своих исторических предшественников.

Данный вывод точен, лишь воспринятый относительно, как отношение сознания и организованности к внешнему миру, к иным партиям, классам и общественным силам. Ни один класс в истории не был столь сплоченно-единодушным в отстаивании и освоении своего объединительного начала — коллективно-монополистической собственности и тоталитарной власти.

Но вопреки всему это и класс, наиболее перегруженный самообманом, наименее осознающий сам себя, то, в частности, что он действительно — класс, хотя и с новыми чрезвычайными характеристиками. Любой частник-капиталист или феодал признавал свою принадлежность к определенной общественной категории и был при этом уверен, что как раз этой категории дано осчастливить род людской, что без нее наступил бы хаос и всеобщая гибель. Коммунист, входящий в новый класс, тоже верит, что без его партии общество вернулось бы назад и погибло.



Такой человек вместе с тем не осознает своей принадлежности к классу собственников, поскольку оным себя не считает, невзирая ни на какие привилегии, которыми с удовольствием пользуется. Правда, стоит лишь сделать попытку отделения от класса, как привилегии исчезают, словно их не было. Он понимает, конечно, что относится к группе с определенными идеями, целями, ментальностью, ролью. И только. Уяснить, что одновременно он входит и в определенную общественную категорию — класс собственников, человек не в состоянии.

Коллективность собственности, сплывающая класс, в то же время мешает ему разобраться в своей классовой сущности: каждый, кто допущен сюда, мыслит иллюзиями своей принадлежности к движению, призванному полностью покончить с классовым обществом.

Вообще сравнение нового класса с другими классами собственников открывает как немало схожего, так и крупные различия.

Новый класс жаден и ненасытен, совсем как молодая буржуазия, но свойственной буржуазии бережливости, экономности ему явно недостает. Он жестко спаян и закрыт, словно аристократия, но обходится без аристократической рафинированности духа и высокого рыцарского достоинства.

Хотя и преимуществ у нового класса при подобном сравнении тоже немало.

Наиболее монолитный, он в большей мере готов на подвиги и жертвы. Каждый его «боец» до «последнего атома» подчинен целому — в идеале, по крайней мере, задумано так. И это действует даже тогда, когда «индивид» безудержно «гребет под себя» или бесцеремонно пробивается наверх. Безликость почти стопроцентная, но и преданность коллективу никак не меньше. Практические и иные начинания новому классу подвластны как ни одному другому до него: ничем не ограниченный материально, полностью распоряжаясь национальными ресурсами, он и собственный духовный потенциал, и все силы народа способен направить на осуществление задач, для него жизненно важных.

Новая собственность не совпадает с политической властью, но создается и используется с ее помощью — владение, пользование и распоряжение собственностью — прерогатива партии и ее головных структур.

С осознанием, что власть, то есть распоряжение нацио-

нальной собственностью, несет с собой все блага мира сего, неизбежно расцветают грубый карьеризм, двуличие, подхалимаж, завистничество. Карьеризм и расплывшаяся бюрократия — неизлечимые болезни коммунизма. Именно потому, что коммунисты переродились в собственников (а другого пути к могуществу и материальным благам, кроме как через «преданность партии» — классу и «социализму» — собственности, не дано), в коммунизме способность «идти по трупам» — одна из определяющих черт образа жизни, коренная предпосылка служебного роста.

Примеры беспардонного карьеризма в некоммунистических системах доказывают, что либо бюрократом быть доходнее, либо сами хозяева сделались паразитами и отдали управление на откуп чиновникам. В коммунизме то же самое является доказательством необоримого стремления к самой собственности, к привилегиям, которые приносит управление материальными ресурсами, а значит, и людьми.

Принадлежность к классу собственников в принципе не равнозначна владению определенным имуществом. Тем более в коммунизме: потому хотя бы, что собственность — коллективная. Здесь быть владельцем или совладельцем означает пробиться в ряды правящей политической бюрократии. И ничего больше.

И в новом классе, как везде, места одних, выпавших, тотчас занимают другие люди. Но в частнособственнических классах владение передавалось по наследству. Здесь же, кроме стремления пробиться в круг избранных, никто ничего существенного не наследует. Формируясь, по сути, из представителей низших, наиболее широких слоев народа, новый класс, словно море, непрерывно колышется. И если социологически, как отмечалось уже, его состав определить возможно, то на практике это затруднительнее, чем в отношении любого другого класса, ибо он постоянно меняется, «растекается», переливается в народ, в нижестоящие классы.

Теоретически путь вверх открыт всем. Как когда-то у Наполеона любой солдат в ранце за спиной носил маршальский жезл, да вот получить его в руки удалось единицам. Тут от человека ждут лишь одного — неподдельной, глубокой, всемерной преданности партии (читай — новому классу). А этого-то как раз тяжелее всего достичь. Новый класс — как конус: широкий в основании, он, при-

близкая к вершине, все сильнее и неприступнее сужается. Для восхождения по нему мало воли, необходима еще способность понимать и «двигать» доктрину, нужна решительность в борьбе с противниками, исключительная изворотливость и хитроумие во внутрипартийных баталиях, мастерство и даже талант при укреплении позиций класса. Много званых, да мало избранных. Новый класс, если сравнивать с прежними собственническими классами, одновременно и более открыт, и более недосыгаем. А поскольку одной из коренных его особенностей является монополия власти, такая недосыгаемость лишь усиливается иерархическими бюрократическими предрассудками.

Как, возможно, нигде и ни в какие времена для верных и преданных не были столь широко распахнуты врата, точно так же путь наверх нигде и никогда не был столь труден, не требовал таких жертв и такого самоотречения. Одной своей стороной коммунизм открыт для каждого; другой же — исключителен и нетерпим даже в отношении своих собственных приверженцев.

## 7

Констатация факта, что в коммунистических странах дело идет о новом собственническом классе, не создает полной ясности, но закладывает тем не менее основу для понимания перемен, периодически в этом регионе, и прежде всего в СССР, происходящих. Разумеется, любая такая перемена — в каждой отдельной коммунистической стране и вообще в коммунизме — должна быть исследована особо: необходимо выяснить ее, так сказать, меру досягаемости и значимости в конкретных обстоятельствах. Но достичь этого возможно, лишь представляя себе систему целиком.

В связи с нынешними переменами в СССР нелишним будет, кстати, обратить внимание на происходящее с колхозами. Тем более что создание колхозов и политика советского руководства в отношении их рельефно иллюстрируют эксплуататорскую природу нового класса.

Как прежде Сталин, так теперь и Хрущев не считает колхозы «последовательно социалистической» формой собственности, а это, по сути, означает, что новому классу в деревне полного господства добиться не удалось. Действительно так. Посредством колхозов ему удалось закре-

постить крестьян и прибрать к рукам львиную долю их доходов (путем принудительного откупа), но единоличным собственником земли он так и не стал. Сталин великолепно осознал это и перед смертью (статья «Экономические проблемы социализма в СССР») предопределил превращение колхозов в государственную собственность, другими словами, обосновал необходимость превратить бюрократию в истинного хозяина. Критикуя Сталина за перегибы в чистках, Хрущев от сталинского взгляда на колхозную собственность не отказался, что и подкрепил только одной из мер по воплощению в жизнь его пророчеств — отправкой на село, главным образом на должности колхозных председателей, 30 тысяч партработников.

Как в сталинские времена, так и при новом режиме новый класс, проводя так называемую либерализацию, старается в то же время расширить свою — «социалистическую» — собственность. Децентрализация в экономике означает не перераспределение собственности, а большее право для низших слоев бюрократии, то есть класса на уровне республик, областей и районов, этой собственностью распоряжаться. Означай так называемые либерализация и децентрализация нечто иное, они коснулись бы и политики, предоставили бы возможность если не целиком народу, то пускай части его влиять на распределение материального продукта или хотя бы критически реагировать на произвол олигархии. На практике это привело бы к созданию нового политического движения, пусть и лояльной, но оппозиции. И речи об этом не идет. Как и о демократии в партии. Либерализация и децентрализация существуют только для коммунистов: для олигархии, руководства нового класса, в первую очередь, затем — для нижестоящих звеньев. Открыт, таким образом, новый способ, неизбежный в переменившихся условиях, для дальнейшего упрочения монополистической собственности и укрепления тоталитарного господства нового класса.

Факт возникновения в коммунистических странах нового собственнического — монополистского и тоталитаристского — класса подсказывает и вывод: перемены, происходящие по инициативе коммунистических верхов, продиктованы прежде всего интересами, «социальным заказом» самого класса. Это не означает, что такими переменами должно пренебречь. Необходимо вникнуть в их сущность и определить затем последствия и значимость данных перемен.

Не отличаясь от других общественных групп, и новый класс существует и реагирует на внешние раздражители, обороняется и движется вперед — всегда с целью стать еще могущественнее. Это не значит, что данные перемены не отразятся на остальном мире или глубоко не заденут сам класс. Но пока никакие перемены не в состоянии были не только изменить коммунистическую систему, но — даже слегка поколебать ее сущность.

Как и другие режимы, коммунистический также вынужден считаться с происходящим в массах, с их настроением. Действительное состояние масс ему неведомо ввиду обособленности компартии и отсутствия свободно выраженного общественного мнения. Но массовое возмущение ушей и сознания верхов достигает. Вопреки тоталитарности своего господства новый класс не обладает иммунитетом против оппозиции в принципе.

Захватив власть, коммунисты достаточно легко расправляются с буржуазией и помещиками: в помощь им и само течение жизни, оборачивающееся против этих сил и их собственности, да и направить массы на борьбу с ними оказывается не столь сложным делом. Так что изъятие собственности у этих классов трудностей не вызвало. Трудности возникают при экспроприации мелкой собственности. Хотя, закаленные в прежних «баталиях», коммунисты и тут берут верх. Теперь в обществе все на своих местах: прежних классов и хозяев больше нет, общество — «бесклассовое» или на пути к таковому, а люди начали жить по-новому.

Требования вернуться к прежним, предреволюционным отношениям в таких условиях выглядят нереальными (если не смешными), ибо ни для каких прежних отношений нет больше ни материальной, ни общественной основы. Коммунисты с такими призывами справляются играючи.

Но, кажется, особенно неуютно новый класс чувствует себя, когда звучат требования свободы. Не свободы вообще и не единственно свободы политической. Новый класс крайне болезненно реагирует не на требования вернуться к прежним общественным или имущественным отношениям, а на требования предоставить свободу мышления, критики, причем в рамках вновь созданных отношений, в рамках «социализма». Такая чувствительность проистекает из специфики положения, в котором оказался новый класс.

Он инстинктом чувствует, что национальные богатства стали фактически его собственностью, а этикетки типа «социалистическая», «общественная», «государственная» собственность — заурядная правовая фикция. Он чувствует и то, что любой ущерб, нанесенный тотальности его господства, может обернуться угрозой и его собственности. Вот он и противится всякой свободе: во имя якобы сохранения «социалистической» собственности. И наоборот: критика способа (монополизма), каким он управляет собственностью, вызывает страх потерять власть. Новый класс тем болезненнее относится к подобной критике и требованиям, чем глубже раскрывают они его сущность — сущность собственника и властолюбца.

Здесь в принципе дело касается одного крупного, возможно, что даже и наиболее значительного противоречия, с которым столкнулся новый класс. А именно: собственностью, являющейся де-юре общественной, общенациональной, фактически в своих интересах распоряжается одна группа. Такое несоответствие правовых и реальных отношений не только непрестанно поддерживает состояние неясности и ненормальности, но и неуклонно приводит к расхождениям между словами и делами правящих структур, так как все предпринимаемые ими меры сводятся в конечном итоге к упрочению существующих собственнических и политических отношений.

Новый класс не может разрешить это противоречие, не ставя одновременно под угрозу свои позиции.

Другие правящие собственнические классы, не обладавшие монополией на власть и собственность, могли справиться с этой задачей лишь в степени, к которой их принуждало последнее обстоятельство. Другими словами, чем больше где-то было свободы, тем активнее принуждаемы были собственнические классы в том или ином виде отказаться и от самой монополии собственности. И наоборот: где монополия собственности была невозможна, там, в большей или меньшей мере, с неизбежностью приходила свобода.

В коммунизме же и власть, и собственность почти без остатка сосредоточены в одних руках. Этот факт заслонен правовой надстройкой. Но если в классическом капитализме перед законом работник и капиталист были равны, хотя в материальных отношениях первый был эксплуатируемым, а второй — эксплуататором, то тут все наоборот: при юридическом равенстве по отношению к материаль-

ным богатствам (формальный собственник — вся нация) фактически, посредством монополии управления, собственностью пользуется узкий круг правителей.

Любое реальное требование свободы в коммунизме, а это именно то, что поражает коммунизм в самое сердце, его сущность, сводится к требованию привести действительные — материальные, собственнические — отношения в соответствие с правом.

Требовать свободы и фактической передачи в руки и под контроль общества (что осуществимо единственно через свободно избранных представителей) крупной собственности, которую нация создала и которой может управлять эффективнее, чем частная монополия или частный владелец, — значит заставить новый класс либо идти на уступки другим общественным силам, либо скинуть маску со своей собственнической и эксплуататорской сущности. Ибо собственность его и эксплуатация, реализуемые через власть, через монополию управления, таковы, что на словах он и сам отрицает их наличие. Не он ли сам подчеркивает, что ради сохранения общенациональной собственности властные или же управленческие функции осуществляются им от имени нации как целого?

Упомянутое противоречие вообще порождает наибольшее количество проблем внутри нового класса. Делает неопределенным его юридический статус. Загоняет в малоприятные тупики, непрестанно оголяя несоответствие того, что класс говорит, тому, что он делает: обещая устранить социальные различия между людьми, он их все время потенцирует, присваивая совершенно неоправданно чужой труд и одаривая привилегиями свою «гвардию». Ведя себя на практике диаметрально противоположно собственной догме, он тем не менее вынужден как зеницу ока оберегать ее, ибо что, как не старушка-догма, обеспечивает версию об исторической миссии нового класса по «окончательному» избавлению рода человеческого от всех зол и напастей.

Противоречие между его реальным положением собственника и правовыми отношениями способно выступать основным мотивом критики, «подстрекательски» действующей на народ и разрушающей его собственные фаланги, поскольку в действительности привилегиями пользуется лишь узкая прослойка нового класса.

Разрастание и обострение этого противоречия дает надежду на подлинные перемены в коммунизме вне зави-

симости от того, пойдет на них правящий класс или воспротивится им. Очевидность этого противоречия и прежде была причиной перемен, проводимых новым классом. Особенно это касается так называемых либерализации и децентрализации. Вынужденно отступая и допуская уступки отдельным слоям общества, новый класс пытается таким образом затушевать указанное противоречие и укрепить собственные позиции. А поскольку собственность его и власть остаются неприкосновенными, любые меры, в том числе предпринимаемые из демократических побуждений, обнаруживают и тенденцию усиливать господство политической бюрократии. Сама система такова, что даже демократические и подобные им меры сводятся на уровень реально допустимого и поворачиваются так, чтобы вновь послужить делу упрочения класса правителей. Подобно рабству на Древнем Востоке, которое, преобладая в общественных отношениях, с неизбежностью репродуцировалось во всей жизни, во всех ее порах и ячейках, включая семейную, тоталитарный монополизм правящего в коммунизме класса полностью навязал себя организму общества, вплоть до сфер, где политическая верхушка не видит для себя никаких выгод.

Югославское так называемое рабочее управление и самоуправление, задуманное во времена конфликта с советским империализмом как далеко идущая демократическая мера, призванная саму партию лишить монополии на управление, постепенно, будучи не в силах не только изменить, но просто чуть поколебать существующую систему, все больше сводится к одному из направлений партийной работы. То, что задумывалось при введении этого управления — изобрести некую новую демократию, — не было, да и не могло быть достигнуто. Свобода, впрочем, и не может свестись к большому ломтю хлеба. Но рабочее управление не привело к заметному участию производителей в распределении прибыли, причем не только в общенациональном масштабе, но и на уровне предприятий; меру все интенсивнее ограничивали безопасными рамками. Режим разными налоговыми и иными хитростями захватил и ту часть прибыли, которой рабочие добивались дополнительными усилиями в надежде, что она будет им принадлежать. Так что трудящимся достались крохи и — иллюзии. Без общей свободы рабочее управление также не могло стать свободным. Подтвердилось, что в несвободном обществе никто не волен



принимать никаких решений. От дареной свободы самый большой «навар» имеют дарители.

Но все это не означает, что новый класс, пусть и ради одной лишь собственной выгоды, не в состоянии уступать народу. Упомянутое рабочее управление, или же децентрализация, является одновременно уступкой массам. Обстоятельства способны заставить и новый класс, каким бы монополистски-тоталитарным он ни был, подчиниться воле масс. Когда в 1948 году между Югославией и СССР разгорелся конфликт, югославские вожди были вынуждены провести ряд реформ, остановленных ими же и даже повернутых вспять при первых сигналах угрозы своему положению. Нечто подобное происходит сейчас в восточноевропейских странах.

Оберегая свое господство, правящий класс волевым путем шел на реформы, когда становилось очевидным, что он на практике формально общенациональной собственностью пользуется как лично ему принадлежащей. Предпринимаемые шаги, естественно, подаются под соусом «дальнейшего развития социализма и социалистической демократии», но в их основе лежит обострение упомянутого противоречия. Новому классу приходится «не смыкая глаз» думать об укреплении своей власти и собственности, непрестанно уклоняясь от истины и все упорнее доказывая, что он успешно руководит созданием общества равноправных и счастливых людей, где устранена всякая эксплуатация. Ему не по силам обойти глубокие внутренние противоречия: происхождение не позволяет классу узаконить свою собственность, но и отступить от нее, не подрывая тем самым своих основ, он тоже не может. Класс вынужден все более безмерное свое господство оправдывать все более абстрактными и нереальными целями.

Это воистину класс, поработительское могущество которого не знает аналога в истории. Но это и класс самый недалекий, его горизонты ложны, зыбки. Довольствуясь сам собой, полностью подмяв под себя общество, он обречен на неадекватность оценки как собственной роли, так и окружающего мира.

Проведя индустриализацию, осуществив сопутствовавшее ей национальное возрождение — там, где это было неизбежно, — новый класс выглядит теперь неспособным ни на что, кроме еще более жестокого и циничного насилия, еще более наглого обирания людей. Он перестал

созидать. И, как неотвратимое следствие, главным его оружием становится ложь. Духовное царство нового класса погружается в стужу и мрак.

Если, совершив революцию, он совершил беспримерный подвиг, то господство его — одна из позорнейших страниц истории человечества. Люди будут восторгаться величием достигнутого под его началом, но и сгорать от стыда при мысли о средствах, которыми он пользовался.

О его неминуемом уходе с исторической сцены пожалуют меньше, чем сожалели о любом из прежних классов. Растапывая все, что не ублажало его эгоизм, он сам обрек себя на бесславную погибель и вечное забвение.

## ПАРТИЙНОЕ ГОСУДАРСТВО

### 1

Механика коммунистической власти, вероятно, простейшая из возможных, доводит в результате до рафинированнейших форм угнетения и поистине чудовищной эксплуатации.

Незамысловатость этого механизма обусловлена, как известно, тем, что хребтом всей политической, хозяйственной и идеологической деятельности является единственная партия — коммунистов. Жизнь общества стоит на месте или движется, переходит на черепаший шаг или закладывает крутые виражи в зависимости от того, что делается в партийных инстанциях.

Поэтому люди в коммунистических системах очень быстро схватывают, что можно, а что нельзя. И не законы с правилами, а реальный и неписанный порядок отношений между властью и подданными становится всеобщим «руководством к действию».

Каждому ясно, что власть, вопреки законам, фактически сосредоточена в руках партийных комитетов и тайной полиции. «Руководящая роль» партии нигде не узаконена, но распространяется на все организации и любой сектор деятельности; нигде не сказано, что ее тайная полиция имеет право надзирать за гражданами, но тем не менее полиция всемогуща; ни в одном документе не записано, что суд и прокуратура подотчетны тайной полиции и партийным комитетам, но это так. И то, что это так, для

большинства людей отнюдь не тайна, большинство — «в курсе». Известно, что есть что, что допустимо, а что запрещено, от кого что зависит. Вот почему люди, приспосабливаясь к атмосфере, к реальности, с любым мало-мальски важным вопросом спешат в партийные инстанции или организации под их контролем.

Управление общественными организациями и сходными с ними органами осуществляется следующим весьма несложным способом: коммунисты там составляют фракцию, которая все решения выносит с ведома вышестоящей политической инстанции. Это, конечно, лишь общая схема. На деле, если, к примеру, неким органом или общественной организацией руководит лицо, наделенное еще и партийной властью, то обращаться куда-либо по пустякам оно не станет. Кроме того, коммунисты, вжившись в систему и установленные отношения, научились сами отделять важное от незначительного, а потому и партийные инстанции «тревожат» лишь по проблемам наиболее общим, принципиального или чрезвычайного характера. Фракция существует в потенциале как отношение, где решающее слово — за партией; и в высшей степени безразлично, что думают те, кто выбирал власть или правление любой организации.

Корни методов управления и реализации партией ее власти находятся там же, где истоки коммунистического тоталитаризма и нового класса, — еще во времени, когда компартия готовила революцию. Чем, если не прежними коммунистическими фракциями, система функционирования которых разрослась, разветвилась и усовершенствовалась, является «руководящая роль» в органах власти и общественных организациях? Что, если не прежнюю теорию об авангардной роли партии в рабочем классе (с той единственно разницей, что раньше эта теория имела иное общественное звучание), представляет собой «ведущая роль партии в построении социализма»? Тогда, до взятия власти, при помощи этой теории ковались кадры для революции и ее органов, ныне она оправдывает тоталитарное господство нового класса. Одно вытекает из другого. Есть, правда, и разница. То, прежнее — революция, ее формы, — было и неизбежностью, и даже потребностью части общества, которую невозможно было остановить в стремлении к техническому и экономическому прогрессу.

Но вышедшее из революции тоталитарное насилие и господство нового класса навалились тяжким камнем, из-

под которого непрерывно сочатся пот и кровь целого общества. Случилось так, что отдельные революционные формы приобрели, по сути, реакционную окраску. Подобное, в частности, произошло с фракцией.

Коммунистическое хозяйничанье государственной машиной осуществляется двойко. Первого способа — функционального — мы выше коснулись. Принципиально и потенциально он — основной. Но на практике чаще используют второй способ, состоящий в том, что определенные властные функции недоступны никому, кроме членов партии. Это относится к службам, ключевым при всякой власти, а уж при коммунистической особенно: полиции, прежде всего тайной, дипломатии и офицерскому корпусу, где в первую голову выделяются разведывательная и политическая функции. Судопроизводство между тем коммунисты с особой тщательностью контролируют только в его высших эшелонах: подчиненное партийным и полицейским учреждениям, оно, как правило, хуже оплачивается и потому менее привлекательно для коммунистов. Общая тенденция тут — сделать и эту сферу привилегией членов партии, а с тем и повысить привилегированность тех, кто ей служит. Тогда контроль за судопроизводством не только упростился бы, но и практически совсем исчез: такой суд судил бы исключительно исходя из общей линии партии, то есть — «в духе социализма».

Только в коммунистическом государстве целый ряд (перечисленных и прочих) фракций закреплен за членами партии. Коммунистическая власть, хотя и классовая по содержанию, по форме — партийная власть, коммунистическая армия — партийная армия, государство — партийное государство. А если совсем точно, то коммунисты склонны считать государство и армию исключительно орудием собственной политики.

Исключительное, хотя и неписаное право членов партии быть полицейскими, офицерами в армии, дипломатами и так далее, то есть зарезервированное за ними одними право вершить реальную власть, не только породило слой избранных, особо привилегированных бюрократов, но и упростило властно-управленческую механику. Партийная фракция таким путем расширилась, охватив в той или иной мере всех, кто принадлежит к упомянутым службам. В результате эти последние фактически превратились в один из секторов партийной работы, а фракция — исчезла.

Поэтому в коммунистических системах и нет принци-

пильного различия между упомянутыми службами и партийными организациями, что прежде всего касается партии и тайной полиции. Партия и полиция теснейшим образом переплетены в повседневной деятельности, разница между ними в конечном счете относится к разделению труда. Партия (и ее инстанции), когда-то бывшая организатором трудовых масс, со временем и сама превращается в аппарат.

Весь механизм власти сведен к следующему: политические структуры — это исключительная привилегия партийцев, во всех остальных органах и учреждениях коммунисты либо непосредственно хозяйничают, либо держат управление под своим надзором. Достаточно центру провести заседание или опубликовать статью, как мгновенно приводится в действие весь государственно-общественный механизм. А чуть где сбой, партия и полиция в кратчайшие сроки устраняют «неисправности».

## 2

Не будь компартия партией особого типа, подобный тип государственной власти также был бы неосуществим.

О чрезвычайном характере коммунистической партии уже говорилось. Но необходимо указать и еще на ряд специфических черт, крайне важных для понимания существования коммунистического государства.

Коммунистическая партия партией особого типа является не только потому, что она революционна, централизована, по-армейски дисциплинирована, что стремится к определенным целям и т.д. Все перечисленное, конечно, входит в набор ее особенностей.

Но есть и другие партии с приблизительно теми же (возможно, не столь ярко выраженными и постоянными) особенностями.

Между тем лишь в коммунистической партии «идеологическое единство», тождественность мировоззрений и взглядов на пути продвижения общества обязательны для всех без исключения членов. Понятно, что данный императив в целом касается головных органов и высших инстанций партии. Другим, кто пониже, на деле только формально вменено в обязанность блюсти идейную монолитность: прямая их задача — выполнять решения. Но тенденция такова, что необходимо повышать и идейный уро-

вень низов, то есть они тоже обязаны усваивать взгляды вождей.

При Ленине расхождения во взглядах все еще допускались. Ленин не считал, что члены партии обязаны исповедовать строго одинаковые воззрения, хотя уже именно он начал травить и изгонять из партийных рядов всякую точку зрения, не казавшуюся ему истинно «марксистской» или «партийной», то есть не укреплявшую партию в том виде, какой он ее задумывал. С различными внутрипартийными оппозиционными группами он разделался еще не по-сталински: не убийствами, а всего лишь заткнув им рот. И тем не менее пока власть находилась в его руках, были и дискуссии, и учет результатов голосования. Тотальная власть еще не наступила.

Для Сталина идейное единство, то есть обязательное философское и прочее, не говоря уж о политическом, единомыслие, было условием пребывания в партии. Это и есть непосредственный вклад Сталина в ленинское учение о партии. Примечательно, что тезис о непрременной идеологической монолитности он сформулировал еще совсем молодым человеком. В сталинские времена единогласность стала законом для всех компартий, действующим, кстати, по сию пору.

Югославские лидеры как были, так и остались на тех же позициях, их по-прежнему придерживается советское «коллективное» руководство и верхние эшелоны остальных коммунистических партий. Такая настойчивость в сохранении идейного единства партии — это не только знак отсутствия сколь-либо весомых перемен, но и фактическое подтверждение того, что в теперешних «коллективных» руководствах свободная дискуссия или отсутствует вообще, или крайне ограничена.

Что означает и к чему ведет обязательное единство партии?

Его последствия грандиозны.

Прежде всего в любой партии, а особенно в коммунистической, власть сосредоточена в руках вождей и высших инстанций. Идейное единство как приказ (особенно в централизованной, по-армейски дисциплинированной коммунистической партии) неизбежно несет с собой владычество центра над умами рядовых партийцев. Если при Ленине единая для всех идеология создавалась в горниле схваток на верхних этажах партийной иерархии, а Сталин начал самостоятельно предписывать таковую, то сегодня

послесталинское «коллективное» руководство удовлетворяется «малым»: тем, что преграждает путь новым социальным идеям. Так марксизм стал теорией исключительно «в ведении» партийных бонз. Иного марксизма или же коммунизма сегодня нет, да и вряд ли может быть.

Социальные последствия идеологического единства трагичны: ленинская диктатура была суровой, но тоталитарной она сделалась только при Сталине. Прекращение всякой идейной борьбы в партии означало и полный паралич свободы в обществе, ибо единственно через партию могло проникать туда любое разнообразие. Нетерпимость к иным идеям и упрямое выпячивание мнимой исключительной научности марксизма положили начало идейному монополизму партийной верхушки — тому, что впоследствии стало ничем не ограниченным господством над обществом.

Идейное единство партии — это удавка для любой новации не только в коммунистическом движении, но и внутри самого общества. Всякое начинание зависит от партии, общество целиком и полностью в ее власти, а внутри самой партии — ни проблеска свободы.

Идеологическое единство не явилось в одночасье, оно, как все в коммунизме, развивалось поступательно и полного могущества достигло, когда различные (большевистские) фракции ожесточенно боролись друг с другом за власть. И не случайно первое в практике большевиков открытое требование отречься от собственных идей услышал в свой адрес именно Троцкий: было это в середине двадцатых. Сталин набирал силу.

Идеологическое единство партии — духовная основа личной диктатуры, которую без него невозможно представить. Одно порождает и цементирует другое. И это объяснимо: идеи — плод творчества отдельных людей, а их идейный монополизм (приказное идейное единство) — всего лишь дополнение, «теоретическая маска» диктатуры. И хотя одно и другое, личная диктатура и идейное единство, существуют уже в зачатках современного коммунизма — большевизма, прочно закрепляются они только на стадии полного расцвета последнего, сопутствуя ему как тенденция (а чаще как преобладающие формы) вплоть до его упадка.

Устранение идейной разногласности в среде высших руководителей автоматически упразднило фракции и течения, а с тем и всякую демократию в коммунистических

партиях. В коммунизме возобладал принцип «вождь знает все»: идеологами становились исключительно обладатели власти — партийной и прочей — вне зависимости от скудоумия таких лидеров.

Неуклонное форсирование идейного единства в партии есть одновременно и верный признак сохранения личной диктатуры или диктатуры нескольких олигархов, которые либо на время поладили между собой, либо сосуществуют в условиях шаткого и недолгого равновесия сил. Как сейчас в СССР.

На минувших стадиях тенденция к идейному единству наблюдалась и в других партиях, особенно это касается социалистов. Но там речь шла о тенденции, а не о долге, как у коммунистов. Должно быть не просто марксистом, а марксистом в соответствии со вкусами и предписаниями верхов, центра. Из свободной революционной идеологии марксизм превращен в директивную догму по принципу восточных деспотий, где верховная власть сама догму толкует, сама предписывает, а монарх — он же первосвященник.

Обязательное идеологическое единство, прошедшее немало фаз и приобретающее на этом пути разнообразные формы, было и остается самой отличительной чертой партии большевистского, коммунистического типа.

Но обязательного идеологического единства в их рядах не могло бы и быть, не являйся эти партии одновременно прародительницами новых классов, не ставь они перед собой чрезвычайной исторической задачи.

Кроме коммунистической бюрократии, современная история не знает класса или партии, которым удалось достичь полного идеологического единства своих рядов. Но ведь никто и не брался за переделку целого общественного организма преимущественно политическими и административными средствами. Для тех, кто вершит подобное, необходима беспредельная, буквально фанатичная вера в правоту и чистоту своих взглядов и намерений. Задача такова, что требует не только крайне сурового отношения к иным идеологиям и социальным группам, но и максимальной идейной подчиненности общества при абсолютной монолитности правящего класса. Вот почему компартии нуждались в идейной прочности особого порядка.

Однажды достигнутое, идейное единство действует затем силой предрассудка. Коммунисты воспитываются на



убеждении, что идейное единство (на самом деле идеи спускаются сверху) есть неприкосновеннейшая из святынь, а фракция в партии есть самое черное злодейство.

И как тотального господства в обществе не достичь, если не расправиться с другими социальными группами, так и идейное единство маловероятно без «прочесывания» собственных рядов. Почти совпадающие по времени, два эти процесса «объективно» смыкаются и в сознании носителей тоталитаризма, хотя в первом случае новый класс побивает своих противников, а во втором — идет «выяснение отношений» внутри самого класса. Разумеется, Сталин знал, что Троцкий, Бухарин и Зиновьев никакие не иностранные шпионы или предатели «социалистического отечества». Но их несогласие с ним явно затрудняло достижение тоталитарного господства, и он был вынужден их уничтожить. Преступность его действий по отношению к партии как раз в том и заключается, что «объективную вражду», то есть идейно-политическое соперничество в партии, он искусственно превращал в субъективную вину групп и отдельных лиц, приписывая им преступления, которых они не совершали.

Но для любого коммунизма этот путь неизбежен. Вариант, которым устанавливается тоталитарное господство, то есть «шлифуется» идейное единство, может быть «мягче» сталинского, но суть всегда одинакова. Даже в случаях, когда индустриализация не есть ни способ, ни условие установления тоталитарного господства — в Чехословакии и Венгрии, например, — коммунистическая бюрократия все равно прибегает к формам власти, ничем, по существу, не отличающимся от практики таких слаборазвитых стран, как СССР. И не только потому, что Советский Союз навязал подобное своим вассалам, — речь идет о природе самих коммунистических партий, об их идеологии. Господство партии в обществе, отождествление власти и аппарата власти с партией, зависимость права на выдвижение идей от места в иерархии — вот черты, неотъемлемо, органически присущие всякой коммунистической бюрократии, в руках которой очутилась власть.

Главную силу коммунистического государства и власти составляет партия. Она — генератор всего и вся, она — начало, объединяющее в себе новый класс, власть, собственность, идеи.

Поэтому в коммунизме и не были возможны военные диктатуры, хотя, по всей видимости, в СССР заговоры

военных случались. Военная диктатура, если бы ей даже удалось на какое-то время убедить нацию в нужности напряжения всех сил и крайнего самоограничения, все равно не смогла бы установить полный контроль над обществом. На такое способна единственно партия, причем партия, проповедующая столь высокие идеалы, что тотальная ее деспотия в глазах сторонников и всех, кто в нее верит, выглядит не просто необходимостью, но и высшей формой государственно-общественного устройства.

С позиций свободы военная диктатура в коммунистических системах стала бы огромным прогрессом. Она обозначила бы конец тоталитарного господства партии, партийной олигархии.

Теоретически военная диктатура была бы возможна лишь в случае поражений на фронте или при глубочайших политических кризисах. Хотя и тогда начальной ее формой была бы диктатура партийная, то есть прикрываемая партией. Но это с неизбежностью вело бы к изменению всей системы.

Тотальная диктатура партийной олигархии в коммунизме — не следствие временной политической конъюнктуры, а результат длительного и сложного процесса. Конец диктатуры означал бы не только смену той или иной формы власти в рамках сохраняющейся системы, но и изменение самой системы, точнее, начало ее изменения. Эта пресловутая диктатура и есть система — душа ее, мозг, мышцы, ее сущность.

### 3

Власть в коммунизме очень быстро замыкается на самом узком круге партийных вождей, а от так называемой диктатуры пролетариата остается звонкая, но пустая фраза. Процесс, к тому ведущий, раскручивается с неотвратимостью и необузданностью стихии, причем теория о партии как авангарде пролетариата неплохо ему помогает.

Несомненно, что в период борьбы за власть партия — где-то в большей, где-то в меньшей степени — выступает подлинным вожаком трудовых масс, отстаивает их интересы. Но и тогда роль ее и позиция являются одновременно стадиями и формами продвижения к собственной власти. Польза рабочему классу тут очевидная, но и партия

крепнет в свойстве будущего держателя власти и эмбриона нового класса. Едва дотянувшись до власти, партия — самый якобы последовательный выразитель интересов рабочего класса и трудового народа — тотчас возлагает на себя «бремя» всей ее полноты, не забыв также установить контроль над всеми национальными богатствами. Участие и роль пролетариата в этом, за исключением кратких периодов революционных баталий, по сути, ничуть не большие, чем у любого другого класса.

Это не значит, однако, что пролетариат, вернее, отдельные его слои, не бывает время от времени заинтересован в поддержке партии как власти. Таким вот образом и пострадали крестьяне, заинтересованные в поддержке тех, кто самым фактом индустриализации открывал перед ними перспективу вырваться из беспросветной нужды.

Оказываемая отдельными слоями трудящихся периодическая поддержка партии вовсе не означает, во-первых, что они обладают властью, а во-вторых, что их участие в ней существенно отражается на ходе общественного развития и общественных отношениях. Да в коммунизме из всех процессов ни один и не содействует укреплению силы и обеспечению прав трудовых масс, рабочего класса тем более.

По-другому и быть не может.

Классы и массы не вершат властных функций, этим от их имени занимаются партии. А поскольку в любой, даже самой демократичной партии ключевая роль принадлежит вождям, то и власть партии сводится к власти вождей.

Так называемая диктатура пролетариата, которая поначалу в лучшем случае оборачивается властью партии, вскоре неизбежно сводится к власти вождей. А так как речь идет о чрезвычайной — тоталитарной — власти, то и диктатура пролетариата есть не что иное, как теоретическое оправдание, идеальная маска, прикрывающая господство нескольких олигархов. Тоже — в лучшем случае.

Маркс диктатуру пролетариата задумывал как демократию внутри пролетариата и для пролетариата, то есть как режим, в котором сосуществует несколько социалистических течений, партий. Парижская коммуна 1871 года, единственная диктатура пролетариата, на опыте которой Маркс строил свои выводы, была многопартийной, а марксисты в ней ни числом, ни влиянием не выделялись. Диктатура пролетариата в непосредственном, так сказать, исполнении самого пролетариата — чистая фикция, ибо

власть невозможно осуществлять иначе, нежели с помощью политических организаций. Диктатуру пролетариата Ленин фактически сводил к власти одной — своей — партии, а Сталин — к собственной власти, к личной диктатуре и в партии и в государстве. После смерти коммунистического императора его бесталанные наследники счастливы, что через «коллективное руководство» у них есть возможность делить власть между собой. Таким образом, во всех случаях коммунистическая диктатура пролетариата является либо фикцией, либо властью какого-то количества партийных вождей.

Ленин верил, что российские Советы и есть «наконец найденная» диктатура пролетариата в том виде, какой ее задумывал Маркс. Поначалу Советы — благодаря революционной инициативе и широкому участию в них масс — действительно производили такое впечатление. Троцкий увидел в них форму столь же эпохальную, сколь и парламенты, рожденные в борьбе с абсолютизмом. Но то была иллюзия. Из революционных органов Советы переродились в форму, потворствующую тоталитарной диктатуре нового класса, партии.

Нечто похожее случилось с ленинским демократическим централизмом как в партии, так и в органах власти. До поры, пока в партии худо-бедно, но все же допускалась некоторая степень разногласия, о таком централизме, пусть и не чересчур демократическом, еще можно было говорить. С достижением тотального господства он исчезает, на поверхности остается голый произвол олигархии и ее верхушки.

По причинам, отмеченным выше, можно заключить: превращение диктатуры олигархии в личную диктатуру есть величина постоянная. К личной диктатуре приводит идеологическое единство, неминуемые противоречия внутри правящего клана, а также потребности системы в целом. Наверху, окруженный пособниками, оказывается тот из вождей, которому в данный момент удастся последовательнее других выразить и отстаивать интересы нового класса.

Сами исторические условия — еще один серьезный фактор, способствующий личной диктатуре: нужды ускоренной индустриализации, как и война, требуют подчинения всех сил единой мысли и единой воле. Назовем, кроме того, еще одну чисто специфическую — коммунистическую — причину: в коммунизме власть — основная

цель и главное средство как всего движения, так и каждого отдельного коммуниста. Жажда власти у коммунистов неутолима, непреодолима. Победа тут равнозначна взлету до высот божества, проигрыш — глубочайшему унижению и посрамлению.

Похоже дело обстоит и с пристрастием коммунистических вождей к роскоши, чему они бессильны противостоять не только по простой человеческой слабости, но и из-за органически свойственной им, носителям власти, потребности олицетворять собой блеск, могущество и, сверх всего, магию управления людьми, искусство, доступное единственно таким вот «сущностям особого порядка».

Карьеризм, страсть к роскоши, властолюбие. Столь же неизбежна и тенденция к коррупции. Не той — чиновничьей, которой у коммунистов, возможно, даже меньше, чем было в прежнем государстве. Речь о коррумпировании опять-таки особом: при власти, отданной на откуп одной политической группе и являющейся одновременно источником всех привилегий, «радение» о «своих людях», в меньшей или большей мере заслуженных, назначение их на «выгодные» должности и распределение между членами партии всевозможных благ становятся нормой. Отождествление власти и партии с государством (практически — с собственностью) как раз и делает коммунистическое государство, если так можно выразиться, самокоррумпирующимся, неумолимо плодящим привилегии и паразитические функции.

Один член югославской партии весьма любопытно описал атмосферу, в которой существует рядовой коммунист: «Я, если честно, разорван на три части: завидую тем, у кого машина лучше моей, поскольку мне кажется, что заслуг перед партией и социализмом у них меньше моего; свысока смотрю на каждого, у кого вообще нет машины: правильно — не заслужил; и тем не менее я счастлив, что какое-никакое, а собственное авто у меня-таки имеется».

Этого человека, очевидно, нельзя считать настоящим коммунистом. Он из тех, кто к движению примкнул, поверив идеалам, но затем, разочарованный, удовлетворился возможностью сделать нормальную бюрократическую карьеру. Настоящий коммунист — это помесь фанатика с необузданным правителем. Только такое соединение дает настоящего коммуниста. Остальные — либо идеалисты, либо карьеристы.

Управляемая во всех звеньях, коммунистическая систе-

ма неизбежно бюрократична и строго иерархична. В ней образуются неприступные круги, замкнутые на политических вождях и инстанциях. Вся политика сводится к тренингам внутри этих сфер, где процветают кумовство и клановость. В наибольшей степени родственными связями опутан обычно самый высший круг. Дома за ужином, на охоте, в беседе двух-трех человек решаются вопросы широкой государственной важности. Партийные форумы, заседания правительственных кабинетов, сессии парламентов носят чисто декларативный, представительский характер и созываются затем лишь, чтобы подтвердить нечто давно «сваренное» на «семейных кухоньках». А поскольку отношение коммунистов к государству, к власти (исключительно собственной, разумеется) можно квалифицировать как законченный фетишизм, то, когда они представляют и государство, те же люди, те же круги, столь тесная партийно-семейная компания, волшебным образом преображаются в лики леденяще-строгие, отчужденные, чопорно-помпезные.

Абсолютизм, но, увы, не просвещенный.

Сам монарх, диктатор, ни монархом, ни диктатором себя не чувствует. Сталин саркастически отшучивался, когда его называли диктатором. Он ощущал себя выразителем коллективной воли партии. И был некоторым образом прав, несмотря на то, что, вероятно, столь безграничной власти одного человека история прежде не видывала. Просто, подобно любому коммунистическому диктатору, он понимал, что отход от идейных основ партии, от монополии нового класса на все и вся или от тоталитарного владычества олигархии привел бы его к неминуемому падению. Безусловно, творцу и виднейшему представителю системы такое поведение и на ум не приходило. Но зависимым от этой, под его же дланью созданной, системы, от «общественного мнения» партийной олигархии был и он, Сталин. Без них или против них он ничего не мог.

Покажется странным, но это так: в коммунистической системе не свободен никто — даже верхи, даже сам вождь. Все зависят друг от друга и должны быть очень осторожны: не дай Господь оторваться от общей атмосферы, превалирующего мнения, стиля, власти, интересов.

Уместно ли и говорить о диктатуре пролетариата в коммунизме?

Тоталитарной диктатуре партбюрократии на руку сама коммунистическая доктрина государства, разработанная Лениным, Сталиным и другими дополненная. В ней важны два стыкующихся, слитых воедино ключевых элемента: сама по себе теория государства и концепция отмирания последнего. Наиболее полно изложенная в труде «Государство и революция», который Ленин написал перед самым Октябрем, пока скрывался от Временного правительства, доктрина эта, как и весь ленинизм, опирается на революционный аспект учения Маркса, именно в вопросе о государстве (при преимущественном использовании опыта первой русской революции 1905 г.) развитый и доведенный вождем большевиков до крайних реперкуссий. С точки зрения истории «Государство и революция» — работа куда более значимая в качестве идейного оружия самой революции, нежели как теоретическое подспорье строительства новой власти.

Ленин свел государство к принуждению, точнее сказать, к механизму насилия, с помощью которого один класс подавляет прочие. Однажды, стремясь к максимальной емкости формулировки, Ленин отчеканил: «Государство-дубинка».

Это не значит, что незамеченными остались другие функции государства, но и тут он искал связь с самым главным для него предназначением государства: быть проводником насилия одного класса над другими.

Если перед ленинской теорией государства стояла задача разрушения старого госаппарата, для чего необходимо было в качестве подготовки скинуть все покровы с его сути, то от подлинной научности она оказалась на значительном удалении.

Это весьма важное с исторической точки зрения ленинское произведение продолжает традицию, типичную для всех коммунистических умопостроений: обобщенные якобы научные выводы и концепции вырабатываются исходя из непосредственных нужд партии; полуистины таким образом провозглашаются истинами. Неоспорим факт, что принуждение и насилие в крови у всякого государства, а государственную машину используют отдельные социальные и политические силы (особенно масштабно — при вооруженных конфликтах). Но из жизненного опыта каждый знает, что государственная машина необходима

обществу, нации еще и затем, чтобы увязывать и развивать различные их функции. Эту грань коммунистическая теория, в том числе ленинская, обходит с наибольшим пренебрежением.

В далеком прошлом существовали социумы без государства и власти. Обществом они считаться не могут, ибо представляли собой некий переход от полуживотных к человеческим формам социального бытия. И даже в таких примитивнейших социумах-общинах некое подобие власти присутствовало. Тем более наивным было бы доказывать, что в будущем, с его все усложняющейся общественной структурой, исчезнет потребность в государстве. Ленин (положившись на авторитет Маркса, солидарного, кстати, в этом вопросе с анархистами) задумывает и обосновывает как раз такое общество — общество без государства. Оставив в стороне вопрос об оправданности его исходных посылок, без труда догадываемся, что таковым ему мнится его бесклассовое коммунистическое общество. И проблема, если исходить из данной теории, весьма проста: не будет классов и классовой борьбы — некому станет угнетать и эксплуатировать — отпадет нужда в государстве. А до той поры, мол, «диктатура пролетариата» и есть «демократичнейшее» из государств: уже потому хотя бы, что «отменяет» классы и таким путем сама постепенно становится излишней. Так что любое действие, усиливающее эту диктатуру, ведущее, следовательно, к «отмене» классов, рассматривается как оправданное, справедливое, прогрессивное, устремленное к свободе. Вот причина, почему там, где их партия не правит, коммунисты ратуют (и облегчают себе этим борьбу) за самые демократические меры, но стоит им завладеть властью, как стремглав бросаются душить любую форму «буржуазной» якобы демократии. Вот отчего сегодня они с таким упорством делят демократию на «буржуазную» и «социалистическую», хотя делить можно лишь по количеству свободы, то есть по тому, насколько свобода всеобъемлюща.

В ленинской и вообще коммунистической теории государства провалы со всех сторон: с научной и практической одинаково. Сама жизнь полностью опровергла предсказания Ленина: «диктатура пролетариата» и классы не уничтожила, и сама отмирать, похоже, не собирается. Казалось, что установление тотального господства коммунистов после ликвидации классов прежнего общества должно способствовать некоему «успокоению» правителей-теоре-



тиков, навевая им мысли о близости «идеальной цели» — полного уничтожения классов. Ан нет, мощь государства (органов насилия в первую голову) не только не ослабла, но и дальше растет.

Для прикрытия теоретической прорехи Сталин выдумал заплату — непрестанно крепнущую «воспитательную» роль советского государства.

Ежели коммунистическую теорию государства, не говоря уж о практике, свести к ее сути, то есть принуждению и насилию как основной, если не единственной функции государства, то из сталинской концепции вытекала бы все большая роль полиции, воспитательная в том числе. Понятно, что до такого додуматься может только злопыхатель. И здесь, в сталинской теории, отыскала себе приют очередная коммунистическая полуистина: не умея объяснить, почему в «построенном» уже «социалистическом обществе» непрестанно нарастают мощь и гнет государственной машины, он назвал главной одну из функций государства — воспитательную. Насилие теперь не годилось: антагонистических классов «нет», стало быть, отсутствует и классовое подавление.

У теории «самоуправления», выдвинутой югославскими лидерами, сходная судьба. В пылу конфликта со Сталиным им просто необходимо было как-то «выправить» его «искривления», сделать что-нибудь, чтобы государство начало наконец «отмирать». Тем не менее ни им, ни Сталину это не помешало и впредь пестовать силу, функцию для них первейшую, ту, к которой они сводят свою концепцию государства.

Примечателен, однако, сталинский тезис о том, как государство отмирает, усиливаясь, таким то есть образом, что функции его становятся все более разветвленными по мере вовлечения в их гравитационные поля все большего числа граждан. Осознав, что роль государственной машины неуклонно наращивается и разветвляется (вопреки «начавшемуся» уже переходу к «полностью бесклассовому» — коммунистическому — обществу), Сталин решил, что государство исчезнет, когда все граждане, переключая на себя его заботы, поднимутся до его уровня. Впрочем, еще Ленин говорил о времени, когда и кухарка будет управлять государством. Теории, подобные сталинской, как мы видели, кружат по Югославии. Но ни одной из них не преодолеть пропасти между коммунистической доктриной государства, то есть «исчезновением» классов и

«отмиранием» государства в их «социализме», и действительностью — тоталитарным господством партбюрократии.

Важнейший для коммунизма в теоретическом и практическом плане вопрос о государстве — это одновременно и неиссякаемый источник проблем и все более явных противоречий.

Поскольку государство не есть исключительно — и крайне редко преимущественно — орган насилия (кроме коммунистического режима, этой своего рода скрытой формы гражданской войны между народом и правителями), то государственная машина наравне с обществом пребывает в состоянии непрекращающегося, вспыхивающего вновь или временно затухающего сопротивления олигархии, тайное и явное желание которой — окончательно превратить государство в насильника. Осуществить это полностью коммунисты не в состоянии, как не в состоянии они совершенно поработить общество. Но они могут навязать, чем и занимаются, контроль органов принуждения — полиции и партии — над всей государственной машиной и ее функциями. Поэтому сопротивление органов и функций государства «непониманию» со стороны партии, полиции или отдельных политических фигур — это на деле отраженное через государственную машину сопротивление общества, протест против гнета и издевательств над объективными его устремлениями и потребностями.

Даже в коммунистической системе государство и его функции не ограничиваются органами насилия, не идентичны им. Государство как организация жизни народа и общества подчинено таким органам — государству в государстве. С этим разладом коммунизму справиться не под силу потому уже, что тоталитарность его насилия конфликтует с иными и противоположно направленными тенденциями в обществе, быть выразителями которых способны и общественные функции государства.

## 5

Вследствие этого противоречия, вследствие неизбежной и неизбывной потребности коммунистов рассматривать государство если не исключительно, то преимущественно как орган насилия, коммунистическое государство не могло и не может стать правовым, то есть таким, где

суд не был бы зависим от властей, а законы реально соблюдались.

Такого государства система не приемлет. Коммунистические вожди, даже пожелай они построить правовое государство, не смогли бы достичь цели, не создав угрозы своему тоталитарному господству.

Независимость суда и торжество законности неизбежно открывали бы путь появлению оппозиции. Ни один закон в коммунизме не оспаривает, например, свободы выражения мысли и даже права объединяться в организации. Базирующиеся на принципах независимого суда законы гарантируют и другие гражданские свободы.

На практике, разумеется, никто об этом и не вспоминает.

Признавая формально гражданские свободы, коммунистические режимы ставят перед ними одно, но решающее условие: пользоваться ими можно исключительно в интересах той системы — «социализма», которую проповедают вожди, что означало бы поддержку их владычества. Подобная практика, противоречащая в том числе и законодательным актам, неминуемо должна была вооружить полицейские и партийные органы крайне изощренными и бесцеремонными методами борьбы, ибо, с одной стороны, необходимо сохранять форму законности, а с другой — обеспечить монополию правления.

Главным образом по этой причине законодательная власть в коммунизме не может отделиться от исполнительной. И именно такой порядок Ленин считал совершенным. Того же придерживаются в Югославии. При однопартийной системе это как раз и есть один из источников, питающих произвол и всемогущество правителей.

Точно так же практически невозможно отделить власть полицейскую от судебной. Судят и исполняют приговор де-факто те же, кто арестовывает. Замкнутый круг: одна и та же исполнительная и законодательная власть, одни и те же следственные, судебные и карательные органы.

Так зачем в таком случае коммунистической диктатуре прибегать — даже сверх надобности — к закону, зачем прикрываться законностью?

Кроме внешнеполитических, пропагандистских и иже с ними резонансов немаловажно в данном контексте, по видимому, то, что коммунистический режим, если хочет устоять, обязан обеспечить твердые правовые гарантии тем хотя бы, на кого он опирается, то есть новому классу.

Законы и пишутся, собственно, исходя из потребностей и интересов этого класса, партии. Формально законы, как им положено, охраняют права всех граждан, но в действительности — только тех, кто не попал в разряд «врагов социализма». Поэтому у коммунистов постоянная головная боль от игры с законами, которые они сами принимают и которыми им на каждом шагу приходится пренебрегать. Осознав со временем причину своих «мучений», они впредь, дабы упростить правовую эквилибристику, творят законы только «дырявые», допускающие всякого рода исключения.

Так, например, югославское законодательство стоит на точке зрения, что человека нельзя осудить, если деяние, им совершенное, не имеет четкой юридической формулировки. Большинство инспирированных политическими мотивами судебных разбирательств между тем идет по линии так называемой «враждебной пропаганды». Трактовать же это понятие преднамеренно поручается не закону, а судьям, стоящей за их спиной тайной полиции.

В силу вышеизложенного и политические судебные процессы при коммунистических режимах — сплошь инсценировки, где доминирует политический тезис, то есть суд получает задание доказать нечто, соответствующее текущим политическим запросам власть предержащих. Другими словами, от суда требуется уложить в рамки права заготовленный политический вывод о «враждебных происках» обвиняемого.

При таком способе судить важную (важнейшую даже) роль должно сыграть признание обвиняемого. Он обязан сам назвать себя врагом. Тогда тезис подтверждается. Доказательств в принципе никаких, полностью заменить их призвано самообвинение.

Так называемые «московские процессы» — это лишь наиболее гротескный и кровавый пример судебно-юридического фарса в коммунизме. Ему абсолютно соответствует подавляющее большинство других судилищ (конкретные «дела» и степень тяжести наказания в данном случае фактор второстепенный). И политические процессы в Югославии — тоже чистой воды уменьшенные копии с московского оригинала.

Как же обычно затеваются политические процессы?

Сначала тайная полиция, реагируя, как правило, на «подсказку» партфункционеров, «обнаруживает», что некто является противником существующих порядков, бель-

мом на глазу у тех же местных властей, раздраженных если ничем иным, так позицией, которую человек отстаивает, или его разговорами в кругу близких друзей. Когда этап «выявления» успешно пройден, делается второй шаг — готовится правовая дискредитация противника. В ход пускают либо провокатора, подбивающего жертву на «подрывные высказывания», связь с нелегалами и тому подобное, либо то же самое достигается с помощью кого-то из запуганных полицией и готовых по малодушию подписать любой, какой прикажут, оговор. Большинство нелегальных организаций при коммунистических режимах создается самой тайной полицией с целью втянуть туда недовольных и расправиться с ними. Коммунистическая власть не отвращает, а, наоборот, подталкивает «неблагонадежных» граждан к совершению разного рода проступков и преступлений.

Все то же самое Сталин обычно творил без суда, в колоссальных масштабах, широко применяя пытки. Но и без пыток, и при участии суда — суть прежняя: коммунисты сплошь и рядом разделяются с противниками не за нарушение закона, а потому главным образом, что те — их противники. Посему можно сказать: большинство осужденных политических прегрешителей — действительно в основном противников режима — с точки зрения права невинны. По коммунистическим понятиям они наказаны справедливо, хотя юридические основания для этого отсутствовали.

При стихийных выступлениях граждан против режима коммунистические власти наводят порядок, нисколько не заботясь о конституционности и законности своих действий. Современная история не знает более жестоких, бесчеловечных и антизаконных расправ с массовым недовольством. Побоище в Познани — случай наиболее шумевший, но не самый кровавый. Оккупационные и колонизаторские власти, хотя они и чужие и действуют по чрезвычайным законам чрезвычайными мерами, все же редко доходят до подобной брутальности. Коммунистические властители ввергают в ужас «свою» страну, попирают собственные законы.

И в вопросах, с политикой не связанных, правосудие и законодательство не защищены от поругания. Тоталитарный класс с приспешниками не могут удержаться от ежечасного вмешательства и в эти сферы.

Приводимая ниже заметка из белградской «Политики»

хорошо иллюстрирует действительную роль и положение суда в Югославии, где, вообще говоря, законность находится на уровне более высоком, нежели в других коммунистических государствах:

«При рассмотрении проблем, связанных с хозяйственными преступлениями, прокуроры Народных республик, а также Воеводины и Белграда на двухдневном ежегодном совещании под председательством союзного прокурора Браны Евремовича подчеркнули, что для полного успеха в деле пресечения экономического криминала необходимы решительные и хорошо согласованные действия органов правосудия, хозяйственных органов системы местного самоуправления и всех политических организаций...

Выражено единодушное мнение, что до сих пор общество недостаточно остро реагировало на хозяйственные преступления...

Прокуроры, разумеется, согласились с тем, что реакция общества должна быть более эффективной. Ужесточение наказания и способов его исполнения, как они считают, — лишь часть мер, которые необходимо предпринять...

Приведенные в выступлениях факты убедительно доказывают, что подрывной элемент, потерпевший поражение на политической арене, пытается взять реванш в экономике. Следовательно, проблема хозяйственных преступлений на данном этапе — это не только правовой, но и политический вопрос, требующий взаимодействия прокурора со всеми властными структурами и общественными организациями...

Подводя итог обсуждению, союзный прокурор Брана Евремович напомнил о важности соблюдения законности в условиях проведенной у нас децентрализации и об оправданной суровости, с которой наши высшие руководители осудили лиц, замешанных в хозяйственных преступлениях» (Политика. 23 марта 1955 г.).

Стало быть, в русле настроя «высших руководителей» прокуроры определяют и как судам судить, и как приговоры исполнять.

А коли так, то что осталось от суда и законности?

В коммунизме правовые теории трансформируются соответственно обстоятельствам и потребностям олигархии. Назначение меры наказания по принципу Вышинского — исходя из «максимальной достоверности», то есть из политических расчетов и нужд ныне отвергнуто. Но, даже

если опереться на более человеческие или более научные принципы, существо не сможет перемениться до тех пор, пока не изменятся отношения между властью, судом и законом. Разве периодические кампании «в защиту законности» или хвастливые заявления Хрущева о том, как «теперь», дескать, партии удалось взять под контроль полицию и суд, не доказывают, что изменения претерпела только потребность правящего класса в большей правовой неуязвимости, а не его действительное отношение к обществу, государству, суду, законам?

## 6

Коммунистический правопорядок не в состоянии освободиться ни от формализма и декларативности, ни от определяющей роли, которую в судопроизводстве, выборной системе и прочем играют партийные и полицейские органы. Мало того. Чем ближе к верхам, к конституции и высшим эшелонам, тем дальше отстоят друг от друга декоративная законность и все возрастающее реальное воздействие властей на те же суд и выборы.

Общеизвестны бессодержательность и помпезность коммунистических выборов, этих, по остроумному выражению Климента Ричарда, если мне память не изменяет, «скачек с участием одной лошади». Думаю, что нужно тем не менее сказать несколько слов о том, почему коммунисты не могут обойтись без выборов, никак не влияющих на расстановку политических сил, а также без столь дорогостоящего и для них самих напрочь лишнего содержания такого института, как парламент.

Кроме причин пропагандистских, внешнеполитических и иже с ними существует обстоятельство, которое не в силах обойти ни одна, в том числе и коммунистическая, власть: все должно быть узаконено. В современных условиях подобное осуществляется через выборных представителей. Народ обязан и формально поддерживать каждый шаг, предпринимаемый коммунистами.

Наряду с этим есть и еще один — глубинный, скрытый и веский резон, почему коммунистические вожди «держат» парламенты: меры правительства — верхушки нового класса — должны получить добро от его политической сердцевины — партбюрократии. Не утруждая себя заботой о мнении общества, каждое коммунистическое прави-

тельство вынуждено считаться с общественным мнением партии — коммунистическим общественным мнением.

Вот почему, хотя выборы минимально важны для коммунистов, отбор тех, кто войдет в парламент, ведется партийным верхом предельно тщательно. Учитывается масса деталей: заслуги людей, их роль и функции в движении и обществе, разнообразие профессий и так далее. С внутривнутрипартийных позиций выборы весьма важны для руководства, ибо предоставляют ему возможность поставить рядом с собой на определенный период партийные силы, которые оно считает в данный момент наиболее значимыми, сообщая тем самым себе самому степень легальности, без которой ему не пристало выступать ни перед партией, ни перед классом, ни перед народом.

Бесплодными оказались даже робкие попытки выдвижением двух или более кандидатур на каждый мандат ввести при выборах коммунистов в парламент элементы альтернативности. Югославия знает несколько таких попыток, и все они заработали от руководства клеймо «раскольничества». Сейчас из восточноевропейских стран приходят сообщения о расширенном числе кандидатов коммунистов на выборах. Допуская намерения, я считаю все же маловероятной возможность укоренить подобную практику. Хотя одно это было бы шагом вперед и даже началом продвижения коммунизма к демократии. Думаю, что пока и до таких мер далеко, а развитие в Восточной Европе пойдет скорее к «рабочему управлению» югославского образца, нежели к политической демократии и дифференциации внутри господствующего движения. Деспотическое ядро, понимая, что отход от традиционного партийного единства грозит ему большими неприятностями, по-прежнему держит в руках все нити. Было и остается фактом: любая свобода, в том числе и в партии, угрожает не только господству вождей, но и вообще тоталитаризму.

Коммунистические парламенты не просто не принимают важных решений — они неспособны на это. Заранее знающие, что будут избраны, польщенные возможностью участвовать во всей процедуре, начиная с кандидатства, депутаты, и пожелай они того, ни силами, ни мужеством вступать в дискуссии не обладают. Да и мандаты к ним пришли не от избирателей, так что ответственности перед последними они не чувствуют. Сами «народные избранники» совершенно справедливо зовут коммунистические парламенты «саркофагами». Их права и роль сводятся к



тому, чтобы время от времени единогласно поддержать нечто, уже решенное «за кулисами». Этой системе правления иные парламенты не требуются, так что коли и возможен упрек в их сторону, то единственно за дороговизну и никчемность.

Базирующееся на принуждении и насилии, непрестанно конфликтующее с народом коммунистическое государство даже при отсутствии внешних раздражителей просто обязано быть милитаристским. Нигде в современном мире культ силы, а особенно силы военной, не поддерживается так, как в коммунистических государствах. Милитаризм здесь — внутренняя, «подкожная» потребность нового класса, одна из форм его существования и упрочения его привилегий.

Вынужденное быть прежде всего, а когда нужно, то и исключительно органом насилия, коммунистическое государство есть изначально государство бюрократическое. Всецело завися от произвола горстки властителей, оно одновременно, как никакое другое государственное формирование, перенасыщено всевозможной законодательной продукцией. Едва возникнув, оно мгновенно обрастает таким количеством установлений и предписаний, что и судьи и адвокаты в них буквально тонут. Предписанию и утверждению подлежит каждый пустяк, хотя на практике от этого мало проку. «Творчество» коммунистических законодателей весьма часто навеяно идеологическими мотивами, а потому игнорирует действительность, реальные возможности. Погруженные в абстрактно-правовые «социалистические» формулы, не испытывая воздействия ни критики, ни оппозиции, они вгоняют живую жизнь в жесткие створки параграфов. Все это потом механически узаконивается парламентом.

Но между тем бюрократизм коммунистической власти не распространяется на потребности олигархии и стиль работы вождей. Государственная, она же партийная, верхушка весьма неохотно и крайне редко ограничивает себя правилами. В ее руках политика, политические решения, которые и рамок не терпят, и ждать им некогда. А так как дело идет о судьбах целой экономики, да и всего прочего, то верхи избегают любой стесненности, делая исключения лишь по мелочам — в вопросах представительского или формального характера. Творцы жесточайшего бюрократизма и политического централизма, сами ни бюрократами, ни скованными правовой нормой людьми не являют-

ся. Лично Сталин ни в чем бюрократом не был. Тито тоже. Потому зачастую в канцеляриях и службах, подчиненных коммунистическим вождям, царят беспорядок и расхлябанность.

Что, впрочем, не мешает «хозяевам» периодически устраивать кампании «по борьбе с бюрократизмом», то есть бороться с недобросовестностью и медлительностью администрации. Более того, сегодня ведется и борьба с бюрократически-сталинистским стилем управления. Но все это далеко от намерения устранить истинный, глубокий бюрократизм, сущность которого — тотальное подчинение всей жизни государства, включая экономику, политическому аппарату.

В действиях «против бюрократизма» коммунистические вожди обычно ссылаются на Ленина.

Между тем внимательное изучение Ленина показывает: он не видел, да и не мог видеть скатывания новой системы к господству политической бюрократии. Конфликтую с бюрократией, частично доставшейся в наследство от царской администрации, он видел главное бюрократическое зло в том, что «нет образцовых аппаратов сплошь из коммунистов или сплошь из учеников совпартшкол»\*. При Сталине старые чиновники исчезли и их места «сплошь» заняли коммунисты что тем не менее только усилило бюрократизм. И даже там, где, как в Югославии, бюрократический образ правления значительно ослаблен, сущность — монополия политической бюрократии, а также отношения, из этого проистекающие, — стоит незыблемо. Устраненный в качестве административного метода управления, бюрократизм продолжает жить как общественно-политическое отношение.

## 7

Коммунистическое государство, точнее, власть тяготеет к полному обезличиванию как индивидуума, так и народа, и даже своих собственных защитников.

Целый народ стремятся превратить в особую породу чиновников. Заработки, метры жилья и даже, по большому счету, любые способы удовлетворения духовных потребностей — все подлежит опосредованной либо непо-

---

\* Ленин В. И. Соч. Изд. 3-е. Т. 29. С. 425.

средственной регламентации и контролю. Различия между людьми определяются не тем, входит человек в разряд служащих или нет (служат все), а размером зарплаты и привилегиями. Пройдя коллективизацию, даже крестьянство все больше втягивается во всеобщий бюрократический союз.

Но это только внешняя сторона. Как рабочий отличается от капиталиста, хотя оба свободно располагают своим товаром: один — орудиями производства, другой — рабочей силой, так и в коммунистической системе есть резкие различия между социальными группами. Но коммунистическое общество, вопреки всем этим противоречиям и различиям, в целом монолитнее любого другого. Слабость этой монолитности в ее принудительном и преисполненном противоречий характере. И это при полной взаимозависимости частей, словно деталей огромного единого механизма.

Как и абсолютизм, коммунистическая власть, коммунистическое государство видят личность абстрактной — идейной — единицей. Меркантилисты при абсолютизме загоняли экономику под пяту государства, а сама корона (пример тому — Екатерина Великая) считала, что государство обязано перевоспитывать своих подданных. В той же манере действуют и так же размышляют коммунистические вожди. Но если тогда власть, вступив в отношения с собственниками, бралась подчинить себе идеи, то теперь, в коммунистической системе, власть — одновременно и собственник, и идеолог. Это не значит, что личность исчезла, превратилась в тупой бесформенный винтик, перемещающийся волей некоего могучего волшебника внутри гигантского, всеохватывающего, бездушного государственного механизма. Будучи от природы склонной и к коллективизму, и к индивидуализму, личность уберегла себя даже в этой системе. Она лишь заглушена более, чем где бы то ни было еще, и индивидуальность свою проявляет иными способами.

Ее мир — мир мелких повседневных забот без капли надежды на просвет в будущем. А поскольку к тому же и эти мелкие повседневности наталкиваются на твердыню системы, подмявшей под себя всю без остатка материальную и духовную жизнь людей, то и крошечный ее личный мирок тоже несвободен, незащищен. Незащищенность — образ жизни индивидуума в коммунистической системе. Если он покорен, то государство даст ему возможность

прозябать. Личность разрывается от несовместимости желаний и возможностей. Она готова признать приоритет коллектива и подчиниться его интересам — как, впрочем, в любой другой системе, но восстает против узурпаторски настроенных представителей коллектива. Как большинство людей в коммунистической системе, не имея ничего против социализма, возмущаются методами его реализации — наилучшее, кстати, подтверждение того, что коммунисты никакого социализма и не строят, — так и индивидуум не признает ограничений, вводимых не в интересах сообщества, а только олигархии. Представителю иной системы очень непросто понять, каким же образом человеческие существа, народы, храбрые и гордые, могли отречься от свободной мысли и свободного труда.

Наиболее просто и точно, хотя и не исчерпывающе, это можно объяснить неумолимостью и всеохватностью насилия. Но дойти до подобного помогли и более глубокие объективные причины.

Одну, историческую, мы уже называли: в неодолимом стремлении к экономическому преобразованию народы вынуждены были смириться с потерей свободы.

Природа второй причины — морально-интеллектуальная. Подобно тому как индустриализация выросла в вопрос жизни или смерти, так и социализм-коммунизм — ее идейный слепок — достиг уровня идеала, надежды, воодушевления, сравнимого разве что с религиозным экстазом: и так не для одних коммунистов, но и для части народа. В понятии людей, не принадлежавших к прежним классам, осознанное, организованное выступление против партии и власти было равносильно измене родине, предательству самых светлых идеалов.

Корни того, что в коммунистической системе не возникло организованной оппозиции, вне всякого сомнения во всеохватности, тоталитарности коммунистического государства. Оно пронизало собой все общество, каждую личность, внедрилось в исследования ученых, во вдохновение поэтов, в мечты влюбленных. Восстать против него — значило не только приговорить себя к неминуемой смерти, но и обречь на всеобщее презрение и остракизм. Под свинцовой плитой его гнета нет воздуха, нет света.

Обе оппозиции — и вышедшая из прежних классов и рожденная в самом коммунизме — реально были не в состоянии разработать программу борьбы, найти для нее формы. Представители первой тянули вспять, а второй —

соперничали с режимом в бесцельной и бессмысленной революционности и догматическом мудрствовании. Условия для новых путей еще не вызрели.

Наряду с этим народ нащупывал такие пути инстинктом, давая отпор на каждом шагу, по поводу каждой «мелочи». Это сопротивление сегодня — крупнейшая и самая конкретная угроза коммунистическим режимам. Коммунистические олигархии не знают больше, что думает и чувствует их народ. Окруженные океаном мрачного и глубокого негодования, они уже не столь уверены и беззаботны, как прежде.

Если истории неведома иная система, способная, подобно коммунистической диктатуре, в такой мере нейтрализовать своих противников, то не знает она и порядков, когда-либо вызывавших столь глубокое и широкое неприятие. Похоже, чем закрепощеннее сознание и ограниченнее возможности организованных действий, тем с большей силой нарастает глухой мрачный ропот низов.

Коммунистический тоталитаризм ведет к тотальному негодованию, в котором сгорают все нюансы чувств, остаются голое отчаяние и ненависть.

Стихийное сопротивление, ежечасный, восплаемый «мелочами» протест миллионов — это форма отпора, которую коммунистам не удалось задуть. Даже годы советско-германской войны дали тому грозное подтверждение. Есть основания считать, что, когда немцы вторглись в СССР, и у русских воля к сопротивлению не отличалась особой непоколебимостью. Но Гитлер быстро продемонстрировал свои цели: уничтожить Российское государство и превратить славян в безликих рабов своего «герренфолька». Тогда из народных глубин выплеснулась традиционная и неугасимая любовь к Родине. В течение всей войны Сталин ни разу не упомянул ни советскую власть, ни свой социализм, только — Родину. А за нее стоило умереть даже вопреки сталинскому социализму.

## 8

Национальный вопрос в том виде, естественно, каким он был до их прихода к власти, то есть с преобладанием конфликта между национальными буржуазиями, коммунисты сняли с повестки дня так же, как многие другие проблемы, унаследованные от смещенных порядков и не поддавшиеся при них разрешению.

Но до конца решить национальный вопрос коммунистические режимы оказались неспособны. Он возник вновь — в ином, еще более остром, чем прежде, виде.

Национальный гегемонизм в СССР проявляется через наиболее мощные отряды бюрократии, через представителей того народа, который в основном олицетворяет собой режим. С другой стороны, в Югославии основа стычек — трения между бюрократией различной национальной принадлежности. Но ни в первом ни во втором случае речь на деле не идет о национальных конфликтах в прежнем их понимании. Коммунисты по своей сути не националисты, национализм для них — прием, как и всякий другой, с помощью которого они добиваются укрепления своего могущества. При нужде они на время способны стать даже крайними шовинистами. Сталин, грузин по национальности, когда интерес (и пропаганда тоже) требовали, оборачивался в «сверхрусского». Сам Хрущев в числе прочих сталинских «ошибок» признал и страшную истину об истреблении целых народов. Сталин «со товарищи» играли бы на национальных предрассудках крупнейшей нации — русских, будь те даже готтентотами. Следуя собственной выгоде, коммунистические вожди всегда прибегают к чему-то подобному. Включая проповедь равноправия бюрократии разных наций, что, по их мнению, в главных чертах совпадает с требованием национального равноправия.

В основе трений между коммунистическими национальными бюрократиями нет ни национальных чувств, ни национальных интересов. Что-то и от этого присутствует, но первопричина в другом: примарно верховенство власти в своей зоне, на пространстве, которым управляешь. Шум вокруг репутации и процветания «родной» республики недалеко ушел от стремления упрочить собственное всевластие. То же с территориальным делением, когда административные образования по «языковому» признаку не уступают в значимости национальным коммунистическим государственным единицам. Коммунистические бюрократы — это в равной степени «заступники» своих наций — республик — и рьяные локал-патриоты, ревниво охраняющие «покой» административных зон, которыми они управляют и в основу выделения которых совсем не обязательно положена языковая либо национальная однородность населения. В руководстве некоторых чисто административных единиц Югославии (областные комитеты) «шовиниз-

ма» бывало подчас значительно больше, нежели в кругах республиканской власти.

У одних и тех же коммунистов можно обнаружить как близорукий бюрократический шовинизм, так и национальное ренегатство. Все зависит от обстоятельств и потребностей.

Язык, на котором коммунисты изъясняются, трудно назвать языком их народа. Слова те же, но выражения, понятия, внутренний смысл — все отдельное, специфически коммунистическое.

Будучи сторонниками автаркии по отношению к другим системам и локалистами в собственном доме, коммунисты, если того потребуют их интересы, немедленно превращаются в самых непоколебимых интернационалистов.

Некогда столь самобытные, в облике, истории и надеждах своих неповторимые, теперь нации, раздавленные тяжелой пятой всемогущих, всезнающих и, по сути, наднациональных олигархов, — неподвижны, бесцветны, апатичны. Коммунистам не удалось вдохнуть в них бодрость, повести к обновлению. И в этом смысле они не решили национальный вопрос. Кому известны сегодня имена украинских писателей или политиков? Что произошло с нацией, равной по величине французской и бывшей когда-то наиболее передовой в России? Такое впечатление, что лишь аморфная, всякой оформленности лишенная людская масса существует во власти столь же безликой машины угнетения.

Но это не так.

Подобно личности, подобно различным общественным классам и идеям, нации, оберегая от уничтожения свою самобытность, — живут, движутся, противостоят деспотии. Да, сознание и дух их подавлены. Но не сломлены. Покоренные, они не покорились. Не один прежний — буржуазный — национализм наполняет сегодня их протест, но и непреходящее стремление остаться собой и самостоятельным вольным развитием содействовать все нарастающей тенденции объединения человечества в бессмертном его бытии.

## ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

### 1

При коммунистическом режиме развитие экономики — это не только основа, но и отражение пути самого режима от революционной диктатуры к реакционной де-

спотии. Такое развитие, исполненное борьбы и противоречий, показывает одновременно, как необходимое на первых порах вмешательство государства в экономику постепенно оборачивается политикой, замешенной непосредственно на субъективной заинтересованности правящей бюрократии. Сначала государство захватывает все средства: необходимы вложения в быструю индустриализацию; в итоге дальнейшее экономическое развитие управляется главным образом интересами правящего класса.

В сущности, так поступают все собственники, ими всегда руководит личный интерес. Однако новый класс отличается от прочих собственников тем, что сосредоточивает в своих руках практически все национальные богатства, а к экономической своей мощи идет сознательнее и организованнее. Сознательная организованность, осуществляемая через политические, хозяйственные и другие организации, характерна и для других классов. Но из-за многочисленности класса собственников в предыдущих, докоммунистических экономических формациях и существования там различных противоборствующих форм собственности экономика все же развивалась преимущественно спонтанно — если иметь в виду, конечно, условия нормальные, мирные.

Не удалось избежать подобного и коммунистической экономике, хотя она — в отличие от всех прочих — именно преодоление спонтанности неизменно считала одной из первоочередных задач.

У этой практики есть свое теоретическое обоснование: коммунистические вожди, искренне убежденные в своем знании экономических законов, считали, что могут с научной точностью управлять производством. Точно между тем лишь единственное: они смогли завладеть экономикой, что, как и победа в революции, создавало у них иллюзию, будто все происходящее есть результат их необыкновенной научности.

Уверенные в непогрешимости своих теорий, они и в экономике руководствуются главным образом ими же. Чуть ли не анекдотом стало, как коммунисты сначала сравнивают некую из предполагаемых своих экономических мер с соответствующим положением у Маркса, а потом только берутся претворять ее в жизнь. В Югославии официально заявили, что все планирование пойдет «по Марксу», хотя сам Маркс ни плановиком, ни вообще специалистом в этом деле никогда не был. На практике ничего не получается «по Марксу». Однако главное —



совесть у вождей чиста и, что еще важнее, насилие и господство в экономике оправданы высокими целями и «научно» обоснованы.

Догматизм в экономике неотделим от коммунистической системы.

Но было бы все же неверным считать подчинение экономики догматическим постулатам важнейшей чертой коммунистической экономической системы — скорее, это ее хроническая болезнь. Именно в экономике — больше, нежели где-то еще, — коммунистические вожди набрались непревзойденного умения либо «приспособить» теорию к своим нуждам, либо, если им это выгодно, вообще от нее отказаться.

Помимо исторической необходимости проводить ускоренную индустриализацию коммунистическая бюрократия вынуждена была еще и строить экономическую систему, обеспечивающую незыблемость ее позиций. Якобы во имя бесклассового общества и уничтожения эксплуатации она создала закрытую систему хозяйствования, экономику, основанную на таких формах собственности, которые только ей дают право на господство и монополию. Сначала объективные причины заставили коммунистов избрать особую — «коллективную» — форму собственности. Но ее укрепление (без учета, совпадает это с нуждами национальной экономики и дальнейшей индустриализации или нет) оборачивается самоцелью и впредь диктуется исключительно классовым, коммунистическим интересом. Узурпация всей экономической деятельности сначала якобы во имя «идеальных» целей, а в дальнейшем для того, чтобы удержать в руках полностью собственность и абсолютное господство, — вот истинная причина масштабных и последовательных политических мер в коммунистической экономике, управления экономикой не с точки зрения органически присущих ей стремлений и возможностей, не на основе потребностей нации, но исключительно исходя из идеологических и эгоистических интересов правящей бюрократии.

В одном из интервью 1956 года Тито признал, что западные экономики также располагают «социалистическими элементами», но в них, мол, нет «сознательности». Этим сказано все: именно вследствие «сознательного», то есть принудительного построения «социализма» в экономике своих стран коммунисты и должны цепко держаться за деспотизм, за сохранение своей собственнической монополии.

Слишком большое, решающее значение, которое коммунисты приписывают «сознательному началу» в процессах развития экономики и общества, вскрывает насильственный характер и собственнические устремления их хозяйственной политики. Будь по-другому, стоило ли бы так настаивать на этом факторе?

Точно так же и радикализм коммунистов при отрицании любой формы собственности, кроме той, которую они считают социалистической, говорит в первую очередь об их необузданных собственнических аппетитах, их неприкрытом властолюбии. От своего радикализма они отказывались или видоизменяли его, как только он переставал их устраивать, с собственной теорией обращались хуже, чем с половой тряпкой. В Югославии, например, колхозы сначала организовывали, а потом распускали (во имя «непогрешимого» «марксизма» и «социализма»), избрав наконец к сегодняшнему дню в этом вопросе некую третью — срединно-туманную позицию. Подобные примеры можно найти в любой коммунистической стране. Однако ликвидация всех, за исключением ими самими насажденной, форм собственности остается неизменной целью коммунистов.

Любая политика выражает волю определенных экономических сил и стремится управлять ими. Даже коммунисты не смогли добиться полного господства над производством. Но они добились постоянного насилия над ним, непрестанного подчинения его своим идеологическим или политическим целям. В этом отличие их политики от всякой другой.

## 2

Тоталитарным характером собственности, как и слишком значительной, часто преобладающей ролью, которую в экономике играет идеология, можно объяснить и особую ситуацию с производителями в коммунизме. Свобода труда в Советском Союзе была ограничена сразу после революции. Однако полностью ее не уничтожила даже нужда режима в скорейшей индустриализации. Это случилось уже после фактической победы промышленной революции и связанного с ней упрочения позиций нового класса. Закон, карающий за уклонение от нее и фактически покончивший с гарантией свободного выбора работы, был принят в 1940 году. В тот период и после войны

наличествовали также чисто рабские формы труда — трудовые лагеря. Границ между ними и фабричным трудом практически не было.

Трудовые лагеря и разного рода «добровольные» трудовые акции являются тяжелой, крайней формой несвободного труда. Они могут иметь временный характер, сам же несвободный труд — явление при коммунизме постоянное, в зависимости от потребностей момента более или менее ярко выраженное.

В других коммунистических странах несвободный труд не имел такого размаха и форм организации. Однако абсолютно свободного труда не существует ни в одной из них.

Несвободный труд в коммунистических системах является следствием монопольного владения собственностью на все или почти все национальные ресурсы. Работник поставлен в такое положение, что свой товар — рабочую силу — должен не просто продавать, что является условием его существования, но и продавать на не зависящих от него условиях, без возможности найти другого, лучшего работодателя. Есть один-единственный работодатель — государство, и работнику не остается ничего другого, кроме как принять его условия. Худшее и унижительное для работников проявление раннего капитализма — рынок рабочей силы — разрушен монопольной собственностью нового класса. Но человек труда от этого свободнее не стал.

Работник в коммунистических системах (не исключая принудительных лагерей) — это не античный раб, которого теоретически и практически держали за вещь. Даже величайший мыслитель античности Аристотель считал, что одни рождаются свободными, другие рабами. Выступая за гуманное отношение к рабам и реформу рабовладельческой системы, он тем не менее видел в рабах только орудие производства. Подобное отношение к рабочему, имеющему дело с современной техникой, что требует определенной квалификации и заинтересованности с его стороны, невозможно. Несвободный труд при коммунистической системе отличается от труда в античные и любые другие времена. Он не связан (или связан в очень незначительной мере) с техническим уровнем производства, являясь прежде всего результатом определенной политики и отношений собственности.

Между тем современная техника, нуждающаяся во все

более «свободном» рабочем, находится в латентном — то усиливающимся, то ослабевающим — противоречии с не-свободными формами труда, монополией на собственность и коммунистическим политическим тоталитаризмом.

Рабочий при коммунизме формально свободен, но степень его свободы весьма ограничена. Коммунизм вообще известен тем, что формально он свободу не ограничивает. Он делает это фактически. Что в полной мере касается труда и рабочей силы.

В обществе, где все материальные ресурсы находятся в руках одной группы, рабочая сила тоже не может быть свободной. И она — окольно — есть собственность все той же группы. Хотя все же и не полностью, ибо каждый трудящийся — индивидуум, он сам распоряжается своей рабочей силой, которая (абстрактно и в целом) является фактором всего общественного производства. Новый класс собственников использует эту рабочую силу, распоряжается ею почти в той же мере и тем же способом, как и другими национальными ресурсами и элементами производства.

Поэтому государство, вернее — партийная бюрократия, смогло сохранить привилегию на регламентирование условий труда, стоимости найма и тому подобное. Монопольно владея материальными ресурсами, осуществляя одновременно диктатуру политическую, она и обрела право диктовать, на каких и в каких условиях люди будут трудиться.

Таким образом, для бюрократии существует лишь абстрактная рабочая сила, рабочие как фактор производства. Условия на отдельных заводах и фабриках, в отдельных отраслях, увязывание зарплаток трудящихся с прибылью предприятий — всего этого для бюрократии по сей день не существует, да и не может существовать.

При подобном сосредоточении собственности в одних руках результаты общественного производства, его ценность и значимость становятся такому собственнику в конечном счете безразличны. Поэтому и к зарплаткам, и к условиям труда подход как к некой абстрактной рабочей силе — обезличенной, сведенной к квалификационным тарифам и ставкам. Конкретные результаты деятельности предприятий и отраслей не значат в этом случае ничего или значат крайне мало. Это верно как общее правило, из которого — в зависимости от условий и потребностей — могут и должны быть исключения. Такая постановка дела

неизбежно ведет к незаинтересованности конкретных производителей, то есть работников определенных отраслей и предприятий, а вместе с этим — к падению качества продукции, потерям техники и прочих ценностей. Коммунисты, неуклонно ратуя за повышение производительности труда отдельных работников, оставляют без внимания эффективность использования рабочей силы в целом.

При подобной системе возникает необходимость непрестанного стимулирования. Незаинтересованного работника побуждают к труду всевозможными премиями и наградами. Не изменяя самой системы, оставаясь монополистами в отношении собственности и власти, они, впрочем, не в состоянии обеспечить стабильного уровня заинтересованности ни конкретных работников, ни, что уж и говорить, трудящихся в целом.

Даже серьезные попытки дать рабочим долю в прибылях, предпринятые в Югославии, а ныне характерные для всей Восточной Европы, быстро кончаются тем, что бюрократия под предлогом борьбы с инфляцией и «рационализации» капиталовложений прибирает «излишки» к рукам. Трудящимся остаются чисто символические суммы и право через партийную или профсоюзную организацию, то есть через ту же бюрократию, вносить предложения о том, как потратить эти крохи. Лишенные права на забастовки и распоряжение собственностью, рабочие не смогли получить и серьезной возможности реально участвовать в распределении прибылей. Оказалось, что все эти права тесно связаны как между собой, так и с проблемой политических свобод, отдельно, изолированно друг от друга осуществляться они не могут.

При такой системе невозможны свободные профсоюзы, а забастовки — явление исключительное, крайняя мера, взрыв недовольства трудящихся (Восточная Германия, 1953 г., Познань, 1956 г.).

Отсутствие возможностей для проведения забастовок коммунисты объясняют тем, что рабочий класс якобы находится у власти и опосредованно — через «свое» государство — является собственником средств производства: таким образом, мол, забастовки были бы направлены против него самого. Наивно, конечно, но тем не менее такой резон опирается на отсутствие частной собственности, и факт, что настоящий собственник, как мы знаем, скрыт под маской коллективности и формально неопределен.

Основная же причина невозможности забастовок в том, что владелец собственности, единый во всех лицах, располагает всеми ресурсами и, главное, рабочей силой; любая эффективная акция против него, если она не носит всеобщего характера, трудноосуществима. Забастовка на одном или нескольких предприятиях — даже если предположить, что тотальная диктатура ее допустит, — серьезной угрозы этому собственнику не создаст, ибо собственность его не столько в данных конкретных предприятиях, сколько в производстве целиком. Этого хозяина потеря нескольких предприятий не заденет, тем более что потерю производителя, то есть все общество, должны будут ему возместить. А раз так, то забастовки для коммунистов — проблема скорее политическая, нежели экономическая.

Отдельные забастовки практически невозможны и бесперспективны, для всеобщих же нет политических условий. Все же в исключительных ситуациях дело доходит и до забастовок. Отдельные забастовки тогда, как правило, перерастают во всеобщие, приобретая ярко выраженный политический характер.

К тому же коммунистические режимы ведут борьбу с возможным недовольством, непрестанно раскалывая рабочий класс путем выдвижения из его рядов освобожденных руководителей. Последние «просвещают», «идейно закаляют» и «направляют» трудящихся.

Профсоюзные и другие профессиональные организации по духу своему и задачам, которые перед ними ставятся, только и могут, что быть верными помощниками единственного обладателя собственности — властвующей политической олигархии. Этим и определяют для них «главные направления»: способствовать «строительству социализма», то есть обеспечивать подъем производства, а также распространять среди рабочих иллюзии и верноподданнические настроения. Единственным заметным их плюсом следует считать деятельность по повышению культурного уровня трудовых слоев.

Рабочие организации при коммунистических системах на деле являются работодателемскими «желтыми» организациями особого толка. Определение «особого толка» необходимо, так как работодатель является одновременно и самой властью, и носителем господствующей идеологии. В иных системах эти функции чаще всего разделены, так что трудящиеся могут если уж не опереться на одну из

них, то во всяком случае обратить себе на пользу раздоры и трения, между ними возникающие.

Вовсе не случайно рабочий класс — «основная головная боль» режима. Объяснение следует искать не в идейных, гуманитарных или подобных этим причинах, а в том, что именно на рабочем классе держится производство, от которого зависит и возвышение, и в конечном счете само существование нового класса.

### 3

Несмотря на закрепощенность труда и отсутствие свободных рабочих организаций, границы эксплуатации существуют и при коммунистических режимах. Их исследование могло бы стать предметом более глубокого и конкретного анализа. Остановимся лишь на самом существенном.

Помимо крайне подвижных политических причин, каковой, например, является страх перед возмущением трудящихся, существуют и четкие границы эксплуатации: те ее формы и масштабы, что стали слишком дорогостоящими для самой системы, рано или поздно подлежат упразднению, сокращению.

Так, в Советском Союзе указом от 25 апреля 1956 года было отменено уголовное преследование работников, связанное с опозданием или уходом с работы. Были ликвидированы и многие трудовые лагеря, где люди, которых режим бросил туда для пополнения армии грубой рабочей силы, практически полностью смешались с заключенными по политическим мотивам. Рабочая сила благодаря такой мере абсолютно свободной не стала: сохранялось еще множество иных ограничений, но все же это был самый крупный положительный сдвиг после Сталина.

Рабский принудительный труд не только создавал режиму политические трудности, но и становился слишком дорогостоящим. С появлением в СССР более сложной техники цена такого труда оказалась слишком высока. Подневольный рабочий, как бы мало ни тратилось на поддержание его существования, при наличии многочисленной администрации, необходимой для принуждения его к труду, стоит больше, чем может произвести. Тем самым его труд теряет смысл и упраздняется.

Современное производство ставит и другие границы

эксплуатации: изнуренный работник на современной машине не дает нужного результата. Тоже самое с гигиеническими, культурными и другими требованиями.

Но в коммунистических системах наряду с границами эксплуатации существуют и границы свободы рабочей силы, что обусловлено природой власти и собственности. Пока последние остаются без изменения, рабочая сила не может стать свободной, она продолжает оставаться объектом более или менее интенсивного экономического и административного принуждения.

Вместе с тем коммунистический режим, подстегиваемый нуждами производства, может регулировать условия труда и положение работников путем быстрого принятия крупномасштабных социальных мер: регулирует продолжительность рабочего времени, права на отдых, социальное обеспечение, образование, условия женского и детского труда. Многие из этих мер так и остаются на бумаге, но немало и безусловных положительных.

Тенденция к регулированию производственных отношений, порядку и спокойствию на производстве есть величина для коммунизма постоянная. «Единоколлективный» собственник решает проблему рабочей силы в целом. Ни в чем, а особенно в этом вопросе, такая собственность не терпит «анархии». Как и любой другой элемент производства, рабочая сила должна пребывать «в полном порядке». Жизненные интересы работников при этом второстепенны и несущественны.

Столь перевозносимая полная занятость в коммунистических системах при ближайшем рассмотрении являет целый ряд болевых точек.

Как только все материальные богатства сосредоточиваются в одних руках, возникает необходимость планирования — в том числе и потребности в рабочей силе. Политические интересы неизбежно приводят к отставанию ряда отраслей, кое-как существующих за счет процветающих собратьев. Этим прикрывается фактическая безработица. При свободе производственных отраслей и отсутствии со стороны режима искусственной поддержки одних отраслей за счет других безработица появилась бы незамедлительно. Более тесные связи с мировым рынком сделали бы этот процесс еще более масштабным и очевидным.

Полная занятость, таким образом, это не следствие коммунистического «социализма», а определенная эконо-



мическая политика, которую в конечном счете характеризуют дисгармония и низкая производительность труда. Подобная «полная занятость» являет не силу, а слабость такой экономики. В Югославии, например, рабочих не хватало до тех пор, пока страна не перешла к более экономичному производству. Тотчас же возникла безработица, которая, будь производство действительно экономичным, могла бы иметь даже больший масштаб.

Полная занятость в коммунистических системах прикрывает безработицу. Всеобщая бедность делает незаметной безработицу: части населения точно так же, как фантастический прогресс отдельных отраслей прикрывает оставание остальных.

Подобным способом такая собственность и такая власть предотвращают хозяйственный крах, но не спасают от хронического кризиса экономики. Монополия на собственность дает возможность маневрировать, дабы избежать краха, однако эгоистические интересы нового класса и идеологический характер экономики не позволяют вести здоровое, сбалансированное хозяйство.

## 4

Маркс не был первым, кто представлял себе экономику будущего как плановую. Но он первым или одним из первых заметил, что современная экономика неизбежно тяготеет к планированию хотя бы потому, что, помимо общественных причин, которые ее могут к этому подтолкнуть, основывается на научной технологии. Монополии первыми вступили на путь планирования в гигантских национальных и международных масштабах. Сегодня планирование — всеобщее явление, существенный элемент экономической политики большинства правительств, хотя и имеет различный характер в развитых и слаборазвитых странах. Планирование является следствием определенного уровня производства и изменений социальных, международных и других условий — без особой связи с чьей-то теорией, особенно с теорией Маркса, построенной на материале общественно-экономических отношений гораздо более низкого уровня.

Советский Союз был первой страной, начавшей планирование в общенациональном масштабе под руководством марксистов, которые и связали планирование с СССР

и марксизмом. В действительности же учение Маркса, ставшее идейной основой революции в России, сделалось позже прикрытием действий советских вождей, имея с ними не больше общего, чем Нагорная проповедь с инквизицией.

Все приведенные уже выше исторические и иные причины, лежащие в основе советского планирования, были затем подкреплены соответствующими теориями, среди которых теория Маркса была самой близкой и приемлемой, учитывая, помимо прочего, социальную базу и историю коммунистического движения.

Опираясь в принципе на Маркса, коммунистическое планирование вместе с тем имеет более глубокий идейный и материальный фон. Как еще, если не планомерно, можно управлять экономикой, перешедшей или переходящей в руки единого владельца? И как без планирования вкладывать в быстрейшую индустриализацию столь огромные средства? Чтобы стать идеалом, надо сначала сделаться необходимостью. Так и с коммунистическим планированием. Оно сориентировано прежде всего на создание отраслей, обеспечивающих упрочение режима. Это общее правило, так как в каждой коммунистической стране, особенно самостоятельной по отношению к Москве, свои особенности и отклонения. Но в общих чертах это правило применимо для всех них.

Понятно, что развитие национальной экономики в целом имеет важное значение для крепости режима, а прогресс одного направления производства невозможно полностью и надолго отделить от других. Но центр тяжести планирования в любой коммунистической системе всегда на отраслях, имеющих решающее значение для политической стабильности режима. И в первую очередь тех, что обеспечивают мощь, роль и привилегии бюрократии. Они одновременно укрепляют режим в международном плане и способствуют дальнейшей индустриализации. До сих пор такими отраслями, как закон, было тяжелая и военная промышленность. Но, естественно, в отдельных странах возможны варианты. Сегодня на первый план — особенно в Советском Союзе — выходит атомная энергетика: скорее по военным и внешнеполитическим, чем каким-либо другим соображениям.

Вышеозначенным целям подчинено все. Из-за этого многие отрасли отстают и работают неэффективно, возникают неизбежная несбалансированность и различные

перекося, а высокая затратность производства и хроническая инфляция становятся постоянным явлением. По данным Андре Филипа, капиталовложения в тяжелую индустрию выросли в СССР с 53,3% общих капиталовложений в 1954 году до 60% в 1955 году. В тяжелую промышленность вкладывается 21% чистого национального дохода, несмотря на то, что она дает лишь 7,4% роста дохода на душу населения, из чего 6,4% — за счет расширения производства.

Понятно, что в таких условиях уровень жизни менее всего волнует новых хозяев, хотя, как известно, в соответствии с Марксом, люди — первейший фактор производства. Как считает лейборист Крэнкшоун, в Советском Союзе люди с заработной платой ниже 600 рублей в месяц должны вести отчаянную борьбу за выживание. Гарри Шварц, американский публицист, оценивает количество рабочих, получающих менее 300 рублей в месяц, примерно в 8 миллионов\*. Лейбористская «Трибюн», из которой я взял эти данные, добавляет: именно поэтому, а вовсе не ради достижения равенства, столько женщин заняты на тяжелых работах. Недавнее увеличение зарплат в СССР примерно на 30% касалось именно этих низших категорий.

Так обстоит дело в Советском Союзе. Ненамного отличается ситуация и в других коммунистических странах, даже в таких, которые, как, например, Чехословакия, обладают развитой технической базой. Югославия, бывшая когда-то экспортером сельскохозяйственной продукции, сегодня ее импортирует. По официальным данным, уровень жизни рабочих и служащих сегодня ниже, чем перед войной, когда Югославия находилась в числе слаборазвитых капиталистических стран.

Идеологические и политические мотивы в большей степени, чем интересы национальной экономики как единого целого, являются движущей силой коммунистического планирования. Именно эти мотивы являются доминирующими каждый раз, когда режим должен выбирать между экономическим прогрессом, уровнем жизни нации и своими политическими классовыми интересами.

Подобное планирование и тоталитарная диктатура до-

---

\* Имеются в виду, естественно, размеры зарплат до денежной реформы 1961 г., т. е. — 60 и 30 рублей в нынешнем исчислении. — *Прим. пер.*

полняют друг друга. Идеиные соображения побуждают коммунистов делать большие вложения в определенные отрасли. На эти-то отрасли и направлено целиком планирование. Это приводит к глубоким деформациям, которые не могут быть оплачены доходами от использования «национализированных» богатств капиталистов и крупных помещиков и покрываются в основном низким уровнем оплаты труда рабочих и ограблением крестьян путем принудительного откупа.

Можно возразить, что, если бы Советский Союз не проводил такого планирования, связанного с форсированием тяжелой промышленности, он вступил бы во вторую мировую войну невооруженным и оказался легкой добычей гитлеровских агрессоров. Это не совсем точно. Ведь сила государства не только в танках и пушках. Не преследуй Сталин определенных — империалистических — целей во внешней и не сделай он тотальное угнетение содержанием своей внутренней политики, не сложилось бы и ситуации, в которой его страна оказалась один на один с захватчиком.

Впрочем, подобные праздные рассуждения могут продолжаться до бесконечности.

Одно можно утверждать определенно: для развития военной промышленности не был необходим именно такой — идеологизированный — метод планирования и развития экономики. Подобное планирование вызывалось потребностями власти имущих быть внешне и внутренне независимыми от других сил, причем сами по себе нужды обороны носили характер сопутствующего, хотя и неизбежного фактора. Советский Союз мог бы располагать тем же количеством оружия, а свое планирование строить по-другому. Но в этом случае он вынужден был бы пойти на более тесные связи с иностранными рынками, что означает и зависимость от них, и иной курс внешней политики. В условиях сегодняшнего переплетения мировых интересов, когда войны принимают всеобщий характер, масло почти так же важно для войны, как пушки. Это подтвердилось на примере СССР: продовольственная помощь из США была ему почти так же полезна, как оружие.

Похожая картина и в сельском хозяйстве. В современных условиях прогрессивное сельское хозяйство опирается на индустриализацию, на промышленность. Вместе с тем оно не обеспечивает внешней независимости коммунистического режима, создавая внутреннюю зависимость

от крестьян, пусть и объединенных в свободные кооперативы. Поэтому на первом месте была сталь (при обреченных на низкую производительность колхозах) — вместо экономического прогресса планировалась политическая мощь.

Таким образом, советское, коммунистическое планирование — это планирование особого сорта. Его породили не технический уровень производства и «социалистическая» сознательность инициаторов, а определенные исторические условия и особый тип власти и собственности. Сегодня время других факторов, в том числе технических, но и перечисленные по-прежнему активны. Это нужно иметь в виду, чтобы понять характер планирования и возможности коммунистической экономики.

Результаты такой экономики и такого планирования различны.

Концентрация всех средств в одних руках и определенный курс в управлении ими дают вершителям власти возможность добиться необычайно быстрого прогресса отдельных отраслей. Некоторые результаты, достигнутые СССР, поразили мир. Однако отставание в других направлениях делает прогресс первых неоправданным с экономической точки зрения.

Вспомним: отсталая царская Россия вышла на второе место в мире по достижениям в важнейших отраслях производства. Она стала самой грозной в мире сухопутной силой. Вырос мощный рабочий класс, широкий слой технической интеллигенции, была создана материальная база для выпуска товаров широкого потребления.

Но это не ослабило диктатуру, и нет оснований считать, что уровень жизни мог вырасти в соответствии с экономическими возможностями.

Отношения собственности и политические интересы, для которых план являлся лишь средством, делали одинаково невозможными как осязаемое ослабление диктатуры, так и повышение жизненного уровня народа. Исключительная монополия некой группы в экономике и политике, планирование с позиций укрепления ее могущества внутри и за пределами страны, что неизбежно сопровождается чрезмерным разрастанием как самой этой группы, так и ее привилегий, постоянно уводят на второй план заботу о повышении уровня жизни трудящихся и гармоничном экономическом развитии. А главная причина тут — несвобода.

Свобода в коммунистических системах стала и жизненно важной экономической проблемой.

Коммунистическая плановая экономика таит в себе анархию особого рода. Несмотря на планирование, можно смело сказать, что речь идет о самой затратной экономике в истории человеческого общества. Это, вероятно, покажется странным, особенно если принять во внимание относительно быстрое развитие отдельных отраслей, да и всего хозяйства в целом. Но такое утверждение не беспочвенно.

Даже в случае если бы группа, стоящая у власти, не руководила всем на свете, в том числе экономикой, исходя из своих узких собственнических и идейных побуждений, фантастических, не поддающихся учету потерь не удалось бы избежать. В состоянии ли одни и те же люди, даже отказавшись частично от взгляда на любое явление с высот своего могущества, бережливо и эффективно управлять сложной современной экономикой, где (несмотря на самые совершенные планы) постоянно возникают и активно действуют различные, часто противоположно направленные внутренние и внешние тенденции?

Отсутствие не только критики, но и сколь-либо серьезного влияния, «подсказки» со стороны неизбежно приводит к застою и бессмысленным потерям.

Этих потерь — при политическом и экономическом всевластии, не считающемся с затратами в рамках экономики как единого целого, — при всем желании избежать невозможно. Во что обходится нации пренебрежительное отношение к сельскому хозяйству, вызванное суевренным страхом коммунистов перед крестьянством и раздутыми капиталовложениями в тяжелую промышленность? Сколько стоят замороженные капиталы, вложенные в непродуктивные отрасли? А пренебрежение к нуждам транспорта? А низкие зарплаты, провоцирующие безделье и брак? А некачественная продукция? Нет той расходной книги и нет бухгалтера, который бы все это подсчитал.

Махнув рукой даже на собственную теорию, коммунистические вожди ни к чему не относятся так субъективно, как к экономике. А ведь именно этой сфере более всего противопоказан волюнтаризм. Коммунистическое руководство при всем желании (вдруг бы таковое обнаружилось) не способно учитывать объективные интересы экономики в целом. В любой отдельный момент оно, исходя

из политических соображений, объявляет что-то «жизненно важным», «ключевым», «решающим» (для него, возможно, на самом деле так), и ничто не мешает ему реализовать намеченное, ибо боязнь потерять власть и собственность отсутствует.

Время от времени, когда дело стопорится или огромные потери становятся очевидными, вожди решаются на критику и самокритику, «делают выводы». Хрущев критикует сельскохозяйственную политику Сталина, Тито — собственный режим за непомерные капиталовложения и растроченные миллиарды. Суть же остается неизменной. Те же люди практически теми же методами управляют той же системой, пока снова не появятся «дыры» и «искривления». Потерянных богатств не вернуть, но режим и партия за это не отвечают. Они «учли» ошибки и «исправят» их. Сказка про белого бычка, одним словом...

Ни один из коммунистических руководителей не был наказан за бездарно разбазаренные баснословные средства, зато многие были свергнуты за «идеологические отклонения».

Гигантские по размерам хищения и растраты при коммунистических системах неотвратимы. Все запускают руку в «народное добро» — не по нужде, а просто потому, что оно как бы ничье. Ценности как бы перестают быть таковыми, что создает благоприятную атмосферу для краж и разбазаривания. В одной только Югославии в 1954 году было раскрыто более 20 тысяч случаев хищения «общественного имущества». Коммунистические лидеры, распоряжаясь национальным достоянием как своей собственностью, вместе с тем растрачивают ее как чужую. Такова природа собственности, власти, системы.

## 6

Самая же крупная растрата — разбазаривание человеческого труда — остается невидимой.

Вялый, непроизводительный труд миллионов незаинтересованных людей, исключение возможности всякой деятельности, на которой висит ярлык «несоциалистической» — даже при отсутствии эксплуатации, — вот те не поддающиеся учету, незримые и сверхгигантские растраты, избежать которых не мог ни один коммунистический

режим. Считая себя сторонниками принятой Марксом теории Смита, по которой труд — творец стоимости, их лидеры как раз о труде и рабочей силе пекутся менее всего, растрачивая их как нечто, лишенное всякой ценности, в любом случае — восполнимое.

Фатальный страх коммунистов перед «реставрацией капитализма», экономические меры, диктуемые идеологическим, узкоклассовым интересом, наносят нации великий материальный урон, тормозят ее развитие.

Отмирают целые направления трудовой деятельности людей, ибо государство не в состоянии оказать поддержку их существованию и развитию; лишь «государственное» признается социалистическим. Прямо как в поговорке: «Сам не ест и другому не дает».

Каким образом и до каких пор нация может выносить такое? Не близится ли момент, когда сама индустриализация, поначалу нуждавшаяся в коммунистах, развиваясь, будет способствовать упразднению их власти, их формы собственности?

Огромные средства тратятся впустую и по причине изолированности коммунистических экономик.

Любая коммунистическая экономика являет собой, по сути, автаркию. И тут причины кроются в характере власти и собственности. Ни одному коммунистическому государству, включая Югославию, которую конфликт с Москвой вынудил расширить взаимодействие с некоммунистическими странами, не удалось во внешнеэкономических связях пойти дальше традиционного товарообмена. Совместное плановое производство в содружестве с другими странами и в достаточно крупных масштабах так и не было осуществлено.

Коммунистическому планированию изначально нет дела до потребностей мирового рынка и производства в других странах. Частично по этой причине, частично в ослеплении идейными и подобными им соображениями коммунистические правительства не слишком пекутся и о создании благоприятных естественных условий развития производства. Предприятия часто сооружаются без достаточной сырьевой базы, почти никогда не берется в расчет мировой уровень цен и себестоимость отдельных образцов продукции. Какая-то продукция обходится производителю в несколько раз дороже, чем в других странах; в то время как отрасль, которой по силам превзойти средний мировой уровень продуктивности и получить воз-



возможность конкурировать на мировом рынке, перебивается с хлеба на воду. Новые отрасли создаются невзирая на то, что мировой рынок буквально забит продукцией, которую они выпускают. И все это оплачивает трудовой народ: ведь олигархам необходима независимость.

Вот одна сторона проблемы, общая для всех коммунистических режимов.

Другая — это бессмысленная гонка «ведущей социалистической державы», Советского Союза, за наиболее развитыми странами, стремление «догнать и перегнать». Сколько это стоит? И куда ведет?

Вероятно, в одной или даже в ряде важнейших отраслей Советский Союз и мог бы догнать развитые страны. При колоссальных трудозатратах, низком внутреннем уровне оплаты труда и ценой отставания других отраслей это, может быть, и достижимо. Но насколько экономически оправданно, каких лишений и напряжения сил будет стоить нации — уже другой вопрос.

Подобные планы агрессивны сами по себе. Что должна думать другая сторона: каковы цели советского правительства, которое, невзирая на низкий уровень жизни в стране, стремится занять первое место по выпуску стали и добыче нефти? Что остается от «мирного сосуществования» и «миролюбивого сотрудничества», если они складываются из состязания в тяжелой промышленности и весьма скромного товарообмена? Что остается от сотрудничества, если коммунистические экономики развиваются замкнуто, а на мировую арену выходят преимущественно по идеологическим соображениям?

Такие планы и отношения, впусую растрачивающие свои собственные и мировые ресурсы рабочей силы и иные богатства, не оправданы с любой точки зрения, кроме, естественно, точки зрения коммунистической олигархии. Технический прогресс и меняющиеся жизненные потребности выносят на поверхность то одну, то другую отрасль не только в национальных, но и в мировых масштабах. Что, если через 50 лет сталь и нефть потеряют свое сегодняшнее значение? Об этом, как и о многом другом, коммунистические вожди не задумываются.

Степень взаимодействия коммунистических экономик, прежде всего советской, с внешним миром, стремление углубить эти отношения намного отстают от реальных технических и прочих возможностей. Уже нынешний уровень допускает гораздо более широкое сотрудничество

с мировым сообществом. С другой стороны, если для сравнения брать развитие техники, то гораздо более доступным делают такой «выход в свет» идеология и политика.

Неиспользование возможностей для сотрудничества с другими странами, форсирование контактов с внешним миром под знаком идеологии и подобных факторов — все это естественные следствия монопольного положения коммунистов в экономике и их стремления удержать власть. Такова природа системы.

Ленин был во многом прав, повторяя, что политика — это «концентрированная экономика». В коммунистической системе все как бы поставлено с ног на голову: экономика превратилась в концентрированную политику, роль политики в ней является определяющей.

Изолированность от мирового рынка, «коронация» монаршей волей Сталина собственного «мирового», «социалистического», рынка, за который и нынешние советские руководители стоят горой и который является лишь иным выражением автаркичности экономики коммунистического блока, — одна из наиболее важных, если не самая важная причина международной напряженности, а также растраниживания ресурсов в мировых масштабах.

Монополия на собственность, устаревшие способы производства — неважно, кем применяемые и какие именно, — уже приходят в противоречие с мировыми экономическими потребностями. Свобода и собственность выросли в мировую проблему.

Нет сомнения, что ликвидация частной, капиталистической собственности в отсталых коммунистических государствах сделала возможным быстрый, хотя и дисгармоничный экономический прогресс. Возникли государства необычайно крепкие физически, выносливые, полные свежих сил. Их ведет класс, самоуверенный и фанатичный, который только что вкусил сладость обладания властью и собственностью. Но все это ни в коей мере не решило (и не может при возникших формах собственности и власти решить) ни один из вопросов, поставленных классическим социализмом XIX века или даже Лениным, а еще менее в состоянии обеспечить экономическое развитие, свободное от внутренних проблем и потрясений.

Впрочем, это уже отдельный вопрос.

Коммунистическая экономическая система, сильная концентрацией сил в единых руках, привлекательная своей

новизной и быстрыми, хотя и односторонними, успехами, являет глубокие трещины и слабости с того самого момента, когда ее уклад полностью воцарился в обществе. Сохраняя по-прежнему немалый потенциал, она тем не менее уже входит в зону проблем. Ее будущее все неопределеннее, ей и в дальнейшем предстоит ожесточенная внутренняя и внешняя борьба за выживание.

## НАСИЛИЕ НАД ДУХОМ

### 1

Насилие над человеческим духом, к которому коммунисты, добившись власти, прибегают с циничной утонченностью, лишь отчасти берет начало в марксистской философии — если нечто такое существует. Коммунистический материализм, вероятно, наиболее нетерпимое мировоззрение, что одно это толкает его апологетов на громкие действия в отношении любой «несовпадающей» точки зрения. Вместе с тем не будь упомянутое мировоззрение связано с определенными формами власти и собственности, им нельзя было бы объяснить всю чудовищность методов истязания и умерщвления человеческой мысли.

Всякая идеология, как и всякое мнение, стремится выгладеть и преподносит себя единственно правильной, безупречной. Такова природа мышления человека.

Склонность Маркса и Энгельса к исключительности особенно отчетливо выразилась не столько в идее, ими провозглашенной, сколько в способе, каким эта идея утверждалась. Уже они взяли за правило отрицать любые научные и «прогрессивно-социалистические» достоинства своих современников. При этом возможность серьезной дискуссии и углубленного анализа блокировалась, как правило, ярлыком «буржуазная наука».

Ахиллесовой пятой, подтверждением изначальной узости и исключительности взглядов Маркса и Энгельса (что и сделалось впоследствии питательной средой для идейной нетерпимости коммунизма) было категорическое нежелание отделять политические пристрастия современных им ученых, мыслителей или художников от действительной научно-интеллектуальной либо эстетической значи-

мости их трудов, их произведений. Ты в стане противников — что ж, пеняй на себя: любой отзыв о тебе (и объективный) будет воспринят в штыки, тебя ждет забвение.

Лишь в какой-то мере такая позиция может оправдываться мощным сопротивлением, с которым уже в самом начале столкнулся «призрак коммунизма».

Обостренная нетерпимость «основоположников» к инакомыслию проистекала из глубин их учения: уверовав, что звезда философии закатилась, они тем более не считали возможным рождение чего-либо нового и достойного внимания, если это «что-то» не опиралось на их теорию. Атмосфера эпохи, «преклонившей колена» перед наукой, а также нужды социалистического движения привели Маркса и Энгельса к восприятию любого явления, «неважного» для них лично (не содействующего движению), мало что значащим и объективно, то есть вне зависимости от движения.

Озабоченные «принципиальным» размежеванием в собственных рядах, они обошли практически полным молчанием творчество наиболее выдающихся деятелей своего времени.

В их трудах нет и упоминания о таком, например, значительном философе, как Шопенгауэр, об эстетике Тэна или о блестящих современных им литераторах и живописцах. Даже о тех, кого увлекли идейные и социальные перспективы, ими начертанные. Для методов, которыми Маркс и Энгельс сводили счеты со своими противниками в социалистическом движении, характерны жесткость и нетерпимость, что, впрочем, ненамного превышало «нормы», установленные уже прежними революционерами, решавшими те же задачи. Можно оспаривать вклад Прудона в социологическую науку, но то, что он необычайно много сделал для развития социализма и социальной борьбы, особенно во Франции, сомнению не подлежит. То же самое касается Бакунина. Оспаривая в «Нищете философии» идеи Прудона, Маркс презрительно отказал последнему вообще в какой бы то ни было значимости. Подобным образом Маркс и Энгельс поступили и с немецким социалистом Лассалем, с другими оппонентами из рядов своего движения.

С другой стороны, они были способны и на весьма точные оценки крупных духовных явлений своего времени: одними из первых, например они согласились с Дар-

вином, глубоко проникали в непреходящую ценность наследия прошлых веков — античности и Ренессанса, из которых выросла европейская культура. В социологии опирались на английскую политэкономую (Смит, Рикардо), в философии — на немецкую классическую философию (Кант, Гегель), в теориях развития общества — на французский социализм, точнее на его направления после Французской революции. Все это были вершины научной, духовной и социальной мысли, формировавшие прогрессивно-демократический климат Европы, мира в целом.

Развитию коммунизма присуща и логика и последовательность.

Если сравнивать Маркса и Ленина, то первый — в большей мере человек науки — отличался и более высокой степенью объективности. Ленин — это прежде всего великий революционер, сформировавшийся в условиях самодержавия, полуколониального русского капитализма и драки международных монополий за сферы влияния.

Опираясь на Маркса, Ленин пришел к выводу, что материализм, если его рассматривать сквозь призму всемирной истории, занимал, как правило, позиции прогрессивные, а идеализм — реакционные. Вывод, надо сказать, не только односторонний, а стало быть — неточный, но и содействующий усугублению исключительности, и без того свойственной теории Маркса. Справедливости ради, следует признать, что первопричина здесь в недостаточно глубоком знании истории философии. Когда Ленин в 1908 году писал свой «Материализм и эмпириокритицизм», в нужной мере он еще не был знаком ни с одним из великих философов античности или новейшего времени. Стремясь побыстрее расправиться с противниками, чьи воззрения препятствовали развитию его партии, он попросту отбрасывал все, что не совпадало с революционными взглядами Маркса. Любое противоречие классическому марксизму было для него априори ошибкой, безделицей, лишенной всяких достоинств.

Так что в этом смысле его труды — образец страстной, логичной и убедительной догматики.

Ощувив, что материализм в истории всегда практически являлся идеологией революционных, мятежных социальных движений, Ленин остановился на одностороннем выводе, что материализм и в принципе (в том числе применительно к изучению законов развития человеческого мышления) прогрессивен, а идеализм — реакцио-

нен. Пойдя далее, Ленин смешал форму и метод с содержанием и степенью научности любого открытия. Сам факт, что кто-то придерживается идеалистических взглядов, был ему достаточен для полного забвения как реальных заслуг человека, так и его вклада в науку. Политическую нетерпимость к собственным противникам он распространил на всю историю человеческой мысли.

Британский философ Бертран Рассел, с симпатией встретивший Октябрьскую революцию, уже в 1920 году точно выявил квинтэссенцию ленинского, то есть коммунистического догматизма:

«Существует между тем иной аспект большевизма, к которому у меня есть принципиальные возражения. Большевизм — это не только политическая доктрина; он еще и религия — со стройной догмой и ангажированными священными книгами. Желая доказать что-то, Ленин при малейшей возможности цитирует тексты Маркса и Энгельса. Настоящий коммунист — это не человек, лишь разделяющий убеждение, что земля и капитал должны быть общей собственностью, а вся произведенная продукция распределена по возможности справедливее. Это и человек, принимающий известное число готовых догматических постулатов (таких, как философский материализм, например), которые в принципе могут соответствовать истине, но с научной точки зрения бесспорно доказанной истиной не являются. В мире уже со времен Возрождения отказались считать бесспорным то, что объективно дает повод для сомнения; принят подход с позиций конструктивного и плодотворного скептицизма, представляющий собой взгляд науки. Убежден, что научный подход архиважнее для человечества. Если бы некая более справедливая экономическая система могла быть создана ценой отказа от свободного исследования и возвращения в интеллектуальную темницу средневековья, я счел бы такую цену слишком высокой. Впрочем, нельзя отрицать, что догматизм на какое-то короткое время способен содействовать борьбе».

Но так было во времена Ленина.

Не обладая ленинскими знаниями и глубиной мысли, Сталин далее «развил» его теорию.

Внимательный исследователь открыл бы, что этот человек, которого Хрущев по сей день держит за «первейшего марксиста» своего времени, не прочел даже «Капитала», самого что ни на есть основополагающего произведе-

ния марксизма. Практик до мозга костей и одновременно крайний догматик, он, строя свой «социализм», не нуждался в экономических разработках Маркса. Не узнал он ближе и ни одного философа, Гегеля же отрекомендовал «дохлым псом» и великом свел его к «реакции прусского абсолютизма на Французскую революцию».

Вместе с тем он отлично знал Ленина, постоянно искал в нем опору — чаще даже, чем сам Ленин в Марксе. Сталин и других писателей цитировал по Ленину. Единственно, в чем он разбирался солиднее, была политическая история, особенно русская, к сильным его сторонам относится и великолепная память.

Большого Сталину для его амплуа не требовалось. Все, несовпадавшее с его желаниями и пониманием, все, выходявшее за их рамки, он объявлял «враждебным» и запрещал.

Эти три личности — Маркс, Ленин, Сталин — разнятся не только как люди, стилистика у них тоже разная.

В революционере Марксе было что-то от традиционного добряка-профессора, стиль в том числе — бароккно-живописующий, раскрепощенный, полный олимпийского остроумия. Ленин — как бы сама революция; стиль его искрометен, остр, логичен. Сталин собственное могущество считал воплощением и пределом людских чаяний, а собственную мысль — вершиной доступного человеческого мышлению. Его стиль бесцветен, монотонен, но, однако, в упрощенной своей логичности и догматичности — убедителен как для «посвященных», так и для простых смертных. Простота эта сродни лапидарности текстов отцов церкви, что объясняется не столько богословской юностью Сталина, сколько с зеркальной точностью отраженными в нем примитивизмом условий и полной «задогматизированностью» коммунистического мышления.

Нет в сталинских наследниках суровой внутренней гармонии, присущей «вождю народов», его догматической силы, убежденности. Посредственности во всем, они обладают предельно обостренным чувством реальности. Неспособные строить новые системы, выдвигать незатасканные идеи, они зато еще как способны (именно благодаря развитому «бюрократическому инстинкту», т. е. обостренному нюху на жизненную реальность) преградить новому дорогу или, что тоже вполне годится, вообще удушить его.

Так выглядит эволюция догматики и исключительности

в коммунистической идеологии. «Дальнейшее развитие марксизма» с упрочением нового класса привело, таким образом, к господству не только единственной идеологической схемы, но и образа мыслей одного человека (группы олигархов), а с этим — к духовному упадку и оскудению самой идеологии. Одновременно росла нетерпимость к любым иным концепциям, к человеческой мысли вообще. Сила воздействия этой идеологии и ее относительная жизненность обратно пропорциональны «физическому усилению» личностей, выступающих ее носителями.

Становясь все «одноколейнее», нетерпимее, современный коммунизм производит все больше полуистин и прикрывается ими же все чаще. На первый взгляд, некоторые его стороны могут показаться похожими на правду. Но он насквозь пропитан ложью. Его полуистины — чрезмерные, искривленные до извращенности, — окончательно теряют подвижность и полностью тонут во лжи по мере подчинения вождям всей жизни общества, включая, разумеется, и саму коммунистическую теорию.

## 2

Практическая реализация тезиса о том, что марксизм есть универсальный метод, которого обязаны придерживаться коммунисты, неизбежно ведет к насилию над всеми сферами духовной жизни.

Что делать несчастным физикам, если атомы не желают вести себя в соответствии с гегельянско-марксистской борьбой и единством противоположностей и их развитием в высшие формы? Куда деваться астроному, если космос равнодушен к коммунистической диалектике? А биологам, у которых растения не следуют сталинско-лысенковской теории о согласии и сотрудничестве классов в «социалистическом» обществе? Не в силах «искренне лгать», они вынуждены расплачиваться за свою «ересь». Их открытия могут быть признаны лишь при условии, если «подтверждают» формулы марксизма-ленинизма. Ученые постоянно ломают голову над тем, как добиться, чтобы их научные выводы и открытия «не задели» официальную догму. Наука обречена на оппортунизм и компромиссы. То же и с любой другой сферой умственного труда.

Своей нетерпимостью современный коммунизм очень напоминает средневековые религиозные секты. Размыш-



ления о кальвинизме сербского поэта «печали и радости» Йована Дучича словно воссоздают духовную атмосферу некой коммунистической страны:

«...А Кальвин этот, законник и догматик, на костре не сгоревший, в камень обратил душу народа женевского. Он занес религиозную печаль и набожный аскетизм в эти дома, и сегодня еще полные стужи и мрака; посеял здесь ненависть к радости и веселью, проклял декретом песню и музыку. Политик и тиран, вставший во главе республики, он, словно оковы, набросил свои железные законы на жизнь в стране, нормировав даже семейные чувства. Из всех фигур, которые дала Реформация, Кальвин — наиболее окостеневшая фигура бунтовщика, а библия его — самый печальный учебник жизни... Кальвин не был новым христианским апостолом, желавшим обновить свою веру в ее первоизданной чистоте, наивности и благочестии, — в какой вышла она из своей назаретянской параболы. Это арийский аскет, что, порвав с режимом, порвал и с любовью, главным началом догмы. Народ его серьезен и полон добродетелей, но и ненависти к жизни, неверия в счастье. Нет веры горше, нет пророка ужасней. Женевцев он превратил в паралитиков, навсегда утративших способность восторгаться. Нет в мире народа, которому бы его вера принесла больше зла и опустошения. Кальвин был прекрасным церковным писателем, столь же полезным чистоте французского языка, как Лютер, переводчик Библии, чистоте языка немецкого. Но он создал и теократию, при которой личная диктаторская власть была не слабее, чем в папской монархии! Якобы высвобождая духовную личность человека, он его гражданскую личность унизил до низменнейшего рабства. Он соблазнил народ, а потом отнял у него всякую радость бытия. Он многое изменил, но ничего не продвинул.

Спустя почти триста лет после него Стендаль видел в Женеве, как молодой человек и девушка разговаривали лишь о пасторе и его последней проповеди, произнося наизусть целые пассажи из нее» (Й. Дучич. Второе письмо из Швейцарии).

В современном коммунизме есть нечто от догматической нетерпимости пуритан во времена Кромвеля и непримиримой политики якобинцев. Но есть и заметная разница: не только в том, что пуритане свято верили в Библию, а коммунисты поклоняются науке, или в том, что власть коммунистов гораздо полнее якобинской. Разни-

ца — в возможностях: ни одна религия или диктатура не могла претендовать на такое всестороннее и неограниченное могущество, каким реально располагают коммунистические системы.

По мере упрочения их позиций росла и убежденность коммунистических вождей в том, что ими избран единственно верный путь к абсолютному счастью и «идеальному» обществу. Бытует шутка, что коммунистические вожди создали коммунистическое общество — для себя. Впрочем, они без всяких шуток отождествляют себя с обществом и его устремлениями. Абсолютный деспотизм уживается с непоколебимой верой в достижимость абсолютного человеческого счастья, а всеохватное мировоззрение и универсальность метода — с всеохватным и универсальным насилием.

Само развитие сделало из коммунистических правителей жандармов человеческого сознания, мера «копеки» над которым увеличивалась по мере возрастания их могущества — «успехов в строительстве социализма».

Эта эволюция не обошла и Югославию. Тут вожди постоянно подчеркивали «высокую сознательность нашего народа» в годы революции, то есть когда этот народ, а точнее, определенная его часть, активно их поддерживал. Ныне же, по словам тех же руководителей, «социалистическая» сознательность этого народа очень низка, так что, мол, придется не спешить пока с демократией. Югославские вожди открыто заявляют, что с «ростом социалистической сознательности» (того, что они называют, во-первых, сознательностью, а во-вторых, социалистической), который наступит, в чем они уверены, вместе с индустриализацией, они откроют двери и перед демократией. До тех же пор, в чем эти сторонники дозированной демократии и поборники диаметрально противоположных практических действий также свято уверены, у них есть право — во имя будущего счастья и свободы — затаптывать малейшие ростки идей и взглядов, отличных от их собственных.

Советские вожди, возможно, лишь в самом начале были вынуждены манипулировать хлипкими посулами будущей демократии. Они просто-напросто уверены, так и заявляют, что в их стране свобода уже достигнута. Прямо сказать, и они чувствуют, что «корабль поскрипывает». Они тоже непрестанно «повышают» чужую сознательность, то есть заставляют людей «прорабатывать» (зазуб-

ривать наизусть) высушенные марксистские формулировки и политические указания руководства. Хуже того: они принуждают граждан вечно исповедоваться, клясться в верности социализму, заверять, что родине не изменили, и по-прежнему верят в непогрешимость действий и реальность обещаний своих правителей.

Гражданин в коммунизме боится каждого «лишнего» шага: как бы не пришлось доказывать, что он не враг социализма. Точно так же в эпоху средневековья человек обязан был вновь и вновь подтверждать свою преданность церкви.

Все начинается со школы, с царящей в ней системы образования, тем же целям подчинена любая прочая сфера духовной и общественной жизни. С рождения и до смерти человека окружает забота правящей партии о его сознательности, совести и «росте». Журналисты, идеологи, наемные писатели, спецшколы, единственно разрешенная господствующая идея, огромные материальные средства — таков круг действия этой заботы. Для полноты картины добавьте сюда еще огромный объем массовой печатной, радио- и прочей пропаганды.

И тем не менее успехи невелики, с затратами и мерами несоизмеримы (исключая, понятно, новый класс, который без всяких дополнительных мер готов неукоснительно придерживаться им самим избранной линии).

Ощутимых результатов удалось достичь единственно при подавлении любой не стыкующейся с официозом сознательной инициативы, при искоренении инакомыслия.

И в коммунизме люди (что поделаешь?) продолжают мыслить, просто не могут без этого. Более того, люди подчас мыслят не так, как предписывается. Возникает двойное мышление: одно для себя, другое — напоказ, согласно официальному образцу. Такая же двойственность присуща оценке всевозможных явлений.

Все это — отражение «опыта», накопленного обычными людьми, и, с другой стороны, подтверждение могущества коммунистов.

Люди в коммунистических системах не настолько оглулены безликой пропагандой, сколь глубоко страдают из-за невозможности дотянуться до истины, до свежих идей. В духовной сфере планы олигархов осуществляются кое-как, стагнации, загнивания, разложения здесь гораздо больше, чем «побед».

Эти олигархи — радители душ, бдительно надзирающие за тем лишь, чтобы мысль человеческая не заплыла в «преступные антисоциалистические» воды, эти бессовестные поставщики дешевенького бросового ширпотреба (собственных обветшалых, окаменевших, напрочь лишенных способности изменяться идей); — эти люди сковали льдом, умертвили духовную жизнь своих народов. Они придумали беспрецедентную людоедскую формулу — «вырвать из человеческого сознания» — и действуют сообразно ей так, будто речь не о человеке и его мысли, а о сорной траве на пустыре. Убивая чужое сознание, скопая, лишая полета человеческий дух, они и сами превращаются в серость — безыдейную, бездуховную, так и не узнавшую счастливых минут глубокого свободного размышления. Театр без публики: актеры играют на «самооодушевлении». И думают они по принципу переваривания пищи: их мозги переваривают мысли, исходя из «текущих» потребностей. Такие вот дела у этих попов-полицейских, ставших еще и хозяевами не только всех конкретных возможностей для проявления человеческого духа — типографий, радиостанций и т. п., но и материи, без которой сама жизнь человеческая невозможна, — хлеба и крова.

Судите сами, обосновано ли сравнивать современный коммунизм с религиозными сектами?

### 3

И все же каждая коммунистическая страна переживает технический взлет. Особого рода, понятно, и в особые периоды своей истории.

Индустриализация, тем более в столь сжатые сроки, порождает многочисленную техническую интеллигенцию — не самую высококлассную, правда, — а также привлекает к себе таланты и стимулирует исследовательскую мысль.

Причины, вызывающие сверхускоренную индустриализацию в определенных отраслях, стимулируют в тех же отраслях особенно кипучую исследовательскую деятельность. Ни во время второй мировой войны, ни после нее Советский Союз значительно не отставал в боевой технике. В области атомной энергетики он идет сразу следом за США.

Активны изобретатели, хотя бюрократическая машина тормозит внедрение изобретений, годами порой пылящихся по шкафам разных госконтор. Но еще пагубнее, еще более умертвляюще действует на изобретательство незаинтересованность производства.

Будучи людьми весьма практичными, коммунистические вожди немедленно устанавливают сотрудничество со специалистами-техниками и учеными, не особенно обращая внимание на их «буржуазное» мировоззрение. Им ясно, что индустриализацию не осуществить без технической интеллигенции, которая к тому же сама по себе сделаться опасной не может. В отношении этой интеллигенции (как и в отношении чего угодно иного) есть у коммунистов упрощенная и, по обычаю, лишь наполовину верная теория: специалистов всегда оплачивает класс, которому они служат. Так почему подобным делом не заняться «пролетариату», другими словами, новому классу? Исходя из этого они тотчас вырабатывают соответствующую систему поощрения.

Но, вопреки техническому подъему, неоспоримым остается факт, что ни одно великое научное открытие современности не сделано при советской власти. Тут Советскому Союзу не удалось опередить даже царскую Россию, где, несмотря на техническую отсталость, случались научные открытия эпохального значения.

Сама по себе отсталость технически затрудняет достижение чего бы то ни было нового в науке, но все же основные причины тут в общественном устройстве.

Новый класс весьма заинтересован в техническом прогрессе, но еще больше — в незыблемости своего идеологического монополизма. Между тем всякое крупное научное открытие приходит как следствие изменившихся представлений о мире в мозгу ученого. Измененная картина не укладывается в прокрустово ложе официальной философии. В коммунизме каждому, кто посвятил себя науке, приходится задумываться, стоит ли идти на риск, ибо велика вероятность прослыть еретиком, если твои теории, не ровен час, не совпадут с допустимой, предписанной и любезной сердцам догматиков нормой.

Положение науки еще более осложняет официальный взгляд на марксизм или диалектический материализм как на метод, одинаково сверхэффективный для всех без исключения сфер исследовательской, духовной и прочей деятельности. В СССР не было ни одного видного ученого,

которого обошли бы стороной неприятности «по политической линии». Разными бывали обстоятельства, но довольно часто люди науки подвергались остракизму именно за противление установленной схеме. В Югославии такого меньше, но и там практику возвышения «преданных», но слабых ученых вполне можно отнести к рецидивам все той же болезни.

Коммунистические системы, стимулируя прогресс техники, одновременно преграждают путь любым масштабным исследованиям, требующим не стесненной никакими рамками работы мысли. Парадоксально, но факт.

Если даже согласиться, что эти системы выступают лишь относительными противниками развития науки, за ними все равно сохраняется роль абсолютных недоброжелателей любого взлета мысли во имя постижения нового. Базирующиеся на исключительности одной философии, они — явления сугубо антифилософские. При них не появилось до сих пор и не может появиться истинного мыслителя, тем более занимающегося проблемами социальными, если, конечно, не считать таковыми самих правителей, обычно совмещающих «основное ремесло» с функциями «главных философов» и мастеров «укрепления» человеческого сознания. Свежая мысль, новая философская или социальная теория обречены в коммунизме пробиваться многотрудными кружными путями, чаще через беллетристику и другие области искусства. Перед тем как выйти на свет Божий и начать жить, им, хочешь не хочешь, приходится сначала долго таиться и ждать «подходящего момента».

Среди всех отраслей знаний, а также сфер, в которых поиск истины немислим без сопоставления позиций, мнений, точек зрения, более незавидного положения, чем у общественных наук и анализа общественных проблем, кажется, быть не может. Едва ли вообще существует такой род деятельности: ведь Маркс и Энгельс все уже объяснили, а вожди своей волей монополизировали право на решение любого связанного с обществом и обществоведческой тематикой вопроса.

Истории, особенно истории данного — коммунистического — периода, по сути дела, не написано. Замалчивание и фальсификация перешли в разряд невозбраняемых и привычных действий.

Политическая традиция узурпирована, у народа похитили его духовное наследие. Этим монополисты держат

себя так, словно вся предыдущая история только и готовилась, что к встрече с ними. Они и прошлое — все, что в нем было, — меряют своей меркой, одним аршином, поделив всех людей и все события на «прогрессивные» и «реакционные». По тому же принципу и памятники воздвигают. Пигмеев — возвеличивают, великанов (особенно современников) — рушат.

«Единственно научный» метод показал себя в конечном счете просто как крайне удобный инструмент защиты и оправдания их нетерпимости при подчинении себе науки и общества в целом.

#### 4

С искусством происходит почти то же, что и с наукой.

В искусстве возвеличивается — но еще в большей степени — посредственность, раз и навсегда данные формы и взгляды. Что и понятно: нет искусства без идей, без воздействия на окружающее, а монополия на идеи и формирование сознания — в «надежных руках» правящей верхушки. Не было ни единого значительного произведения искусства, не натолкнувшегося на запрет или осуждение со стороны «всеведущих» коммунистических верхов. Во взглядах на искусство коммунисты традиционно консервативны, что объясняется в основном необходимостью удерживать монополию над сознанием людей, а также собственным их невежеством и ограниченностью. Наивысшим проявлением демократизма любого такого «руководителя» по отношению к новым течениям в искусстве было его признание, что он хотя и не понимает, но считает все же возможным «разрешить». В духе известного отношения Ленина к футуризму Маяковского.

Но вопреки всему, отсталые народы в коммунистических системах наряду с техническим возрождением переживают возрождение культурное, выражающееся уже в том хотя бы, что культура, пусть главным образом и в виде пропаганды, делается для них более доступной. Новый класс заинтересован в этом с позиций индустриализации, нуждающейся в квалифицированном труде. К тому же идет формирование механизма воздействия на людское сознание. Школьная сеть, всеобщая грамотность, любительский и профессиональный театр, музыкальные коллективы — все это развивается быстро, не соизмеряясь

часто с реальными потребностями и возможностями. Но прогресс тут несомненен.

Заканчивается революция, и, пока правящий класс не успел еще полностью подмять под себя общество, обычно появляется немало значительных произведений искусства. В СССР так было до 30-х годов, в Югославии так сейчас. Революция будто бы пробуждает дремавшие таланты вопреки нарастающему стремлению ее детища — деспотизма эти таланты задушить.

Есть два способа такого удушения: борьба против мысли и новых идей, а также борьба с новаторством в области формы.

В сталинские времена дошло до того, что подавлялись все формы художественного выражения, не пришедшиеся по вкусу вождю. А вкус у него, надо отметить, не страдал чрезмерной изысканностью. Как, впрочем, и слух. Что до поэзии, то тут у Сталина было твердое пристрастие — четырехстопный ямб и александрийский стих. Дойчер высказал мнение, что сталинский стиль стал стилем национальным. Разделять официальный взгляд на художественную форму сделалось столь же обязательным, как следовать основополагающим идеям.

В полной мере это соблюдалось не повсеместно, потому и типичной чертой коммунизма не является. Так, в 1925 году в СССР была принята резолюция, в которой сказано, что партия в целом никак не может связывать себя приверженностью к какому-либо одному направлению в области литературной формы. Вместе с тем партия не отказалась от так называемой «идеологической помощи», то есть идейно-политического надзора за художниками. Это и был максимум демократизма в подходе к искусству, до которого смог подняться коммунизм. На похожих позициях стоит сегодняшнее югославское руководство. После 1953 года, с началом отката от демократических реформ вновь к бюрократизму, когда самые примитивные и реакционные элементы вздохнули с облегчением, на голову «мещанской» интеллигенции обрушилась невиданная кампания охаивания и травли, имевшая ясную цель — установить контроль и за художественной формой. Интеллигенция целиком и мгновенно противопоставила себя режиму. Режим отступил. Как подчеркнул в одном своем выступлении Кардель, выбор формы партия никому не может навязать, но и не допустит «антисоциалистической идеологической контрабанды», то есть взгля-



дов, которые режим расценил бы не соответствующими «социалистическим». Того не ведая, он повторил процитированную выше директиву большевистской партии — директиву 1925 года. Это одновременно был и потолок «демократичности» югославского режима в отношении искусства, что, конечно, не изменило внутреннего настроения большинства вождей. Ни в коем случае. «Про себя» они продолжали считать всю творческую интеллигенцию «ненадежным», «мещанским», в лучшем случае — «идейно разболтанным» слоем. Крупнейшая газета («Политика», 25 мая 1954 г.) процитировала в качестве «незабываемых» следующие слова Тито: «Хороший учебник полезнее нескольких романов». Не прекращались истерические выпады против «декадентства», «деструктивных идей», «враждебных взглядов» в искусстве.

Югославской культуре, в отличие от советской, удалось хотя бы разнообразием художественной формы мало-мальски выразить неудовлетворенность и беспокойство мысли. Советской и этого до сих пор не дано. Над головой югославской культуры навис острый меч, у советской он — все время прямо в сердце.

Относительная свобода формы, которую коммунисты лишь время от времени в состоянии ограничить, не может сделать творчество полностью свободным по той простой причине, что каждое истинное художественное произведение обязано — пусть и опосредованно, используя форму, — выражать новые идеи. И при наибольшей свободе искусства в коммунизме остается неразрешимым противоречие между обещанной свободой формы и обязательным контролем за идеями. Время от времени это противоречие выходит на поверхность: то как гнев режима по поводу «контрабанды» идей, то как протест художников, возмущенных навязыванием формы. На самом деле имеет место столкновение необузданных монополистических устремлений первых и неудержимого творческого порыва вторых.

По сути это то же противоречие между свободой научного поиска и коммунистической догматикой, только перенесенное в область искусства.

Все новое в мысли и идеях прежде всего должно быть взято под контроль, санкционировано, сведено до «границ безопасности» — таков фактический порядок.

Это противоречие — как и остальные — коммунистические вожди разрешить не в состоянии. Они способны, в

чем мы уже убедились, лишь некоторым образом его смягчить, ущемляя все же истинную свободу творчества.

Вследствие этого противоречия при коммунистических режимах так и не смогла быть решена проблема раскрытия искусством актуальных жизненных тем, не могла развиваться и теория художественного творчества.

Поскольку художественное произведение по природе своей почти всегда аналогично критике существующего состояния общества и отношений в нем, создавать произведения на актуальные темы в коммунистических системах невозможно. Дозволено одно только восхваление того, что имеется, и критика его противников, негуманная сама по себе, ибо последние находятся в незащищенном положении, подвергаются преследованиям. Так что на подобной «базе» создавать художественные произведения, имеющие хоть какую-то реальную ценность и рассматривающие актуальные темы, совершенно невозможно.

В Югославии верхушка и некоторые деятели искусства непрестанно сетуют, что нет, мол-де, художественных произведений, отражающих «нашу социалистическую действительность». В СССР, наоборот, «вырабатываются» тонны произведений на актуальные темы, но именно потому, что они не говорят правды, их достоинства сомнительны, интерес публики, а затем и официальной критики к ним быстро улетучивается.

Типы разные — конечный результат одинаков.

## 5

Во всех коммунистических государствах владычествует теория так называемого «социалистического реализма».

В Югославии эта теория потерпела поражение и ее придерживаются лишь самые реакционные догматики. Здесь, как и во многом другом, у режима было достаточно сил для искоренения ростков нежелательной теоретической мысли, но он оказался все же слишком слаб, для того чтобы насадить собственные взгляды. Можно с уверенностью предполагать, что и в иных странах Восточной Европы эту «теорию» ждет аналогичная судьба.

Теория «социалистического реализма» не являет собой даже некой стройной системы. Термин «социалистический реализм» первым употребил Горький — вероятно, под воздействием собственного реализма. Его взгляды своди-

лись к тому, что в современных — «социалистических» — условиях искусство должно быть пронизано новыми — социалистическими — идеями и как можно правдивее отражать действительность. Все остальное, приписываемое этой теории (типичность, идейная направленность, партийность и т. д.), либо позаимствовано из других теорий, либо продиктовано политическими потребностями режима.

Не выстроенный в целостную теорию «социалистический реализм» на деле означает идейный монополизм коммунистов, стремление облечь в художественную форму ограниченные и реакционные идеи вождей, в героико-романтическом духе воспеть их дела. В конце концов эта теория опустилась до фарисейского оправдания бюрократической цензуры и надзора, осуществлявшегося режимом, нуждами самого искусства.

В разных коммунистических странах такой надзор и организован по-разному: от партийно-бюрократического цензорства до нажима «по идеологической линии».

В Югославии, к примеру, никогда не было цензуры. Надзор осуществлялся опосредованно, через партийцев в издательствах, творческих союзах, газетах, журналах, которые с любым своим «сомнением» немедленно обращаются в вышестоящие инстанции. Цензура в стране проклюнулась из самой атмосферы, став, по существу, самоцензурой. И хотя случается, что, по крайней мере, членам партии удастся все же «пропихнуть» что-то, тем не менее самоцензура, которой они и другие творческие люди обязаны себя подвергать, принуждает их к двурушничеству и самым недостойным низостям. Такой вот прогресс — «социалистическая демократия» вместо бюрократического деспотизма.

В принципе ни в Советском Союзе, ни в других коммунистических странах официальная цензура не освобождает творческую личность от так называемой самоцензуры.

Реалии общественных отношений, само их состояние, хочешь не хочешь, приводят людей к «самоцензурированию» — основной, по сути, форме идейно-партийного надзора в коммунизме. Как в средневековье, когда, прежде чем решиться на творческий акт, художник должен был хорошо уяснить себе, чего «ждет» от его работы церковь, так и в коммунистических системах для начала необходимо «глубоко проникнуть» в образ мыслей, а нередко и в «нюансы» вкуса того или иного властителя.

Цензуру (самоцензуру) подают под соусом «идейной помощи». Да и все прочее в коммунизме вершится для «абсолютного счастья», где слова типа «народ», «трудо-вой народ», «во имя народа», «народный», невзирая на их крайнюю неопределенность в данном контексте, особенно часто лепятся ко всему, что касается искусства.

Гонения, запреты, навязывание идей и формы, унижения, оскорбления, «шефство» полуграмотных бюрократов над гениями — все здесь делается от имени народа и для народа. В этом смысле «социалистический реализм» даже на словах не отличается от гитлеровского национал-социализма. Один югославский литератор венгерского происхождения, Эрвин Шинко, провел интересную параллель в ряду «теоретиков искусства» той и другой диктатуры:

Л. И. Тимофеев, советский теоретик:

«Литература — это идеология, помогающая человеку узнать жизнь и действовать в ней».

«Грюнденданкен националсоциалистишер культурполитик»:

«Художник не может быть только художником, он всегда — воспитатель».

Балдур фон Ширах, вождь гитлерюгенда:

«Каждое истинное произведение искусства обращается ко всему народу».

Андрей Жданов, член Политбюро ЦК ВКП(б):

«Все гениальное — доступно».

Вольфганг Шольц в «Грюнденданкен...»:

«Политику национал-социализма, а следовательно, ее часть, именуемую культурной политикой, определяет фюрер и те, кому он это поручил... Если мы хотим знать, что такое культурная политика национал-социализма, взглянемся в этих людей, в дело, которым они заняты, в директивы, от них исходящие и направленные на то, чтобы окружить себя единомышленниками, сознающими всю ответственность за высокое поручение».

Емельян Ярославский на XVIII съезде ВКП(б):

«Товарищ Сталин вдохновляет художников, дает им руководящие идеи... Решения ЦК ВКП(б) и доклад А. А. Жданова дают советским писателям целостно выстроенную программу работы».

Деспотические режимы, даже противоборствующие, самооправдательством занимаются столь похоже, что просто не в состоянии избежать языковой подобности.

Притеснительница научной мысли и демократических свобод коммунистическая олигархия не может не вызывать всеобщей коррупции духа. Князя-феодалы и капиталистические магнаты платили когда-то художникам как могли и желали, оказывая творческим людям материальную поддержку и одновременно коррумпируя их. В коммунизме же корруммирование — составная часть государственной политики.

Правило коммунистической системы — брать за горло, подавлять всякую духовную деятельность (в основном это как раз и касается произведений наиболее глубоких, оригинальных), а с другой стороны, щедро одаривать, стимулировать, идти, не стесняясь, на прямой подкуп всего, что, по мнению системы, полезно «социализму», то бишь ей самой.

Даже если оставить в стороне скрытые и наиболее безобразные виды подкупа («Сталинские премии», «высокое» покровительство, жирные гонорары за выполнение «частных» заказов бюрократической знати и т. д.), в чем система оголяет свой экстремизм, свои крайности, все равно факт остается фактом: она в принципе весьма склонна к коррумпированию интеллигенции, особенно людей искусства. Можно отменить «дары» властей поддерживающих, отменить цензуру, но дух коррупции и нажима тем не менее никуда не денется.

Основа коррупции и нажима, их источник — партийно-бюрократический монополизм, полностью поработивший общество. Человеку творчества деться некуда. Идет ли речь о его идеях или его зарплатке, силу эту он обойти не может. Хотя эта сила не есть непосредственная власть, но она — везде, во всех порах. И последнее слово всегда за ней.

В то же время для художника по чисто практическим соображениям крайне важно, чтобы «удавка» и централизм ощущались как можно слабее, пускай это и никак не меняет существа его положения в обществе. Поэтому для него жить и работать, скажем, в Югославии намного легче, чем в Советском Союзе.

У поработанного человеческого духа нет выбора, он вынужден подчиниться коррупции. И поинтересуйся кто-либо причинами, почему в Советском Союзе вот уже четверть столетия практически не появлялось значитель-

ных художественных произведений (особенно в литературе), он открыл бы для себя, что коррумпирование интеллигенции играет тут роль не меньшую (если не большую), чем само порабощение.

Преследуя, шельмуя, принуждая к позорному самобичеванию («самокритике») истинных творцов и приманивая вместе с тем людей послушных привилегированными «условиями труда» — высокими гонорарами, премиями, дачами, курортами, льготами, автомобилями, депутатскими мандатами, агитпроповской протекцией и «великодушным покровительством», — коммунистическая система фавориткой своей избирает посредственность — зависимую и творчески бесплодную личность.

Ничего странного поэтому, что крупнейшие художники, поставленные перед выбором между жизнью впроголодь (да еще под вечной плеткой) и «милостью» хозяев, теряли ориентацию, а с тем — веру и мощь. Самоубийство, отчаяние, бегство в пьяный угар, разврат, потеря внутренней устойчивости, цельности как результат самообмана и обмана других — все это очень часто сопутствовало судьбе тех, кто по-настоящему хотел и мог создавать новое. Так человеческий дух был принуждаем творить — ибо жить без творчества не в его силах, — объятый отчаянием, но под идиотской маской оптимизма. Существование в подобных условиях — это ли не доказательство его непобедимости и это ли не показатель нищеты и мерзостной уродливости самой системы?

## 7

Принято считать, что коммунистическая диктатура проводит грубую классовую дискриминацию. Это не совсем так.

Исторически с затуханием революции классовая дискриминация слабеет, усиливается дискриминация идеологическая. Насколько иллюзорно то, что власть принадлежит пролетариату, настолько же ошибочно, что коммунисты преследуют людей за одну их принадлежность к классу «буржуев». Безусловно, осуществляемые коммунистами меры больше всего бьют по собственническим классам, по буржуазии особенно. И тем не менее капитулировавшие или «переориентировавшиеся» ее представители благополучно обеспечили себя «тепленькими ме-

стечками» и благосклонностью властей. Более того, из их рядов тайная полиция нередко вербует умелых агентов, а новые господа — ловких слуг. Но пусть не ждут пощады те, кто спорит с коммунистическими взглядами и методами. При этом безразлично, выходцами из какого класса они являются, противники они национализации капиталистической собственности или безучастные ее зрители.

Тут можно добавить даже, что преследование демократического и социалистического мышления, отличного от образа мыслей правящей олигархии, ведется и жестче, и бескомпромисснее, чем борьба с наиболее реакционными взглядами сторонников бывшего режима. Это понятно: последние менее опасны, так как обращены к прошлому, к тому, что хотя и может мешать, но имеет, однако, слишком уж малые шансы на возвращение и победу.

Овладев властью, коммунисты атакой на частную собственность создают иллюзию, будто во имя трудовых классов они прежде всего намерены поразить классы собственников. Дальнейшее показывает, однако, что дело отнюдь не только в этом и что основой их акций изначально было стремление к господству, которое и не может выражаться по-другому, нежели в первую голову как идеологическая (а не классовая) дискриминация. Ведись речь о чем-то ином (о реальной передаче собственности в руки трудящихся, например), возобладала бы именно классовая (а не одна из прочих) дискриминация.

Упор на идеологическую дискриминацию подталкивает, казалось бы, к выводу, что мы имеем дело с новой религиозной сектой, непоколебимо придерживающейся своих материалистическо-атеистических заповедей и силой навязывающей их остальным. Коммунисты воистину ведут себя словно религиозная секта, хотя на деле ею не являются.

Но тоталитарная идеология — это не просто следствие определенным образом оформленных власти и собственности. Со своей стороны, она и сама внесла лепту в такое развитие, она же остается надежнейшей его опорой. Идеологическая дискриминация есть условие, необходимое для выживания коммунистической системы.

Было бы неверно думать, что иные формы дискриминации — расовая, классовая, кастовая или национальная — более тяжки, чем идеологическая. Они могут внешне выглядеть более жесткими, но столь утонченными и всеохватными им быть не удастся. Они поражают отдель-

ные части общественного организма, идеологическая дискриминация — все общество и каждого его члена лично. Первые, как правило, топчут людей физически. Идеологическая дискриминация наносит удар тому, что, пожалуй, вообще в наибольшей мере свойственно человеческому существу. Духовное насилие — это насилие самое полное и жестокое, им начинается и им завершается любой вид насилия.

В коммунистических системах идеологическая дискриминация проявляется, с одной стороны, как запрет на инакомыслие, а с другой — как навязывание исключительности собственных идей. И это лишь две наиболее заметные грани безмерного, неопишемого насилия. Мысль, открывающая новое, — это и самая творчески продуктивная сила. Ни жить, ни работать, не думая и не фантазируя, люди просто не могут. Отрицающим этот факт коммунистам приходится все же с ним считаться. Поэтому-то они и подавляют любое инакомыслие, особенно если речь идет о решении задач, стоящих перед обществом.

От многого способен отказаться человек. Но мыслить и высказывать свои мысли он должен. Нет ничего больнее обреченности на молчание, нет насилия большего, чем принуждать людей отречься от собственных мыслей и «озвучивать» чужие.

Ограничение свободы мысли есть атака не только на определенные политические или общественные группы, но и на личность, как таковую.

Неизбывное устремление человека к свободе, свободной мысли, совершенствованию и расширению производства всегда выражается конкретно, как императив, поставленный определенными силами. И если такие императивы в коммунистических системах пока еще четко и ясно не сформулированы, это отнюдь не значит, что их нет вообще. Глухим, упрямо нарастающим рокотом поднимаются они из глубин народа. Тотальность угнетения как бы стирает границы между его слоями, люди объединяются — они требуют свободы. В том числе права свободно мыслить.

История многое простит коммунистам, потому что поймет: жестокость, ими проявленная, во многом оправдывалась обстоятельствами, необходимостью защититься, выжить. Но удушение любой альтернативной точки зрения, идеологическая нетерпимость, монопольное господство мысли, угодливо прислуживавшей их сверхэгои-



стичным интересам, — вот что прикует их к позорному столбу истории. Туда, где инквизиция и костер. И в компании этой, возможно, место им будет выбрано самое «почетное».

## ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

### 1

Революция и революционеры никогда не чурались варварских средств и методов насилия.

Но столь сознательно, как коммунисты, не прибегала к насилию ни одна прежняя революция, никакие революционеры: потому и не смогли они довести его до такого совершенства, сделать привычкой.

«Борясь с врагами режима, не выбирайте средств... наказывайте всякого, кто недостаточно полезен республике, никак не помогает ей». Сказано, словно не Сен-Жюстом, а одним из нынешних коммунистических вождей. С той только разницей, что Сен-Жюст произнес эти слова в пламени революции, преисполненный боли за ее судьбу, а коммунисты твердят то же самое непрестанно — на всем пути от выхода на политическую арену до вершин могущества и начала упадка.

Хотя коммунистическое насилие всеохватнее, продолжительнее, жестче всего подобного и дотоле известного, о коммунистах все же можно сказать, что в революции они, как правило, не были столь неразборчивы в средствах, как их противники. Однако по мере удаления от революции их методы, пусть некогда и менее кровавые, становились все более бесчеловечными.

Но, невзирая на эту историческую особенность, коммунизм, как и каждое социально-политическое движение, вынужден пользоваться определенным набором методов (политика есть политика), соответствующим интересам и расстановке сил в обществе и подчиняющим себе все прочие резоны, мораль в том числе.

Нас здесь интересуют лишь методы из арсенала современного коммунизма, которые отличают его от иных социально-политических движений и, в зависимости от обстоятельств, могут быть мягче или суровее, бесчеловеч-

нее или гуманнее. Как и во всем остальном, нас интересует специфика, «уникальность» методов, применяемых современным коммунизмом, то есть разница между коммунистическим и всеми иными движениями — неважно, революционными или нет.

Сразу скажем, что сверхжестокость коммунистических методов такой «уникальной» чертой не является. Жестокость — хотя и самая броская, но не самая существенная их особенность. Движение, покусившееся на столь трудную цель — насильем перевернуть экономику и все общество, — должно было вооружиться жестокостью. На то же самое были обречены, даже стремились к этому, все прежние революционные движения. Стремилась, да не получилось: не смогли — потому и век их насилия был коротким. И тотальным, как коммунистическое, их насилие тоже не стало: не позволили обстоятельства.

Еще менее оправданным было бы искать причинно-следственные связи между коммунистическими методами и отсутствием у коммунистов этических и моральных принципов.

Коммунисты, кроме того, что они коммунисты, еще и обыкновенные люди, обязанные в общении с другими людьми придерживаться моральных начал, принятых в человеческих сообществах. Этические пустоты у них не причина, а следствие методов, которыми они пользуются. Во всех своих кодексах, а также на словах коммунисты — непреклонные поборники верховенства этики и гуманизма. Считающие к тому же, что просто вынуждены «время от времени» в жизненной «буче» нарушать свои собственные этические нормы. И было бы, говорят они, конечно, намного лучше, если бы к этому не приходилось прибегать. Тут они, кстати, мало чем отличаются от других политических движений, разве что отрицание гуманности у них принимает более затяжной характер и выражается в формах, которые иначе как чудовищными не назовешь.

Можно выделить бесчисленное количество признаков, отличающих современный коммунизм от иных движений именно по его методам. Истоки тут следует искать в исторических условиях и в сути задач, решаемых коммунистами.

Есть между тем одно коренное отличие, делающее современный коммунизм на первый взгляд схожим с некоторыми религиями прошлого.

Это — так называемые «идеальные» цели, во имя до-

стижения которых коммунисты не брезгают никакими средствами. Причем средства делаются все беззастенчивее по мере того, как достижение «идеальных» целей отодвигается все дальше за горизонт.

Если в ходе революции коммунисты были вынуждены прибегать к методам, навязанным как их противниками, так и самим ходом борьбы, то после окончательного овладения властью, после уничтожения врагов использование тех же и даже еще более суровых насильственных методов якобы во имя «идеальных» целей — «социализма», «коммунизма», «интересов рабочего класса и всех трудящихся» и так далее — не только не может быть оправдано никакой моралью, но и изобличает их как бесчестных и безжалостных властолюбцев. Прежних классов, партий, собственности либо уже не существует, либо они парализованы и не в силах оказывать сопротивление, но «набор методов» остается неизменным. Более того, лишь теперь их использование разворачивается со всей бесчеловечностью.

Цели, которыми оправдываются «неидеальные» методы, тем «идеальнее», чем большую силу набирает новый эксплуататорский класс. Бесчеловечность сталинских методов достигла апогея именно с построением «социалистического общества». Провозглашая свои интересы наивысшей и «идеальнейшей» из целей, к которой стремится общество, обеспечивая собственную монополию в духовной и прочих жизненных сферах, новый класс всячески принижает значение методов. «Важна цель, — глаголят его представители, — все остальное второстепенно». «Главное, что «у нас» — социализм, все прочее — мелочи», — оправдывают коммунисты преступную мерзость своих действий.

Естественно, что цель должна обеспечиваться соответствующим инструментарием — партией. Эта последняя подминает под себя все, становится, как средневековая церковь, сама себе оправданием.

«Когда ее существование под угрозой, церковь отбрасывает моральные заповеди. Единство как цель делает святыми все средства: обман, предательство, насилие, симонию, тюрьму и смерть. Потому что любой порядок существует лишь во имя общности целей, и личность должна быть принесена в жертву общему делу» /Дитрих фон Нихейм, епископ Верденский/.

И эта сентенция тоже будто слетела с языка одного из вождей коммунизма.

Хотя современный коммунизм многое роднит с феодализмом (та же почти до фанатизма доведенная догматичность, например), но мы тем не менее не в средневековье, да и он — не церковь.

Внешне средневековую церковь и современный коммунизм делает похожими их общее тяготение к идеологической и любой иной монополии, а также родство методов «воздействия». Но суть все же разная. Церковь — собственник и власть лишь отчасти, в худшем случае ее претензии сводились к абсолютному господству в духовной сфере во имя поддержки установившейся общественной системы. Еретиков церковь преследовала нередко по воле догмы, не стремясь к практической выгоде, ибо господствовало представление, что грешная душа еретика спасется, если уничтожить его тело, то есть во имя достижения царствия небесного допускались любые земные средства.

Коммунисты претендуют прежде всего на непосредственную — государственную власть. И власть духовная, и гонения «по воле догмы» — это лишь вспомогательные средства для укрепления государственной власти. В отличие от церкви коммунисты не являются опорой системы, они ее «телесное воплощение».

Все это говорится для того, чтобы уяснить, почему, теоретически не являясь сторонниками неразборчивости в средствах, коммунисты вынуждены на практике изменять этому своему принципу. Поскольку новый класс возник не сразу, а постепенно превращался из революционного в собственнический и реакционный, то и его методы, неизменные внешне, меняли содержание, превращаясь со временем из революционных в поработительские, из оборонительных в насильственные.

По сути, аморальными и бесцеремонными коммунистические методы остаются даже тогда, когда с формальной стороны они не чрезмерно жестоки. Власть, основанная на всеохватном тоталитаризме, в любом случае ведет к неразборчивости в выборе средств.

Людей можно угнетать, грабить, уничтожать без тюрем и виселиц уже тем одним, что они лишаются возможности влиять на перемены в обществе, располагать собственным трудом, высказывать собственные мысли. Узаконивая общественную, а на деле утверждая свою собственность, обещая отмирание государства по мере укрепления демократии, но в действительности все наращивая господство

деспотической власти, коммунисты и со средствами поддержки своего правления поступают так же: если и смягчают их при отсутствии противника или его полной нейтрализации, то лишь условно.

Коммунисты продемонстрировали, что не в силах отказать от своей сути и принципа «цель оправдывает средства», стоящего на страже их абсолютного господства и эгоистических интересов.

Даже не желая того, коммунисты обязаны оставаться собственниками и деспотами, не брезговать никакими средствами. К этому их, вопреки красивым теориям и добрым намерениям, принуждает система. А когда нечто превращается в необходимость, находятся и те, кого система как моральных и духовных узников своих делает прямыми исполнителями собственной воли.

## 2

О «коммунистической морали», «новом человеке при социализме» и тому подобное коммунисты говорят как о неких возвышенных этических категориях. У этих туманных понятий практический смысл единственный — сплочение коммунистических рядов и противодействие чуждым влияниям. Действительными этическими категориями они не являются.

И хотя ни особых коммунистических правил поведения человека, ни самого особого «социалистического» человека быть не может, коммунисты, всячески поддерживая кастовость, вводят в своем кругу «спецвзгляды» на мораль: не абсолютные принципы, а некие подвижные нормы, прочно укорененные в коммунистической иерархической системе, где «верхам» — высшим кругам — доступно очень многое из того, что всячески осуждается, если, не дай Господь, в том же самом будут уличены «низы».

Эти кастовые дух и мораль, нестабильные и несовершенные, прошли сквозь длительное и неоднозначное развитие, часто и сами подстегивая возвышение нового класса. Конечным итогом было рождение особых кастовых моральных норм — неписанных, но категоричных и неизменно подчиненных практическим нуждам олигархии. Грубо говоря, процесс оформления кастовой морали совпадает с возвышением нового класса, он идентичен отказу

последнего от общечеловеческих, этических, по сути, категорий, то есть опоре на принцип «цель оправдывает любые средства».

Высказанные положения нуждаются в более детальном разъяснении.

Как и прочие коммунистические формы, кастовая мораль развилась из морали революционной, в которой поначалу, несмотря на принадлежность к замкнутому движению, преобладали черты общечеловеческой, а не сектантской или кастовой морали. Не случайно коммунистическое движение начиналось как высшее проявление идеализма и самозабвенной жертвенности, собирая в свои ряды самых одаренных, мужественных и, естественно, самых благородных представителей нации.

Данный вывод и главным образом все высказанное ранее касается стран, где коммунизм в принципе возрос на национальной почве, победил в революции и достиг максимальной силы (Россия, Югославия, Китай). С некоторыми допущениями то же самое можно отнести и к другим коммунистическим режимам.

Коммунизм повсюду начинается как стремление к лучшему, к идеалу, что и делает его столь привлекательным для людей высокой морали. Вместе с тем, будучи движением интернациональным, он, как подсолнух к солнцу, поворачивается к тому движению, которое сильнее, у которого власть. До сих пор это был Советский Союз. Поэтому коммунисты и тех стран, где власть им не принадлежит, быстро теряют первоначальные черты, приобретая другие, присущие коммунизму с властью. Коммунистические лидеры на Западе, к примеру, сегодня так же привычно манипулируют истиной и этическими началами, как и их советские собратья. В любом случае на первых порах каждое коммунистическое движение основывается на высокой морали, принципы которой отдельные люди долго берегут в душе, что и вызывает кризисы вследствие аморальных поступков и волюнтаристских загибов со стороны вождей.

История не много знает движений, которые бы, подобно коммунистическому, начинали свою жизнь и развитие с таких высокоморальных позиций и при участии таких преданных, знающих, окрыленных борцов, связанных воедино не только идеей и муками, но и самозабвенной любовью, товариществом, солидарностью, той горячей непосредственной сердечностью, что рождается единст-

венно в совместной борьбе, где они решили либо победить, либо умереть. Общие усилия, мысли и мечты, само искреннее стремление думать и чувствовать одинаково, ощущать личную радость и строить индивидуальное через полное подчинение партийному и трудовому коллективу, готовность пожертвовать собой ради товарища, заботливое внимание к молодежи и нежное, уважительное отношение к старикам — это черты подлинных коммунистов в момент, когда движение формируется как воистину коммунистическое. Женщина-коммунист тут не просто товарищ и соратник. Надо постоянно иметь в виду, что она, присоединяясь к движению, готова пожертвовать всем — даже наслаждением любви и материнства. Между мужчиной и женщиной устанавливаются чистые, теплые отношения, в которых товарищеское участие стало платонической страстью, а любое глухое желание преобразуется в дружбу и целомудренную опеку. Верность, взаимопомощь, искренность в сокровеннейших помыслах — черты настоящих, идеальных коммунистов.

Но все это лишь до поры, пока движение молодо и не вкусило еще от плодов власти.

Чтобы такие черты возникли, нужно пройти долгий и трудный путь. Коммунистическое движение вбирает в себя людей из разных общественных слоев и сил. Внутренняя психологическая однородность, о которой мы говорили, не появляется вдруг, ей предшествуют ожесточенные столкновения разнотипных групп и фракций, где всегда побеждает (если объективные условия позволят) та, что глубже осознала суть движения к коммунизму, а потому и является в тот момент — до завоевания власти — также носителем наивысших моральных ценностей. Через моральные кризисы, политические интриги, подлость, грязь, клевету друг на друга, неистовую злобу, разврат, дикие стычки, духовную и интеллектуальную разруху движение медленно поднимается, перемалывая все и вся на своем пути, отбрасывая ненужное, выковывая свое ядро и свою догму, мораль и психологию, интеллектуальные интересы, атмосферу и стиль работы.

Коммунистическое движение становится подлинно революционным; и мы замечаем, что сторонники его действительно обладают — на мгновение — всеми названными высокими моральными качествами. Наступает момент, когда в коммунизме слова крайне редко расходятся с делами, а точнее, когда идущие впереди, самые предан-

ные, настоящие, идеальные коммунисты, искренне верят в свои идеалы и стремятся неизменно следовать им. Момент этот, непосредственно предшествующий началу вооруженной борьбы за власть, дано пережить лишь движениям, которые пришли к подобной ситуации.

Конечно, перед нами мораль секты, но мораль — высокой пробы. Движение замкнуто, здесь часто не видят истину, хотя это не значит, что ее по-прежнему не ищут и не ценят. Внутренняя моральная и интеллектуальная обособленность есть следствие долгой борьбы за идейную монолитность и единство действий, без нее невозможно себе представить ни одно истинное — революционное — коммунистическое движение. «Единство воли и действия» недостижимо без психологически-морального единства. И наоборот. Но именно это психологическое и моральное единство, без уставов и правил, нарождающееся спонтанно, с тем, однако, чтобы стать обычаем, осознанной привычкой, и делает (как ничто иное) коммунистов монолитной семьей — непостижимой и непрístupной извне, несокрушимой в своей солидарности и идентичности реакций, мыслей, чувств. Наличие такого психологически-морального единения, не возникающего сразу и не оформившегося еще до конца, в большей мере цели, нежели реальности, и есть наивернейший знак того, что коммунистическое движение, ослепительно прекрасное в глазах своих сторонников и многих других людей, прочно встало на ноги, что оно, спрессованное в единый кулак, в единую душу и единое тело, — необоримо. Возникло новое монолитное движение, перед которым будущее. Правда, будущее совсем не такое, каким грезилось вначале.

Но все это медленно бледнеет, распадается, тает на пути восхождения коммунистов к вершинам власти и могущества. Остаются сплошь голые формы и привычки, истинное содержание выхолащивается.

Внутренняя монолитность, выкристаллизованная в борьбе с противниками и полукоммунистическими группами, при неминуемом захвате власти кучкой олигархов (а чаще всего — одним «социалистическим» абсолютным монархом) обращается в сплочение послушных «советчиков» и роботов-бюрократов, населивших движение. Низкопоклонство, угодничество, боязнь открыто высказаться, вмешательство в личную жизнь (прежние формы товарищеского участия и взаимопомощи становятся орудием господства олигархии), иерархическая окостенелость и



замкнутость, низведение роли женщины до символической и второстепенной, наглый карьеризм, эгоизм, рабская завистливость и мстительность — все это по мере продвижения к власти вытесняет изначальные благородные черты. Высокая человечность некогда замкнутого движения превращается постепенно в угодническую фарисейскую мораль привилегированной касты. Приходит конец и прежней революционной чистосердечности, ее заменили политиканство и ловкачество. Герои (из тех, кто не сложил голову и кого не отстранили от дел), еще вчера способные пожертвовать всем, даже жизнью, ради других, ради идеи и народного блага, становятся трусливыми эгоистами, у которых нет больше идей и нет больше товарищей. Они не прочь отречься от чести и имени, истины и морали — лишь бы не выпасть из класса правителей, лишь бы удержаться в иерархическом кругу. Если прежде мир редко видел подобных героев, готовых к жертвам и мукам, убежденных, умных, непоколебимых (а именно такими коммунисты были в канун революции и в ее процессе), то не знавал он и столь бесхарактерных трусов — тупоголовых стражей засушенных формул, какими, достигнув могущества, становятся подчас те же самые люди. И все во имя голыи власти, во имя привилегий. Насколько лучшие человеческие качества были условием возникновения движения, источником его привлекательности и силы, ровно настолько же дух кастовости при полном пренебрежении к этике и добродетели стал условием сохранения его могущества, самого его выживания. И если раньше честность, искренность, самоотреченность, любовь к истине являлись чем-то совершенно естественным, были условием принадлежности к движению и существования его самого, то ныне сознательная ложь, интрига, клевета, подтасовка, провокация постепенно возводятся в ранг неизбежных спутников как мрачного, беспардонного и всеохватного господства нового класса в целом, так и взаимоотношений между его «полномочными представителями».

### 3

Непонявший этой диалектики развития коммунизма был не в состоянии понять и так называемых московских процессов, а также того, почему достаточно регулярные

моральные кризисы, вызываемые предательством вчерашних святых и священных принципов, не могут внести в умы коммунистов того решающего перелома, какой наблюдается у простых людей или представителей иных движений.

Хрущев подтвердил, что основным методом выколачивания «признаний и самооговоров» в сталинских чистках были физические истязания. Он умолчал о наркотиках, хотя есть данные и о их применении. Но самые жестокие истязания и сильнодействующие наркотики осужденные несли в себе.

Обычные осужденные, не члены партии, не впадали в транс, не занимались истерическими самооговорами и не вымаливали смерть в награду за свои «грехи». Такое случилось только с «людьми особой закваски» — с коммунистами.

Сначала они были поражены жестокостью и аморальностью удара и обвинений, которые «из-за угла» обрушил на них партийный верх, тот самый, в чью полную беспринципность они все же не желали верить, хотя в глубине душ своих (и в узком дружеском кругу) осуждали его за многое. И вот, внезапно, их, словно сорняки, вырвали с корнем. И кто? Их же собственный класс — их вожди, руководство. Взяли и выбросили на помойку. Хуже того, невинных, их пригвоздили к столбу преступления и предательства. А они давно воспитаны, они привыкли быть единой тканью с партией, с ее идеалами. Теперь, выдранные с корнем, они оказались совершенно одинокими. Другого мира, вне рамок коммунистической секты, вне ее убогих понятий и отношений, они не ведали или же позабыли его, отбросили, а теперь уже было слишком поздно искать что-то за гранью коммунистического: им бы и не дозволили, да и сами они, в мыслях, в психике своей, давно уже стали пленниками.

Вне общества, вне общности человек не может только бороться, но и существовать. Это его неотъемлемый признак, который подметил и объяснил еще Аристотель, назвавший человека «политическим животным».

Что остается человеку, некогда члену замкнутой секты, морально раздавленному и вырванному из привычного окружения, подвергающемуся к тому же утонченным и жестоким истязаниям, как не «признаться» и тем самым помочь классу, «товарищам», которым эти признания нужны для борьбы с «антисоциалистической» оппозицией

и «империалистами»? Это последнее «великое» и «революционное», что сохранилось еще в его потерянной и разоренной дотла личности.

Любой истинный коммунист был воспитан, воспитывал себя и других в том духе, что фракции, фракционная борьба являются тягчайшим преступлением против партии, против ее целей. И верно, будь коммунистическая партия раздираема фракциями, не победить ей ни в революции, ни в схватках за власть, за господство. Единство любой ценой, невзирая ни на что, — вот мистический императив, в тени которого, как за стенкой окопа, укроется в итоге мечта олигархов о ничем не ограниченном господстве. Но деморализованный коммунистический оппозиционер, заподозривший или даже стопроцентно понявший это, все равно не избавился еще от мистики единства. Кроме того, он может думать, что вожди приходят и уходят, уйдут и эти — злые, глупые, непоследовательные, себялюбцы и властолюбцы, а цель останется. Цель — все, не так ли испокон веку было в партии?

Сам Троцкий, наиболее последовательный из оппозиционеров, недалеко ушел от подобных рассуждений. Однажды в наплыве самокритики он провозгласил партию непогрешимой, ибо в ней воплощена историческая необходимость — построение бесклассового общества. А объясняя в эмиграции чудовищную аморальность московских процессов, он упирал на исторические аналогии: перед победой христианства в Риме, в эпоху Возрождения, на заре капитализма с той же неизбежностью вершились подлые убийства, процветали клевета, ложь и чудовищные массовые преступления. Такое же суждено эпохе перехода к социализму, заключал он, все это пережитки старого классового общества, задержавшиеся в новом. Вряд ли он что-то таким путем разъяснил, но хоть совесть свою успокоил: «диктатуру пролетариата» не предал, Советы как «единственную форму перехода к новому» — «бесклассовому» — обществу тоже. Вникни он в проблему глубже, то понял бы, что в коммунизме, как и в эпоху Возрождения, да и вообще в истории, когда некий собственнический класс прокладывает себе дорогу, моральные соображения играют роль тем меньшую, чем с большими трудностями он сталкивается и чем на большую меру господства претендует, другими словами, чем «идеальнее» картинка будущего мира, которую он нарисовал себе и другим, и чем глубже и возвышеннее была

устремленность к нему людей, пошедших за этот мир сражаться.

Точно так же и те, кто не понял, какие в действительности общественные перемены происходят после победы коммунистов, переоценили и значение разного рода моральных кризисов в их рядах. Было, например, переоценено значение так называемой десталинизации — принципиальных, близких сталинскому стилю нападок на Сталина со стороны его бывших придворных.

Моральные кризисы, больших или меньших размеров, есть неотъемлемая черта любой диктатуры, поскольку ее сторонники, привыкшие считать унифицированность политического мышления патриотической добродетелью и священной гражданской обязанностью, страдают от неизбежных поворотов и перемен. В тоталитарных системах эти кризисы тем более неминуемы.

Вместе с тем коммунисты «кожей чувствуют» и знают, что на таких поворотах их классовое тоталитарное господство не теряет, а лишь набирает силу; это его естественный путь, а мораль и прочие соображения тут почти ни при чем, порой они просто мешают. И все это они быстро узнают на практике. Потому-то моральные кризисы в их рядах, пусть даже глубокие, весьма недолговременны. Действительно, когда всем существом стремишься к реальной цели, прикрывая ее рассуждениями об идеалах, тут уж не до разборчивости в выборе средств.

## 4

Коммунизм не может морально деградировать, пока его вожди не начнут беспардонно сводить счеты в собственных рядах, по преимуществу с теми из сторонников, кто дела стремится привести в соответствие со словами. Но моральная деградация в глазах сторонних наблюдателей еще не означает слабость коммунизма. До сих пор обычно было наоборот. Всевозможные чистки и «московские процессы» не ослабляли, а, напротив, упрочивали и систему и самого Сталина. Конечно, определенные слои, особенно интеллигенция — и А. Жид тут самый выдающийся пример, — отходили из-за этого от коммунизма, заподозрив, что он — в его нынешнем виде (а другого, по сути, и не существует) — не то олицетворение идеи и идеалов, которое они себе представляли. Но именно та-

кой, какой есть, коммунизм не слабел: новый класс уже окреп, набрал силу, освободился от моральных препон и с успехом топил в крови самих сторонников коммунистической идеи. Морально деградировав в глазах других, коммунизм в глазах собственного класса и в господстве над обществом практически укрепил свои позиции.

Для того чтобы современный коммунизм морально деградировал в среде собственного класса, помимо взаимного сведения счетов между революционерами необходимы и другие условия. Необходимо, чтобы революция «созрела» не только собственных детей, но и, если так можно выразиться, сама себя тоже. Нужно, чтобы сам господствующий класс понял, что его цели нереальны, утопичны, неосуществимы. Нужно, чтобы крупнейшие умы внутри него осознали, что это класс эксплуататорский, а власть его — несправедна. Конкретно, нужно, чтобы класс уяснил, что как об отмирании государства, так и об обществе — коммунистическом, где каждый трудится по способностям, а получает по потребностям, нет и в обозримом будущем не может быть речи и что сегодня реальность построения такого общества с научной точки зрения можно, в худшем случае, равно успешно опровергать и подтверждать. Тогда и средства, к которым этот класс прибегал и прибегает, стремясь к означенной цели, а в действительности — к утверждению собственного господства, лишились бы и для него самого всякого смысла, стала бы понятной их антигуманность и несовместимость с любой великой целью. А это, в свою очередь, означало бы, что и в самом господствующем классе наметились колебания и раскол, которые уже не остановить. Другими словами, борьба за самосохранение должна была бы заставить господствующий класс как общее и его фракции по отдельности отказаться от прежних средств и самой цели — бесперспективной и нереальной.

Надежды на возникновение такой ситуации, чисто теоретически предполагаемой, не дает пока ни одна коммунистическая страна, а послесталинский Советский Союз менее всего. Господствующий класс и там еще монолитен, а осуждение сталинских методов свелось — даже теоретически — к его самозащите от произвола единоличной диктатуры. Хрущев на XX съезде оправдывал «необходимый террор» против «врагов» в противоположность сталинскому произволу по отношению к «хорошим коммунистам». Он осудил не методы, как таковые, а лишь их

применение, потревожившее правящий класс. Очевидные перемены после Сталина произошли внутри самого класса, который достаточно окреп, чтобы дать отпор попыткам установить абсолютную власть собственного вождя и полицейского аппарата. Сам же класс и его методы существенно пока не изменились, ни внутренних трещин, ни морального упадка не заметно. Хотя все же первые элементы раскола налицо, они проявляются через моральный кризис. Но процесс моральной дезинтеграции только-только наметился. Пока лишь формируются условия для него.

Устанавливая какие-то права для себя, правящая олигархия не может избежать того, чтобы крошки с ее барского стола не перепали народу. Затяжные ее разговоры о притеснениях Сталиным коммунистов обязательно найдут отклик в массах, то есть среди тех, кого притесняют во сто, в тысячу раз сильнее. Французская буржуазия тоже в конце концов взбунтовалась против своего императора, Наполеона, когда ей надоели его войны и бюрократический деспотизм. Но из этого некоторую пользу извлек в конечном счете и французский народ. Сталинские методы, которые в немалой мере оправдывались догматической гипотезой об обществе будущего, больше не вернутся. Но это не означает, что теперешняя олигархия, пусть и не способная употребить любые без разбора средства, от них отказывается в принципе. Это не означает также, что Советский Союз вскоре и внезапно превратится в правовое демократическое государство.

Но кое-что тем не менее изменилось.

Господствующий класс не сможет впредь даже перед самим собой оправдывать неразборчивость в средствах «идеальными» целями. Он еще, конечно, поразглагольствует о конечной цели — коммунистическом обществе; иное означало бы отказ от абсолютного господства. Это может быть связано с рецидивами использования любых средств. Но всякий раз прибегать к ним класс не решится. Более мощная сила — страх перед мировым общественным мнением, боязнь навредить самому себе, своему абсолютному господству — заставит его колебаться, удержит его руку. Ощущая себя достаточно могучим, чтобы разрушить культ своего творца, вернее творца системы — Сталина, он нанес смертельный удар по собственным идейным основам. Будучи на вершине господства, правящий класс стал отходить от той идеологии, той догмы,

которая, собственно, и привела его к власти. Появились трещины, он начал раскалываться. На поверхности все как будто мирно и гладко, но там, в глубине, даже в его собственных рядах, новые мысли, новые идеи рыхлят почву, разбрасывают семена грядущих бурь.

Отказавшись от сталинских методов, господствующий класс именно поэтому не сможет сберечь сталинскую догматику. Методы фактически были лишь выражением и этой догмы, и, естественно, практики, на которой она зиждилась.

Не добрая воля и не, упаси Господь, человечность заставили соратников Сталина признать вредность сталинских методов. Интересы их господствующего класса вынудили этих людей обратиться к разуму и вспомнить, что могут они быть и человечнее, хотя бы и уже после смерти ненаглядного своего вождя и учителя.

Избегая крайних, самых жестоких методов, олигархи волей неволей сеют в рядах собственного класса семена сомнения в отношении самих целей. Раньше цель была моральным прикрытием неразборчивости в средствах. Отказ от принципа «цель оправдывает средства» рождает сомнение и в самой цели. Если будет доказано, что методы, которые должны были привести к цели, никуда не годятся, то и сама цель предстанет нереальной. Ибо в любой политике реальны прежде всего средства, цели же на словах всегда замечательны. «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями».

## 5

История не знает идеальных целей, которые достигались бы неидеальными, негуманными средствами, точно так же не знает она и свободного общества, построенного рабами. Ничто так не раскрывает реальность и масштабность целей, как методы, используемые на пути к ним.

Если целью необходимо благословить, то есть оправдать средство, значит, что-то не в порядке с самой целью, с ее реальностью. В действительности лишь сами средства, их непрестанное совершенствование, гуманизация, все большая степень свободы благословляют цель, оправдывают усилия и жертвы, необходимые для ее достижения.

Современный коммунизм еще даже не приблизился к

началу этого процесса. Он лишь приостановился, полный веры в свои силы, и размышляет об избранных средствах.

Все демократические режимы в истории (относительно демократические, конечно, и в меру, которую допускало их время, — что единственно и возможно) основывались, как правило, не на стремлении к идеальным целям, а на ясно видимых малых каждодневных усилиях с применением адекватных средств. Тем самым каждый из этих режимов вел и привел — в большей или меньшей степени спонтанно — к достижению больших целей. Любая же деспотия сама себя оправдывала идеальными целями и резонами.

К достижению больших целей ни одна из них не привела.

Абсолютная беспардонность или же «неразборчивость» в выборе средств совершенным образом сочетались всегда с грандиозностью, но и нереальностью коммунистической цели. Да и как, на самом деле, придать обществу «идеальный» вид, используя принуждение или так называемое «сознательное действие», и не прибегнуть при этом к любым «нужным» средствам, не презреть всех моральных «предрассудков»?

Современному коммунизму удалось революционными средствами в пух и прах разорить одну форму общественного устройства и деспотическими — насадить другую. В первом случае им руководила величайшая, благороднейшая, уходящая в глубь тысячелетий мечта людей о равенстве и братстве, за которой позже коммунизм скроет собственное господство, установленное и осуществляемое любыми, без разбора, средствами.

Совсем как у Достоевского о Шигалева, персонаже «Бесов»: «У него хорошо в тетради, — продолжал Верховенский, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство... Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства...»

Так с оправданием средств целью сама цель становится все более далекой и нереальной. А страшная реальность средств — все более очевидной и невыносимой.



# СУЩНОСТЬ

## 1

Ни одна из теорий о сущности современного коммунизма не исчерпывает проблемы. Не претендует на это и настоящая работа. Современный коммунизм вызван к жизни рядом исторических, экономических, политических, идейных, национальных и международно-политических причин. Поэтому одно-единственное категорическое суждение о его сущности абсолютно точным быть не может.

В сущность современного коммунизма не удавалось проникнуть до тех пор, пока он сам, нарастая, полностью не раскрыл себя. Этот момент мог наступить и наступил лишь с входом коммунизма в определенную фазу своего бытия — в пору зрелости. Именно тогда стало возможным распознать природу его власти, собственности и идеологии. До тех же пор пока коммунизм мужал и представлял собой главным образом идею, разобраться в нем до конца было крайне трудно.

Подобно другим истинам, эта, о современном коммунизме, — произведение многих авторов, стран, движений. Она открывалась шаг за шагом, более менее параллельно продвижению коммунизма, но конечной считаться не может, ибо сам коммунизм развития своего еще не завершил.

И все же в большинстве теорий содержатся верные выводы, причем в каждом отдельном случае удалось уловить какую-то одну из характерных черт коммунизма или одну из форм его сущности.

Есть два основных тезиса о сущности современного коммунизма. Согласно первому, современный коммунизм это своего рода новая религия. Мы удостоверились уже, что он — не религия и не церковь, вопреки тому, что с тем и другим имеет нечто общее.

Второй тезис рассматривает коммунизм как революционный социализм, то есть отрицание современной индустрии или же капитализма, рожденное изнутри их самих вместе с пролетариатом и всеми его несчастьями. Убедились мы, что и этот тезис верен лишь отчасти: современный коммунизм возник в развитых странах как социалистическая идея и реакция на бедственное положение трудящихся масс в процессе промышленной революции.

Но, добившись власти в слаборазвитых странах, он превратился в нечто иное — в эксплуататорскую систему, противоречащую, по большей части, интересам самого пролетариата.

Распространен и тезис, будто современный коммунизм — это лишь новейший вид внутренне присущего людям «врожденного» деспотизма, выходящего на поверхность, как только в чьих-то руках оказывается власть. А возможность стать абсолютным обеспечила ему природа современной экономики, непременно нуждающейся в централизации управления. Элемент истины есть и в такой постановке вопроса: современный коммунизм действительно является современным деспотизмом, который не может не тяготеть к тоталитарности. И все же не каждый современный деспотизм — коммунистический, да и по уровню тоталитарности не равня они коммунизму.

Таким образом, рассматривая любой из тезисов, мы обнаруживаем толкование лишь одной какой-либо стороны или черты коммунизма, часть истины, а не истину целиком. На исчерпывающую точность не может претендовать и моя точка зрения о сущности коммунизма. Впрочем, любое определение «хромает», а особенно когда речь идет о столь сложной и живой материи, как общественные явления.

И все-таки можно — сугубо теоретически, абстрактно — говорить о сущности современного коммунизма, о коренных его особенностях, о том, что пронизывает все его проявления и вдохновляет каждое его действие. В эту сущность можно углубляться, заниматься ее оттенками, но главное раскрыто.

Коммунизм, как и его сущность, находится в непрерывном движении от формы к форме. Они и не существуют без такого движения. Потому и вызывают потребность столь же непрерывного изучения себя, углубления раскрытой уже истины.

Сущность современного коммунизма есть плод специфических исторических и иных обстоятельств. Но с упрочением коммунизма она становится самодовлеющим фактором, самостоятельно формирующим условия для собственного выживания. Поэтому возникает нужда рассматривать ее автономно — в форме и условиях, естественно, в которых она на данный момент проявляется и действует.

Тезис, в соответствии с которым современный коммунизм — разновидность новейшего тоталитаризма, является не только наиболее распространенным, но и точным. Менее известно, что понимать под новейшим тоталитаризмом, когда дело касается коммунизма.

Современный коммунизм — это такой тоталитаризм, где три основных фактора господства над людьми — власть, собственность и идеология — представляют собой монополию одной-единственной политической партии, или, в соответствии с моими предыдущими выкладками и терминологией, нового класса, а в сегодняшней конкретной ситуации — верхушки (олигархии) этой партии или же этого класса. Ни одному прежнему либо нынешнему, кроме коммунистического, тоталитарному режиму не удалось в такой мере овладеть одновременно всеми тремя факторами господства над людьми.

Изучая и взвешивая эти три фактора, можно прийти к выводу, что один из них — власть — всегда играл и по-прежнему играет определяющую роль в развитии коммунизма. Возможно, когда-нибудь возобладает один из двух оставшихся факторов, но пока анализ существующих отношений и прочих данных не дает возможности доказать это. Думаю, что власть станет главной характеристикой коммунизма.

В момент рождения коммунизм был идеей. Притом идеей, уже в зародыше содержавшей его тоталитарную и монополистическую природу. С уверенностью можно констатировать, что идеи больше не играют главной, основополагающей роли в обеспечении его господства над людьми. Как идея коммунизм свой путь в основном закончил, тут ему нечего больше сказать миру. Иное дело — власть и собственность, два остальных его обличья.

Могут заметить, что овладение каким-либо видом власти — властью политической, духовной, экономической — есть цель любой борьбы, любого общественно значимого деяния человека. В этом немало истины. Добавят также, что в любой политике власть, борьба за нее и ее сохранение — основная проблема, основное устремление. Бесспорно. Но современный коммунизм — не просто власть, он — нечто иное. Он власть особого сорта, власть, сочетающая в себе господство над идеями и собственностью, то есть власть, ставшая самоцелью.

Советский коммунизм, наиболее длительный и развитой, миновал к настоящему моменту три фазы. То же в большей или меньшей степени касается других стран, где коммунизм «у руля». Исключая Китай: там коммунизм пребывает еще главным образом во второй фазе — упрощает позиции.

Три фазы: коммунизм революционный, догматический и недогматический. В общих чертах им соответствуют главные лозунги, задачи и знаменосцы революции: взятие власти — Ленин; «социализм», или созидание системы, — Сталин; «законность», или стабилизация системы, — «коллективное руководство».

Тут важно видеть, что фазы эти не только не имеют строго очерченных границ, но и каждая отдельная содержит в себе общие элементы. Уже ленинский период был полон догматизма, уже там началось «строительство социализма», а что касается Сталина, то он не отрекся от революции и по-прежнему игнорировал догмы, мешавшие созиданию системы.

Да и сегодняшний недогматический коммунизм таковым является лишь условно: догма ему не повод для отказа от практической выгоды, самой мизерной, и, с другой стороны, в погоне за той же выгодой он будет беспощадно преследовать малейший намек на сомнение в истинности и чистоте догмы.

Так, исходя из практических потребностей и возможностей, он сегодня приспустил паруса революции и своей военной экспансии. Но ни от того ни от другого не отказался.

Поэтому вышеозначенное деление на три фазы верно лишь в общих чертах, с точки зрения абстрактной теории. В действительности «чистых», разделенных фаз не существует, они и по времени в разных странах не совпадают.

В различных коммунистических государствах границы между фазами, мера их взаимопроникновения и формы проявления неодинаковы. Югославия, например, через все три фазы прошла за относительно короткое время. Ведомая все теми же личностями, что отразилось и на их взглядах, и на принципах работы.

Во всех трех фазах власти принадлежит главная роль. Сначала, в ходе революции, властью надо было овладеть; затем, в период «построения социализма», опираясь на власть, создать новую систему; сегодня власть должна эту систему уберечь.

За это время, с первой по третью фазу, сущность сущности коммунизма — власть прошла эволюцию от средства до самоцели.

В действительности она всегда, в большей или меньшей степени, была целью, но коммунистические вожди так ее не восприняли, уверовав, что с ее помощью, используя ее как средство, достигнут «идеальной» цели. Именно из-за того, что была средством при утопической попытке преобразования общества, власть не могла не превратиться в самоцель, в первейшую цель коммунизма. В первой и во второй фазе она могла выглядеть средством. Но в третьей не скрыть уже было, что она и есть первейшая цель и сущность коммунизма.

Угасая как идея, не будучи в состоянии открыто утвердиться как собственность, коммунизм вынужден держаться за власть как за главное средство и основной способ сохранения своего господства над людьми.

В революции, как и в мировой войне, полная концентрация ресурсов в руках власти была естественной: войну нужно выиграть. В период индустриализации это еще могло выглядеть естественным: нужно было создавать индустрию, строить «социалистическое общество», на алтарь которого принесено столько жертв. Но когда и это завершилось, стало ясно, что власть в коммунизме была не только средством, но и основной, если не единственной целью.

Сегодня для коммунистов, стремящихся удержать в своих руках привилегии и собственность, власть — и средство и цель. А поскольку речь идет об особых формах власти и собственности, то есть собственность используется посредством самой власти, то власть — это и самоцель и сущность современного коммунизма. Другие классы в состоянии удержать собственность и без монополии власти или власть — без монополии собственности. А вот новому классу, сформировавшемуся в коммунизме, такое как до сих пор не удавалось, так и в будущем маловероятно, что удастся.

На протяжении всех трех указанных фаз потайной, невидимой и неназванной, стихийной и самой основной целью была власть. В каждой из трех форм господства над людьми она проявлялась сильнее либо слабее: при первой фазе идеи — во имя власти — были вдохновляющей и движущей силой; во второй — власть действовала как demiurge общества, не забывая поддерживать собст-

венную «кондицию»; сегодня «коллективная» собственность подчинена импульсам, от нее исходящим, и ее потребностям.

Власть — альфа и омега современного коммунизма тогда даже, когда он старается избежать этого.

Идеи, философские принципы и мораль, нация и народ, собственная история, а частично даже и «своя» собственность — все можно разменять, всем пожертвовать. Но не властью. Ибо это значило бы отречься от себя, от сущности своей. Отдельным людям сие доступно. Но класс, партия, олигархия — они не могут. В этом цель и смысл их существования.

Любая власть, будучи средством, одновременно еще и цель (для тех уже, кто к ней стремится), и источник привилегий.

В коммунизме власть — почти исключительно цель, так как она источник и гарантия всех привилегий. Ею и через нее реализуются материальные привилегии и владычество правящего класса над национальными богатствами. Она «взвешивает» ценность идей, душит их либо допускает.

Этим власть в современном коммунизме отличается от любой другой власти. А он сам — от любой другой системы.

Именно потому, что власть — глубочайшая сущность коммунизма, он обязан был стать тоталитарным, нетерпимым и замкнутым. Если бы он имел (или был способен иметь) и другие действительные цели, ему пришлось бы разрешить и иным силам самостоятельно развиваться и выступить против него.

### 3

Не столь уж важно, в какое определение уложится современный коммунизм. Однако эта проблема встает перед каждым, кто берется за его объяснение, даже если его к тому не принуждают конкретные условия, в которых коммунисты величают свою систему «социализмом», «бесклассовым обществом», «воплощением вековой мечты человечества», а противная сторона видит в нем лишь бессмысленное насилие, «случайный» успех группы террористов и проклятие рода человеческого.

Науке, желающей упростить описание, приходится пользоваться устоявшимися категориями.

Существует ли в социологии категория, к которой, пусть и с некоторой натяжкой, можно отнести современный коммунизм?

Как и многие авторы, хотя и с иных позиций, я тоже в последние годы относил коммунизм к государственному капитализму, точнее говоря, к тотальному государственному капитализму.

Этот взгляд главенствовал в среде руководителей югославских коммунистов во время их конфликта с правительством СССР. Но не зря говорят, что коммунисты, держа курс по ветру практических выгод, «как перчатки» меняют свои «научные» выводы. Вот и югославские партийные вожди (правда, стыдливо и тайком) изменили после «замирения» с советским правительством свою позицию и снова провозгласили СССР социалистическим государством, а советский империалистический наскок на независимость Югославии — «трагическим» и «непонятным» происшествием, вызванным «произволом отдельных лиц», как выразился Тито.

Современный коммунизм на самом деле более всего походит на тотальный государственный капитализм. Об этом говорят его происхождение и задачи, которые ему предстояло решать: необходим был промышленный переворот, схожий с тем, что совершил капитализм, но, в отличие от последнего, с помощью государственной машины.

Впрочем, и против такой дефиниции можно привести ничуть не меньше (если не больше) доводов.

Будь государство в коммунизме собственником от имени общества, нации, то и формы политической власти над ним могли бы и обязаны были меняться, — уже хотя бы вследствие разнообразия устремлений в этом обществе и у этой нации. По природе своей государство — это орган, связующий и гармонизирующий общество, а не только сила, над ним зависшая. Владение собственностью от имени общества, таким образом, и должно было бы отражать эти его функции или, другими словами, те силы и тенденции, которые оно призвано уравнивать и которые проявлялись бы в разнообразнейших формах политического господства над ним, государством. И собственником, и само себе владыкой оно не могло бы быть. Здесь же наоборот: государство — инструмент, оно во власти интересов только одной и всегда той же самой политической группы, то бишь, одного и того же исключительного собственника или же одной и той же тенденции в экономике и остальных сферах общественной жизни.

Госсобственность на Западе скорее можно было бы

счесть государственным капитализмом, нежели собственность в коммунистических странах.

Утверждение, что современный коммунизм есть государственный капитализм, рождено «угрызениями совести» тех, кто, разочаровавшись в коммунистической системе, не нашел ей объяснения и сравнивает ее болячки с капиталистическими. А так как в коммунизме действительно отсутствует частное владение и собственность формально принадлежит государству, нет, на первый взгляд, ничего логичнее, нежели вину за все грехи свалить на государство. Отсюда и государственный капитализм. Этой формулировкой пользуются подчас и те, кто видит «меньшее зло» в частнособственническом капитализме, с удовольствием подчеркивая, что коммунизм, мол, тот же капитализм, только еще хуже.

Утверждать же, что современный коммунизм является переходом к чему-то иному, — значит заходить в тупик и делать невозможными любые разумные поиски решения. А что же из сущего не являет собой одновременно и перехода к чему-то иному?

У современного коммунизма, даже если согласиться с тем, что он вобрал в себя многие черты некоего всеобъемлющего государственного капитализма, есть ничуть не меньше своих собственных особенностей, а посему будет, видимо, точнее считать его некой особой и новой общественной системой.

Сущность современного коммунизма нельзя перепутать ни с какой другой. Впитав в себя немало элементов феодализма, капитализма и даже рабовладельчества, он вместе с тем остается самобытным и самостоятельным.

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУНИЗМ

### 1

Единый по своей сути коммунизм в разных странах реализуется по-разному: нестандартными темпами и путями. Поэтому отдельные коммунистические системы можно рассматривать как несколько форм одного и того же явления.

Различия между коммунистическими странами, которые Сталин тщетно пытался устранить силой, — это пре-



жде всего следствие самобытности их исторического прошлого.

Даже самый поверхностный наблюдатель отметит, что, например, современный советский бюрократизм есть в некоем роде продолжение царизма, его порядков, при которых, как еще Энгельс констатировал, чиновники составляли «особое сословие». Нечто подобное можно сказать и о способе осуществления властных функций в Югославии.

Встав «у руля», коммунисты в разных странах столкнулись с разным культурно-техническим уровнем, неодинаковыми общественными отношениями, с особенностями национального характера, чего новая власть не могла не принимать во внимание. Эти различия продолжают углубляться — всюду по-своему. Но так как более-менее сходны общие причины, приведшие их к власти, да и бороться им приходится со сходными внутренними и внешними противниками, то коммунисты большей частью вынуждены не только вести совместную борьбу, но и исповедовать сходную идеологию.

Подобно всему в коммунизме, и коммунистический интернационализм, отражавший некогда однотипность ситуации, в которой находились революционеры, а также задач, поставленных перед ними обществом, с течением времени переродился. Теперь это — «общий котел» интересов международной коммунистической бюрократии, а одновременно — питательная среда для грызни и раздоров внутри этой «общности» на государственно-национальной основе. От прежнего пролетарского интернационализма сохранились лишь призывы да священные догмы; ныне он — окоп, где засели и вольготно себя чувствуют «голые» внутренние и внешнеполитические интересы, намерения и планы различных коммунистических олигархий.

Природа власти, собственности, схожесть роли в международной жизни, как и единая идеология, неизбежно заставляют коммунистические страны обращаться к практике и опыту друг друга.

Несмотря на это, было бы в высшей степени ошибочным не видеть и недооценивать значение обязательных различий в темпах и путях становления коммунистических государств. Вариабельность путей, форм, темпов, в которых предстоит самовыразиться любому «отдельному» коммунизму при едином для всех внутреннем содержа-

нии, столь же неизбежна, как и сама суть коммунизма. Ни одна коммунистическая система, какой бы схожей с другими она ни казалась, не может существовать вне декораций национального коммунизма. Более того, чтобы удержаться, такой коммунизм обязан приобретать вид все более национального, все больше приспосабливаясь к национальным реалиям.

Форма власти, собственности, содержание идей разнятся в коммунистических странах наименьшим образом. Различий может вообще не быть, во всяком случае крупных. Ибо суть везде одна — тотальное господство. Но, стремясь победить и сохранить власть, коммунисты обязаны приравнивать к национальным условиям темпы и пути утверждения позиций одной и той же сути, очень схожих форм власти и собственности.

Разница между коммунистическими странами, как правило, тем заметнее, чем в большей степени коммунисты какой-то из них, подчиняясь обстоятельствам, шли к власти «нетрадиционными» путями, иными темпами. И чем независимее при этом были.

Конкретно лишь в трех случаях — Советский Союз, Китай и Югославия (где-то в большей, где-то в меньшей мере) — коммунисты самостоятельно осуществили революцию, по-своему, своими темпами добились власти и начали «построение социализма». Эти страны сохранили независимость, даже став коммунистическими, даже находясь — как Югославия прежде, а Китай до сих пор, — под мощным воздействием Советского Союза, в отношениях «братской любви» и «вечной дружбы» с ним. На закрытом заседании XX съезда Хрущев приоткрыл завесу над тем, как едва удалось предотвратить конфликт между Сталиным и китайским руководством. Конфликт с Югославией, таким образом, не единичен, он был лишь наиболее болезненным и первым из вышедших на поверхность.

Известно, что остальным коммунистическим государствам советское руководство навязало коммунизм силой «вооруженных миссионеров» — своей армии. Вследствие этого разница в путях и темпах развития этих стран не могла еще сыграть той роли, как в случае Югославии и, конечно, Китая. Но по мере укрепления там господствующей бюрократии, приобретения ею самостоятельности, по мере того как она начинает понимать, что излишней послушностью и копированием Советского Союза лишь ослабляет собственные позиции (или, как при-

нято говорить, «построение социализма» и «социализм»), она начинает все ревностнее перенимать пример Югославии, то есть развиваться самостоятельно. Коммунисты восточноевропейских стран были сателлитами СССР не потому, что им это нравилось, а потому, что были слишком слабы. По мере стабилизации своего положения, как только для этого создаются условия, они начинают все более тяготеть к независимости — защите «своего народа» от советской гегемонии.

С победой коммунистической революции в определенной стране власть и могущество там оказывается в руках нового класса. И у него нет большого желания во имя торжества идеологической солидарности лишиться своих «в поте лица» добытых привилегий, подчиняя собственные интересы интересам пусть и «братского» класса, но все же — из другой страны.

Там, где коммунистическая революция победила главным образом самостоятельно, неизбежен особый путь развития, а вместе с ним — разногласия с другими коммунистическими государствами, особенно с Советским Союзом — мощнейшей и наиболее империалистически настроенной коммунистической державой. Ведь в стране победившей революции господствующая национальная бюрократия уже обрела (с оружием в руках) самостоятельность, распробовала вкус власти, ощутила выгоды от обладания «национализированным» имуществом. С философской точки зрения она осознала свою сущность, дорвалась до «своего государства», то есть власти, а поэтому и требует равноправия.

Это не значит, однако, что речь идет только о столкновении — если оно случается — двух бюрократий. В него втягиваются и революционные элементы подчиненной страны, несокрушимые и принципиальные противники «права сильного», считающие, что отношения между коммунистическими государствами должны быть, как велит догма, идеальными. Народные массы, которые в глубине души всегда стремятся к независимости, также не могут остаться в стороне от этого конфликта. Народу он в любом случае выгоден, поскольку дает возможность, с одной стороны, не платить дань чужому правительству, а с другой — ослабить гнет собственного, не желающего и не смеющего впредь копировать чужие методы. Такой конфликт будит также внешние силы — другие страны и движения. Но суть самого столкновения, как и суть его

участников, остается неизменной. Ни советские, ни югославские коммунисты не изменили своей сути — ни до, ни во время, ни после ссоры. Правда, расхождения в вопросе о темпах и путях дальнейшего развития, как и стремление застраховать свою монополию, довели до взаимного оспаривания наличия социализма друг у друга, но, в конце концов, они признали таковое — примирившись и поняв, что если не хотят скомпрометировать и потерять то, что для них наиболее значимо (и едино по сути), то нужно уважать существующие различия.

Подчиненные коммунистические правительства в Восточной Европе могут — даже должны — добиваться независимости от Советского Союза. Сколь далеко зайдет стремление к самостоятельности и в какой форме проявятся трения, предугадать заранее никто не способен, — тут зависимость от множества непредсказуемых внутренних и внешних факторов. Но в том, что национальная коммунистическая бюрократия стремится к своему все более полному и независимому господству, не может быть никакого сомнения. Это доказывают не только антиитовские процессы при Сталине всюду в Восточной Европе, но и сегодняшнее открытое предпочтение «своему пути» в «социализм», что особенно ярко в последнее время демонстрируют Польша и Венгрия. Центральное советское правительство сталкивалось с проблемой «национализма» даже со стороны им самим посаженных руководителей советских республик (Украина, Кавказ), так что же говорить о странах Восточной Европы.

Важную роль играет при этом и тот факт, что Советский Союз не смог — и в будущем не сможет — стимулировать экономику восточноевропейских стран, отчего стремление к национальной независимости должно приобретать все больший размах. Это стремление может замедляться и даже замирать порой под нажимом извне или из-за страха коммунистов перед «империализмом» и «буржуазией», но оно не может быть остановлено полностью. Наоборот, оно имеет общую тенденцию к усилению.

Невозможно, конечно, угадать, в каких конкретно формах станут развиваться впредь отношения между коммунистическими странами. Сотрудничество коммунистов способно доходить почти до полного их духовного слияния, объединения, но и конфликты между коммунистическими государствами могут приобретать любой харак-

тер — вплоть до военного. Столкновения между СССР и Югославией помогло избежать не наличие «социализма» в обеих странах, а то, что Сталин не рискнул пойти ва-банк, разжечь конфликт, масштаб которого мог стать непредсказуемым.

Все, что когда-либо произойдет между коммунистическими государствами, будет зависеть от суммы обстоятельств, которыми вообще определяются политические события, однако интересы коммунистических бюрократий, проявляющиеся то как национальные, то как общие, всегда будут играть крупную роль — при неудержимой пока тенденции ко все большей самостоятельности на национальной основе.

## 2

Понятие национального коммунизма казалось полной бессмыслицей до конца второй мировой войны, пока советский империализм не показал, на что он способен не только в отношении капиталистических, но и коммунистических стран. Рождение этого понятия связано прежде всего с конфликтом между Югославией и СССР.

Порицание хрущевско-булганинским «коллективным руководством» сталинских методов, возможно, и в состоянии смягчить отношения между СССР и другими коммунистическими странами, но нормализовать их полностью одним этим невозможно. В лице СССР мы сталкиваемся не только с коммунизмом, но и с империализмом великой русской — советской — державы. Этот империализм может менять формы и методы «воздействия», но не может исчезнуть, — равно как и стремление коммунистов других стран к независимости.

Подобного развития не миновать и другим коммунистическим системам. Сообразно возможностям и обстоятельствам они тоже будут тяготеть к тому, чтобы стать (и станут) по-своему империалистическими, гегемонистскими.

В развитии внешней политики СССР существуют две империалистические фазы, хотя таковой можно было бы считать и предшествовавшую им, когда речь шла почти исключительно о распространении революционной пропаганды в других странах. Я считаю, что нет достаточных оснований и эту первую, революционную фазу в развитии

СССР категорически считать империалистической, так как он тогда больше оборонялся, чем нападал. Хотя несомненно, что и тогда в политике его верхушки присутствовали мощные имперские тенденции (например, по отношению к Кавказу).

Таким образом, если не считать империалистической первую, революционную фазу, то вторая началась, вообще говоря, с победы Сталина, индустриализации и установления господства нового класса в 30-е годы. Этот поворот стал особенно очевиден накануне войны, когда сталинское правительство должно было (и получило такую возможность) перейти от декларативного пацифизма и антиимпериализма к делу, что отразила, в том числе, и смена руководства внешней политикой, — общительного, обаятельного и в достаточной мере принципиального Литвинова сменил беспринципный, замкнутый Молотов.

Основная причина империалистической политики, без сомнения, кроется в самой эксплуататорской и деспотической природе нового класса. Но чтобы этот класс мог проявить себя как империалистический, ему необходимо было обрести определенную силу и оказаться в соответствующих обстоятельствах. Эта сила к началу второй мировой войны у него уже была. А сама по себе война изобиловала возможностями для империалистических комбинаций. Безопасности такой крупной страны, как СССР, особенно в современной войне, маленькие прибалтийские государства никак не угрожали, тем более что настроены они были не только не агрессивно, а даже союзнически. Но для appetитов ненасытной великорусской коммунистической бюрократии это был лакомый кусочек.

Коммунистический интернационализм, являвшийся до того времени составной частью советской внешней политики, слился во второй мировой войне с интересами правящей советской бюрократии. Тем самым и его организации оказались ненужными. Идея распустить Коминтерн возникла, по словам Димитрова, вслед за оккупацией прибалтийских стран, в пору сотрудничества с Гитлером, хотя осуществлена она была во второй фазе войны, в период союзничества с западными государствами.

Информбюро, включавшее восточноевропейские, французскую и итальянскую партии, было создано по инициативе Сталина для обеспечения советского господства в странах-сателлитах и усиления влияния в За-

падной Европе. По уровню Информбюро не шло ни в какое сравнение с Коммунистическим Интернационалом, в котором — несмотря на тот же абсолютный диктат Москвы — хотя бы формально были представлены все партии. Информбюро было сведено к зоне советского фактического и вероятного влияния. Конфликт с Югославией показал, что оно должно было осуществлять подчинение коммунистических стран и партий советскому правительству, — подчинение, которое стало ослабевать вследствие укрепления в них национального коммунизма. После смерти Сталина Информбюро было распущено. Советское правительство, желая избежать крупных и опасных разногласий, признало если и не допустимость национального коммунизма, то хотя бы право на так называемый особый путь к социализму.

Эти организационные изменения вызывались глубокими экономическими и политическими причинами.

Пока коммунистические партии в Восточной Европе не набрали еще силы, да и сам Советский Союз еще недостаточно окреп экономически, советское правительство (не будь даже сталинского произвола и деспотизма) было вынуждено утверждать свое господство в восточноевропейских государствах административными методами. Собственную экономическую и иную немощь советскому империализму приходилось компенсировать политическими — в первую очередь полицейскими и военными методами.

Такая милитаристская форма империализма, являвшая собой лишь более высокий уровень того же царского военно-феодалного империализма, соответствовала внутренней структуре Советского Союза, где полицейский и административный аппарат под централизованной единой командой занимал доминирующее положение.

Сталинизм и есть сплав личной коммунистической диктатуры и милитаристского империализма.

Различные смешанные общества, использование политического нажима для поглощения экспорта восточноевропейских стран по ценам ниже мировых, искусственное формирование «мирового социалистического рынка», контроль за всеми политическими действиями подчиненных партий и государств, превращение традиционно-благожелательного отношения коммунистов к «родине социализма» в доходящий до психоза культ советского государства, Сталина и его достижений — неотъемлемые признаки этого империализма.

Но что произошло далее?

В самом Советском Союзе, внутри его господствующего класса, к тому времени совершились «тихие» перемены, открытому проявлению которых препятствовала лишь фигура Сталина. Подобные перемены, в ином только виде, происходили и в восточноевропейских странах: там новые национальные бюрократии стремятся ко все большему укреплению своей власти и собственности, наталкиваясь одновременно на проблемы, вызванные гегемонистским нажимом со стороны советского правительства. Если раньше они, чтобы прийти к власти, должны были отказаться от национального своеобразия, то теперь такая позиция стала преградой их дальнейшему возвышению. Кроме того, советское правительство оказалось больше не в состоянии следовать слишком дорогой и рискованной сталинской внешней политике военных угроз и изоляции, а одновременно, в эпоху всеобщих антиколониальных движений, держать «в черном теле» ряд европейских государств.

Советские вожди после длительного периода нерешительности и оттяжек вынуждены были признать необоснованность обвинений против руководителей Югославии, которых клеймили как гитлеровских и американских шпионов за то единственно, что они отстаивали право по-своему строить и развивать коммунистическую систему. Тито стал самой заметной фигурой современного коммунизма. Национальный принцип был формально признан. Но вместе с тем, Югославия перестала быть неповторимым генератором нового в коммунизме. Югославская революция «утихомирилась» в своем стандартном русле, в стране начался мирный и однообразный период коммунистического владычества. Любовь между вчерашними врагами от этого не стала вечной, споры тоже не завершились. Все лишь вошло в новую фазу.

Тем самым Советский Союз вступил во вторую, преимущественно экономическую и политическую, если так можно выразиться, фазу своей имперской политики. Во всяком случае, такое впечатление складывается, когда анализируешь имеющиеся на сегодняшний день факты.

Национальный коммунизм стал теперь повсеместным явлением. Им охвачены все коммунистические движения — одни сильнее, другие слабее. Исключением является лишь СССР, против которого, естественно, национальный коммунизм и направлен. И советский коммунизм в



свое время, в годы возвышения Сталина, был национальным коммунизмом. Тогда русский коммунизм фактически отказался от интернационализма, используя его лишь в качестве инструмента своей внешней политики.

Советский коммунизм сегодня столкнулся с необходимостью пусть не окончательно, но все же признать новую реальность в коммунизме.

Меняясь изнутри, советский империализм вынужден был измениться и по отношению к внешнему миру. От преимущественно административного контроля за ними он постепенно перешел к экономической интеграции с восточноевропейскими странами, к совместному планированию в важнейших отраслях, на что коммунистические правительства соглашались сегодня в основном добровольно, чувствуя еще свою слабость как во внутреннем, так и в международном плане.

Такая ситуация не может продолжаться долго, так как таит в себе существенные противоречия. С одной стороны, укрепляются национальные черты коммунизма, а с другой — не исчезает советский империализм. Советское правительство и правительства восточноевропейских стран, включая Югославию, стремятся найти выход на путях сотрудничества, объединения усилий при разрешении единых проблем, затрагивающих самое сокровенное — убережение существующих форм власти и собственности. Это, пожалуй, единственный аспект, где сотрудничество возможно, другие отсутствуют. Условия для дальнейшей интеграции с Советским Союзом продолжают создаваться, но еще больше возникает условий, ведущих к достижению восточноевропейскими коммунистическими правительствами самостоятельности. Ни советское правительство не отказалось от своего господства в этих странах, ни их правительства — от горячего стремления добиться чего-то похожего на самостоятельность Югославии. Степень их будущей самостоятельности находится в зависимости от соотношения сил — внешних и внутренних.

Признание национальных форм коммунизма, на которое советское правительство, правда, «стиснув зубы», но все же решилось, есть факт огромной значимости, весьма и весьма опасный для советского империализма.

Это рождает более-менее свободную дискуссию, а значит и идеологическую самостоятельность. Теперь силу влияния какой-либо «ереси» на коммунизм будет опреде-

лять не только добрая воля Москвы, но и ее, этой «ереси», собственные национальные возможности. Отход от Москвы, которая изо всей мочи упирается, пытаясь на «добровольной» и «идеологической основе» сохранить свое влияние в коммунистическом мире, остановить будет невозможно.

Да и сама Москва не та, что прежде. Потеряна монополия на новые идеи и моральное право предписывать единственно разрешенную «линию». Порвав со Сталиным, она перестала быть идейным центром. Эпоха великих коммунистических монархов и великих идей закончилась и здесь, зато началось царствование сереньких коммунистических бюрократов.

«Коллективное руководство» даже не подозревает, какие проблемы и потери ждут его в самом коммунизме — и у себя в стране, и вне ее. Но что было поделать? Сталинский империализм оказался не просто слишком дорогостоящ и опасен, но и того хуже — неэффективен. Он вызывал ропот не только народов, но и самих коммунистов — притом в крайне напряженной международной ситуации.

Советского идейного коммунистического центра больше не существует, он в полном развале. Единству мирового коммунистического движения нанесен непоправимый урон, по сей день не видно возможности его реанимировать.

Но как замена Сталина «коллективным руководством» не могла изменить сути самой системы в СССР, так и национальный коммунизм, несмотря на возрастание по мере освобождения от влияния Москвы его возможностей, не был способен изменить свою внутреннюю сущность — тотальную власть, монополию идей и собственности партийной бюрократии. Он, правда, мог в значительной степени ослабить давление и замедлить темпы утверждения своей монополии на собственность — особенно в деревне. Но национальный коммунизм не стремится, да и не может стать ничем, кроме коммунизма. Потому-то его непрестанно и подсознательно влечет к «началу начал» — Советскому Союзу. Он не способен отделить свою судьбу от судьбы остальных коммунистических стран и движений.

Национальные изменения в коммунизме создают угрозу советскому империализму сталинской эпохи, но — не коммунизму, как таковому, не его сути. Наоборот, они могут способствовать росту его сил там, где он правит, и

сделать его более привлекательным в глазах сторонних наблюдателей.

Национальный коммунизм совпадает с недогматической, то есть антисталинистской фазой развития коммунизма, более того, является существенным признаком этой фазы.

### 3

Национальный коммунизм не в состоянии изменить сегодняшнюю внешнеполитическую ситуацию — ни в плане межгосударственных отношений, ни отношений внутри рабочего движения. Хотя влиять на все это он может весьма значительно.

Так, например, югославский национальный коммунизм в немалой степени содействовал ослаблению советского империализма и крушению сталинизма внутри коммунистического движения. Истоки перемен, происходящих в Советском Союзе и восточноевропейских странах, кроются прежде всего в недрах самих этих государств. Но первые подобные перемены — на свой, югославский манер — произошли в Югославии. Там и завершились раньше. Так национальный югославский коммунизм конфликтом со Сталиным реально начал новую, постсталинскую фазу в развитии коммунизма. На процессы в самом коммунизме он повлиял заметно, на международные отношения и некоммунистическое рабочее движение также оказал влияние — хотя, безусловно, и несравненно меньшее.

Надежды на то, что югославский коммунизм сможет развиться в демократический социализм или послужит мостом, переброшенным от социал-демократии к коммунизму, оказались безосновательными. Югославские вожди сами в этом вопросе не были последовательны. В период советского давления на Югославию они демонстрировали горячее желание сблизиться с социал-демократами. Между тем, помирившись с Москвой, Тито в 1956 году заявил, что одинаково излишни и коммунистическое Информбюро, и Социалистический интернационал. И это невзирая на факт, что последний самоотверженно защищал Югославию в период, когда представители первого оголтело на нее насакивали. Очарованные политикой так называемого активного сосуществования, которая в наибольшей степени отвечала их текущим

интересам, югославские вожди провозгласили, что обе организации — Информбюро и Социалистический интернационал — «утратили значение» уже потому, что их создали два противостоящих блока.

Югославские руководители спутали свои желания с реальным положением вещей и свой сиюминутный интерес — с глубокими историческими и социальными различиями.

Конечно, Информбюро было продуктом сталинистского стремления создать восточный военный блок. Нельзя также отрицать связи действующего в рамках Западной Европы Социалистического интернационала с западным блоком, с Атлантическим пактом. Но Социнтерн, прежде всего как организация социалистов развитых европейских стран, в которых активны политическая демократия и соответствующие ей общественные отношения, мог бы существовать и без этого блока.

Военные союзы и блоки — явление преходящее, в то время как западный социализм и восточный коммунизм отражают гораздо более устойчивые и глубокие тенденции.

Противостояние коммунизма и социал-демократии есть следствие не столько (менее всего) различия в принципах, сколько разного, противоположно направленного развития экономических и духовных сил. То, что Дойчер справедливо называет началом величайшего в истории раскола — столкновение Мартова и Ленина на II съезде российских социал-демократов в Лондоне в 1903 году по вопросу о членстве в партии, а вернее, по поводу большей или меньшей степени централизма и дисциплины в партии, — имело такую лавину последствий, которой инициаторы этого спора и представить себе не могли. Там началось не только формирование двух движений, но и двух общественных систем.

Пропась между коммунистами и социал-демократами невозможно ликвидировать, не изменив сути этих движений, обстоятельств, приведших к расхождениям между ними. В течение полувека, несмотря на отдельные примеры временного сближения, различия в целом лишь углублялись, а суть в обоих случаях еще больше индивидуализировалась. Сегодня социал-демократия и коммунизм — не только два движения, но и два мира.

Национальный коммунизм, отделяясь от Москвы, не был способен преодолеть эту пропасть, хотя и делал по-

пытки уменьшить ее глубину. В том убедило сотрудничество югославских коммунистов с социал-демократами — больше по линии деклараций, чем реальности, больше «из учтивости», чем «по зову сердца». Каких-либо ощутимых принципиальных результатов для каждой из сторон оно не дало.

Совсем по иным причинам не сложилось единство западных и азиатских социал-демократов. Не столь велики были у них различия в сути и принципах. Другой разговор — практика. По соображениям сугубо национального характера азиатские социалисты не могли объединиться с западноевропейскими. Даже будучи противниками колониализма, социалисты тем не менее представляют страны, которые уже самой своей развитостью, пусть и не доминируя политически в менее развитых государствах, все равно эксплуатируют их. Противоречия между азиатскими и западными социал-демократами отражают противоречия, вызванные неравномерностью развития и перенесенные в ряды социалистического движения. Хотя конкретные проявления таких противоречий могут и должны быть порой достаточно острыми, близость, по существу, насколько сегодня можно судить, все равно очевидна, ее воздействия не избежать в будущем.

#### 4

Подобный югославскому, национальный коммунизм, когда его исповедуют коммунистические партии некоммунистических стран, мог бы иметь международное значение даже большее, чем такой же, но «в исполнении» партий, стоящих у власти. В первую очередь это касается компартий Франции и Италии, объединяющих значительное большинство рабочего класса этих стран и пользующихся, если не считать отдельных партий в Азии, наибольшим влиянием за пределами коммунистического мира.

Проявления национального коммунизма в этих партиях пока не получили большого резонанса и размаха. Но и там такие проявления неизбежны и могли бы в конечном счете привести к глубоким, коренным внутривнутрипартийным преобразованиям.

Не следует объяснять возможный отход этих партий от Москвы единственно необходимостью для них конкурировать с социал-демократией, которая социалистически-

ми лозунгами и действием может привлечь на свою сторону неудовлетворенные массы. Еще в меньшей степени такое объясняется периодическими и всегда «как снег на голову» поворотами в политике самой Москвы и других правящих компартий, что приводит упомянутых, да и не только упомянутых «неправящих» коммунистов к «кризисам совести», заставляет их заниматься оплевыванием того, что вчера еще до небес превозносилось, резко менять партийную линию. Ни пропаганда со стороны политических противников, ни нажим администрации предприятий на рабочих не могут существенно поколебать стабильность положения этих партий.

Основные причины, ведущие к их отходу от Москвы, могут быть заложены в самой природе общественных систем государств, где они действуют. Если окажется (а такое весьма вероятно), что рабочий класс этих государств в силах добиться улучшения своего положения парламентским путем и изменить таким образом саму систему, то, несмотря ни на какие свои революционные и прочие традиции, он от коммунистов отвернется.

Но спокойно наблюдать за отходом рабочих могут лишь группки коммунистических догматиков, в то время как трезвые политические руководители будут всячески стремиться избежать этого — даже ценой ослабления связей с Москвой.

Нужно иметь также в виду, что парламентские выборы, приносящие огромное число голосов коммунистам, не демонстрируют действительную — коммунистическую — силу этих партий, являясь в значительной мере отражением недовольства и сохраняющихся иллюзий. Упорно следуя за коммунистическими вождями, массы с той же легкостью их покинут, едва только станет очевидно, что коммунисты жертвуют национальными формами и конкретными возможностями рабочего класса ради своей бюрократической сущности, «диктатуры пролетариата» и связей с Москвой.

Все это, конечно, предположения.

Но уже сейчас эти партии находятся в крайне тяжелой ситуации. Если они действительно хотят быть на стороне парламентаризма, их руководители должны будут отказаться от своей антипарламентской сущности, то есть выступить за национальный коммунизм, который — с учетом их негосподствующего положения — фактически привел бы к распаду их партий как коммунистических.

Растущая возможность добиться преобразования общества и улучшения положения рабочих демократическим путем, московские повороты, которые в конце концов после сокрушения культа Сталина привели к распаду идейного центра, конкуренция со стороны социал-демократов, тенденции к объединению Запада не только на военной, но и на более глубокой и прочной — социальной основе, военное укрепление западного блока, оставляющее все меньше шансов на «братскую помощь» Советской Армии, невозможность свершения новых коммунистических революций без мировой войны — все это заставляет вождей этих партий манипулировать идеей национального коммунизма и национальными формами; страх же перед неизбежными последствиями перехода к парламентаризму и разрывом с Москвой парализует их, ведет к фактическому бездействию. Все углубляющиеся различия между жизнью общества на Востоке и на Западе действуют с неумолимой силой. «Реактивный» Тольятти — растерян, а крепыш Торез — в нерешительности. Жизнь вне и внутри партии потекла мимо них.

Заявив, что парламент сегодня может стать «формой перехода» к «социализму», Хрущев на XX съезде хотел облегчить коммунистическим партиям в «капиталистических государствах» маневрирование, подтолкнуть коммунистов и социал-демократов к сотрудничеству и созданию «народных фронтов». В реальность этого он поверил, по его собственным словам, вследствие перемен, приведших к укреплению коммунизма и упрочению мира на земле. В действительности он этим молча признал не только очевидную для всех и каждого нереальность коммунистических революций в развитых странах, но и невозможность дальнейшего распространения коммунизма в современных условиях без опасности возникновения новой мировой войны. Политика советского государства свелась к сохранению статус-кво, а коммунизм озаботился постепенным завоевыванием новых позиций новыми методами.

Но тем самым было фактически положено начало кризиса в коммунистических партиях некоммунистических стран. Перейдя на позиции национального коммунизма, они рискуют потерять свою сущность, в противном случае им грозит потеря сторонников. Для того чтобы выкарабкаться из этого противоречия, их вожди, то есть те, кто представляет суть коммунизма в этих партиях, будут вынуждены изощренно маневрировать и отбросить щепе-

тельность в выборе средств. Но весьма маловероятно, что им удастся остановить дезориентацию и развал. Они пришли в противоречие с реальными и несомненно тяготеющими к новым отношениям тенденциями развития — как мирового, так и в их собственных странах.

Национальный коммунизм вне коммунистических государств неизбежно приводит к отказу от самого коммунизма, к развалу коммунистических партий. Сегодняшние его возможности вне коммунистических стран велики, но определенно связаны с тенденцией отхода от коммунизма, как такового. Вследствие этого национальный коммунизм в этих партиях будет набирать силы с большими муками, медленно, коротенькими «вспышками».

Лишь на примерах партий, не находящихся у власти, можно увидеть, что национальный коммунизм, несмотря на намерение «освежить» коммунизм «вообще», укрепить его суть, одновременно являлся ересью, которая начала разъедать коммунизм «вообще». Национальный коммунизм внутренне противоречив. По сути он тождествен советскому, а по форме стремится выделиться в нечто особое, национальное. Фактически же — это коммунизм в фазе упадка, декаданса.

## В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

### 1

Для того чтобы точнее определить международное положение современного коммунизма, необходим хотя бы краткий обзор общей картины происходящего в сегодняшнем мире.

В результате первой мировой войны царская Россия превратилась в новый тип государства, то есть родился новый тип общественных отношений. Кроме того, углубился разрыв в техническом уровне и темпах развития между США и странами Западной Европы. Этот разрыв результатами второй мировой войны мог быть превращен в непреодолимую пропасть, если бы в самих США не произошло крупных структурных экономических перемен.

Не одни войны — они лишь катализировали процесс — были причиной столь значительного отрыва США от остального мира. Причины быстрого развития США, без-



условно, кроются во внутренних возможностях этого государства: природных и общественных условиях, характере экономики. Американский капитализм развивался при обстоятельствах, отличных от европейских, и достиг вершины, когда соперник в Европе уже шел на спад.

Сегодня эта пропасть выглядит следующим образом: 6% населения земного шара, проживающие в США, производят 40% всех мировых материальных благ и услуг (по Джонсону и Кроссу). По отношению к Европе мы имеем: между первой и второй мировой войной доля США в мировом производстве составляла 33%, а после второй мировой войны — около 50%. В Европе — без СССР — все было наоборот: ее доля падала с 68% в 1870 году до 42% с 1925 по 1929 год, потом до 34% в 1937-м и 25% в 1948 году (по данным ООН).

Большое значение имело также развитие промышленности в колониях, сделавшее в конце концов возможным освобождение большинства из них после второй мировой войны.

Между первой и второй мировой войной капитализм пережил глубокий экономический кризис, имевший настолько крупные общественные последствия, что не признать их могли лишь вконец задогматизированные коммунистические мозги, особенно в СССР. Великий кризис 1929 года показал, что он не чета кризисам XIX века и что подобные ему потрясения сегодня могут создать угрозу общественному устройству и даже самой жизни целой нации. Развитым странам, прежде всего США, вследствие этого кризиса пришлось постепенно и неодинаковыми путями вводить экономическое планирование поначалу в национальных масштабах, а после второй мировой войны — и в международном. Связанные с этим перемены, хотя и не слишком отмеченные теорией, имели эпохальное значение как для самих этих стран, так и для остального мира.

В этот же период складываются и различные тоталитарные системы — как в СССР, так и в отдельных капиталистических странах (нацистская Германия).

Германия, в отличие от США, была не в состоянии нормальными, то есть экономическими средствами решить проблему внутренней и внешней экспансии. Война и тоталитаризм (нацизм) стали для немецких монополий единственным выходом, и они подчинились расистской военной партии.

Советский Союз, как мы видели, пришел к тоталитаризму по другим причинам: как к условию, обеспечивающему индустриальные преобразования.

Но был еще один, возможно, мало замеченный, но по сути своей поворотный для современного мира момент.

Это современные войны. Они вызывают кардинальные изменения даже там, где их следствием являются не только революции. Оставляя после себя страшные опустошения, они еще и вмешиваются в международный порядок, а также в отношения внутри каждой отдельной страны.

Поворотный характер современных войн выражается не только в стимулировании ими технических достижений, но и в переменах, которые они несут общественно-экономическим структурам. Разве не вторая мировая война раскрыла Великобритании глаза на уровень обветшалости сложившихся отношений и расшатала их настолько, что там неизбежной стала масштабная национализация? Разве Индия, Бирма, Индонезия не стали благодаря той же войне независимыми государствами? Разве не вследствие ее началось объединение Западной Европы? Разве не она вынесла на поверхность США и Советский Союз в качестве двух главных экономических и политических сил?

О таком глубоком влиянии войн на жизнь наций и человечества в более ранние эпохи не могло быть и речи. Этому две причины. Во-первых, современная война неизбежно принимает тотальный характер. В стороне от нее не могут остаться никакие экономические, человеческие или другие ресурсы, поскольку высочайший технический уровень производства просто не предоставляет возможности «отсидеться в холодке» части какой-либо нации или отдельной отрасли экономики. Второе. По тем же техническим, экономическим и иным причинам мир стал несравнимо целостнее, так что малейшие изменения (а война их приносит в изобилии) одной части вызывают, как в едином живом организме, реакцию и остальных его частей. Любая современная война неодолимо тяготеет к тому, чтобы стать мировой.

Эти «невидимые» военные и экономические перевороты между тем огромны по масштабу и значению. И важно, что именно в силу большей своей «спонтанности», то есть необремененности идейными и организационными элементами (в отличие от насильственных революций), они дают более ясную картину тенденций развития современного мира.

Мир, каким он является сегодня, после второй мировой войны, уже явно не тот, что прежде.

Атомная энергия, которую человек вырвал из сердца материи и отнял у космоса, — самое блистательное, хотя и не единственное знамение новой эпохи.

Раз уж мы заговорили об атомной энергии, то нужно отметить, что именно ее официальные коммунистические предсказатели перспектив человеческого рода выбрали символом их коммунистического общества, — как пар был символом и энергетической предпосылкой индустриального капитализма.

Как ни оценивай эти наивные и пристрастные суждения, истина в другом, а именно: атомная энергетика уже приводит к переменам не только в отдельных странах, но и во всем мире. Перемены эти, правда, происходят явно не в направлении того коммунизма и социализма, которого жаждут коммунистические «теоретики».

И как открытие атомная энергия — дитя не одной нации, а плод столетнего труда сотен наиболее выдающихся умов многих наций. Ее применение тоже результат усилий ряда стран — усилий не только научных, но и экономических.

Без достигнутого уже мирового единения открыть и использовать атомную энергию было бы невозможно.

Атомная энергия и впредь будет в первую очередь служить дальнейшему воссоединению мира. На своем пути она будет неудержимо сокрушать все унаследованные преграды — отношения собственности, общественные отношения, но прежде всего обособленные, замкнутые системы и идеологии, каковой коммунизм как был до, так и остался после сталинской смерти.

Тенденции к мировому единству есть основная отличительная черта нашего времени.

Но это не значит, что мир и раньше не стремился к воссоединению — иным, естественно, способом.

Тенденция к установлению международных связей посредством мирового рынка доминировала уже к середине XIX века. Это также было мировое единство особого рода — эпоха национальных капиталистических экономик и национальных войн. Мировое единство осуществлялось, таким образом, через национальные экономики и национальные войны.

Дальнейшее установление всемирных связей осуществлялось путем разрушения докапиталистических форм производства в неразвитых регионах с последующим разделом этих территорий между развитыми странами и их монополиями. Это был период монополистического капитализма, колониальных захватов и войн, в которых внутренние связи и интересы монополий часто играли роль даже большую, чем национальная оборона. Тогда тенденция к мировому единству находила, главным образом, свое выражение в борьбе и объединении монополистического капитала. Это была более высокая, нежели единство рынка, форма. Капитал вышел из национального русла, пробился, «встал на якорь» и — овладел всем миром.

Нынешние тенденции к единству представляют собой нечто иное. Неуклонное продвижение в этом направлении требует слишком высокого уровня производства, современной науки, научного и прочего мышления, чтобы его можно было достичь на национальной основе (тем паче — исключительно на ней) или же путем раздела мира на отдельные — монополистические — сферы влияния.

Между тем тенденции к этому новому единству (единству производства), берущие за основу достигнутый уже ранее уровень, то есть единство рынка и капитала, наталкиваются на устаревшие, неадекватные формы национальных межгосударственных, и в первую очередь общественных отношений. И если прежде к единству шли через национальную борьбу (столкновения и войны за сферы интересов), то ныне единство достигается (и может быть достигнуто) только устранением старых общественных отношений.

Каким путем — военным или мирным — будут достигнуты согласованность и воссоединение мирового производства, никто определенно сказать не в состоянии, но что тенденцию к тому остановить невозможно, в этом нет больше ни малейшего сомнения.

Путь первый — война. При этом воссоединение осуществляется насильственно, то есть через господство той или иной группы. Но тогда не избежать «наследства» — тлеющих углей новых военных пожаров, новых раздоров и несправедливости. Воссоединение путем войны вершилось бы за счет слабых и побежденных. Но и в случае, если войне удалось бы как-то «разобраться» в конкретных отношениях, она все равно оставила бы еще более тугой

узел противоречий, еще более глубокую пропасть взаимного непонимания.

Кроме того, поскольку базовой основой современного мирового пожара являются в первую очередь противоречия между системами, то и по характеру своему он прежде классовый, а не межнациональный или межгосударственный. Отсюда его особая острота и беспощадность. Будущая война сделалась бы в большей мере мировой и гражданской, нежели войной государств и наций. Оттого еще ужаснее стала бы и она сама, и ее влияние на дальнейшее свободное развитие.

Мирное воссоединение пусть и не протекает быстро, но является зато единственно прочным, здоровым и справедливым.

Судя по всему, воссоединение современного мира будет учитывать противоречия между системами — противоположно отношению к противоречиям, характерному для подобных процессов в прежние времена.

Но это не означает, что все нынешние противоречия ограничатся или уже ограничиваются противостоянием систем. Существуют, будут далее существовать и другие их формы, в том числе перенесенные в нашу жизнь из прошлого. В зеркале противостояния систем просто наиболее многогранно и отчетливо отражается упомянутая тенденция к всемирному единству производства.

Между тем нереально было бы ожидать, что единство мирового производства реализуется уже в обозримом будущем. Процесс воссоединения станет не только крайне затяжным (ибо речь идет о результате упорных, слаженных и хорошо организованных действий ведущих экономических и иных сил человечества), но и полного единства производства вообще достичь невозможно. Так же, как прошлые объединительные усилия никогда не приводили к достижению стопроцентного эффекта. Вот и это единство воплощается лишь в виде тенденции, цели, к которой производство (пусть только в наиболее развитых странах) всячески стремится.

### 3

Под занавес второй мировой войны тенденция к разобщению на основе принадлежности к системе подтвердилась в мировом масштабе. Все государства, попавшие под советское влияние, даже если речь идет о части нации

(немецкой, корейской) приобрели более-менее идентичные очертания одной системы. То же самое произошло на другой стороне.

Советские руководители прекрасно сознавали происходящее. Помнится, на одном ужине в узком кругу в 1945 году Сталин обронил: «В современной войне, не в пример прошлым, победитель будет навязывать свою систему». Заявлено это было еще до последних залпов войны, когда казалось, что чувства взаимной признательности и доверия между союзниками столь же велики, сколь безграничны надежды, этими чувствами вызванные. А в феврале 1948 года он заявил нам — югославам и болгарам: «Они, западные силы, сделают свое государство из западной части Германии, а мы свое — из восточной. Это неизбежно».

Теперь модно — и не без основания — разделять советскую политику на периоды «до» и «после» Сталина. Но не Сталин выдумал системы, а его наследники после сталинской смерти держатся за них не менее цепко. Отличием послесталинского времени можно считать подход советских вождей к отношениям между системами, но сами системы стоят незыблемо. И разве не Хрущев на XX съезде КПСС утверждал как нечто отдельное и особое свой «мир социализма», «мировую социалистическую систему», что практически не означает ничего, кроме упорного нежелания отказаться от дробления на системы, то есть сохранить замкнутость своей системы, а с тем — гегемонию внутри нее.

Конфликту Запад — Восток неизменно придают вид идеологической борьбы именно потому, что имеет место в сути своей конфликт систем. Идеологическая война, тяжело отравившая души людей в двух противостоящих лагерях, не прекращается даже при достижении временных компромиссов. Сверх того, чем острее становится конфликт в материальной, экономической, политической и других областях, тем с большей силой мерещится, будто идет борьба «чистых» идей. Действительно, идеи эти стали уже особой отвлеченной силой, особым миром, вещью в себе.

Но существует и третий тип государств — те, что вырвались из колониальной зависимости (Индия, Индонезия, Бирма, арабские страны и т. д.). Всеми силами стремятся они к созданию самостоятельной экономики, которая избавит их от зависимости. В их настоящем переплелись многие эпохи и системы, прежде всего две современные.

По причинам в основном национального характера эти страны — самые искренние носители идей суверенности, мира, взаимопонимания. Но ликвидировать конфликт двух систем они не в силах, могут его лишь несколько смягчить: они и сами — арена противоборства этих систем. Но их роль может стать весомой и благородной. Пока же, к сожалению, это далеко не решающая роль.

Важно уяснить, что каждая из двух систем претендует на то, чтобы воссоединение мира происходило по ее образцу. Таким образом, обе они говорят «да» всемирному единству, только вот видят эту проблему с диаметрально противоположных точек зрения. Тенденция к единству современного мира обретает реальные очертания и реализуется через борьбу противоположностей, борьбу, не имеющую в мирных условиях равных себе по накалу.

Идеологическим и политическим воплощением такой борьбы являются, как известно, (западная) демократия и (восточный) коммунизм.

Но вследствие того, что на Западе с его политической демократией и более высоким техническим и культурным уровнем стихийные тенденции к воссоединению выражены намного ярче, именно он выступает гарантом свободы — политической и духовной.

Та или иная форма собственности в этих странах может указанную тенденцию замедлять или подстегивать — все зависит от обстоятельств. Но стремление к единству должно проявиться и проявляется в любом случае. Сегодняшние монополии — это лишь помеха объединению: тем уже, что стремятся осуществить его отжившим способом — через сферы влияния. В своих интересах и они стремятся к единству. Сторонниками единства выступают также их противники, английские лейбористы например, хотя, конечно, и у них собственный взгляд на пути его достижения. Что касается США, то там, даже если бы экономика была полностью национализированной, тенденции к единству современного мира проявлялись бы еще необузданнее. Эти тенденции сильны не только в США, но и в Британии, которая проводила национализацию. Впрочем, и в США разворачивается все более масштабная национализация, но, правда, не путем изменения формы собственности, а передачей в ведение правительства значительной части национального дохода.

Общество в целом и каждый отдельный его член стремятся к расширению и совершенствованию производства. Это закон. На современном уровне развития науки, техники, мышления он действует в виде тенденции к воссоединению мирового производства. Эта тенденция, как правило, тем сильнее, чем выше где-то достигнутый культурный и материальный уровень.

Западные тенденции к мировому воссоединению отражают прежде всего потребности экономики, техники и так далее, а лишь вслед за тем интересы политических, собственников и других сил.

Иная картина в лагере советском. Даже без прочих причин коммунистический Восток все равно (именно вследствие отсталости) должен был экономически и идейно замкнуться, компенсируя свою экономическую и иную слабость политическими мерами.

Как ни странно это прозвучит, но реальность такова: коммунистическая или так называемая социалистическая собственность является главным препятствием на пути тенденций к мировому воссоединению. Коллективная по форме и тотальная по содержанию собственность, которой владеет новый класс, создает замкнутую политическую и хозяйственную систему, препятствующую установлению всемирных связей. Эта система может бесконечно долго и крайне медленно трансформироваться, не показывая практически никакого интереса к смешиванию с другими системами, ко взаимопроникновению, то есть к мировому воссоединению. Трансформации в ней направлены почти исключительно на собственное упрочение. Воссоединение мира для этой системы, замкнутой по природе, тождественно собственному разрастанию. Сведенная к одному типу собственности, власти и идей, система эта неизбежно замыкается и самоограничивается, упорно придерживаясь направления своей исключительности.

Воссоединенный мир, к которому они также стремятся, советские вожди не могут представить себе иначе, как более или менее тождественный их собственному. И им принадлежащий. Мирное сосуществование различных систем, о котором они говорят, для них значит не взаимопроникновение, а статичное существование одной системы рядом с другой, до поры, пока эта другая — капиталистическая — не будет покорена или сама не разьет себя изнутри:



Как уже было отмечено, столкновение между двумя системами не означает, что прекратились национальные и колониальные конфликты. Но и в них видна основа, на которой строится современный мир — противостояние систем. Суэцкому кризису едва удалось не перерасти в ошибку двух систем и остаться тем, что он есть: спором египетского национализма с мировой торговлей, которую по стечению обстоятельств представляют старые колониальные силы — Британия и Франция.

Крайняя заостренность всех форм международной жизни была неминуемым результатом таких отношений. Нормальным состоянием современного мира в мирных условиях стала холодная война. Ее формы менялись и меняются, она утихает или обостряется, но полностью устранить ее в данных условиях не удастся. Прежде необходимо устранить нечто гораздо более глубокое, скрытое в самой природе современного мира, современных систем, особенно коммунистической. Холодная война — сегодняшняя виновница обострения отношений — сама является продуктом иных, более глубоких, в прежние времена возникших противоречий.

Мир, в котором мы живем, — это мир непредсказуемости. Мир манящих бескрайних горизонтов, открытых для человечества наукой, но и ледящего кровь ужаса перед вселенской катастрофой, которой грозят современные средства войны.

Этот мир будет изменен — так или иначе. Такой, как есть — располовиненный и неумолимо стремящийся к единству, — он не может существовать, во всяком случае долго. Мировые отношения, выйдя наконец из нынешней путаницы, не будут ни идеальными, ни лишенными всяких трений. Но для тех, кому предстоит жить завтра, они будут совершеннее сегодняшних.

Нынешнее противостояние систем не доказывает между тем, что человечество движется к единой системе. Это противостояние доказывает лишь то, что дальнейшее воссоединение мира, точнее, воссоединение мирового производства, протекает в борьбе между системами.

Тенденция к единству мирового производства не ведет и не может вести к единому типу производства, то есть к единым формам собственности, власти и так далее. Это единство производства означает и может означать лишь стремление преодолеть унаследованные и искусственно сотворенные (политические, зависимые от форм соб-

ственности и др.) препятствия, мешающие размаху и росту эффективности современного производства. Оно означает более полное приспособление производства к природным, национальным и другим местным условиям. Воссоединительная тенденция реально способствует широкому разнообразию способов производства при большей его согласованности, использованию мировых производственных возможностей.

Дефект не в том, что мир ограничен единой системой, а, наоборот, что разных систем слишком мало. Дефект прежде всего в том, что системы эти — все равно какого типа — замкнуты, изолированы друг от друга.

Все более глубокие различия между сообществами, государственными и политическими системами наряду с растущей эффективностью производства есть также один из законов общественного развития. Народы объединяются, человек все более сливается с окружающим его миром, но вместе с тем и все более индивидуализируется.

Миру, вероятно, предстоит стать многообразнее и сплоченнее. Его предстоящее воссоединение делается возможным благодаря именно пестроте, а не монотипности и единообразию. Во всяком случае, так было до сих пор. Монотипность и единообразие означали бы рабство и стагнацию, а не большую, в сравнении с теперешней, степень свободы для производства.

Нация, не осознавшая этих мировых процессов и тенденций, заплатит дорогую цену: ей предстоит неминуемое отставание, в результате которого она все равно будет вынуждена «подстроиться» к воссоединению мира — невзирая на численность свою и военную мощь. Этого никому не избежать — так же, как и в прошлом, ни одна нация не смогла воспрепятствовать проникновению капитала и установлению через мировой рынок связей с другими нациями.

Поэтому сегодня всякая склонная к автаркической обособленности национальная экономика (при любой форме собственности, политическом режиме и даже техническом уровне) должна сталкиваться с неразрешимыми противоречиями и стагнацией. То же касается общественных систем, идей и так далее. Внутри замкнутых систем можно кое-как влачить существование, но ныне нельзя уже продвигаться вперед и достойно решать проблемы, которые ставят современная техника и современная мысль, как и соответствующие им потребности отношений — внутренних и внешних.

Между прочим, коммунистическая (сталинская) теория о возможности построения социалистического (коммунистического) общества в одной стране по ходу мирового развития подтвердилась только как способ упрочения тоталитарной деспотии, то есть абсолютного господства одного нового эксплуататорского класса. При современных условиях построение социалистического, коммунистического, любого другого общества в одной и даже группе стран, вырванных из мирового целого, является не только чистой бессмыслицей, но и неизбежно оборачивается автаркией, обособлением, укреплением деспотизма, ослаблением в самих этих странах национального потенциала экономического и общественного прогресса. Но не исчерпана другая возможность: обеспечить своему народу (в соответствии и в связи с мировыми прогрессивными экономическими и демократическими тенденциями) больше хлеба и больше свободы, более справедливое распределение благ и нормальные темпы экономического развития. А тут уже, естественно, условием является и изменение сложившихся как отношений собственности, так и политических отношений (коммунизма это касается в первую очередь), представляющих собой — ввиду монополизма правящего класса — серьезное (серьезнейшее даже), хотя и не единственное препятствие на пути национального и мирового прогресса.

## 5

Тенденция к воссоединению должна была — наряду с другими причинами — повлиять на изменения в отношениях собственности.

Если кратко, то роль государства в сфере экономики повсеместно усилилась.

Усиленная и даже решающая роль государственных органов в экономике, а потому и в отношениях собственности, также отражает тенденцию к мировому воссоединению. Она, понятно, по-разному проявляется в разных системах и странах, может быть даже препятствием: там, в частности, где (как в коммунистических странах) формальная государственная собственность — это только дымовая завеса над тотальной монополией и господством одного нового класса.

В Великобритании после проведенной лейбористами

национализации частная, а точнее, монополистическая собственность даже юридически потеряла святость и целомудрие. Было национализировано более 20% британских производственных мощностей, куда, кстати, не вписана еще весьма внушительная собственность общин. В северных странах наряду с государственной успешно развивается также кооперативный тип коллективной собственности.

Все большая роль государства в экономической жизни особенно характерна для бывших колоний и полузависимых государств; идет ли речь о социалистическом правительстве (Бирма), о правительстве парламентской демократии (Индия) или о военной диктатуре (Египет), — всюду большую часть инвестиций осуществляет именно государство, контролирующее экспорт, отбирающее в казну большую часть валюты и так далее. Правительство повсеместно выступает инициатором экономических преобразований и национализации, обретающей все чаще форму собственности.

Похоже, что и в «самом капиталистическом» государстве — США — та же ситуация. Начиная с Великого кризиса 1929 года все не только осознали постоянно растущую роль государства в делах экономики, но и никто больше не оспаривает естественности такой его роли.

Джеймс Блэйн Уокер подчеркивает: «Все более тесная связь государства с экономической жизнью является одной из бросающихся в глаза характерных черт XX века».

Уокер приводит данные о том, что в 1938 году около 20% национального дохода было «социализировано», а в 1940 этот процент поднялся по крайней мере до 25. С приходом Рузвельта началось систематическое государственное планирование национальной экономики. Одновременно увеличивается число государственных служащих, разрастаются функции правительства, особенно федерального.

К тем же выводам приходят и Джонсон и Кросс. Они констатируют, что управление отделилось от собственности и значительно возросла роль государства в качестве кредитора.

«Одной из главных характеристик XX века, — пишут они, — является постоянный рост правительственного влияния, особенно влияния федерального правительства на экономические условия».

Шепард Б. Клонг приводит цифры, иллюстрирующие

вышеизложенные процессы. Расходы и задолженность федерального правительства у него выглядят так:

Период	Расходы федерального правительства (в миллионах долларов)	Долги (федеральные) (в тысячах долларов)
1869—1878	309,6	2 436 453
1929—1938	8 998,1	42 967 531
1950	40 166,8	256 708 000

Клонг в приведенной работе говорит о «революции управления» (the managerial revolution), под которой подразумевает появление профессиональных управленцев, без которых собственники уже не в силах обойтись. Их число, роль и солидарность постоянно растут, и люди с буйным деловым воображением — такие, как Джон Д. Рокфеллер, Джон Уанамейкер, Чарльз Шваб, и подобные — больше в США не появляются.

Фэйнсон и Гордон отмечают, что власть всегда была в экономике весомым фактором и что различные общественные группы старались воспользоваться им для влияния на экономическую жизнь. Но теперь тут налицо существенные различия.

«Регулирующая роль государства, — пишут они, — проявилась не только в области труда, но и в области производства — в таких важных для нации отраслях, как транспорт, добыча природного газа, угля, нефти. Новые далеко идущие перемены проявились в виде распространения «общественной предприимчивости» (public enterprise) по отношению к сохранности природных и людских ресурсов. Общественная предприимчивость становится особенно заметной в банковском деле и кредите, электрификации и предоставлении дешевых квартир... Государство играет роль гораздо более важную, чем полвека или даже десятилетие назад... Результатом такого развития было «смешение» экономики, когда общественная предприимчивость, частная инициатива, частично контролируемая государством, и относительно бесконтрольная частная активность начинают соседствовать друг с другом».

Перечисленные и другие авторы выделяют различные черты этого процесса: рост потребности общества в социальной защите, просвещении и, реализуемый через государственные органы; постоянное увеличение — относительное и абсолютное — числа госслужащих и т. д.

Естественно, что во время второй мировой войны благодаря военным нуждам этот процесс приобрел огромные масштабы и остроту. Однако и после войны он не ослаб, а продолжал нарастать еще более высоким, чем до войны, темпом. Не только демократическое, но и республиканское правительство Эйзенхауэра, пришедшее к власти под лозунгом возвращения к частной инициативе, не могло что-то существенно изменить. То же случилось с правительством консерваторов в Великобритании. Хотя оно даже не проводило денационализации, исключая сталелитейное производство, роль его в экономике (несколько в ином ключе, правда) по сравнению с лейбористами если не выросла, то и никак не уменьшилась.

Вмешательство государства в экономику является очевидным результатом объективных тенденций, уже давно проникших в людское сознание. Все серьезные экономисты, начиная с Кейнса, выдвигали тезис о необходимости такого вмешательства. Сегодня это в основном реальность мирового масштаба. Вмешательство государства и государственная собственность стали сегодня существенным, а кое-где и решающим экономическим фактором.

Казалось бы, можно сделать вывод: противоборство систем вызвано не тем только, что в одной (восточной) экономике важную роль играло государство, а в другой (западной) — частная собственность, собственность монополий и компаний. Такой вывод напрашивается, тем более что и на Западе роль частной собственности постепенно падает, а роль государства возрастает.

Между тем все не так.

Помимо прочих различий между этими системами есть действительная разница и в роли регулирующей экономики государства, и в части самой государственной собственности. Будучи формально оба государственными — один в большей, другой в меньшей степени, эти два типа собственности различны, даже противоположны. То же самое можно сказать о государственном воздействии на экономику.

Ни одно западное правительство не берет на себя роли собственника в масштабах хозяйства всей страны. Оно и на самом деле не является владельцем не только национализированного имущества, но также средств, собранных через налоги. Это невозможно потому уже, что такое правительство сменяемо. Управление и распоряжение имуществом оно обязано осуществлять под контролем

парламента. Понятно, что на распоряжающееся собственностью правительство пытаются влиять с многих сторон, но — оно не хозяин. Оно управляет и распоряжается (пока находится у власти, хорошо или плохо) имуществом, ему не принадлежащим.

В коммунистических странах картина иная. Правительство управляет и распоряжается национальным достоянием. Новый класс, то есть его исполнительный орган — партийная олигархия, и ведет себя как собственник, и в действительности таковым является. Ни одно архиреакционное и «архибуржуазное» правительство не может даже мечтать о такой монополии в экономике.

Формальное подобие отношений собственности на Западе и Востоке, выраженное в усиленном воздействии государства на экономику, предстает, таким образом, реальными и глубокими различиями, даже противоположностью.

Вероятно, формы собственности и были после первой мировой войны одной из коренных причин конфликтов между Западом и СССР. Тогда монополии играли гораздо более весомую роль и никак не хотели примириться с тем, что часть мира — в конкретном случае Советский Союз — вырвалась из их когтей. Коммунистическая же бюрократия между тем еще только готовилась стать классом собственников.

Для Советского Союза отношения собственности по-прежнему сохраняют важность фактора, учитывающегося при взаимодействии с другими странами. Где мог, СССР силой насадил свой тип как отношений собственности, так и политических отношений. При этом развитие ограниченных деловых связей с остальным миром не переходило и не могло перейти рамок товарообмена периода национальных государств. Это полностью относится и к Югославии в период ее разрыва с Москвой. Она также не смогла развить ни одну из более полноценных, чем товарообмен, форм экономического сотрудничества, хотя внутреннего к тому стремления всегда хватало, а с течением времени оно становится все более настойчивым. Югославская экономика, таким образом, также приобрела характер замкнутой.

Есть и еще ряд элементов, осложняющих данную картину и отношения.

Усиление западной тенденции к всемирному единству производства (не имея в виду помощь слаборазвитым

странам) практически привело бы к преобладанию одной нации (США) или, в лучшем случае, группы наций.

Сама стихия существующих отношений эксплуатирует и заставляет подчинять развитым странам экономику, а с ней целиком национальную жизнь слаборазвитых государств. Подобное развитие событий, однако, вовсе не означает, что последние, если хотят выжить, обороняться должны обязательно политическими мерами, обособлением. Это один путь. Другой — помощь развитых стран. Третьего пути не дано. Правда, не дано пока и второго, то есть помощи: она незначительна.

Реальная разница в доходах американского и, к примеру, индонезийского рабочего сегодня должна быть большей, чем если сравнивать первого с крупным держателем акций, ведь каждый житель США в среднем в 1940 году получил по крайней мере 1440 долларов, тогда как индонезиец — в 58 раз меньше, то есть лишь 27 долларов (по данным ООН).

Неравноправность отношений развитого Запада со слаборазвитыми странами все больше смещается в область экономики. Традиционное политическое господство губернаторов и местных феодалов уходит в прошлое. Ныне, как правило, в подчинении пребывает экономика неразвитого, но политически самостоятельного государства.

Ни один народ сегодня не может добровольно согласиться на такое подчинение; точно так же ни один не откажется от преимуществ, которые дает ему его более производительный труд.

Требовать от американских или западноевропейских рабочих, не говоря уже о собственниках, чтобы они добровольно отказались от благ, которые дают им высокая техническая оснащенность и производительность труда, столь же бессмысленно, как уверять азиатских бедняков, что они должны быть счастливы, получая за свой труд жалкие гроши.

Взаимопомощь государств, постепенное выравнивание уровня экономического и иного развития народов должны быть плодом насущной необходимости, тогда только они станут и любимым чадом отношений доброй воли.

Насущной необходимостью экономическая помощь уже сделалась. Но лишь частично, в случаях, когда на слаборазвитые страны с их низкой покупательной способ-



ностью и неэффективным производством смотрят как на тормоз, как на обузу для развитых стран. Современное противостояние двух систем является главным препятствием реальному превращению экономической поддержки в необходимость. И не потому лишь, что огромные средства уходят на вооружение и подобные статьи расходов. Современные отношения выросли в фактор, препятствующий дальнейшему подъему производства, его стремлению к воссоединению, а тем самым — и к оказанию тем, кто в этом нуждается, экономического содействия, без которого в конце концов так же неизбежно замедлится прогресс самих западных стран.

Материальные и иные различия между высокоразвитыми и слаборазвитыми государствами отразились на их внутренней жизни. Было бы, безусловно, ошибкой рассматривать западную демократию одним лишь отражением солидаризации богатых при грабеже бедных, ибо Запад и до колониальных сверхприбылей достиг уже демократии, хотя и в меньшем, нежели сегодня, объеме. Вместе с тем не может быть никакого сомнения, что теперяшняя западная демократия связана с демократией времен Маркса и Ленина только как очередной этап непрерывного процесса. Сходство прежней демократии с нынешней не большее, чем сходство либерального или монополистического капитализма с современным этатизмом.

В своей работе «Вместо страха» британский социалист Бевин отмечал: «Надобно разделять то, чего либерализм стремился достичь, от того, чего он достиг. Его намерением было привести к власти те формы собственности, которые возникли как следствие промышленной революции. А достиг он того, что народ, невзирая на собственность, обрел политическую силу... С точки зрения истории парламентская демократия с ее всеобщим правом голоса заключается в растолковывании народу привилегий для богатых силами самого народа. Ареной решения спора служит парламент».

Это замечание Бевина касается Великобритании. Но его можно распространить и на другие западные страны. Только на них.

Все согласны, что материальные и другие различия между развитыми западными и слаборазвитыми странами не стираются, а растут дальше.

Поэтому на Западе сделались доминирующими экономические рычаги, ведущие к всемирному воссоединению.

На Востоке, в коммунистическом лагере, таким рычагом по-прежнему главным образом считают политику.

Выяснилось, что СССР способен «воссоединить» только то, что присвоит себе. В этот аспект и новый режим также не смог внести никаких существенных изменений. С его точки зрения к угнетенным относятся народы, которым свою гегемонию навязало иностранное правительство, — любое, кроме советского. Помощь, даже кредитами, советское правительство подчиняет собственным политическим целям.

Это означает, что советская экономика не достигла еще уровня, который вынудил бы ее стремиться к всемирному воссоединению производства. Ее внутренние противоречия и трудности рождены в основном внутренними же причинами. Самой системе пока по силам существовать в изоляции от внешнего мира. Это стоит бешеных средств, но продолжает быть возможным при широком применении насилия. Советская экономика все еще не в состоянии «образумить» всемогущих олигархов. Но долго так продолжаться не может, этому должен прийти конец. И он станет началом конца неограниченного господства политической бюрократии, нового класса.

Современный коммунизм мог бы поддержать тенденцию к всемирному воссоединению, в первую очередь политическими средствами, то есть внутренней демократизацией и большей внешней открытостью. Но он еще очень далек от этого. Способен ли он вообще на что-то подобное?

Какими же видятся современному коммунизму он сам и мир, его окружающий?

Некогда, в монополистический период, марксизм, модифицированный и «развитый» Лениным, достаточно верно обрисовал перед коммунистами и партией большевиков картину внутренней и внешней ситуации, в которой находилась царская Россия и подобные ей страны. Поэтому движение, возглавленное Лениным, могло бороться и победить. При Сталине та же идеология, вновь модифицированная, могла считаться реалистичной, так как приближалась к верному определению места и роли нового государства в мировом порядке. Советское государство и новый класс прекрасно разобрались в делах внутренних и внешних, подчиняя себе все, что могли подчинить, и в первую очередь международное коммунистическое движение.

Ныне советским вождям труднее ориентироваться. Они больше не способны адекватно воспринимать реалии современного мира. Их видение — это либо мир прошлого, либо нечто, рожденное их собственным воображением, во всяком случае не то, что есть на самом деле.

Коммунистические вожди, цепляющиеся за обветшалые догмы, считали, что весь окружающий их мир со временем погрязнет в загнивании, противоречиях и раздорах. Этого не случилось. Запад достиг значительного экономического и духовного прогресса. Он всегда объединялся при малейшем признаке опасности со стороны другой — коммунистической — системы. Колонии стали свободными, но не коммунистическими, освобождение колоний не привело к краху метрополий.

Краха западного капитализма вследствие кризисов и войн также не произошло. Вышинский в 1949 году в ООН от имени советского руководства предрек наступление нового великого кризиса в США и во всем капиталистическом мире. Вышло наоборот. И не потому, что капитализм хорош или плох, а потому, что такого капитализма, каким представляют его себе советские вожди, больше нет. Советское руководство до тех пор «не замечало», что Индия, арабские и им подобные страны обрели независимость, пока те не стали (по своим соображениям) поддерживать внешнеполитический курс СССР. Они не понимали и не понимают социал-демократию, измеряя ее аршином, которым кроили судьбу социал-демократов в «своей зоне». Из факта, что развитие этой зоны пошло не тем путем, который предполагали социал-демократы, они делают вывод, что и на Западе социал-демократия — материя нежизненная, дело «предательское».

То же самое с их оценкой базового противоречия, то есть противоречия между системами, и основополагающей тенденции к воссоединению производства. И здесь они «плавают», не могут не «плавать».

Соглашаясь рассматривать означенное противоречие как дуэль двух противостоящих общественных систем, они представляют себе все в таком примерно виде: в одной системе (естественно, там, где пребывают они сами) нет классов или идет процесс ликвидации таковых, а собственность принадлежит государству; в другой (чужой, естественно) — бушуют кризисы, классовая борьба, все материальные богатства в руках частных, а правительства послушно выполняют волю горстки ненасытных моно-

полистов. Показывая себе и другим мир в подобной раскраске, они считают, что и современных конфликтов можно было бы избежать, не установи Запад у себя «таких» отношений.

Вот тут-то собака и зарыта.

Даже если бы отношения на Западе соответствовали тайным мечтам коммунистов, то есть были коммунистическими, противостояние имело бы прежнюю, а возможно, даже еще большую остроту. Ибо дело не только в формах собственности, но и в наличии различных противоборствующих тенденций, за которыми стоит современная техника и жизненные интересы целых наций, причем отдельные группы, классы или партии стремятся один и тот же вопрос решить, исходя каждая из собственных потребностей. Но решить.

Когда советские вожди квалифицируют современные западные правительства как слепое орудие монополий, они грешат против истины так же, как ошиблись бы люди, приняв их систему за бесклассовое общество, где торжествует общественная собственность. Конечно, в политике Запада за монополиями сохраняется своя — и немалая — роль, но отнюдь не та уже, что перед первой или второй мировой войной. За этой политикой стоит и нечто новое, более существенное, а именно — непреодолимое стремление к воссоединению мира, которое через этатизм, национализацию и государственное регулирование экономики выражается теперь в большей мере, нежели через влияние и действия монополий.

Чем последовательнее класс, партия или вождь душат критику, чем абсолютнее их власть, тем вероятнее и неизбежнее и их обреченность на нереальную, самовлюбленную, претенциозную оценку действительности.

Такое происходит сегодня с коммунистическими вождями. Они больше не хозяева собственных поступков, ныне приказывает живая действительность. Тут для них есть и преимущества: им пришлось сделаться большими, чем когда-либо прежде, практиками. Но и не без минусов, поскольку из поля их зрения выпадает перспектива или то, что можно приблизительно считать перспективой. Не ориентируясь в действительной жизни мира, они от нее в основном либо защищаются, либо сами переходят в слепую атаку. Нежелание расстаться с отжившими догмами толкает их на безрассудные действия, после которых приходит пора «образумиться», чего, кстати, они, хотя и с

немалыми потерями, но всегда благополучно достигают. Вот вам влияние «отточенной» практической жилки. Остается надеяться, что именно этот фактор в конце концов возобладает. Воспринимая мир реально, коммунисты могут потерпеть поражение. Но и тогда они бы выиграли — как люди, как часть человеческого рода.

В любом случае мир будет меняться, пойдет по избранному пути, на который он уже вступил. Это путь к дальнейшему единению, прогрессу, к свободе. Сила действительности, сила жизни всегда была могущественнее любого насилия, реальнее любой теории.

**3.**

---

**Несовершенное  
общество**

---



## ВВЕДЕНИЕ

### О возникновении книги

**Э**та вводная часть была бы не нужна, если бы не необходимость предварительного раскрытия тех политических препон, которые мне пришлось преодолеть, прежде чем моя мысль наконец воплотилась в предлагаемые читателю строки.

19 ноября 1956 года, когда только что завершилась работа над рукописью «Нового класса», югославские власти арестовали меня за выступление и статью в защиту венгерского восстания. Все мои помыслы, воспоминания, надежды еще дышали той жизнью вне тюрьмы, я еще жил ее впечатлениями. И вот пришлось себя обуздать, заставить привыкать к одиночеству, самоотречению, медленной смерти.

Однако и в этом непомерном усилии мысль моя двигалась в привычном направлении, крепла и шлифовалась, преодолевая сталь и бетон белградского Централы.

«Новый класс» был закончен, и у меня опять появилось (так случалось и прежде) сильное желание писать, в сознании возникли новые темы и образы. Творческий императив был тем сильнее, чем яснее я отдавал себе отчет в том, что в «Новом классе» я дал лишь критическое описание общества, созданию которого сам немало способствовал и где теперь принужден жить, но перспективы развития этого общества и пути выхода из тупика, в котором оно находится, представлены там слишком скупо и неопределенно.

Говоря откровенно, тогда у меня не было ответа на этот



вопрос — слишком много душевных сил отняла борьба с догмами и сомнения в правильности выбранной позиции. Не было и названия будущей книги, и это мешало начать работу, поскольку, когда я приступаю к разработке и изложению той или иной темы, она в моем сознании должна оформиться в слово, определиться как заглавие труда.

Меня осенило дня через три-четыре моего заключения, когда я очередной раз шагнул в прямоугольник тюремного двора, окруженного бетоном шестизэтажного здания тюрьмы, где ежедневно в полдень разрешались часовые прогулки. Задуманный труд должен называться «Несовершенное общество» в противовес теории совершенного, то есть бесклассового общества, которой коммунисты оправдывают свою диктатуру и свои привилегии. В бетонной пустоте покрытого грязным ноябрьским снегом двора мои шаги гулко вколачивали в сознание: «Несовершенное общество, несовершенное общество...»

Здесь, видимо, следует пояснить: употребив определение «несовершенное» общество (imperfect), я хотел подчеркнуть его семантическое отличие от привычного «несовершенное» (imperfect). Из сказанного в последующих главах с очевидностью следует, что общество и не может быть совершенным. Разумеется, человеку необходимы идеалы, но ему столь же необходимо осознать, что полное их воплощение неосуществимо. Ибо такова природа утопии: обретая власть, утопия неизбежно становится догмой, готовой во имя псевдонаучных теорий поступиться человеком. Может показаться, что рассуждения о несовершенном обществе подразумевают возможность общества идеального, что в действительности невозможно. И задача современника понять истинное положение вещей — общество несовершенно, присущие же ему гуманистические грезы призваны лишь стимулировать реформы, направленные на создание более гуманного прогрессивного общественного устройства.

В дневниковых записях, которые я вел во время первого заключения, имевшего место в современной всем нам Югославии (1956—1961), нетрудно увидеть за известной полемичностью и вполне понятной сдержанностью в выражении мыслей, как постепенно вызревал и оформлялся замысел этой книги. Выйдя в январе 1961 года из тюрьмы, я продолжал упорно работать — собирал необходимый материал, записывал мысли, делал наброски. Однако

судьбе, видно, не был тогда угоден мой замысел, или сам я недостаточно еще подчинился ему. Словом, вскоре меня снова арестовали, на этот раз за книгу «Беседы со Сталиным». Вновь потянулись пять лет заключения, но желание осуществить этот труд, пусть трудно осуществимое и несколько поугасшее, осталось. Оно ясно прочитывается во всех моих записях и беллетристических произведениях того времени (1962—1966), в которых с очевидностью проступает идея «Несовершенного общества». Из тюремного бессилия и надежды я вынес ее сохраненной и надежной. Я берег ее и храню до сих пор как величайшую и сокровеннейшую из тайн моего бытия, как первопричину всех моих устремлений. И теперь, когда закончены неотложные дела, связанные со мной и моей семьей, я приступаю к ее воплощению, я открываю ее.

Итак, если «Новый класс» — это обобщение трагического опыта борца, то «Несовершенное общество» — плод длительных раздумий затворника.

Но время делало свое, и общественные отношения, опережая теории, приобрели новые формы. «Несовершенное общество», задуманное в 1956 году как продолжение «Нового класса», складывается теперь как произведение более зрелое и самостоятельное как по концепции, так и по форме. Тогда, в середине пятидесятых, общественные перемены, ставшие в «Новом классе» предметом нашего анализа, лишь намечались, и дальнейший их ход вряд ли мог быть предугадан более или менее верно. Предвидение, впрочем, и теперь не входит в мои намерения, но, думается, что само описание современного состояния общества должно натолкнуть на новые размышления, подсказать новые идеи. Да и не произойди они, эти перемены, отход от первоначального замысла «Несовершенного общества» как продолжения «Нового класса» заставляет меня вернуться к «Новому классу», чтобы яснее представить себе, чем отличаются друг от друга обе книги. Тем более что время умерило восторги и обессмыслило проклятия, навязанные этому произведению конкретным историческим моментом.

Сама жизнь разрушила схемы и покончила с истинами «в последней инстанции», вне которых «Новый класс», будучи произведением идеологическим, просто не мог бы существовать.

В предлагаемом «Введении» я не стану обращаться к этой книге более подробно, ибо верно сориентированный

и внимательный читатель способен из текста «Несовершенного общества» сделать самостоятельные выводы об эволюции моих взглядов, обусловленной переменами окружающей действительности. Поэтому, полагаю, достаточно указать следующее: во-первых, в «Новом классе» я все еще пользуюсь марксистскими идеями и методологией. По сути, «Новый класс» представляет собой критику современного коммунизма с точки зрения марксизма. Однако уже и там я подверг сомнению этот метод, критически оценивая действительность, оправдываемую и объясняемую посредством оно. Временами меня охватывал странный, демонический восторг разрушителя собственного дела и собственной веры. Там были предложения и целые страницы, написанные в упоительном полусознательном состоянии, вызванном видением необозримых народных масс, идущих в бой под знаменами идей, почерпнутых из моей книги... Ведь марксистская теория ставится здесь под сомнение простым сопоставлением с практикой, доказавшей ее несостоятельность. Тогда я лишь мог еретически указать на несоответствие коммунистической реальности предсказаниям и посулам из «канонических» марксистских текстов. Так что широко известный гегелевско-марксистский диалектический метод, когда-то эффективный и привлекательный как средство выявления противоречий того общества, которому он служил в качестве духовного орудия, сегодня, когда речь идет о поисках форм выхода из тупика, недостаточен и бесполезен. Однако, если вопреки сказанному и в этой работе обнаруживаются следы марксистского мировоззрения, то объяснение следует искать в моем уважении к его достижениям, которые, пусть и в преломленном виде, стали частью инструментария современных общественных наук и современного мирозерцания (смена общественных формаций, неизбежность внутренних противоречий в любом обществе, значимость экономических факторов в общественной и частной жизни, отношение к обществу, в том числе и как к объекту научного исследования), а также в моем инстинктивно-рациональном стремлении не порывать окончательно с реальной действительностью моей страны, с тем самым обществом, на которое я обречен.

Во-вторых, вышеназванный метод если и не сыграл решающей роли в выработке исходных положений «Нового класса», то проявился в самом подходе к исследуемому предмету. Последнее обстоятельство требует некоторых

пояснений. Как известно каждому читателю «Нового класса», исходное положение книги гласит: общество, созданное в результате коммунистических революций, или, что одно и то же, в результате военных действий Советского Союза, обладает более или менее сходными противоречиями с иными общественными системами и не только не развивается в направлении всеобщего братства и равенства, но в его недрах, на основе партийной бюрократии и околопартийной прослойки, неизбежно формируется некая привилегированная прослойка, которую я, в соответствии с марксистской терминологией, и определил как новый класс. Я не имел возможности обстоятельно познакомиться с доброжелательной научной критикой этого тезиса, хотя знаю, что таковая существует и в США, и в Западной Европе. В социалистических же странах «Новый класс» или замалчивался, или искажался. Основные упреки в адрес моего исходного тезиса я свел бы к следующему: многообразие жизни и развития любого общества, в особенности общества, присущего социалистическим странам (ибо здесь, подобно ранним стадиям общественного развития, отсутствует дифференциация по признаку собственности), невозможно втиснуть ни в одну, в том числе марксистскую, схему, равно как происходящие перемены невозможно объяснить лишь его классовой структурой.

Косвенно критикуя меня, профессор Р. Дарендорф<sup>1</sup>, как представляется, убедительно доказал, что понятие класс как нечто цельное и завершенное, особенно в преломлении к современному обществу, трудноопределимо, расплывчато, ибо неизбежно приводит к упрощению общей картины действительности. Иными словами: только тот анализ, который исходит не из априорно заданных «истин» и не строится на «раз навсегда открытых законах», может претендовать на выявление реальной картины того или иного общества и предвидеть тенденции его развития. Не опровергая подобный взгляд на общество, а, стало быть, и на «Новый класс», я тем не менее хотел бы подчеркнуть: если в «Новом классе» присутствует некоторый схематизм, а он неизбежен, то причиной тому упомянутый метод, от которого я не был до конца свободен, и стремление развенчать коммунистическую общественную си-

---

<sup>1</sup> Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, California, 1959.

стему посредством той теории, духом и буквой которой она проникнута.

Я и тогда уже знал, что марксизм-ленинизм даже коммунистам не способен дать исчерпывающего объяснения многих современных явлений, но это учение все еще представлялось мне наиболее оптимальным для выявления несоответствий между теорией и практикой коммунизма. То же самое справедливо и для марксизма-ленинизма. В «Новом классе» доказано, что вдохновленное им общество не только не совпадает с теорией, но развивается в противоположном направлении и иных формах. Таким образом, марксизм-ленинизм не существует как учение, самодостаточное и для современного мира, и, прежде всего, что особенно важно, для восточноевропейских и других коммунистических стран. Поэтому сегодня словосочетание «новый класс» следует рассматривать как термин для определения правящей, привилегированной прослойки в так называемых социалистических странах. Ни один из серьезных и беспристрастных критиков не отрицает ее существования и присутствия ей качеств, описанных мной в «Новом классе». Говоря откровенно, приоритет в использовании этого термина принадлежит не мне. Хотя, работая над «Новым классом», я не знал, что Н. Бухарин, Б. Рассел и Н. Бердяев пользовались им значительно раньше, рассуждая о том же социальном явлении, правда, скорее предчувствуя его, нежели анализируя. Что касается Югославии, то Кристл и Становник незадолго до публикации «Нового класса» в полемике со мной указывали, что при социализме бюрократия становится классом. По-видимому, они и далее придерживались этой точки зрения, поскольку впоследствии не сочли необходимым отречься от подобной неслыханной ереси.

Вот, пожалуй, вкратце все о методологии и основных положениях «Нового класса», а также о лишенных фракционной предвзятости научных откликах как на метод, так и на саму книгу.

Однако, для того чтобы читатель получил целостное представление о моей политической позиции и моем отношении к критике иного рода, я остановлюсь, во-первых, на возражениях тех, для кого антикоммунизм — основа и стимул духовного существования, и, во-вторых, на не попавших ранее в поле моего зрения упреках со стороны коммунистов.

Критика правого толка возникла в среде югославской и русской антикоммунистической эмиграции и сводилась в основном к следующему: все, что написано в «Новом классе» и других сочинениях Джиласа, мы давно очень хорошо понимали, небезынтересно, впрочем, услышать об этом от вчерашнего идеолога и вождя коммунистов. Я не намерен обсуждать чье бы то ни было знание о том или ином обществе, остается лишь верить на слово. Однако представления подобных борцов и идеологов вызывают у меня определенные сомнения не только потому, что облечены они в формы нигилистически заданных, заранее выстроенных схем, но в еще большей степени потому, что в подоплеке этих схем — историческое поражение. Рискуя показаться нескромным, замечу, однако, что я отношу себя к людям принципиальным, а, стало быть, к ярым противникам общественной роли и идей коммунистической бюрократии. Тем не менее я никогда не считал и не считаю себя антикоммунистом, во всяком случае в том смысле, в каком его представляют себе мои критики — рыцари антикоммунизма. Хотя «Новый класс» действительно проникнут полемической резкостью, отчасти объяснимой раздражением отставного коммунистического самодержца, ни здесь, ни в какой-либо иной из моих работ коммунистические системы не понимаются как результат случайного стечения обстоятельств или происков бесовской силы, которой, говорят, подвержен человеческий род и которая временами наваливается на него с непредсказуемостью и неотвратимостью стихийного бедствия. И в «Новом классе», и в других моих работах специально рассматриваются условия, способствующие возникновению сил, способных извратить суть коммунистических систем и поддерживать их в новом качестве. Я всегда старался избегать предсказаний, не говоря уже о беспепелляционных выводах относительно природы коммунистических систем и присущей им тенденции к вырождению. Однако мои размышления о коммунизме приводят к выводу о неизбежности такого рода явлений: коль скоро они возникают и существуют, то подлинная их трансформация возможна лишь постольку, поскольку она соответствует природе вещей. Да и имей категории абсолютного добра и абсолютного зла свое реальное воплощение, не существуя они лишь в воспаленном воображении борцов, прельщенных идеалом, попытки подойти с этими мерками исключительно к коммунистическим си-

стемам, а тем более строить на их основе стратегию и тактику борьбы с коммунистической бюрократией, не говоря уж о коммунизме в целом, беспомощны и тщетны. Независимо от того, хороши коммунистические системы или плохи (я уверен, что чем дольше они существуют, тем хуже, ибо это — камень на шее народов), приходится признать, что их существование не менее реально, чем существование любой иной системы, и не учитывать факта их столь длительного существования и участия прямо или опосредованно в жизни всего человечества нельзя. Поэтому в отношении к коммунистическим системам прежде всего не следует принимать желаемое за действительное и необходимо освободиться от ненависти, замешенной на тоске по прошлому. Иными словами: кто не осознал обусловленность и неизбежность победы коммунизма в конкретных странах, тот не только не в состоянии поверить в возможность его вырождения, но и бессилён найти формы борьбы с ним.

Что касается замалчивания и запрещения в коммунистических странах «Нового класса» и других моих, даже беллетристических произведений, то здесь, вместо того чтобы затевать спор, полагаю, уместнее привести факты: «Новый класс» распространяется в самиздате во всех социалистических странах Восточной Европы и в Советском Союзе, из-за этой книги свободомыслящих людей бросают в тюрьмы; а в Югославии вряд ли сегодня даже среди руководящей элиты найдется человек, настолько несведущий, чтобы утверждать, что при социализме нет места ни антагонизмам, ни привилегиям. Поэтому не следует терять надежду на появление мужественных людей, способных на основе этих теоретических выкладок сделать практические выводы. В связи с этим замечу, что чиновники в коммунистических странах (здесь я, разумеется, в первую очередь имею в виду мое отечество), будучи не в состоянии объяснить мое «предательство», вынуждены скрывать от народа и мои книги, и свои противоправные действия, предпринимаемые в отношении меня. И чем труднее им заглушить голос нечистой совести, тем ревностней они распространяют обо мне разнообразные измышления.

Я никогда не стану ни здесь, ни где бы то ни было в будущих своих сочинениях принимать в расчет возможные преследования или арест, имеющие всегда единственную цель — запугать тех, кто готов последовать за

«отступниками» вроде меня. Однако считаю своим долгом объяснить всем коммунистическим соглашателям и просто наивным людям, которых удалось ввести в заблуждение относительно того, что я якобы конфронтирую с коммунизмом из корыстных соображений и при этом умалчиваю о недостатках западных государств и существующих там социальных систем. Упрек этот не более чем полуправда, здесь все перевернуто с ног на голову. Когда-то я, подобно всем добротным догматикам, полагал, что, приобщившись к марксизму, обретешь и мировоззрение, и необходимое знание, дающее право критиковать не только свою страну, но и мир капитала, то есть социальные системы и государственные структуры Запада. Со временем, однако, я понял, что мое знание этих стран недостаточно, а их проблемы и изменение их жизни — скорее дело тех, кто там живет. Это, однако, не значит, что у меня не сложилось хотя бы поверхностного представления об этих обществах, и тем более не значит, что эти системы или какое-либо из западных государств я рассматриваю как источник моих идей или образец для принятия тех или иных решений как в моей стране, так и в любом другом коммунистическом государстве. Я и сегодня стараюсь учиться у всех и готов в случае необходимости признать свои заблуждения перед обеими сторонами. Но я всегда помню, что балканские народы веками существуют распятые между Востоком и Западом и обретают собственный путь только благодаря синтезу чужих и собственных форм жизни и представлений о природе вещей. Для этих народов не существует более судьбоносной и насущной задачи, нежели единство с остальными народами, — в каких бы социальных системах они ни жили, какие бы идеологии ни исповедовали. Родившись на этом перекрестке, они должны сохранить себя, а их борцы и художники не имеют более высокого и благородного предназначения, нежели, будучи постоянно открытыми всем ветрам, найти собственный путь.

Упомяну и об упреках, последовавших также от обеих враждующих сторон в том, что мои взгляды, как и я сам, противоречивы и непоследовательны. Действительно, нелегко выстроить по порядку и понять все перипетии, приведшие коммуниста-революционера, теоретика марксизма и сталиниста в стан бунтовщиков вначале против Сталина, затем против собственной государственной системы и, наконец, против господствующей идеологии. Однако



подобные упреки можно предъявить не только большинству еретиков, известных в истории человечества, но и любому из зачинателей чего-либо нового. Разве не правомернее искать объяснение в катаклизмах нашего века, в обстоятельствах, в которых я принужден был жить и работать? Мне нетрудно принять любой упрек, за исключением того, что я, мол, не смог остаться верен самому себе. Мое решительное неприятие такого рода упреков представляется тем более оправданным, что в своих трудах я и не претендую на создание всеобъемлющих идеологических концепций, но, высвечивая фрагменты своего времени и формы бытования своей среды, стремлюсь лишь к расширению диапазона человеческого знания и представления о судьбе человека.

И сегодня, когда я пишу эти строки, мною руководит то же врожденное, полученное с молоком матери, стремление к добру, которое в молодости заставило меня оказаться в самом пекле революции, а в зрелом возрасте поставить под сомнение мои тогдашние достижения, взгляды, совесть — словом, всего себя. И сегодня куда вероятнее предположить, что из-за этой книги, как это происходило в дни моей молодости и как это было еще совсем недавно, я вновь буду оклеветан и подвергнусь гонениям, нежели меня оставят в покое. А ведь я мог бы и дальше жить, как живу теперь, в относительном благополучии, окруженный теплом и уютом семьи.

Стремление реализовать себя, выразить на бумаге свои мысли и мечты неистребимо, как сама жажда жизни, а порой и сильнее ее. И подчинение творческому императиву есть долг не менее священный, чем любой иной... Ведь созидательная борьба и творчество вечны...

В заключение необходимо сказать несколько слов о более глубоких побуждениях, непосредственно подтолкнувших меня к написанию этой книги и связанных как с желанием идти в ногу со временем, так и с голосом моей совести как частицы окружающего мира.

Все бесы, которых в соответствии с коммунистическими верованиями коммунизм изгнал не только из реального, но и из воображаемого мира, угнездившись в душе человека, стали самой сутью этого явления. Коммунизм из идеи и порожденного ею движения, заставивших трудовой и угнетенный люд всего мира воспылать надеждой на научно обоснованное Царство Небесное на земле, оплатив эту извечную мечту смертью миллионов борцов,

вырождается в форму национально-политических государственных бюрократий, которые грызутся за свой престиж, влияние, источники обогащения и рынки сбыта — словом, за то, что испокон веку не могли поделить между собой все политики и государства, и, судя по всему, эта вражда продлится до тех пор, пока существуют политики и государства, — такова природа и тех и других. Сперва идея, затем реальность вынуждают коммунистов бороться за власть — поначалу с врагами, затем между собой. Такова для них высшая из услад, такова судьба всех революционных движений в истории человечества. Коммунисты тем очевиднее начали поддаваться и наконец окончательно поддались искусству властолюбия и стяжательства, чем более абсолютной и тоталитарной становилась их власть; в борьбе за нее всем этим посвященным, этим людям из железа, какими их пытался изобразить Сталин, пришлось осознать, что они лишь простые смертные, подобно всем, подверженные греху. При этом коммунизм, подчинив созданной им государственной машине народы, обладавшие разными возможностями и разными судьбами, должен был отказаться от тактики существования в качестве мировых центров, поскольку в такой форме они уже не могут претендовать на мировое господство. В национальных костюмах и на национальной почве коммунизм попадает в тупик. Именно здесь, на национальной почве, возшло семя интриги, вражды, коррупции, которые проникают затем во все сферы жизни. И ничего иного с движением, претендовавшим на тотальное объяснение миропорядка, стремившимся к абсолютному господству над человеческим бытием, произойти не могло. Экономика, которую коммунисты «сознательно» и «планово» вели к «отмене товарно-денежных отношений», к «каждому — по потребностям», а тем самым, как говорил Ленин, и к снижению ценности золота до сплава, пригодного лишь для изготовления нужников, сегодня энергично ищет спасения в свободном рынке и золотом запасе. Вопреки обещаниям навсегда избавить человечество от войн, коммунистические сверхдержавы порабощают более слабые коммунистические государства, в результате чего человечество оказалось перед угрозой столкновения коммунистических колоссов — Советского Союза и Китая, не менее вероятного и губительного, нежели столкновение любого из них с капиталистическим миром... «Спасители» человечества дерутся друг с другом, «благодетели» народов вынуждены спасать собственную шкуру...

С крахом коммунизма мир ничего не потеряет, хотя рассеянным повсюду группам «правоверных» это, конечно, покажется истинным концом света. Однако коммунисты не пропадут: даром что не удалось построить общества, предсказанного их теоретиками, отдельные коммунисты, а частично и само движение непотопляемы, ибо, изменившись, способны приспособиться к такому обществу, каковым оно может и каковым ему надлежит быть.

Коммунисты более всех виноваты в постигших их бедах, ибо они тупо стремились к вымышленному обществу, полагая, что способны изменить природу человека, в то время как и сами идеи, и их носители неумолимо разрушались и гибли, уничтожаемые безумием совершаемого ими грандиозного насилия. И при коммунизме, как и на протяжении всей своей истории, человек проявил себя существом, непригодным для каких бы то ни было идеальных моделей, отвергающим те из них, которые пытаются обуздить его натуру и определить судьбу.

Однако вопреки сказанному радость противников коммунизма преждевременна; особенно недальновидными окажутся те из них, кто полагает, что будут увенчаны успехом попытки апеллировать к накопленному поработченными народами опыту страдания, борьбы, утраченных иллюзий.

Впрочем, на противоположной стороне, в стане некоммунистов, уже произошли и продолжают происходить многие перемены. Будь эти люди способны освободиться от доставшихся им в наследство догматических иллюзий, вырваться из тисков и поныне существующего разделения и противопоставления людей, уже в наше время можно было бы со спокойной совестью провозгласить: нет больше ни капитализма, ни коммунизма, во всяком случае в Западной и Восточной Европе. Описанный Марксом западноевропейский капитализм, гибель которого он предсказывал, если не исчез с лица земли, то настолько изменился, что напоминает свой юношеский облик ничуть не более, чем современный ему восточноевропейский вариант коммунизма — райское, бесклассовое общество из сновидений упомянутого философа. Модели общества, разделенного на капитализм и социализм, больше не существует. Она, в сущности, никогда и не существовала, если не считать более или менее приблизительных и недолговечных выкладок теоретиков, зыбких грез мечтателей или

узколобо-жестоких представлений о жизни, характерных для боевиков-практиков, которые приводили к неудачным и оттого еще более страшным экспериментам тиранов как над отдельной личностью, так и над целыми народами. Капитализм, коммунизм, социализм как понятия вовсе не означают более высокую степень свободы личности, более широкие права общественных групп и более справедливое распределение благ, нежели те, которые мы имеем сегодня; и то, что они по сей день имеют хождение и на Востоке, и на Западе, и то, что, судя по всему, борьба с породившей их идеей предстоит и в будущем, связано со способностью идей, подобно вампирам, жить и после смерти прельщенных ими поколений, правда, лишь в виде духовной горячки, свидетельствующей о немощи социальных групп и общественных отношений, обреченных на вырождение и гибель.

Страны, народы, весь человеческий род живут уже в мире новом, хотя все еще мыслят по-старому. В этом источник наших бед, но и нашей надежды...

## МРАК ИДЕОЛОГИЙ

### 1

Трудно найти слова, способные описать беды и страдания, которые мне довелось пережить в последние пятнадцать лет, особенно это относится к годам, проведенным в тюрьме, куда я попал в результате собственных решительных действий, продиктованных потребностью донести до людей мои идеи и соображения об их глубинном смысле, практическом применении, следующих из них выводов; а также размышления о революции, ее надеждах и ее последствиях, ее иллюзиях и ее вероломстве. Удручает не то, что столь многое (радость жизни, литературное творчество, молодость) пожертвовано делу распространения идей революции, — это была величайшая радость и лучшие годы моей жизни. Под вопросом оказалось не больше и не меньше — само существование моей личности. Ведь в течение десяти лет, проведенных на каторге, я не встретил никого, с кем можно было бы поделиться своими сомнениями и мыслями, в муках рождаемыми моим одиноким сознанием, но безжизненными среди необъятной, равно-

душной пустоты мира железных решеток, тюремных стен, охранников и разведенных по камерам преступников.

Все годы меня держали в изоляции от большинства осужденных, чтобы не подвергать их моему отрицательному влиянию, как мне было не без цинизма официально заявлено. На самом же деле для того, чтобы они не передавали никакой информации обо мне или чтобы я с их помощью не передал какой-либо информации. Обычно в моем окружении было человек пятнадцать неграмотных стариков разных национальностей и разного вероисповедания, осужденных за убийство, к которым всегда подсаживали грамотного заключенного, а бывало, и двоих-троих образованных служащих, членов партии, сидевших за растрату; хотя скрывать было нечего, я опасался, и в некоторых случаях не без оснований, что среди этих людей окажутся стукачи. Неизменно, раз в месяц, с преданностью тех, кто вынужден бороться один на один с равнодушно-жестоким реальностью за жизнь единственного и самого дорогого в мире существа, меня навещали жена Штефания и сыночек Алекса. Но охранники, боясь обвинений в потакании ереси и ее носителю — главарю отступников, из кожи вон лезли, чтобы эти свидания не превышали положенной половины часа, так что мы с женой и сыном успевали лишь обменяться друг с другом заботами, тревогой да беглой улыбкой истомившейся нежности...

Старики-убийцы, за редким исключением слабоумные, безграмотные или едва умеющие расписаться, были единственными человеческими существами, с кем у меня сложились естественные отношения, державшиеся на беседах об урожае, об их родственниках, о деревенской жизни и о ежедневных, жалких в своей ничтожности, но неизбежных и неиссякаемых тюремных неприятностях.

Все это были набожные люди, и я часто задавался вопросом: что заставляет их верить в Бога? Может ли жить человек без веры, без некоего подобия верований, без цели и идеалов? Ответа, разумеется, не было, да и не могло быть, хотя среди заключенных попадались как честные и неглупые, так и недалекие, подленькие, ненадежные люди, которых ни долгая каторга, ни болезни, ни старость не избавили от агрессии. И все же жизнь рядом с ними многому научила меня, патентованного безбожника, не щадившего ни своей, ни тем более чужой жизни ради всеобщего братства. Дело, конечно, не в том, что я, ска-

жем, перенимал их слова или копировал поступки, но само общение с ними, размышления об их судьбах способствовали появлению во мне, несмотря на столь разные жизненные пути, чувства полного единения с этими людьми, укрепившегося затем опустошающе нескончаемым тюремным заключением... Они навсегда останутся и в моей памяти, пока она существует, и во всем, что я делаю, пока это приносит людям хотя бы малую пользу...

Среди более молодых заключенных тюремные власти пытались вести антирелигиозную пропаганду, однако всерьез никому, особенно старикам, не запрещали молиться. Тем не менее в тюрьме не было ни священников, ни молящихся в полном смысле этого слова: одни, боясь рассердить власти, молились тайком, для других открытая молитва становилась единственной порукой постоянства в вере, третьи же, афишируя свою религиозность, выражали тем самым в единственно возможной, безнаказанной форме свое неприятие безбожной власти и данного общественного порядка. Суть отношений между властями и верующими людьми сформулировал кто-то из охранников, отвечая на вопрос одного помешанного старика, запрещено ли, мол, креститься: «Не запрещено, но нехорошо». У стариков не было практически никакой, в том числе и религиозной солидарности, случалось даже, что они доносили охранникам на тех, чье религиозное рвение хоть чем-то выделялось на фоне предписанного порядком и, стало быть, посягало на никем не установленные, но всем понятные политические доктрины и авторитеты.

Но, будучи вот такими, несхожими друг с другом, часто подверженными ненависти, отравляющими свою жизнь ябедничаньем, с тревогой и надеждой ждущими освобождения, все они неотступно верили в нечто доброе, безгрешное, необъятное, к чему эти люди приобщились благодаря глубинной сути своей души, чистой от грехов и свободной от жизненных обстоятельств и бед... И у меня было некое схожее, невыразимое сознание собственной причастности к вечным ценностям, сходное с необъяснимым ощущением собственной силы, позволяющей противопоставить себя объективному миру или, точнее, тем людям и законам, которые им управляют. Это чувство возникало у меня благодаря иным верованиям и побуждениям, нежели те, что были у моих стариков, но оно было идентично их вере своей невозможностью подчиниться

жестокой реальности, упованием на некую будущую нематериальную высшую справедливость. Все это крепло во мне под влиянием одиночества заключения, к которому меня принудила полицейская машина, а более всего под влиянием двадцатимесячного пребывания в одиночке, где я, оказавшись перед дилеммой — безумие или покаяние, избрал безумие, одержав победу и над собой, и над силами, навязавшими мне этот выбор... Да, это чувство становилось частью моего сознания, я помню день и даже час, когда оно возникло, подобно тому как — я читал — новообращенные или отшельники помнят, когда на них впервые снизошла благодать...

Это случилось в ночь с 7 на 8 декабря 1953 года.

Заснув, по обыкновению, около полуночи, я вдруг очнулся как от удара плети, с ясным, фатальным пониманием невозможности отказаться от своих взглядов. В то время «Борба» уже печатала мои «ревизионистские» статьи, и я понимал, что они неизбежно приведут к конфликту с моими товарищами из Центрального комитета. Вместе с этими людьми я сжег в огне революции молодость и добрую половину зрелых лет жизни ради идеалов, которые после стольких упований, крови, усилий на поверку оказались фикцией.

Моя жена Штефания бесшумно спала в противоположном конце комнаты, в полутьме уходящей в бесконечность тишины я все время знал, что она рядом, и старался отогнать предчувствие необратимости такого решения, невозможности не подчиниться ему и неизбежности жертвы привычной жизнью, своими надеждами, дорогими людьми. Я знал и то, что победа невозможна, и, вспоминая о Троцком, твердил себе: лучше судьба Троцкого, чем Сталина, пусть лучше я проиграю, и они меня уничтожат, чем предать свои идеалы и совесть. В сознании даже мелькали цифры, чаще всего 7 или 9, означающие число лет заключения, на которое я будто уже осужден. Я видел, как остаюсь один, без друзей, оклеветавших и презирующих меня, без ошеломленных всем этим родных, среди так называемых простых людей, которые не понимают, кто перед ними, умалишенный или мудрец. Но эта внутренняя борьба была недолгой — всего несколько минут, пока я полностью не очнулся от сна и ясновидения. Я уже тогда знал — да, именно знал, что это моя суть, от которой нельзя отречься, несмотря на сомнения и грядущие испытания. Я встал, перешел в кабинет, зажег свет и коротко, в

двух-трех предложениях, записал это ощущение необходимости отмежеваться от руководящих деятелей партии: о собственной силе или, может быть, бессилии свернуть с выбранного пути... Дней двадцать спустя, когда Кардель, с которым у нас не было до тех пор никаких разногласий, в одночасье превратился в моего обвинителя, официально сообщив о начале расправы, я (хотя жена была против) уничтожил эту запись, боясь, что она попадет в руки тайных агентов и будет ошибочно истолкована как свидетельство того, что я преднамеренно, «сознательно и планомерно» готовился к «антипартийной» деятельности. Моя антидогматическая позиция действительно имела концепцию и план, но мне бы никогда не победить в опустошающей борьбе с самим собой (я имею в виду мои тогдашние представления об обществе, о товарищеской верности плюс необходимость отказаться от того единственного в своем роде наслаждения, которое дает только власть), не будь во мне непреодолимой внутренней потребности сопротивления сложившимся общественным силам...

С той ночи я постепенно, но неуклонно отходил от официальной догмы и ее установок, понял истинное положение вещей как в своей стране, так и в коммунистическом мире, однако до сего дня не признавал ни себе, ни другим, что тем самым я порываю с марксизмом, становлюсь «антикоммунистом», склоняюсь на сторону Запада, поддаюсь «чуждым идеологиям». То же самое и с моим отношением к религии: отказавшись от марксистской догмы, я не пришел к вере, если не считать чем-то подобным все более крепнущее во мне убеждение, что жить надо по совести, то есть в моем случае бороться с извращением сути человеческого бытия; убеждение в неразрывной связи человека и космоса, личной судьбы с судьбой человечества; убеждение в неисчерпаемых возможностях разума, способного отстраниться, воспарить над материальным миром. Словом, я старался поступать, руководствуясь скорее совестью, нежели знанием и опытом. Поэтому я не столько сравнивал теорию марксизма с реалиями коммунистических стран, сколько стремился изложить собственное видение будущих перемен. Ибо полное совпадение идеи и ее воплощения в реальности неосуществимо, этого не может быть никогда, ибо человек способен лишь описать действительность и за нее бороться, а создавать заново не его, но Божье дело. Я готов был



принять все — любую критику, любое наказание, вызванные моими новыми мыслями и поведением. И я не связываю свое «отступничество» с разочарованием или неудовлетворенными амбициями, хотя в какой-то степени, конечно, было и то и другое. Это — творческий акт, рожденный необходимостью выразить новые идеи, осмыслить новые возможности моего народа, отечества, всех людей на земле.

И если есть готовность жертвовать привычками всей жизни, сконцентрированность совести на идеях в ущерб реальности и есть вера, значит, в ту ночь я обрел ее, — и, подобно старикам-заключенным, моим товарищам по несчастью, вера согревала меня, укрепляла мой дух в столкновениях с трудностями и унижениями. Это было сильнее меня самого и больше того, что способны понять мои притеснители. Возможно, что мой рассказ о пережитом окажется кому-то полезным, хотя должен оговориться, что подобное поведение я отнюдь не считаю геройством. Многие способны подчиниться внутреннему императиву, оказавшись в положении человека, вынужденного отстаивать свое право на свободный выбор, право на полноценную жизнь. Среди моих стариков вряд ли бы нашелся неспособный умереть за свою веру; и я тогда не смог поступить иначе, даже если бы захотел, не смог бы вопреки страху, лишениям и сомнению.

Впрочем, творчество хоть и «божественное действие», для самого творца не что иное, как муки и проклятие. И ради идеи, ради ее воплощения приходилось считаться с реальным положением вещей.

Одержав победу над Сталиным, Тито чувствовал себя триумфатором, однако к нему постепенно возвращался трезвый взгляд на вещи, он опасался, что, ослабив узду, не сможет удержать жизнь в намеченном русле; кроме того, он находился в кровной вражде с державами, определявшими мировую политику, которые, в свою очередь, разделившись на два военных блока, взвинтили гонку вооружений до абсурдных, космических размеров. Это была своего рода остановка в тоннеле, пробитом уже в толще сталинизма. И я тогда не расценивал это как свидетельство того, что жертвы были напрасны, а надежды обмануты, но скорее как угрозу самой возможности расширить стены тоннеля, разобрать завалы, препятствующие нормальному движению общества. Апокалипсическая же враждебность окружающего мира казалась залогом его неизбе-

жного объединения в будущем. Я понимал, что иду на огромный риск, обрекая себя на страдания, но я понимал и то, что Тито — не Сталин, что у Тито сталинское безумие догматика эволюционировало в осозанный прагматизм. С одной стороны, его ни на минуту не покидало инстинктивное чувство опасности, нередко приводившее к скоропалительным выводам. С другой стороны, я видел, что он осознает эту свою склонность к скоропалительным заключениям и на этот раз постарается с ней справиться, ибо речь идет о важном политическом решении. Я чувствовал, что уничтожать меня Тито не станет, хотя бы для того, чтобы не повредить своей репутации и не способствовать повышению значимости моих идей.

Однако полной уверенности все же не было: Тито тогда снова занялся укреплением личной власти в партии, а эта власть, благодаря его борьбе со Сталиным, с одной стороны, обрела уже характер олигархический, но, с другой — на уровне личных взаимоотношений членов партии несколько демократизировала порядки, типичные для организации сталинского типа. Резкое изменение в поведении Тито и мое окончательное прозрение относительно того, что партия вступила в период застоя и ограничения демократизации, произошли на пленарном заседании Центрального комитета (Бриони, лето 1953 года). Я не мог скрыть ни от Карделя, ни от некоторых других товарищей своего возмущения тем обстоятельством, что вопреки обыкновению ЦК в полном составе собирается не в своем здании, в Белграде, а на острове, в личной резиденции Тито. Кардель ответил, что это, мол, не столь важно, остальные смущенно промолчали. Было что-то настораживающее в окружающей обстановке: мы утопали в роскоши и комфорте, но одновременно, будто в крепости, кругом расставили охранников из гвардейских офицеров. А во время самого заседания Тито, наклонившись ко мне, значительно прошептал: «Тебе, Джидо, тоже надо выступить, чтобы не думали, будто мы не ладим». Меня поразил и этот жест, и прежде всего то, что Тито окольным путем давал понять, что нам следует поладить. И я выступил, хотя повестка дня никак не была связана с областью моих интересов. Это было довольно сумбурное выступление человека, пытающегося одновременно угодить и не изменить себе. Ночью я собрался с духом и на завтра по дороге через Лику, куда мы завернули половить форель, сказал Карделю, что не могу далее поддерживать подобный курс.

Он сдержанно промолчал, заметив только, что я драматизирую ситуацию, все это — не более чем переходный этап, с его малосущественными в масштабах «нашего социалистического строительства» недостатками. Последовавшие затем две встречи с Тито не смогли остановить дальнейшего движения по течению. Первая состоялась по моему настоянию ранней осенью 1953 года в Белом дворе, когда я попросил его высказать личное мнение о моей книге. Вторую вскоре после этого устроили наши жены в моей квартире, на этом ужине кроме нас присутствовали также Кардель и Ранкович с супругами. В Белом дворе Тито сказал, что книга ему нравится, но чувствовалось, что думает он иначе, но у него пока нет на этот счет своего мнения. Тогда на ужине только для партийной верхушки — единственном за все время — все получилось довольно складно, но как-то излишне сдержанно: собрались люди, победившие в смертельных схватках, ставшие теперь мудрыми и осторожными в личных отношениях...

Таким образом, вплоть до той ночи с 7 на 8 декабря 1953 года я жил в состоянии разлада с самим собой, борясь с сомнением; и тем решительнее позднее я высказывал свои мысли, тем ревностней работал над их углублением, одновременно борясь с искушением пойти на компромисс в отношениях с Тито и товарищами по ЦК и более всего против искуса вступить с кем-либо в сговор против них. Между тем вокруг меня уже ширилась пустота, и все чаще вместо дружеской сердечности приходилось сталкиваться с холодной сдержанностью и злобной насмешкой...

Так я начинал, так выработывал взгляды, веря в свою правоту, мало или совсем не заботясь о своей победе... Так было, так обстоят дела сегодня, надеюсь, что так будет и впредь.

Поэтому естественно, что, в конце концов оказавшись в тюрьме, я все время спрашивал себя: какое отношение имеют моя участь и вера стариков-каторжников к ленинскому по сути своей и не «историческому», и не «жизненному» определению сущности Бога, данному им в одном из писем к Горькому: «Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым гнетом, — идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих классовую борьбу»; или его «научное» и бунтарское — вульгарное и механистическое «объясне-

ние» религии: «Религия — есть один из видов гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.»\*.

Ни одно даже из самых глубоких мест у Маркса не могло больше объяснить мне смысл какой бы то ни было веры, и менее всего смысл моих верований, которые не слишком принимали в расчет реальность и не слишком соотносились с перспективой собственной смерти: «Религиозный мир — лишь отражение реального мира. Для общества товаропроизводителей, характерное общественно-производственное отношение которого состоит в том, что продукты труда являются для них товарами, т. е. стоимостями, и что отдельные частные работы относятся друг к другу в этой вещной форме как одинаковый человеческий труд, — для такого общества наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.... Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собою и с природой. Строй общественного жизненного процесса, т. е. материального процесса производства жизни, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным, планомерным контролем. Но для этого необходима определенная материальная основа общества или ряд определенных материальных условий существования, которые представляют собою естественно выросший продукт длинного и мучительного процесса развития»\*\*. Разве вера моих стариков отражала иную реальность, кроме внутреннего мира их самих и их предков? Разве для «буржуазного пути развития» католицизм менее пригоден, чем протестантизм? Разве, скажем, буддизм для Японии не столь же оптимальная форма религии, сколь любая другая ре-

\* Ленин В. И. Собр. соч. Изд. 4-е. Москва, 1950. Т. 35. С. 93.

\*\* Маркс К. Капитал. Т. 1. Госполитиздат, 1950. С. 86.

лигия для «общества товаропроизводителей»? И разве «практическая повседневная жизнь» демонстрирует нам «прозрачные и разумные» связи между людьми и природой? Отчего же некоторые религии продолжают жить, хотя не являются «отражением реального мира», который их якобы породил?

Сознательный выбор своей судьбы (я понимал это и до тюрьмы) не является достаточным основанием для сведения моих идей лишь к «отражению реального мира»; поэтому общая со стариками-заключенными участь, постигшая нас сегодня, при коммунизме, «когда продукт... находится под планомерным контролем», заставила меня быть последовательно справедливым по отношению к ним, признав то же и за их верой.

Уже в 1956 году, оказавшись в тюрьме, я знал, что марксистский тезис об «отмирании» религии не более достоверен, чем аналогичный тезис об «отмирании» государства. Но сомневаюсь, чтобы это сколько-нибудь повлияло на мои поступки или суть моих взглядов. Размышляя над своими идеями, я укреплял их и благодаря им укреплялся в своей правоте. Но одновременно становился все более убежденным атеистом, однако не по рационально объяснимым, научным и прочим подобным причинам, но по причинам личного идейного и экзистенциального характера. Я никогда не был одним из тех коммунистов, которые, разочаровавшись в коммунистической действительности, возвращаются к прежней вере или стремятся к созданию некоей новой. Я свою «веру» не терял, я верю в необходимость улучшения условий человеческого существования, в неизбежность изменения и замены существующих обществ — как на Востоке, так и на Западе, — ибо и те и другие принадлежат минувшим временам, устаревшим догмам и формам.

А если меня, измученного, обезумевшего, и посещали порой сомнения в моей «вере» и мысль о существовании некоего высшего закона, управляющего всем, в том числе и моей личной судьбой, то во мне тотчас рождалось сопротивление соблазну, «греховной» слабости духа. Я наслаждался сатанинской мечтой о том, как я, если бы существование Бога стало очевидным, взбунтовался бы против его всемогущей власти и неизменного порядка. И я наслаждался этим не меньше, чем той еретической заразой, которую внес в тираническое, античеловеческое, священное единообразие партии. Противостояние «высшим

силам» казалось мне столь же естественной формой создающего человеческого бытия, как его способность приспособливаться. И будь мне тогда известны высказывания Альбера Камю: «Человек — единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть»\* и «Я восстаю — значит, я существую»\*\*, обязательно внес бы их в свои тюремные записные книжки, чтобы обозначить эти свои чувства и мысли.

Однако при этом во мне постоянно росло и уважение к человеческому существу — ко всему тому, что не представляет угрозы человеческому бытию, в том числе и к вере. В тюремном одиночестве, взглянув на величие, на атеизм, на доктрины и идеи через призму собственной судьбы, я понял, что это — необходимые формы, воплощающие разнообразие как самой жизни, так и связи человека с миром и людьми. Силы, чтобы выжить, я черпал в своей вере, а не в надеждах...

Отсюда следовал вывод: в материальной и общественной сферах жизни чрезвычайно важно то, во что люди верят, поскольку идеалы — те же знамена. Это бесспорно. Но в тот момент я полагал, что и мне, и всем тем, кто разуверился в коммунизме, необходимо прежде всего ответить на вопрос: должны или не должны люди верить, возможно ли бороться с коммунизмом при отсутствии идей и программы? Мой опыт и пережитое страдание были категоричны: человек без веры, идей и идеалов сравним лишь с неразумным существом, пребывающим в вакууме, то есть в мире собственного небытия. А утверждение, что человек может обойтись без веры, идей и идеалов, есть не более чем своего рода попытка создания собственных верований и отказ от борьбы. Это лишь особая форма приспособленчества. Я не отрицаю и не склонен недооценивать подобные взгляды и подобный образ жизни, однако абсолютно не верю в возможность изменить с их помощью любое общество, а тем более столь жестокое и неповоротливое, как коммунистическое: хотя «не тот борец, кто победил, а тот, кто вывернулся».

И эта исповедь, и мои размышления могут показаться читателю излишними. Но идеи, выношенные в одиночестве заключения, не могут иметь более достоверного подтверждения, чем последовательный рассказ об их возникновении.

---

\* Camus Albert. L'homme révolté. Paris, 1951. P. 22.

\*\* Ibid., P. 36.

Подобная мотивировка представляется мне наиболее убедительной еще и потому, что именно тюрьма и связанные с ней искушения, падения и взлеты духа сформировали во мне убеждение, что коммунизм нельзя заменить ни какой-либо из существующих религий, ни какой-либо новой.

Специально я этого не подчеркиваю, поскольку не вижу особой значимости и необходимости религий и верований, кроме того, я уже не склонен придавать слишком большого значения и моему бунту, и моим идеям. Другими словами, коренные перемены в коммунизме произойдут и уже происходят в рамках самого коммунизма, главным образом благодаря нереальности его посулов и бесперспективности его реальности. На отрицание сколько-нибудь значимой общественной роли религии в коммунизме прежде всего наводит знание природы этого явления; ибо религия так же, как и любая политическая доктрина, имеет дело не с определенным обществом или, скажем, с конкретной жизненной ситуацией, но с судьбой абстрактного индивидуума и нравственным аспектом существования человека. Религия одухотворяет и укрепляет человека сверх и помимо того, что он через свое сознание получает от действительности, но она не способна изменить общество, так как ее цель и ее сущность находятся вне любого конкретного общества. Кроме того, религия потому не пригодна для выхода из коммунистической действительности, что люди здесь и без того устали от бесконечных откровений и закономерностей, разумеется, «строго научного» свойства. Поскольку коммунизм меняется изнутри, то есть благодаря усилиям демократически настроенных коммунистов и социал-демократов, то критические идеи, сменяющие его, должны иметь новую, более убедительную и подлинно научную в сравнении с нынешней идеологией базу. Трудно переоценить роль сознания в жизни общества, что же касается коммунистов, то они долго еще не смогут освободиться от своей «науки» и «научности». То же и с социализмом: он обретает жизнь — то есть демократизируется — в том случае, если способен освободиться от марксистской догматики как «руководства к действию», а также от привилегий и власти, зависящих от идеологической благонадежности. Очевидно, что возможности коммунизма создать научную теорию, дающую исчерпывающее толкование мира и человека, претендующую на то, чтобы подменить собой религию,

весьма ограничены, ибо ее постулаты, устарев, обратились в бесцветную догму, что, впрочем, никак не облегчает задачи религии, которой в новых условиях предстоит самой определить и свои возможности, и приемлемые формы. Тоска по горнему миру в человеке неугасима, но она не может заменить людям, пережившим страдание и безумие насильственно возведенных общественных построений, веру в возможность политической, интеллектуальной и экономической свободы.

Религия пережила коммунизм и доказала свою очевидную в сравнении с ним прочность, однако она не смогла осуществить действенную критику ни коммунистической идеологии, ни реальности. И это не есть ее слабость или грех — это противно ее природе, за пределами ее возможностей.

Как каждое правило, и это, разумеется, имеет свои исключения: одни конфессии меньше вмешивались в общественные отношения, другие — больше, есть и такие, что и по сей день контролируют политические партии. В этом случае речь идет об общественно-политической функции, определяющей большую или меньшую политическую значимость религии по сравнению с той, которую она в избытке имела в средние века и которую, вероятно, приобретет в будущем. Очевидно, в католических странах даже коммунистической власти не удалось лишить церковь и религию этих функций. Не исключено, что какая-то из партий, особенно в этих странах, обратится к религии в качестве идеологии, положив ее в основу как более или менее действенную политическую программу. Объясняется это как светским характером католической церкви, так и ее способностью улавливать движение жизни и учитывать ее реалии. Я не отрицаю возможности подобных общественных движений, но не верю, что они, и только они, способны осмыслить и охватить проблемы, которые порождены и навязываются коммунизмом во всей их новизне, разнообразии, неоднозначности, абстрактном схематизме и конкретной реальности.

Выяснилось, что обществу грозит неизбежный застой и несвобода, если свобода совести отдельных его граждан, а стало быть, и свобода вероисповедания, ограничивается давлением одной идеологии и церковь конфликтует с государством из-за верховенства.

Власть церкви не идентична политическому руководству государством, да и не может быть таковой, поскольку



движение общества невозможно без четких, продуманных и реально осуществимых программ, реализуемых решительным и осмотрительным правительством. Так было и так пребудет вовеки между людьми — как бы к этому не относиться. Свобода имеет границы, но не является чьей-то собственностью: тот, кто пытался подчинить свободу той или иной доктрине в интересах конкретной социальной группы, преуспевал лишь в том, что лишал их свободы.

Подобные мысли возникают при пристальном рассмотрении современного соотношения религии и коммунизма: до тех пор пока коммунисты ставили перед собой религиозную, по сути, цель, они никак не находили общего языка с религией. Сегодня же общий язык найден в той мере, в какой коммунисты, пусть молча либо неофициально, готовы отказаться от утопических целей и, поступившись своей идейной и прочей монолитностью, размежеваться по принципу принадлежности к эмпирически оправданным, прагматическим идеям и конкретным, решаемым задачам, которые так или иначе объединяют все партии мира.

Коммунизму не только не удалось стать религией, разумеется «научной», но он потерпел крах и как всемирная, и как мононациональная идеология. В перспективе коммунистические движения в лучшем случае станут тем, что они на самом деле и есть, — общественно-политическими движениями, отстаивающими наравне с прочими движениями и партиями определенное общественное устройство и ведущими борьбу за власть в рамках заданных национальных условий.

## 2

Прошлое живой нитью связано с настоящим. Поэтому ни в наших размышлениях о прошлом, ни в научных изысканиях, связанных с ним, невозможно воссоздать объективную картину во всей ее полноте и разнообразии, даже если предположить, что тот, кто попытается это сделать, способен пренебречь собственными взглядами. Определить историческое значение Маркса тем труднее, чем очевиднее тот факт, что его учение не просто присутствует, но так или иначе проникло во все поры современного общества. Я пишу о Марксе не как историк, поскольку таковым не являюсь, и не как один из тех, кого

это учение раздражает, ибо представляет прямую угрозу их положению, но как вчерашний приверженец марксизма, который на собственном опыте и опыте своей страны познал все его искусы и понял всю неосуществимость этих идей. И вот сегодня, я полагаю, заслужил право со всей возможной добросовестностью изложить свое, пусть не всегда исчерпывающее, понимание Маркса и исторической роли его учения.

Как творение гения, созданное Марксом, есть некий синтез: его учение обобщает и развивает английскую политическую экономию (А. Смит, Д. Рикардо), французский утопический социализм (К. Сен-Симон, Ш. Фурье) и немецкую классическую философию (И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах). Это лишь наиболее радикальные течения тогдашней европейской мысли, составившие основу его взглядов. В этой связи должны быть также упомянуты достижения других мыслителей и ученых, некоторые из которых, пусть и не столь значимые в истории философской мысли по сравнению с упомянутыми (О. Минье, например, с его пониманием Французской революции как борьбы классов), вполне могли подтолкнуть его подвижный ум к дальновидным и вполне оригинальным обобщениям. Нельзя не указать на влияние Б. Спинозы на мысль Маркса (для меня неоспоримую) о тождестве свободы и необходимости, правда, при абсолютизации у первого — Бога, у второго — материи. Маркс — немецкий еврей, выходец из семьи, принявшей протестантизм. Однако утверждение, что двойственность, с одной стороны, обреченность на еврейство, с другой — теснейшая связь с немецким духом оказала влияние на его судьбу и воззрения, представляется весьма рискованным. Но то, что уже в начале своей деятельности (в частности, в работе «К еврейскому вопросу», 1844 г.) он проявляет себя одним из тех евреев, которые пострадали из-за своего происхождения, и именно из-за этого, постоянно, как проклятые, со все возрастающей одержимостью подтверждают его всем тем, что есть лучшего в еврействе и в них самих. И мне думается, что сегодня Маркс интересен прежде всего в качестве пророка, и корни его восходят к самой Библии — к тем предсказаниям, в которых древние пророки вещали «богоизбранному народу» и всему роду человеческому о неизбежном.

Но высочайшую несправедливость по отношению к гению мы проявляем тогда, когда изучаем его мысли в

отрыве как друг от друга, так и от созданного им в целом; благодаря подобному подходу легко прийти к заблуждению, что у Шекспира и Аристотеля не так уж много оригинального. Однако Маркс принадлежит к тем исполинам духа, которые объемяют целые эпохи и — перефразируя Т. С. Элиота — заставляют всех предшествующих не только потесниться, но и соизмерять себя с ними. Маркс необозримо многосторонен, но наиболее ярко проявились три аспекта его дарования, которые и создают качество, отличающее все его произведения: он одновременно пророк, ученый и писатель.

Вероятно, сам Маркс посмеялся бы от души, услышав о своих пророческих способностях и, коль нелегко стать пророком в своем отечестве, куда тяжелее пророку знать, является ли он таковым, особенно в момент самого пророчества. И все же сегодня он оказывается не только пророком, но и первым пророком мировой значимости и мировых масштабов, чьи предсказания, подобно изречениям всех истинных пророков, выражены поэтическим словом исключительной силы и обоснованы с непоколебимой уверенностью того, кому открыта высшая и окончательная истина.

Эпоха Маркса, когда и крестьянское, и ремесленное хозяйство стремительно трансформировалось в промышленное производство, подчиненное плану и усовершенствованной научной технологии, естественным образом изобиловала пророками, ибо эти коренные перемены в жизни европейских стран сопровождались обнищанием массы крестьян и ремесленников, вынужденных порывать с вековым укладом жизни и привычным образом мышления. Однако никто из этих пророков, за исключением Маркса, не понял, да и не мог понять, ибо ни один из них не обладал столь всесторонне развитым, синтезирующим умом, не столь безоговорочно верил в силу науки и не столь виртуозно использовал ее методы, что все страны, все народы на земле должны подвергаться изменению привычный строй жизни, а тем самым и привычные общественные отношения, приводя их в соответствие с процессом неуклонного совершенствования промышленных технологий.

Если пророчество не что иное, как предвидение неизбежного, то тогда Маркс — самый прозорливый пророк эпохи индустриализации общества, размывания границ между умственным и физическим трудом и подчинения

рода человеческого процессу промышленного производства. Но, как и всякий пророк, Маркс ошибся относительно конкретных методов и сил, посредством которых все это должно осуществляться. По-видимому, он также предвидел и то, что эти перемены сломают существующий механизм собственности, но, как всякий революционер, ошибся относительно облика будущего общества. В тех обществах, которые он подверг беспощадной критике, частная собственность действительно не является больше святыней, но и облик обществ, развивающихся под влиянием его идей, отличается от его теории.

Как наиболее убежденный и наиболее убедительный, хотя и не единственный пророк, Маркс был последовательнее других в своем подходе к обществу как к объекту научного изучения, заложив основы современной науки об обществе (социологии). Приоритет Маркса не в силах оспорить ни Огюст Конт, ни Герберт Спенсер: первый потому, что больше размышлял об обществе, нежели его исследовал, отчего выводы, к которым он приходит, затуманены мистицизмом; а второй, если бы и обладал глубиной и воображением Маркса, по той простой причине, что его труды об обществе появились позднее трудов Маркса. Сегодня с точки зрения идейной и политической борьбы более важно, в чем Маркс оказался прав, а в чем не совсем, но для истории человеческой мысли и науки не менее существенно, что именно он первым подошел к пониманию общества, как к любому иному явлению, поддающемуся научному описанию. И в «Капитале» Маркс исследует одну из общественных формаций, уделяя внимание прежде всего английскому капитализму.

Литературный дар Маркса отмечали даже его современники, однако этот аспект до сих пор никем серьезно не исследован. Я также (из-за объема и иных задач этой книги) не стану специально говорить о стиле Маркса, подчеркну лишь барочную роскошь его слога, живость и широту ассоциаций, олимпийскую высоту юмора и чудесную способность вдохнуть свою страсть в самые сухие цифры и самые ординарные ситуации. Его описание нищеты, оскотинивания пролетариата равнодушной алчностью капитализма периода начала промышленной революции принадлежит к наиболее ярким документальным страницам, когда-либо созданным пером человека; а его анализ политической борьбы во Франции, во время прав-

ления Луи Бонапарта, — наиболее пластичное и непосредственное воссоздание истории. За строками его сочинений слышится непрерывный гул кровопролитного боя, вызывающий в памяти жестокие битвы, описанные Гомером. В возрожденных им исторических картинах, как в трагедиях Софокла, угадываются основные параметры будущего безжалостного истребления целых цивилизаций ради одной из новых модификаций вечной мечты человечества о равенстве и братстве.

Все эти качества дарования Маркса даже сами по себе, даже в отрыве (будь подобное возможно) от того влияния, которое его идеи приобрели во всем мире, ставят его в один ряд с титанами духа всех времен и народов, позволяют рассматривать его наследие как неотъемлемую часть истории человечества, вне зависимости от того, когда и насколько его учение угаснет, утратив питавшую его почву.

Ни один из соратников и учеников Маркса не обладал ни красотой его стиля, ни его глубиной, ни, в особенности, его размахом, хотя среди них имена таких государственных деятелей, как Ленин, Мао Цзэдун, Сталин, взорвавших земной шар изнутри, сыгравших огромную роль в формировании общего облика внешнеполитических связей между всеми странами мира. Каждый из них, осознав революционное по своей сути учение Маркса, как правило, игнорировал его целостность, направляя всю свою творческую потенцию на развитие какой-либо одной из сторон учения: у Ленина — это партия и революция, у Сталина — партийный аппарат и индустриализация, у Мао Цзэдуна — искусство ведения партизанской войны и организации народных масс. Но при любых вариациях непременно присутствуют два компонента — проведение реформ, направленных на индустриализацию общества, и их осуществление посредством диктатуры.

Несколько иной, хотя и не принципиально, выглядит судьба самой марксистской идеологии и коммунизма как общественной системы. Холодная война обострила вопрос: победит ли коммунизм во всем мире или нет. Однако распад коммунизма на национальные партии, борьба за сферы влияния, которые делят между собой две коммунистические сверхдержавы, окончательно подтвердили бессмысленность самой постановки подобного вопроса. Многогранность — свойство природы человека, а коммунизм давно уже не только не удовлетворяет реальным

потребностям человека, но и далеко ушел от породившей его идеи. Ревизия теории и практики в коммунистических странах все еще совершается во имя «чистоты веры», однако тот факт, что все коммунистические режимы до сих пор присягают на верность либо коммунизму, либо марксизму-ленинизму, не должен никого вводить в заблуждение. Формы национальной жизни становятся все разнообразнее, поэтому подобные заклинания сегодня скорее признак массового отхода от незаслуживающей доверия идеологии, чем свидетельство того, что кто-то в нее все еще верит. Правда, вожди Китая продолжают декларировать победу мирового коммунизма, но только потому, что это государство находится под давлением собственных революционных установок и делает все, чтобы обманывать и себя и других, — мол, остальной мир живет по тем же законам.

Однако сегодня дальнейшая судьба марксистской идеологии и коммунизма как общественной системы весьма сомнительна. Причем сомнения эти порождены не холодной войной, не «буржуазными предрассудками» и даже не «происками империализма», как нас пытается убедить советская пропаганда. Дело здесь в распаде самой марксистской идеологии, судьба которой прямо связана с переменами внутри самого коммунистического мира, той системы, которую долгое время строили и оправдывали с помощью марксизма. Плоды этой деятельности достались тем, кто ею непосредственно занимался: слепым приверженцам марксистской догмы, народам, заданным властью политической бюрократии, борцам за свободу в условиях коммунистической системы. Теория и практика коммунизма всегда были тесно связаны. Идеология марксизма в избытке создавала софистские, утопические формулы, имеющие целью оправдание деятельности коммунистов; те же, в свою очередь, отдали слишком много сил для поддержания своей идеологии во всей ее мощи и блеске. Теперь, однако, это нездоровое, безвыходное единство разрушено, ибо коммунистическая практика все более далека от теории и все слабее монополия партийной бюрократии на хозяйство, государство и образ мысли граждан. Идеологическая, экономическая, политическая эклектика — та реальность, в которой существуют сегодня коммунистические партии и подавляемые ими общества. Но никакое общество нельзя осмыслить иначе как через его идеи и идеологические структуры, и тем

неизбежное встает вопрос: каково будущее коммунистической, то есть марксистской идеологии, что придет ей на смену?

Реалии современного мира, и прежде всего состояние коммунизма, выдвигают и перед восточноевропейскими коммунистическими партиями, и перед партиями западных стран (в последнем случае несколько иначе) проблему дальнейшей судьбы марксизма, которая имеет следующие основные аспекты: 1) возможность существования коммунизма как монолитной и монополярной идеологии; 2) омоложение и ренессанс марксизма; 3) сосуществование марксизма и иных идеологий, то есть так называемый идеологический плюрализм в коммунистических странах.

Сама жизнь уже наметила ответ на первую часть этого вопроса: международное коммунистическое движение давно поделилось по национальному принципу на локальные движения, более или менее независимые от двух мировых держав — Советского Союза и Китая. Правы те, кто полагает, что коммунизм как мощная мировая идеология под властью Сталина достиг наиболее широких масштабов, но вместе с тем обрел и свою наиболее мрачную античеловеческую, абсолютистскую форму. Попытки изменить марксизм, предпринятые после смерти Сталина — адаптированный вариант Н. С. Хрущева и догматизированный Мао Цзэдуна, — не дали существенных результатов ни в смысле расширения сферы его влияния, ни в смысле дальнейшего развития теории, поскольку само существование двух центров (московского и пекинского), которые борются за гегемонию, не могло не поставить под угрозу правоту остальных. Все новое в современном коммунистическом движении привносится в него в основном национальными коммунистическими партиями или зарождается во взаимоотношениях между ними. Единство мирового коммунистического движения сегодня невозможно, даже если предположить, что Китай и СССР найдут общий язык, или если предположить, что они почему-либо перестанут существовать как суверенные мощные государства. Более того, продолжается и отход восточноевропейских государств от СССР, и никого уже не удивит отделение Ханоя от Китая в случае, если Вьетнам объединится под его властью.

Хотя национализм, согласно завету Маркса, считается грехом всех грехов, со временем коммунизм избрал именно этот путь к власти — через национализм, усладу

его уклад, суть всех его сущностей. Проклятие и наслаждение первородного греха безграничны. Впрочем, мы уже вошли в период распада национальных моделей коммунизма (или марксизма-ленинизма), функционирующего в качестве монолитной, монопольной идеологии, основанной на национальной почве.

Это рассуждение подводит нас ко второму аспекту проблемы дальнейшей судьбы марксизма.

Кризис коммунистической идеологии, порождающий инновации в самой коммунистической системе, развивается неравномерно как в разных государствах, так и в различных областях национальной жизни. Во всех коммунистических странах, кроме Китая, Кубы, Албании и в известной мере Советского Союза, практически отсутствует подчинение сферы искусства сиюминутным партийным нуждам или каноническим общественным догмам. В таких странах, как Чехословакия, Югославия, Польша, вопросы развития марксистской философии и социологии не являются больше прерогативой партийных форумов и профессиональных партийных идеологов, этими проблемами там с большей или меньшей степенью допустимой критичности и свободы занимаются философы и ученые.

Если приоритет в борьбе с современными идеологическими стереотипами ленинизма, сталинизма и иных модификаций марксистской догмы принадлежал прежде всего писателям и другим деятелям искусства, то сегодня к этому во многом спонтанно интуитивному протесту присоединяются планомерные, продуманные, творческие усилия философов, социологов и историков. На почве догматизма сталинистского типа в Восточной Европе выросли десятки и сотни неофициальных теоретиков марксизма, одни из которых, как, скажем, Д. Лукач в Венгрии, своим острым пером проложили путь к критическому анализу самого марксизма, другие же, как, например, Л. Колаковски в Польше, К. Косик в Чехословакии, Гайо Петрович и Михайло Маркович в Югославии, пришли уже к концепции «открытого марксизма», отрицающей марксизм как монопольную идеологию, предполагая существование наряду с ним иных равноправных теорий.

Так, марксисты некоторых восточноевропейских стран, за исключением Советского Союза, где наука о марксизме, будучи полностью подчинена нуждам партийной бюрократии и диктату государства, не продвинулась дальше социальной критики сталинизма, ушли намного дальше от



концепции «национальных» моделей коммунизма, от сопротивления давлению Москвы с ее ленинским догматизмом. Однако сказанное никак не относится к представителям национальной партийной номенклатуры, которая всеми средствами игнорирует кризис правящей идеологии, дабы сохранить свое положение власть имущих. Им всегда недоставало мужества и решимости разорвать порочный круг партийной солидарности (хотя она давно уже стала мнимой) и идеологического монополизма, давно существующего только на бумаге. До настоящего времени свободомыслящей интеллигенции и демократически настроенным коммунистам демократической Чехословакии, стране культурно развитой и с богатой демократической традицией, удалось при помощи свободной печати — бельмо на глазу партийной номенклатуры всей Восточной Европы — нарушить границы дозволенного национальным коммунистическим режимом. Социализму, как таковому, это не нанесло прямого ущерба, разумеется, если не подменять это понятие абсолютной властью партийной номенклатуры. Именно она в Советском Союзе пришла в ужас от «чешской заразы», почувствовав угрозу своим имперским интересам.

Современный уровень развития Чехословакии есть более неопровержимое доказательство, чем венгерский переворот 1956 года, что движение происходит. О ренессансе марксизма говорить не приходится, напротив, налицо ослабление его идеологической монополии, которое привело к появлению различных вариантов марксизма, к рождению и существованию наряду с марксизмом иных философских концепций и систем. Так же и коммунистические партии, теряя свою «чистоту», марксистские ориентиры, революционность, становятся идеологически неоднородными и тем самым более демократическими; подчиненное же их власти общество приобретает более сложную социально-политическую структуру и демократические порядки. Поэтому мрак советского вторжения, затмивший рассвет венгерской свободы, приведший к убийству И. Надя, я не мог не пережить как личное несчастье, даже если бы и не попал тогда в тюрьму; временную же победу над темными силами в Чехословакии я пережил как надежду на личную радость, тем более сильную, что находился тогда на свободе, и вопреки тому, что у меня не было, не могло тогда быть никаких непосредственных контактов с событиями в обеих этих странах... Тот

факт, что коммунистическое движение раскололось и размежевалось, еще раз подтверждает, что и отдельные люди, и целые народы в борьбе за свободу вновь, как и всегда, обретают единство, отрекаясь от личных интересов...

Но как далеко способны продвинуться «обновители» марксизма в своей критике современного положения вещей? Каковы возможности и перспективы такого рода критики? Ответ на этот вопрос смыкается с комплексом проблем, возникающим в связи с обсуждением возможности ренессанса марксизма, которая, впрочем, обсуждается всерьез только в рамках отдельных стран, никак не выливаясь в масштабы международных дискуссий или обмена опытом, имеющих вполне факультативный характер.

То, что все усилия, направленные на так называемый ренессанс марксизма, имеют сугубо национальный характер, раскрывает истинное положение вещей. Речь идет не столько о самом марксизме, сколько о поисках выхода из духовной и экономической стагнации, в которую одна за другой впадают национальные коммунизмы. Если оценивать возможности национальных моделей коммунизма изнутри, не выходя за национальные границы, они не выглядят полностью исчерпанными — ни для западноевропейских, ни для восточноевропейских стран. Так, в итальянской и французской, а также в менее сильных коммунистических партиях на Западе развивается весьма сильный отпор догматическому марксизму в пользу демократического социализма, который по мере их освобождения от влияния коммунистических сверхдержав и от интернационалистских иллюзий все более укрепляет свои позиции. А в Югославии марксисты, объединившиеся вокруг журнала «Праксис», смогли оградить свою интеллектуальную независимость от вмешательства официальных кругов и посредством критики того марксизма, который исповедует партийная бюрократия (к слову сказать, марксизма столь же малограмотного, сколь и нетерпимого к инакомыслию), оказывают определенное влияние не только на идейный, но тем самым косвенно и на политический климат. Студенческие волнения в Польше в марте 1968 года показали, что марксизм образца партийной бюрократии Гомулки, несмотря на своё национальное происхождение, не способен более защитить партию и страну от гегемонии Москвы, и только наивные люди или

конформисты могут верить, что эта идеология добровольно откажется от привилегий, которые дает монополярная власть в политике и экономике государства.

Ренессанс марксизма, о котором грезят и которым, как правило, заняты профессора-обществоведы, в большинстве случаев является не более чем замаскированным стремлением гуманизировать и демократизировать общественные отношения внутри самого коммунизма. В этих границах подобные усилия вполне способны в зависимости от обстоятельств сыграть более или менее значимую роль в период отхода от абсолютистской власти и несвободных форм собственности. В таких случаях идеологи чаще всего возвращаются к источникам марксизма — даже к работам молодого Маркса, который, хотя и находился еще под влиянием гегелевских категорий, однако не был связан более поздними политическими и практическими потребностями движения (по сути своей догматичными), — создание общества сообразно с «подлинной», «неизвращенной» идеей утопии, по которой люди не были бы «отчуждены», поскольку не было бы ни государства, ни политики, ни товарного производства, один только реализованный принцип: «От каждого по способностям, каждому по потребностям»\*.

Для того чтобы идея «возрождения» этой идеологической, чересчур выстроенной, далекой от идеала, проникнутой абсурдом и невежеством коммунистической реальности стала более объяснимой, мы должны ближе познакомиться с ее источниками, не забывая при этом и о ее реальных перспективах. Говоря о ренессансе марксизма, сегодня все чаще ссылаются на учение Маркса об отчуждении, которое он сформулировал будучи двадцатипятилетним молодым человеком (в основном в «Экономико-философских рукописях 1844 года», опубликованных только в 1932 году), чья мысль и в особенности метод лишь проклевывались из скорлупы так называемого младогегельянства. Ведь и само понятие отчуждения Маркс воспринял через идеалистическую философию, и прежде всего, разумеется, через Гегеля, у которого основная идея развивается в процессе ее отчуждения от самой себя в различных формах — в природе, обществе и так далее. Хотя Маркс свое учение о человеческом отчуждении

---

\* Маркс Карл. Критика Готской программы. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения. Т. II. Белград, 1950.

позднее развил и обосновал в «Капитале» (в главе «Товар», а затем в разделе «Товарный фетишизм и его тайна»), старатели «возрождения» марксизма и коммунизма в большинстве случаев ссылаются на упомянутое раннее изложение Марксом этой идеи, исходящее из того, что частная собственность отчуждает работника от производимого им продукта, а тем самым — и человека от человека. Не опровергая и не подтверждая это учение, строго ограниченное рамками диалектического закона о единстве и борьбе противоположностей, вдохновленное нефальсифицированным гуманизмом, можно констатировать, что Маркс здесь, как и во многих других исходных положениях своей теории, одну из истин о человеке, а именно — неизбежность отчуждения субъекта как разумного существа от окружающего мира и людей наряду со способностью оною посредством творчества к непрестанному преодолению этого отчуждения — сводит к одному из ее исторических обликов, каковым является товарно-денежное производство. Следуя за Марксом, сторонники воскрешения безгрешного коммунизма попали в ту же диалектическую ловушку, отождествив конкретно-историческую форму с вневременным содержанием и придя к заключению, что отчуждение работника неизбежно, однако в условиях коммунизма путем устранения посредника между производителем и конечным продуктом оно способно трансформироваться в абсолютную свободу; по-видимому, полагая, что при этом можно избежать возвращения человечества к доисторическому «хозяйству» и что сам человек согласился бы с тем, что за «конечную свободу» придется заплатить не иначе как ценой отрицания своего разумного начала и исчезновением человека как вида.

Подобного рода обращение к работам молодого Маркса в действительности есть отчуждение истинного, единого учения Маркса от своего создателя. Ведь что в конечном счете останется от Маркса и коммунизма, если предположить, что возродить и обновить учение можно только посредством его же теории отчуждения — теории, столь же гуманной, сколь и утопической? Почему тогда, будучи последовательными, не вернуться к Гегелю, чья теория отчуждения более оригинальна, основательнее разработана, а возможно, и более глубока? Или к мифу о грехе прародителей? Впрочем, это уже был бы отход от материализма к идеализму и религии, от этого обновите-

ли марксизма впадают в ужас как от наибессовестнейшего из предательств. Не свидетельствуют ли подобные усилия ученых-обществоведов не столько о появлении новых тенденций в общественном сознании или каких-либо реальных потребностей в обществе, сколько об утраченных иллюзиях и о бессилии современных идеологов?

На деле вопрос о ренессансе марксизма — вопрос скорее теоретический, чем имеющий отношение к реальному развитию общества. Большинство старателей на почве возрождения марксизма вполне отдают себе в этом отчет, хотя, по-видимому, не осознавая, что осуществление этой идеи потребовало бы ни больше ни меньше, как новой коммунистической революции, гарантий положительного результата которой, даже если предположить, что в обществе наличествует сильное стремление к ней, ничуть не больше, чем в случае с уже осуществленными революциями, имеющими столь плачевные последствия.

Возможности ренессанса марксизма обозримы и ограничены той почвой национальных моделей коммунизма, которая и взрастила эту идею; национальный коммунизм способен лишь порвать с гегемонией правоверного центра, но не может изменить национальную общественную жизнь и национальную экономику в соответствии с нуждами народа и требованиями современной технологии. Таким образом, и «развитие», и «обновление» марксизма на национальной почве и в национальных масштабах не способно осуществить последовательную, действенную критику как марксистской догматики, так и самой коммунистической реальности.

Это, конечно, не означает, что некоторые из упомянутых ученых, а кое-кто из них блестяще владеет пером и способностью отстаивать свои мысли, в ходе дальнейшего распада общественных структур и изменения окружающей их действительности не пойдут дальше достигнутого и не внесут своего значительного вклада в развитие философской мысли современного общества. Но это уже будет не то общество, которое они стремятся вернуть к чистой идее и моделировать, сообразуясь с ней; и собственные их взгляды сохранят тогда от марксизма лишь то, что в нем свободно от догмы, а стало быть, прочнее остального — критическое отношение к обществу, его реалиям и мифам. В этом обществе, которое уже формируется на наших глазах, выживет и сохранится диалектика, однако не как

наука или научный метод (ибо не является ни тем ни другим), но как искусство диалога, культивируемое еще в Древней Греции, как умение честно выразить свои взгляды и мнение. Ведь мир слишком устал от догм, а его обитатели истосковались по живой жизни...

Третий аспект вопроса о дальнейшей судьбе марксизма — проблема сосуществования марксизма с иными учениями. Действительность коммунистических стран до сих пор дает негативный, но не бесполезный опыт. Незаменимое и непревзойденное как революционное учение эпохи индустриализации, в качестве всеобъемлющего мировоззрения или идеологии, марксизм проявил себя совершенно неспособным к открытому, свободному диалогу. Именно то, что марксизм считает себя всеобъемлющим, общезначимым научным методом и мировоззрением, дает ему определенные преимущества над другими революционными доктринами, однако в обычных, человеческих, нереволуционных условиях (там, где в результате революции он становится идеологией привилегированной и всемогущей власти) марксизм является помехой для существования и развития других философских теорий, свежих идей — словом, свободы мысли. Поэтому иные, новые концепции и свежие идеи, не имея иных возможностей, как правило, возникают в русле самого марксизма — как его ересь — и обретают право на жизнь благодаря минутной слабости, «великодушию» или невежеству его официальных жрецов. Так или иначе, иные учения зарождаются, и уничтожить их уже невозможно.

Свобода в условиях коммунистических режимов неминуемо означает и конец марксизма как господствующей идеологии. Подобно тому как конец монополии власти коммунистов еще не означает конца экономических и иных основ созданного ими общества, но является лишь предпосылкой его несколько более свободного развития, так и крах несостоятельной марксистской идеологии не должен и, вероятно, не будет означать крах всех концепций, теорий и идей Маркса. Идеи Маркса, как и любого другого мыслителя, обретут свое настоящее место и свою истинную ценность только при условии полного освобождения от своей идеализированной формы существования, то есть в процессе отрицания и исчезновения своей идеологии.

Один из моих молодых друзей как-то сказал, что наиболее значительной в «Новом классе» ему представляется

мысль о наступлении сумерек идеологий. Этому его наблюдению я и обязан заглавием первой части настоящей книги. Поэтому в заключение именно этой части необходимо подчеркнуть, что сумерки идеологий, и в первую очередь марксизма, как единственной действительно всемирной идеологии, не означают конца связанных с ним идей, теорий и концепций, а, напротив, являются предпосылкой их возникновения и бурного развития... В сумерках, из утраченных иллюзий, на развалинах идеологий возникает подлинная, светлая, бурная жизнь...

### 3

Если марксизм — первая идеология, распространенная действительно во всем мире, так или иначе всколыхнувшая весь род людской, — то это вместе с тем отнюдь не означает, что подобных намерений, хотя и невоплощенных, не имели философские учения прошлого.

Особенно знаменито и поучительно учение, имеющее глобальные цели, принадлежащее славному греческому философу Платону и изложенное в его «Республике». Здесь впервые в европейской философии детально разработана теория идеального государства, своеобразного (аристократического) коммунистического общества. При этом необходимо иметь в виду, что попытки Платона реализовать свое учение в Сиракузах во время правления Диона и тирана Пизистрата II потерпели настолько полный провал, что жизнь самого философа находилась под угрозой. Для учения Платона существенно важно, что руководить его государством должны философы, ибо они обладают качеством, необходимым государственным мужам, приобретаемым в учении и состоящим в приобщенности философа к абсолютным ценностям через познание устройства мироздания. Позднее Платон в «Законах», вероятно, наученный и собственным горьким опытом, молчаливо и не без сожаления отказался от идеального коммунистического общества как непригодного для нужд обычных людей. И если человечество до сего дня обращается к его «Республике», то более всего благодаря тому, что именно в этом произведении наиболее полно и гармонично изложена философия Платона.

Несмотря на то что между учениями Маркса и Платона напрашиваются некоторые поверхностные, как бы зер-

кальные аналогии (Платон выводит идеальное общество на основе знания «идей», его обществом управляют философы, более других приобщенные к трансцендентным ценностям добра; Маркс выводит идеальное общество на основе знания законов общественного развития, исходя из идеи исторической необходимости; у Платона закон олицетворяет философ; у коммунистов — партия), Маркс, видимо, не слишком ценил Платона; что же касается Ленина, то он, будучи уверен, что развитие философии есть «борьба идеализма и материализма»\*, или «борьба партий»\*\*, должно быть, испытывал инстинктивное раздражение по отношению к родоначальнику идеализма. Но ученика Платона Аристотеля Маркс ценил столь высоко, будто считал его своим далеким предшественником. И в самом деле, подобно Аристотелю, Маркс в равной степени ученый и философ. Особенно бросается в глаза их методичность и тщательность, с которой они анализируют любой предмет изучения. Существуют, однако, между ними и глубокие различия: исследуя общество, Аристотель ничего не принимает на веру, отказывается от презумпции неизбежности более совершенного общественного построения и остается в стороне от борьбы за него; в отличие от Платона и Маркса Аристотель в своей «Политике» избегает предсказаний, не предлагая никаких идеальных общественных структур, но лишь исследуя те, что имели место в реальном мире, причем делает упор, с одной стороны, на обстоятельства, обусловившие их возникновение, а с другой — на их способность исполнения своего долга — удовлетворение потребностей человека. Поэтому никому в истории человечества не пришло в голову строить общество по теории Аристотеля, хотя любой социолог или государственный деятель до сих пор находит у него и мудрость, и поучение, очевидные как в способе изложения, так и в тех выводах, к которым приходит философ.

Меня могут упрекнуть в неуместном или, во всяком случае, в преждевременном сопоставлении Маркса с двумя величайшими мыслителями античного мира. Но я не задавался целью сравнения их, по существу, они совсем разные, но и потому, что роль и величие великих людей трудно сопоставимы, ибо каждый из них велик постольку,

---

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 356.

\*\* Там же. С. 356.



поскольку ему удалось по-своему ответить на те вопросы, которые неотвратимо поставила перед ним сама жизнь.

И все-таки сравнение это не случайно, прибегнув к нему, я хотел подчеркнуть, что, хотя по мировоззрению и методу Маркс ближе к ученому-философу Аристотелю, по своим представлениям об общественном устройстве он скорее сродни Платону, который исповедовал не только рациональную метафизику и логику, но был также мистиком и утопистом. В учениях многих, если не большинства философов неизбежно присутствует стремление критиковать и улучшать общество, но никто не создал столь цельной концепции, как Платон и Маркс. Различные практические результаты общественных теорий Платона и Маркса — не только следствие исторических обстоятельств, они связаны прежде всего с различными методами исследования. Платон пришел к своему идеальному обществу через размышления, открыв в нем трансцендентальную «идею», в то время как Маркс выводит свои рассуждения из исторической закономерности, находя в ней условия для создания своего идеального бесклассового общества. Платон исходит из гипотетических идей, которые осуществляются у него сами собой, благодаря своему совершенству, по ним «формируется» материя. Идеи Маркса частично базируются на познании реальных общественных сил и производных от них отношений. Тот факт, что идеи Маркса о совершенном обществе, так же как идеальное общество Платона, не были воплощены в жизнь, но изначально были бесперспективны, никак не умаляет огромную разницу между этими общественными теориями, ибо идеи Маркса возымели последствия огромных масштабов, оказав существенное влияние на общество, хотя в ином месте и совсем иначе, чем он предполагал; а теории Платона повлияли лишь на развитие философской и религиозной мысли. Научность идей Маркса, благодаря именно тому, что она (в отличие от научности Аристотеля) имеет характер религии, прельстила и увлекла за собой сотни миллионов; в то время как идеальное государство Платона, благодаря именно тому, что строится по законам логики и метафизики, не продвинулось дальше его безуспешного сиракузского опыта. При этом атеизм и материализм Маркса имеют здесь второстепенное значение, равно как идеализм и мистика Платона. Маркс с его уверениями в неминуемости нового общества уподобляется великим пророкам, рассудочное же

проектирование нового общества Платоном никого не могло увлечь; спустя несколько столетий философия Платона (ее создателю это не могло привидеться даже во сне) помогла мыслителю раннего христианства Оригену в создании новой религии.

Как видно из приведенных сравнений и как будет показано далее, некоторые аспекты воззрений Маркса (более всего диалектика) имеют общие точки соприкосновения с идеалистическими философскими теориями, а по своей конечной цели (построение совершенного коммунистического общества) — с эсхатологией\* в религии. Поставленная Марксом конечная цель (построение идеального, то есть коммунистического общества) ближе всего утопистам Т. Мору, Т. Кампанелле, и в особенности социалистам-утопистам К. Сэн-Симону, Н. Чернышевскому, Ф. Фурье, Р. Оуэну. То же можно сказать о Марксе и анархистах М. Бакунине и других: их конечная цель аналогична, хотя у анархистов она даже более идеальна. Но Маркса от них отличает тот реалистический ракурс, под которым его учение рассматривает возможные направления, условия (как он бы сказал «закономерности») развития общества и общественных сил, которым надлежит реализовать его идеи. Цель, поставленная Марксом, отличается от религиозной лишь своей привязанностью к земной жизни человека, но по сути является религиозной, что, впрочем, подтверждается исторической практикой, доказывающей утопичность теории. Но предложенные Марксом пути к достижению этой недостижимой цели (разумеется, в иных странах, при иных условиях и иными средствами, чем те, которые он имел в виду) доказали в основном возможность своего осуществления. Иначе говоря: если бы определенные общественные силы не сделали идеи Маркса своей программой или своего рода религией, они бы не оказали на общество большего влияния, чем иные утопии, и самому Марксу как ученому и писателю было бы отведено весьма значительное место, принадлежащее ему по праву даже и без той революционной роли, которую сыграли его идеи.

Ведь приживутся ли в обществе те или иные идеи, станут ли силой, влияющей на людей и историю, зависит не от той формы, в которую они облечены, то есть от их меньшей или большей научности, но от того, насколько

---

\* Учение о конечных судьбах мира и человека.— М. Дж.

созвучны они жизненным стремлениям народа, насколько способны повести за собой те или иные общественные группы. Иначе невозможно объяснить, почему настолько разные и даже противоположные идеи (в широком смысле к ним относятся и религии) имели в истории столь переломное значение... Английская революция (1640—1649) совершалась под знаменами англиканского пуританства во имя Библии, и Кромвель с дивной простотой определил ее идейный и реальный смысл, приказав своим воинам молиться Богу, но порох держать сухим. И французские рационалисты и материалисты в своем XVIII веке, конечно же, не были менее научны, чем Маркс в XIX или Ленин в начале XX века и, без сомнения, возникшее под влиянием этих идей общество, будучи другим, ни на йоту не было более «разумным» или «просвещенным», чем предшествующее. Но Руссо, не проповедуя революции и не нападая на религиозные предрассудки, с такой страстью переживал и клеймил общественное зло, что был куда опаснее философов, ибо успешнее внедрял в человеческое сознание желание перемен. Ясно, что с появлением «Общественного договора» (имеется в виду произведение Руссо. — *М.Дж.*) рождается и своеобразная мистика, поскольку общая воля\* постулируется здесь как сам Бог. «Каждый из нас, — говорит Руссо, — отождествляет свою личность и всю ее мощь с верховным управлением общей воли, и все мы воспринимаем любого члена общества как часть невидимого целого». Этот политический организм, став суверенным, также определяется как божественный. Он имеет все атрибуты божественного. Он непогрешим. «Под властью закона разума ничего не происходит без причины. Он полностью свободен... Он неотчуждаем, неделим и, сверх всего, в перспективе способен даже разрешить глобальную теологическую проблему — противоречие божественного всеислия и невинности... Если человек от природы добр, если природа отождествляется в нем с разумом, то блеск ума он проявит только при возможности свободного и естественного высказывания. Ему и в голову не придет теперь самому совершать свой выбор, ибо все решения носятся в воздухе. Общая

---

\* «La volonté générale» — выражение Дидро, использованное Руссо, который считает, что поскольку «добро» — понятие тождественное для всех разумных существ, то идентичны и отдельные личности в обществе, а стало быть, возможно предположить, что государство может иметь единую общую волю. — *М.Дж.*

воля (Маркс сказал бы «класс», «классовый интерес». — *М.Дж.*) есть прежде всего выражение универсального разума, который категоричен (Маркс сказал бы «способ производства», который также неоспорим в своей данности. — *М.Дж.*). Новый Бог рожден...»\*

Таким образом, марксизм и коммунизм не более и не менее других идеологий и направлений философской мысли аналогичны религии, ибо конечная цель, которую они ставят перед собой, идеальна. *Mutatis mutandis* — это можно отнести и к коммунистическим революциям, и к коммунистическим системам. Им удалось осуществить только то, что позволяли общественные и исторические условия, но далеко не то, что они ставили своей целью, и в этом смысле они выражают реальное положение вещей, то есть они утопичны не более и не менее, чем все предшествующие политические системы и революции.

Это частичное, возможно, даже и мнимое сходство религии с философскими концепциями и закрытыми идеологиями (то есть марксизмом и коммунизмом) есть одновременно и преимущество, и слабость последних. Преимущество заключается в жизненно важной необходимости для смертного человека тех идеальных целей, которые провозглашаются идеологиями, этим они и прельщают массы. Но, поскольку жизнь рано или поздно доказывает неосуществимость идеальных целей, идеологии в конце концов принимают форму самообмана, становятся маской для далеко не идеальных, а уродливых и невыносимых отношений и сил, созревших внутри них. То же относится и к религиям, поскольку в той или иной степени им редко удается избежать идеологизации, хотя бы уже потому, что их проводниками являются далекие от совершенства простые смертные, находящиеся друг с другом в далеких от идеала отношениях. Но, представляя «земные», «конечные» и неэтические цели, религии на них, как правило, не настаивают, отчего и представляются более жизнестойкими, чем идеологии и философские концепции, способными пережить эпохи и общественные условия, совершенно иные, чем те, в которых они появились.

#### 4

Скромный, добродушный профессор и прекрасный человек А. Эйнштейн, который живо интересовался полити-

\* Camus Albert. *L'homme révolté*. Paris, 1951, pp. 147—148.

кой, считал себя социалистом, разумеется, демократического толка, с симпатией относился к событиям в Советском Союзе, и представить себе не мог, что его расчеты и формулы, пусть косвенно, способны поколебать доктрину, не только претендовавшую на понимание мира и происходящего в нем, не только задумавшую осчастливить человечество, но и завладевшую значительной частью земного шара.

Уже Николай Коперник своей гелиоцентрической системой начал расшатывать средневековую схоластику — и наконец свершилось... С иными знаменами, с иными персонажами, но история повторяется. Не случайно, что именно в первой стране победившего коммунизма — Советском Союзе — новое, эйнштейновское видение мира приобрело своих гонителей и своих мучеников.

Сегодня известно, что лично Сталин (через профессиональных философов и ученых, которые в приказном порядке насаждали его догмы) был инициатором разгрома теории относительности Эйнштейна. Не знающий ни современной физики, ни астрономии правящий империей диктатор благодаря инстинктивному чувству опасности угадал в относительной неоднозначности конечной картины миропорядка смертельную опасность для упрощенного взгляда на мир, основанного на четырех признаках его диалектики, а также диалектики Энгельса — Ленина, руководствуясь которыми, он смело брался управлять космосом, не говоря уже о послушном человеческом стаде.

С тех пор ситуация в этой области изменилась. Теперь в Восточной и Западной Европе днем с огнем не сыскать марксиста, который с подобной тупостью воинствующего невежества игнорировал бы теорию относительности. Поэтому сегодня всерьез оспаривать эту глупость — значит спорить с призраками. Но и в сталинское время нашлись марксисты, которые немало потрудились, чтобы обогатить теорией относительности и достижениями других наук упрощенные марксистские схемы, с трудом вмещавшие даже научное знание XIX века. Но все они были провозглашены ревизионистами, их либо заставили замолчать, либо уничтожили в концентрационных лагерях, либо казнили. Среди них косвенно оказался и Ленин: С. Маркович, один из лидеров югославских коммунистов межвоенного периода, рассказывал в 1933 году, во время пребывания в тюрьме на Аде Цыганлие, группе молодых

коммунистов, среди которых находился и я, как на одном из конгрессов Коминтерна он виделся с Лениным. Узнав, что Маркович математик, Ленин предложил ему заняться истолкованием теории относительности с точки зрения марксизма. Маркович последовал его совету и, переборов свойственный ему тогда марксистский схематизм и косность отсталого балканского окружения, осуществил, может быть, наиболее значительную из адаптаций теории Эйнштейна. Однако, поскольку он считался «правым», то позднее был арестован и погиб в Советском Союзе, причем в сегодняшней Югославии за ним не признают даже этого.

Из сказанного очевидно, насколько по-разному Ленин и Сталин относились к науке. Ленин вынужден был отстаивать свою позицию перед ее противниками как в окружающем его враждебном мире, так и в науке, ему еще приходилось доказывать свои априорные истины, в то время как Сталин уже властвовал над миром, отбрасывая или попросту уничтожая все, что не укладывалось в его схемы или не соответствовало принятым догмам. Аналогично они относились и к марксистским теоретикам. Ленин, поощряя их работу, спорил с ними, Сталин же либо делал из них интеллектуальную прислугу, либо уничтожал. Но, вопреки этой разнице, очень важной с политической и общественной точки зрения в их время и, увы, живой еще и в наше время, между ленинским и сталинским способом, между Лениным и Сталиным нет существенной разницы в миропонимании, ибо оба они пребывали в убеждении, что марксизм в сколь угодно длительной перспективе является универсальной базой для истинного понимания мира, общества и человека.

Поэтому именно сталинское изложение марксистской философии, или диалектического материализма, есть основная мишень моей книги, что, однако, нисколько не означает, что я оставил без внимания труды других великих марксистов, прежде всего самого Маркса, Энгельса и Ленина. Просто дело заключается в том, что до Сталина ни один крупный революционный марксист не брался в сжатом виде и целиком излагать марксистскую философию. Сталина привела к этому необходимость освятить свою абсолютную власть абсолютном догмы. И для нашей темы сталинское изложение марксистского мировоззрения чрезвычайно важно, ибо оно суммирует развитие коммунизма от идеи к власти. Очевидно, что после Сталина не

появился и, я убежден, уже не появится ни один значительный марксист.

Напомню, что в задачу этой книги не входит ни толкование, ни опровержение марксизма, она посвящена раскрытию тех форм насилия над человеческим сознанием, тех методов извращения человеческой личности, которые с неизбежностью возникают в обществе тотально насаждаемого марксизма. А поскольку в настоящей главе марксистское мировидение сравнивается с той картиной мира, которую рисует теория относительности, то должен добавить, что я далек от мысли как бы то ни было толковать теорию относительности (я не стал бы этого делать, даже если бы разбирался в современной физике), разве что ради ясности изложения потребуется привести некоторые цитаты из чужих трудов, специально посвященных этой проблеме.

Впрочем, время приступить непосредственно к теме этой главы.

В пику сегодняшним «спасителям» и «обновителям» «истинного», «неотчужденного» марксизма, которые со страстью обманутых, жаждущих покаяния верующих, занимаясь самобичеванием, отрещиваются от сталинской работы «О диалектическом и историческом материализме», опубликованной в 1938 году в «Истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)»\*, логика моего исследования заставляет обратиться именно к этой работе. Поскольку здесь Сталин, вопреки обычной своей безапелляционности и склонности к прикладному приземленному схематизму, излагает подлинные взгляды своих предшественников — Энгельса и Ленина, а в сущности, Маркса — на марксистское понимание материализма и диалектический метод.

Сталинское изложение марксистского материализма сводится к тому, что мир: а) материален; б) существует объективно, то есть независимо от сознания человека; в) познаваем. Сам диалектический метод он определяет как метод, позволяющий осознать, что: а) все в мире обусловлено и взаимосвязано; б) постоянно изменяется; в) изменения осуществляются «как прогрессивное движение, как движение по восходящей, как переход от старого качества в новое, как развитие от простого к сложному, от низшего

---

\* Эта работа включена во 2-й раздел 4-й главы «Краткого курса». — *Прим. пер.*

к высшему; г) причем борьба противоположностей составляет внутреннее содержание этого процесса перехода количественных изменений в качественные»\*.

Постсталинская критика упрекает Сталина в том, что он упустил важнейший аспект диалектики Энгельса—Ленина — закон отрицания отрицания, то есть закон, согласно которому развитие происходит как повторение на каждой определенной ступени предшествующих свойств, но на новой, более высокой основе. Упрек вполне бессмысленный, ибо он ничего не меняет в сути дела, равно как и тот факт, что Ленин в «Философских тетрадах» выделяет 16 элементов диалектики. Ибо проблема сводится не к количеству характеристик диалектики, не к меньшей или большей степени значимости одной из них, а к методу, как таковому, позволяющему свести многообразие природы, общества и человека к тому или иному набору «правил», «законов», «свойств», придуманных человеком.

Для меня, впрочем, бесспорно, что косвенно Сталин включил закон отрицания отрицания в свою интерпретацию марксизма, и поэтому его диалектико-материалистический метод и мировоззрение сжато можно сформулировать так: в мире, который объективно существует только как материальный и который познаваем, все взаимобусловлено, находится в постоянном прогрессивно направленном движении, осуществляемом как борьба противоположностей, обуславливающая переход количественных изменений в качественные.

Но марксизм-ленинизм не остановился на этой и без того не слишком многообразной картине мира и всего в нем сущего и мыслящего. Подобно всем учениям, превращенным в средство превозношения и защиты возведенных на престол общественных отношений и определенных привилегий, марксизм-ленинизм становился все более схематичным, вульгарным и догматичным. По сравнению со Сталиным Хрущев — лишь вульгаризатор; а Мао Цзэдун еще более фанатичный догматик, чем сам «отец народов»; во времена Хрущева под влиянием ревизионизма марксистская диалектика почти угасла, что помогло советской науке в определенной мере освободиться от колодок сталинской диалектики и лагерных методов убеждения; а Мао Цзэдун к тому времени созрел до «открытия»

---

\* История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Загреб, 1945. С. 114.



«основного закона универсума». «Марксистская философия полагает, что закон единства противоположностей — основной закон универсума. Этот закон действует универсально, будь то природа, человеческое общество или человеческое мышление»\*.

Эйнштейновская картина мира совсем иная — и к счастью для человечества не знает об «основном законе универсума». «Как убедительно показал В. Гейзенберг (имеется в виду закон неопределенности Гейзенберга. — *М. Дж.*), с эмпирической точки зрения окончательно исключен любой вывод о строго детерминированной структуре природы...»\*\* «Классическая физика ввела две субстанции: материю и энергию. Первая имеет вес, но вторая без веса. В классической физике мы имеем два закона сохранения: один для материи, другой для энергии... В соответствии с теорией относительности, нет существенной разницы между массой и энергией...»\*\*\* «Наше физическое пространство, понятое через предметы и их движение, имеет три измерения, а положения определяются тремя мерками. Момент какого-либо события — это четвертая мерка... Мир происходящего составляет четырехмерный континуум». Нет ничего таинственного в этом, а последний вывод одинаково справедлив для классической физики и для теории относительности. Разница вновь обнаруживается, когда рассматриваются в отношении друг друга две  $S$  (координатные системы. — *М. Дж.*) в движении. Место движется, а наблюдатели изнутри и снаружи определяют координаты — время-пространство тех же событий. Классический физик опять-таки разрывает четырехмерный континуум, трехмерные пространства и одномерное время. Старый физик заботился только лишь о пространственных изменениях, поскольку время для него абсолютно. Разрывание (прерывание) четырехмерного мира — континуума — на пространство и время было для него естественно и удобно. Но с точки зрения теории относительности время также изменяется, переходя с одной  $S$  на другую...\*\*\*\* «Любое событие (происшествие), которое происходит в мире, определено коор-

---

\* Quotations from Chairman Mao-Tse-Tung. Peking, 1967. P. 214.

\*\* Albert Einstein. Conceptions scientifiques, morales et sociales. Paris, 1962. P. 122.

\*\*\* Albert Einstein and Leopold Infeld. The Evolution of Physics. New-York, 1967. P. 197.

\*\*\*\* Ibid., P. 207—208.

динатами пространства  $x$ ,  $y$ ,  $z$  и координатой времени  $t$ . Так, физическое описание именно сначала четырехмерно... Четырехмерный континуум пространства не может быть разорван на время — континуум и пространство — кроме как искусственным путем... Благодаря общей теории относительности приобрела вероятность точка зрения, что континуум является бесконечным в своей временной протяженности, но конечным в своей пространственной протяженности...»\* «Пространство и время соединены в один четырехмерный континуум»\*\*. «Материя гранулярной структуры состоит из элементарных частиц, элементарных квантов материи. Так, электричество имеет гранулярную структуру, а... также и энергия. Протоны — квантовая энергия, из которой состоит свет. Свет является волной или потоком протонов? Сноп электронов является потоком элементарных частиц или волной? Эти фундаментальные вопросы заставляли физику обратиться к экспериментам. В поисках ответа на них мы должны были оставить описание атомов как движения, происходящего в пространстве и во времени, мы должны были отойти еще дальше от старых воззрений механицизма. Квантовая физика формулирует законы, которые управляют множеством, а не частностями. Описываются не свойства, а вероятности, формулируются не законы, открывающие будущность систем, а законы, управляющие переменами во время вероятностей и охватывающие огромное множество частностей»\*\*\*.

Столь обширно цитируя Эйнштейна, я вовсе не утверждаю, что эйнштейновскую картину мира следует принять как окончательную и что современные физики не ушли дальше Эйнштейна, поставив под вопрос многие положения его теории. Эйнштейн и эйнштейновская картина мира в этом моем изложении взяты как символ научных открытий, осуществленных одновременно с открытием Лениным и Сталиным их «законов диалектики».

Уже на первый взгляд очевидно несоответствие марксизма той картине мира, которую нам дает теория Эйнштейна, то есть современная наука. Правда, у них есть некоторые общие черты: объективная реальность, познаваемость и изменчивость мира. Но эти черты не являются характерной особенностью марксистской философии и

---

\* Einstein A. Space—Time—Jn.: Encyclopedia Britannica. Chicago, 1967, V, XX. P. 1070.

\*\* Ibid., P. 1071.

\*\*\* Einstein Albert and Infeld L. The Evolution of Physics. P. 297.

менее всего ее открытием. Это исходные положения любой точной науки, и их формулировки и применение мы находим уже у Аристотеля и в догматически абсолютизированном виде — у французских материалистов XVIII столетия. Отличительной чертой марксизма и собственным его открытием является гегелевская идеалистическая диалектика, «поставленная на ноги», то есть о материализованная в соответствии с достижениями современной науки, за исключением в известной мере истории и социологии, — эти открытия не подтверждаются современными сведениями об объективной реальности и тем самым и не находят своего места в современном знании о человеческом разуме.

В природе борьба противоположностей встречается только в форме человеческого размышления и переживания, то есть как человеческий и лишь в этом смысле общественный феномен. То же самое можно сказать и о «прогрессивном движении, движении по восходящей линии»: в самой природе не существует ни «высших», ни «низших» форм, это не более чем наши умозаключения о ней, выведенные из представлений человека о времени, связанные с его историческим опытом, с историей естествознания и знания человека о строении космоса, которое очевидным образом менялось, ибо пребывает в непрестанном изменении, в соответствии с теми законами, которые мы, будучи наделены мощной силой познания, постепенно познаем все глубже, но которые мы не в силах познать окончательно, ибо масштабы их безграничны, разнообразие форм реальности, частью которой, разумеется, является и сам человек, неисчислимо. Более того, ощущение, мысль, сознание, о которых Энгельс и Ленин говорят как о **«высшем продукте особым образом организованной материи»\***, — есть высшие формы и «продукт» только для самого человека и его взглядов. Если бы природа, то есть материя, была способна мыслить, она бы хорошенько посмеялась над нашей самонадеянностью, поскольку ей-то было бы хорошо известно, что мозг человека и его чувства просто и наче скомбинированы, у человека массы-энергии находятся в ином соотношении, чем у другого предмета или существа, что и обуславливает его иные возможности. Человек всегда стремился понять космос и мироздание, создать пред-

---

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 50.

ставления, отражающие уровень накопленных им знаний и опыта. Но и космос, и мироздание таковы, каковы они есть, несмотря на то, как мы их себе представляем и что о них думаем.

К этим выводам я пришел уже в 1953 году, но до сих пор у меня не было возможности изложить их публично. Во время нашей последней встречи с секретарями Союза коммунистов Югославии (Тито, Кардель и Ранкович)\* в середине января 1954 года, где обсуждался мой «идейный поворот» и вскоре после которой последовало мое исключение из членов ЦК и смещение с должности председателя Союзной скупщины, я сказал, что диалектика природы не подтверждается данными современной науки. Тито тогда быстро спросил: «Ты готов это повторить публично?» Я ответил, что готов. Сейчас я это и делаю, уверенный в том, что в такую диалектику больше не верит и сам Тито, а если и верит, то нет больше потребности ее защищать.

Эта мысль, к которой я пришел вполне самостоятельно, для Союза коммунистов Югославии была тогда несколько преждевременна, но уже задолго до меня, перед войной, к подобным выводам пришли, в частности, З. Рихтман (Югославия) и Ж. П. Сартр в своей «Критике диалектического разума». Однако сходство, почти тождественность того, что я думал о диалектике природы в 1953 году, и того, что я недавно прочел у Сартра, заставляет меня указать на наши сегодняшние расхождения во взглядах на диалектический метод в целом. Когда-то мне не хватило знаний, широты мышления, а может быть, и необходимых жизненных стимулов, чтобы полностью отказать от гегелевско-марксистского понимания диалектики развития общества и теории познания. Сартр также остановился в своем отрицании диалектичности природы на полпути, а во многом даже вернулся назад — к попыткам искусственного синтеза марксизма и собственного варианта экзистенциализма, другими словами, к политической спекуляции, построенной на «обогащении» марксизма за счет собственных теорий.

Однако критика Сартром «Диалектики природы» Энгельса, хотя и выраженная в духе немецкой философии с излишней усложненностью, настолько убедительна, что ее стоит здесь привести по возможности полнее: «... Дух

---

\* Четвертым секретарем Центрального комитета был я. — М. Дж.

видит диалектику как закон мира. Следствием этого является то, что он вновь впадает в полный догматический идеализм. Действительно, научные законы — это экспериментальные гипотезы, проверенные с помощью фактов. Вопреки этому абсолютный принцип — природа диалектична — сегодня никак нельзя доказать. Если вы заявите, что открытые учеными законы представляют известное диалектическое движение, заключенное в объектах, рассматриваемых этими законами, значит, вы не располагаете ни одним из методов, пригодных это доказать\*». Ни законы, ни «великие теории» не меняются в зависимости от способа, которым вы их рассматриваете... Мы действительно знаем, что идея диалектики вошла в Историю совсем иными путями и что Гегель и Маркс открыли и определили ее в отношениях человека с материей и во взаимных отношениях людей. Лишь позднее от потребности к объединению родилось стремление перенести принципы движения истории человека на историю природы. Поэтому утверждение, что существует диалектика природы, строится фактически на абсолютизации фактора времени, за ним идет тотализация темпоральности\*\*. Сартр исследует диалектику следующим образом:

«Но посмотрим, что утверждает Энгельс о «самых общих законах природной истории и общественной истории». Он говорит: «Мы можем их свести к трем основным законам: закон перехода количества в качество и обратно; закон единства и борьбы противоположностей; закон отрицания отрицания». «Все эти три закона развил Гегель, пользуясь своим идеалистическим методом, как простые законы познания. Заблуждение состоит в том, что эти законы пытаются навязать Природе и Истории в качестве законов познания, вместо того чтобы последние выводить из них».

---

\* Все эти опасения относятся, разумеется, только к диалектике, рассматриваемой как абстрактный и универсальный закон природы. Мы увидим, что, когда речь идет о человеческой истории, диалектика, напротив, сохраняет всю свою эвристическую ценность. Скрытая, она руководит утверждением фактов и открывается, систематизируя их, делая возможным их понимание. Это понимание ведет к открытию еще одного, нового измерения Истории и в конце концов к ее истине, ее интеллибельности. (Это примечание принадлежит Сартру. — *М. Дж.*)

\*\* Существует также внутренняя абсолютизация фактора времени как смысла Истории. Но это нечто совсем иное. — *М. Дж.*

«Неуверенность Энгельса проявляется на уровне слов, которые он употребляет: «абстрагирование» не то же самое, что «дедукция». И как можно дедуцировать универсальные законы из некоторого количества специфических законов? Это, если угодно, называется индукцией. А мы видели, что в природе на самом деле существует только одна диалектика, та, которую мы в нее привнесли. Упрекая Гегеля в том, что материал навязывает ему законы познания, Энгельс сам делает то же самое, ибо принуждает науку доказывать существование некоего диалектического разума, открытого им в общественных отношениях. Только в историческом и общественном мире, как мы увидим, действительно, речь идет о некоем диалектическом разуме; перенося его в мир природы, насильно проецируя на него другой, Энгельс отказывает диалектическому разуму в рациональности; речь больше не идет о диалектике, которую человек создает, создавая себя, и которая, в свою очередь, создает его самого, но — об одном из случайных законов, о котором можно лишь сказать: это так, а не иначе»\*.

В истории человеческой мысли трудно найти бóльшую бессмыслицу, чем марксистское учение о диалектике природы, которая бы при этом, увенчав собой марксистскую идеологию, играла бы столь большую роль в общественной борьбе. Кого-то, быть может, это заставит усомниться в возможностях человека и его разума. Пусть он утешится: человек так же, как целые человеческие общности, иным и не может быть, ибо вынужден бороться за свое существование, и здесь самыми мелкими или самыми великими становятся те верования и представления, которые якобы кратчайшей дорогой ведут к спасению и победе.

Не совсем так же, но аналогично обстоит дело с марксистским философским материализмом, который все еще сопротивляется воздействию времени и желчи, изливаемой на него еретической критикой. И связано это прежде всего с тем, что мало кто пытается оспаривать его исходные положения — экзистенциальность и объективность природы, связь познания с мозгом и органами чувств, заимствованные у французских материалистов и Л. Фейербаха и избавленные от механицизма соединением с гегелевской диалектикой. Представляется спорным и само

---

\* Сартр Ж. П. Догматическая диалектика и критическая диалектика. // «Дело», № XIII, 1966. 6 июня. Белград. С. 794—799.

марксистское определение материи, с одной стороны, как диалектической, а с другой стороны, как объективной реальности, воспринимаемой человеком исключительно посредством органов чувств. Так, Ленин вслед за Энгельсом определяет материю следующим образом: «Понятие материи ничего иного, кроме объективной реальности, данной нам в ощущении, не выражает\*». «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них»\*\*.

Уже само то, что материя наделена «диалектичностью» и это положение представлено в виде аксиомы или вечной истины, делает эту точку зрения в целом ненаучной, догматической. Кроме того, определение материи как «объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его», то есть через его органы чувств, «которая копируется, фотографируется, отражается нашими ощущениями», в силу своей упрощенности ничуть не менее ненаучно и догматично.

Философское понятие материи для Ленина, как и для всех добротных марксистов, сводится, по сути, к чувственно воспринимаемой, от чувств независимой предметности. Заметим, что это понимание не ново: стоит Энгельсу и Ленину забыть о диалектике или отвлечься от материалистического идолопоклонства, как они начинают говорить языком XVIII столетия. Впрочем, всем марксистам известно, да никто этого и не оспаривает, что марксистское понимание мира и материи есть соединение французского материализма XVIII века и гегелевской идеалистической диалектики. Именно это подчеркивает Ленин в известной работе «Три источника и три составные части марксизма»: «Но Маркс не остановился на материализме XVIII века, а двинул философию вперед. Он обогатил ее приобретениями немецкой классической философии, особенно системы Гегеля... Главное из этих приобретений — диалектика...»\*\*\*

Сегодня, когда я размышляю над этим, материализм, «обогащенный» идеалистической диалектикой Гегеля, кажется мне странным. Особенно значимым в этом смысле представляется то обстоятельство, что подобное понимание возникло, очевидно, не благодаря новым представ-

\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 283.

\*\* Там же. Т. 18. С. 131.

\*\*\* Там же. Т. 23. С. 43.

лениям о материи, то есть не на основе новых данных о ней, а вследствие каких-то иных, не научных, не философских, но общественных и политических причин. С возникновением новых общественных сил и новых общественных движений возникла потребность в создании новой идеологии, которая, подобно другим учениям об обществе, могла сформироваться лишь на основе соответствующих заимствованных у предшественников воззрений. Возможно, это несколько снижает значение Маркса как оригинального философа, но отнюдь не делает его менее великим революционером и социальным мыслителем. Совершенно естественно, что идеологизированное мировоззрение, характерное для определенных общественных групп, не может сохраниться надолго: диалектика, «святой дух» материи, покидает его с изменением исторических обстоятельств и конкретных общественных потребностей, а его «чувственно познавательные» возможности расширяются посредством новых научных знаний о самом «божестве», то есть материи.

Однако критические соображения такого рода не являются основанием для отрицания чувственной данности мира и более всего его объективности. Речь идет о другом, более новом и существенном: современная физика привела понятие материи во взаимную связь с энергией и тем самым упразднила статические представления о материи, которых придерживались Энгельс и Ленин вопреки всей своей дальновидности и пресловутой диалектичности. В XVIII веке и даже позднее определение материи еще было возможно. Но с тех пор потускнели многие определения, в том числе и определение материи. Сегодня же вряд ли найдется определение, способное вобрать в себя все разнообразие форм, всю объективную внечувственную природу материи. Ни Эйнштейн, ни кто-либо иной из великих ученых мужей не решаются, в отличие от Энгельса и Ленина, на подобные опрометчивые поступки, избегая окончательных определений, тем более что в сфере их профессиональных интересов и для той общественной роли, на которую они претендуют, это может скорее повредить, чем принести пользу. Отказавшись от единения с каким бы то ни было вечным духом, я отрекся и от обожествленной материи, хотя не отрицаю объективность мира и его познаваемость, но не могу принять ни мистико-диалектическую, ни рационально-механистическую его интерпретацию... Материя не «исчезает», как ду-



мали эмпириокритицисты или русские махисты, которых критиковал Ленин, но умножаются и меняются знания о ней: «чистой материи», то есть материи, существующей вне энергии, больше не существует в наших представлениях о ней, энергия же оказывается материальной. Даже если самые сложные приборы и вычислительные машины, дающие все новые и новые возможности постижения материального мира, понимать как усовершенствованную форму наших ощущений и нашего мозга как органа мышления, понятие материи не может быть сведено к тем данным, к тем представлениям и выводам, которые мы получаем с их помощью.

Возможности человеческого разума безграничны, он способен порой к весьма плодотворным и тонким наблюдениям, причем чувственное восприятие или, что одно и то же, инструментальные данные — не более чем необходимый фактический материал, на основе которого делаются выводы, строятся научные теории, открываются законы. Эйнштейну для создания теории относительности не понадобились ни приборы, ни лаборатории, ни научные эксперименты; он пользовался лишь карандашом, бумагой и мыслью, прибегнув к математическим вычислениям и, разумеется, пользуясь достигнутым к тому времени уровнем знаний. Теория относительности есть плод интуиции Эйнштейна, а не результат проведенных им экспериментов, и многие совершенно справедливо считают его теорию не только научной, но в не меньшей степени философской. Аналогичную двойную роль в истории современной мысли сыграли открытия Коперника, закон гравитации Ньютона, учение о происхождении видов Дарвина и экономическая теория Маркса.

Кроме того, любой современный психолог знает, что познание материи не есть простое «фотографирование», как его представлял Ленин. Материя независима от того, что люди, и в том числе Ленин, думают о ней; но мы не знаем о ней ничего, кроме того, к чему пришли благодаря достижениям науки и разума. А современный уровень человеческих знаний не только не согласуется с положениями Энгельса—Ленина, но и опровергает их. Поэтому определение материи так же изменчиво, как и представление о ней, его никогда нельзя было свести к тому, что дано человеку в его ощущениях. Понимание материи есть форма всеобъемлющего человеческого знания о мире, своего для каждой эпохи и каждого значительного мыслителя.

Рассуждения Б. Рассела на эту тему приводят его к следующим выводам:

«То, что для одного философа значительно в теории относительности, — это замена пространства и времени пространством-временем. Здравый смысл полагает, что физический мир состоит из «вещей», которые делятся (живут) в течение одного отрезка времени и которые движутся в пространстве. Философия и физика развили понятие «вещь» и понятие «материальная субстанция», полагая, что материальная субстанция состоит из частиц, которые очень малы, и каждая из них постоянно длится (живет) в течение времени. Эйнштейн на место частиц поставил события: каждое событие имеет определенное отношение к некоторому другому событию, это отношение называется «интервал», оно может разными способами анализироваться как элемент-время или элемент-пространство. Выбор одного из этих разных способов был произвольным, и с теоретической точки зрения ни один из них не мог быть предпочтен другому. Если даны два события А и Б в различных областях, может случиться, что по одной конвенции они одновременны, по другой, что А раньше, чем Б, а в соответствии с третьей, что Б раньше, чем А. Но никакие физические факты не отражают эти различные конвенции.

Из этого, по-видимому, следует, что «материал» физики составляют события, а не частицы. То, что мы считаем частицей, надо считать рядом событий. Ряд событий, который заменяет одну частицу, имеет известные важные физические свойства и поэтому требует нашего времени; но он не более материален, чем любой другой ряд событий, взятый произвольно. Следовательно, «материя» не является последним материалом, из которого состоит мир, а является лишь одним обычным способом связывания событий в группы...

В то время как физика сделала материю менее материальной, психология сделала дух менее спиритуальным. У нас была возможность в одной из предыдущих глав сравнить понятие ассоциации идей с понятием условного рефлекса. Очевидно, что этот последний имел более философский характер, чем тот, более ранний, на чье место он пришел. (Это всего лишь иллюстрация, и я не хочу преувеличивать сферу значимости условного рефлекса.) Так, с обоих концов, физика и психология приблизились друг к другу и сделали еще более возможной теорию «нейтрального монизма», которую предложил У. Джеймс

в результате своей критики «сознания». Разделение духа и материи пришло в философию из религии, хотя длительное время казалось, что оно имеет более крепкий фундамент. Я думаю, что и дух и материя — лишь подходящий способ группировки событий. Я допускаю, что некоторые отдельные события и первого и второго плана принадлежат только к материальным группам, но другие принадлежат к обеим группам, и поэтому они одновременно и духовные и материальные. Эта теория ведет к чрезмерному упрощению нашего представления о структуре мира»\*.

Узость и ненаучность определения Энгельса—Ленина, согласно которому материя «копируется, фотографируется, отражается нашими ощущениями», становится грубо очевидной, когда применяется по отношению к обществу и к человеческому мышлению. Возможно ли братья за изменение истории, если руководствоваться лишь ощущениями и тем, что они «копируют»? Разве и сам Ленин не вдохновлялся призраком нового мира, пытаясь изменить «объективную реальность»? Разве воззрения Платона, полагавшего, что познание опирается не на ощущение, но движется посредством интеллекта, для Ленина лишь пустой звук? А произведения искусства, разве они сводимы к «копированию, фотографированию, отражению» «объективной реальности»? Разве искусство могло вообще существовать, если бы придерживалось ленинских определений материи и ее «отражения»?

Нет дыма без огня. И теория отражения Энгельса—Ленина есть не что иное, как основа печально известного так называемого социалистического реализма, оболванивавшего целые поколения, силой навязанного человеческому разуму и оправдываемого авторитетом основоположников марксизма...

Однако, вопреки всему этому, человек может гордиться своими познаниями о природе, даже и в том случае, когда мы подсовываем ей «законы», насилуя ее своими схемами. Хотя гегелевско-марксистская диалектика и механистический марксистский материализм ни на йоту не продвинули человеческий разум к познанию сути природы, они, будучи вдохновителями и основателями революционной идеологии, сыграли эпохальную роль в изменении сознания современного общества, а тем самым и мировых отношений.

---

\* Рассел Б. История западной философии. Белград, 1962. С. 794—795.

Диалектика и материализм имели при этом функцию «символа веры», но никак не философской или научной истины.

Для существования религии и веры, особенно в периоды подъема, совпадение с научной истиной вовсе не является решающим фактором, они могут даже вступать с ней в открытое столкновение — христианство победило, хотя не совпадало с научными и философскими концепциями античности. Общее положение вещей существенно не меняется и от того, пытается ли какая-либо идеология или религия доказать свою научность или она сама собой разумеется. И гитлеровский расизм пользовался научными «доказательствами» и «теориями», а Топич убедительно доказал, что на основе «гегелевской идеи в Германии сформировалось авторитарное, антилиберальное и антидемократическое учение о власти, которое, продолжая непрерывную традицию, восходит к прошлому веку и в вильгельмовскую эпоху пользуется большим влиянием; ее значение для подготовки кадров и службы гитлеровскому режиму мы не смеем недооценивать»\*.

Идеология и наука, являясь обязательными и неотъемлемыми формами человеческого бытия, различны как по объекту исследования (в первом случае — борьба с собратями, во втором — с природой), так и по мировоззрению и методологии (в первом случае они преимущественно иррациональны и идеальны, во втором — рациональны и прагматичны). Возникнув во время революционных научных открытий, которые не только изменили представления человека о природе, но и условия его жизни, идеология марксизма могла быть осмыслена и принята общественным сознанием лишь как «наука», то есть в качестве философии, «основанной на научных достижениях», тем более что ее творец Маркс являл в себе и революционера, и основателя науки об обществе. Всеобщее заблуждение всех, в том числе социалистических, религиозных и утопических учений, стремящихся открыть беднейшим слоям населения и поработанным народам пути выхода из нужды и унижения, вскормило «научность» теории Маркса, способствовало той роли новой, разумеется, научной веры, которую она взяла на себя. Еще Гераклит подметил, что природа ускользает, пряча свою

---

\* Topitsch E. Die sozialphilosophie Hegels als Heislehre und Herrschaftsziologie. Berlin, 1967, s. 63, цитирую по: Книжевне новине. Белград, 13 апреля 1968, XX, № 325. С. 9.

суть, мы же могли бы добавить — особенно когда вмешивается человек и его дела. В исторической перспективе марксистская философия представляется как форма рационалистической мистики.

## 5

Несмотря на различную природу и задачи идеологии и науки, нельзя избежать вопроса — почему в коммунистическом движении никто не попытался установить очевидное, вопиющее несоответствие между той картиной мира, которую дает современная физика, и той, которую бесцеремонно навязывают коммунистические вожди и догматики? Вопрос тем более неизбежен, что подобное положение дел характерно и для других точных наук (не говоря уже об общественных науках, но об этом речь во второй части книги).

Достаточно вспомнить борьбу с генетикой, во главе которой стоял сталинский протеже Лысенко, хотя досталось и другим менее «экзотическим» по тем временам областям знания, ибо в прокрустовом ложе идеологизированной диалектики было слишком тесно. И это оскотление науки идет параллельно с еще более грубым вмешательством бюрократов от коммунизма в сферу современного искусства. Здесь они присваивают себе роль верховных жрецов, в арсенале которых бесстыдные клеветнические кампании и запреты.

Конечно, в период своего возникновения марксизм находился не в столь очевидном противоречии с научными воззрениями на структуру мироздания и развитие общества и человека: на фоне открытий И. Канта и П. С. Лапласа в области эволюции и динамики Солнечной системы и Земли, теории эволюции органического мира и происхождения видов Ж. Б. Ламарка и Ч. Р. Дарвина; достижений французских материалистов, доказавших первичность и объективность материи; контовской и дочерних теорий о прогрессе общества; гегелевского понимания истории как борьбы противоположностей; Французской буржуазной революции с ее теорией классово́й борьбы О. Минье; и, наконец, последнее, но не менее важное — на фоне интенсивного формирования пролетариата марксистское положение о всеобщем движении, причем движении по восходящей, казалось неопровержимым. Более

того, в тот период имелись вполне убедительные доказательства не только тому, что мир объективен и материален, но и тому, что мир именно таков, каким «дан» человеку в его ощущениях, и борьба противоположностей — источник его движения. Духовная атмосфера большей части XVIII и XIX века определялась верой в человеческий разум, прогресс и свободу. Благоприятную почву для развития подобных воззрений создавал процесс формирования пролетариата и связанных с ним социально-политических движений. Упомянутые здесь лишь вскользь, эти факторы имели решающее значение для возникновения и успешного развития диалектического материализма.

Однако зрелый марксизм, став целостной, претендующей на универсальность теорией, или, точнее, идеологией, перестает интересоваться достижениями науки даже в той мере, в какой он это делал вначале, а о высокой критичности, которая была свойственна самому Марксу, несмотря на его пристрастие к диалектике и материализму, и говорить не приходится. Маркс никогда не пытался придать своим взглядам форму законченной, цельной философской системы. Все его работы так или иначе посвящены конкретным областям знаний, имеют вполне конкретную тематику, базируются на анализе тогдашних исторических событий. Не существует ни одного чисто философского сочинения Маркса. Если он обращался к точным наукам, это было, как правило, по ходу и в связи с рассуждениями о том или ином научном открытии, имевшем непосредственное отношение к развитию общества или общественным теориям. Я не хочу утверждать, что Энгельс и ученики Маркса исказили его взгляды, однако вряд ли случаен тот факт, что сам Маркс не стал их систематизировать. Марксу достало мудрости и научной прозорливости, чтобы в своих обобщениях не отрываться от конкретно исторических реалий и от собственной теории общественного развития. Разумеется, отчасти это обедняло созданную им картину действительности и саму науку, однако зато не превратило их в абстрактные рассуждения об «абсолютной» истине.

Если пока нет и, по-видимому, уже никогда не будет полной ясности в вопросе о том, почему после средневековой схоластики вновь нежданно вернулось догматизированное понимание мира и человеческого духа, но проследить, как это случилось, сколько и каких систематиза-

торов марксизма пытались в свое время вступить в противоречие с наукой, особого труда не представляет.

Обратимся лишь к самому необходимому материалу, нацеленному исключительно на освещение поставленной проблемы.

Первую систематизацию марксизма предпринял друг и ближайший помощник Маркса Энгельс в своей работе «Анти-Дюринг», произведении, которое Маркс прочел и не случайно одобрил, ибо само появление подобной работы, по собственному признанию Энгельса, было продиктовано партийными нуждами. Энгельс пишет: «Когда три года тому назад г. Дюринг, в качестве адепта социализма и одновременно его реформатора, внезапно бросил вызов своему веку, мои друзья в Германии стали обращаться ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я критически осветил новую социалистическую теорию в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии — «Volksstaat». Они считали это крайне необходимым, чтобы не дать молодой и только недавно окончательно объединившейся партии нового повода к сектантскому расколу и к замешательству»\*.

Так сам кодификатор коммунистической идеологии — кстати, изобретение термина «коммунистическая идеология» принадлежит именно ему\*\* — подтверждает тот вывод, к которому приходишь по размышлении о природе, корнях и причинах коммунистической, да и любой иной идеологии: коммунистическая идеология возникла не как результат научных усилий, а как ответ на определенный социальный, политический, партийный заказ и лишь позднее сервирована под науку, то есть оформлена как научное мировоззрение. Так с «Анти-Дюрингом» Энгельса родилась догма, необходимая социалистическому движению и партии, а вместе с ней началось замалчивание и удушение любой последовательно беспристрастной научной мысли. И, чтобы представление об этой «науке» было по возможности полным, добавим — ни один из известных марксистских теоретиков и толкователей не был ученым: если марксисты брались за перо, пытаясь изложить те или иные положения марксизма или соединить свою «науку» с другими науками, то руководствовались они, как правило, сиюминутными внутрипартийными соображени-

---

\* Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., Госполитиздат, 1948. С. 5.

\*\* Там же. С. 5.

ями и никогда соображениями сугубо теоретического характера. С тех пор и по сей день любое добросовестное или даже любое квазинаучное рассмотрение теории подчинено прикладным, текущим задачам партии, вернее, правящей в ней фракции. При таком положении вещей хранителями чистоты теории часто становятся люди скудных знаний или просто недостаточно грамотные (к примеру, Тодор Живков в сегодняшней Болгарии или Гомулка в Польше), что неминуемо ведет к вульгаризации подлинного марксизма, к разочарованию и отходу от него лучших людей движения. Догма слилась с властью, соответственно вождь становился ее верховным проповедником, подобно калифу или султану в исламе. Да и сам Энгельс, чье обширное, хотя зачастую недостаточно систематизированное знание культуры неоспоримо, в тот период, когда он писал «Анти-Дюринг» и делал наброски к «Диалектике природы» (семидесятые годы XIX века), был не слишком осведомлен о последних значительных открытиях в области физики и других наук, о том же, чтобы их точно интерпретировать, и говорить не приходится...

С развитием социалистического движения за Энгельсом последовали десятки теоретиков в разных странах мира: К. Каутский, Р. Люксембург, Ф. Меринг в Германии, П. Лафарг и Ж. Жорес во Франции, Г. В. Плеханов и В. И. Ленин в России, А. Лабриола в Италии, Ф. Адлер в Австрии, Д. Благоев в Болгарии и другие, среди которых были и талантливые лидеры, и талантливые полемисты, и квалифицированные интерпретаторы какой-либо из отдельных областей знания, но ни одного, кто внес бы существенный вклад в собственно теорию. Исключения из правила единичны. Среди теоретиков, признанных историей, — на Западе Э. Бернштейн с его отрицанием неизбежности краха капитализма и анализом реформы как способа мирного развития капитализма; а на Востоке — В. И. Ленин с его теорией и практикой революционной партии и борьбы. Небезынтересно в этой связи подчеркнуть, что в Британии теория социализма сформировалась в основном на почве немарксистского Фабианского общества, в Соединенных Штатах Америки социалистическое движение уже давно практически отсутствует, хотя в этих странах наиболее развитый пролетариат. Следовательно, марксизм не является всесильной социалистической теорией, а рабочий класс отнюдь не всегда воспринимает социалистические идеи.



Хотя в своем понимании реальности и ревизионисты революционно-диалектической стороны учения Маркса не слишком преуспели, здесь нас прежде всего будут интересовать представители догматического коммунизма, те, кто остался ему верен, поскольку он до сих пор присутствует в общественных и международных отношениях и в качестве хорошо организованной силы, и как идеология.

Наиболее значительные среди них Ленин, Сталин и Мао Цзэдун.

Когда в 1908 году Ленин опубликовал «Материализм и эмпириокритицизм», единственное значительное из его законченных произведений, претендующих на философское осмысление мира, теория относительности Эйнштейна, увидевшая свет в 1905 году, была едва известна как спорная теория, к тому же в основном узкому кругу специалистов. Поэтому Ленина нельзя слишком винить в том, что она не стала тогда предметом его внимания. Но Ленин был интеллектуально активен вплоть до 1922 года (скончавшись в 1924 году), однако ни в одной из своих многочисленных работ, полных высказываний относительно диалектики и материализма, он ни разу не касается теории кванта и теории относительности, не упоминает имен М. Планка и Н. Бора и только дважды вскользь упоминает имя А. Эйнштейна, полемизируя в 1922 году с «модными» европейскими философами, которые стремятся уцепиться за Эйнштейна\*. В «Материализме и эмпириокритицизме», а также в своих более поздних философских экскурсах Ленин защищает философские взгляды Маркса, и в особенности Энгельса, никак их существенно не меняя, и, причем знаменательно, — при этом он стоит на точке зрения классической (ньютонической) физики о самостоятельности и самодостаточности времени и пространства, о трехмерности пространства и т. п. Обладая острым пронизательным умом, он не мог не уловить, что открытия современной физики и их теоретическое осмысление не согласуются с его диалектическими схемами, и большей частью поэтому неоднократно говорит о «кризисе современной физики»... Насколько это его утверждение оказалось верным, иллюстрируют слова известного физика и мыслителя нашего времени Р. Оппенгеймера о том, что после второй мировой войны в науке сделано больше крупных открытий, чем во всей истории человечества, что

---

\* Ленин В. И. Собр. соч. Изд. 4-е., М., 1950, Т. 33. С. 202.

не могло не сказаться на изменении представлений о мире и человеке. По сути, это было свидетельством краха схем, которые Ленин не мог или не смел обнаружить, ибо это поставило бы под угрозу идейную основу дела всей его жизни, лишив ее оправдания. С жаром и уверенностью, вызывающими восхищение, он доказывает несоответствие взглядов ряда сомневающихся или скептически настроенных авторов с цитатами из Маркса и Энгельса и в этом поистине преуспевает, хотя это не прибавило ничего существенного к марксистской картине мира. Он слишком часто высмеивает «философствующих физиков», хотя его роль, роль философа, претендующего на обобщения в области физики, куда менее завидна. Справедливости ради необходимо, однако, отметить, что Ленин не был физиком, не имел и помощников среди специалистов и поэтому, будучи перегружен множеством других обязанностей, не успевал вникнуть в физические проблемы. Другое дело его преемники, у которых и времени было с избытком, и специалистов, однако они повторяли, по существу, то, что было уже сказано Энгельсом и Лениным, не переставая вплоть до сегодняшнего дня, заглушая самих себя, кричать, что Ленин, мол, гениально обобщил достижения современных наук!

О философских взглядах Сталина сказано достаточно, что касается взглядов Мао Цзэдуна, то они, насколько мне известно, оригинальны лишь в вопросах, касающихся ведения партизанской войны, в остальном их отличает еще больший схематизм и безапелляционность, сравнимая разве что с ленинской.

И таким образом, философия марксизма, возникшая в середине и систематизированная в семидесятые годы девятнадцатого столетия, с тех пор, по сути, не изменилась, в то время как современная наука шла вперед. Того, на что надеялся Энгельс, не произошло: «...С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественно-исторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму»\*. Да и не могло произойти. Даже если бы материализм не обратился в теорию борьбы за власть, а затем — в правящую догму, марксистский материализм был слишком задавлен своей заимствованной у

---

\* Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. Белград, 1950. Т. 2. С. 361.

Гегеля диалектической формой, чтобы воспринимать научные достижения.

Неужели, несмотря на невозможность привести основные положения марксистского материализма в соответствие с наукой, в марксистском движении не нашлось здоровых скептиков и одновременно людей, близких к науке, чтобы заявить об этой невозможности? Такие люди, разумеется, были, но они предпочитали обманывать самих себя, им затыкали рот; вера была сильнее фактов, а потребности повседневной жизни затмевали истину. Разве в коммунистических странах не было ученых-немарксистов, все видевших и понимавших, которые бы раскрыли это несоответствие? Разумеется, и были, и видели, и понимали, но они оставались в стороне и, более того, как правило, присягали на верность догме, декларируя верность вождю — величайшему из мудрых, чтобы тем самым избежать гонений, выжить и иметь возможность творить в своих далеких от политики и потому более долговечных и порядочных, чем политика, сферах деятельности. Ведь ученые тоже люди, которые живут на зарплату, в условиях реального общества; они так же, как политики, слишком часто говорят о совести, но делают, как правило, не более того, что возможно. Со временем сложилась общепринятая форма, маркирующая соответствие научных теорий марксистско-ленинской догме, — в научных докладах обязательно восхвалялись «гениальные вожди» и их «мудрое руководство», а статьи и книги пестрели цитатами из произведений классиков марксизма-ленинизма (Маркса, Энгельса, Ленина, Мао Цзэдуна) и непременно стоящего в данный момент у власти национального вождя, — таков ритуал, необходимый для того, чтобы мысль и работа ученого получили разрешение на публикацию или выступление перед аудиторией.

Поистине кажется невероятным почему, вопреки столь очевидным и все возрастающим разночтениям между точными науками и идеологией, марксизм смог не только удержаться на плаву, но, более того, окрепнуть и укрепить вдохновленное им движение. Объяснение этого или любого иного «абсурда» в истории человечества безгранично обширно, ибо даже анализ общественных явлений сколь угодно далекого прошлого, претендующий на полную научную объективность, неизбежно включает в себя взгляды исследователя; плюс к тому развитие отдельных

наций и человечества в целом постоянно добавляет новые факты и новые идеи для осмысления и тем не менее я полагаю, что в случае с марксизмом решающую роль сыграла жизненная необходимость в нем тех классов и народа, которые вследствие «исторической несправедливости» оказались в безвыходной, смертельной нищете. Пророков и пророчества порождает отчаяние. Обреченным на рабство и гибель не важно, сколь истинна та или иная картина мира с точки зрения науки и здравого смысла, главное, дает ли она надежду, открывает ли перспективу улучшения жизни. Поэтому гораздо важнее сохранить верность учению, способному указать угнетенным нациям и бесправному человеку путь в светлое будущее, нежели сопоставлять это учение с научными представлениями о мироздании.

Сама мысль о чем-то подобном кажется кощунством, ведь в сфере общественных отношений, когда дело касается кризисов и конфликтов, затрагивающих интересы целых государственных структур и общественных организаций, скажем, в России или Югославии, марксизм давал четкие ориентиры тем, кто боролся за идеалы нового мира. Это вопрос веры, а не научной истины. Вспомним ответ Гегеля на упрек, что де его схемы противоречат фактам: «Тем хуже для фактов», — сказал он. Помнится, как мы, будучи ведущими коммунистическими лидерами, и в мыслях не допускали каких-либо сомнений по отношению к марксистским установкам. Любое сомнение воспринималось как «ревизионизм» или «происки врага». Мы рассуждали так: нет нужды, что реальность не совпадает с марксистской теорией, важно, что эта теория ведет прямо к поставленной цели. Демоническая гениальность Сталина в том, что он понял — коммунисты вопреки голосу своей человеческой совести поддержат и его ложь, и его преступления, ибо таковы необходимые средства достижения власти и господства над людьми, а жертвы на этом пути неизбежны. Начавшиеся в 1936 году в Москве процессы над троцкистами заронили сомнения и в мою душу. Но я убедил себя в справедливости предъявленных им обвинений, иначе я просто не смог бы остаться в рядах участников движения, которому были отданы все силы, с которым меня связывали многие годы борьбы, лишений, скитаний по тюрьмам. Поэтому я заглушил свои нравственные сомнения, когда в 1936 году по молчанию Тито, вернувшегося из Москвы, заключил, что в этих процессах

все не так гладко, как кажется, не так, как должно быть. Под давлением априорных истин факты отступали; борьба за общее дело и соображения личной партийной карьеры вынуждали забыть о порядочности, подменяя ее этическими ценностями так называемого высшего порядка.

Коммунизм не религия, и подобные сравнения некорректны, однако абсурдность его победы заставляет вспомнить о податливости римских рабов и населения римских колоний, воспринявших веру в Сына Божьего Искупителя и его воскресение, в то время как римские патриции, воспитанные в духе рационалистического научного стоицизма, считали это наивностью. Мне могут возразить, что христианство в отличие от современных идеологий привнесло в мир идею равенства и любви — идею общности человеческих судеб. Да, это так. Но если не в нашу эпоху, то сколько раз в прошлом христианство становилось источником распри и ненависти, не находя в себе сил обуздать их. Разве в наше время самые безрассудные, мрачные силы нацизма, ввергнув в безумие и позор одну из наиболее цивилизованных наций мира, не превратили в руины Европу, не принесли смерть миллионам представителей рода человеческого? А разве сегодня под иными знаменами и лозунгами не прячут свою личину бесы насилия, беззакония, рабства и смерти?

Время, исторические условия и природа человека делали свое дело: ненаучность диалектики проявлялась в том, что коммунисты в борьбе за монополию власти все очевиднее сползали к догме, одновременно все яснее осознавая реальное положение вещей. Наиболее убежденные догматики, авторы «самых научных» концепций, являются в то же время наиболее вдохновенными строителями коммунизма. Так, Ленин, будучи значительно более догматичным, чем Энгельс, был способен в конкретно-исторических условиях, сложившихся в период революции в России, на более острый, глубокий и безошибочный анализ. То же справедливо и по отношению к Сталину. Мао Цзэдун, самый фанатичный из них приверженец догмы, оказался и наиболее прозорливым реалистом, трезво оценившим характерные особенности национальной судьбы Китая, сделавшим ставку на вырождение догмы и ее носителей, на природную склонность человеческого существа к конформизму и личной выгоде. Думается даже, что этот бездушный, имеющий характер са-

моуничтожения реализм коммунистов тем сильнее, чем более правоверны, безгрешны и фанатичны его носители по отношению к догме. Абсолютистская догма, обладая безмерной сопротивляемостью реалиям бытия, одновременно формирует внутри себя механизмы, приспособления к ним, чтобы выжить и победить. Таким образом, приверженцы коммунистической идеи во имя им лишь «открытой» конечной цели исторического развития общества и жизни отдельного человека сознательно, планомерно и не зная сомнений, низводят все многообразие общественных отношений и неисчерпаемость личности к своим выхолощенным схемам, причем делают это столь жестоко и бездушно, настолько не щадят никого, в том числе и самих себя, что складывается впечатление, будто они заняты неодушевленными объектами предметного мира. Основоположники догмы и великие творцы коммунизма — Энгельс, Ленин, Сталин и Мао Цзэдун в строгом смысле слова догматиками не являются. Они кажутся догматиками постольку, поскольку оцениваются с точки зрения условий сегодняшнего дня. А ведь пока люди, пока окружающая их жизнь подчиняются догме, она воспринимается как откровение, как последнее слово науки. Пока догма не потеряла способности оправдывать поначалу священную борьбу, затем власть и связанные с ней привилегии, она для своих приверженцев не является догмой. Поворот происходит тогда, когда появление современных технологий, изменения экономических, политических и прочих условий вынуждают коммунистические системы бороться за существование, становясь духовно более открытыми, подталкивают их к «предательству идеалов» и «ревизионизму».

История человечества знает немало примеров такого рода эволюции революционных движений. Коммунизм отличается от них только тем, что претендует на научность своей теории, искренне полагая, что имеет отношение к науке. Впрочем, такова была его дань времени, форма, навязанная историческими условиями, иллюзия, которой он должен был стать, чтобы выжить.

## 6

Как мы пытались показать, искаженный, вымышленный облик диалектического материализма раньше других отразило зеркало естественных наук, и в первую очередь

теоретической физики. Но и сами по себе эти науки не могли раскрыть его во всей полноте до тех пор, пока не сложилась благоприятная общественная ситуация, до тех самых пор, пока коммунисты не столкнулись с необходимостью признания научной истины. Так, Советский Союз в конце сталинского правления оказался в смешной ситуации: он производил атомные бомбы и одновременно отрицал теорию относительности Эйнштейна, в которой содержится «основное уравнение атомной энергии»\* и которая есть «лишь одна из составных значительно более широкого толкования действительности»\*\*. Советские студенты не могли не изучать эйнштейновскую физику, ибо другой физики сегодня не существует, а советские ученые, среди которых немало плодотворно работающих глубоких исследователей, вынуждены были краснеть перед своими западными коллегами из-за примитивности официально признанных в их стране пропагандистских философских установок. Но агония есть агония. И тот факт, что Китай все еще пытается объяснить все в мире, в том числе и себя самого, посредством собственного (маоистского) варианта марксизма и при этом достиг успехов в выращивании арбузов и производстве атомных бомб, благодаря тому же «всесильному» и «всезнающему» учению Мао Цзедуна, говорит лишь о том, что в этой стране до сих пор есть силы, которые ради того, чтобы сохранить для себя место под солнцем, а для своей страны — положение мировой сверхдержавы, не гнушаются даже такими кажущимися сегодня карикатурными пропагандистскими приемами.

Во всяком случае, мне представляется, что последовательное изложение того, как менялся в Советском Союзе взгляд на Эйнштейна и его теорию, может оказаться поучительным.

При этом, справедливости ради, необходимо сразу оговориться, что среди ученых Советского Союза теория относительности встретила значительно меньший отпор, чем в других странах; но идеология и, соответственно, послушные ей либо ослепленные ею ученые стремились опровергнуть ту картину мира, которая открылась и которая неотъемлема от ее математического и физического аспекта. Это тупое противостояние продолжалось до смерти Сталина, а в иной, несколько смягченной форме

---

\* Гласстон С. Атомная энергия. Белград, 1954. С. 67.

\*\* Там же. С. 83.

продолжается до наших дней, несмотря на то, что положение, в котором оказались в связи с этим советские идеологи, смешно и абсолютно бессмысленно.

Сравнивая трактовки этой проблемы в периоды правления Сталина и Хрущева, приведенные в одном из наиболее авторитетных советских изданий, легко увидеть, что изменилось и что осталось по-прежнему в легко мимикрирующих взглядах советских марксистов.

Так писали об Эйнштейне в 1933 году: «Философская позиция Эйнштейна не отличается последовательностью. Материалистические и диалектические взгляды переплетаются с положениями махизма\*, которые преобладают почти во всех философских выступлениях Э. (Эйнштейна. — М.Дж.) ... занимает позицию либерального демократизма. Не скрывал своих симпатий к СССР, он являлся одним из членов Общества друзей СССР»\*\*.

О нем же, в 1957 году: «Философские взгляды Эйнштейна никогда не высказывались им в сколько-нибудь последовательной форме... Труды Эйнштейна сохраняют свое глубоко прогрессивное научное значение независимо от тех или иных высказываний такого рода»\*\*\*.

Как видим, если в 1932 и 1933 годах «философские взгляды» и «позиция» Эйнштейна открыто критикуются как находящиеся под влиянием махизма, то в 1957 и 1960 годах упоминается лишь, что Эйнштейн никогда не излагал свои взгляды в последовательной форме. Тем не менее общее отношение к философским взглядам Эйнштейна, точнее, к его размышлениям о мире, высказанное в связи с теорией относительности и по ходу каких-либо иных научных изысканий, стало более мягким и терпимым, хотя подозрительность по отношению к философским воззрениям Эйнштейна как не вполне «ясным», по-

---

\* Выражение, идущее от фамилии Эрнста Маха, австрийского физика и философа, чья критика ньютоновского наследия проложила дорогу теории относительности Эйнштейна, а также была одним из источников логического позитивизма так называемого венского круга. Э. Маха и русских «махистов» особенно остро критиковал Ленин в своем «Материализме и эмпириокритицизме» с позиций догматического энгельсовского диалектического материализма; «махизм» для советских идеологов, даже если они не знакомы с его положениями, и по сей день есть квинтэссенция и символ «идеалистической», то есть враждебной духовной отравы.

\*\* Большая Советская Энциклопедия. Изд. 1-е. М., 1933. Т. 63. С. 154.

\*\*\* Там же. Изд. 2-е. М., 1957. Т. 48. С. 343.



видимому, неискоренима. Эйнштейну-философу в работах советских идеологов не удалось подняться выше уровня чудака-либерала, годного разве что для представительства в каком-нибудь из обществ дружбы с Советским Союзом.

О теории относительности в 1932 году: «Глубокую критику этих взглядов (имеется в виду взгляд Ньютона на пространство и время. — *М.Дж.*) дал Энгельс, который разоблачил метафизические взгляды Ньютона. Энгельс, анализируя понятия движения, указывает: «Движение отдельного тела не существует, существует только относительное движение»\*. Ведь любое движение, а особенно механическое, есть взаимодействие тел. Так же метафизическая абстракция — это представление об абсолютном, не связанном с материей в движении, пространстве и времени. Пространство и время — это формы существования материи в движении и не существуют отдельно, независимо от материи. В связи с этим Энгельс пишет: «Разумеется, обе формы существования материи (пространство и время. — *Ред.*) вне материи не представляют собой ничего, кроме пустого понятия, абстракцию, которая существует только в нашей голове»\*\*. «Эта теория (т.е. теория относительности. — *М.Дж.*) представляет собой шаг вперед в развитии физики. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что ломка старых представлений о пространстве и времени в теории относительности использована реакционной буржуазной философией, особенно махизмом и ему подобными субъективно-идеалистическими направлениями. Этому до некоторой степени содействовали некоторые физики и особенно сам творец теории относительности Эйнштейн. Так, Эйнштейн неоднократно представлял свои открытия как развитие идей Э. Маха о пространстве и времени... Столь же необоснованно думать, что анализ пространства-времени, который предпринял Эйнштейн, окончательный и исчерпывающий. Необходим критический материалистический анализ теории относительности и существующих в литературе концепций»\*\*\*.

О теории относительности в 1955 году: «Теория относительности есть физическая теория пространства и вре-

\* Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 393.

\*\* Там же. С. 356.

\*\*\* Большая Советская Энциклопедия. Изд. 1-е. М., 1933: Т. 33. С. 616—617.

мени, и с ней тесно связаны такие основные физические понятия, как движение, масса, энергия и др.; поэтому ее общие выводы имеют философское значение и ее понимание невозможно без должного философского анализа ее основ. Пространство и время суть формы существования материи, и это означает, что пространственные и временные отношения существуют не сами по себе в чистом виде, а определяются материальными связями предметов и явлений. Соответственно, общие законы этих отношений, свойства пространства и времени представляют законы и свойства общей структуры материальных связей предметов и явлений. Поэтому познание свойств пространства и времени развивается в зависимости от познания свойств самой материи. Если теория пространства и времени классической физики исходила прежде всего из свойств и отношений твердых тел, то теория относительности возникла на почве исследования электромагнитных процессов... Таким образом, в основе теории относительности лежат новые выводы об общих свойствах материальных связей, взаимодействии физических явлений. Уже этим самым возникновение и развитие теории относительности служили подтверждением учения диалектического материализма о пространстве и времени как формах существования материи... Диалектический материализм учит, что пространство и время суть формы существования материи. «В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени»\*.

Поэтому можно также сказать, что теория относительности есть учение о пространственно-временных отношениях движущейся материи... Важнейшими теоретико-познавательными выводами теории относительности являются: 1) подтверждение учения диалектического материализма о пространстве и времени как формах существования материи... 5) теория относительности, установив связи пространства и времени, структуры пространства-времени и материи и т.д., подтверждает тем самым учение диалектического материализма о взаимной связи и обусловленности всех сторон материальной действительности. Поставив конкретные проблемы диалектики содержания и формы, конкретного и абстрактного, абсолютного и относительного, свойств и их относительных проявлений,

---

\* Ленин В.И. Собр. соч. Изд. 4-е. Т. 14. С. 162.

теория относительности подтверждает положение Энгельса, что естествознание есть пробный камень диалектики»<sup>\*</sup>.

При Сталине даже физическая сторона теории относительности воспринималась сдержанно и критически («необоснованно думать, что анализ пространства-времени, который проделал Эйнштейн, есть нечто окончательное и исчерпывающее. Нужен критический, материалистический анализ теории относительности»); весь гнев московских громовержцев направлялся тогда на «буржуазных реакционных философов» и на самого Эйнштейна, который «помог» им «использовать» ломку старых представлений о пространстве и времени в своих целях.

При Хрущеве исчезают и сдержанность и критическое отношение к теории относительности, опущено, по-видимому, на всякий случай, любое упоминание о каком бы то ни было использовании теории относительности, а тем самым сняты все упреки по отношению к философским взглядам Эйнштейна. Все это, безусловно, свидетельствует о значительных переменах, об освобождении науки от тисков догматических установок. Однако в большей степени — это уступки, сделанные поневоле, нежели возвращение к истинно беспристрастной научной линии. Как и в тридцатые годы, остается стремление заставить «общие выводы» теории относительности работать на «подтверждение положений диалектического материализма», с той лишь разницей, что при Хрущеве (очевидно, в связи с принятым курсом на возвращение к наследию Ленина) в качестве доказательства вместо цитаты из Энгельса дается цитата из Ленина. Само это доказательство не более чем некое вполне произвольное, путаное построение или сознательный обман. Упоминание о так называемой «глубокой критике» Энгельсом взглядов Ньютона и прежде всего ссылка на энгельсовское высказывание о существовании лишь относительного движения призваны были дать понять, что Энгельс ни больше ни меньше, как предтеча Эйнштейна! Однако общность мысли Энгельса и теории Эйнштейна только в прилагательном «относительный». Энгельс выделяет банальный факт, что движение одного тела всегда происходит относительно некоего другого тела; а в теории относительности — как было показано выше — речь идет об упразднении разли-

---

\* Большая Советская Энциклопедия. Изд. 2-е. М., 1955. Т. 31. С. 405, 411, 412.

чия между массой и энергией, об открытии четвертого измерения, о соединении пространства и времени в пространство-время, об относительности времени при переходе в другую систему координат и так далее.

Что означает, черт побери, это глубокомысленное энгельсовско-ленинское утверждение, что время и пространство есть формы существования материи? Да ничего, кроме того, что не существует материи, которая бы не простиралась и не длилась! Очень старо и слишком банально. Но разум коммуниста смущает и поражает это — «формы существования», ведь звучит по-научному глубоко, и главное — так по-гегелевски! Не более убедительны попытки втиснуть теорию Эйнштейна в колодки цитат из произведений Ленина. Вот характерный пример. Некий советский теоретик ссылается на мысль Ленина (из разряда вечных мыслей, что звучат столь глубокомысленно): «Материя... не может двигаться иначе, как в пространстве и времени», и добавляет от себя: «Следовательно, можно сказать, что теория относительности — учение о пространственно-временных отношениях материи в движении». Где исследовательская логика, ум и простая порядочность? И какая графоманская, велеречивая путаница: «Свойства пространства и времени представляют собой законы и свойства общей структуры материальных связей предметов и явлений...!» Какое счастье, что советская наука и советский народ не принимают во внимание подобные аргументы подобных горе-мыслителей!

## 7

Достаточно знающий и вдумчивый исследователь даже по тем разночтениям, которые имеются в трактовке диалектического материализма известных догматиков и практиков коммунизма, мог бы угадать зачатки его сегодняшнего краха. Впрочем, форсированные усилия втиснуть достижения современной науки в диалектические колодки отнюдь не новый и не единственный признак кризиса марксистского мировоззрения. В сущности, причины кризиса марксизма зачаты вместе с теорией. И Маркс, сколько бы он ни полагал себя ученым (а в сфере общественных отношений он, в известной мере, действительно ученый), изменить природу своего интеллекта (как, впрочем, и любого другого) не мог. Речь идет о способности

интеллекта реализовываться в реальной действительности, то есть в его случае, приспособившая свою теорию к потребностям рабочего движения. Маркс не мог избежать систематизации своих взглядов, иначе они не были бы доступны для понимания, а тем более приняты как программа действий. Сознание того, что любая всеобъемлющая философская система заведомо несовершенно, он в конце концов принес в жертву стремлению к осуществлению собственных идей — нуждам социалистического движения. Хотя Маркс — многосторонне одаренная личность и разделить в нем революционера и ученого невозможно, однако деятельность свою он начинал как революционер и как таковой в науке искал оправдания своей вере. Иначе говоря, все шло по обычной схеме: подобно тому как большинство, лишь вступив в ряды коммунистов, приступает к изучению теории коммунизма, Маркс лишь после того, как стал коммунистом, принялся за создание своего учения. Таким он оставался всю жизнь, до смерти, последовавшей в 1883 году, — революционером, который в Британском музее ищет доказательства объективных законов, способных оправдать и его пророческий бред и его деяния, беспредельно масштабные в своем стремлении к окончательному освобождению человека от насилия и эксплуатации. Такая цель не могла не подчинить себе средства, какими бы научными они ни были. Будущий кризис марксизма — позволим и мы себе воспользоваться диалектической терминологией — предопределен его кликой, происхождением и целями.

Дальнейший ход событий довольно быстро привел к становлению и укреплению догмы внутри социалистического движения, к ослаблению ее научности и все более необузданной нетерпимости: Энгельс систематизирует взгляды Маркса, оформляет учение — философию социалистических партий; затем Ленин обогащает эту философию теорией революции и новой власти, а в качестве средства осуществления предлагает революционную партию нового типа; Сталин же сводит философию марксизма к ряду установочных положений, ставших основой духовного порабощения народов. Страх, царивший внутри самой партии, необозримая пропасть, образовавшаяся со временем между наукой и диалектикой, между практикой коммунизма и его коммунистическими теориями, вынудили сегодняшних восточноевропейских лидеров не только отказаться от диалектики, но использовать марксизм-

ленинизм в качестве средства внутрипартийной борьбы или в качестве разменной монеты на идеологических торгах. Своих великих учителей они вспоминают лишь в дни особых торжеств или когда возникает необходимость мобилизовать так называемых «простых» людей на борьбу против «чуждых воззрений». При этом бросается в глаза, как коммунистические партии, обретая самостоятельность, начинают избавляться от второй части термина «марксизм-ленинизм», которая сегодня вряд ли имеет иное назначение, кроме обозначения идейного протектората Москвы. Корреспондент «Нью-Йорк таймс» Ц. Л. Сулцбергер, посетив Тито в середине мая 1968 года, отметил, что тот не употребляет больше слова «ленинизм», пользуясь только словом «марксизм», а чешский коммунист Ч. Цисарж решительно заявил, вызвав гнев и испуг правдинских идеологов: «Невозможно принять некоторые негативные аспекты стремления объявить опыт советских коммунистов в качестве единственно возможного направления марксистской политики, а также попытки использовать ленинизм в качестве единственно возможной интерпретации марксизма»\*.

Отказ от концепции Сталина, а в настоящее время и от ленинского толкования марксизма, по существу, есть отказ от Маркса и марксизма. Все это, с одной стороны, позволяет Мао Цзэду считать восточноевропейских, итальянских и французских коммунистических лидеров ренегатами, а с другой — учесть советские ошибки в построении «бесклассового общества» и, объявив войну партийной бюрократии, возвести марксизм в сочетании с собственными воззрениями на уровень новой религии.

Мне справедливо возразят, мол, то, что я подвергаю критике, — лишь одна из сторон марксизма, одна из его особенностей, лишь штрих в целостном портрете, как принято теперь утверждать в кругу растерянной и обреченной восточноевропейской партийной элиты, — сталинское извращение марксизма. Однако никто не способен оспорить тот факт, что Маркс и марксизм реализовались только в своей догматической авторитарной ипостаси, чудовищным апогеем которой стал сталинизм с его структурой власти и экономикой. Бесспорно и то, что прочие черты марксизма, имеющие гуманистический, демократический, внеидеологический характер, сохранились лишь

---

\* Политика, Белград, 1968. 16 июня. С. 2.

как прокисшие иллюзии в сознании еретиков от коммунизма, пригодные, быть может, для прикрытия границ узкодогматического мирка, но неприемлемые и не работающие в качестве стимула для осмысления или жизнедеятельности социалистических отношений. И те, кто, подобно профессору П. Враницкому в Югославии\*, упрекает меня в отождествлении коммунизма и сталинизма, обнаруживают лишь несмелость собственной мысли, неспособность продвинуться чуть дальше того уровня критики по отношению к Сталину, который был достигнут при Тито, Хрущеве и других. Подобная теоретическая позиция порождает лишь попытки подлакировать послесталинскую коммунистическую реальность («рабочее самоуправление» Тито, «общенародное государство» Хрущева или «научно обоснованное руководство» Брежнева), обнаруживает стремление вернуть социализм на путь истинный. Кризис сталинизма, прежде всего потому, что это кризис практики коммунизма и лишь затем его теории, есть не что иное, как кризис коммунизма вкупе с марксизмом — его идеологией. И тот, кто этого не понимает, не способен или попросту не желает ни понять смысл и глубину кризиса сегодняшнего коммунизма, ни искать выходы из него.

Недоверчивость ученого или недостаток времени помешали Марксу облечь свои воззрения и веру в форму философской системы, но он не только не препятствует в этом Энгельсу, но, напротив, поощряет его усилия (выслушав «Анти-Дюринг», собственноручно дописывает десятую главу). Ничего удивительного! Догматичность материализма Маркса в сочетании с диалектичностью его воззрений есть костяк и душа всей системы. Разве не он записывает в наиболее зрелом и научном из своих произведений: «Поэтому я публично признал, что я ученик этого великого мыслителя (т.е. Гегеля. — *М.Дж.*), и я в главе о теории стоимости там-сям кокетничал с его способом выражения. Мистификация, которую диалектика преподносит руками Гегеля, ничуть не опровергает тот факт, что он первый обширно и сознательно выявил общие формы ее движения»\*\*. «В самом деле, намного легче путем анализа найти ядро религиозных туманностей, чем, наоборот,

---

\* Вранички Предраг. История марксизма. Загреб, 1961. С. 572.

\*\* Маркс Карл. Капитал. 1. Белград, 1967. Т. 1. С. LIV.

на основе конкретных, реальных обстоятельств жизни вывести их религиозные идеализированные формы. А этот последний метод является единственно материалистическим, следовательно, научным»\*. При буквальном подходе к его наследию философия и идеология Маркса остаются недосказанными, но выводятся они только и еще раз только из Маркса. Именно этой его недосказанностью пользуются сегодня «спасители» и «обновители» марксизма, предлагая взамен «энгельсовской» и «ленинской» «улучшенный» вариант марксистской идеологии, а вместе с тем и более последовательный — более эгалитарный и более догматический вариант социализма. Но, к счастью, все это происходит лишь в воспаленном воображении немногочисленных групп молодежи, удрученной тем обстоятельством, что столь вожделенная мечта о всеобщем братстве и равенстве — коммунизм — неосуществима. К какому же абсурду в результате усилий множества людей и печально сложившихся обстоятельств мы пришли: «обновители» Маркса доказывают, что марксистская идеология не принадлежит Марксу, я же вынужден доказывать, что Маркс был диалектическим материалистом!

Создававшаяся как «научная», философия марксизма затем со все возрастающей безапелляционностью настаивает на своей научности, ссылаясь при этом на «новейшие» достижения науки, стремясь подогнать их под идеологические колодки диалектики.

И по сути дела ничего не меняется от того, что Энгельс, придерживаясь высказывания Маркса о том, что «философы... лишь различным образом объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы изменить его»\*\*, сознавая всю сложность и разнообразие природы, открытую уже наукой, доказывал: «Но это понимание (имеется в виду марксистский исторический материализм. — *М. Дж.*) означает конец философии в области истории, так же как диалектическое понимание природы делает любую философию природы ненужной и невозможной. Теперь нигде речь не идет о том, что связь явлений выдумывается из головы, но о том, чтобы обнаруживать ее в фактах. Для философии, изгнанной из природы и истории, остается лишь царство чистого разума, если таковое еще существует: наука о

---

\* Маркс К. Капитал. 1. Белград, 1967. Т. 1. С. 298.

\*\* Маркс К. Тезисы о Фейербахе. В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. Белград, 1950. Т. 1. С. 393.



законах самого процесса познания, логика и диалектика»\*. И далее: «Как только любой науке предъявляется требование ясно определить свое место в общем порядке вещей и познание вещей, любая наука об этой общей целостности становится излишней. И единственное, что остается самостоятельным из всей философии прошлого, это наука о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное отходит к позитивной науке о природе и истории»\*\*. Таким образом Энгельс и себя и других заманивал в западную научности.

Ведь и эта позиция Энгельса, и соответственно Маркса, порождена научной атмосферой того времени: многие мыслители и ученые (например, Э. Геккель), да и сам материалистический предтеча Маркса Людвиг Фейербах, а до него Поль Анри Гольбах пришли к пониманию необоснованности какой бы то ни было всеобъемлющей философской системы. Впрочем, одно дело сказать, а другое — сделать: Энгельс не испытывал желания, да и не был способен подойти с этой меркой к учению своего друга Маркса, поскольку тогда им пришлось бы отказаться от идеологического старшинства в социалистическом движении, а тем самым и от роли в истории. И не случайно Энгельс вводит в жизнь новые термины. Не случайны дальнейшее «кобобщение» или схематизация учения Маркса, осуществленные впоследствии в революционной России. Плеханову принадлежит термин «диалектический материализм», чьи «законы» Ленин возведет в ранг новой веры, во имя которой Сталин уничтожит миллионы людей, так называемых чуждых элементов, и сотни тысяч так называемых уклонистов. Так посредством «немецкой» схемы и «русского» мистицизма марксистская философия обретает свою форму и название — «диалектический, исторический материализм»: название само по себе вполне абсурдно, ибо вторая его часть означает лишь адаптацию первого к истории человечества, в то время как первый строится на предположении, что любое явление исторично. Оставив без внимания прочие философские системы, Энгельс присвоил себе и Марксу создание философской теории, все новации которой сводились практически к тому, что диалектика там была поставлена рядом с логикой.

---

\* Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. Белград, 1950. Т. II. С. 388—389.

\*\* Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Белград, 1953. С. 33.

Эта проблема марксизма до сего дня осталась непроясненной. Считает ли Энгельс диалектику еще одной, наряду с логикой, наукой о человеческом мышлении? Не есть ли это некая новая диалектическая логика? Над этими вопросами ломали голову многие марксисты, чаще всего отвечая в том роде, что формальная логика — детище Аристотеля — продолжает оставаться наукой о формах мышления, в то время как диалектика занята более общими понятиями, являясь наукой о законах, «общих» для мышления, природы и общества, то есть «отраженных» мышлением. «Ведь диалектика есть не что иное, как наука об общих законах движения и развития природы человеческого общества и мышления»\*. Подобно тому как он отделил от природы гегелевскую диалектику, чтобы ввести туда собственную, Энгельс из незавершенного здания философии Маркса изгнал прочие философии, чтобы навсегда поселить там собственную, ставшую и ее откровением, и ее проклятием.

Впрочем, после Маркса и Энгельса никому до сих пор не удалось и вряд ли удастся обогатить понимание диалектики, этой так называемой науки, хотя бы одной новой чертой, да и после Гегеля тоже, поскольку последний использует ее в качестве научного метода мышления, основанного на природе индивида\*\*. То же можно сказать и о марксистском понимании материи, которое остановилось на уровне XVIII века — на Дидро и Гольбахе. Опубликованы сотни тысяч книг, в которых всевозможные теоретики и проповедники вот уже целое столетие муссируют эти темы и которые не прибавили ничего нового к пониманию материи, логики Аристотеля и гегелевской диалектики, кроме разве что некоторого упрощения проблемы. Не оправдались надежды и на дальнейшее развитие материалистической диалектики. Понимание материи углубили ученые-идеалисты, формальную логику обогатили «буржуазные» философы (философская школа логического анализа во главе с Б. Расселом, Л. Витгенштейном и Д. Э. Муром).

Именно так должно было случиться, и прежде всего потому, что воззрения Маркса были оформлены в философскую систему (диалектический материализм), и ого-

---

\* Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Белград, 1953. С. 167.

\*\* Энциклопедия философских наук. Москва—Ленинград, 1929. § 10 и 81. С. 27—28; 135—136.

ворка Энгельса, что «она вообще не является больше философией, это лишь миропонимание, которое нуждается в доказательствах и подтверждении (Энгельс заранее уверен, что доказательства найдутся! — М. Дж.) посредством естественных наук, а не некоей отдельной наукой всех наук»\*, ничего существенно не меняет. Именно так должно было случиться, ибо социалистические рабочие движения, активными участниками которых были Маркс и Энгельс (они же — основатели Международного товарищества рабочих, так называемого Первого Интернационала), как искусители рабочего класса периода технической революции в целях дальнейшей борьбы нуждались в идеологии, которую могла дать лишь новая научная философия.

На это мне могут справедливо возразить, что марксизм не принадлежит к точным наукам, он есть, мол, наука об обществе и основанное на ней руководство к действию и, как таковой, неизбежно подвержен переменам, ошибкам, влияниям времени. Согласен! Однако хватит тогда нести вздор и долдонить о диалектике как о науке, о марксизме как о научном мировоззрении, об открытых Марксом законах развития общества как о чем-то окончательном и неизменном и, наконец, о построении на основе этой «науки», этих «научных взглядов», этих «законов» нового общества. Ведь, поистине, надо быть педантом-буквоедом или изворотливым схоластом, чтобы глядеть разницу между «миропониманием» и «философией», даже если не касаться проблемы диалектики, которая, впрочем, неотделима от марксистского миропонимания. Ведь не только люди образованные, но и ученики начальной школы не воспринимают марксизм иначе, чем особую философию, хотя представители послезенгельсовской плеяды основоположников марксизма сравнительно редко пользовались этим определением, чаще прибегая к таким словосочетаниям, как «марксистский философский материализм», «марксистский диалектический метод», «диалектический материализм» (Ленин и Сталин), «марксистская философия», «комплексная система пролетарской идеологии» (Мао Цзэдун). Но как ни назови и миропонимание, и метод, бесспорно, что даже приведенные выше марксистские определения не обозначают ничего, кроме особой, философской системы. А то, что марксисты неохотно пользуются словом «философия» для обозначения

---

\* Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Белград, 1953. С. 164.

ния совокупности своих взглядов, объясняется известным опасением, что подобное определение вскроет изначальную меру ненаучности, которую они в своих взглядах не могут или не смеют видеть.

С исторической точки зрения марксизм есть философская система, несмотря на марксистское сообщение о конце философии как «науки всех наук». После Гегеля в отдельных и даже во многих областях знания появились выдающиеся философы-мыслители, но не было ни одного, кто ставил бы перед собой задачу сформулировать универсальные законы, то есть законы, охватывающие в равной мере природу, общество и человеческое мышление. Никого из философов послегегелевского периода нельзя назвать творцом целостной, законченной системы: Ф. Ницше скорее — трагический, отвлеченно мыслящий поэт, чем философ; У. Джеймс отвергает философию, сводя ценность любого философского акта к его прагматичности; предметом тонкого анализа А. Бергсона становится биология и искусство; в то время как Б. Рассел, занятый исследованием процесса познания, размышляет об обществе. И только марксизм становится завершенной, замкнутой, со временем все более герметичной философской системой, ибо, все более смыкаясь с потребностями борьбы за власть, отождествляется наконец с самой властью. И в этом его слабость как философской системы: догматизируясь, марксизм все более настороженно относится к науке, достижения которой его невольно опровергают; вдохновленное же им движение, подстрекаемое посулами безграничных горизонтов, сегодня все решительнее отрывается как от него, так и от реальной действительности.

Для нас, однако, особенно значимо, что коммунисты для определения целостности своих взглядов (политических или философских) вместо определения «марксистская философия», «диалектический материализм» охотнее пользуются словом «идеология» и производными от него — «социалистическая идеология», «коммунистическая идеология», «пролетарская идеология», «идеологические взгляды», «идеологическая работа», «идеологический поворот» и так далее.

Поучительно, как возникло и развивалось понятие «идеология». Сам термин изобрел А.Л.К. Дестют де Траси в 1796 году для обозначения науки об идеях, затем его популяризировал Наполеон, саркастически назвав группу

вокруг Дестюта де Траси «идеологами», потом им воспользовались Маркс и Энгельс, определив так сферу общественных идей — «мораль, религия, метафизика и прочая идеология»\*, и, наконец, Маркс подвел под него «юридические, религиозные, художественные или философские, словом... идеологические формы»\*\*.

Подобное значение термину «идеология» Маркс придал исходя из своих социальных воззрений, согласно которым духовная «надстройка» общества обусловлена его материальным «базисом». «Способ производства материальной жизни обуславливает процесс социальной, политической и духовной жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»\*\*\*. А поскольку «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов»\*\*\*\*, то следует вывод: «Мысли правящего класса — это правящие мысли в любую эпоху, т.е. класс, являющийся правящей материальной силой общества, одновременно есть его правящая духовная сила»\*\*\*\*\*.

Вряд ли Маркс, обратившись к термину «идеология», чтобы обозначить сферу духовной деятельности правящего класса, прежде всего буржуазии, имел целью создать идеологию угнетенного класса, то есть пролетариата. Это за него сделали Энгельс и продолжатели дела Маркса, выработав, в сущности, идеологию партии. А любая идеология, как считал Маркс, является групповой, классовой, а следовательно и ненаучной. Идеология, по Марксу, есть искаженное сознание: «Сознание есть не что иное, как сознательное существо, а бытие людей есть процесс их реальной жизни. Если во всякой идеологии люди и их отношения перевернуты с ног на голову, подобно сатанга *obscura*, то этот феномен столь же обусловлен историческим процессом их жизни, сколь перевернутость изображения предметов на сетчатке глаза обусловлена физическими закономерностями жизни»\*\*\*\*\*.

\* Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Белград, 1964. Т. 1. С. 23.

\*\* Маркс К. К критике политической экономии. В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. Белград, 1949. Т. 1. С. 338.

\*\*\* Там же.

\*\*\*\* Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Белград, 1948. С. 15.

\*\*\*\*\* Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология, В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. Белград, 1949. Т. 1. С. 17.

\*\*\*\*\* Маркс К. и Энгельс Ф. Ранние труды. Загреб, 1953. С. 293.

Но что толку в этой юношеской, гегельянской, путаной недосказанности Маркса, если его взгляды, его материализм и его гегелевская диалектика были и остались стержнем и основой «пролетарской» партийной идеологии? Ведь если идеология — это духовная общность определенного класса, группы, прослойки и т.п., то ее не может создать ни один человек, ни даже группа людей, она может возникнуть лишь в результате более или менее спонтанно развивающегося процесса. Однако выстроить учение, разработать программы действий, тактику — словом, идеологию определенного движения — возможно, и с этой задачей и Маркс и марксизм вполне справились. Стремясь к научности, заложив основы научной социологии, Маркс не мог, ибо был одновременно и борцом за общественные идеалы, и фантазером, отказаться от построения новой идеологии.

Со временем смысл термина «идеология» несколько изменился: наряду с коммунистической действительностью менялись и философские воззрения, не обрывая, впрочем, внутренней связи с марксизмом. Сегодня термин «идеология» обозначает не то, что подразумевал Маркс — формы духовной активности определенного класса, — а то общее, что должно быть у всех этих форм — политические и философские установки. Коммунистические теоретики вполне отдают себе отчет в том, что термины «философия» и «идеология» генетически не тождественны, и их слишком очевидная склонность ко второму из них отнюдь не случайна: даже те коммунисты, кто затрудняется определить точно значение термина «идеология», безошибочно его угадывают, ведь «идейное единство» — одна из форм их существования, а «идейность» и «идеологическая борьба» — формы их духовного руководства обществом. Более того, то же или аналогичное содержание термина «идеология» от коммунистов переняли и их противники; таким образом, народы всего мира расколоты под воздействием личных идеологий, и всевозможные идеологи усердно их водят за нос, обещая ошастливить.

Не следует также забывать, что до недавних пор коммунизм был и до сих пор еще остается единственной идеологией, имеющей распространение во всем мире. По существу, он сразу стал мировой идеологией, ибо провозгласил себя программой действий пролетариата и угнетенных народов мира, а марксизм — единственно науч-

ным, а следовательно, универсальным мировоззрением и одновременно методом познания законов природы, человеческого мышления, и, прежде всего, законов становления и развития общества, где марксизм совершил невиданный исторический переворот.

Марксизм, бесспорно, единственная философия в истории человеческого общества, которая стала теоретической основой и каркасом идеологии в том смысле, который этот термин приобрел в настоящее время — определенная система взглядов и идей, а также программа социальной деятельности приверженцев данной идеологии, распространенная, а точнее сказать, насаждаемая во всех сферах духовной жизни общества. И определенное сходство общественной значимости научного коммунизма или коммунистической идеологии с христианством эпохи средневековья, с исламом, с конфуцианством в Китае или с брахманизмом в Индии не должно нас ввести в заблуждение, ибо между ними имеются и существенные различия. Ведь несмотря на то, что определенные общественно-политические группы, по-разному интерпретируя религиозные учения, издавна приспособливают их под свои цели, одну и ту же веру исповедуют многие, в том числе и антагонистические группы общества, и религии без каких бы то ни было изменений переживают века. Однако коммунистические идеологи приложили немало усилий, чтобы не потерять своего духовного превосходства. Провозгласив «научную» неизбежность исчезновения определенных общественных групп и присвоив себе право ликвидировать все классовые различия, они, ничтоже сумняшеся, присвоили себе монопольное право на толкование и производство идей.

Да и могло ли быть иначе, коль скоро коммунисты полагают, что управляющие миром и людьми законы материалистической диалектики открыты лишь им одним? Могут ли коммунисты мыслить и поступать иначе, будучи уверены, что призваны высшей силой, которую они называют исторической необходимостью, создать рай на этой грешной земле, населенной слабыми человеческими существами? Так, Лютер верил, что безгрешному человеку не нужны законы, а Кальвин же хотел силой создать такого человека. Коммунисты правы только, если предположить, что безгрешное, «бесклассовое» общество возможно, если предположить, что им удалось проникнуть в суть законов развития общества и истории и на их основе

упорядочить жизнь общества. А может быть, к лучшему, что невозможны ни безгрешный человек Лютера, ни совершенное коммунистическое общество. С грешными людьми и несовершенными общественными отношениями, по крайней мере, можно быть уверенным, что мы не погрязнем в догматической мертвечине, не помрем со скуки, не загубим в себе человека творческого...

## СВОБОДА И СОБСТВЕННОСТЬ

### 1

«...В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной степени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче — от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об



отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созревают материальные условия их существования в недрах старого. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления. В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов; но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества»\*.

Так гласит знаменитейший отрывок, в котором Маркс изложил свой взгляд на общество и историю человечества.

Для всех марксистов этот отрывок — вершина приложения диалектического материализма к человеческой истории, образец формулирования материализма исторического. Мало того. Можно сказать даже, что мы имеем дело с самым выдающимся, как говорят марксисты, «научным открытием» или, так скажут прочие смертные, — со стержнем общественной философии Маркса: во вся-

---

\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1959. Т. 13. С. 6—8.

ком случае, речь идет о точке зрения, повлиявшей и продолжающей влиять на людей с такой силой, конкурировать с которой способен единственно глубинный смысл учений основоположников великих мировых религий — Будды, Христа и Магомета.

Приведенный отрывок, точка зрения, в нем высказанная, задали немало мук и мне, пытавшемуся в умственных потугах освободиться от схемы марксистского взгляда на общество; страдания усугублялись тем, что от разрыва с подобным образом мышления или от окончательного утверждения в нем во многом зависело и мое личное постоянство при отстаивании собственных идей. Рискаю прослыть «мистиком» в глазах большинства прокоммунистически настроенных читателей, добавлю все же, что слабости вышеизложенной точки зрения Маркса я долго нащупывал нутром, но никак не мог выразить их рационально, пока во время одной из прогулок «откровение» наконец не снизошло на меня. Теперь, в безмерно однообразной череде одинаковых дней и ночей, я позабыл год и время года, когда это случилось, не помню, была ли та прогулка утренней или вечерней. Знаю только, что погода менялась, и облака, проносясь с запада на восток, оставляли за собой борозды светлой сини. Я мерил шагами кусочек земли за бывшей тюремной церковью, превратившейся при новом режиме в Дом культуры, под «пятью липами», как называл я это в порядке импровизации выделенное мне и упомянутой уже группе стариков «шаталище», которое другие осужденные в своих потайных шептаниях окрестили «прогулкой Джиласа». Сдавленный горечью, ожесточенный, я еще только приближался к тому, чтобы выплыть из мути тяжкого, принудительного ночного или предвечернего сна-забытья, как вдруг для меня сделалось совершенно ясным, неоспоримым скорее по ощущению, чем по разумному обоснованию, следующее: общество и личность, а тем более мышление, не только не зависят исключительно от материальных сил, но и невозможно раз и навсегда найти меру этой зависимости, ибо должно ей быть постоянно разной во всякой реальности, которая сама собой конкретна и выражена действием изменчивых, живых сил; разной и в каждом отдельном человеке потому уже, что он не просто живое, но и разумное творческое создание. Да и это «сознательное», идеологическое «построение» определенного общества, во что впряглись или верят, что впряглись, коммунисты, разве не противоречит

Марксу, утверждавшему, что «способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»? Разве сам коммунистический строй не является грубейшим противопоставлением Марксу, когда «юридическая и политическая надстройка» определяют «производственные отношения», «экономическую структуру общества»? И какие, наконец, материальные условия или материальные причины заставили конкретно меня сорваться с удобных высот власти в темную пропасть отшельнической заброшенности и тюремных унижений, позволить, чтобы тоталитарная власть всей своей твердокаменностью обрушилась на мою голову, и вынудили под старость драить полы в камерах и выскабливать вонючие сортиры?..

Но ни на миг — увлеченный ли процессом осознания, позже, при холодном анализе, либо сейчас вот, в этом размеренном, взвешенном изложении, — ни единого разу не склонился я к выводу, что упомянутое воззрение Маркса следует полностью и бесповоротно отбросить. Напротив, его «рациональное зерно», то есть осознание значимости экономического фактора для общества и общественной мысли, относится к наиболее фундаментальным достижениям человеческого разума, не вызывающим возражений и у ученых, с Марксом не согласных, и лежащим в основе всякой действительной политики: тут люди искони были марксистами, так же как логически мыслили и до силлогизмов Аристотеля; а разница вся в том, что сегодня люди, кроме прочего, — в курсе своей «экономичности», как после Аристотеля знают они о логичности своего мышления. Можно было бы добавить еще, что все беды коммунистов и людские беды от коммунистов происходят не из властолюбия последних, а из того, что они, вопреки Марксу и собственным лучшим намерениям, кроили экономику и общественные отношения в угоду своим идеям, конечно, «научным», да промахнулись. А промахнулись они здесь потому именно, что в конечном итоге экономические силы оказались необоримыми, а человеческие существа неизменными вопреки всей присущей им податливости принуждению и насилию.

С Марксом, по существу, произошло то же, что и с другими великими мыслителями: раскрыв одну истину — зависимость человека от экономики, он сделал ее единственной истиной о человеке. Сознвая статичность всякой формулы, он формулирования избегал, но

одновременно ему — априори убежденному в неопровержимой и исключительной научности собственных взглядов и трудов — знания об обществе, извлеченные из истории, а также из жизни европейского, большей частью английского общества первой половины — середины девятнадцатого века, представлялись открытием законов, действующих с «неотвратимостью некоего естественного процесса».

Испокон веку поэтам и мудрецам ведомо: царства переходящи, а человек обречен пребывать в трудах и борениях. Историческими же и иными изысканиями раскрыто, что с тех самых пор, как люди почувствовали недостаточность девственной природы и естественных своих первобытных, кровным родством сцепленных общин, все общества длились во времени и к новым формам — новым неизбежностям существования — приходили через столкновение различных противостоящих классовых, кастовых, сословных и прочих сил, на что поднимали их, пленяя воображение плодами успеха, идеи — религиозные, философские и всякие другие. При Марксе подобные выводы подтверждались не угасшим еще брожением, взметнувшим бурю Французской революции, живой памятью об этой величайшей, многограннейшей революции в наиболее могущественной и цивилизованной тогда нации, а углубляло их неумолимое, все грубее оголявшееся деление едва нарожденного индустриального европейского общества на хозяев средств производства — капиталистов и хозяев рабочей силы — пролетариев. Не приемлющая границ в поисках истины, провидческая, но диалектикой и научностью замороженная мысль Маркса в открытиях и новых верованиях шла дальше: он открыл, что все общества разрушались и возникали в результате борьбы за новые отношения в производстве, но целую прошлую историю человечества обобщил как историю классовой борьбы; открыл гибель цивилизаций, но обобщил это как прогресс; открыл производительные силы (средства производства + люди, умеющие трудиться) в качестве движущей материальной силы, но обобщил их как основу всех общественных устремлений и мысли человеческой; открыл, что дальнейшее развитие производительных сил приведет к исчезновению частной капиталистической и возникновению коллективной — социалистической собственности, но свое грядущее общество видел неантагонистическим, свободным от всех условностей и несовершенств, замечен-

ных им в прежних обществах, а в капиталистическом под-  
вергнутых несравненному по убедительности и образно-  
сти анализу.

К своим аналитическим открытиям, и это бесспорно, он пришел через труд и самоотреченность, которые сдела-  
ли бы честь любому архиупорному и страстному исследо-  
вателю, но не менее неоспоримо, что упомянутые его  
фундаментальные идеи, как и картины грядущего в его  
воображении, — это плоды веры, привитой Марксу, да-  
внему к той поре диалектику-гегельянцу и монистическо-  
му материалисту, значительно раньше; так что открывать  
ему пришлось лишь «окончательные» — диалектико-мате-  
риалистические «законы» общества и мышления. Уже в  
зрелые годы в своем основополагающем произведении  
«Капитал» он с жаром совершенной убежденности строит  
доказательства и дает теоретические выкладки на мате-  
риале, ради которого ему пришлось перелопатить прак-  
тически всю мировую литературу по экономике и исто-  
рии. Возможность для подобной работы мог предоста-  
вить лишь Британский музей. Мало что в летописи чело-  
веческого духа превосходит грандиозность, сложность и  
страстность этого труда. Но и тут он, по сути, доказывает  
не что иное, как «абсолютную истину», — веру, открыв-  
шуюся ему еще в молодости: «Коммунизм как поло-  
жительное упразднение частной собственности —  
этого самоотчуждения человека — и в силу это-  
го как подлинное присвоение человеческой сущно-  
сти человеком и для человека; а потому как полное, про-  
исходящее сознательным образом и с сохранением всего  
богатства предшествующего развития, возвращение чело-  
века к самому себе как человеку общественному, то  
есть человеческому... Он (т.е. коммунизм. — *М.Дж.*) —  
решение загадки истории, и он знает, что он есть это  
решение»\*.

Научностью Маркс придал своей вере большую убеди-  
тельность, но превратить ее этим в науку не смог. Его  
научность, со временем все дальше уходившая в вероис-  
поведание, была в зародыше верой и идеологией. Вот  
почему наука его, да и учение приблизительно даже не  
заслуживают пиетета и восхищения, выпавших на долю их  
творца.

Маркс, несомненно, занял бы куда более почетное мес-

---

\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 42. С. 116.

то в науке, будь его аналитические труды и выводы неаприорны и менее категоричны, в меньшей степени — «открытия», а в большей — описания; но тогда ему было бы очень далеко до той роли в современной истории, которая им сыграна, ибо отчаявшиеся, бесправные люди и народы не сплотились бы вокруг безнадежных, неабсолютных истин. Во всяком случае, человечество будет благодарно ему за то, что трудами своими он глубже проник в понимание людской судьбы, а история отведет ему место среди самых выдающихся мечтателей и мятежников. Но нигде, по день нынешний, невозможно объяснить историю, лишь кое-где ее все еще пытаются «делать», опираясь на его заповеди: в исторической, жизненной действительности отсутствуют схематизм и категоричность деления на «базис» (производственные отношения и производительные силы) и «надстройку» (идеи, учреждения, организации), а второй фактор первым абсолютно и без остатка не обуславливается.

Я упомянул уже, что именно коммунистический порядок своей идеологической экономикой\* самым беспощадным и убедительным образом развенчивает положение Маркса об обусловленности надстройки базисом. И никак, конечно же, не обойти факта, что за сто двадцать пять лет, миновавших с поры, когда Маркс огласил свои принципы, ни один из трудов по истории, социологии или философии, основанных на его классово-экономических категориях (а таких сотни тысяч, если не миллионы), не сохранил непреходящей ценности, что, впрочем, соотносимо с религиозными учениями, на базе которых с научной точки зрения также не было создано ничего значительного.

Смена отношений между людьми или же история как свершение событий в действительности осуществляется включением всех сил — и материальных, и духовных, причем приоритет их то и дело меняется местами. Посему история — это общее дело жизненно заинтересованного народа, мыслителей, открывающих неминуемое, и воз-

---

\* Выражение «идеологическая экономика» я впервые употребил как название одной из глав «Нового класса». И несмотря на то что мне, вероятно, можно поставить в упрек переоценку возможностей коммунистов, следуя идеологии, слишком долго подгонять под нее форму движения, да и саму природу производительных сил, считаю все же, что переводчики той моей работы ослабили остроту и смысл, переведя оригинальное название упомянутой главы как «Догматизм в экономике». — *М. Дж.*

дей — способных организаторов, одухотворенных ясными, осуществимыми идеями. Созидание истории — творческий акт, где невозможно расщепить, и еще менее отмерить, роль тех или иных факторов. Маркс и марксизм, кстати, лучшее подтверждение огромной, необходимой, а иногда и решающей роли идей в истории. Кто-то заметит, что сие было ясно и самому Марксу, подчеркнувшему, что идеи, овладев массами, и сами становятся материальной силой. Такое замечание не совсем оправдано, поскольку Маркс и в этом своем тезисе сохранил верность схематическому делению на материальное (основу) и духовное (его продукт): у него идея обращается в силу только после того, как станет материей, то есть когда будет принята массами.

Но гораздо важнее всего этого факт, что сегодня народы, общественные слои, умы, живущие под коммунизмом, не могут более, сохраняя некритическое отношение к учению Маркса, не создать угрозы самому своему существованию, своей позиции в современном мире. Другими словами, угрозы развитию тех самых производительных сил, о значении которых в жизни людей, их взаимоотношениях первым заговорил сам Маркс. Ибо не только коммунизм докатился до несогласий с Марксом, но и с помощью Маркса нет возможности выбраться из тупиков и абсурдов, до которых докатилось общество, ведомое коммунистами. Мне неизвестна, не верю и в ее существование, магическая формула истории, поскольку этот загадочный «сезам», как и любой другой, надо каждый раз открывать новыми путями, новыми проникновениями мысли, новыми жертвоприношениями... Вернер Гейзенберг следующим образом итожит достигнутое современной физикой: «Природа непредсказуема»\*.

«Но, Боже праведный, ведь то — природа!» — подадут голос властолюбцы и догматики, уверенные, или теперь уже разыгрывая уверенность, что общество, люди, судьба человеческая просты, предсказуемы и тем самым податливы. Нормальный человеческий ум просто диву дается от такой самонадеянности, кое-как объясняя ее лишь безмерием глупости да ненасытной алчностью в тяге к господству над людьми, обществом, над людской судьбой...

Невозможно мир и современные общества понять, ру-

---

\* Цитируется по: Arthur Koestler, "The Ghost in the Machine", London, 1967. P. 17.

ководствуясь исключительно одной теорией, пусть даже самим Марксом сотворенной, не впадая при этом в абсурдность или примитивнейшую грязную демагогию власть имущих и софистику на корню купленных борзописцев и «идеологов»... Если «производственные отношения... отвечают определенной степени развития их материальных производительных сил», то чем объяснить, например, факт, что обществу в СССР характерен «более высокий», чем в США, уровень развития, хотя степень развития производительных сил там была, остается и долго еще останется значительно более низкой? Если производственные отношения на Западе и Востоке различны, а это очевидно, то как объяснить одинаковые или похожие процессы в искусстве, науке, в молодежной среде и так далее? Если современными коммунистическими социумами правят научно, то есть по Марксу, и они, стало быть, свободны от антагонизмов «буржуазных производственных отношений», то откуда же там все эти непредвиденные экономические сбои, социальные потрясения и безнадежность? Откуда, вопреки различию «производственных отношений» или же «отношений собственности», но одинаковой или приблизительно одинаковой «степени развития... материальных производительных сил», берутся в некоторых «социалистических» и некоторых «капиталистических» странах схожие идеи и схожие общественные явления, схожие трудности и схожие экономические решения?.. Этим и подобным вопросам нет конца, как нет конца перерождению и разложению коммунистов...

Ибо дело больше не в негодовании еретиков и дальновидности мудрецов, теперь речь — о жизнях и умах людей, которые у мира и общества, отдавая им себя целиком, не требуют большего, чем просто возможности прожить нормально, сносно и обеспечить в потомстве своем обновление и продолжение свое. Так будь даже коммунистический мир «лучшим из всех возможных миров», не вправе он больше жить в броне «прогрессивнейших», «научных» идей при тайной полиции — «ангеле-хранителе» людских душ, падких на грех и ересь. Наука, современные средства коммуникаций и информации сузили наше восприятие, понятия времени и пространства, разрушив монополию, а с ней и «преимущества» тех или иных идеологий; Земля, как находит Маклуэн, преобразилась в большую деревню, а биение человеческого пульса слышат просторы Вселенной.



Все это сегодня не только очевидно, но и является частью нашей повседневности. Тем не менее хочу остановиться на марксистском — и не только марксистском — учении о закономерности, о неопровержимости прогрессивного развития рода людского и человеческого существа, то есть, словами Маркса, об азиатских, античных, феодальных и современных, буржуазных, способах производства... как прогрессивных эпохах экономической общественной формации.

Рассмотрение этого вопроса существенно в контексте целостности и общего понимания моих размышлений в данной работе, тем более что общественный прогресс на Востоке беспрекословно принимается, а на Западе чрезмерно потенцируется как неоспоримая истина и священный долг, во имя прогрессивности же вершится самое безумное насилие и поддерживаются предельно расточительные формы хозяйствования.

Даже располагая достаточными познаниями в биологии и астрономии, я все равно был бы далек от намерения пускаться в рассуждения по поводу эволюции живых существ от низших форм до наивысшей — человека — или о возникновении Вселенной из неких частиц и газов, «бесформенных», «рассеянных», вплоть до Солнца, звезд и матери нашей Земли. Но я столь твердо убежден, мягко говоря, в ненадежности учения об эволютивности человеческого общества и природы человека, что просто не в состоянии отбросить мысли о привнесённости его и в биологию, и в космогонию из философии — из «научных» и социальных верований XIX века о прогрессе как универсальном законе мироздания. Все это сегодня слишком просто, слишком понятно, для того чтобы быть истиной.

Но вернемся к вопросу об обществе!

Действительно поражает, как современники гитлеровских фабрик смерти и сталинских трудовых лагерей могут с такой легкостью защищать учение о закономерности прогресса природы человека и человеческих сообществ, когда вся история того же человечества не знает режимов, где с подобной беспощадностью расправлялись бы с целыми народами, целыми общественными пластами. Да разве афинский гражданин не имел больше свобод, а римлянин — больше прав, чем того допускают многие режимы в наши дни? И даже если принять объяснения, а правильное сказать — оправдания, что Гитлер и Сталин были отростками зла, сопровождающего круше-

ние обреченных на замену порядков, то все равно ни у кого нет права утверждать, будто время, в котором мы пребываем (под тенью атомной смерти, угнездившейся в умах и жизни человека, всего людского рода), есть время лучшее или более прогрессивное, нежели любое до нас. Разве не было бы умнее, да и честнее, людей, их сообщества воспринимать и рассматривать без конечных, наперед запротоколированных истин — такими, какие они есть, какими должны быть в данных условиях: ни абсолютно хорошими, ни абсолютно плохими?

Узнавание — это одновременно и созидание, так что от качества нашего понимания людей зависит и то, как мы станем к ним относиться. Безусловно уверенные в прогрессе чаще всего подгоняют человека и человеческую жизнь под эту свою уверенность. Насилие как раз начинается с конечных истин об обществе и человеке. Хотя такие истины лежат в истоках всякого нового общества, они в конце концов перерождаются в очаг его разложения. Ибо не существует конечных истин ни о человеке, ни о мире. Истина о человеке безмерна и непредсказуема. Истина о человеке — это непрестанное, всякий раз по-иному выраженное расширение человеческих возможностей в окружающем мире, непрестанное, всякий раз по-разному выраженное отвоёвывание человеком свободы в обществе.

Возможно, с точки зрения науки я и не прав: возможно, род человеческий не столь уж трагически неизменен, а коли брать в целом да длительными периодами времени, то, может быть, в человеческом обществе, в природе людской и обнаружится прогресс. Но никому не дано проникнуть в тайну периодичности, с которой происходят эти гипотетические перемены, а где уж — располагать условиями и средствами для их осуществления в одиночку. Но даже и обладай кто-то такой мощью, оказался бы ли он столь всеведущ и во всем совершенен, чтобы сотворить и творить людей по образу своему и замыслу? Согласились бы люди на нечто подобное? Возможно ли утолить стремление людей к свободе и счастью, как и примирить их с насилием и бедами?

Все это не означает отсутствия прогресса в технике и науках, а тем более что я ему противник, хотя кажется все же, что и этот вид поступательного движения справедливее было бы рассматривать с позиций прогресса условий человеческого существования. Ибо, хотя человек и не

единственное существо, лишенное возможности выжить в первозданной, неизменной природной среде, уникальность его бытия, без сомнений, именно в том и состоит, что он вынужден среду эту постоянно изменять — раздвигать границы постигнутого, границы условий своего выживания.

На этом рубеже — перед шагом к новым условиям, новым возможностям — стоят люди коммунистического мира и, при ином способе достижения, остальная часть человечества. Свобода никогда не была ни догмой, ни абстракцией, а сегодня она — освобождение науки и техники от пут, навязанных сложившимися формами собственности и всего прочего, освобождение человеческого духа, целого существа человеческого от догм и насилия.

## 2

История отнюдь не изобилует сбывшимися пророчествами мудрецов, а тем более что касается общественных моделей, господствующих взглядов, людского жизнеустройства. В этом смысле немного преимуществ перед любым из мыслителей, предшественников или живших позже, и у Маркса, несмотря на то, что идеи его распространялись с невиданной интенсивностью, а движения, им вдохновленные, овладели третью человечества. Еще хуже с точки зрения реальной осуществимости дело обстоит с предвидениями Ленина: потому, возможно, что были более конкретными, а их автор — менее философ и пророк; чем его учитель.

Что же произошло с ленинской революцией и ленинским Коммунистическим (Третьим) Интернационалом?

Октябрьская революция являлась для Ленина лишь одним из подвигов мирового пролетариата, первым российским жертвоприношением на алтарь всемирной свободы. Но еще при живом Ленине революция свелась к оголтелой борьбе за власть, а вскоре после его смерти — к фанатическому насилию, унесшему девять десятых ленинских соратников, почти семьсот тысяч членов коммунистической партии (современная официальная статистика) и такое количество обычных граждан «первой страны социализма» (по некоторым оценкам, около восьми миллионов), что и сегодняшняя власть держащая не смеет назвать точное число, хотя и считает

этих «непосвященных» людей достойными упоминания. Сегодня от духа революции остались одни стереотипные фразы, едва прикрывающие наготу и убожество бывших революционеров, их сыновей и внуков, давно переродившихся уже в привилегированный слой партийной бюрократии, которая ни действовать, ни существовать практически не в состоянии без обмана собственного рабочего класса и народов Советского Союза, как и без подчинения своим групповым великодержавным интересам зарубежных революционных движений. Коммунистический Интернационал (Коминтерн), начиная с самых начальных своих начал, не был ни свободным, ни интернациональным: Ленин, веруя в мировую революцию или, на худой конец, в единство мирового коммунистического движения, сам расписал условия членства в нем и тем самым — вопреки добрым намерениям и периодическим стараниям своим — мысль зарубежных теоретиков социализма сделал отблеском собственной мысли, а опыт зарубежных компартий — вторичным по отношению к русской большевистской партии. После Ленина Сталин и тут повел себя вполне решительно: зарубежные партии, как и большевистскую, насколько смог, основательно «очистил», а Коминтерн превратил в довесок русского — советского — государства, с тем чтобы в итоге, в 1943 году, ликвидировать его, посчитав помехой своей государственной политике. Преображен и Ленин: в святые мощи, в образ нового православия, которому тем ревностнее отбивают поклоны, чем меньше по нему равняются, и чьи книги тем старательнее листают, чем менее заботятся о смысле в них сказанного.

Вот чем стало учение и дело Ленина.

Но есть у этой медали и другая сторона — жизненная, практическая, удостоверяющая, что мир если и не улучшился, то хуже тоже не сделался, хотя Коммунистический Интернационал не сулит ему более избавления от нищеты и войн, не обещает братства и счастья в «мировой диктатуре пролетариата». Семена революции, рассеянные по свету, отнюдь не везде нашли благодатную почву, а ожидаемых плодов не принесли нигде — и это уже немало. Да и будь даже мировая диктатура коммунистов осуществимой, неумно и непорядочно было бы допустить, чтобы одна страна, а тем более один человек лишили разума весь род людской. И еще с большей достоверностью можно утверждать, что сегодня родина Ленина, хотя и

давно отказавшаяся от ленинских революционных заветов и живущая под бесцветно-безличным брежневско-косыгинским правлением, тем не менее более благопристойна и благополучна: она меньше экспортирует революцию, зато в ней больше хлеба, квартир и автомобилей, тут дефицит революционных миссионеров, но стало больше людей, действующих и мыслящих в соответствии с категориями возможного. Даже насилия в советской России сегодня значительно меньше, чем при Ленине, хотя есть среди нас на этом белом свете и такие, кто революционное насилие почитает вершиной счастья и свободы.

Революцией Ленин не только отстраивал новую власть, вооруженный догмой, он кроил-тачал и новое общество. Но тут тоже есть вторая сторона: ленинская догматическая исключительность и революционная непримиримость (в современных условиях — пережиток, отброшенный за неприемлемостью и бесполезностью) были тогда преимуществом, сделавшим Ленина одним из великих титанов истории, а возможно, и крупнейшей фигурой XX века. Именно исключительность вкупе с непримиримостью привели его к новой, для России и еще ряда стран допустимой, живой форме власти и общества... А. Ф. Керенский придавал особый вес своему утверждению, что Ленин не марксист, а бланкист: это могло звучать удобно для западноевропейской буржуазии и убедительно для реформистских кругов социал-демократии, но, будь даже правдой, ничуть не умалило бы величие Ленина, как и реальность его начинаний. Еще смешнее выглядят сегодня жалобы П. Б. Струве: «Рассуждая по существу, должен сказать о революции 1917-го и последовавших за ней годах: как факт народной жизни она была великим несчастьем и, будучи осуществленной, великой ошибкой...»\* Хотя роль идей, морали и чувств в человеческих борениях немаловажна, а порой и решающая, нет ничего ошибочнее и напраснее, чем, приняв их за основу, задним числом оценивать какое-либо историческое происшествие: случившееся — бесповоротно и тем самым — неизменно и непоправимо, а Гегель был стопроцентно прав, когда к своему утверждению, что всякая эпоха чересчур индивидуальна для обучения народов на примерах истории, присовокупил, что история все же способна научить кое-чему из того, чего делать не следует...

---

\* Цитируется по: Мосты. Мюнхен, 1967. С. 212.

В каком ключе ни рассуждай мы об учении Ленина, деле Ленина, ясно одно: они не только не соответствуют современным потребностям и условиям борьбы за лучшую жизнь, людскую свободу и равноправие народов, но и являются главным орудием определенной мировой силы, Советского Союза, с помощью которого по всему свету распространяется его государственное влияние и гегемония над коммунистическими партиями и странами под коммунистической управой. При этом надо иметь в виду, что разложение коммунизма не вытекает исключительно из его органического бессилия и в наши дни решить основные жизненные проблемы наций, над которыми он господствует, но также из неспособности выстоять в собственном — закупоренном мире, а посему критическое отношение к ленинскому видению современного общества, к его методам и формам борьбы и организации выступает необходимой предпосылкой демократических преобразований в коммунистических партиях и государствах, освобождения их от наследия идеологической дани захватнической советской олигархии.

Ибо, стоит добавить, ленинское видение общества и мировых отношений действительности не соответствовало и при его жизни, «работало» единственно как идеология революционного движения определенного — коммунистического — толка, применимая только в России, чей народ и не мог перейти в новые условия иначе, чем сбросив отсталость, зависимость и феодальное самодержавие. Все последующие революции, пусть присягавшие Ленину и заслонявшиеся его именем, отличаются от Октябрьской как условиями и формами, так и силами, в них участвовавшими.

Поэтому, словно перед Лениным в его время, сегодня перед каждым демократически настроенным коммунистом, каждым демократом-социалистом, каждым борцом за свободу человека в коммунистическом обществе и вне его стоит вопрос: «Что делать?». Тот как раз вопрос, на который у Ленина нет и больше не может быть ответа.

Свой взгляд на современные ему общественные системы Ленин наиболее полно изложил, написав в 1916 году в Цюрихе небольшой очерк «Империализм, как высшая стадия капитализма». Исходным материалом для него и революционных выводов, сделанных автором, послужили главным образом произведения двух социал-демократов: «Империализм» Джона Гобсона и «Финансовый капитал»

Рудольфа Гильфердинга. Нужно сразу сказать, что многие аналитические прогнозы и решения оттуда, особенно из «Империализма» Гобсона, превзошли по точности ленинские, а поскольку целью настоящей моей работы не является сравнение чьих-либо достижений и достоинств, но доказательство несовместимости с условиями современной жизни марксистско-ленинских реалий, то выделю лишь одно ярко очевидное сему подтверждение\*.

Ленин подытоживает: «Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма... Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подытоживают главное, — все же недостаточны... Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков: 1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банковского капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами\*\*». «Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как переходный или, вернее, умирающий капитализм\*\*\*».

---

\* Заинтересованному читателю рекомендую исследование Луи Фишера «Жизнь Ленина». Нью-Йорк, 1964, так как он, наряду с прочим, подробно и убедительно разбирает и эту тему.

\*\* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 386—387.

\*\*\* Там же. С. 424.

Чтобы понять широту ленинского догматизма в ту пору, как и нереальность его выводов применительно ко дню сегодняшнему, достаточно осмыслить фразу, которую он поставил заголовком своей работы: «Империализм, как высшая стадия капитализма». Капитализм, то бишь общественный строй в Соединенных Штатах, западноевропейских государствах и Японии, с очевидностью развивается и прогрессирует, преодолев уже свою «высшую стадию». Реальный капитализм в этих странах преуспел в силу ряда причин. Во-первых, хотя концентрация производства и капитала продолжалась, она и сегодня наращивает темпы, для западной экономики типичны не монополии в классическом, по Гильфердингу и Ленину, смысле, а то, что Джон Кеннет Гелбрейт называет «рыночной структурой промышленной системы»\*, что означает фиксирование цен специалистами и техническим персоналом больших компаний, то есть теми, кто планирует производство, изучает рынок и т.д. Эти люди сейчас — главный человеческий фактор в современном производстве — и в «капитализме», и в «социализме». Югославские экономисты не случайно жалуются на «феномен монополий», с тех пор как предприятия стали «фиксировать цены»; потому прав Гелбрейт, делающий вывод: «Социалистическая промышленность, вполне естественно, точно так же действует в рамках контролируемых цен. В последнее время Советский Союз, следуя югославской практике, заведенной несколько ранее, разрешил своим предприятиям и промышленным отраслям определенную гибкость при установлении цен, т.е. то, в чем неформальная эволюция всегда создавала больший простор американской хозяйственной системе. Подобные шаги широко приветствовались как знак возвращения данных стран к рынку. Налицо между тем оптический обман, ибо это не значит, что социалистическое предприятие — ничуть не в меньшей степени, чем при американской системе, — испытывает на себе контроль рыночных цен, влиять на которые оно не в силах. Это значит лишь, что в ответ на изменения его собственные рычаги контроля могут быть применены более гибким образом»\*\*. В Соединенных Штатах монополии были запрещены законом еще при Теодоре Рузвельте, после вой-

---

\* Гелбрейт Д. К. Индустриальное государство. Лондон, 1968. С. 185.

\*\* Там же. С. 191.



ны то же произошло и в других странах. Никто, разумеется, не утверждает, что отдельные компании не грешат сбиванием цен или что крупные банки и группы компаний никогда не делают попыток обеспечить себе монопольное положение. Амбиции и поползновения такого рода характерны и для «социалистических» экономик, где, как, например, в Югославии, рождается некое подобие свободного рынка. Вопреки этому все же совершенно ясно, что монополизация не есть единственное основание, на котором покоятся современные экономики западных стран, в одинаковой мере им является и свободная конкуренция. Во-вторых, кроме многих сегодняшних «социалистических» государств существует еще остальной мир, не разделенный «международными монополистическими союзами» или «крупнейшими капиталистическими державами», а вполне удачно трансформировавшийся уже (оставляя в стороне колонии реакционной Португалии) в независимые государства, из-за которых идет грызня в стане сильных мира сего: «капиталистов» и «социалистов» одинаково. Фактор третий — экспорт капитала. Хотя уровень его по-прежнему достаточно высок, но если соотнести с временами, когда об этом писали Гобсон, Гильфердинг и Ленин, или с периодом между двумя войнами, то и по объему, и по значению полное преимущество имеет теперь товарный экспорт. Сверх того, особенно характерно, что большая часть капитала вывозится в страны развитые, а не туда, где не окрепла еще национальная экономика, хотя именно эти полуразвитые государства делают все возможное для привлечения капитала. Далее. Капитал вывозится в разных видах как «капиталистическими», так и «социалистическими» государствами, первые даже начинают поставлять его вторым, о чем свидетельствует пример Югославии.

Таков в самых общих чертах внешний вид сегодняшнего «капиталистического» мира, представленный с единственной целью: показать, насколько картина, которую дал Ленин, устарела в том даже, где приблизительно или частично была верна. Сказанное можно дополнить беглым напоминанием и о том, что колонии освободились не цепочкой революций в метрополиях и восстаниями угнетенных народов, как предсказывал Ленин, а потому, что перемены общественные и успехи техники сделали домашние (в развитых странах) капиталовложения более выгодными, а торговлю с независимыми государства-

ми — более бойкой и надежной. Это, конечно, не означает, что колонизаторы спокойно и охотно покинули колонии: предпринимательские группы и слои, обогащавшиеся за счет дешевой рабочей силы и дешевого сырья в отсталых регионах мира, изо всех сил сопротивлялись деколонизации, но национально-освободительные движения, всколыхнувшие угнетенные народы, заполучили в свои руки современные средства, так что с ними невозможно уже было расправиться, как некогда с феодальными правителями, парой-тройкой канонеров и горсткой наемников-карателей. А там, где колониальные силы сохраняли еще могущество и влияние — таковой, к примеру, была Франция по отношению к ряду своих колоний, — восстание угнетенного народа образумило власти метрополий и довершило перемены в расстановке сил. Ничего удивительного поэтому, что коммунистические резолюции и лозунги, отождествляющие, согласно ленинским постулатам, современный капитализм с империализмом, а о современном общественном устройстве на Западе судящие по ленинским же описаниям империализма начала века, выглядят гротескно, надуманно и столь часто являются объектом едких насмешек...

Все сказанное не означает, что империализма не было, что его нет и впредь не будет, ежели подразумевать под этим вечные притязания и неистребимую взаимную подозрительность великих держав, которые бы и не являлись тем, что есть, не будь они так или иначе империями, не будь они империалистическими. Но тогда следует честно признать, что родина Ленина, вопреки всем красивым словам и горькому опыту конфликтов с Югославией в 1948 году, Албанией в 1961 году и Чехословакией в 1968 году, еще не отреклась от попыток идеологическими и военными средствами подчинить себе соседствующих коммунистических побратимов, отличаясь этим от Китая, который свое место в мире завоевывает революционным догматизмом, и США, сберегающих свои привилегированные позиции за счет более высоких технологических возможностей и финансового богатства.

Ленинские взгляды, высказанные в «Империализме...», да и вообще, если анализировать их исходя из современных условий и понятий, страдают от двух существенных, взаимосвязанных минусов: догматического подхода к действительности и эффекта несбывшихся пророчеств.

В скорой гибели капитализма Ленин убежден был и до

того, как приступил к его анализу, так что многочисленные статистические выкладки и разные данные — предмет особой ленинской страсти — должны были обеспечить этому подтверждение. И, разумеется, они такое «подтверждение» обеспечили, поскольку вера его, перенятая, усвоенная от Маркса, обрела непоколебимость. Тем более что проявления монополистических тенденций и монополистического господства в отдельных отраслях открытой раной зияли на теле капитализма, а факты регулярного властного воздействия монополистов на политику правительства были столь очевидны. Вера эта и факты с неизбежностью должны были слиться в единый «логический» вывод о «высшей стадии» капитализма — об «отмирающем капитализме». Ленинские взгляды и предвидения, которые, грубо говоря, демонстрировали и продемонстрировали свою реальность в среде зависимого и недоразвитого русского капитализма, там, то есть, где в действительности и по существу монополии и финансовый капитал отсутствовали, в отношении западных структур были обязаны промахнуться именно в силу святой его веры в «научные законы» Маркса — в то, что час неминуемой гибели капитализма пробил... И сам я — один из тех, кто еще и сегодня верит в эту неминуемость, ибо нет общественных форм, нет цивилизаций вечных. Более того, мне кажется, что «погибель» эта, это перерождение уже начались и протекают в разных видах (национализация важных, подчас базовых отраслей хозяйства, распространение коммунальной собственности, разветвление системы государственного социального попечительства, прогрессивное налогообложение, возросшая и теперь даже ключевая роль государства в экономике, все более активно осуществляемый трудящимися надзор за распределением прибыли, рост их прав на прибыль и т. д.). Но Ленин не только верит в «погибель» капитализма, он устанавливает и способ ее достижения — вооруженное восстание рабочего класса против капиталистов — как «единственно возможный» и «неизбежный» для свержения всех, западных в том числе, капиталистических общественных уложений. Более того, устанавливает он также форму власти и облик общества, которые «должны» возникнуть на руинах капитализма: диктатура пролетариата в варианте Маркса, то есть в виде российских советов, и полная национализация средств производства... Ничего подобного не произошло, да и вряд ли когда-нибудь произойдет на Западе:

развитие техники и свобода форм собственности привели к тому, что в западных странах верхние слои рабочего класса, если не его большинство, срослись со средним классом (буржуазией)\*. Тем самым и класс в целом перестал быть революционным в смысле, указанном Марксом и Лениным, то есть борющимся за «диктатуру пролетариата», а точнее — за власть «пролетарского авангарда» (коммунистической партии) и перманентные национализации, никак не связанные с потребностями экономики, производства. Но это не означает, что общество на Западе осталось в неизменном состоянии. Напротив. Западная Европа и США, по моему убеждению, таким вот именно путем и движутся к социализму. Но к социализму, не имеющему ничего общего с тем, что существует сегодня в Советском Союзе или Китае, а тем более — с моделью, придуманной чьей-то «гениальной» головой. Недавние студенческие и рабочие волнения во Франции подтвердили, что и французский рабочий класс вступил на путь, которым давно идут его товарищи из Соединенных Штатов Америки и Западной Германии: студенты анархистской и левацко-коммунистической ориентации могли быть детонатором всеобщей рабочей забастовки, но «взрывоопасная масса» мудро удовольствовалась «неидеальным» повышением зарплаток и более широкими правами в распределении прибылей, оставив своих «идеал-подстрекателей», как говорится, несолоно хлебавши. Конечно, на такое развитие и такое поведение западных рабочих оказали влияние опыт восточного «социализма» и диктатур «от имени» рабочего класса. Кроме того, страх перед коммунизмом и революцией, образумивший западные правительства, классы собственников, ускорил допущение рабочих к «национальному пирогу», введение начал планового контроля за промышленностью, реформирование социального законодательства и самого общества. Хотя решали все-таки причины иные — коренные, глубинные: резкий скачок технического прогресса, унаследованные политические свободы, привилегированное положение западных наций вследствие их высокоразвитости... И коли кто-то в этой переменявшейся роли рабочего класса узрел его классовую несознательность, «преда-

---

\* Убедительные свидетельства этого приводит, например, Дарендорф в упомянутой уже работе «Классы и классовые конфликты в индустриальном обществе». Станфорд. Калифорния, 1959. — М. Дж.

тельство исторических целей», он тем самым доказывает единственное: свое стремление навязать рабочему классу собственные догмы — собственные цели. Но, опять же, не видеть в упомянутом только что принуждении Запада к реформам (которые коммунизм по сей день проводит) ничего, кроме новых козней сатаны, наводящего доброго Бога на еще большую праведность, есть всего лишь доказательство, что догматизма не чужда и противоположная, некоммунистическая, сторона. Для нас, людей, более-менее освободившихся от догм разного образца, влияние коммунизма на Западе, как и требования «западных» свобод, доносящиеся с Востока, прежде всего доказывают, что мир в целом избавляется от догматизма и различными способами выходит на то, чтобы жить, мыслить, творить как единый всечеловеческий организм...

На деле, по моему рассуждению, перед нами нечто более глубокое и длительное, нежели полагал, придерживаясь Маркса, Ленин: капиталистические формы собственности — ранние частные, вчерашние монополистические, сегодняшние смешанные (государственные, кооперативные, частные) — это лишь жизненный уклад, корни которого старше капитализма и уходят в античную философию и Древний Рим, в христианство и европейский феодализм. Капитализм, как теперь видно, возник из условий Западной Европы времен Ренессанса, главным образом там развился и окреп. Остальному миру преимущественно навязанный или завезенный туда извне, он чистейший свой вид обрел в США. Вот почему смена данной формы собственности на Западе может быть проведена единственно при сохранении континуитета существования народов этого региона. Другими словами: конец капитализма не обязан привести к разрушению жизненного уклада народов этого региона, точно так же, как смену коммунистических форм нельзя осуществить иначе, нежели способом и в формах, которые будут означать продолжение бытия, — сохранение естества народов, населяющих ныне мир коммунистический.

### 3

Представляется вполне нормальным, что следствием убежденного ленинского отношения к капиталистическим монополиям и империализму монополий как к последней

стадии капитализма, за которой грядет «высшая» «прогрессивная эпоха экономической общественной формации» (даже наступила уже с победой Октябрьской революции), должен был стать миф о всестороннем и безусловном превосходстве новой «социалистической» формы собственности... В этот миф долго верил и я, пока действительность и здравый разум не научили не принимать за чистую монету что-либо, оправдываемое какой угодно идеологией...

Марксистско-ленинистские идеи, некогда реально-идеальные, будоражившие массы, служившие разрушению гнилых, лишенных будущего порядков, выродились в догмы и мифы, которыми коммунисты, сами себе лгущие, оправдывают свою уродливую действительность, доказывают, что она в силу преобладания так называемой общественной собственности и технического прогресса и социальной справедливости дает больше простора, чем мог, может и сможет когда-либо дать любой иной строй. При этом практически всегда подразумевают Соединенные Штаты Америки — главного их идеологического, социально-практического и военного соперника.

Это якобы всестороннее и безусловное преимущество форм собственности или, как сказал бы Маркс, — производственных отношений, преобладающих во всех коммунистических странах, и есть в действительности последний, ключевой миф марксистских догм и коммунистической реальности. Как всякий миф, держится он на воспоминаниях о подлинности, которой, пусть и в мистическом виде, обладал когда-то, да на все еще необходимом участии в поддержке интересов живых общественных сил — политической, то бишь партийной бюрократии, данной формой собственности порожденной, с ее помощью воцарившейся и продолжающей царить по сию пору.

В «Новом классе» я довольно подробно останавливался на реальном характере собственности в коммунизме, здесь же — связного изложения ради — подчеркну лишь, что появление этой формы собственности было следствием отсталости отдельных стран, в первую очередь России, Китая и Югославии, и их неспособности осуществить промышленную революцию капиталистической частной собственности. Аналогично любому образу общественного устройства и форме собственности в период их зарождения, и эти коммунистические казались идеальными: как общество, ведущее к уничтожению классов и угнете-

ния, как общенародная собственность, свободная от насилия и несправедливости, кризисов и стагнации, неотъемлемых от погони за прибылью, дешевыми источниками сырья и рабочей силы. Но на деле, как водится, все вышло по-другому: коммунизм сегодня поражен всеми пороками, которые по праву клеймил, как язвы капитализма, а углубленное рассмотрение коммунистических отношений собственности откроет любопытному, что политическая, партийная бюрократия, захватившая монополию на управление и распоряжение экономикой (абсолют такой монополии, правда, ныне в некоторых странах, в Югославии, например, поколеблен, но и там не разбит полностью), разрушила тем самым свой идеал идеалов — общественную собственность, запрятав в ее реальной иллюзорности и юридической неопределенности свою алчную, собственническую, властолюбивую натуру.

И именно на прошлой — относительно реальной — и теперешней — абсолютно мистифицированной — роли и природе коммунизма основывается миф о преимуществах собственности, которую он породил и которую старается увековечить.

Хотя есть у моего народа пословица: «Неведомо человеку, в какой вере умереть доведется», надеюсь все же, что жизнь не заставит меня защищать ни один, включая американский, капитализм, тем более что таковой уже и в этой стране подвержен изменениям в порядке, при котором, как мне кажется, частная собственность отойдет на второстепенную для нации роль, но который по сему поводу и в будущем не станет менее отличаться и, вероятно, меньше спорить с системами, царящими сегодня на Востоке. Дело в другом: как раз в силу убежденности, что сам по себе никакой строй не имеет абсолютного, безусловного преимущества над другими и что нынешней жизни людей и народов не соответствуют уже ни частно-собственнические, ни партийно-бюрократические порядки, считаю, что в своей среде каждый обязан доказывать истину — развенчивать мифы, мешающие взаимопониманию людей и зарождению новых, более привлекательных и нужных людям форм и условий организации жизни. Поэтому я, не думая об оскорбительных нападках, которые могут обрушиться на мою голову, взялся за развенчание мифа об абсолютном и безусловном преимуществе навязанной коммунистами формы собственности. А к статистике я тут прибегаю еще и по той причине, что комму-

нисты, особенно в Советском Союзе, охотно и всегда самым бессовестным образом ею пользуются, представляя на обозрение единственно собственные, чаще всего приукрашенные, достижения и замалчивая или затуманивая чужие.

Статистика (данные из Encyclopaedia Britannica, 1967) свидетельствует: Соединенные Штаты Америки произвели в 1850 году менее 10 млн. т угля, а в 1910 году — 500 млн. т, то есть за 60 лет добились увеличения в 50 раз; производство стали: около 1872 года — менее 100 тыс. длинных тонн (длинная тонна — 1016,0475 кг), а в 1910 году — более 25 млн. дл. т, то есть за 38 лет увеличение в 250 раз; электроэнергия: 1902 год — 5,969 млрд. кВт.ч, середина этого века — свыше 1 триллиона кВт.ч, то есть за 50 лет увеличение в 180 раз; в Советском Союзе темпы роста производства в базовых отраслях следующие (в тысячах тонн, в миллионах кВт.часов):

	1913 г.	1940 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г. (план)
уголь	29100	165000	513000	578000	670000
нефть	9200	31100	148000	243000	350000
электроэнергия	1900	48300	292000	507000	845000
сталь	4200	18317	65300	91000	126500
цемент	1500	5675	45000	72400	102500

Самые общие данные. Но и они свидетельствуют со всей очевидностью, что тяжелая промышленность и энергетика — и в относительных, и в абсолютных показателях — развивались в Соединенных Штатах Америки быстрее, чем в Советском Союзе. Дела с легкой промышленностью, а тем более с транспортом и сельским хозяйством еще показательнее; в США их развитие шло еще интенсивнее, но сравнивать я не стану: общеизвестно, что в Советском Союзе данные отрасли прогрессировали медленнее и значительно отстали от тяжелой промышленности. Те же источники открывают, что после объединения в 1871 году Германия также развивалась быстрее Советского Союза, а после второй мировой войны, по всему судя, более быстрыми, чем СССР, темпами восстанавливала свое хозяйство и Япония.\* Важно подчеркнуть и

\* В индустриальном отношении Япония — пятая на планете с пятипроцентным участием в мировом промышленном производстве. После второй мировой войны ни одна западная страна



такой еще момент: к середине нынешнего века производительность труда в США была в полтора раза выше западноевропейской и приблизительно в четыре раза — Косыгин признал, что примерно в два, — выше, чем в Советском Союзе. Разница эта по сей день не уменьшилась (если не возросла), вопреки разглагольствованиям коммунистов об абсолютном преимуществе их форм собственности и «уничтожении эксплуатации» в их государстве.

Я склонен верить, что ученые, занимающиеся данной проблематикой, в силах найти немалое количество убедительных причин и этого отставания Советского Союза, и преимуществ, которые в определенной ситуации и в определенных условиях дала народам России новая — советская — власть. Но никто, наделенный порядочностью и разумностью, не может доказать универсальное — вневременное, внепространственное и внечеловеческое — преимущество советского строя только потому, что он — «социалистический»; точно так же никакая сила не в состоянии убедить все народы, даже вопреки явной «американизации» мира с точки зрения техники и производства, в несравнимости достоинств американского образа жизни.

Теория суха, а древо жизни вечно зеленеет, говорил Гёте. Как некогда, так и сейчас каждый народ должен найти свой собственный путь. В мире сегодня доминируют две ядерные суперсилы — Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, третья — Китай — только поднимается, располагая перевесом в численности населения: обладание интерконтинентальными атомными ракетами

---

не развивалась столь мощно. За последние 30 лет промышленное производство в Японии выросло в 5 раз, эта страна станет скоро третьей индустриальной мировой державой. Новый пятилетний план предполагает достичь до 1971 года объемов производства, которые оставят позади Германию и Великобританию. За три последних десятилетия производство электроэнергии выросло с 30 до 240 миллиардов кВт.ч, выплавка стали — с 6 до 51 миллиона, а через два года достигнет 7 миллионов тонн. Япония лидирует в импорте железной руды, она же первая в кораблестроении, производя 47 проц. мирового тоннажа судов. С ее верфей сходят крупнейшие плавучие объекты, в том числе супертанкеры водоизмещением свыше 200 тыс. тонн. Япония больше всех в мире выпускает радиоприемников и транзисторов, а ее индустрия телекоммуникаций — одна из самых современных в мире. Япония — вторая по выпуску телевизоров, холодильников, хлопкового волокна, синтетического каучука, химических волокон. Третья — по производству стали, пластмасс, цемента, серной кислоты, шерстяного волокна, хлопчатобумажных тканей, бумаги, автомобилей и мотоциклов. (Политика. Белград, 7 апреля 1968 г.)

может внезапно возвысить роль его и вес сверх всякой меры опасений. Но ядерные суперсилы — рабы собственной мощи, ибо ни одна из них не имеет, а вероятно, не будет и впредь иметь таких средств защиты, которые позволили бы решиться на использование самого разрушительного оружия, в то время как драться оружием классическим — что демонстрирует война во Вьетнаме — ныне и слишком дорого, и неэффективно. Наше время — время «атомного мира, т. е. индустриальной войны»\*. Это создает значительные трудности, но и новые возможности для небольших слаборазвитых стран: они не должны беспрекословно подчиняться воле крупных и сильных государств, но в то же время не могут ни развиваться, ни существовать обособленно, в отрыве от мощных экономико-политических содружеств, пренебрегая современными техническими достижениями и принятыми в мире условиями производства.

Таковой действительность малых и слаборазвитых стран как была, так и осталась, ничуть не соответствуя описаниям госпожи де Бовуар (Simone de Beauvoire) в «*Les Belles Images*» («Прелестных картинках»): «Во всех странах, социалистических или капиталистических, человек раздавлен техникой, отчужден от труда своего, окован цепями, оболванен. Все зло из-за того, что вместо обуздания потребностей, он их множил. Не к избытию, которого нет и, возможно, никогда не будет, следовало стремиться, а удовлетворяться жизненно необходимым минимумом, как это еще делают некоторые очень бедные сообщества — на Сардинии, в Греции, например, — куда техника не проникла, где деньги людей не испортили. Люди там познают строгое счастье, потому что сохранились некоторые ценности, ценности подлинно человеческие: достоинство, братство, щедрость — все, что дает жизни неповторимый аромат. Если новые потребности не прекратят возникать — размножится обман. Когда же началось это падение? В день, когда наука перевесила мудрость, а польза — красоту. С ренессансом, рационализмом, капитализмом, сциентизмом. Ну да ладно, но что делать теперь, когда все дошло до столь низкого состояния? Попробовать воскресить в себе и подле себя мудрость и стремление к красоте. Только революция мораль-

---

\* Серван-Шрайбер Жан-Жак. Американский вызов. Париж, 1967. С. 291.

ная, а не общественная, политическая или техническая, приведет человека к утраченной им истине...»\* Понятия не имею о «жизненном минимуме» госпожи де Бовуар, но думаю, что он повыше того, идеализируемого ею в «некоторых очень бедных сообществах». Из парижских левых и правых интеллектуальных салонов жизнь на Сардинии или в Греции действительно может выглядеть «строго счастливой», но по моей Черногории я знаю, что в ней, несмотря на «сохраненные ценности, ценности подлинно человеческие», есть место еще и — голоду, ненависти, смерти...

Зачем морали — госпожой ли де Бовуар, мной или кем бы то ни было — читанные? Кто, во имя чего и как измерит людские потребности? Человечество шагнуло уже в эпоху электроники, где важнейшим фактором производства, а быть может, и всей жизни наций, станут изобретения, пользоваться которыми мыслимо лишь на уровне всеобщего среднего и среднетехнического образования. Йованович подчеркивает, что образование, особенно техническое, неизбежно превращается в важнейшую, сверхпроизводительную отрасль — основу всякого производства\*\*. Формы собственности и политические отношения, неизбежно и в любом случае, обязаны к этому приспособиться — чем раньше и безболезненнее, тем лучше. На Западе это приспособление еще кое-как движется, там наращивают роль государства и общественной собственности, что опять-таки вызвано как потребностями современного производства, так и давлением общества. На Востоке между тем наиболее жесткий отпор оказывает деспотическая форма власти, ибо власть там — собственность одной группы, партбюрократии, собственность, обеспечивающая все виды привилегий, а потому прибыльностью несравнимая ни с какой другой. Народы, которым не достанет сил и умения соответствующим образом подготовить и осуществить такое приспособление, будут обречены на подчиненность и эксплуатацию вопреки всей щедрости и самым благородным намерениям высокоразвитых наций. «Современное могущество — это умение изобретать, то есть — исследования, а также умение начинать изобре-

---

\* Серван-Шрайбер Жан-Жак. Американский вызов. Париж, 1967. С. 274—275.

\*\* Jovanovich William. Now Barabas. New York. 1964. С. 12—13.

тениями продукты производства, то есть — технология. Кладезь, из которого надобно черпать, не в земле более, не в количестве, не в машинах. Он — в уме нашем. Точнее, — в способности людей мыслить и творить»\*.

#### 4

Хотя я, выкарабкиваясь из марксистских философских догм, особенно тянуче-неохотно прощался с историческим материализмом Маркса, вернее, с той частью его фундамента, где производственные отношения определяются степенью развития производительных сил, а общественная, политическая и духовная жизнь вообще — способом производства, все же так называемая социалистическая собственность в коммунизме более всего мешала дозреть моим критико-программным размышлениям, и это несмотря на то даже, что я довольно рано — еще работая над «Новым классом», а с предельной ясностью — во время заключения 1956—1961 годов — ощутил: вот где собака зарыта, вот где надобно искать первопричину хронических болячек коммунизма. Помогли мне теории Маркса и собственный революционный опыт: от Маркса я усвоил, а участвуя в югославской революции, в перипетиях общественной и партийной жизни сегодняшней Югославии, сам почувствовал, узнал, что правящие группы и силы сопротивляются переменам в большинстве случаев со страху лишиться экономических привилегий, иначе говоря — боясь ликвидации форм собственности, обеспечивающих им материальные или, чаще всего, ряд иных преимуществ. Сегодня и мне ясно, что проблема намного сложнее, но бросавшегося в глаза несоответствия ненасытности коммунистических сановников — вчерашних революционеров и пролетарских вожakov — «идеальным» наставлениям Маркса было для начала достаточно: это подогревало мои сомнения, заставляло размышлять. А когда в Центральном комитете Союза коммунистов Югославии в январе 1954 года вершилась расправа надо мной, реальные отношения и «неидеальные» интересы мгновенно всплыли во всей обнаженности: среди членов Центрального комитета, моих близких товарищей, оказались

---

\* Серван-Шрайбер Жан-Жак. Американский вызов. Париж. 1967. С. 293.

не только люди, обуреваемые раскаянием за «разоблаченную» и «доказанную» в моем лице собственную ересь, а потому готовые побить меня камнями (за день до этого они всячески раззадоривали меня), но и такие, чьи убеждения и идеалы до того сжижились под лучами власти и удобств, что теперь, не ощущая ни малейшего шевеления совести, они отворачивались от меня, словно от издохшего пса, хотя, не заведи в тот день, как у нас говорят, дьявол все под свое крыло, то есть при любом случайном повороте в расстановке сил в мою пользу, они столь же «твердо» приняли бы мою сторону... То была горькая наука, но для любого, решившегося через нее пройти, прочувствовать ее до конца, она еще и неопровержимо устраняла любые сомнения...

Ядовитая муть распятых иллюзий после того первого — партийного — мне приговора не отравила меня: я не принял ложь за истину, а предательство — за необходимость. По сей день не могу исчерпывающе объяснить, почему решился на то, на что другие не решились, но уверен, что храбрость, если, конечно, она не объединилась тут с совестью, большой роли не сыграла. Основной была мысль, что создаю прецедент, нечто новое: от правды, ощущение которой пронизывало целиком мое существо и немилосердно пожирало мое «его», я не был в силах отказаться, даже если бы и захотел. С юных лет мне было известно, что от лжи и насилия никуда в политике не денешься, и, возможно, именно поэтому я никогда не мирился с ними как со средством идейной борьбы, тем более если таковая возникала между коммунистами. И в 1948 году, когда Сталин при поддержке клеветников из Восточной Европы обрушился на югославское руководство, мои сознание и совесть не давали друг другу покоя в поисках ответов на такие вот вопросы: что же это за власть, коли она и перед своим народом оправдывается и самоё себя укрепляет сплошным извращением правды? Куда идет общество, живущее неправдой, строящееся на ее фундаменте? Что остается от идей и идеалов, из которых делают средство устрашения и шантажа их же собственных приверженцев? Каковы действительные цели и интересы людей, использующих клевету и силу во взаимоотношениях с ближайшими единомышленниками? Почему мы, коммунисты, достигнув власти, становимся исключительнее и непоколебимо нетерпимее кого бы то ни было? За что меня обливают грязью, хотя знают и сами, что я

единственно хотел приблизить социализм к людям, чтоб стать ему более свободным и более югославским? Тогда, в 1948 году, был конфликт с миром, идейно — моим, но, не будучи связан с ним пуповиной, порывами, прежним существованием, я и ответы находил в рамках самой идеи. А в 1954 году и позже, то есть после осуждения Центральным комитетом, я оказался в конфликте с товарищами и затронуту было дело, которым мы занимались сообща: так внутри меня произошел разрыв — с прошлым, с течением жизни, с надеждами... Не случилось ли, пусть иным образом, того же самого с другими — со всеми еретиками, с каждым, кто данной реальности предпочел собственное видение? А дочь Сталина Светлана Аллилуева, эта чудесная, воистину бесстрашная женщина, — не ожила ли в ней недавно, восстав из адских бездн, совесть отца, брошенная им в жертву абсолютной вере и отождествлению самого себя с гипотетическими законами истории?..

После того осуждения панический ужас отрубил от меня всех, кто был мне близок; единственным существом, целиком соединившим свою судьбу с моей, была Стефания, моя вторая жена. В зловещей безлюдной пустоте в прах обращался прежний опыт, рассыпалась цепочка привычных представлений, дружба и верность, которыми дорожил больше жизни, вырывались с корнями: мои совесть и сознание, слившись, безразлично выгорали. Я зарылся в книги, взялся даже за ядерную физику и биологию, за наброски каких-то литературных кусков, за воспоминания. Но вне меня, вне отталкивающей, столь неожиданной действительности было безответно и глухо. И безвыходно.

А в этом сожжении себя прежнего на огне собственных мыслей и жалкого влачившегося существования меня неотступно преследовало одно замечание, сделанное Эньюрином Бивеном (1897—1960, левый лейборист, член британского парламента от лейбористской партии. — *Прим. пер.*) в присутствии его жены Дженни Ли, меня и Владимира Дедиера, когда мы за беседой коротали ночь в крестьянском доме близ Плевли. Было это летом 1953 года. Насколько помню, разговор шел о подходящих Британии формах слияния будущего социализма с традиционными политическими свободами, — я настаивал, а он не возражал, что у нас такой формой могло бы быть рабочее самоуправление, — и тут у него вырвалось: «Смешанная экономика». Формулировка Бивена относилась к

Великобритании: он утверждал, что там нужно национализировать только те отрасли, которые в национализированном виде работали бы эффективно или эффективнее, остальное должно оставаться частным либо кооперативным. В Югославии, не говоря уж о других восточноевропейских странах, этот вариант неприемлем по сей день, поскольку тут практически уничтожен средний — буржуазный — слой и осуществлена национализация даже мелкой собственности. И все же в мысли Бивена было нечто, что совпало с моими более поздними выводами, а именно: безысходность и ограниченность коммунизма, неосуществимость любых реформ в нем по сути дела вытекают из собственности, по форме являющейся общественной или общенациональной (в таком обличье освященной и абсолютизированной), в то время как действительно управляет и распоряжается ею посредством государственных и хозяйственных органов партбюрократия, делающая большие или меньшие уступки другим общественным слоям, которые попеременно и служат ей опорой.

Все это было мне известно уже под конец работы над «Новым классом» в 1956 году, к той же проблеме, но более углубленно, я возвращался в тюремных своих раздумьях. И все же, хотя эта самая «социалистическая собственность» перестала быть для меня святыней, я еще не видел однозначного и ясного выхода из нее и для нее, то есть не находил формы и способа ее замены. Да и не было у меня такой возможности до тех самых пор, пока развитие Югославии за несколько последних лет не дало мне достаточно фактов и пока (после выхода из тюрьмы 31 декабря 1966 года) сама действительность — состояние экономики, жизнь и сомнения людей — не стала мне понятной.

Когда меня освободили после второго заключения, в Югославии полным ходом шла так называемая хозяйственная реформа, которую вершители югославской политики «возлюбили» слишком поздно, да и не от хорошей жизни, а под прессингом потерь, хаоса и отставания, во всяком случае — не в силу аналитического и лишенного догматизма подхода к условиям и методам развития современной экономики. На официальном уровне все, естественно, только и говорили о реформе; ее цели, продиктованные состоянием и потребностями хозяйства — прибыльность, ориентация на мировой рынок, свободное

движение товара и капитала, конвертируемость валюты, эффективность и экономичность административных структур, — сами по себе сомнений не вызывали. На деле же никто серьезно не старался, да и не мог чуть серьезнее постараться осуществить реформу, ибо оставалась нетронутой старая политико-административная структура и неизменными формы собственности при монополии партбюрократии, хранителя этой собственности и распорядителя. В сельском хозяйстве по-прежнему главная ставка делалась на госхозы, почти в ста процентах случаев нерентабельные, а бюрократическо-монополистические «задруги» все так же грабили миллионы крестьян, вынужденных плюс ко всему терпеть еще и произвол местных бюрократов. («Задруга» — сельхозкооператив в послевоенной Югославии, организованный по образцу и подобию советских колхозов. — *Прим. пер.*) Оставались в летаргической спячке ремесленничество, общепит и мелкая торговля, хотя так называемый «социалистический сектор» чаще всего был не в состоянии удовлетворить возросшие потребности и в данных сферах рентабельным не являлся. А что особенно важно: и сама так называемая «социалистическая собственность», то есть промышленность, банки, транспорт, энергетика, львиная доля торговли, ремесленничества, общепита, также по-прежнему влачила жалкое существование, выбиваясь из сил в тисках собственных «священных» неповоротливых форм, задавленная монопольной властью партбюрократии, тем более невыносимой, поскольку по сию пору является в значительной мере и монополией на управление и принятие экономических решений. Поначалу скрепя сердце и неорганизованно, а позднее — в силу нужды и потребности Югославия превратилась в крупного экспортера рабочей силы; причем, чтобы ирония судьбы была большей, уезжали в Западную Европу, под эксплуатацию иностранных капиталистов. Это вместо свободного личного предпринимательства в собственной стране. Был предложен и узаконен ввоз иностранного капитала. Но данная мера в развитии не преуспела, так как даже правовой фон, не говоря уж о политико-экономическом, созданный бдительными пастырями-охранителями интересов трудового народа и социализма, оказался для нее непригодным. Такие свое отжившие формы и отношения стали слишком тесны для всякой, социалистической в том числе, современной экономики... Я предсказал это в «Новом классе», в главе



«Идеологическая экономика». Сегодня данный вывод со всей наглядностью подтверждается в Югославии, в том или ином виде аналогичное ожидает, если там этого уже не случилось, всю Восточную Европу...

Таким вот образом состыковались мои представления о корнях коммунистического деспотизма с мыслями Бивена по поводу свободы в британском социализме. Хотя, конечно, смешанная экономика в Югославии, существующая ныне, а подспудно существовавшая всегда, в перспективе тоже вряд ли сможет походить на британскую, не говоря уж о соответствии последней. Ибо в Великобритании, по Бивену, речь шла о поэтапной замене частной собственности на национальную там, где данная мера будет в силах обеспечить лучшую эффективность и не повредить наряду с этим британскому парламентаризму. В то время как в Югославии вопрос стоит о достижении политических свобод и высвобождении уже национализированной крупной и приглушенной частной собственности.

Причудливы, воистину непредсказуемы линии судеб человеческих. Бивен вышел из горькой доли валлийских горняков, из индустриализма и британского парламентаризма, я — из черногорской нищеты, интеллигентского бунтарства и непреодолимой тяги к индустриальному обществу. И тем не менее взгляды наши все сближались, дружба крепла. Что и дало повод ландскнехтам засушенно-несгибаемой догмы обвинить меня в подверженности влиянию британских лейбористов. Особенно Бивена. Бивену в этом смысле больше повезло: приди даже кому-то на ум, что дружба с югославскими коммунистами заразит его их идеями, хулить его за это не стали бы. Бивен был непреклонен, требуя моего освобождения, а его смерть в 1960 году, о которой я узнал, находясь за решеткой, до основания потрясла меня, но в размышления мои не вторглась. И если отдельные мысли этого умного, отважного человека соединились с моими, то вот вам дополнительное подтверждение невозможности в наше время обособить политические системы. Что же до истинных идей, то они обособленностью никогда не страдали. А сегодня каждый волен «измерить», в какой степени мои взгляды развивались самостоятельно и остались независимыми.

Хотя во всех коммунистических странах по-прежнему в силе некоторые из сущностей коммунизма — однопартийная система и монополизм партбюрократии при решении экономических вопросов, — внутренняя жизнь и международная роль каждой из них теперь настолько отличны, что величайшим из возможных заблуждений были бы попытки некоего отождествления этих стран. Именно по этой причине отдельные положения, высказанные мной в «Новом классе» и касающиеся как национального коммунизма, так и принципиальной возможности что-либо в коммунизме изменить, нуждаются сегодня если не в пересмотре, то наверняка в дальнейшем развитии.

Тут главным образом имеются в виду: 1) положение, по которому всякое коммунистическое государство, возникшее путем революции, неизбежно развивается в национальное, то есть в национальный коммунизм, и 2) положение, по которому коммунизм непрестанно видоизменяется, хотя неизменной остается его сущность — монополия власти над экономикой и целиком жизнью нации.

Возникшие расхождения и конфликты между СССР и Албанией, СССР и Китаем, а также между Китаем, Кубой и СССР подтвердили в принципе первый тезис, но отношения между коммунистическими государствами дошли уже до той грани, когда зону его действия должно было бы распространить на все коммунистические государства и все партии, то есть так, что всякое коммунистическое государство, едва стабилизировавшись, устремляется к самостоятельности и подчинению всех своих целей национальным идеалам и возможностям, а любая коммунистическая партия, не правящая даже, — к политической независимости от коммунистических сверхдержав. Другими словами: народы и нации существуют и помимо коммунизма, как они существовали помимо иных общественных движений и формаций, вынуждая таким образом коммунистов приспосабливаться к их характерам, стремлениям и возможностям. Между тем минусы второго тезиса вызваны не только переменами, произошедшими в действительности, но и моими, уходящими корнями в Аристотеля и Маркса, философскими взглядами того времени, допускающими (по крайней мере при интерпрети-

ровании) возможность отделять формы от сущностей. Более того, из подтекста «Нового класса» можно сделать вывод о моей в ту пору убежденности, что изменение сущностей — в данном случае социальных — происходит единственно путем их внутреннего разрушения, а также постепенного преобразования. Поэтому сегодня упомянутый тезис следовало бы переиначить, сказав, что коммунизм меняется и в самой сущности, но вывода о состоявшемся уже его изменении не делать и тем более не устанавливать единого для всех стран механизма этого изменения. Напротив: как раз в связи с тенденцией превращения коммунистических движений в национальные напрашивается естественное логическое — хотя в действительности ничего не происходит по законам логики — следствие, что преобразование коммунистических движений в каждой стране будет происходить на свой, особый манер.

Аналитические страницы и выводы «Нового класса» — это практически полностью материал, почерпнутый из наблюдений за советским и югославским коммунизмом, за конфликтом между ними. Что и понятно, поскольку коммунизм тогда находился на старте дифференциации по национальным и внутриобщественным признакам. Сегодня уже ни одно коммунистическое государство, да и группа государств и партий, не в состоянии послужить источником для достаточно реального и убедительного обобщения. И хотя в «Новом классе» я указывал, что коммунизм — именно вследствие того, что он меняется, — следует разъяснять на каждом этапе его развития, сегодня к этому требовалось бы добавить следующее: всякое стремление обобщить коммунизм ведет к заблуждениям и ошибкам, путь же к познанию и умению верно ориентироваться — это изучение коммунизма прежде всего в каждой конкретной стране, а также прежде всего в зонах влияния коммунистических сверхдержав. По сути, единого коммунизма больше нет, есть подвиды национального коммунизма, отличные друг от друга и доктриной, и действительностью, которую выражают и реализуют. В интернациональном движении коммунистов удерживают сегодня либо осколки стремления к нему, либо страх перед внешней или внутренней угрозой, запугивание со стороны одной из коммунистических сверхдержав, либо в конце — печальные воспоминания о вымышленном «потерянном рае» мирового братства... Что же до советского и югославского коммунизма, то, хотя интересы государ-

ственные и общественные время от времени в форме высокого догматического мудрствования и упражнений в дипломатической утонченности реанимируют их жестокий когда-то спор, они сегодня в такой степени отличаются друг от друга, что один — советский — превратился в опору консервативных коммунистических сил как в собственной стране, так и вне ее, а другой является примером бессилия и распада коммунизма и как теории, и как практики или, если точнее и честнее сказать, — примером национального коммунизма и надеждой демократическо-го преобразования.

Проблемы коммунизма и люди в коммунизме многим новы. Что до проблем, по самой своей природе необычайно обширных и сложных, то их почти невозможно охватить разумом, до конца в них проникнуть. Но на данном политическом и социальном фундаменте некоторые черты, некоторые свойства коммунизма сделались ясными и неотторжимыми. Словно мастер смеется над собственным творением или оно, умирая, утверждает этим учение своего творца: в коммунизме вступили в конфликт производительные силы и производственные отношения, и если в одном из знаменитых положений Маркса мы слово «капитал» заменим на слово «партия», то получим возможность приоткрыть завесу судьбы коммунизма — судьбы, которую Маркс, напомним, уготовил единственно капитализму: «Монополия капитала (партии. — *М. Дж.*) становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней»\*.

Против коммунистической властной монополии и монополистических поползновений в управлении и распоряжении экономикой восстали на этот раз именно те организационные формы, на которые коммунисты, оказывая им всяческое предпочтение, надеялись как на свою опору. Имеется в виду так называемая социалистическая, или общественная, собственность, составляющая в Югославии основную часть, а в других социалистических странах — почти целиком национальное богатство, имеется в виду также сама власть и даже сама партия.

Эта монополией и догмой задавленная, окаменевшая собственность, или национальная экономика, вошла в такую фазу развития и углубилась в такие международные экономические и политические отношения, что оказалась

---

\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 23. С. 772—773.

больше не в состоянии обновляться, а не то что соперничать со всесторонне конкурентоспособными экономикками Запада, которые используют все более современную технику и во все большей степени управляются электронными машинами. Говоря упрощенно, коммунизм главным образом оказался способен — пусть жестокими и чрезмерно дорогостоящими средствами — преобразить хозяйство, в основе которого лежал труд ремесленников и крестьян, но натолкнулся, и должен был натолкнуться, на трудности сейчас, когда в силу необходимости, продиктованной условиями индустриального развития, он вынужден прибегнуть к помощи электроники, всеобщего образования, а также ученых и специалистов самого широкого профиля и переходить в новое, усложненное состояние — к автоматизированному и крупносерийному производству.

Развитые западные страны решали те же, лишь по-иному выраженные проблемы: там запрещались или по крайней мере ограничивались монополии, частные формы собственности дополнялись государственно-кооперативными, а роль государства в координационном планировании повсеместно и значительно возрастала. Тем самым частную собственность не отменили, да и вряд ли можно сказать, что ее ограничили, — просто она не является больше исключительной формой собственности. Жизненная необходимость, вынужденность производить на базе новейших, самых современных методов, подчиненность достижениям науки делали и делают формы собственности на Западе максимально мобильными и разнообразными. А значит, и все старые святыни низвергнуты или поколеблены, находя пристанище единственно — в головах людей. Эти перемены, это приспособление началось очень давно — с появлением акционерных обществ, сталкиваясь, как и все человеческое, с препятствиями (монополии) и застоями (кризисы), которые люди вынуждены были устранять, преодолевать в борьбе и совершенствовании изобретательства... Но коммунисты либо запятовали, либо замалчивают, что не кто иной, как сам Маркс, подчеркивал: «Капиталистические акционерные предприятия, как и кооперативные фабрики, следует рассматривать как переходные формы от капиталистического способа производства к ассоциированному, только в одних противоположность устранена отрицательно, а в других — положительно...»\*

---

\* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. I. С. 484.

Нечто похожее, но совершаемое силовыми методами и окольными путями происходит с так называемой социалистической собственностью в Югославии, а закамуфлированно и при прочих ухищрениях — также в остальных восточноевропейских странах, даже в Советском Союзе, Болгарии и Восточной Германии. И это вопреки стабильности положения бюрократии в первом из перечисленных государств, услужливому раболепию верхов во втором и догматической крутости в третьем. Государственные долги, как и потребность в иностранных платежных средствах принудили югославские власти ослабить ошейник на горле так называемого малого (частного) общепитовского бизнеса, безработица заставляет их идти на уступки ремесленникам-частникам, а хроническая нехватка капитала прервала сладкую дрему «социалистических» экономистов, предложивших не только приоткрыть двери капиталу зарубежному, но и обсуждающих возможность выпуска акций социалистических предприятий для продажи в частные руки.

Сказанное, однако, не означает, что в Югославии или где-то еще переживает кризис либо вот-вот обанкротится общественная — социалистическая — собственность, как таковая: в кризисе, на пороге краха находятся коммунистические привилегии, распространяемые как на эту собственность, так и на данную государственную власть, без чего коммунисты, естественно, перестали бы быть повелителями общества — «новым классом», а зато эта собственность и данная государственная власть без коммунистической монополии над ними не только обрели бы свободу, но и стали бы поистине общенациональным достоянием.

Без проверки практикой никто не может с абсолютной уверенностью сказать, как в целом вела бы себя эта собственность, получи она возможность для «свободного полета», ибо сегодня, благодаря бесстыдной алчности коммунистов, ее формы распространены даже на те отрасли и сферы, где нация, общество не только не нуждались в национализации, но где последняя довела до хаоса и снижения качества (при относительном падении также количественных показателей производства), что произошло, например, у ремесленников, в важнейших сельскохозяйственных отраслях, в большинстве направлений сферы обслуживания. При изменении форм собственности, как известно, играют роль не только технические факторы, но

и «страсти человеческие», равно как и организованные общественные силы. Но я не вижу ни разумных причин, ни какой-либо силы, которые упомянутой собственности, вырывая ее из-под опеки партийной и прочей бюрократии, могли бы придать некую иную форму, кроме нынешней, вобравшей в себя мысль и пот людей — ее создателей: то есть собственности — последовательно социалистической, общенациональной в действительном значении этих слов, а не в том единственно, которое используется демагогическими догмами и самообманом. Подчеркиваю это не как сторонник демократического социализма и не как политик, ищущий возможные решения в собственной стране: видопреломление форм собственности в развитых западных странах, то есть в странах классической частной собственности, показывает, что эта — социалистическая, она же общенациональная форма собственности (безусловно, свободная от монополии политической и прочей бюрократии, да и к тому же не как единственная, не как абсолютная) весьма действенна не только при преодолении социального неравенства, но и при использовании современной техники во человеческое благо, с целью создания более достойных условий жизни людей... Хотя вся ценность аналогий ограничена их свойством давать нам пищу для размышлений, тем не менее трудно удержаться и не сравнить коммунизм с феодализмом. И не из-за того только, что верхушка коммунистической олигархии раздает функционерам от партии государственные, а часто и хозяйственные посты тем же манером, как короли и вельможи за заслуги и верность одаривали ленами своих дворян, но и по причине паразитизма, никчемности тех и других при рыночно-промышленной экономике: как королевская власть, привилегии феодалов и феодальное землевладение мешали свободе набравших силу в недрах феодализма торговли и промышленности, так деспотизм олигархии, властные и хозяйственные привилегии в руках бюрократии, а также неповоротливые, абсолютизированные формы собственности, на которых эти привилегии возлежат, стали тормозом современного обращения, современного управления, современной технологии, да и самой общественной собственности, развившейся в коммунизме...

Освобождение общенациональной собственности в коммунизме не может произойти без изменения политических и общественных отношений, а это, однажды слу-

чившись, вызовет дальнейшие перемены — и в обществе, и в отношениях собственности. Пример Югославии демонстрирует, как ослабление роли партийной и прочей бюрократии в национализированной экономике, вызванное необходимостью перехода на экономику рыночную, повлекло за собой также ослабление «социалистической» собственности, но в тех лишь областях, где таковая была навязана идеологическими предрассудками либо паразитическими потребностями политбюрократии, там то есть, где на самом деле она и не являлась социалистической: развалились колхозы («трудовые задруги»), восстановилась личная крестьянская собственность, оживила частная собственность в сфере обслуживания, возникли формы так называемой групповой собственности и прочее. Это предопределяет вывод, что коммунистические системы движутся к разнообразию форм собственности. Даже социалистическая собственность, освобожденная наконец от политических паразитов и бюрократических распорядителей, должна будет менять, множить, приспосабливать формы и способы управления, приводя их в соответствие с требованиями современной техники, современного управления, мирового рынка... А что до оправдания возникновения и развития частной собственности, которая для Югославии в некоторых видах и в определенной мере становится уже экономической потребностью; то вряд ли стоит слишком переживать за коммунистов, которые, порывшись в бездонном своем догматическом арсенале, и под это подложат милые-хорошие «социалистические» «марксистские» теории — если только, ясное дело, данная собственность не создаст угрозы их монополистическому богатству — власти...

Все прежние реорганизации и «реформы» в коммунизме только варьировали способ осуществления «руководящей роли партии», то есть формы партбюрократических привилегий. Ныне — во всяком случае, что касается Югославии и, иным манером, Чехословакии\*, — экономические, да и общественные отношения достигли уровня, при котором их дальнейшее развитие невозможно без коренных перемен, причем в направлении более свободного действия существующих и зарождения альтернативных

---

\* Прошу читателя иметь в виду, что эти строки написаны до оккупации Чехословакии в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. — М. Дж.



форм собственности, как и по пути упразднения монопольной роли в обществе и экономике одной-единственной политической группы, даже одного партийного течения. Ибо югославская экономика страдает сегодня от всех хворей: анархии, безработицы, застоя производства, «переизбытка» товаров и дефицита капитала, чрезмерного внешнего долга и т. п., — которые марксисты обнаружили в капитализме и «утвердили» их, действительно мучивших некогда капитализм, в качестве исключительно ему присущих «неизлечимых» недугов. В эти дни, когда чехи со словаками воодушевлены свободой, столь мудро, столь отважно добытой у местного и закордонного сталинистского деспотизма, жаль портить людям праздник, но все-таки не могу умолчать о том, что у них тоже впереди трудности, число которых, учитывая более высокий уровень их экономики, а также зависимость от советского «старшего брата», может быть даже бóльшим. Но пусть утешит их, что в остальных коммунистических странах, да и в самом Советском Союзе под отлакированной догматическим оптимизмом и односторонними успехами видимостью благополучия не только кишит то же самое, если не худшее, зло, описанное Марксом по наблюдениям за ранним капитализмом, но и проклевываются ростки надежды, сплачиваются силы, желающие перемен и свободного развития... От всего этого зла коммунистические страны избавятся, ибо единственной непреходящей для человеческой жизни святыней и формой является собственное бытие и распространение в природе...

Будущее ведомо лишь богам и догматикам. Но даже мы, простые смертные, видим, что коммунисты «допустили» две роковые «ошибки»: на Западе не согласились умирать по их рецептам, Запад продолжил путь технического прогресса, а плюс к тому и в коммунистических странах жизнь осмелилась перешагнуть границы, которые они ей предписали. Собственность, коммунистами созданная и возвышенная до идеала (поскольку лежит в основе их существования и привилегий), такая, какая есть, то есть подчиненная монополии партийного управления и распоряжения, не в состоянии ни приспособиться к внешним реалиям, ни опереться на внутренние свои возможности — дабы обеспечить нации достойные условия бытия. Ни один народ до сих пор не соглашался умереть во имя прелестей некоей догмы, коммунистическая догма — не исключение в этом правиле. Сегодняшняя Югославия —

пример краха коммунистических иллюзий, но — в одном ряду с Чехословакией, безусловно, — и пример зарождения нового в недрах старых форм: фермент возмущения находится в самой так называемой социалистической собственности и в среде неудовлетворенных, обманутых, но не опустивших руки коммунистов. С точки зрения потребностей общества, с точки зрения реальной действительности единственной преградой на пути естественных жизненных устремлений югославского, да и целого восточноевропейского хозяйственного организма к слиянию со всей Европой, а также устремленности граждан Югославии и, конечно, других восточноевропейских стран к свободе выступает сегодня привилегированное коммунистическое господство над государством и экономикой.

До недавнего времени объединенная Европа была и моим идеалом. Но хотя мне по-прежнему кажется, что вхождение Югославии в Общий рынок (ЕЭС) является неотложной жизненной потребностью ее народов, я уже не столь твердо уверен, что объединенная Европа сможет стать самостоятельной мировой силой, если таковая роль ей действительно необходима. Это тем менее вероятно, что, говоря о Европе, чаще всего забывают Россию, хотя их судьбы до настоящего времени были неразделимы. Лозунгом «Европа от Атлантики до Урала» де Голль продемонстрировал, что осознает это. Европа без России сегодня куца и бедна, ее настигли в знаниях и обошли в технике, и не по плечу ей не то что растолкать конкурентов — новые силы, но и хоть как-то противостоять им. Но де Голль не понимал или не желал понимать, что Россия по сию пору внутренним своим устройством и гегемонистскими претензиями противостоит Европе. Будем надеяться, что однажды китайская опасность извне, убыточность изолированного внутреннего развития и неосуществимость гегемонии — СЭВ (Комэкон) и Варшавский пакт деградируют — приведут к союзу России с Европой. Тем более что освобожденные формы, о которых здесь речь, есть условие дальнейшего расцвета русского народа, единственного, который ценой безмерных страданий и неисчислимых жертв сумел раздавить оба вида современного деспотизма: рационалистический Наполеона и иррациональный гитлеровский, поработивших Европу и замахнувшихся на весь мир... Я часто думаю, что Хрущев был лишь предвестником больших реформ и что еще только предстоит явиться великому реформатору, схожему, ве-

роятно, более с Александром II, нежели с Петром I, поскольку сегодня актуальнее расширить и узаконить не национальные, а скорее общечеловеческие возможности и ценности... Но надежды не творят историю, и никто не в состоянии вернуть ушедшего времени: восточноевропейские страны, Югославия в том числе, не могут ждать союза, пусть бы и наверняка грядущего, Европы с Россией, им уже сейчас нужно сближать свою экономику с западноевропейской, готовя экономические и людские ресурсы к действию в более сложных и масштабных условиях. Европа, вполне очевидно, может обойтись без единства с данными государствами, подобно тому как в XIX веке для нее не было определяющим, обретут ли Сербия с Румынией независимость, а Польша — целостность. Но без Европы не обойтись восточноевропейским странам. Так же, впрочем, как не обойтись им без США и Советского Союза, да и без Азии тоже, ибо центр тяжести мировой истории сместился к западу и к востоку от Европы. Европа — это пространство, через которое, будучи частью его, они соединены с миром, это необходимая форма их экономического и культурного существования.

## 6

Пусть Маркс простит мне это последнее смертное преступление, но кризис в коммунизме вызван не экономическими — так называемыми объективными, а исключительно человеческими — так называемыми субъективными факторами. Но удивительно то, что факторами этими выступают по большей части не идеи, овладевающие массами и становящиеся материальной силой, а человеческая неподатливость насилию, облеченному в грубое ли принуждение, в духовное господство или — что чаще всего и бывает — в сплав первого со вторым. Ибо горемычный род людской, сырой человечиска снесет любое зло, любое насилие, но дотоле лишь, доколе будет вынужден или сможет сносить, а совсем не поддастся никогда.

Еще Аристотель открыл, что всякая людская общность есть общность различных устремлений, а посему никакой единый порядок не мог и не может удовлетворить и облагодетельствовать всех. Вот и коммунизм никто не попрекает за то, что ничем он в данном смысле и в лучшую сторону от других устроений не отличается, хотя

сам себя, а значит, и других тоже, он убеждал, себя вокруг иллюзии, в обратном. Точно так же крах любого деспотизма не происходит по причине чрезмерной или недостаточной его жестокости, а тогда, когда человеческим сознанием последняя воспринимается как бессмысленность и беспричинность, то есть когда не может уже больше оправдывать себя жизненной необходимостью.

По названной причине не только люди обыкновенные, — если таковые существуют, — но и разные интеллигентские зануды, вопреки факту, что всегда находили коммунизм несколько «неестественным», вынуждены терпеть его до тех пор, покуда он, пусть даже силовым путем, решает те жизненно важные для нации вопросы, которые иные общественные силы по тем или иным обстоятельствам решить не в состоянии.

Осуществимость коммунизма ставилась под сомнение с момента зарождения его как идеи, а протесты против несоответствия между тем, что он обещал и что выходило на поверку, раздавались из собственных его рядов с тех пор, как он добрался до власти. Ни один из подвидов революционного деспотизма такого соответствия достичь не смог, коммунизму это также не удалось. Что же и говорить о его попытках отождествить себя с деидеализированными естественными устремлениями — с нормальной повседневной жизнью людей? Вот почему коммунизм, сыграв роль генератора революционного насилия сообразно потребностям некоторых современных нам общественных систем и наций — как некоторые системы и нации в иные времена ощущали схожую потребность в иных, но также на насилие сориентированных революционных силах и начинаниях, — должен быть заменен «естественным», «неидеальным», то есть деидеализированным строем. Это с неотвратимостью диктуется самой природой и исторической ролью любого революционного учения и любой революции: человеческая жизнь, за неимением цели определеннее и конечнее самого бытия, со временем отвергнет и коммунизм — революционное учение и революционную власть, — невзирая ни на какие его идеальные цели и, еще меньше, — на добрые намерения и лучшие качества его вождей.

Общественно-экономические отношения, установленные коммунизмом, в том числе и ради собственного увековечения, сами по себе еще не причина его конфликта с течением жизни, хотя и они, бывает, что используются в

качестве рассадника новых идей и форм. Возможно, причины как таковой вообще не существует, по крайней мере единственной и неоспоримой: просто со временем накопились наблюдения и произошел сдвиг в отношениях, так что сами коммунисты перестают верить в коммунизм, а жизнь человеческая, раскрываясь в большей комплексности, перестает выносить рамки, в которые загнала ее марксистская идеология и на которых по-прежнему настаивает тонкая прослойка власть имущих. Это происходит медленно, — если сравнивать с продолжительностью известных по прошлым временам периодов революционного насилия, но и быстро, — если учитывать размах индустриальных и других преобразований, задуманных, а частично и осуществленных.

Самые серьезные и укоренившиеся болячки коммунизма не проистекают сегодня из сопротивления «классового врага», которого, почитай, и не осталось уже, или из агрессивности «империализма» — завладев «атомной смертью», коммунисты сравнились с ним и сосуществуют в мире и сотрудничестве. Недуги в самом коммунизме, и поэтому, видно, для их ликвидации требуется тем больше усилий, чем более он предоставлен сам себе. Коммунизм вытесняется самой жизнью, а могилу ему роют свои же, в большей или меньшей мере догматически настроенные прагматики: одно и то же, можно сказать, поколение его вождей оборачивается поначалу из революционеров в деспотов, а потом — в «либералов», которым коммунистические идеи представляются как бы монетой для взаимных расчетов или тонюсенькой, готовой вот-вот сползти, позолотой. Частые перекрашивания коммунистических вождей, что благополучно сочетается у них с напрочь лишенным разумности, зашоренным противодействием жизни, действительности, ведет к тому, что коммунизм — когда-то огонь, которым пылали, и надежда, во имя которой всем на свете жертвовали миллионы борцов, — в разложении своем выглядит безобразнее любого из изживших себя прежних порядков. Отражая реальность, поэты предчувствуют уже, что коммунизм сам обесчестит все свои святыни.

Драматург и сатирик Матия Бечкович, скрываясь под псевдонимом, так описывает югославское общество образца 1967 года:

«Многие по сегодняшним меркам столь обычные, даже будничные явления были бы в одна тысяча девятьсот со-

рок пятом году приняты за невероятные и невозможные. Никто тогда не мог представить себе, что двадцать лет спустя несколько десятков тысяч югославов будут работать за границей. Единственно реакционеры могли бы додуматься до того, что бывшие бойцы (коммунистические партизаны. — *М. Дж.*) станут гнуть спину на бызших немецких солдат. Никто, конечно, не поверил бы, что студенты будут все так же разносить молоко, а отпрыски революционеров получать образование на стороне. А ведь это были хорошие пропагандистские аргументы против буржуазии, призванные скомпрометировать ее. Кто мог знать тогда, что в мире объявятся прогрессивные короли и со многими из них мы подружимся? Обладателям самой извращенной фантазии, ничего святого за душой не имеющим, даже присниться не могло, что в Югославию на летний отдых наведается с семьей Эрих Раякович (нацистский военный преступник. — *М. Дж.*). Мало кто ведал, что церкви и дворцы — наше культурное наследие, бесценная наша история. Были и такие, что, возвращаясь из грядущего, делились с народом впечатлениями. Они утверждали, а вокруг все верили, что в этом грядущем не будет безработных, неграмотных, без вины осужденных и обездоленных. В грядущем также отсутствовали: проститутки, бары, игорные дома, стриптиз, коррупция, разница в достатке, зарплаты, чиновники, домработницы, мода, хозяйки, прислуга и даже дворники!.. Только полные негодяи могли поверить, что нам не станет хватать электричества, что будем закрывать школы, сострадать американским президентам, курить американские сигареты, нахваливать американские напитки, жевать американскую жевательную резинку, носить итальянские туфли, пить испанские вина, с удовольствием покупать немецкие автомобили, петь ковбойские песни... Кто мог поверить, что бывшие немецкие солдаты станут нашими зятьями и желанными, почитаемыми туристами?.. И все это нормально сегодня. Так должно было случиться: один период расправился со своими заблуждениями, другой — со своими. Невозможные вещи сделались былью...»

Приведенный отрывок — мозаика сегодняшней Югославии, где разложение и вырождение коммунизма — процесс наиболее всесторонний, явный, но выглядящий при этом ничуть не безобразнее или привлекательнее, чем в любой другой восточноевропейской стране. Либо вообще в коммунизме как всемирном движении. Разумеется,

различий не миновать, поскольку неодинаковы условия, в которых действует партбюрократия, ее возможности, а также «пути в социализм» у каждой страны конкретно, но все партии, все коммунистические режимы охвачены процессом разложения классических революционных и зарождения новых, под мирное время скроенных, форм: для Югославии все это обернулось затяжным, безысходным экономическим кризисом и неудержимым идейным отмиранием партии; для Польши — конфликтом, по одну сторону которого стоят закоренелые догматики-партбюрократы просоветского толка, а по другую — в национально-демократическом духе настроенные представители партийной интеллигенции; для Чехословакии — выяснением отношений между остатками сталинистских сил и свобододлюбивым народом, ведомым коммунистами-демократами; для Румынии — окрашенным в национальные цвета сопротивлением советской гегемонии со стороны союза партийной верхушки и народа; а в международном коммунизме мы имеем дело с углублением конфликта двух коммунистических супердержав и дальнейшим отдалением компартий от каждой из них.

Так замыкается кольцо межпартийных и межгосударственных противоречий: сначала Советский Союз, а за ним и Китай, раз уж они не могли не быть сверхдержавами, должны были и по-гегемонистски вести себя в отношении слабых и беззащитных, каковыми являлись единственно компартии, решившие выжить, а потому одна за другой вырывавшиеся из-под их контроля. Ибо каждое государство — как и каждая нация, каждая личность — естественно стремится к равноправию, в силу чего появление большего числа коммунистических государств обязано было привести к неподчинению диктату прежнего всемирного центра, ослаблению последнего, к формальной его ликвидации и, в итоге, — к росткам «ереси» в национальных масштабах.

Это, кстати говоря, подтвердило, что коммунизм — не религия, а особого типа политическое движение или особого типа власть: до поры, пока он был преимущественно первым из двух названных вариантов — преимущественно идеологией, автоматически неся в себе многие свойства религии, он не просто мог, но и должен был иметь определенный центр. Стоило же ему перевоплотиться в разнообразие государств — пошел неизбежный обратный процесс. Далее. Напрашивается сравнение с расколом като-

лицизма в начале XVI века: причинами там были не одни тонкости толкования догмы, но и сопротивление, которое, ощутив собственную силу, князья оказывали светской власти папы. Католицизм-религия самоочистился огнем контрреформации, а постепенное ослабление светского могущества Ватикана, по сути, укрепило его в роли всемирного центра веры. По тем же самым причинам — если логическое предугадывание грядущего течения истории и здесь не подкачает — коммунизму нечего опасаться внутренних войн, подобных тем, что вели протестанты с католиками в Европе XVI столетия, хотя и не исключены между коммунистическими государствами различные конфликты, в том числе вооруженные, которые были бы непременно «замотивированы» преимуществами идеологии, но, отражая на самом деле стремление к превосходству, становились бы частью, если не поводом, столкновений более широкого — мирового масштаба.

Так внешние и внутренние различия и столкновения в коммунизме взаимоотражаются, дополняя друг друга, при постоянной тенденции к большей самостоятельности, к идеологической пестроте — к ослаблению догматизма. Распад и видоизменение коммунизма протекает, стало быть, и вертикально — то есть в самой идее, внутри всемирного движения, и прежде всего в каждой конкретной партии, и горизонтально — то есть как результат непрерывного, комплексного размежевания национальных партий с коммунистическими сверхдержавами и друг с другом.

Происходящее в коммунизме сопровождается, а отчасти и обуславливается расслоением самого общества, изменением расстановки сил в нем. Так, во всем восточноевропейском коммунизме (в каждой восточноевропейской стране по-иному, с разной интенсивностью) далеко зашел уже процесс созидания нового общественного слоя — особого среднего класса, рекрутируемого из представителей всех слоев — от верха партийной олигархии до квалифицированных рабочих и умело ориентирующихся крестьян. Его костяк — это специалисты всех профилей, а также люди искусства, политики-практики, удачливые менеджеры. Класс этот недогматичен, скорее даже — антидогматичен, он заинтересован в лучшем собственном жизненном уровне, увлечен техническим прогрессом и рентабельной деятельностью. Возник он спонтанно — как следствие индустриализации, привнесенных ею условий и отношений. Класс еще не обзавелся ни идеоло-



гией, ни организационными формами, хотя ростки того и другого (свободомыслящие теоретики, демократические течения) можно заметить в рядах самих коммунистов. Стать на пути роста этого класса партийная бюрократия не смогла, да и была не в силах, поскольку испытывала необходимость в его представителях — подвижниках индустриально-культурных преобразований, укреплявших ее же позиции и оправдывавших вообще ее бытие. Более того, она была вынуждена делать уступки будущим представителям этого класса, признавать их заслуги, так что сегодня может лишь журить их, оформленную особую силу, за «низкую» сознательность и «несоциалистическую» мораль да политическими кампаниями вкупе с административным трюкачеством тормозить их осознанную и организованную консолидацию. За этим классом будущее уже потому хотя бы, что усиление его невозможно задержать и что он, завоевывая в обществе преимущества для себя самого, одновременно совершенствует условия жизни народа... Не ожидая от этого класса ничего выходящего за рамки большего разнообразия условий и возможностей выбора, чувствую все же себя его сторонником: потому хотя бы, что предвижу его неминуемость. Ибо сегодня мышление мое не отделяет человеческую природу и судьбу народа от временной конкретной исторической формы, в которой они обязаны выстоять и самовыразиться...

В силу того что именно здесь данное развитие ушло особенно далеко, да и по причине своей многонациональности, Югославия, несомненно, представляет собой как поучительный пример вертикально-горизонтального распада коммунизма и расслоения общества, так и подтверждение общего вывода о несоответствии коммунизма современной жизни. Это несоответствие всякий раз выражается в ином виде: через идеологию, национальный вопрос, общественную проблематику — где-то и когда-то ярче в одном, другом, но до сей поры нигде и никогда в отрыве одного от всех остальных факторов.

## 7

Что же происходит в Югославии на самом деле?

Конфликт югославской революции с советским великодержавным гегемонизмом не мог не повлиять и на внутреннее развитие.

Поначалу руководство Югославии отбивалось от напа-

док со стороны СССР словесными опровержениями клеветнических домыслов и состязанием с советской партией в революционности. Но опыт вскоре убедил, что такая политика в лучшем случае может привести к красивой, героической гибели, ибо изолирует от внешнего мира и потенцирует сумятицу в собственных рядах. Находясь и сам в смертельной опасности, Тито решился на идеологическое углубление конфликта с советским руководством и на первые, весьма скромные меры либерализации — децентрализацию управления экономикой и децентрализацию административной деятельности (исключая политические органы — партию, тайную полицию и армию). Все это, разумеется, не происходило так легко, как я здесь живописую: ручейки либерализма соседствовали с мощным революционным течением, перерожденным уже, по существу, в реакционно-бюрократическое: так, к примеру, коллективизация деревни проводилась одновременно с либерализацией в интеллектуальной жизни и системе образования, а отказались от нее только под конец первого периода либерализации.

Вообще-то борьба со Сталиным и сталинизмом, хотя именно с нее начался распад мирового коммунизма, его внутреннее видоизменение, не обошлась и без отрицательных последствий: за партию, в которой не задавлено было еще идиллическое отношение к революционному товариществу (правда, и тогда уже демократизм не особенно процветал в ее рядах), «заступилась» тайная полиция — с обычной бесцеременностью диктаторской власти. Попытки облагородить партию духом демократизма, сообщив тем самым дополнительный импульс либерализации общества, экономики, встретили крутой отпор партбюрократии, и до той поры крепко уже державшей в руках рычаги власти: вскоре после смерти Сталина началась расправа с «ревизионистами», которые своей критикой сталинизма лишали «святости», подтачивали «идеологическое единство» партии, то есть — идеологическую монополию партийной олигархии.

Но кое-что уже изменилось: югославское государство обрело самостоятельность, югославская экономика, включившись во внутренний и внешний рынок, разорвала административные путы. Так что даже ярые сторонники идейного единства партии, как и опоры власти на тайную полицию, стали вынужденно пользоваться демократической демагогией... Хемингуэй однажды тонко и умно за-

метил, что революционный энтузиазм можно продлить только с помощью деспотизма, однако история всех догм, в том числе коммунистической, подтверждает, — а Югославия сегодня вернейший тому пример, — что веру, отравленную новыми истинами, возродить невозможно, так же как невозможно воскресить святое единство церковей или массовых движений, подорванное распятием самых верных и искренних их последователей. Ибо назад возвращается, если возвращается, уже не то колесо истории, да и дорога, по которой катится оно, — уже не та дорога.

Духовные веяния, рыночный настрой экономики, дифференциация в обществе постепенно, но неуклонно делали дело: правящая партия — Союз коммунистов Югославии — не является больше ни сталинистской, ни ленинистской партией, а то, что в имени своем она все еще сохраняет напоминание о коммунизме, объясняется ее происхождением и неугасимой потребностью пользователей коммунистической идеологии в самообмане.

Различать «ленинистскую» и «сталинистскую» партии, хотя такой подход, возможно, и покажется крайне догматичным, весьма важно: Сталин не только настаивал на «идейном единстве», то есть монолитности партии, но и реализовывал таковое самыми суровыми методами, в то время как Ленин, пусть непоследовательно и ограниченно, допускал все же в партии открытое выражение несовпадающих взглядов. Поэтому, когда сегодня вожди красной байстрюки о возвращении к «ленинским нормам партийной жизни», они, по существу, лгут тем уже, что сводят эти «нормы» к более строгому соответствию уставу, а не к тому, в чем заключался их смысл при Ленине, — в гарантии прав партийного меньшинства, выработке общей линии партии на основе различий во мнениях и платформах. Ни одна правящая коммунистическая партия, в том числе и Союз коммунистов Югославии, не придерживается этих, действительно ленинских, норм\*.

Отношения внутри коммунистических партий и общественных систем под их управлением только внешне и на словах развиваются по пути возврата к Ленину и его партийным «нормам», либо к «молодому» Марксу и его теориям об отчуждении. Все эти потуги — не что иное, как привычное цепляние коммунистов за призрачные, отжившие мифы.

\* Такие нормы предполагались в проекте нового устава Коммунистической партии Чехословакии. — *М. Дж.*

Развитие коммунистических партий, вопреки упрямо-му противодействию верхов и официальному глянцу, движется на деле к размягчению, даже распаду их идеологии, к превращению их во все менее спаянную компанию разношерстных, часто диаметрально несовпадающих течений, хотя и слепленных все еще в единый идеологический ком. Это не исключает коротких, под влиянием иллюзий наполовину с отчаянием, порывов и разворотов то в сторону Маркса, то Ленина, но основной поток неудержимо рвется к ослаблению догматических и усилению более свободных, более жизненных отношений.

Сегодняшнее состояние всех восточноевропейских стран, а особенно Чехословакии и Югославии, показывает, что новые, более свободные идейные течения, которые вначале захватывают преимущественно сферы искусства и экономики и с которыми коммунистические вожди вынуждены мириться по причине недопустимости внешней изоляции, опасности погрязнуть в отставании, а также во избежание потери собственного статуса, — а это может легко случиться в междоусобной борьбе, — неизбежно подрывают унифицированную монолитность партии и вершат ее расслоение. Тем самым я не хотел сказать, что все коммунисты — всегда и везде противники современного искусства, а то лишь, что все новые формы искусства необходимо связаны с самостоятельным, неприспосабливаемым мышлением. Точно так же и рыночная экономика немислима при существовании любой, тем более политической монополии, которая как таковая засоряет ее жизнь и условия функционирования внеэкономическими, идеологическими силами, навязывает ей отнюдь не необходимые, произвольные нагрузки.

Самой большой сложностью для Югославии, да и для Чехословакии тоже, оказалось восприятие — пока еще не слишком поздно — этих истин, если они вообще будут усвоены. Возврат к идеологическому единству в партии и идеологизированному управлению хозяйством, на что Югославия попыталась отважиться в период с 1962 по 1966 год, невозможен без сопутствующего обострения оппозиционных тенденций, страшного сумбура и колоссальных убытков. Надо подчеркнуть, что ряд заторов и экономических неудач, повсеместно отразившихся в последние годы на жизни страны, не есть, как твердят сталинисты вместе с прочими догматиками, результат неверного применения «хорошей» марксистской теории, не яв-

ляется он, как о том говорят официально-полуофициальные реформаторы, и последствием неадекватности устаревшей администрации, поскольку, мол, с похожими трудностями сталкиваются другие страны Восточной Европы.

В Югославии неминуемо должно было дойти — так, как получилось, — до столкновения между экономикой и официальной политикой. За чем логично последовала поляризация внутри общества. На одной стороне оказались интеллектуальные, высокообразованные созидательные силы, пришедшие как изнутри партии, так и извне ее, поддержанные новой для общества группой технической интеллигенции и бизнесменов-менеджеров, а также, потенциально, — широкой публикой; на их пути оказались все убывающие ряды политической бюрократии, творцов так называемых «политических фабрик» (то есть промышленных предприятий, построенных более по политическим и доктринальным соображениям, нежели в силу потребностей экономики). В тот же строй влились сельские бюрократы и испытанный недруг технического прогресса — политчиновничество с производства.

Не образовалось, вопреки многим предсказателям, двух полюсов: партия — общество. В данном смысле недосказанным остался и мой «Новый класс». Один и тот же раскол, от вершины до основания, растекаясь по всем порам, потряс и партию и общество. Свободу множит и компартия, а точнее, достойные, мыслящие люди из ее рядов, поскольку на самом деле — в классическом ленинско-сталинском смысле — коммунистической эта партия уже не является.

Такое раздвоение, перерождение духовное и внутриобщественное, есть лишь по-иному выраженная тяга югославских наций к большей административно-хозяйственной самостоятельности. Сила такой тяги с очевидностью нарастает у всех наций Югославии, хотя — соответственно различиям в уровнях достигнутого, историческому фону и перспективам — акцентируется она неодинаково: говоря в общем, у словенцев превалирует экономическая, у хорватов — государственно-правовая, а у македонцев — духовная сфера. Что же до сербов, то у них — крайности: либо сохранение единого государства более-менее таким, какое есть, либо полное обособление. Дальнейшая детализация, окунься я в нее, отдельных устремлений югославских народов или национального вопроса в целом не

стыкуется ни с замыслом, ни с внутренней целостностью этой книги. Тем не менее некоторые аспекты привлекают новизной и универсальной значимостью. Процесс достижения самостоятельности республиканскими партиями, отделение республиканских административных органов от союзных, а наций — друг от друга и от центра периодически бывает наиболее отчетливой, да и самой решающей формой сопротивления и распада — изменения старых форм. Ибо не стоит забывать, что национальные и общественные противоречия развалили королевскую Югославию буквально за несколько дней войны, а коммунисты воскресили ее восстаниями против оккупантов, но в решении национального вопроса, и не только его, вопреки собственным красивым декларациям, продвинулись не намного дальше культурных и административных автономий. Централизм в старой Югославии поддерживался сербской монархией и военно-полицейским аппаратом, в котором преобладали сербы. И новая, коммунистическая Югославия осталась в сущности централистской, только реализуется это теперь иным путем — через единую, централизованную политическую партию, также опирающуюся на армию и тайную полицию.

Хотя они и принадлежат к категориям внеисторическим, нации тем не менее изменчивы в своих стремлениях, возможностях, да и сами обстоятельства существенно переменялись. Югославию ее народы создали и отстаивали в борьбе против захватнических империй — сначала Турции и Австрии, а затем Германии и Италии. Сейчас не только больше нет империй, представляющих для них опасность, но и никто не оспаривает права даже самых отсталых народов на собственную государственность и культуру. С распадом и расслоением коммунистической партии не просто ослабла сила, сплывавшая Югославию изнутри, но гаснет сама идея югославянства — та, что провела наших предков сквозь все тяготы долгой национальной борьбы, а мое поколение подвигла на революцию, которая совершалась в схватке с немецкими и итальянскими фашистскими поработителями.

Вот так на наших глазах, несмотря на то, что для многих поколений она была вдохновеннейшей, жизненно необходимейшей реальностью, выветрилась идея югославянства. Ибо жизнь югославов в ней больше не нуждается. Убеден, что, такое, как есть, нынешнее югославское государство, совершенно в этом совпадая с прежним,

не в состоянии выдержать ни одного достаточно глубокого кризиса. Нет и не может быть национального равноправия без человеческой свободы — без действительного права наций на отделение, на самостоятельную экономику, независимые политические организации и собственную вооруженную силу. Шанс более прочному государственному содружеству может дать единственно концепция новой Югославии, в которой ее нации объединились бы на принципе договоров между суверенными государствами, а ее граждане обладали бы политическими свободами. Но сегодняшний режим — по крайней мере так было до сих пор — постарался предотвратить любое движение в эту сторону. Поэтому дальнейший идеологический распад, как и обострение внутриобщественных и межнациональных отношений, могут, с возникновением некоего серьезного кризиса, разбудить амбиции военной верхушки, которая вознамерится «спасти государство» — вопреки тому, что многонациональность Югославии гарантирует крах любой военной диктатуры, что в 1929 году при короле Александре уже было продемонстрировано.

В «Новом классе» я высказался в том ключе, что военная диктатура представляла бы для коммунизма явление прогрессивное, поскольку разрушила бы догматизм и свергла монополию партийной бюрократии. Но события в коммунизме и мире приняли с тех пор такой оборот, что этот вывод необходимо переиначить: военная диктатура, даже в Советском Союзе, затормозила бы, судя по всему, демократическое развитие и обострила международные отношения. Пример коммунизма также показывает, что — перефразируя Клемансо — современное государство и современные условия жизни слишком сложны и слишком важны, чтобы быть отданными на милость и немилость генералов.

Чехословакия — еще более резкий пример параллельности и взаимосвязанности возгорания национального вопроса и борьбы за свободу. Предполагаю, что подобная волна возмущения на национальной почве ожидает и Советский Союз, стоит ему приступить к демократическим преобразованиям, — тем более что его нации не имеют и приблизительно тех прав, которые есть, например, у наций в Югославии. Но само движение Советского Союза к более свободным формам и взглядам не пойдет, как кажется, одновременно и теми же путями, что в остальных восточноевропейских странах. И так не только из-за отно-

сительной слабости демократических традиций, но и в силу стабильного положения советской партийной бюрократии с ее глобальными претензиями. Свобода Восточной Европы во многом зависима от происходящего в Советском Союзе, в самом же нем она зависит и от мировых процессов, а не единственно от внутрикоммунистических.

Никакие перемены в способах правления, к которым коммунисты, обманывая себя и других «далеко идущими», «принципиальными» мерами, прибегают и стихийно, и сознательно, не способны больше существенно изменить — а думаю, и даже несколько «подрумянить» — восточноевропейский коммунизм. Отнюдь не случайно именно в Югославии, где коммунизм полнее всего охвачен изменениями и распадом, наиболее укоренилась непробиваемая вера в то, что реорганизация Союза коммунистов, как и большая последовательность управленческих мер, то есть лучшее соблюдение прав рабочих советов и так называемого самоуправления, представляют собой тот самый «золотой ключик», с помощью которого будет найден выход из всех трудностей. Но всякому «незапудренному» сознанию наперед ясно, что никакой способ правления не в состоянии действительно влиять на общественные и собственнические отношения, если одновременно оставляет прежней суть этих отношений.

О какой реорганизации Союза коммунистов Югославии, о каком «самоуправлении» в Югославии идет, по существу, речь? У сегодняшнего Союза коммунистов и «рабочего самоуправления» есть своя предыстория, к сжато изложению которой зовет меня нерасторжимая взаимосвязь объективных и личных мотивов. Сверхжесткость борьбы со Сталиным, чудовищные его методы пробуждали в югославских коммунистах, по крайней мере в так называемых неисправимых идеалистах, не одни сомнения и разочарования, но и мечту построить общество, в котором подобное впредь было бы невозможно, то есть общество, более открытое критическому взгляду, более свободное. Поскольку же они оставались и — учитывая породившие их силы да реальные обстоятельства, сопровождавшие борьбу этих людей, — должны были остаться догматиками, идеи и средства, отличные от сталинских, неминуемо, естественно приобретали в их сознании облик более верного толкования и лучшего практического применения теорий Маркса. Началось возвращение сначала к



Ленину, а вскоре после этого — к Марксу. А из всех сталинских «отклонений» самым для них вопиющим было, безусловно, то, которое особенно угнетало югославских коммунистов: несовпадение теории Маркса — Ленина о так называемом отмирании государства уже назавтра после взятия пролетариатом власти со все более очевидным ростом мощи и роли государства в Советском Союзе через тридцать с лишним лет после этого «взятия».

Напрашивался и иной взгляд на партию, поскольку она, «источник и прибежище власти», была в достаточной мере сталинистской, то есть основанной на сталинском «идейном единстве» и ленинском «демократическом централизме», который под Сталиным превратился в принцип тотальной и неукоснительной покорности руководству, даже одному вождю. Так, стремление к большей свободе в партии и изменению — из командной преимущественно в идейную — ее общественной роли привело к переименованию прежней Коммунистической партии Югославии в Союз коммунистов Югославии. Идея пришла в голову мне, я достаточно легко убедил Карделя, а поскольку близился VI съезд партии (осень 1952 г.), мы вдвоем позвонили Тито, и он нас сразу принял. Тито тоже согласился мгновенно, тем более, когда мы ему напомнили, что так же называлась первая коммунистическая организация, которую создал Маркс и для которой они с Энгельсом написали «Манифест Коммунистической партии». Примечательно, что новое название партии возникло в моем сознании именно в таком виде прежде, чем я вспомнил, что так называлась упомянутая организация Маркса, — это, разумеется, окончательно укрепило мою уверенность и окрылило меня. Тито тут же позвал Ранковича: тому мое предложение не понравилось, но он дисциплинированно выразил покорность общему мнению нас троих. У Тито, помню, произвольно вырвалась тогда фраза, которую мы с Карделем часами обсуждали: вместо многопартийной, дескать, нам бы больше подошла многогрупповая система.

Но, как я уже упоминал, впоследствии демократизация в партии, а тем самым и в стране, была верхами застопорена. Между тем сама жизнь подставила свое плечо новым процессам: загнанное вглубь «еретическое» свободное мышление продолжало созидать и бороться — в одиночку, стихийно, в гуще масс, во всем многоцветье, — становясь все постояннее и необоримее. Новое имя пар-

тии, как и другие демократические формы и символы, также служило ему опорой и неплохим оправданием. Жизнь, словно призрак, напоминала вождям, что когда-то они были революционерами, а однажды даже вознамерились стать демократами.

Сегодня, пятнадцать лет спустя, возникают похожие затруднения, преимущественно внутренние и потому еще более критические. А пути выхода, обойденные в то время и заколоченные, зовут к жизни новые силы — мощные числом и самосознанием. Жизнь старой партии, подпираемая единственно ностальгическими воспоминаниями и рецидивами бюрократизма, едва теплится. Руководство тем не менее сохранилось практически прежнее, по сей день упорствующее в стремлении удовлетворить жизненные нужды народа и государства «новой» реорганизацией Союза коммунистов, в данном конкретном случае — сплочением растерянных, обескураженных партийцев вокруг обветшалых идей да окаменевших догм, а по существу, — вокруг собственной власти.

Но что с «самоуправлением», какие у него шансы вырваться из нагромождения общественных и международно-национальных проблем, обрушившихся на Югославию?

Как таковая, идея самоуправления принадлежит мне, Карделю и отчасти Кидричу. Вскоре после того как разгорелся конфликт со Сталиным, — в 1949 году, насколько помнится, — я начал заново, гораздо внимательнее перечитывать «Капитал» Маркса, пытаюсь догадаться, в чем сталинская бесовщина и югославская правда. Я открывал для себя немало новых мыслей, особенно относительно общества будущего, в котором непосредственные производители, свободно объединившись, станут сами решать все вопросы производства и распределения, одним словом — распоряжаться своей жизнью и своим будущим.

Страну душил бюрократический сорняк, а партийные вожди исходили гневом и ужасом, бессильные прекратить произвол партаппаратчиков, которых сами же вскормили и которые так надежно подпирали их власть. Однажды, это могло быть весной 1950 года, мне пришло в голову, что нам, югославским коммунистам, пора бы уже приступить, в соответствии с Марксом, к реализации свободного объединения непосредственных производителей, то есть передать им управление предприятиями, с тем чтобы они единственно были обязаны платить налоги на покрытие военных и прочих «все еще необходимых» государствен-

ных расходов. При этой мысли я почувствовал угрызения совести: а не пытаемся ли мы, коммунисты, таким способом переложить на рабочий класс ответственность за промахи и трудности в экономике или заставить его разделить их с нами? Когда вскоре, на импровизированном совещании в автомобиле около виллы, где я в ту пору жил, Кардель и Кидрич выслушали эти мои мысли, тех же сомнений в них я не обнаружил, а с собственными расстался тем легче, чем неоспоримее было совпадение моих размышлений с учением Маркса. Не выходя из машины, мы проговорили добрых полчаса: Кардель считал идею хорошей, но осуществимой лишь лет через пять-шесть, с чем согласился и Кидрич. Но спустя пару дней, позвонив, Кидрич сказал, что подготовку можно было бы начать немедленно, и тут же — как всегда импульсивно — начал детализировать и обосновывать целый замысел. В один из тех же ближайших дней у Карделя в кабинете прошло совещание с руководителями профсоюзов, которые среди прочих вопросов для обсуждения поставили и вопрос о расформировании рабочих советов, существовавших и до того времени, но исключительно как органы при администрации. Тогда Карделя осенила мысль соединить мое предложение об управлении с рабочими советами, причем в первую очередь так, чтобы предоставить советам надлежащие расширенные права. Сразу вслед за этим начались предварительные дискуссии и выработка правовых основ, на что ушло, возможно, четыре-пять месяцев. Тито, занятый другими делами вне Белграда, не был в курсе всей этой деятельности и самого замысла до тех пор, пока мы с Карделем не сообщили ему во время заседания Скупщины, беседуя в правительственном салоне, о необходимости вскоре принять закон о рабочих советах. Первая реакция Тито была острой: «Наши рабочие для этого еще не созрели», но мы с Карделем, как люди, убежденные в величии задуманного, постарались рассеять его неуверенность, он начал слушать нас внимательнее и мы почувствовали, что постепенно он поддается нашим доводам. Самым главным в этих доводах было то, что в случае успеха нового дела, в котором мы не сомневались, у нас, впервые в социалистической практике, начала бы реализовываться демократия и одновременно для всего мира и международного рабочего движения это было бы выражением нашего подлинного и окончательного разрыва со сталинской системой. Прохаживаясь, как всегда,

когда он напряженно думал, Тито приостановился вдруг и воскликнул: «Да это же Маркс, его «фабрики — рабочим!» — таксго до сих пор не было нигде на свете!» Тем самым наши с Карделем сложные теории были несколько упрощены, но зато обрели прочность и реальную силу: через два-три месяца Тито обосновал перед Скупщиной закон о рабочем самоуправлении.

Воспоминания, в которые я пустился, мне самому начинают уже казаться похожими на мемуары состарившихся экс-политиков, которые «все это» «уже давно знали», «уже говорили» тогда-то и тогда-то! Но в том, что дело обстоит не так или не совсем так, меня успокоительно убеждает одна — действительно давнишняя — мысль: даже если бы партия, управление экономикой и, наконец, общество в целом последовательно развивались в направлении, которое я отстаивал, в лучшем случае и единственно мы быстрее бы дошли до обострения и постановки самой жизнью основных проблем, но саму систему из утопической практики и практического насилия все равно не вытянули бы. Так, по существу, при помощи тайной полиции началось длившееся до Брионского, 1966 года, пленума Центрального комитета сотворение новых догм, новых мифов, без которых, вероятно, не в состоянии выжить род людской, а коммунисты особенно, в чем и сам я, при возможных заслугах, безусловно грешен.

Но более важным является то, что все последующее развитие Югославии подтвердило: демократическим преобразованиям менее важны, хотя также необходимы, та или иная роль партии, та или иная форма правления. Приоритет — за свободой идей и течений в партии, за свободой самого общества. Ибо параллельно с рабочими советами пятнадцать лет длилось всевластие тайной полиции, вплоть до сместившего ее руководителей Брионского пленума Центрального комитета летом 1966 года. Вопреки постоянному подчеркиванию преимущественно идеологической роли партии, оставались прежними ее недемократическая структура и ее привилегированное положение над обществом. Более того, и сегодня еще не исчез страх перед тайной полицией, хотя методы ее смягчены и могущество заметно уменьшено. А партийные вожди именно в эти месяцы селятся «революционизировать» и укрепить Союз коммунистов на основе «единой платформы», другими словами: тайный надзор за гражданами еще не запрещен и не наказуем, а

в партии еще не определены и не узаконены права меньшинства.

Рабочие советы, другие органы самоуправления ни по своему назначению, ни по положению в обществе не были в состоянии решить всех проблем свободного, гармоничного развития экономики и даже справедливого распределения (так называемого распределения по труду). Да это и невозможно без узаконенного свободного и активного участия людей, и в первую очередь тех, кто трудится (независимых профсоюзов, других организаций, забастовок, демонстраций и пр.). Экономика — это борьба человечества с природой, и она требует тем большей дисциплины, чем в более сложных условиях люди трудятся и чем более совершенные орудия используют. Патриархальным, напускным демократизмом и примитивностью своей рабочие советы, вопреки добрым намерениям, часто вносят собственную лепту в беспорядок, низкую производительность, прожектерство, имеющие сегодня тем более негативные последствия для экономики в целом, что роль, не говоря уж об эффективности этой роли, союзного и республиканских правительств в экономическом планировании и развитии по незначительности не выдерживает сравнения ни с одной из западных экономик. Если бы даже на рабочие советы не распространялось руководство и влияние членов партии и если бы не давила на них бюрократия на производстве и там, где люди живут, все равно уже в силу того, что вся их деятельность практически ограничена рамками отдельного предприятия — производства и распределения на его уровне, — они не решают и не способны решить ни одного ключевого вопроса, затрагивающего все общество, всю нацию, а несвободное общество и несвободные люди не могут быть свободны в своих экономических ячейках. Если революционеры и коммунисты-демократы видели в рабочих советах и самоуправлении выход из сталинского кошмара, то у партийных бюрократов и олигархов тоже был тут свой расчет.

Вот одно из описаний оборотной стороны так называемого самоуправления:

«Значительным ограничением бюрократической власти» названо «расширение материальной базы самоуправления», достигнутое перераспределением национального дохода. Сказано: у «трудового коллектива» сейчас «развязаны руки» для участия в самоуправлении. Кроме этой,

существенных перемен в социальных отношениях не произошло, их нет, — что предельно логично. Бюрократия благосклонно «спустила доход в трудовые коллективы», но такое «спускание» можно проиллюстрировать следующим образом: представим себе, что латифундист разделил часть своей земли между большим числом безземельных, обязав их ежегодно отдавать ему десятую долю дохода. Свои действия он сопроводил филантропическими заявлениями по поводу его якобы добровольного обеднения. Безземельные, каждый на выделенном ему лоскутке земли — плодородном или нет, как кому повезло, — превратились в людей, обладающих свободой трудиться и управлять сами собой. В этой ситуации им не на кого и не на что жаловаться, они сами отвечают за свою бедность, сами вынуждены тратить часть скудного своего дохода на орудия труда, на семена и, естественно, — отдавать десятую долю благородному барину. А он, уменьшив имение, по существу, остался тем же крупным землевладельцем. Его власть над поделенной, разбитой на крохотные участки землей в действительности ничуть не уменьшилась. Он забирает часть плодов и с этой земли, в результате чего модернизирует и усиливает то, что у него осталось. В такой ситуации «более радикальные» мелкие собственники видят выход в сокращении своих обязательств перед землевладельцем, а и вовсе «революционизированные» замышляют целое поместье поделить на независимые участки. В этом им мерещится залог справедливых отношений, свободы отдельной личности и даже успешного производства. Но дело совсем не в том, чтобы безземельных превратить в мелких «свободных» хозяйчиков, поскольку этим путем их социальный статус, по сути, никак не переменится, а в том дело, чтобы исчезло владение, чтобы безземельный управлял целым и трудился в этом целом»\*.

Горечью и правдой веет от приведенных выше строк. И тем не менее ощущение это не пересиливает нереальности отживших свое способов выхода из описанной ситуации, которые читателю предлагаются хотя и в завуалированном, но все же в готовом виде. Основа тут — ставшая уже мифической, местами бесплодной, а частично и опровергнутой вера в революционность рабочего класса как тако-

---

\* Мирич М. Резерваты для слова и действия. Разлог. Год VII. № 2—3. Загреб, 1967.

вого, да к тому же вера, что все проблемы и беды можно устранить простым устранением собственности. И все же сказанное не означает, что эти, едва зародившиеся, условные формы рабочего управления и так называемого самоуправления не помогли и сейчас не помогают разрушению догматизма, ограничению бюрократического произвола. Они бывают подчас удачным и всегда удобным прикрытием-оправданием не только для партийных бюрократов и демагогов, но и для демократических течений и отдельных демократов в их борьбе против произвола и несправедливости на предприятиях, в отстаивании пусть мифических, а все же демократических воззрений и чаяний. Именно поэтому в непрерывной цепочке эти формы могут стать звеном, за которое ухватятся те, кто ставит знак равенства между человеческой свободой, общественной справедливостью и социализмом.

То же самое в той или иной мере относится ко всем иным формам в современном восточноевропейском коммунизме. Если, конечно, новые люди привнесут в них новые идеи и новые средства.

## **СРЕДСТВО КАК ЦЕЛЬ**

### **1**

Задолго до начала работы над этой главой мне не раз доводилось говорить, что победа моих идей меня не слишком интересует, другое дело — сам ход борьбы, борьба, как таковая. Я помню и знаю, что победа — это всегда насилие и угар страстей, проявление высшей степени эгоизма, разнузданности, словом, худшего, что есть в человеке. Наблюдательность, опыт и некоторая отстраненность по отношению к нашей победе помогли мне увидеть ее лживую сущность: в моем случае победа стала продолжением борьбы, началом поиска новых ее форм. Идеи, лишенные корней, далекие от реальных, земных и духовных потребностей человеческого бытия, — не более чем псевдоидеи. И поскольку длительное насилие над естеством человека невозможно, то борьба нескончаема, ибо победа недостижима, а власти всегда мало. Сегодня я вполне мог бы позволить себе остаток жизни почивать на лаврах как человек, которому не в чем каяться, как мо-

ральный победитель. Но я так и не могу и не хочу. Не знаю, какое из двух «не» здесь преобладает — «не могу» или «не хочу». Совесть ли подсказывает, что уход от идейной и иной борьбы есть предательство и по отношению к себе и по отношению к тем, кто внял моим идеям, кто в трудные дни помог мне выстоять; или я просто не хочу больше участвовать в схватке за власть, славу и «место в истории»? Не исключено, впрочем, что и позиция «человека с совестью» есть скрытое стремление к власти. Ведь мне известно, что борьба за идеи, какими бы гуманными они ни были, — не что иное, как борьба за ту или иную форму господства над людьми. Таким образом, идея, как таковая, всегда есть предпосылка борьбы за власть, зародыш самой власти.

Речь, разумеется, об идеях общественно-политического характера. Такого рода идеи неотделимы от порожденной ими деятельности человека, ведь любая идея предполагает некую деятельность, как правило, созидательную, наши же идеи и связанная с ними деятельность оставили после себя выжженный пустырь и машину подавления едва родившихся общественных сил и отношений.

Франц Кафка считал, что человеческий род несет на себе проклятие первородной вины и отверженности: не случайны слова, сказанные им, если не ошибаюсь, его другу Максу Броду, когда они наблюдали за рабочей демонстрацией (дело было во времена, когда либералы и эмпирики считали социализм не более чем ребяческой мечтой или безумной авантюрой, а социалисты — «абсолютной истиной» или строем, где процветают всеобщее братство и равенство), так вот, наблюдая за марширующими колоннами, Кафка сказал, что за всем этим он видит будущих вождей — поводырей слепого народа, некие комитеты во главе с некими секретарями, которым будет подчинено и общество в целом, и эта столь воодушевленная и бесстрашная пока толпа. А не менее пронизательный и дальновидный Никколо Макиавелли в «Рассуждениях...»\* о бедствиях политически раздробленной Италии периода Возрождения и ожесточенной борьбе за власть между князьями увидел прообраз трагической судьбы человека в государстве.

---

\* «Рассуждения...» — имеется в виду произведение Н. Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (1513 — 1519, русский перевод 1869). — *Прим. пер.*



Поскольку государство объединяет различные слои населения, антагонистические силы общества с их разнонаправленными стремлениями и идеями, оно не может существовать без власти; а власть устанавливается и удерживается только в борьбе, которая ведется как на уровне идей, так и иными пригодными для этих целей средствами. Все прочее — не более чем рассказы: те, кто проповедует политику и государство без власти, в лучшем случае пребывают в иллюзиях, те же, кто полагает, что может обойтись без политики, представляют одну из ее разновидностей. Уже Аристотель видел человека вне полиса (города-государства, общества) только как божество или животное; а мы сегодня, хотя в знании о богах ушли не дальше современников Аристотеля, понимаем, что и животный мир подчинен законам общности. Отсутствие у большинства современных людей интереса к политике объясняется как характером общественного устройства, так и разделением мира на два лагеря: в многопартийных системах одни полагают, что общественный механизм вполне функционирует и без них, другие, что от их участия в работе прекрасно налаженных партийных машин ничего принципиально не изменится, в однопартийных же государственных системах народ политически пассивен просто потому, что там не существует политики в общечеловеческом смысле слова, она присутствует только на уровне партийных верхов. Политика есть форма существования человека внутри своей социальной и национальной общности, и коль скоро в обществе господствуют антагонистические силы, ее не избежать, как, родившись, не избежать смерти. Политическая пассивность, по существу, есть подчинение «высшим силам», в то время как выбор той или иной политики — в конечном счете есть выбор средств, продиктованных теми или иными целями, и выбор кумиров, готовых ими воспользоваться.

Сейчас, когда я пишу эти строки, на улицах Парижа и Западного Берлина, во множестве университетов в Соединенных Штатах Америки бушуют молодежные волнения. Это протест против благополучия «потребительского общества» с его похожими друг на друга партиями, стандартизированным производством и пресловутыми свободами. На улицах Варшавы и Праги недавно протестовали против не знающей сомнения идеологической догмы протектората советского «старшего брата». И хотя причины, вызвавшие эти волнения, и их цели различны, у них много

общего: уровень развития современной науки и техники обусловил появление класса интеллектуалов, определил его независимость и более чем когда-либо повысил его значимость в обществе. Молодежь всех стран ратует за более современное устройство мира, за более гуманное, лишенное идеологических границ и страха атомной катастрофы общество, где нет места ни бедности, ни авторитаризму, ни позорной расовой и идеологической дискриминации, ни порождениям «большой» политики вроде войны во Вьетнаме и оккупации Венгрии\*.

Но в этот только что вспыхнувший огонь молодости уже подбрасывают поленья разнообразные идеологические и политические силы, более четко определившиеся на Западе, где они получили или присвоили себе известное имя «новые левые». И это наименование, вызывающее ассоциации весьма сомнительного толка, требует комментария.

После целого столетия забвения, вслед за возрождением либерализма, из праха истории воспрянули черные знамена анархии М. А. Бакунина и Л. О. Бланки, затмив красные знамена, ставшие между тем частью современной официальной парламентской и даже в известной мере церковной декорации. Мятельный дух революции, порождающий народные волнения, вызывающий брожения в общественной жизни, и на этот раз пробудился в тот самый момент, когда казалось, что он окончательно усмирен возросшим уровнем жизни и укреплением законности. Но жестокая погоня за выгодой, серая невзрачность материального благополучия наряду с адаптацией западных коммунистов к парламентской системе и вырождением восточных коммунистов в «новый класс» вызвали стихийный протест и озлобление в широких кругах молодежи. В рамках движения протеста объединялись как вполне безобидные группы экзистенциалистов, битников и хиппи, противопоставлявших обществу лишь свой нонконформистский облик, так и сектантского толка организации коммунистов и анархистов, делавшие попытки обратить недовольство студентов устаревшими формами обучения и нежеланием властей предрержащих признать

---

\* Эти строки написаны до оккупации Чехословакии, и, читая их, следует иметь в виду, что и это насилие, и любое подобное ему вызвано страхом коммунистических режимов перед демократическим движением. — *М. Дж.*

усилившуюся значимость интеллектуального труда и интеллигенции в обществе в штурм существующего социального строя.

Радикальная оппозиция (парламентская или внепарламентская) жизненно необходима любому обществу, по меньшей мере для того, чтобы защитить его от застоя, критиковать действия правительства, корректировать допущенные им ошибки — словом, пробуждать совесть. Поэтому никто из здравомыслящих людей не сможет оспорить тот факт, что «новые левые» поставили свое клеймо на соответствующем историческом моменте, заставив правящие круги очнуться от застойного оцепенения, пошатнули веру в рай электронных машин и раскрыли всему миру конформистскую природу утонувшего в привилегиях официального коммунизма.

И этим, очевидно, возможности «новых левых» были исчерпаны. Уже название движения обнаруживает, что самобытность «новых левых» ограничивается их верностью идеалам той самой революции, которую «предали» «классические» левые — коммунисты, «новые» не выдвигают своих целей, нет у них и позитивной программы мер по их достижению. И это вполне понятно, ведь, по сути, движение «новых левых» расколото на множество сект, возникших на руинах веры в мировой коммунизм, точнее, сформировавшихся на почве разочарования в коммунизме как в стабильном, бесклассовом обществе, на почве неверия в способность западных коммунистических партий адаптироваться к национальным особенностям различных стран в мирных, нереволюционных условиях повседневной жизни современного индустриально развитого общества. Оставаясь исключительно на позициях отрицания существующих общественных отношений и институтов власти, «новые левые» устраивали демонстрации протеста, не давая себе труда выработать более или менее ясную программу действий или, по крайней мере, создать постоянно действующую организацию, во главе которой стояло бы руководство, обладающее реальными возможностями. Но, будучи духовными наследниками коммунизма и анархизма, они, естественно, не могли обойтись без идеологии. Поэтому понятно также, что некоторые из этих течений поначалу горячо приняли Герберта Маркузе с его положением об интеграции рабочего класса в современное индустриальное общество и его верой в такое общество, которое

создаст свободного, счастливого человека путем высвобождения его либидо\*.

Старые песни на новый лад! «Новые левые» выдают свои имманентные устремления равнодушием, а порой и нетерпимостью по отношению к так называемым «реви-зионистским», то есть попросту к демократическим идеям и движениям внутри коммунистических режимов, причем это распространяется даже на студенческое движение, которое по наивности отождествляет себя с ними. Мучительное противостояние свободомыслия системе подавления человеческого духа в восточноевропейских странах отчасти на совести западных «новых левых». Поэтому вполне справедливое восхищение «новыми левыми» не должно никого увлечь настолько, чтобы за их осознанной готовностью к борьбе, за их противоречиями, рождающими жестокие фракционные склоки, не разглядеть зачатки новых идеологизированных союзов, чтобы за проповеднической деятельностью какого-нибудь Дучке, полемической изворотливостью, скажем, Тойфеля и смелостью Кон-Бендита проглядеть личину будущих вождей, стремящихся к власти. Нисколько не умаляя ни интеллектуальных, ни революционных, ни человеческих качеств этих лидеров и возглавляемых ими движений, я лишь хочу напомнить о неизбежной оборотной стороне медали — о склонности к авторитаризму, выборе насильственных средств достижения своих целей, о безнравственности любой идеологии.

Я уже записал все эти соображения, когда 2 июня 1968 года в Белграде прошли студенческие демонстрации, которые углубили и как бы навели резкость на мое понимание «новых левых». На этот раз демонстрации возникли спонтанно — как ответ на грубость полиции, но недовольство и оппозиционные настроения среди студентов и нонконформистски настроенных профессоров и преподавателей наблюдались в этой среде значительно раньше и находили свое отражение в некоторых теоретических журналах. Движение вскоре перекинулось и на другие университеты, охватив самые широкие слои студенческой молодежи и среди них значительную часть коммунистов.

---

\* Либидо (влечение, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа З. Фрейда, означающее энергию сексуальных влечений, основную форму гипотетической психической, в том числе и творческой энергии. — М. Дж.

Настроения и взгляды студенческой массы, многих преподавателей и профессоров имели демократический, социалистический характер. Эгалитарные, пуританские лозунги и плакаты с портретом Эрнесто Че Гевары скорее были вызваны стремлением придать движению легальную форму, нежели отражали суть дела. Так или иначе этому движению удалось нарушить застойное течение жизни, тем более что режим выдвигал практически те же лозунги и обещал выполнение экономических требований студентов. Однако без постоянного руководства и организационного ядра, без четкой и широкой демократической программы, в отрыве от потребностей рабочих, куда больше озабоченных низкими тарифными ставками, чем своей «исторической ролью», движение угасло. При этом ни студенты, ни радикально настроенные преподаватели и профессора не выказали признаков заметного разочарования: впервые в современной Югославии имел место организованный массовый политический протест, что само по себе укрепило уверенность в возможности борьбы за свободу мысли, за более свободное и справедливое общество.

Осознание этой истины очень важно для каждого мыслящего человека, каждого борца за идею, демократа и гуманиста как на Западе, так и на Востоке, ибо не позволяет забывать, с одной стороны, о довольно мрачной реальности политической борьбы, а с другой — о ее творческих созидательных «совершенных» идеях и «конечных» идеалах. Более того, любая идея, требующая своего осуществления, неизбежно попадает в мутный поток жизни, и результат ее воплощения тем отвратительнее, чем более ее творцы настаивают на ее чистоте; а последствия тем плачевнее, чем сильнее вожди того или иного движения отождествляют судьбу идеи со своей личной судьбой — своими желаниями, амбициями, образом жизни, своим, как они его понимают, «историческим» долгом. Становясь поборником идеи, человек не перестает быть самим собой, то есть существом, полностью зависящим от своих человеческих качеств: истории известно множество случаев, когда революционеры, или политики теряли чувство меры, когда на карту ставились их личные амбиции; и, напротив, крайне редки случаи, когда тот или иной политик действовал бы лишь в соответствии с потребностями идеи. Понимание этого никого не спасает от ошибок и никого ничему не может научить: то, что не

способно к жизни, ни при каких условиях не будет существовать, а тот, кто не стремится знать, знать не будет. Я надеюсь лишь, что оно поможет борцам за свободу и людям идеи стать более критичными по отношению к собственным человеческим качествам, бдительнее относиться к тем искушениям, которые неизменно несет с собой власть; руководствоваться законом, а не собственными пристрастиями; блюсти интересы людей, а не чистоту идеи; больше радеть о человеческих нуждах, чем о собственном бессмертии. Революционеры, которые всего этого не осознают, рискуют стать жертвой собственных идеалов или игрушкой в руках вождей, а государственные деятели, которые не отдают себе отчета в том, что, обретая власть, они предают собственные идеи уже одним тем, что пользуются для их достижения всеми возможными, то есть далеко не идеальными средствами, легко впадают в самый неприглядный «голый» деспотизм.

Поэтому я, в глубине души столь же страстно жаждущий власти, всем сердцем надеюсь, что сия чаша меня минует и мне удастся сохранить выстраданные идеи в их первоначальной чистоте. В таком вот состоянии раздвоенности я живу, думаю, продолжаю бороться. И трудности, как ни странно, не только не обостряют сомнения в правильности выбранного пути, но ослабляют их, ибо способствуют воссоединению идеи и образа жизни в идею-дело... Я вполне ясно предвижу, что в том государственном устройстве, за которое я веду борьбу, личных свобод было бы неизмеримо больше, чем сегодня; я также отдаю себе отчет в том, что наряду с этим там станут процветать ложь, эгоизм и коррупция, поэтому, хотя и не приходится завидовать тому, кто после Тито возьмет на себя руководство страной, такой далекой от единства, экономически запущенной, подвергающейся нападкам советского империализма, все эти недостатки и трудности вынуждают меня постоянно соотноситься с возможностью будущей власти, ибо это средство осуществления моих идей, исполнения моего долга и, наконец, путь к славе. Так человек, достигший внутренней свободы в мыслях, взявшись за осуществление своих идей, неизбежно становится их рабом.

И чтобы никто не мог упрекнуть меня в том, что эти мои рассуждения есть не что иное, как завуалированный, изоциренный способ скрыть неидеальные побуждения, я откровенно признаюсь, что процесс становления моих

идей (я имею в виду лишь публикации и заявления) проходил не самым «идеальным» и «чистым» образом. Эта исповедь ценна по меньшей мере потому, что является своего рода документальным свидетельством о людях и времени — о мучительном, трагическом разрыве коммунистов с догмой и их отходе от власти. И поскольку многим, видимо, непонятны, хотя и памятны мои прежние «покаяния» и «непоследовательность», я считаю своим долгом объясниться.

В конце 1953 года я уже предвидел свое падение с высот власти и тот мучительный путь, который меня ждет. Догадывался я и о конкретных формах, которые примет кампания против меня, ибо не раз участвовал в принятии решений относительно коммунистов, которые «отошли» от партии, их судьбы были мне хорошо известны. Это предвидение последствий в какой-то степени помогло мне пережить уготованную расправу, однако реальные испытания оказались намного страшнее и мучительнее, чем я предполагал. В январе 1954 года был назначен III пленум Центрального комитета Союза коммунистов Югославии. В повестке дня стоял вопрос о моем «ревизионизме». Этот пленум был практически единственным судом в настоящем смысле этого слова, совершенным надо мной, ибо все последующие так называемые судебные заседания напоминали пародию на суд. Они, конечно, были далеки от тех мрачных зрелищ, которые инспирировал Сталин сначала в СССР, а позднее и в Восточной Европе, но преследовали ту же цель — избавление от неугодных и соперников, уничтожение даже мысли о сопротивлении, абсолютное подавление и без того парализованной страхом партийной элиты. Впрочем, с точки зрения закона, вместо которого в этом случае действовал негласно принятый в партии порядок, ни сам пленум, ни дело, которое обсуждалось, ни поведение Тито и остальных участников действия, обеспечивающих «большинство» и «единство» в Центральном комитете, были неправомерны.

На пленуме был осужден ревизионизм. Тот самый ревизионизм, который возник в Югославии как, с одной стороны, противовес идеологической уравниловке национальных компартий (в данном случае СКЮ и КПСС с ее «ленинизмом»), способствующей появлению и процветанию в СКЮ просоветской «пятой колонны»; а с другой стороны, как противовес сталинскому «идейному единству партии», которое на деле скрывало единоличную

узурпацию власти в партии и государстве. Подчеркивалось также, что, перешагнув границы идейной борьбы Тито со Сталиным, ревизионизм начал критиковать созданное Тито «монолитное единство партии», считая его разновидностью марксистско-ленинского идеологического прессинга. И в мире, и в самой Югославии пленум был воспринят как проявление стагнации, отход от курса на демократизацию партии, а значит, и всей страны. В моей же памяти и в моей жизни он сохранился ощущением пережитого насилия и величайшего непереносимого стыда.

Таким этот пленум был, и именно так я его расценивал, начиная с того дня, на который он был назначен.

До тех пор я не был и не хотел находиться в каком бы то ни было сговоре против существующей в стране власти, я не совершил ни единого поступка, направленного против партии, государства, против моих товарищей; я всего лишь решился (просто не мог поступить иначе) высказать свои соображения о состоянии нашего общества и его улучшении. Более того, я сам принадлежал тогда этой партии и этой власти, испытывал уважение к Тито как к незаурядной личности и руководителю, несмотря на его тяготение к неограниченной власти, к которому я никогда не мог приспособиться, и разницу во взглядах, которая всегда была очевидна.

Задолго до того, как пленум вынес официальное решение, меня окружили свинцовой стеной бойкота, и в конце заседания дело все же дошло до того, что я частично раскаялся в содеянном. Пришлось и мне, вопреки убеждениям и внутренней готовности к худшему, заплатить дань как догме, которой когда-то я присягнул на верность, так и движению, которое предъявило свой счет за без остатка отданные ему силы, способности, наконец, жизнь.

Почему это произошло?

С того момента, когда в секретариате партии был дан ход моему делу, затем назначен пленум Центрального комитета, и до начала заседания 16 января 1954 года прошло дней пятнадцать, и ни одной ночью мне не удавалось поспать более часа. Я был на грани нервного истощения, внутренне опустошен, но не терял хладнокровия. Меня с изумлением разглядывали на улице, будто вернувшегося с того света; это испуганно-изумленное выражение лица я потом часто встречал. Впервые я хорошо спал ночью после первого дня заседания пленума, накануне



моего «покаяния», видимо, во сне решившись на этот поступок, а может быть, сон пришел в результате подсознательно принятого решения.

На встрече с партийной верхушкой (Тито, Кардель, Ранкович), которая состоялась за три-четыре дня до заседания пленума, Тито мне косвенно дал совет держаться в рамках партийного единства, а в ходе заседания выступил Кардель, сообщив точку зрения Тито, что спустя пять-шесть месяцев после того, как Пленум примет решение по моему делу, отношение ко мне будет изменено в лучшую сторону. Однако я не думаю, что эти обстоятельства оказали существенное влияние на мое поведение.

Рядом теперь оставалась только жена Штефания — моя Штефица, она старалась отговорить меня, когда я ей сказал, что должен в какой-то мере отступить от своих взглядов. Последовательная в своих убеждениях, но слишком мягкая и деликатная, она, конечно, не смогла этого сделать. Все это время я был не просто одинок, я чувствовал себя выброшенным за борт, отвергнутым и всеми презираемым: те члены Центрального комитета, которые раньше считали необходимым ставить меня в известность, что разделяют мои взгляды, теперь с презрением и ненавистью отворачивались; все, кто в свое время меня подбадривал, один за другим выступили на пленуме с самыми решительными осуждениями. Единственным исключением были моя первая жена Митра Митрович и Владимир Дедиер. Только эти двое поддержали меня на пленуме, каждый по-своему. В Митру я верил, хотя предварительно мы с ней ни о чем не договаривались. Позднее, пережив разнообразные притеснения, она разочаровалась в политике и занялась просветительской литературной работой. Дедиер в те дни часто бывал у меня, но я, зараженный уже вирусом подозрительности, не доверял ему, считая провокатором. Однако его поведение на пленуме было более последовательным, чем мое. Вскоре после этого он начал отдаляться от меня по причинам, которые мне и по сей день не совсем ясны. Впрочем, то, что он идет самостоятельной дорогой, которая в конце концов сделала из него достаточно независимого историка, было очевидно всегда.

Страх за себя я не испытывал, но меня очень беспокоила судьба людей, разделяющих мои взгляды и сочувственно наблюдавших за ходом моего дела: к тому времени уже стало известно, что секретные службы со-

ставляют списки «джиласовцев»; и у меня не выходила из головы судьба сталинской партийной оппозиции, которая была брошена в концентрационные лагеря, с их нечеловеческими условиями жизни, чудовищным интеллектуальным и моральным насилием. По отзывам на мои статьи я знал, что во всех странах есть люди, разделяющие мои взгляды, но они не организованы и не подготовлены к борьбе. Стало быть, мне суждено в одиночку переносить бремя и ответственность независимости. Эта причина оказалась слишком серьезной, а давление на мою совесть — слишком сильным, чтобы я мог выдержать: все толкало к отступлению, которое при тех обстоятельствах проявилось как частичное отречение от ранее высказанных идей. Словом, в том, что я выступил с «покаянием», сыграли роль тактические и политические соображения.

Однако все это не имело решающего значения. Решающим и судьбоносным было то обстоятельство, что я все еще чувствовал себя коммунистом, пусть усомнившимся в некоторых положениях догмы, но жизнью и всем существом своим связанным с коммунистической партией. Подобно всем еретикам, подобно представителям оппозиции на сталинистских процессах, я хотел своим покаянием доказать приверженность идеологии и партии.

Читателя, возможно, заинтересует и то, что я чувствовал во время своего выступления. Нечто между разочарованием и отвращением к этому сборищу палачей, к их идеологии и средствам ее поддержания. Но к этому примешивалось и какое-то наслаждение от совершенной картины инквизиторского судилища, попирающего человеческое естество, тем более чудовищной, что речь шла об их вчерашнем товарище и соратнике. Действо, напоминающее сталинистские процессы, смягчалось несколькими обстоятельствами скорее внешнего характера, нежели терпимостью судей. Не хватало только грешника, и я наслаждался тем, что своим «покаянием» довершил сцену суда, привнес в нее то, чего устроителям недоставало, чтобы не прослыть на весь мир сталинистами. И все же я не стал сжигать все мои хрупкие мосты — я не отказался от своих философских воззрений и не признал бесчестность своих помыслов.

Я понимал, что тем самым проигрываю сражение, что это свидетельство моей неготовности использовать, быть может, единственный в жизни исторический шанс. Но я знал и то, что меня не заставили покориться, что я соберу

силы для продолжения борьбы в новых изменившихся обстоятельствах. Я предвидел, просто был в этом уверен, что люди, разделяющие мои идеи, в худшем случае воспримут мое «покаяние» как минутную слабость и неудачный тактический маневр. Так впоследствии и оказалось — ни тогда, ни позднее я не встретил никого, кто верил бы, что я действительно раскаялся, хотя этот мой поступок использовали многие: противники — для того, чтобы снизить мое влияние, а колебавшиеся сторонники — для того, чтобы оправдывать свое малодушие и переход на сторону противника. Даже Тито заметил в конце заседания, мол, посмотрим, насколько искренно Джилас раскаялся. Эти слова послужили мне не только еще одним доказательством его непоколебимости и изворотливости, но и источником новых сил для сопротивления и преодоления уныния.

Наказание, которое я в конце концов получил, превзошло и пережитое унижение, и все то, что вызывало тогда мое раздражение. Комиссия по моему делу была выбрана не случайно: председателем назначили Владимира Бакарича, видимо, потому, что наши взгляды во многом совпадали. Подчинившись ситуации, он, подобно многим другим, оказывавшимся в его положении, просто дискредитировал собственные идеи. От имени комиссии Бакарич предложил вынести мне строгий выговор с последним предупреждением, решение было согласовано с Тито и остальными руководителями. Но участники пленума в порыве возмущения и самокритики бурно требовали моего исключения из партии... Вынужденный вмешаться Тито заявил, что исключать меня не надо, потому что западная печать истолкует это как сталинский метод расправы над инакомыслием. Выходило, что меня оставляют в партии на самых позорных условиях только ради того, чтобы помочь режиму сохранить плохую мину при плохой игре и не лишиться западных кредитов.

Это было еще одно искушение компромиссом. Но и хороший урок на будущее: я понял, что любые отношения с таким режимом, такой партией и такой идеологией — безнравственны. Не порывающие с ними постоянным отречением от своих взглядов, попранием своей личности, необходимостью приспособливаться и подхалимничать обрекают себя на медленную духовную смерть. Более того, необходимость разрыва с режимом, с партией и идеологией, с моим собственным прошлым и с самим собой представилась мне тогда необходимым условием

для продолжения какой бы то ни было творческой и прочей деятельности.

С тех пор и до сего дня никто из высших кругов партийного руководства не пытался наладить со мной контакт, хотя мне намекали, что я сам должен предпринять шаги в этом направлении. Решившись, я выбрал одиночество, жизнь, обреченную на забвение, искупление покаянием. Спустя два месяца я подал заявление о выходе из партии. Это было мое первое публичное выступление — первый обдуманый шаг, нацеленный на демонстрацию непримиримости моей позиции. С тех пор я жил с ощущением стыда за свое «раскаяние» на упомянутом пленуме и под постоянным давлением власти, стремящейся заставить меня отречься от своих идей и своих сочинений. Во время первого заключения (1956—1961) меня к тому же не покидал страх, что с помощью какого-нибудь яда им удастся сломить мою волю и заставить покаяться. Поэтому я все время старался доказать и себе и другим, что я готов терпеть. И лишь во время моего второго заключения (1962—1966) мне удалось преодолеть и этот страх и свое слабодушие. Видимо, мои тюремщики поняли бессмысленность моего дальнейшего пребывания в заключении, и в конце 1966 года, без всякого преупреждения и не выдвинув никаких условий, меня неожиданно выпустили на свободу.

Разумеется, не обошлось без формального прошения, на «основании» которого в 1961 году меня освободили условно. Дело было так: тюремные власти довольно длительное время прямо или косвенно пытались заставить меня уступить, отречься от своих взглядов, когда я, наконец, пригрозил им прекращением дальнейших переговоров, ко мне прислали Слободана Пенезича, члена Центрального комитета и одного из наиболее влиятельных руководителей секретной службы государственной безопасности, который принес мне готовое прошение. Это состоявшее из одной фразы прошение сообщало, что я осознал свои ошибки, поскольку действительность опровергла мои прежние утверждения. Тем не менее я его подписал. Я понимал, что в будущем этим заявлением меня станут шантажировать, и оказался прав, но тогда мне необходимо было выйти из тюрьмы, чтобы осуществить литературные и другие творческие планы. Меня даже не очень мучило это прошение, ибо в душе я остался непоколебим, хотя и сомнения и страх все еще были со мной.

После второго ареста 7 апреля 1962 года в течение последующих пяти лет заключения все эти проблемы ушли в прошлое, но страх и неуверенность по-прежнему оставались.

Существует и другая малоприятная сторона моей тогдашней жизни: лишенный всяческой аудитории, обреченный на умолчание и забвение, о чем открыто заявил в начале расправы надо мной один из партийных руководителей, я вынужден был обратиться к помощи западной прессы и западных издателей, ибо это была единственная возможность предать гласности и мои заявления, и мои работы. При этом я отдавал себе отчет в том, что это не просто опасно, ибо непременно вызовет злобные обвинения со стороны режимопослушных бумагомарателей и доносчиков, что я являюсь «марионеткой», «платным агентом» и даже «шпионом ЦРУ» (подобные и худшие ярлыки раздавали уже на упомянутом пленуме задолго до того, как я окончательно избрал свою стезю, а тем более решил, как поступать со своими еще не написанными текстами). Я знал и то, что определенные силы и отдельные люди используют мои декларации и сочинения для других, противоположных моим целей.

Но у меня не было выхода, ибо я не мог создать для себя персональную реку, где мне было бы удобнее плыть. Я должен был либо ступить в общий поток жизни, либо остаться на берегу, который тогда уже полностью был моим. Я решил плыть, не боясь ни клеветы, ни ложных ярлыков, ибо знал, что совесть моя чиста.

Сегодня этот шаг представляется мне таким простым и легким, но тогда все было иначе. В мире неистовствовала холодная война, Союз коммунистов Югославии был очень монолитен благодаря и внутренним «чисткам», и внешним врагам; общественное же мнение было еще слишком неразвито да и недостаточно информировано. Конечно, я иногда чувствовал и поддержку интеллигенции и так называемых простых людей, но она доходила до меня слишком редко и глухо. Я был одинок. Словом, все шло так, как должно было быть, и жаловаться мне не на что, не в чем и каяться — я сам выбрал свою судьбу. Если кто-нибудь знает более надежный, а главное, более красивый путь, который позволяет в условиях нашей реальности донести до сознания окружающих идеи, подобные моим, пусть покажет его мне или лучше пусть сам пройдет по нему, а я пойду следом. У меня же тогда другого пути, кроме как

через пустыню, через грязь и непроходимые заросли, просто не было. Все, что я в то время писал, и все, что пытался доказать своей жизнью, сводилось к одной простой мысли — народ моей страны не должен подвергаться гонениям за высказанные вслух идеи и мысли. Я не уверен, что в ближайшее время человечество отвоюет себе это право, если полное его осуществление вообще возможно. Но борьба за это безусловно полезна и неизбежна, как борьба со злом, которое невозможно искоренить, но необходимо постоянно преодолевать.

Да и кто знает, не будь в нас зла, были бы мы, люди, тем, что мы есть, — могли бы мы сподвигнуть себя на творческие усилия, были бы нам дарованы божественные силы?

## 2

Боюсь, я уже наскучил жалобами на тяготы и несчастья, с которыми столкнулся мой разум, освобождаясь от противных человеческой природе догматизированных фантазий на тему идеального общества. Однако эта книга, а вместе с ней и читатель обречены на это до последней ее фразы. Ибо опыт моей жизни во многом аналогичен духовной эволюции многих коммунистов-идеалистов, тех, кто посвятил себя строительству коммунистического общества, и как таковой представляется значимым и поучительным, даже когда речь идет о, казалось бы, далеких от политики нравственных уроках пережитого.

Итак, все мои сомнения и тяжесть выбора средств борьбы усугублялись целым рядом обстоятельств: начать с того, что я был выходцем из страны, история которой есть история войн и восстаний; кроме того, я с юности привык к такой жизни, где большинство проблем решалось, что называется, «именем революции»; и, наконец, я слишком долго находился у власти, к которой стремится не каждый, но которая в каждом, кто вкусил сей плод, оставляет отраву вечного послевкусия его незабываемой сладости, Богом ли дарованной или сатаной — не знаю, скорее всего и тем и другим.

Начиная с января 1954 года, когда я впервые вступил в конфликт с партийным руководством, а может быть, уже и до этого, не могу поручиться, каждый мой шаг подвергался всесторонней, неприкрытой слежке: в квартире уста-

новили подслушивающую аппаратуру, преследованиям подвергался любой человек, осмелившийся подойти ко мне хотя бы на улице. Я был полностью изолирован от внешнего мира, реальные возможности какой бы то ни было самостоятельной деятельности были ничтожны, даже если бы я имел тогда более четкое представление о характере этой деятельности. И я занялся тем, что было доступно и казалось мне тогда чрезвычайно важным — разработкой своих идей и написанием автобиографии. Эту работу я продолжал и в тюрьме, правда, там по необходимости пришлось обратиться к беллетристике.

Я не мог ни в тюрьме, ни вне тюрьмы избавиться от раздумий об оптимальных методах борьбы с деспотизмом современной партийной олигархии. В моменты отчаяния или во время приступов раздражения я бросался из крайности в крайность — от мыслей о государственном перевороте до мыслей о легальной оппозиционной борьбе на уровне печати и партийных форумов. Но это, повторяю, были лишь минуты слабости. В то время во мне все более крепло убеждение, что иного пути изменения существующего коммунистического режима, кроме неспешной поступательной реформистской деятельности, по крайней мере в моей стране, не существует. Бывшие мои товарищи по партии сделали для меня невозможной любую общественную деятельность; вырвали мое имя из прошлого, которое у всех нас когда-то было общим; немало потрудились, чтобы разрушить мою семью; оклеветали меня, называя то Иудой, продавшимся за тридцать сребренников агентам иностранных спецслужб, то предателем, разгласившим государственные тайны. В конце концов, меня посадили, в первый раз — за идеологические разногласия с партийными установками, во второй — чтобы избежать нареканий со стороны советского правительства в том, что в Югославии поощряются «антисоветские выпады». Но как бы ни кипела во мне горечь от унижений и обид, нанесенных этими людьми, ничто не могло омрачить мой разум настолько, чтобы заставить отказаться от убеждения, что демократизация есть единственный выход из тупика коммунизма. Я никогда не поддавался ненависти, никогда не пытался воздать сторицей своим мучителям, ибо с материнским молоком воспринял убеждение, что тот, кто унижает других, расписывается в собственной несостоятельности. В основе же моего конфликта с партией лежало убеждение в том, что не идеи

делают из человека рыцаря или ничтожество, но средства, к которым он прибегает, осуществляя эти идеи, по сути дела, он выражает через них самого себя.

Памятуя об этом, я стремился быть принципиально последовательным, в отличие от моих противников, которые настолько погрязли в повседневной рутине, настолько дорожили своими креслами, что даже перестали понимать, о чем идет речь, не говоря уже о том, чтобы быть принципиальными в жизни. А ведь в моем прошлом была не только революция с ее насилием, но и революция с ее гуманистическим идеализмом. Более того, так же как я примкнул в свое время к революции, не гнушаясь насильственными средствами борьбы, ибо верил, что в нашем злом мире они неизбежны и иного пути осуществления наших идей просто нет; так я отрекся от всего этого, убедившись в лживости и несостоятельности посулов, которыми коммунисты оправдывают свое существование на земле, я имею в виду грядущее всеобщее братство и победу человеческого в самом человеке. Кроме того, прошлое моей страны не даром преисполнено войнами и мятежами: народы, уставшие от нескончаемого кровопролития и разрушения, которые были непременным условием их существования, пришли к пониманию безотлагательности и великой непреходящей самоценности реформистского, ненасильственного, демократического подхода к решению всех проблем.

Здесь я должен внести ясность, чтобы читатель не спутал мое реформаторство с идеями западной социал-демократии, а мой призыв к ненасилию — с непротивлением Ганди.

Я всегда чувствовал себя и югославом и сербом, точнее, черногорским сербом, и всегда был против национализма, одновременно отвергая идею югославской интеграции. Кроме того, с ранней молодости я был приверженцем социализма, но никогда не был социал-демократом. Разумеется, контакты югославского партийного руководства с социал-демократами, особенно с британскими лейбористами во время конфликта с Москвой, а позднее усилия, предпринятые Социалистическим интернационалом в связи с моим освобождением, несколько сблизили мою позицию с позицией социал-демократов, однако мои взгляды никогда не были и сегодня не являются в полной мере социал-демократическими. Порой мне начинает казаться, что у нас с социал-демократами дейст-



вительно нет существенных разногласий относительно понимания так называемых гражданских, а тем более личных свобод, но специфика югославской коммунистической реальности заставляет отказаться от этой мысли, ибо ни средства, которыми эти свободы достигаются и поддерживаются в моей стране, ни формы их существования никак не сравнимы с западными. Любая идея или программа действий не существует и, стало быть, не может обсуждаться сама по себе. Я согласен, что жизнь и борьба вне идей невозможны, но сами по себе идеи здесь не более чем знак, постоянные усилия человеческого разума, направленные на осмысление себя в мире и мира вокруг себя; в реальности же мы имеем дело с конкретными средствами реализации этих идей и вполне определенными формами их насильственного внедрения в жизнь общества. Теоретически в условиях будущего демократического социализма и партии, и классы, и общество в целом могут стать более свободными, чем сегодня на Западе, но лишь в том случае, если они действительно связаны корнями с национальной почвой, с индивидуальными особенностями, характерными для каждой отдельной коммунистической или посткоммунистической страны. Я обсуждаю реформы не того общества, где политические свободы существуют на фоне частной собственности, но, наоборот, — реформы общества, существующего в условиях дефицита политических свобод при избытке общественной собственности. Очевидно поэтому, что формы развития обоих обществ идентичны только в воображении догматика, равно как значимость в жизни общества парламентских структур, тех или иных партий и правительств в разных странах совершенно не идентична и, значит, несравнима, даже если на первый взгляд все похоже. Во все времена и в любом развивающемся обществе обретают свое место только те силы, которые не утратили способности объективно мыслить и активно действовать.

Сходные выводы напрашиваются при сравнении предлагаемого мною ненасильственного изменения современного коммунизма и *satyia — grahe* (ненасильственное сопротивление) Ганди. Я не могу похвастаться исчерпывающими знаниями философии и тактики Ганди, но, насколько я смог понять, читая его сочинения и размышляя над ними в тюрьме, это — синтез специфической индийской традиции, условий, созданных британской колониальной политикой, и особого религиозного миро-

созерцания. Но что общего между европейской, балканской и индийской ментальностью? Можно ли отождествлять европейского и балканского интеллектуала, выросшего в обстановке революционного насилия, воспитанного на рационалистическом мировоззрении, как части процесса индустриализации общества, с человеком, исповедующим все терпение, вневременные ценности, живущим в религиозной системе координат, где отсутствует самоценность личности, где диктат технического прогресса отступает перед нуждами человека?

На небосклоне двадцатого века взвились и засияли два знамени, олицетворяющих различные человеческие ценности, — знамя Ленина и знамя Ганди, под их сенью прошла моя молодость и зрелые годы. Учение Ганди, а еще в большей степени его личность были для меня, особенно в те годы, которые я провел в тюрьме, не только источником духовных сил и примером для подражания, но и подтверждением одной из истин, над которыми я давно думал, — наше время существует не только под знаком проклятия деспотизма и догмы, оно также свидетель истинной терпимости и доброй воли; оно подарило миру не только тиранов, но и благих проповедников, готовых за свои идеи принять любые муки. И если появление Гитлера и Сталина доказывает, что индустриальное общество скорее расширяет возможности для насилия над человеком, чем сокращает их, то личность и дело Ганди доказывают непреходящую ценность и неизбежность стремления человека к братству и справедливости. Совершенное общество, построенное на принципах ненасилия над личностью, невозможно, хотя безусловно более свободно и справедливо. Смысл и величие гандизма — в самой личности Ганди: как истинно великое идеалистическое движение гандизм распался, потому что его последователи не выдержали искушения богатством и властью. В этой книге достаточно сказано о моей жизни, чтобы понять, что учение Ганди привлекло меня задолго до конфликта с партийной верхушкой, — хватило потрясения от того, что я узнал о сталинизме, и сомнений в научности и жизнеспособности марксистской идеологии. Но у этой медали есть и своя обратная сторона, скрывающая причины, не позволившие мне тогда стать приверженцем Ганди, — мы слишком подчинены воинствующей догме. И если сегодня было бы возможным прикладное толкование учения Ганди, по-видимому, я с полным правом мог бы

считать не только альтернативной его, но и моей собственной мысли идею о том, что не существует ни истины, ни достойной цели, которые способны оправдать подавление национальной независимости народа, муки людей, массовые убийства, более того, истина в том, что жизнь и национальная независимость народа есть наивысшая ценность.

Формирование моих взглядов в направлении нового, недогматизированного, неидеалистического, экзистенциального гуманизма прошло, впрочем, долгий, не совсем обычный путь, ибо основывалось не на религиозных, но преимущественно, если не единственно, на общегуманистических принципах. Говоря «общегуманистические принципы», я имею в виду принципы, базирующиеся на неустанном анализе условий человеческой жизни и непосредственной реакции на жизненные потребности человека. Готов предположить, что мы являемся очевидцами сумерек гуманизма, исходящего из догматических, теоретических гипотез о человеке. И прежде всего это относится к коммунистическому гуманизму, который никогда не имел удобоваримого обоснования, да и не мог иметь, несмотря на непомерную любовь коммунистов к абстрактному «человеку будущего», и одновременно демонстрировал полное пренебрежение элементарными правами конкретного живого человека. А говоря «экзистенциальный гуманизм», я вовсе не имею в виду современную философию экзистенциализма К. Ясперса и Ж. П. Сартра, но лишь указываю на рудиментарное, целостное человеческое существование как единственное мерило какой бы то ни было современной гуманистической теории или политической деятельности, направленной на демократизацию общества.

В 1961 году, сразу после выхода на свободу, работая над планом «Несовершенного общества», я записал в блокнот мысль об «условном ненасилии», как о форме перехода от коммунистического режима к демократическому обществу. Этот блокнот у меня конфисковали во время ареста, в начале апреля 1962 года. Следовательно попало на глаза это выражение, и он спросил меня, что оно означает. Я ответил неопределенно, что оно, мол, значит именно то, о чем говорит. Но, отвечая, я уже понял, что сознательно скрываю истинный смысл этих слов: а именно что применение в борьбе против коммунизма насильственных, революционных средств оправдано лишь в той мере, в которой сами коммунисты прибегнут к наси-

лию в борьбе с демократически настроенными социалистами и свободомыслящими людьми и будут отстаивать свою диктатуру. Но у следователя, по-видимому, были иные цели, намеченные кем-то свыше, и он вполне удовлетворился моим неопределенным, растерянным ответом.

А меня обожгло сознание собственной, пусть даже минутной слабости. Ведь до сих пор я всегда открыто выражал свои взгляды, чем в значительной мере можно объяснить последовательность моих поступков, раздражение властей предрержащих и определенные симпатии ко мне интеллигенции и рабочего класса. Этот эпизод следствия хотя и никак не отразился в дальнейшем на моих взглядах, однако стал переломным, ибо с очевидностью показал, что именно по этому вопросу я должен иметь ясную, гласно заявленную позицию.

Теперь я совершенно определенно утверждаю, что я против каких бы то ни было революционных мер и против всякого применения силы в борьбе с коммунизмом. Путь реформ как единственно возможный способ борьбы с коммунизмом — вот суть моего отношения к проблеме выхода из тупика. Причем этот принцип должен быть распространен как на отношения между коммунистическими государствами, так и на отношения между различными коммунистическими партиями. Разумеется, любое коммунистическое государство имеет право защищать свой суверенитет, если потребуется, то и с оружием в руках, в случае посягательства на него других стран, поскольку долг и *raison d'être* любого государства — обеспечение своему народу возможности жить самостоятельной жизнью.

Моя позиция в этом вопросе исходит из моей концепции коммунизма как революционной переходной фазы между, с одной стороны, неиндустриальным обществом и индустриальным, постиндустриальным обществом — с другой. Несмотря на то что в руках коммунистов находилось все народное богатство, которым они могли распоряжаться как своей собственностью, попирая своих сограждан как низшую расу, из них не получилось класса индивидуальных или коллективных собственников.

Основная форма реальной коммунистической собственности — это власть, она не может существовать где-то в стороне от остальных форм общественной жизни или даже вопреки им. Более того, в современных коммунистических режимах вопреки коммунистам развиваются новые

формы собственности, разрушающие их идеологические клише и бюрократические колодки. Мощный и непобедимый как рабочее движение в период революционного захвата власти, а позднее как система подавления народов, коммунизм оказывается несостоятельным в условиях нормально налаженных, свободных человеческих отношений. Накладывая запрет на чуждые себе идеи, разрушая какие бы то ни было формы общественной жизни, кроме собственных, коммунизм подспудно истощал и самого себя, ибо ни одна человеческая общность не способна долгое время выносить насилие над человеческой природой, за исключением экстремальных обстоятельств, трактуемых (в случае с коммунизмом) как жизненная, как историческая необходимость. Будучи не более чем формой власти, причем власти особого рода (призванной исторически сложившимися обстоятельствами ради осуществления индустриализации), исполнивший свою роль коммунизм теряет силы, становится лишним. Социальные группы и новые идеи, появляющиеся в созданном им обществе, да и внутри самой компартии, могут более или менее длительное время оставаться коммунистическими по названию, но не по сути, ибо перестают быть таковыми тогда и в той мере, когда и насколько обретают терпимость по отношению к инакомыслию. Коммунизм проигрывает историческую битву, вопреки претензиям на познание законов истории или, скорее, именно благодаря вере в свою научность.

Однако это вовсе не значит, что коммунизм рухнет сам по себе, и менее всего — что коммунистические лидеры мечтают расстаться с властью, передав ее, скажем, даже одному из более демократически настроенных собратьев, выпорхнувшему из одного с ними гнезда. Формы созданной человеком общественной жизни рушатся не потому, что их подталкивают некие вновь нарождающиеся в обществе силы. Не понимаю, почему коммунизм должен стать исключением. Новые силы возникают в недрах индустриального общества, поначалу это силы, выдвигаемые самим коммунизмом, лучшей его частью, не утратившей чувства ответственности и долга перед страной; затем — не всегда хорошо организованная, но более самостоятельно мыслящая и убежденная в своей правоте группа людей. Вспомним дискуссионный клуб «Петефи» (Венгрия, 1956 г.) или Чехословацкий Союз литераторов (1968 г.), которые постепенно отвоевывали все более и

более высокий уровень свободы в выражении своих взглядов и поступках; тем самым интеллигенция выполняла функцию пускового механизма лавины возмущения всей угнетенной нации. Похоже, что революционные организации классического типа (глубоко законспирированные, с обязательной по-военному дисциплиной и идеологически монолитные) сегодня не нужны: бесплодие догматизма, неповоротливость идеологической машины и монополия власти неизбежно ведут к противопоставлению коммунистов всем слоям общества — всей нации, а следовательно, к возникновению новых идей и движений как в рамках самого коммунизма, так и вне его. Казалось бы, все ясно: переход от коммунизма к некоему новому, идеальному обществу невозможен, ибо для этого необходимо наличие соответствующей идеальной, охватывающей все сферы жизни идеологии; остается одно, сообразуясь с реальными условиями данного конкретного общества, — освободиться от власти группы людей, монополюю управляющих государственными структурами, хозяйством и идеологией страны. Ведь дело не в том, что больно обществу в целом или исчерпали себя основные формы отношений собственности, завоеванные коммунистической революцией и утвердившиеся при коммунистических режимах, дело в том, что прогнила сама коммунистическая доктрина и основанная на ней форма власти. Лишение коммунистов власти, то есть упразднение коммунистической монополии в политике и экономике, означает конец латентной гражданской войны, которую коммунисты постоянно провоцируют своим существованием своей догматической идеологии и привилегиями.

В борьбе с коммунистической олигархией и номенклатурой (ибо, по сути, речь идет именно о них, а не об идее социализма, которой они прикрываются) можно избежать и революции, и тем более гражданской войны; следует использовать иные средства — митинги, демонстрации, забастовки, марши протеста, но более всего здесь необходимы гласная смелая критика режима и терпение. Таков накопленный до сих пор исторический опыт. То, что на Западе принято называть революцией, а на Востоке называется контрреволюцией, например национально-освободительное восстание венгерского народа, было реакцией на интервенцию Советской Армии, а правительство Ракоши и связанная с ним система власти были низвергнуты до этого без всякой вооруженной борьбы. К по-

добным выводам приводят и сегодняшние события в Чехословакии. Хотя нормальные демократические формы общественной жизни кем-то могут восприниматься как революционные, а их результаты — как подлинная революция. Готов согласиться, что в отдельных случаях это и есть одна из форм революции нашего времени. Революцией, в классическом смысле слова, такой, как революция 1830 года во Франции, разрушившая социальные отношения, отношения собственности, вызвавшая перемену формы власти, они, разумеется, не являются. Современному коммунистическому обществу нужна не революция, а экономические реформы и демократизация. А тот факт, что коммунистические доктринеры и олигархи считают подобные перевороты не только контрреволюцией, но и концом света, никого не должен ни удивлять, ни пугать — иначе и не могут думать люди, которые годами привыкли жить так, будто мир в самом деле принадлежит им. Недавно я встретился с одним старым революционером, который после конфликта 1948 года СССР — Югославия лет десять провел в югославских тюрьмах и лагерях как сторонник Сталина и просоветского интернационализма. Я спросил его, как он оценивает сегодняшнюю ситуацию. «Очень плохо! — ответил он. — Мне иногда кажется, что согласно какому-то диалектическому закону распадается и исчезает сама материя». Я возразил, дескать, мир остался на прежнем месте, люди такие, какими они были всегда, это рушатся и исчезают твои представления о них...

Такова сегодняшняя коммунистическая действительность и перспективы ее трансформации, таковы пути выхода общества из этого тупика. Формы насилия более или менее одинаковы во всех коммунистических странах, пришли ли они к коммунизму через революцию или в результате действий Советской Армии. Таков общий вывод, который в своем общем виде неприменим ни к одной из конкретных коммунистических стран.

Наибольшие сомнения в реформистском направлении развития вызывает у меня Советский Союз, во-первых, из-за слабости демократических тенденций; во-вторых, из-за подавления народов русской партийной бюрократией; и в-третьих, из-за той роли, которую это — каким бы оно ни было — великое государство играет во взаимоотношениях с другими сверхдержавами. Тем не менее я думаю, что и народы Советского Союза, а особенно русский народ, обретут наконец основные человеческие и национальные

права, избежав кровопролития, тем более что мирный путь есть единственная гарантия защиты от появления очередных «идеальных» теорий построения общества, от свободолюбивой диктатуры; единственная возможность занять равноправное, заслуженное место среди других народов и государств. Несмотря на самую жестокую, изощренную систему подавления инакомыслия в Советском Союзе, там появляются и уже заявляют о себе новые общественные силы, прежде всего в интеллигентской писательской среде, сходные с теми, которые существуют в восточноевропейских странах. Характерно эмоциональное высказывание русского поэта А. Вознесенского: «Если сегодня в России и есть что-то новое, что действительно рождено новым обществом, — это спрос на поэзию как новое сырье. Поэтов в России почитали всегда, но ничего подобного здесь никогда не было». Этот «спрос» есть выражение выросших духовных потребностей народа, и удовлетворить его в условиях закрытого общества, где подавляется любое инакомыслие, под силу только писателям, художникам, мыслителям. Ибо они всегда были провозвестниками нового: а в условиях коммунистических режимов новым, в частности, является то, что любой инакомыслящий может здесь стать писателем, равно как поэт вынужден быть мыслителем. Если среди русского народа и других народов Советского Союза сегодня еще недостаточно развито движение за демократизацию общества, то этого никак не скажешь об интеллигенции.

В разные периоды история выбирает для своего воплощения разные народы, и если уж она когда-то избрала для себя Россию, вряд ли она и теперь минует Советский Союз как «родину» коммунизма. А любая перемена в этой стране вызовет изменения как в европейском, так и во всем западном коммунистическом движении, существенно изменит взаимоотношения стран Европы и мира. Но это дело прежде всего русских и советских правозащитников. Что касается меня, то я надеюсь на перемены, которые рано или поздно должны произойти в моей стране. Существует пословица, которую как-то использовал Гомулка: «С волками жить — по-волчьи выть». Пусть воет он, я не стану, хотя было время — и выл, и зубы показывал. Однако я убедился, что этим не помочь делу, в которое мы так верили. Нет такой цели, пусть даже самой идеальной, прийти к которой возможно посредством насилия. Идеальной и осуществимой целью способны стать только



средства, то есть форма управления людьми, способ создания в обществе человеческих условий жизни.

Те, кто сегодня внутри коммунизма борется за свободу, за упразднение монопольной власти партийной олигархии, должны верить в свои идеи, в свое общественное предназначение, в свои возможности не меньше, если не больше, чем верили когда-то коммунисты, завоеывая власть. И хотя у них разные взгляды, разное общественное положение, ради достижения непосредственных, ближайших целей они должны объединиться, прибегнув к оптимальным средствам. Меня могут упрекнуть в прекрасодушии, могут назвать мои рассуждения фантазиями на тему свободы или антиутопической утопией. Пусть так! Но на другой день после победы победители утратят свое единство; появятся новые цели, новые средства (иные средства-цели), которые не бывают одинаковыми для всех. Ведь жизнь есть жизнь, и любое однообразие ей чуждо, а необходимое условие любой свободы — отсутствие единообразия.

Без веры нельзя сдвинуть с места даже соломинку, тем более гору. Идеалы умирают, чтобы на их месте возникли новые, разумеется, куда «более прекрасные» и «абсолютно осуществимые» — таков вечный удел человека, его добрый или злой рок. Кто не верует, кто не готов жертвовать во имя веры, не заслуживает ничего.

И хотя Сизиф всегда был и останется олицетворением усилий рода человеческого сделать жизнь лучше, всегда были и будут Прометеи, избирающие бунт, ибо таков обусловленный высшими силами порядок вещей...

## СОДЕРЖАНИЕ

1. БЕСЕДЫ СО СТАЛИНЫМ	9
<hr/>	
2. НОВЫЙ КЛАСС	159
<hr/>	
3. НЕСОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВО	361

**Джилас М.**  
Д40 Лицо тоталитаризма. — Пер. с сербо-хорватского. — М.: Изд-во «Новости», 1992. — 544 с. ил.

В книге, включающей три наиболее известные работы М. Джиласа, дается характеристика социально-политической, экономической и идеологической сторон жизни общества, которое было построено в СССР и странах Восточной Европы, анализируется «новый класс», который, по мнению автора, сложился за эти годы, освещаются трудности в советско-югославских отношениях в годы второй мировой войны и послевоенные годы.

**Милован Джилас**  
**ЛИЦО ТОТАЛИТАРИЗМА**

**Заведующий редакцией *А. В. Проскурин***  
**Редактор *М. В. Егорова***  
**Младшие редакторы *Н. В. Потатуева, А. В. Зусман***  
**Художник *Э. К. Реоли***  
**Художественный редактор *С. М. Уездин***  
**Фоторедактор *В. Черепина***  
**Технический редактор *Н. М. Ладик***  
**Корректор *Е. В. Клокова***  
**Технолог *В. Ф. Егорова***

ИБ 10448

Сдано в набор 15.08.91. Подписано в печать 16.12.91.  
Формат издания 84 x 108/32. Бумага офсетная 70 г/м<sup>2</sup>  
Гарнитура Универс. Печать офсет. Усл. печ. л. 28,98. Уч.-изд. л. 30,59.  
Тираж 50.000 экз. Заказ № 428. Изд. № 8813. Цена договорная.

Издательство «Новости»  
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7

Типография Издательства «Новости»  
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа



*В книге Милована Джиласа, известного писателя, политика, ученого, состоящей из трех частей — «Беседы со Сталиным», «Новый класс» и «Несовершенное общество», дается социально-политическая характеристика общества, которое было построено в СССР и странах Восточной Европы. Автор анализирует его структуру, и прежде всего «новый класс» — партаппарат, его идеологическую надстройку, философские, экономические и политические концепции, теории и политику. В воспоминаниях живо предстает Сталин — олицетворение тоталитарного режима, освещаются советско-югославские отношения во время второй мировой войны и в послевоенные годы.*